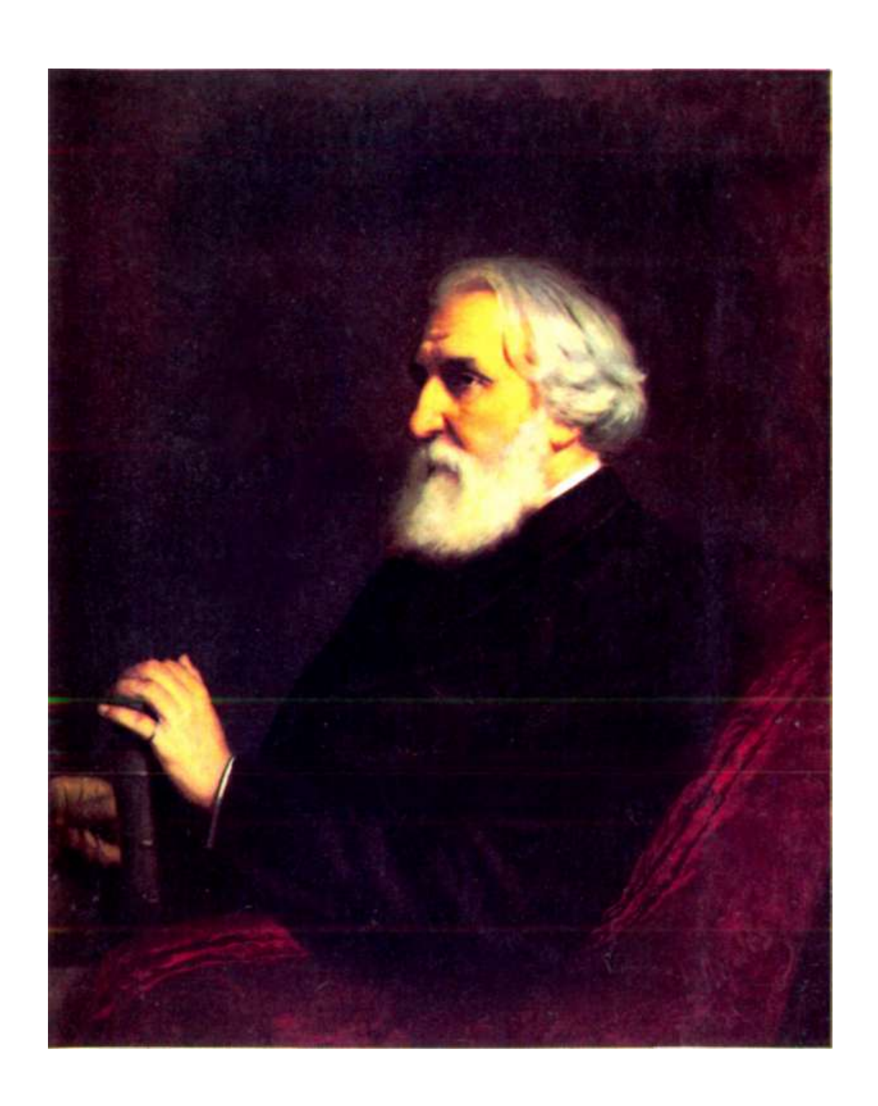
И. С. ТУРГЕНЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



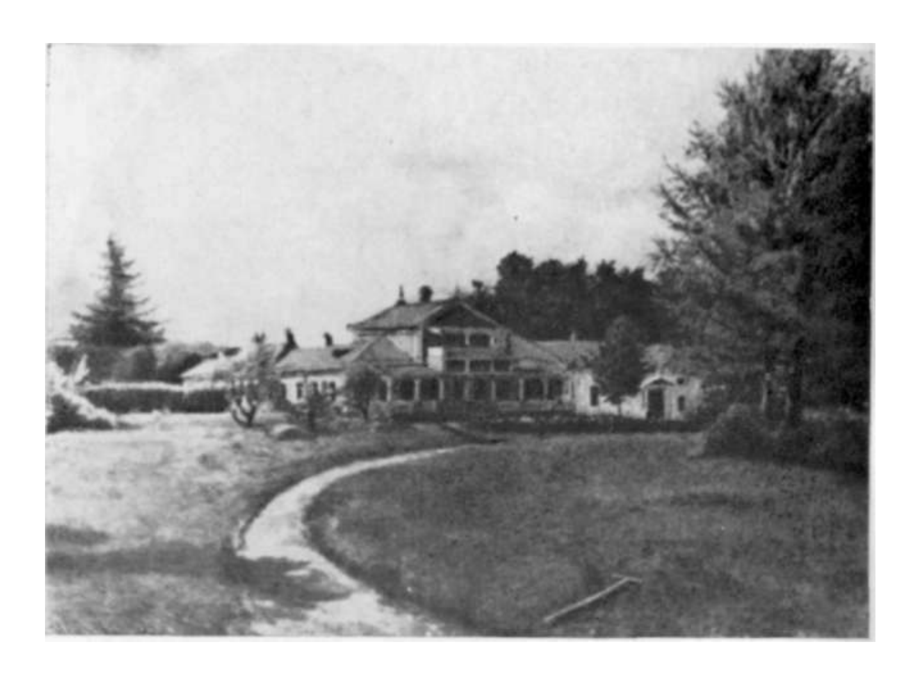




С. Н. Тургенев.
Портрет неизвестного
художника.



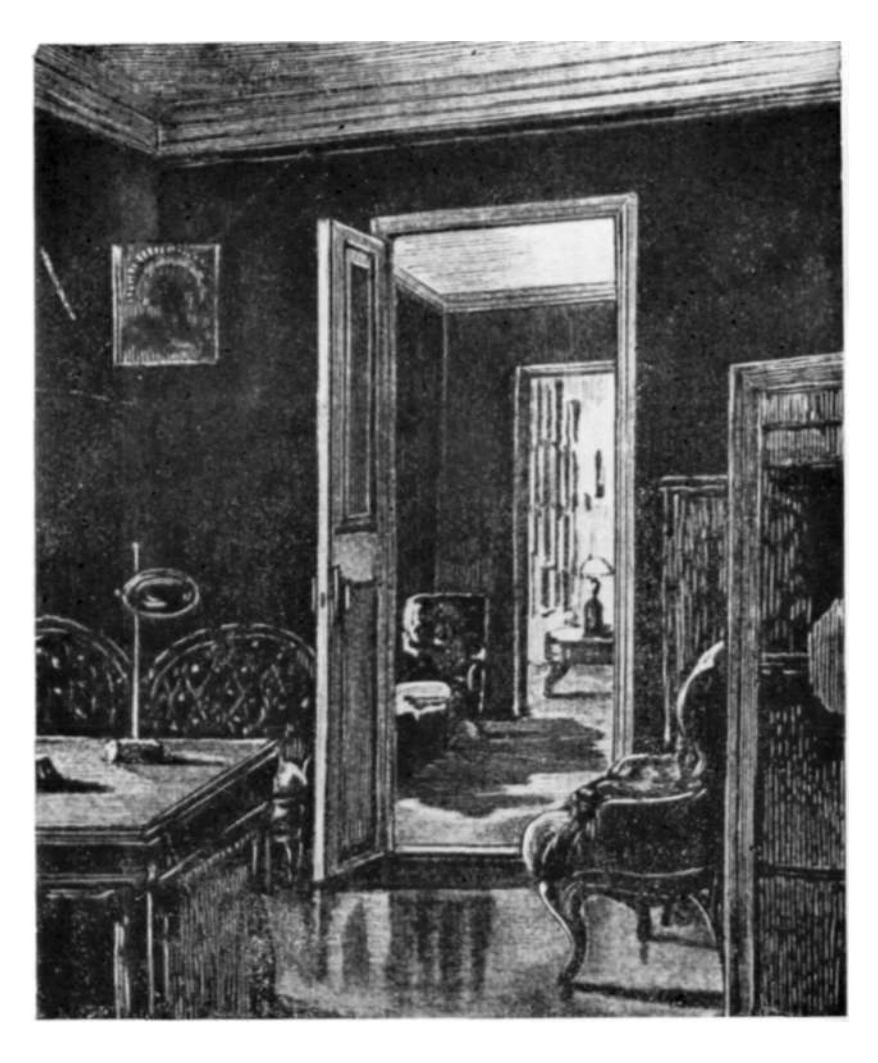
В. П. Тургенева.
Портрет неизвестного
художника.



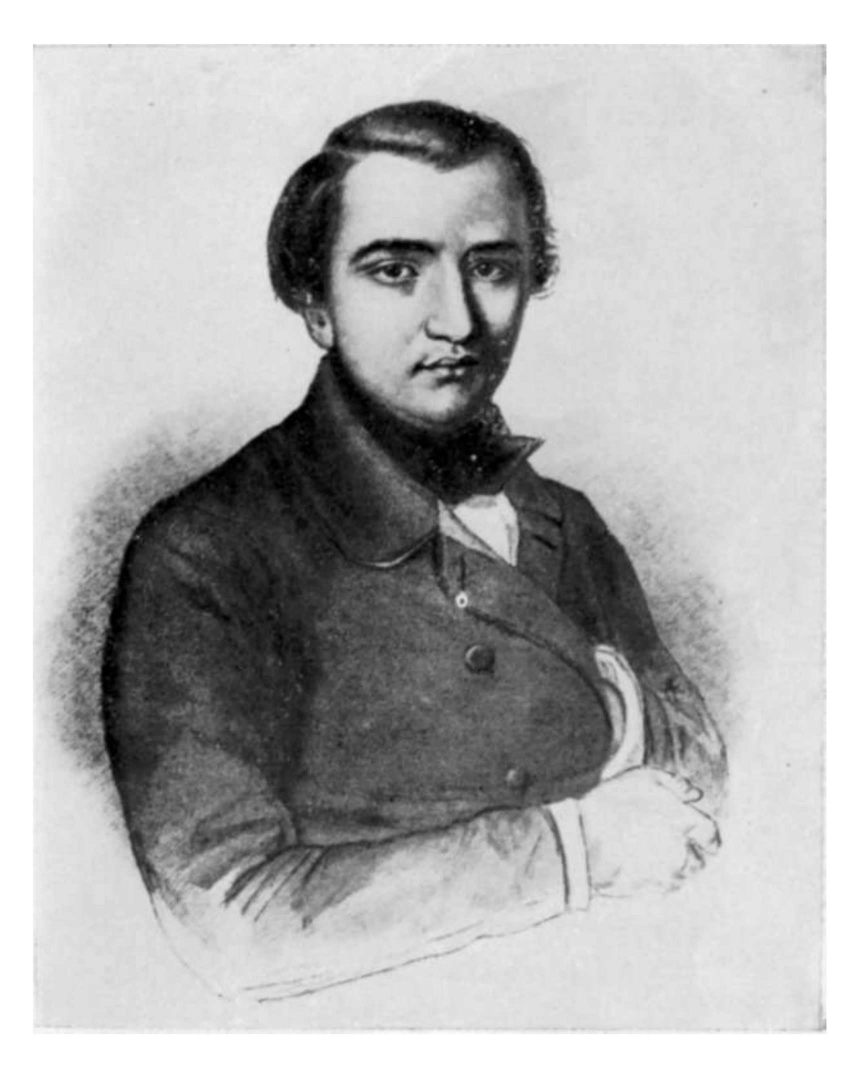
Спасское-Лутовиново. Усадебный дом.
Этюд Я. П. Полонского. Масло. 1881 г.



И. С. Тургенев в 1830 году.
Акварель.



Спасское-Лутовиново. Кабинет-спальня И. С. Тургенева.
Фотография В. А. Каррика. 1883 г.



И. С. Тургенев. Акварель К. Л. Горбунова.
1838—1839 годы.



Полина Виардо.
Акварель-миниатюра.
1845 г.

«Мемориал». Автобиографические заметки
И. С. Тургенева. Запись 1843 г. Фрагмент.



Полина Виардо. Акварель художника П. Ф. Соколова.



И. С. Тургенев. Дагерротип 1840-х годов.



А. А. Фет. Литография
А. Э. Мюнстера. 1860-е годы.



П. В. Анненков. Литогра¬фия К. А. Горбунова.
1845 г.



А. Я. Панаева. Акварель середины XIX века.



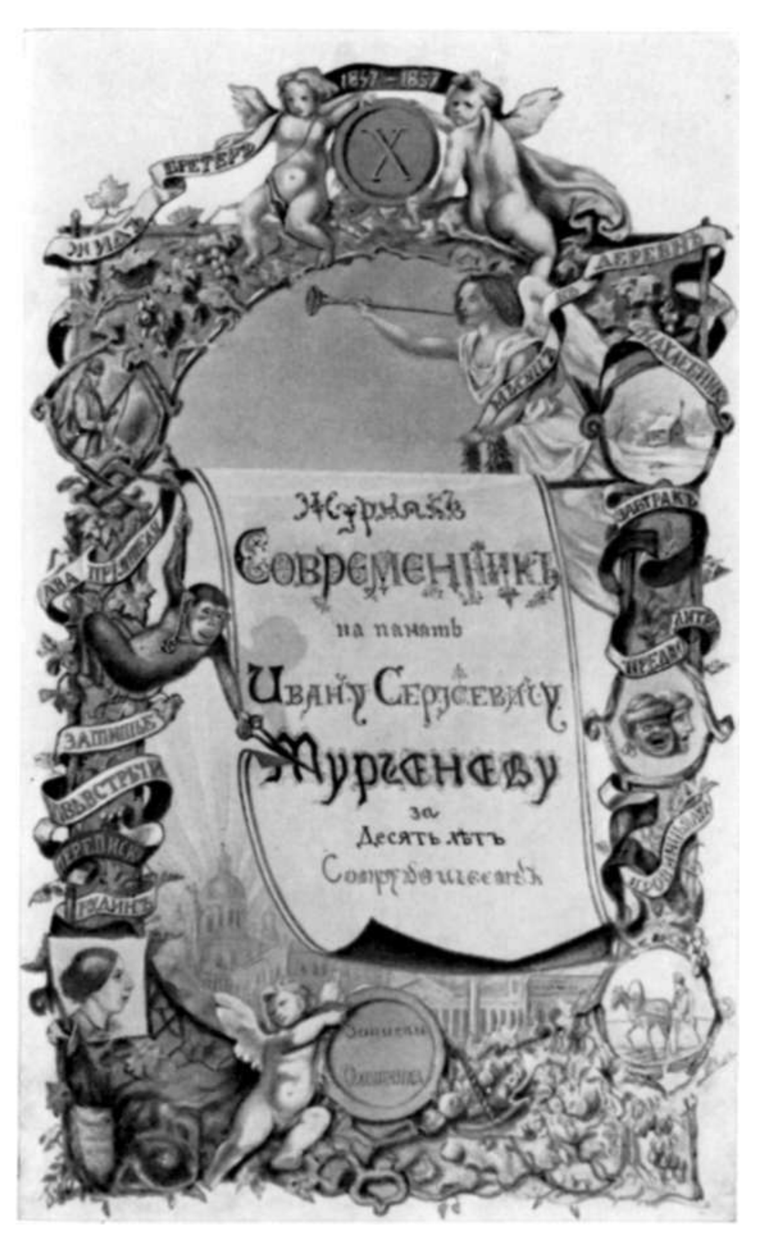
Н. А. Тучкова-Огарева. Фотография 1870-х годов.



И. С. Тургенев в группе писателей «Современника»:
И. А. Гончаров. И. С. Тургенев. А. В. Дружинин.
А. Н. Островский, Л. Н. Толстой. Д. В. Григорович.
Фотография С. Л. Левицкого. 1856 г.



Петербург. Дом на Литейном проспекте, в котором помещалась редакция «Современника». Акварель Ф. Баганца. 1858 г.



Адрес И. С. Тургеневу от редакции «Современника».
1857 г. Акварель Д. В. Григоровича.



«Гамлет Щигровского уезда». Василий Васильевич.
Рисунок И. С. Тургенева.



«Однодворец Овсянников».
Рисунок И. С. Тургенева.



П. Л. Лавров. Фотография.
Париж. 1870-е годы.



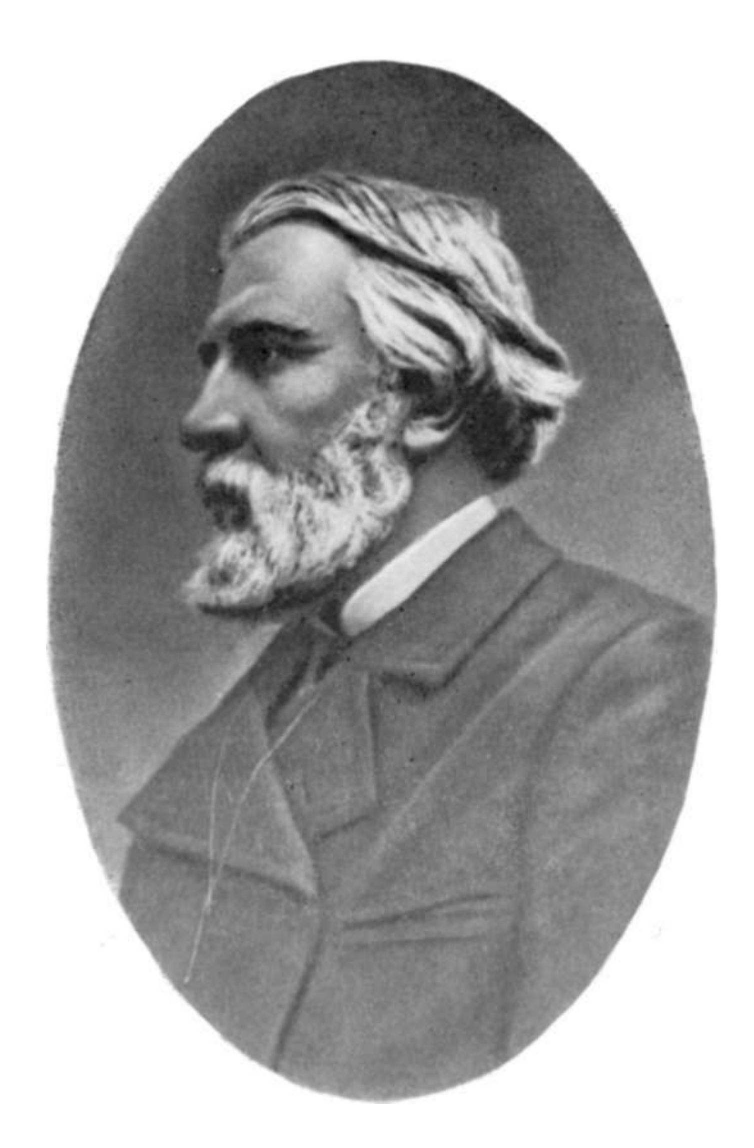
П. А. Кропоткин.
Фотография.



Д. В. Григорович. Литография.



Н. Г. Чернышевский. Фотография В. Лауферта. 1857 г.



И. С. Тургенев.
Фотография И. и Л. Альгейер.
Карлсруэ. 1868—1869 годы.



Спасское-Лутовиново. Аллея, ведущая к пруду. Фотография.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

И. С. ТУРГЕНЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

8Р1
Т87

Вступительная статья
С. М. ПЕТРОВА

Составление и подготовка текста
С. М. ПЕТРОВА и
В. Г. ФРИДЛЯНД

Комментарии
В. Г. ФРИДЛЯНД

Оформление художника
В. МАКСИНА

Т $\frac{4702010100-244}{028(01)-83}$ 25-83

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

1

«Вся моя биография в моих сочинениях», — сказал однажды Тургенев. Можно было бы добавить: и в воспоминаниях о нем. Ни об одном русском писателе прошлого века, за исключением Л. Н. Толстого, не оставлено так много воспоминаний. Огромный тургеневский мемуарный фонд вобрал в себя всю жизнь писателя — от записи о его рождении, сделанной рукой матери, до воспоминаний князя А. Мещерского о последних часах Тургенева. В совокупности воспоминания русских и зарубежных современников дают представление о феномене личности писателя.

«И. С. Тургенев принадлежал к поколению, которое пережило едва ли не более значительное изменение в русском обществе, чем все предыдущие, — писал П. Л. Лавров в своей статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества». — ...В последние полвека все элементы мысли и жизни общества в России подверглись самым коренным потрясениям...»

Когда Тургеневу было семь лет, произошло восстание декабристов. Он видел Пушкина и Лермонтова. Начало его литературной деятельности приходится на время Белинского и Гоголя, а расцвет — на шестидесятые и семидесятые годы — время Чернышевского и революционного народничества. Тургенев был свидетелем революции 1848 года и Парижской коммуны. В год смерти писателя в русском освободительном движении возникла первая марксистская организация — группа «Освобождение труда».

Эпоха Тургенева — это эпоха перехода от романтизма к реализму, утверждения и расцвета реалистического искусства. Русская литература становится делом национальной важности, поборником прогресса, обличителем реакции и обскурантизма. Каждый крупный писатель вызывает к себе интерес и внимание просвещенного читателя.

Тургенев стоял в центре общественного, умственного и литературного движения своего времени. Он не был политическим борцом, как Герцен или Чернышевский, но, откликаясь своими произведениями на глубинные, коренные вопросы русской жизни, в большей мере, чем многие другие видные писатели, его современники, участвовал в освободительном движении сороковых — семидесятых годов. По справедливому замечанию Анненкова, он занимался «художнической пропагандой» борьбы против крепостного права, а в пореформенную пору против крепостнической реакции. Имя Тургенева, несмотря на все его разногласия с революционными демократами, связано с передовыми течениями его времени, с журналом «Современник», с газетами «Колокол» и «Вперед!», с прогрессивными литературными кругами на Западе.

Современников привлекали в Тургеневе уникальный талант, могучий интеллект, дар мыслителя.

«Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу <…> Отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры <…> Во всех его суждениях виден характер и действительность» *, — отозвался о Тургеневе самый проницательный в требовательный из друзей его молодости — В. Г. Белинский. Пройдет несколько десятилетий, и молодежь семидесятых годов, в свою очередь, скажет о Тургеневе: «Какой проницательный ум. Какое всестороннее, широкое образование». «Чего бы он ни касался в разговоре — философии, религии, искусства, политики, любви, музыки, злобы дня, личной *размолвки*, — во всем сказывался животворящий дух его таланта».

Тургенев был на редкость общительным человеком. Он никогда не замыкался в узком кругу литераторов. П. В. Анненков рассказывает: «После 1850 года гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов <…>, корифеи литературы, готовившие себя в вожаков общественного мнения, знаменитые артисты <…>, наконец, ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей <…> Между всеми его гостями не редкость было найти людей без имени, никому не известных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же, по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие имена в литературе и обществе». В январе 1858 года Тургенев сообщает Анненкову о «множестве новых знакомств». В Петербурге и в Москве, в Спасском, в Париже и Лондоне, в Баден-Бадене редкий день Тургенева проходил без встреч и без посетителей.

---

* *В. Г. Белинский*. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 154.

Круг друзей и знакомых Тургенева заключал в себе все самое значительное в литературном мире России и Западной Европы его времени. Чернышевский, Фет, Григорович, Анненков, на Западе — Мопассан, Доде, Гонкуры оставили о нем свои воспоминания. Многие высказывания о Тургеневе — Герцена, Некрасова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Толстого, Флобера, Золя — записаны современниками и приведены в их мемуарах.

Воспоминания о Тургеневе оставили не только писатели, но и общественные деятели, как, например, М. М. Стасюлевич, ученые — М. М. Ковалевский, артисты — М. Г. Савина, художники — Верещагин, Репин, Поленов, скульптор Антокольский и другие виднейшие представители русской культуры XIX столетия. Мемуары о Тургеневе писались людьми, наблюдавшими его в общении с Белинским и в среде революционных народников, в редакции «Современника» и в высшем свете, у Аксаковых в Абрамцеве и в обществе русских художников в Париже, в салоне Виардо и в застольных беседах, во встречах с сильными мира сего и с крестьянами села Спасского, на охоте и за письменным столом.

Неистощим был интерес Тургенева к жизни во всех ее проявлениях. Анненков находил в нем «неугомонного демона любопытства и участия». Тургенев был очень подвижным человеком, любил путешествовать, обладал обостренным зрением художника. Ему ничего не стоило из Петербурга отправиться в Париж, оттуда в Лондон, из Лондона обратно в Париж, затем в Баден-Баден, в Вену в Берлин, и снова ехать или плыть в Россию. Вот, например, 1858 год — Тургенев посещает Рим, Неаполь, Флоренцию, Геную, Милан, Триест, Вену, Дрезден, Париж, Лондон, Берлин, Петербург, Москву, с. Спасское, Тулу, Орел, снова Москву, Петербург... И — встречи, беседы со множеством самых разнообразных людей. Таков был привычный образ жизни Тургенева.

Тургенев вел в течение всей своей жизни обширную переписку и был признанным мастером эпистолярного жанра. Многие из его писем, прокомментированные корреспондентами Тургенева, легли в основу их мемуаров о нем. В серии воспоминаний о Тургеневе П. В. Анненкова два раздела основаны на его переписке с писателем: «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856—1862» и «Из переписки с Тургеневым в 60-х годах (1862—1866)». Преимущественно эпистолярную основу имеют и воспоминания П. В. Щербаня, В. В. Стасова, А. А. Фета и других. Письма его современников также содержат немало мемуарного материала, почерпнутого из рассказов самого писателя или его друзей.

В беседах с близкими людьми Тургенев любил рассказывать примечательные эпизоды из своей жизни и из увиденного им; друзья Тургенева записывали эти истории и приводили их вно-

следствии в своих воспоминаниях (см. мемуары Н. А. Островской, Я. П. Полонского, Л. Ф. Нелидовой, А. Н. Луканиной и др.). В автобиографических рассказах он был вполне откровенен.

Мемуары о Тургеневе — порой единственный источник, знакомящий нас с отдельными периодами его жизни. Так, юношеские годы, обстановка, в которой рос и воспитывался будущий писатель, главным образом освещены в воспоминаниях приемной дочери Варвары Петровны Тургеневой — В. Н. Житовой, жившей в Спасском-Лутовинове; они повествуют о матери Тургенева, о жестоких нравах, царивших в ее поместьях. Из рассказов Житовой возникает и образ с юных лет антикрепостнически настроенного Тургенева, перед глазами которого прошло немало примеров помещичьего самодурства Варвары Петровны.

Многое из детских, юношеских и последних лет жизни Тургенева записано со слов самого писателя его другом, поэтом Я. П. Полонским («Тургенев у себя в его последний приезд на родину»). Главным образом из мемуарной литературы узнаем мы и о подробностях жизни Тургенева в семье Виардо, о той завораживающей атмосфере артистизма, которая царила в ее салонах в Баден-Бадене, Париже и Буживале.

В мемуарной литературе о Тургеневе мы находим суждения о нем людей различных общественных и литературных кругов. И сами эти суждения, порой противоречивые, и характер личности Тургенева отражали ту борьбу вокруг него как писателя, которая началась еще при Белинском. Большинство авторов воспоминаний сами являлись более или менее видными участниками литературной и общественной жизни своего времени. В освещении тогдашних споров и писательских отношений они, понятно, не были строгими и бесстрастными летописцами-историками. Как увидим дальше, со страниц мемуаров веет духом определенных симпатий и антипатий.

В воспоминаниях о Тургеневе отразились и личные склонности мемуаристов, их интерес к тем или другим сторонам жизни. П. В. Анненков, например, всегда проявлял глубокий интерес к интеллектуальной сфере жизни общества, к идейной борьбе, происходившей в литературных кругах его времени, и именно эта область жизни и деятельности Тургенева щедро представлена в его воспоминаниях. Напротив, А. А. Фет в своих мемуарах отдает предпочтение бытовым эпизодам, приводит яркие рассказы об усадебной жизни Тургенева, о страстном увлечении охотой, о задушевных беседах с другом, горячих спорах о поэзии, искусстве, смысле бытия.

В ретроспективе, отделявшей время создания большинства мемуаров от времени описанных в них фактов и эпизодов, не все

представлялось ясным или таким, каким оно было на самом деле. Но большинство мемуаров о Тургеневе, вполне достоверно, хотя возникал и понятный соблазн несколько приукрасить отдельные черты личности писателя и притушевать те или иные его слабости. Надо сказать, что некоторые мемуаристы, например В. Н. Житова (в оценке молодого Тургенева), А. Н. Луканина, А. Ф. Кони, не устояли против такого соблазна. Иные мемуаристы, как А. Я. Панаева, избрали тон иронический или, как Гончаров, ревниво-скептический. Но преобладающий тон воспоминаний и высказываний о Тургеневе, даже у Салтыкова-Щедрина, часто сурово о нем отзывавшегося, полон уважения, нередко любви и восхищения, признания великих заслуг Тургенева перед русским обществом и русской литературой.

2

В жизни и литературной деятельности Тургенева было три больших периода, соответствовавших трем эпохам русской общественной жизни — сороковым-пятидесятым, шестидесятым и семидесятым годам. Каждая из этих эпох в развитии русского общества и русской литературы имела свои характерные особенности, воплотившиеся не только в общественной и творческой биографии самого Тургенева, но и в личностях и взглядах его мемуаристов, в их отношении к писателю.

Конец тридцатых и сороковые годы — время, о котором сам Тургенев всегда вспоминал с чувством любви и благодарности. В это «замечательное десятилетие» он формируется и как человек, и как писатель. Здесь истоки философских и эстетических воззрений Тургенева, его демократических, антикрепостнических взглядов. Московский, Петербургский и Берлинский университеты, незабываемые встречи со Станкевичем, философские занятия с Бакуниным, сближение с Грановским, затем круг Белинского, дружба с великим критиком, новые поездки за границу, сближение с Герценом... Чего еще мог пожелать тогда молодой человек, увлекавшийся философией и литературой!

В сороковые годы в литературу входит блестящая плеяда новых писателей-реалистов, воспитанных критикой Белинского, продолжателей дела Пушкина и Гоголя. Среди них и молодой Тургенев. «Записки охотника» приносят ему всемирную известность. В их поэтическом реализме он находит себя как художник. Это было подлинно демократическое произведение, которое очень скоро дошло до самой широкой народной среды. А. Островская записала в своих воспоминаниях знаменательный эпизод, расска-

занный Тургеневым: «По дороге из деревни в Москву, на одной маленькой станции вышел я на платформу. Вдруг подходят ко мне двое молодых людей; по костюму и по манерам вроде мещан ли, мастеровых ли. «Позвольте узнать, — спрашивает один из них, — вы будете Иван Сергеевич Тургенев?» — «Я». — «Тот самый, что написал «Записки охотника»?» — «Тот самый...» Они оба сняли шапки и поклонились мне в пояс. «Кланяемся вам, — сказал все тот же, — в знак уважения и благодарности от лица русского народа».

Конечно, из всех воспоминаний о годах молодости Тургенева наиболее значительное — это его собственные «Литературные и житейские воспоминания». Среди же обширной мемуарной литературы о самом Тургеневе первое место бесспорно занимают ценнейшие по материалу мемуары мудрого человека и талантливого критика — П. В. Анненкова.

На страницах воспоминаний Анненкова крупным планом возникают образы выдающихся деятелей русской литературы сороковых годов во главе с Белинским. Среди них Тургенев, ставший ближайшим его другом, привлекает обостренное внимание мемуариста.

Анненков не просто воспроизводит и комментирует факты — он стремится раскрыть внутреннюю жизнь Тургенева, воссоздать его нравственно-психологический облик, особенно в годы молодости. Анненков любит Тургенева и верит ему, он стремится быть предельно точным и объективным. Ему не сразу пришелся по душе светский юноша: он рассказывает о его барских замашках, капризах, за которые молодому Тургеневу доставалось и от Белинского. Но постепенно перед ним раскрылись духовное богатство, гуманные и поэтические стороны личности Тургенева. Воссоздание целостного духовного облика художника и составляет пафос воспоминаний о нем.

По мемуарам Анненкова можно проследить, как устанавливалась репутация Тургенева-писателя. В кругу своих литературных друзей, к мнению которых он всегда прислушивался, Тургенев, автор «Записок охотника», единодушно был признан великолепным новеллистом. Признание Тургенева как первоклассного мастера повести, романа пришло не сразу. И. А. Гончарову, например, всегда казалось, что Тургенев прежде всего — художник-миниатюрист. Самого же Тургенева уже в начале пятидесятых годов тянуло к большой форме, к роману. Но он нередко испытывал сомнения в своих силах. «Рудина», свое первое большое произведение, он осторожно назвал повестью. «Современник» тем не менее увидел в «Рудине» начало нового этапа в литературной деятельности Тургенева. «Вы в своих произведениях создали тип лишнего человека.

А в нем ведь сама русская жизнь отразилась» *, — скажет впоследствии Тургеневу Салтыков-Щедрин. Но вот было написано «Дворянское гнездо» — и за Тургеневым установилась слава романиста. Состоялось чтение романа в кругу литераторов. Анненков рассказывает: «Чтение романа поручено было мне: оно заняло два вечера. Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный характер, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом». После выхода «Дворянского гнезда» Герцен называет его «величайшим современным русским художником» **. «Мне было совестно — и не мог я этому верить, — но мне было приятно» ***, — писал ему в ответ Тургенев.

Но как ни связаны первые романы Тургенева — «Рудин» и «Дворянское гнездо» — и примыкающие к ним повести с вопросами, волновавшими современников, своим историческим содержанием они все же были обращены к прошлому, хотя и недавнему, в них рисовались типы уходящей жизни. Между тем новая эпоха начиналась в истории России — шестидесятые годы. Новые задачи вставали и перед русской литературой. Тургенев и обратился к ним в следующих своих романах — «Накануне» и «Отцы и дети».

В записях мемуаристов отразились сложные и напряженные отношения Тургенева с демократическим движением шестидесятых годов.

Мировоззрению Тургенева всегда были присущи просветительские демократические тенденции, которые, по определению Ленина, заключались во вражде к крепостному праву и всем его порождениям, в сочувствии народу, в защите культуры, просвещения, свободы убеждении и слова. Однако Тургеневу казалось, что всего этого можно достигнуть путем мирного прогресса, он не верил в плодотворность крестьянской революции. Неприятие Тургеневым революционных методов борьбы и привело его к разрыву с «Современником».

Драматической истории разрыва Тургенева с новой редакцией «Современника», с Некрасовым, бывшим долгие годы его близким другом, касаются в той или иной мере, с разной степенью объек-

---

* «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников». М.—Л., «Academia», 1930, с. 120.

** А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIV. М., Изд-во АН СССР, 1958, с. 270.

*** И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах, изд-во «Наука», Письма, т. 4. М., 1963, с. 73.

тивности и, разумеется, с разных позиций, многие мемуаристы: П. В. Анненков («Замечательное десятилетие», «Молодость И. С. Тургенева», «Шесть лет переписки...»), И. И. Панаев, А. Я. Панаева, А. Д. Галахов, А. А. Фет, Е. Я. Колбасин, Г. З. Елисеев, Д. В. Григорович, М. А. Антонович, Н. Г. Чернышевский, Н. В. Щербань.

Но до середины пятидесятых годов Тургенев — одна из ведущих фигур «Современника», в свое время вместе с Белинским стоявший у истоков нового передового журнала, — непререкаемый авторитет для Некрасова. С 1847 года в течение почти пятнадцати лет творческая и общественная жизнь Тургенева связана с этим журналом, с его «кругом». Поэтому «разрыв Тургенева с «Современником» — как пишет Панаев в своих мемуарах, произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение».

Среди мемуаров, в которых сделана попытка объяснить причины конфликта, особое место занимают воспоминания Чернышевского, хотя бы уже потому, что они целиком посвящены этому событию и стремятся к известной полноте в освещении проблемы.

Воспоминания Чернышевского писались уже в восьмидесятые годы. Многие существенные детали, подробности, характеризующие взаимоотношения «героев» драмы — Тургенева, Некрасова и Добролюбова, — были им забыты. Историю конфликта, так сказать, истинную картину он восстанавливает часто путем логических рассуждений (и это, конечно, слабая сторона воспоминаний). Но для нас важно главное — глубинные, первородные причины конфликта Чернышевский называет определенно, убежденно, не колеблясь: «Единственным решившим дело мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», то есть на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне...» Речь шла о взгляде на революцию, о путях развития России — революционном или эволюционном: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его». В свою очередь, прояснилось для «новой редакции» и «направление» Тургенева, которое прежде (то есть в 40—50-е годы), по словам Чернышевского, «не было так ясно для нас». Таким образом, заключает мемуарист, со всей непреложностью обнаружился «разный взгляд на вещи». Другие мемуаристы, например реакционно настроенный Н. В. Щербань, истолковывали в своих воспоминаниях историю конфликта иначе. Он писал, что Тургенев якобы не мог мириться с «низким» уровнем критики, а главное — публицистики «Современника». Но в тенденциозно поданных Щербанем пристрастных и резких высказываниях Тургенева как раз и ощущается прежде всего неприятие писателем направления журнала.

Окончательно закрепила разрыв Тургенева с «Современником» бурная полемика, разгоревшаяся вокруг романа «Отцы и дети».

Примечательно, что еще до выхода в свет тургеневского произведения вокруг него сгущались тучи. Роман ждали уже с предубеждением. «Еще задолго до появления нового романа на страницах «Русского вестника», — рассказывается в мемуарах Г. З. Елисеева, — в литературных кружках стали ходить слухи, что Тургенев, разошедшийся тогда с Некрасовым и сильно недолюбливавший Чернышевского и особенно Добролюбова, пишет новый роман с целью осмеять направление «Современника», главным героем выведен один из редакторов «Современника», именно Добролюбов <…> слухи прибавляли, что роман пишется по инициативе Каткова, что Тургенев ведет с ним переписку о разных лицах романа, в особенности личности главного героя, и сообразно тому делает поправки. Слухи о таком бесчестном образе действий Тургенева, конечно, не могли не раздразнить редакции «Современника».

Когда роман был опубликован, то «Современник» встретил его статьей Антоновича, написанной крайне резко, недоброжелательно, прежде всего глубоко оскорбившей Тургенева своим пренебрежительным тоном. Несмотря на то что по своей сути статья выражала мнение «Современника» (о том, что образ «нового человека» искажен Тургеневым), она не встретила единодушного одобрения в среде его единомышленников. Из мемуаров Елисеева мы видим, что он не приемлет прямолинейную, грубую форму, в которую облек Антонович мнение «Современника», и считает, что этим Антонович нанес урон литературной критике, хотя и достиг «партийной цели».

Воспоминания шестидесятников свидетельствуют и о другой, весьма положительной, реакции современников на роман «Отцы и дети». В мемуарной повести Е. Н. Водовозовой приводятся интересные суждения молодежи, для которой Базаров — «истинный представитель молодого поколения <…> В нем сгруппированы наиболее характерные стремления, симпатии и антипатии молодого поколения...»

Образ Базарова, базаровский нигилизм связывался в сознании демократической молодежи с периодом между 1855 и 1857 годами. «Этот страстный период борьбы, — говорится в одном из документов тех лет, — не знавший никаких сделок, никаких уступок, продолжался не более двух лет...» * Для непосредственного участника движения шестидесятников, убежденного в неизбежности революции, Базаров — «уже отошедший тип», ибо в тех усло-

* «Литературное наследство», т. 76. М., 1967, с. 160.

виях такой всесокрушающий нигилизм означал прежде всего скептицизм по отношению к революционным идеалам. Так идейная борьба шестидесятых годов пересекла творческий путь Тургенева, «общественного художника», близко стоявшего к «средоточию русской жизни».

Время внесло свои коррективы в отношение передовых людей России к роману Тургенева. Не прошло и десяти лет, как появилась статья Н. В. Шелгунова «Люди сороковых и шестидесятых годов», в которой отчетливо выражено стремление к исторически объективной оценке «Отцов и детей».

Герцен, по свидетельству Н. А, Тучковой-Огаревой, удивлялся негодованию русской молодежи на Тургенева, видя в Базарове «много человеческого». И. Е. Репин в книге воспоминаний «Далекое близкое» свидетельствует о том, что из литературы два героя как образцы для подражания преобладали в студенчестве: Рахметов и Базаров.

Ко второй половине 1862 года относится полемика Тургенева с Герценом. Они особенно сблизились за границей в пору революции 1848 года, и Герцен, скептически оценивший Тургенева при первом их знакомстве (около 1844 г.), через несколько лет пишет о нем из Парижа: «Нравственно он чрезвычайно развился, и я им доволен...» * Тургенев становится одним из негласных корреспондентов «Колокола». В мемуарах Герцена «Былое и думы» упоминания о Тургеневе скудны и малозначительны, может быть, потому, что автору их не хотелось привлекать к Тургеневу излишнее внимание петербургских властей. Но очень оживленной и насыщенной была переписка между ними, в которой отражены их разногласия по вопросам общественного развития пореформенной России. К сожалению, мемуары (воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой) лишь вскользь рассказывают об отношениях Тургенева с Герценом и его семьей и о последней их дружеской встрече незадолго до кончины Герцена.

Из писем Тургенева и воспоминаний о нем Анненкова и других явствует, что в основе расхождений его с шестидесятниками, с Герценом лежали разногласия идейные, различия в представлениях о средствах преобразования общества. И хотя позиции и взгляды Тургенева в обстановке шестидесятых годов расходились со взглядами революционных демократов, он не был мелочным или несправедливо пристрастным по отношению к своим идейным противникам, как порой представляют его в своих воспоминаниях Панаева и Гончаров. Устойчиво враждебное отношение Тургенева ко всему реакционному привело его к разрыву с Катковым, Лон-

* А. И. Герцен. Собр. соч., т. XXIII, с. 82.

гиновым, Феоктистовым. В воспоминаниях И. Е. Цветкова записаны гневные слова Тургенева: «...месть, месть этим Лонгиновым, Катковым и прочим обскурантам, перебежчикам, ренегатам» *.

Наступают семидесятые годы. Бурно развивается народническое движение. Тургенев с волнением следит за формированием нового поколения передовых людей, увлеченных идеями революционного народничества. Восприятие Тургеневым народнической молодежи, хождения в народ воплощено в его романе «Новь». Отношение к Тургеневу революционной молодежи семидесятых годов, восприятие народническими кругами романа «Новь» отразились в воспоминаниях многих видных деятелей народнического движения — П. Л. Лаврова, Г. А. Лопатина, П. А. Кропоткина, писателей-народников Н. С. Русанова, Н. Н. Златовратского, С. Н. Кривенко и других. Народническое движение оставило богатую мемуарную литературу о Тургеневе.

Заслуга народнической мемуаристики прежде всего в том, что она развеяла легенду об аполитичности Тургенева. Известно, что писатель сам нередко говорил, будто не чувствует склонности к политике. Но это вовсе не свидетельствовало о его политическом индифферентизме. Еще Герцен заметил, что с «Отцов и детей» Тургенев становится писателем-политиком. Его чувство гражданственности, его интерес к политическим вопросам современной ему жизни в Западной Европе и в России особенно обострились в семидесятые годы. Богатый материал в этом отношении дают воспоминания П. Л. Лаврова и других семидесятников. «Редкое свидание наше проходило без разговора о России, о русских делах, о правительстве, о либералах и революционной партии...» О критическом отношении Тургенева к царскому правительству упоминается и у Лаврова, и в другом, совсем ином мемуарном источнике — дневниковых записях видного немецкого дипломата князя Гогенлоэ, с которым Тургенев встречался в Париже в конце семидесятых годов.

Страдая от отсутствия свободы у себя на родине, Тургенев, как и прежде, считал возможным завоевание свободных форм общественной жизни только мирным и постепенным путем. Однако в эту пору он уже не питал особых надежд на реформаторские намерения царского правительства и не ожидал также каких-нибудь значительных успехов от либерального движения. По словам Лаврова, Тургенев, недовольный «положением дела в России», говорил ему «об отсутствии всякой надежды на правительство, о бессилии и трусости его либеральных друзей <…> Во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и со-

---

* «Литературное наследство», т. 76, с. 419.

чувствие всякой попытке бороться против него». Он поддерживал народническую эмигрантскую печать. «Это бьет по правительству, и я готов помочь всем, чем могу», — говорил он Лопатину. Вместе с тем, по словам Лаврова, Тургенев «никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства, как не верил, чтобы народ мог осуществить свои «сны» о «батюшке Степане Тимофеевиче». Он скептически оценивал попытки народнической молодежи сблизиться с народом, не верил в успех социалистической пропаганды.

Проблемы социализма вызывали все большее внимание и споры в передовых общественных кругах и на Западе и в России. Не мог не откликнуться на них и чуткий ко всему новому в общественном развитии Тургенев. «Тургенев допускал, что социализм, может быть, и будет венцом социального развития человечества, — рассказывает в своих воспоминаниях Лопатин. — Но социализм рисовался ему в такой дали, что еле верилось в него. Ему казалось, что ни технические, ни экономические, ни моральные предпосылки не созрели еще для проведения его в жизнь <...> Но писатель не раз задумывался над решением коренного социального вопроса о противоречиях между хозяином и работником». Дочь декабриста Н. И. Тургенева, Фанни Тургенева, записала в своем дневнике слова Ивана Сергеевича: «...подымающийся прилив, остановить который невозможно ничем, — это рабочий вопрос» *. И здесь он неизбежно сталкивался с проблемой социализма. Гончаров в «Обрыве» назвал положительного героя своего романа Тушина «заволжским Робертом Оуэном». Тургенев также сочувственно откликнулся на социалистические опыты Роберта Оуэна. В конце романа «Новь» сообщается, что Соломин где-то в Перми завел свой небольшой завод «на каких-то артельных началах». Так Тургенев силой вещей приходит к тому, что сам критиковал в народничестве.

Пережив крах революции 1848 года, трагические дни Парижской коммуны, Тургенев в конце семидесятых годов связывает представления об истинном революционере (а следовательно, и о революции) с Россией, с русским освободительным движением.

И хотя Тургенев не разделял революционных настроений деятелей русского освободительного движения, он искал встреч и за границей, и в Петербурге с передовой демократической молодежью. Н. С. Русанов рассказывает в своих воспоминаниях об одной из таких встреч с группой народников-литераторов в 1879 году: «Тургенев явился в Петербург с твердым намерением ближе познакомиться если не с действующими революционерами, то с

* «Литературное наследство», т. 76, с. 384.

радикальной частью печати и главным образом с «молодыми литераторами», узнать, что волнует теперь этих людей. И это намерение он привел в исполнение, очень мало заботясь о литературном местничестве: гора не шла к Магомету, ну что ж — Магомет пойдет к горе...» «В нас Тургенев ценил людей, ради идеи ставящих на карту жизнь свою», — писал в своих мемуарах Г. Лопатин.

В семидесятые годы Тургенев систематически оказывал материальную помощь молодой революционной эмиграции, студентам, учившимся за границей, о чем свидетельствуют в своих воспоминаниях Лавров, Лопатин и другие деятели революционного движения семидесятых годов. «Пересчитать людей, материально ему обязанных, почти невозможно за их многочисленностью», — сообщает Анненков. По рассказу И. Павловского, «помимо просителен, у И. С. всегда много было людей, о которых он хлопотал, подыскивал занятия, устраивал и пристраивал».

Но помощь Тургенева была особенно ощутима, «когда нужно было поднять дух человека, разбудить его волю, внушить доверенность к себе», — рассказывает Анненков. Редкую чуткость Тургенев проявлял к молодым литераторам, читая их рукописи, помогая советом и т. д. Чернышевский писал в своих воспоминаниях: Тургенев «всегда был рад оказать любезную внимательность начинающим писателям. В. начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями». О помощи им Тургенева рассказывают в своих воспоминаниях А. Луканина, Л. Нелидова, К. Леонтьев, Р. Хин, Е. Ардов (Апрелева) и другие. Как вспоминает один из современников, Тургеневу «доставляло большое удовольствие выводить в жизнь молодых людей, выслушивать их горе, радости и надежды, пускать в новое плаванье слегка попорченные бурями если не большие корабли, то хоть лодки. «Я — как старая, покрытая мохом скала, — часто говаривал Иван Сергеевич, — под защиту которой летят от бури молодые чайки».

Единодушный отклик в мемуарной литературе нашли приезды Тургенева в Россию в 1879 и в 1880 годах. Писателю исполнилось шестьдесят лет. Критические споры вокруг романов «Отцы и дети», «Дым», «Новь» к этому времени уже улеглись, и в эту пору нового общественного подъема и он сам, и его произведения оценивались как воплощение протеста против деспотизма и реакции.

Мемуаристы свидетельствуют, что приезд Тургенева на родину в 1879 году ознаменовался горячим чествованием писателя прогрессивными кругами русского общества. Анненков встречу Тургенева в Петербурге сравнивал со встречей Вольтера в Париже

накануне французской революции. Студенческая молодежь с особенной теплотой встречала Тургенева,

В приветствии студентов Горного института говорилось: «Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность; подымайте смело и высоко ваше светлое знамя; на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия, вас поймут и отцы и дети» *. Тургенев в ту пору как бы воплощал собою общенациональное стремление к прогрессу и свободе.

В сочувствии и симпатиях молодого поколения друг Белинского, Грановского, Герцена видел главную награду своему творчеству. 4 марта 1879 года Тургенев, обращаясь к московским студентам, говорил: «Для начинающего писателя сочувствие молодого поколения, его сверстников, конечно, драгоценно: оно служит ему сильным поощрением; но для писателя стареющего, уже готовящегося покинуть свое поприще, это сочувствие, так выраженное, есть, скажу прямо, величайшая, единственная награда, после которой уже ничего не остается желать. Оно доказывает ему, что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, брошенное им семя дало плод».

Писательский путь Тургенева не был ровным и гладким: ему пришлось пережить немало обид, непонимания, расхождений с друзьями. Не всегда он и сам был прав. Но воспоминания о Тургеневе свидетельствуют: он протягивал руку всякий раз, когда получал к тому возможность. Так было с Гончаровым, Некрасовым, Герценом, Достоевским, Л. Н. Толстым. Забота о процветании русской литературы была для него главной: Тургенев свято хранил заветы своего друга и учителя Белинского.

Когда-то между Тургеневым и Толстым после нескольких лет дружбы вспыхнула ссора, надолго прервавшая их личные связи. Но не было более неутомимого пропагандиста произведений Толстого за рубежом, чем Тургенев. Он готов сам переводить «Войну и мир», он пишет предисловие к французскому переводу «Двух гусар», рассылает перевод «Войны и мира» своим друзьям, и среди них — Флоберу, обращается с просьбой к Анатолю Франсу дать отзыв об этом великом произведении. В беседе с писателями-народниками Тургенев сказал о Толстом: «Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного». Незадолго перед смертью Тургенев в прощальном письме при-

* «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», с. 87.

зывает Толстого вернуться к художественному творчеству, он называет его «великим писателем Русской земли». Отношения Тургенева и Толстого освещены в мемуарах Фета, сына Толстого Сергея Львовича, дневниках Гольденвейзера, С. А. Толстой, записках И. Л. Толстого и у других мемуаристов.

Во всех воспоминаниях, касающихся приезда Тургенева в Россию в 1880 году, звучит пушкинская тема, рассказывается об участии Тургенева в открытии памятника Пушкину в Москве.

В своей речи, развивая мысли статей Белинского о Пушкине, Тургенев говорил, что Пушкин был первым русским поэтом-художником, воплотившим в своем творчестве черты своей национальности. «Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего парода» *. Пушкин определил все дальнейшее развитие русской литературы. «Он создал наш поэтический, наш литературный язык и <...> нам и нашим потомкам остается только идти по пути, проложенному его гением», — говорил Тургенев. Его речь была одним из памятных событий пушкинских празднеств в Москве. Сам писатель чувствовал себя поистине счастливым. М. Ковалевский вспоминает: «Я никогда не видел Тургенева более умиленным, как в ту минуту, когда с памятника упала завеса и перед ним предстал Пушкин, которого Тургенев живо помнил лежащим в гробу и локон которого он носил на себе».

Речь Тургенева была последним публичным актом его литературно-общественной деятельности, ее, можно сказать, торжественным финалом.

3

Последнюю треть своей жизни Тургенев провел за границей, регулярно, однако, приезжая в Россию. О жизни писателя за границей написано множество мемуаров. И это не случайно. Еще в пятидесятые годы произведения писателя становятся известны за рубежом, прежде всего во Франции. Проспер Мериме рассказывает, что западноевропейские литературные круги видели в Тургеневе «одного из вождей реалистической школы». «Ни один из русских писателей не читался так усердно по всей Европе, как Тургенев», — свидетельствует известный датский критик Г. Брандес **.

Тургенев знакомил своих друзей за рубежом с новинками русской литературы, он всячески содействовал переводам на фран-

---

* И. С. Тургенев. Собр. соч., т. 11. М., Гослитиздат, 1956, с. 216.

** Сб. «Иностранная критика о Тургеневе». СПб., 1884, с. 37.

цузский и английский языки произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Толстого, сопровождая некоторые издания своими небольшими предисловиями. «Живя по личным причинам в Париже, он в то же время служил русским интересам. Мы назвали его шутя «послом от русской интеллигенции», — рассказывает в своих воспоминаниях М. М. Ковалевский.

Тургенев наряду с Герценом был в то время подлинным представителем передовой России в Западной Европе. Огромная заслуга принадлежит им обоим в ознакомлении европейских читателей с русским народом, его жизнью, его мужественным характером, его свободолюбивыми стремлениями.

В семидесятые годы в Париже Тургенев сближается с группой французских писателей — Г. Флобером, А. Доде, Э. Золя, Мопассаном. Их встречи и беседы, полные интереса, запечатлены в «Дневниках» братьев Гонкур, в воспоминаниях Доде и Мопассана. Дружба с ними — одна из замечательных страниц тургеневской биографии, важный эпизод в истории культурных связей России и Франции.

Французские писатели видели в Тургеневе своего учителя в искусстве слова. Их поражала мощь его личности, соединявшей в себе широту славянской русской натуры с европейской образованностью, внешнюю величавость с тонкой простотой обращения. «Люди, подобные ему, стяжают любовь всех благородных умов мира», — писал Мопассан.

Особенно близок русскому писателю был Флобер. Один из современников приводит слова Тургенева, что «у него, по собственному его признанию, было только два истинных друга: в России — Белинский, а во Франции — Гюстав Флобер» *. Великий французский писатель с восхищением отзывался о литературных суждениях и таланте Тургенева. В 1863 году Тургенев прислал Флоберу свои книги, изданные на французском языке. В ответ Флобер писал: «Как благодарен я за подарок, который вы мне сделали! Я только что прочел оба ваших тома и не могу устоять против желания сказать вам, что я восхищен ими. Уже давно вы для меня учитель. Но чем больше я вас изучаю, тем больше меня изумляет ваш талант. Меня восхищает страстность и в то же время сдержанность вашей манеры письма, симпатия, с какой вы относитесь к маленьким людям и которая насыщает мыслью пейзаж. Видишь и мечтаешь... От ваших произведений исходит терпкий и нежный аромат, чарующая грусть, которая проникает до глубины души. Каким вы обладаете искусством! Какое сочетание

* В. Чивилев. Отрывочные воспоминания о Тургеневе. — «Русские ведомости», 1883, 11 октября.

умиления, иронии, наблюдательности и красок! И как все это согласованно!.. Какая уверенная рука!» * Эта оценка Флобера выражала общее мнение о Тургеневе его французских друзей-писателей.

Известность Тургенева достигла и Америки, о чем рассказывают в своих воспоминаниях о нем американские литераторы Г. Джеймс и Х. Бойесен, английский писатель и переводчик Тургенева В. Рольстон.

Всемирное признание Тургенева выразилось в избрании его вместе с Виктором Гюго сопредседателем I Международного конгресса писателей, состоявшегося в Париже в 1878 году. Об этом рассказывают в своих воспоминаниях М. М. Ковалевский, В. Чуйко, П. Д. Боборыкин. «На конгрессе Тургенев не только представлял русскую литературу; в глазах читателей всего мира он являлся, наряду с Гюго, крупнейшим писателем эпохи. Известность на Западе Достоевского и Толстого пришла позже. Как выразился Анненков, Тургенев, подвигаясь к старости, «занял видное место перед тремя мирами — романским, германским и русским, которых знал одинаково хорошо».

4

Мемуары и приведенные в них авторские признания, на которые Тургенев был так щедр, дорисовывают его художнический облик. Мопассан писал о нем: «Психолог, физиолог и первоклассный художник, он умеет на нескольких страницах дать совершенное произведение, чудесно сгруппировать обстоятельства и создать живые, осязаемые, захватывающие образы, очертив их всего несколькими штрихами, столь легкими и искусными, что трудно понять, как можно добиться подобной реальности такими простыми по видимости средствами. И от каждой из этих коротких историй исходит, подобно облачку меланхолии, глубокая и скрытая в существе вещей печаль. Воздух, которым дышишь в его произведениях, всегда можно узнать: он наполняет ум суровыми и горькими думами, и кажется, что даже насыщает легкие странным и своеобразным благоуханием» **.

Еще при жизни бытовало мнение о созерцательном характере писательской натуры Тургенева. Бесспорно, созерцательность была присуща ему. Но, как и в его учителе Пушкине, в натуре Турге-

---

* Густав Флобер. Собр. соч. в 5-ти томах, т. 5. М., «Правда», 1956, с. 233.

** Ги де Мопассан. Статьи о писателях. М., Гослитиздат, 1957, с. 47.

нева «не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительности, борющегося существования», — замечает Анненков, хорошо изучивший личность своего друга, «И. С. любил энергичных и смелых людей <...> Человек, начинающий жить, смело смотрящий в лицо будущему, приводил его в художественный восторг», — рассказывает И. Павловский. Говоря об отеческом отношении Тургенева к молодежи, Г. Лопатин добавляет: «И, пожалуй, он больше любил «буйных» сынов своих <...> Буйные были ближе и приятнее душе его». Он восхищался бесстрашным революционером-народником И. Н. Мышкиным, жертвенностью русских девушек-революционерок. Героическое начало в человеке притягивало внимание Тургенева, художника и психолога.

Тургенев оставался писателем, художником в каждый момент своей жизни — и в радости, и в горе. Интересный диалог с Тургеневым о мужестве художника приводит в своих воспоминаниях И. Я. Павловский: «Однажды, рассказывая мне об одном молодом писателе, нашем общем знакомом, который жаловался И. С. на свои жизненные невзгоды <...> он заметил: «Помилуйте, писатель не может, не должен поддаваться горю! Он изо всего должен извлекать пользу. Писатель, говорят, человек нервный, он чувствует сильнее других. Но потому-то он и обязан держать себя на узде, обязан решительно всегда наблюдать и себя и других».

Некоторых мемуаристов поражала способность Тургенева переживать в процессе создания произведения или во время рассказа о том или ином событии драматическую судьбу своих героев. Друг Тургенева немецкий писатель Людвиг Пич рассказывает: «Когда он однажды писал небольшой безотрадный роман «Несчастная» из воспоминаний его студенческих лет, сюжет которого развивался почти помимо его воли, при описании особенно запечатлевшейся в его памяти фигуры покинутой девушки, стоящей у окна, он был в течение целого дня совершенно болен. «Что с вами, Тургенев? Что случилось?» — «Ах, она должна была отравиться! Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви, и, как это у нас принято в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен».

Все современники, оставившие свои воспоминания о Тургеневе, неизменно отмечали в нем то качество, которое Б. М. Эйхенбаум определил словом «артистизм». Да, Тургенев прежде всего был художественной натурой. Л. Н. Толстой говорил, что у Тургенева было «отношение ко всему с эстетической точки зрения». «Правда, любовь, счастье — все соединяется в красоте», — говорил

сам Тургенев. Однако артистизм Тургенева никогда не превращался в снобизм, в эстетство.

Художественная натура Тургенева бурно проявлялась в самом восприятии жизни. Когда он вспоминал о памятных ему событиях, его рассказ производил на слушателей впечатление вдохновенной импровизации. Анненков называл его сиреной. «Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор: он пояснял ее какой-нибудь сценкой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести», — отмечал Кропоткин.

Л. Н. Толстой вспоминал, как его и Гончарова восхищала образность тургеневского рассказа; когда Тургенев вышел, Гончаров сказал: «Вот он и не дорожит этим, а из него такие перлы так и сыпятся».

Выразительный и тонкий портрет Тургенева-рассказчика зарисовал Мопассан: «Он пристально смотрел на вас и говорил медленно, подчас подыскивая слова, но всегда находил нужное или, вернее, единственно правильное слово. Все, о чем бы он ни повествовал, поражало своей образностью, хватало за сердце, как хищная птица, вонзающая когти в свою добычу. В его рассказах чувствовалась беспредельная широта, то, что живописцы называют «воздухом», и огромная глубина мысли в соединении с кропотливой точностью описания» *.

Осведомленность Тургенева в мировой литературе поражала всех знавших его. А. Панаева замечает: «Тургенев более всех современных ему литераторов был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике». Он свободно владел английским, французским, немецким языками, читал по-испански, по-итальянски, по-латыни. Его разговор на изысканном французском языке удивлял его друзей — французских писателей. Г. Джеймс поражался совершенством его знания Шекспира. Для Мопассана Тургенев был гениальным романистом, знавшим всех великих людей своего времени, перечитавшим все, что в состоянии перечитать человеческое существо, и говорившим на европейских языках, как на своем родном.

Многие мемуаристы — И. Павловский, А. Половцев, Н. Островская, Е. Ардов (Апрелева), Н. Щербань — приоткрывают нам двери в творческую лабораторию Тургенева, рассказывая о его мучительной работе над сюжетом, образом, стилем, о его требовательности к себе как художника, о глубоком чувстве ответственности за свой

---

* Ги де Мопассан. Полн. собр. соч. в 12-ти томах, т. II. М., «Правда», 1958, с. 182—183.

писательский труд. «Редко его произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перечитывалась, исправлялась и часто переписывалась заново», — рассказывает Д. В. Григорович. Начинающей писательнице Е. Апрелевой, которой Тургенев помогал в ее первых творческих шагах, запомнились его слова: «Удивительное дело: композитор проходит теорию музыки, гармонию; живописец не напишет картины, не ознакомившись с перспективой, красками, рисунком; в архитектуре, в скульптуре требуется первоначальная школа. Только принимаясь за писательство, полагают, что никакой школы не нужно и что доступно оно каждому, кто обучался грамоте...» По воспоминаниям другого современника, «один из главных упреков, которые Тургенев делал в то время молодым писателям, относился к пренебрежению формой, к неряшливости языка. По поводу неудачных выражений он мог возмущаться и негодовать, как будто дело шло о настоящем преступлении». Один из величайших стилистов в мировой литературе, Тургенев тщательно заботился о художественном совершенстве своих произведений, завершенности их формы.

В ряде воспоминаний приводятся рассказы Тургенева о замыслах, волновавших его воображение, но почему-либо оставшихся неосуществленными. Здесь и трагическая история одного студента, которого товарищи поняли и оценили только после его смерти (воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой); и замыслы многих рассказов из «Записок охотника» (воспоминания Н. А. Островской). В воспоминаниях Я. П. Полонского переданы сюжеты фантастической повести, рассказанной Тургеневым летом 1881 года в Спасском, и повести «Старые голубки» о необыкновенной влюбленности друг в друга стареющих супругов. Полонский пересказал сочиненную Тургеневым сказку «Самознайку».

Во многих мемуарах содержатся существенные для понимания ряда произведений Тургенева его собственные оценки и комментарии. Так, например, Н. А. Островская в своих воспоминаниях приводит чрезвычайно важные для интерпретации романа «Отцы и дети» высказывания Тургенева. На замечание о том, будто он не знал, что делать с Базаровым, и потому умертвил его, Тургенев сказал: «Да, я действительно не знал, что с ним делать. Я чувствовал тогда, что народилось что-то новое; я видел новых людей, но представить, как они будут действовать, что из них выйдет, я не мог. Мне оставалось или совсем молчать, или написать только то, что я знаю. Я выбрал последнее». Другое высказывание касается статьи Писарева о Базарове. «Разбор Писа-

рева необыкновенно у м е н , — говорил Тургенев, — и я должен сознаться, что он почти вполне понял все то, что я хотел сказать Базаровым».

В изобилии встречаются на страницах мемуарной литературы глубокие и тонкие высказывания Тургенева по самым различным вопросам эстетики, теории и истории литературы, психологии творчества, конкретные оценки им писателен прошлого и современников. Литературно-эстетические взгляды Тургенева нельзя изучать без учета этих мемуарных свидетельств.

5

Многие годы своей жизни Тургенев прожил за границей, в семье Полины Виардо.

Необыкновенное по силе и постоянству чувство Тургенева к знаменитой артистке не могло не привлечь внимания мемуаристов. Об отношениях Тургенева с Виардо и ее семьей рассказывается в воспоминаниях И. Я. Павловского, А. П. Боголюбова и других. Эти отношения, сложившиеся в обстановке устойчивого семейного быта артистки, их длительность казались психологической тайной, загадкой. Объяснения искали в художнической натуре Тургенева, покоренной редкостным талантом певицы. Тургенев был неизменным участником, а порой и устроителем литературно-музыкальных утренников и вечеров в доме Виардо, о чем вспоминают А. П. Боголюбов, М. Л. Василенко, Поль Виардо и другие. Эти концерты пользовались европейской известностью. На них можно было встретить Сен-Санса, Сарасате, Гуно, Флобера и других выдающихся художников середины прошлого века.

Но как ни привязан был Тургенев к Виардо и ее семье, чувство неудовлетворенности своим положением, своей удаленностью от родины постоянно мучило его. Одному из своих знакомых он говорил в Париже: «У меня есть близкие друзья, люди, которых я люблю и которыми любим; но не все, что мне дорого и близко, так же близко и интересно для них; не все, что волнует меня, одинаково волнует и их... Отсюда понятно, что наступают для меня довольно продолжительные периоды отчуждения и одиночества». Не все, шедшее из России и интересное для Тургенева, было равно интересно и для семьи Виардо. Тургенев говорил о своем одиночестве даже людям, не принадлежавшим к кругу близких его друзей, о чем вспоминают П. Д. Боборыкин, В. В. Верещагин и другие.

Многим из посещавших Тургенева в Буживале в последние годы его жизни бросалось в глаза это одиночество писателя, как

бы заброшенного на чужбине. А. Ф. Кони, рассказывая о посещении им Тургенева летом 1879 года, вспоминает, какими «неухоженными» показались ему и две комнатки, которые занимал Тургенев в доме Виардо, и сам их обитатель. И другим современникам казалось, что в последние годы жизни Тургенева Виардо относилась к нему без должного внимания и заботы, что в ее отношениях к Тургеневу большую роль играли расчеты и т. п. Следует, однако, привести и другие свидетельства. Художник А. П. Боголюбов, часто бывавший у Тургенева, рассказывает о своей беседе с Виардо вскоре после кончины Тургенева. По поводу нападок на нее в русской печати Виардо сказала: «Какое право имеют так называемые друзья Тургенева клеймить меня и его в наших отношениях? Все люди от рождения свободны, и все их действия, не приносящие вреда обществу, не подвержены ничьему суду! Чувства и действия мои и его были основаны на законах, нами принятых, непонятных для толпы, да и для многих лиц, считающих себя умными и честными. Сорок два года я прожила с избранником моего сердца, вредя разве себе, но никому другому. Но мы слишком хорошо понимали друг друга, чтобы заботиться о вреде и что о нас говорят, ибо обоюдное наше положение было признано законным теми, кто нас знал и ценил. Ежели русские дорожат именем Тургенева, то с гордостью могу сказать, что сопоставленное с ним имя Полины Виардо никак его не умаляет...»

К концу семидесятых годов относится встреча Тургенева с М. Г. Савиной. Воспоминания великой актрисы («Мое знакомство с Тургеневым») открывают последнюю лирическую страницу в жизни писателя.

В 1881 году Тургенев последний раз приезжал в Россию. Воспоминания одного из ближайших друзей Тургенева — поэта Я. П. Полонского — «И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину» — воссоздают жизнь Тургенева в Спасском на протяжении целого лета, рисуют картины повседневного быта Тургенева, его житейские привычки.

В начале 1882 года Тургенев тяжело заболел. Мучительны были его почти двухлетние страдания. Но даже в эту пору страданий и тяжелых предчувствий не угасала в Тургеневе его могучая творческая сила. В его воображении часто возникали новые замыслы, и он не раз порывался к любимому труду. «Итак, несмотря на предчувствие, я начинаю новую книжку», — записывает он в своем дневнике в декабре 1882 года. От мыслей о болезни он обращался к текущим новостям литературной и музыкальной жизни. Преодолевая боли, он едет в «наш художественный клуб», слушает чтение Мопассаном его нового романа, принимает посетителей, по-прежнему ведет большую переписку. Его дневниковые за-

писи полны откликов на самые разнообразные события, происходившие в то время на родине.

С каждым днем ему становилось хуже, иногда приходили отчаяние и жажда смерти... Но все наблюдавшие Тургенева в последний год его жизни поражались силе его духа. «Что ж, мне не жалко умереть, я сделал все, что мог, любил людей, и они меня любили, дожил до старости, был счастлив, насколько можно», — говорил измученный Тургенев Павловскому.

Тургенев сознавал, что умирает. Мысли его обращались к далекой, дорогой России. В мае 1882 года больной Тургенев писал Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, моему молодому дубу, — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу...»

Последние годы жизни Тургенева, его страдания, смерть, прощание с ним его друзей во Франции, торжественные похороны в Петербурге подробно описаны многими мемуаристами. Горе переживала вся прогрессивная Россия. Один из современников Тургенева, описывая похороны писателя, рассказывает следующий примечательный эпизод: «Обратив особенное внимание на преобладание простого, трудового люда, я решил определить степень его сознательного отношения к совершавшемуся событию. С этой целью я обратился к одному из рабочих, по-видимому каменщику, с намеренно наивным вопросом:

— Скажи, пожалуйста, любезный, кого это хоронят?..

— Да ты, барин, с похмелья, что ли, ежели не знаешь, кого хоронят?..

— Извините, любезный, — возразил я ему, — я человек приезжий, и не удивительно, если не знаю.

— Чай, в газетах все прописано, коли не слыхал?.. Тургенева хоронят — вот кого!.. Из писателев будет...» *

«Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова», — писал Салтыков-Щедрин **. Он указывал, что, как ни замечателен был сам по себе художественный талант Тургенева, тайна глубокой симпатии к нему со стороны мыслящих людей заключалась в том, что «воспроизведенные им жизненные образы были полны глубоких поучений... в основе которых лежит глубокая вера в торжество света, добра и нравственной красоты». В прокламации народовольцев, выпущенной в связи со смертью Тургенева, говорилось, что лучшая часть русской молодежи любит Тургенева за то, что он был «честным провоз-

* «Литературное наследство», т. 76, с. 683—684.

** М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 9. М., «Художественная литература», 1970, с. 457.

вестником идеалов целого ряда молодых поколений... служил русской революции сердечным смыслом своих произведений... он любил революционную молодежь, признавал ее «святой» и самоотверженной» *.

Имя его в сознании молодых современников соседствовало с именем Щедрина. Один из них писал в те скорбные дни: «Тургенев умер; стоит теперь еще умереть Щедрину — и тогда хоть живьем в гроб ложись! Везде эти люди заменяли нам и парламент, и сходки, и жизнь, и свободу!» **

С. Петров

---

* «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», с. 8.

** «Литературное наследство», т. 76, с. 332.

И. С.
ТУРГЕНЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В СЕМЬЕ

В. Н. ЖИТОВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О СЕМЬЕ И. С. ТУРГЕНЕВА»
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

1838 год

Воспоминания мои о семействе Тургенева начинаются с 1838 года — года отъезда Ивана Сергеевича в Берлин [1]. Некоторые события из этой эпохи особенно врезались в моей детской памяти.

Шили мы тогда в Петербурге, в доме Линева [2]. Иван Сергеевич кончил курс в университете, а Николай Сергеевич был уже офицером конногвардейской артиллерии.

Семейство Тургеневых составляли, кроме самой Варвары Петровны, деверь ее, Николай Николаевич Тургенев, по смерти мужа ее, Сергея Николаевича, заведовавший до 1846 года всеми ее имениями, два ее сына, Николай и Иван Сергеевичи, я, как «fille adoptive», «l'enfant de la maison» *, и еще троюродная племянница Варвары Петровны, Мавра Тимофеевна Сливицкая, бывшая замужем за профессором Харьковского университета Артюховым. В доме жили часто сменяемые гувернантки из иностранок, учителя и учительницы музыки для меня.

Приживалок при мне у Варвары Петровны никогда не было. Да она и не принадлежала к числу тех барынь, которые могли довольствоваться подобострастием людей, обязанных ей куском хлеба. Ее властолюбие и требование

---

* приемная дочь, свой ребенок (*фр.*).

поклонения ей простиралось не на одну ее семью и не на один ее крепостной люд. Она властвовала над всем, что окружало ее и входило в какие-либо сношения с нею, и при этом она обнаруживала в себе редкую и часто непонятную нравственную силу, покоряющую себе даже людей, не обязанных ей подчиняться. Иногда достаточно было ее взгляда, чтобы на полуслове остановить говорящего при ней то, что ей не угодно было слушать. При ней своего мнения, несогласного с ее, никто высказывать и не смел. Один только Иван Сергеевич, ее любимец, и то в самых мягких, почтительных выражениях, скорее с мольбой, чем с осуждением, высказывал ей свои желания и соболезнования.

Гнет крепостного права, в особенности тяготевший в доме его матери, скорбно отзывался в душе столь известного по доброте своей Ивана Сергеевича, и ему было тем тяжелее, что бороться он отнюдь не мог. Доброта его, однако, иногда в без всякой борьбы подчиняла волю даже и Варвары Петровны. При нем она была совсем иная, и потому в его присутствии все отдыхало, все жило. Его редких посещений ждали, как блага. При нем мать не только не измышляла какой-нибудь вины за кем-либо, но даже и к настоящей вине относилась снисходительнее; она добродушествовала как бы ради того, чтобы заметить выражение удовольствия на лице сына. И какой это был нежный и любящий сын в тот год, как я начала его помнить! Чувства его к матери несколько изменились впоследствии, на моих еще глазах. Причины такой перемены выяснятся сами собою из дальнейшего. В начале же 1838 года, или в конце 1837 года, когда Варваре Петровне сделали весьма серьезную операцию, я из уст очевидцев слышала, какими нежными заботами он окружал мать, как просиживал ночи у ее постели.

Весь 1838 год, по болезненному состоянию Варвары Петровны, мы жили совсем уединенно. Ежедневными посетителями были Арендт и Громов — доктора, знаменитости того времени. Весьма часто навещали нас Родион Егорович Гринвальд, бывший товарищ покойного Тургенева-отца, и Василий Андреевич Жуковский [3], которого я тогда очень не любила за то, что почти к каждому его приезду я должна была выучивать стихи из его «Ундины» и декламировать перед ним. При этом я обнаруживала самую черную неблагодарность, так как он привозил мне всегда великолепные конфеты, а я,

уничтожая их, тем не менее соображала своим пятилет--м разумом, что за них придется опять вызубрить со слов самой Варвары Петровны несколько стихов из «Ундины».

С Иваном Сергеевичем в это время мы были в величайшей дружбе. Он очень любил меня, играл со мной, бегал по огромной зале, носил меня на руках, и сам еще был так юн, что не прочь был, не ради одной моей забавы, но и для собственного своего удовольствия, и бегать и школьничать. Одно из наших общих с ним школьничеств я живо помню.

Он почему-то тогда усиленно занимался греческим языком[4]. Каждое послеобеда кто-то приходил к нему, и к великому моему огорчению, в эти часы вход в его комнату мне воспрещался. Я только за дверью слушала какие-то непонятные звуки, выделываемые то голосом Ивана Сергеевича, то голосом его учителя или товарища. Но в изучении Аристофана и мне пришлось принять участие. Однажды он вздумал научить меня лягушечьему греческому языку (как он сам выражался). Познания мои заключались в том, что он заставил меня заучить следующие звуки: «Бре-ке-ке-кекс-коакс-коакс» *. Получив эти сведения из квазигреческого языка, я была ставлена им на стол, причем он придавал мне какую-то, вероятно, классическую позу с весьма вытянутой рукой, и заставлял меня повторять заученное, сначала протяжно, почти торжественно, а потом очень быстро и самым тонким, визгливым голосом. При этом мы оба заливались таким громким смехом, что представление наше часто обращало на себя внимание Варвары Петровны, выходившей нас унимать: «Finissez donc, Jean, vous gâtez la petite, vous en ferez un virago!» **

Иногда же в момент наших самых шумных увлечений при представлении выходила нас укрощать главная камер-фрейлина maman ***. Входила эта особа неслышною поступью, но строго и внушительно произносила: «Мамашенька приказали вам перестать!» Мы умолкали, и в мое

---

* Благодаря знакомому мне классику я убедилась, что память мне не изменяла нисколько. Звуки, которыми мы так забавлялись с Иваном Сергеевичем, повторяются в комедии Аристофана «Лягушки». (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

** Перестань, Иван, ты портишь девочку, ты делаешь ее разбойницей! (*фр.*)

*** маменьки (*фр.*).

утешение Иван Сергеевич сажал меня к себе на плечо и торжественно носил меня по комнате.

Все это происходило в то время, когда Иван Сергеевич был совсем юноша. Тогда он еще смеялся тем беззаботным, раскатистым смехом счастливого человека, и смех его был иногда так громок, что мать весьма строго и серьезно останавливала его: «Mais cessez donc, Jean, c'est même mauvais genre de rire ainsi. Qu'est ce que ce rire bourgeois!» *

Часто после Варвара Петровна вспоминала этот его «мещанский смех», но я такого смеха по возвращении его из Берлина уже не слыхала. Говорят, он был очень веселый собеседник, то есть именно веселый. Дома же я очень редко видала его таким.

День отъезда Ивана Сергеевича за границу я помню очень живо. Утром ездили мы все в Казанский собор, где служили напутственный молебен. Варвара Петровна сидела все время на складном кресле и горько плакала. На пароход провожали его: мать, Николай Сергеевич и я. На обратном пути с пристани, когда Варвару Петровну посадили в карету, с ней сделался обморок.

Несколько дней спустя мы уехали в Спасское. Там получались письма от Ивана Сергеевича, служился благодарственный молебен за избавление его во время пожара на пароходе[5], и наконец был прислан из Берлина его портрет, рисованный акварелью **. Сходство было поразительное[6]. И теперь помню свой крик детского восторга: «C'est Jean!» ***, когда мне показали портрет. Варвара Петровна не расставалась с ним. Он всегда стоял на ее письменном столе, и когда она ездила по деревням или на зиму в Москву, она всегда собственноручно укладывала его в свою дорожную шкатулку. Она очень грустила в разлуке с сыном. У меня хранится и теперь ее альбом, помеченный 1839 и 1840 годами[7]. Выписываю из него несколько строк, выражающих ее любовь к сыну и ее тоску по нем.

«1839. A mon fils Jean. C'est que Jean c'est mon soleil à moi, je ne vois que lui et lorsqu'il s'éclipse, je ne vois

* Перестань же, Иван, даже неприлично так хохотать. Что за мещанский смех! (*фр.*)

** Копия с этого портрета помещена в январской книге «Вестника Европы» 1884 г., а оригинал хранится у автора воспоминаний. (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

*** Это Иван! (*фр.*)

plus clair; je ne sais plus où j'en suis. Le coeur d'une mère ne se trompe jamais et vous savez, Jean, que mon instinct est plus sûr que ma raizon» *.

Где-то я прочла, что Варвара Петровна оставила сыну свой дневник. В 1849 году летом в Спасском, в цветнике против окон того самого Casino, имя и место которого сохранились и при Иване Сергеевиче, весь дневник и вся переписка Варвары Петровны были, по ее приказанию и в ее присутствии, сожжены, и я лично присутствовала при этом.

В 1849 и 50-м году она продолжала писать свой дневник карандашом и на отдельных листках. Спустя несколько дней после ее смерти листки эти Николай Сергеевич принес в кабинет покойной, затворил двери и прочел их громко. Слушателями были: его жена, Иван Сергеевич и я. Где эти листки теперь, не знаю, но помню их содержание и думаю, что Иван Сергеевич никогда бы не захотел предать их гласности [8].

1841 год

В 1841 году Иван Сергеевич возвратился из-за границы и приехал летом в Спасское [9]. Тут привез он свое первое сочинение «Парашу».

Впечатления особенного это у нас не произвело. Маленькая книга в голубой обертке валялась на одном из столиков кабинета его матери, и, сколько мне помнится, толков мало было о ней [10]. Единственное, что из нее было извлечено и повторялось, это где-то сказанные слова: «В порядочных домах квасу не пьют». На основании этих слов квас был изгнан со стола, к великому огорчению и прискорбию моей уважаемой гувернантки Катерины Егоровны Риттер, которая попробовала было потребовать квасу, но у Варвары Петровны требовать никто не смел, и квас подавали только в пристройке, где помещались мои гувернантки.

Радость Варвары Петровны при свидании с сыном была великая, хотя, впрочем, при встрече «ура!» никого

---

* Сыну моему Ивану. Иван — мое солнышко, я вижу его одного, и, когда он уходит, я уже больше ничего не вижу; я не знаю, что мне делать. Сердце матери никогда не ошибается, и ты знаешь, Иван, чувство мое вернее рассудка (*фр.*).

кричать она не заставляла. Только сама она вдруг совершенно изменилась: ни капризов, ни придирок, ни гнева.

Чем это объяснить, как не обаятельностью и добротой Ивана Сергеевича, которая будто распространялась на все окружающее его. Все его любили, всякий в нем чуял своего и душой был предан ему, веруя в его доброту, которая в доме матери не смела, однако, проявляться открыто в защиту кого-либо. Но тем не менее, когда он приезжал, говорили: «Наш ангел, наш заступник едет».

Зная характер своей матери, он никогда ей не высказывал резко то, что его огорчало в ее поступках. Он знал, что этим еще больше только повредишь тому, в пользу кого будет произнесено слово защиты. И несмотря на это Варвара Петровна при нем и для него точно перерождалась: она, не боявшаяся никого, не изменявшая себя ни для кого, при нем старалась показать себя доброй и снисходительной.

Охлаждение Ивана Сергеевича к матери совершилось позже, постепенно. Да и охлаждением этого назвать нельзя — он удалился только от нее. Борьба была невозможна, она повела бы к худшему, а видеть и молчать было слишком тяжело для его доброго сердца.

По приезде из Берлина он был необыкновенно нежен к матери. Он еще не успел вникнуть во все, творившееся дома, а прежнее, за три года отсутствия, изгладилось в его незлобивой памяти.

Те мелкие заботы друг о друге, выражающие более всего согласие и дружбу в семьях, были обоюдны. Варвара Петровна целые дни придумывала, чем бы угодить сыну. Заказывались и обдумывались его любимые кушанья, варенье, в особенности крыжовенное, любимое его, посылалось большими банками в его флигель, и надо правду сказать, что оно необыкновенно быстро истреблялось с моею помощью и с помощью разных дворовых ребятишек, которые смело подходили к окну его флигеля. Для них молодой барин был свой человек.

Кроме того, Варвара Петровна, не терпевшая собак, дозволяла Наплю, предшественнику известной у нас Дианки, постоянно присутствовать на балконе потому только, что это была Ванечкина собака, и даже удостоивала из своих рук кормить Напля разными сластями.

С своей стороны, Иван Сергеевич часто откладывал охоту, которую так любил, чтобы побыть с матерью, и ког-

да она изъявляла желание прокатиться в своем кресле по саду (ходить она не могла), то сын не позволял лакею управлять креслом и всегда исполнял это сам.

Один из вечеров этого лета особенно был замечателен. В этот день Иван Сергеевич еще с утра отправился на охоту, а maman часов в 7 вечера поехала одна в карете осмотреть поля. Ее сопровождал только бурмистр верхом. Часу в девятом разразилась страшная гроза, одна из таких гроз, которых немного приходится кому-либо запомнить.

Я забилась в самый темный угол гостиной и плакала, потому что все в доме были в страшной тревоге. Ни барыни, ни барина молодого не было, и никто не знал, где они. Первый приехал Иван Сергеевич.

Переодевшись в своем флигеле, он прибежал в дом, не зная еще, что матери нет.

Увидя мои слезы и не зная причины их, он начал стыдить меня за то, что я боюсь грозы. А это действительно было со мною в детстве, и всегда меня за то журил Иван Сергеевич. Он брал меня к себе на колени, садился у окна и старался отучить меня от этого страха, обращая мое внимание на красоту облаков и всей природы во время грозы.

На этот раз, когда в ответ на его ласковые слова я начала еще громче кричать: «maman убило громом! maman убило громом!» — долго не мог он понять моих бессвязных слов.

— Где же маменька? — обратился он к кому-то.

— Барыня не возвращались. Они поехали кататься и не вернулись. Верховых по всем дорогам разослали, — было ему отвечено.

Иван Сергеевич бросился из комнаты.

Несмотря ни на дождь, ни на бурю, ничего на себя не накинув, побежал он на конный двор, схватил первую попавшуюся лошадь и выехал уже из ворот, сам не зная куда. Но тут же был встречен бурмистром, которого Варвара Петровна послала домой с приказанием никому ее не искать и с известием, что она в безопасности в сторожке лесника. Осмотрев поля, она вздумала поехать в лес, где ее и застигла гроза.

Долго, очень долго продолжалось наше томительное ожидание. Наконец услыхали мы стук колес. Иван Сергеевич бросился на балкон и на руках вынес мать из кареты, донес ее до кресла, ощупывал ее платье и ноги.

— Не промокла ли ты, maman? — беспокоился он и беспрестанно целовал ее руки, — Ну, слава богу, слава богу, — твердил он, — с тобой ничего не случилось. Как я боялся за тебя: лошади могли испугаться и понести, это не выходило у меня из головы.

И опять припадал к матери и целовал ее.

Вот каковы были отношения сына к матери. И грустно и тяжело было видеть, как они изменились впоследствии.

Для меня лично приезд Ивана Сергеевича имел тоже большое значение. Исключая счастие видеть его при моем к нему обожании, много было и других причин радоваться. Во-первых, прекращались все уроки: он утверждал, что летом детям учиться вредно. Заступался он за меня и открыто, за дело ли, не за дело мне доставалось, и еще чаще слышалось добродушное: «Vous gâtez la petite» * из уст Варвары Петровны. Но лучше всего было у нас с ним послеобеденное время, когда maman уходила отдыхать в свою спальню. Иван Сергеевич ложился тоже на патэ.

Такого рода мебели теперь, я думаю, уже нигде не встретишь, но в Спасском тогда эта четырехугольная громада, вышитая по канве какими-то причудливыми арабесками, занимала всю середину небольшой гостиной нового дома.

И вот на эту-то громаду ложился Иван Сергеевич, причем его ноги все же на нем не умещались и, по крайней мере, аршина на полтора вытягивались в пространство. Он ложился, а меня сажал возле себя, — и тут рассказывались сказки.

Рассказывала, однако, я, а не он. И до сих пор не пойму, как не надоела я ему весьма частым повторением все одной я той же моей тогда любимой сказки «Голубой фазан». Иногда я рассказывала и другие, но он, верно, заметил, что я эту люблю более других, и даже притворялся (как я после это сообразила), что и сам ее любит и забывает некоторые подробности из нее. И все это — чтобы доставить удовольствие ребенку!

Но до укладывания и усаживания нашего на знаменитый патэ происходили иногда хищнические наши набеги на бакалейный шкаф. А в Спасском этот шкаф имел историческое значение.

К дому примыкала уцелевшая от пожара каменная галерея [11]. В ней помещалась библиотека, а с левой стороны,

* Ты балуешь ребенка (*фр.*).

при входе в нее, стоял огромный шкаф, находящийся в ведении старика камердинера покойного отца Ивана Сергеевича. Михайло Филиппович, так звали его, был оставлен после смерти барина своего на покое и на пенсии. Чтобы дать ему какое-нибудь дело, ему отданы были ключи от библиотеки и от шкафа.

Упоминая о библиотеке, замечу, что Иван Сергеевич, говоря о своем первом знакомстве с русской литературой через камердинера матери, говорил, вероятно, об этом самом Михайле Филипповиче, потому что, когда я уже была постарше, я часто, и, разумеется, потихоньку от maman, выпрашивала у старика французские книги для чтения. Он, бывало, отчаянно махнет руками (его привычный жест) и скажет:

— Эх, барышня! Все-то вы французские книжки читаете, ну что в них? Вот вы бы Хераскова почитали: книжка хорошая! [12]

Но я выше m-me де Жанлис и переводов мисс Радклифф ничего тогда не находила.

Михайло Филиппович был очень глух и, хотя в то время мы никто этого не замечали, несколько помешан. Его странности, его характер и впоследствии трагическая смерть вполне это доказали.

Помешательство его совершалось постепенно, вследствие его глухоты и наклонности к уединению после смерти своего барина. Но видно было, что пережил он много такого, что с горечью таилось в его душе. Оглох он с 14 декабря 1825 года, кажется, вследствие контузии. Как и почему — об этом иногда говорилось шепотом и полусловами. Но один разговор, свидетельницей которого я была, доказывает истину этого предположения.

У покойного Сергея Николаевича Тургенева был друг и сослуживец Родион Егорович Гринвальд. Гринвальд всегда и после оставался другом тургеневского семейства. При мне раза четыре приезжал он из Петербурга в Спасское, и почти всегда в сентябре месяце, потому что был страстный любитель псовой охоты. Проживал он у нас в Спасском неделю и больше. Варвара Петровна делала все возможное, чтобы угостить и потешить своего дорогого гостя: сама выезжала в карете, чтобы следовать за охотой, на известных пунктах ожидала охотников, приглашенных соседей, с роскошным завтраком и прочими угощениями.

В один из своих приездов Гринвальд вместе с Варва-

рой Петровной вошел в библиотеку. Михайло Филиппович встал, и лицо его озарилось не улыбкой, этого никто у него не видал, а как-то просияло.

— Что, старик, жив? Здравствуй! — обратился к нему генерал.

— Здравствуйте, батюшка, ваше превосходительство, жив-то жив, да вот глух стал — ничего не слышу.

— Il est sourd depuis le 14. Vous vous rappelez? * — вмешалась Варвара Петровна **.

— Да, старина, много мы с тобой тогда страху видели, — кричал генерал над ухом старика.

— Да, да, ваше превосходительство, палили, страсть как палили!

Разговор остановился на этом, но видно было, что Гринвальд, Варвара Петровна и старик хорошо друг друга понимали.

Факт был тот, что глухота Михайло Филипповича была так сильна, что он, отвыкнув постепенно слышать других, сам говорил мало, жил особняком, постоянно читал священные книги и, предоставленный совершенно самому себе, создал себе навязчивую идею, предмет мучения — бакалейный шкаф. Для него это было хранилище барского добра, для молодой прислуги — предмет потехи, а для меня — обетованной землей, текущей медом и млеком. В нем заключалось все, что может быть в хорошей лавке. Все пудами покупалось и привозилось из Москвы от Андреева и сдавалось на руки Михайле Филипповичу. Скупость его была необычайная. Получая все купленное, он отчаянно вздыхал и драматически качал головою.

— И зачем всего столько навезли? — говаривал он. — Сколько ни навези — все скушают!

Каждое утро приходил к нему повар и требовал из шкафа все нужное для стола.

Со вздохом развешивал и отпускал все старик, и если требовалось $^1/_2$ фунта чего-нибудь, он, отвесивши, хоть щепотку, хоть несколько зерен, в утешение себе, положит обратно.

Когда же, к великому его прискорбию, наезжали гости и требовалось провизии особенно много, Михайло Филиппович вздыхал так громко и с таким ужасом раз-

* Он оглох после 14-го. Вы помните? (*фр.*)

** 14 декабря Родион Егорович Гринвальд был дежурным во дворце на половине императрицы Александры Федоровны. (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

махивал руками, что в такие дни и я и многие приходили смотреть на его отчаяние как на зрелище. Но мы не знали еще тогда, что это было для него действительным мучением <...>

Ложился спать он рано, тут же на деревянной широкой скамье возле шкафа. Но спал неспокойно, потому что часто вечером кто-нибудь из молодежи-прислуги нарочно шумел и гремел ключами около него. Как ни глух был этот цербер барского добра, он вскакивал и в неописанном ужасе осматривался кругом, но, конечно, никого на месте преступления не находил.

Мне кажется, для Михаила Филипповича приезд Ивана Сергеевича даже и тот не был праздником.

Со словами «пойдем грабить» отправлялись мы с ним к шкафу. Иван Сергеевич даже иногда при этом принимал свирепый вид, шел необыкновенно крупными шагами, причем я, держась за его руку, едва поспевала бегом за ним. Так и предстанем мы, бывало, пред лицом Спасского Гарпагона.

— Отопри! — скажет Иван Сергеевич.

Ему, как большому и как коренному барину, шкаф отворялся настежь, и он полновластно распоряжался в нем. Сначала старик подопрет щеку рукою и вздыхает, усиленно вздыхает.

Я в восторге, дергаю Ивана Сергеевича за рукав и киваю на старика. Иван Сергеевич искоса посмотрит на него и продолжает опустошать на верхней полке, а я немного скромнее на нижней.

Михаил Филиппович качает головой и размахивает руками.

Нам еще веселее!

Наконец не вытерпит старик, подойдет, погремит ключами, даже почти сделает движение, чтобы затворить шкаф.

— Погоди, погоди, Михайло Филиппович, — успокаивает его барии, — я еще не кончил.

Я уже не ем, а умираю со смеху.

А то бывало и так: ждет, ждет старик, пока мы насытимся, и наконец умоляющим голосом скажет:

— Сударь! Пожалейте мамашеньку! Ведь у вас животик заболит!

После нескольких дней нашего такого опустошения Михаил Филиппович являлся к барыне. Сперва, по особенно ему на то данному праву, подходил он к ручке.

— Ну, что скажешь? — спросит Варвара Петровна, знавшая заранее, что последуют жалобы.

— Ничего, сударыня, не осталось.

— То есть как ничего?

— Да так, сударыня, ничего, — разведет он руками, — ничего не осталось, все покушали.

— Ну что же, — спокойно и с улыбкой утешает его барыня, — написать реестр того, что нужно, и послать подводу в Мценск или в Орел.

— Опять ведь все скушают, — с отчаянием и вразумительно повторит старик.

Варвара Петровна смеется.

А Михаил Филиппович, не видя в ней сочувствия, постоит, постоит, вздохнет и уйдет.

Смерть бедного старика была трагическая. Года два после смерти Варвары Петровны пришла ко мне моя Агашенька, тогда уже вольная, и объявила мне, что Михаил Филиппович повесился на чердаке спасского дома.

Через несколько дней я обедала у Николая Сергеевича, и на мой вопрос о страшной смерти бедного старика Николай Сергеевич мне ответил:

— Вы помните скупость Михаила Филипповича, над которой и вы, и я, и все мы смеялись. Надо полагать, что это был род помешательства у бедняги, потому что после смерти маменьки, видя новые порядки в Спасском, все траты денег и расхищение добра, по его мнению, — et vous savez, que Jean n'y va pas de main morte quand il s'agit de dépenses *, — видя все это, старик все больше в больше задумывался и скучал, постоянно твердил: «Молодые господа по миру пойдут, по миру пойдут». Вот и не выдержал, покончил с собой.

Более всего огорчался старик теми наградами, которые сыпались от Ивана Сергеевича бывшим слугам его матери. Иван Сергеевич давал и деньги, и целые участки земли, назначал пенсии годовые, и самому Михаилу Филипповичу отдал особое, более удобное помещение. Но все это только еще более приводило старика в отчаяние.

— Наш брат холоп скоро лучше самих господ заживет, — говаривал старик, — сами-то с чем останутся?

Говоря о наградах, так щедро расточаемых Иваном Сергеевичем, я должна сказать, что, действительно, доб-

* а вы знаете, что брат не стесняется, когда дело идет о тратах (*фр.*).

рота его увлекала его, он давал иногда и недостойным, но были и такие, которые вполне заслуживали искупление за долгое претерпение под игом его матери. В числе подобных был крепостной доктор Варвары Петровны Порфирий Тимофеевич Карташов [13].

Когда Иван Сергеевич поехал в первый раз в Берлин, Порфирий был послан с ним в качестве камердинера или, вернее, дядьки. С тех пор установились между ним и его барином самые приятельские отношения. Когда Иван Сергеевич бывал у нас, часто видели их вместе в самой дружеской беседе. Никогда никому это не казалось странным, потому что для сыновей, для меня и для всех Порфирий Тимофеевич был доктор и любимый человек. Крепостным он был только для Варвары Петровны.

На все просьбы Ивана Сергеевича дать Порфирию «вольную» мать его никогда не соглашалась. Но зато из всех своих крепостных единственно этого Варвара Петровна никогда не оскорбила ни словом, ни делом и верила в него иногда даже больше, чем в своих лучших докторов.

Во всех трудных минутах жизни, при всех настоящих и напускных припадках и болезнях своей барыни Порфирий Тимофеевич являлся с своими неизменными лавровишневыми каплями и неизменными словами: «Извольте, сударыня, успокоиться».

И, право, кажется, одного взгляда на эту спокойную и мощную фигуру достаточно было, чтобы угомонить всякие нервы.

Типична была наружность нашего милого доктора: высокий, плотный, со следами оспы на лице, которые нисколько не мешали добродушному выражению его лица, замечательно маленькие при его почти колоссальном росте глаза, но очень умные, ласковые глаза. Вся фигура его дышала невозмутимым спокойствием. Варвара Петровна называла его flegme-toujours endormi *, но при всем том чувствовала себя спокойной только тогда, когда он был при ней.

Для Порфирия Тимофеевича не бесполезно прошли годы, проведенные в Берлине. Он там окончательно выучился совершенно свободно говорить по-немецки и, побывав еще до этого в фельдшерской школе в России, слушал в Берлине лекции медицинского факультета, и приехал оттуда с познаниями изрядного медика, за что и воз-

* вечно сонным (*фр.*).

веден был своей барыней в звание ее собственного домашнего доктора. Возвратясь в Россию, Порфирий Тимофеевич продолжал читать и заниматься. На книги для него его барыня не жалела денег.

В Москве друг и домашний доктор Варвары Петровны [14] никогда не прописывал ни одного лекарства, не предпринимал ни одного лечения в доме, не поговорив с Порфирием и не выслушав его мнения.

Сам Федор Иванович Иноземцев, начавший лечить Варвару Петровну с 48-го года, обратил на него внимание, признал в нем и знание, и богатые способности и позволил ему, вместе с остальными своими учениками, каждое утро присутствовать при приеме больных и слушать наравне с другими его заключения о болезнях. Таким образом, познания Порфирия обогатились еще со слов нашего знаменитого доктора.

В Спасском слава Порфирия Тимофеевича как врача распространилась далеко за пределы Мценского уезда. Помещики присылали за ним экипажи, но — увы! — как крепостной человек, он ездил только тогда, когда ему это позволяла барыня.

И как ни просил Иван Сергеевич мать отпустить его на волю, всегда получал отказ, за которым следовало перечисление всех благ и льгот, которыми пользовался его любимец и которых, по ее мнению, совершенно достаточно было, чтобы отличать его от остальных слуг: он имел свою собственную комнату, почти кабинет — в самом доме, кушанье получал с барского стола, жалованья получал вчетверо больше прочих, и в Москве даже мог отлучаться из дома, не спрашивая позволения.

— Все это прекрасно, — говорил Иван Сергеевич, — да сними ты с него это ярмо! Клянусь тебе, что он тебя не бросит, пока ты жива. Дай ты ему только сознание того, что он человек, не раб, не вещь, которую ты можешь по своему произволу, по одному капризу упечь, куда и когда захочешь!

Но мать оставалась непреклонна. Порфирий Тимофеевич получил вольную уже от сыновей, по смерти матери.

Но он не расстался со своим любимым барином, поселился сначала в Спасском и занимался там больными, потом, выдержавши экзамен, был земским врачом в Мценске.

Я нарочно справлялась о его дальнейшей участи и

узнала, что он был долго и тяжко болен. Иван Сергеевич взял его опять в Спасское и окружал его всевозможными заботами и попечениями до самой его смерти <...>

Между 1842 и 1846 годом

Вступление Ивана Сергеевича на литературное поприще весьма не нравилось Варваре Петровне.

По этому поводу происходили между матерью и сыном частые разговоры. Сидели мы раз в Спасском на балконе: Варвара Петровна, Иван Сергеевич, у ног которого покоилась его известная Дианка, заменившая умершего Напля, и я.

Иван Сергеевич был очень весел, рассказывал матери, как Михаил Филиппович убеждал его поменьше кушать, и заговорил о «Скупом рыцаре» Пушкина.

Вдруг Иван Сергеевич вскочил и заходил скорыми шагами по балкону.

— Да! Имей я талант Пушкина! — с досадой воскликнул он. — Вот тот и из Михаила Филипповича сумел бы сделать поэму. Да! вот это талант! А я что? Я, должно быть, в жизнь свою ничего хорошего не напишу...

— А я так постичь не могу, — почти с презрением начала Варвара Петровна, — какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? Сам говоришь, что Пушкиным не будешь. Ну еще стихи, такие, как его, пожалуй, а писатель! что такое писатель? По-моему, écrivain ou gratte-papier c'est tout un *. И тот и другой за деньги бумагу марают. Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомаранием. Да и кто же читает русские книги? Определился бы ты на настоящую службу, получал бы чины, а потом и женился бы, ведь ты теперь один можешь поддержать род Тургеневых!

Иван Сергеевич шутками отвечал на увещания матери, но когда дело дошло до женитьбы, он громко расхохотался:

— Ну уж это, maman, извини — и не жди — не женюсь! Скорей твоя спасская церковь на своих двух крестах трепака запляшет, чем я женюсь **.

И как мне тут досталось за то, что я не выдержала и рассмеялась на эти слова!

* Писатель и писец — одно и то же (*фр.*).

** Подлинные слова Ивана Сергеевича. (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

— Comment osez-vous rire quand il dit des bêtises! * — зашумела на меня Варвара Петровна. — И какие ты, Jean, глупости при ребенке говоришь, — обратилась она к сыну.

Но после этого я весь день не могла без смеху видеть Ивана Сергеевича.

— А я так вот чего не пойму, — продолжал Иван Сергеевич, — почему ты, maman, с таким презрением говоришь о писателях? было время, что вы все барыни бегали за Пушкиным, сама ты любила и уважала Жуковского.

— Ах, это совсем другое дело — Жуковский! как было не уважать его: ты знаешь, как близок он был ко двору!

Еще более уяснит воззрения Варвары Петровны на русскую литературу следующее.

Удостоила она наконец прочесть «Мертвые души».

— Ужасно это смешно! — похвалила она по-русски, — mais à vrai dire, je n'ai jamais lu rien de plus mauvais genre et de plus inconvenant **, — окончила она по-французски.

Между 1841 и 1846 годами Иван Сергеевич летом, каждый год, бывал в Спасском [15], но и зимой часто приезжал к матери в Москву. Здесь чаще других посещал его покойный Тимофей Николаевич Грановский.

Иван Сергеевич занимал комнаты наверху. К нему мне всегда был свободный доступ, и я всегда бегала туда, когда maman отдыхала или когда она занята была гостями. Грановский меня всегда ласкал. Прибежала я раз наверх; оба, хозяин и гость, что-то очень громко говорили. Иван Сергеевич быстро ходил по комнате и, по-видимому, очень горячился. Я остановилась в дверях. Грановский знаком подозвал меня и посадил к себе на колени, Долго сидела я, почти притаив дыхание, и сначала ничего не понимала. Но потом слова: крепостные, вольные, поселение, несчастные, когда конец? и пр., слова, столь мне знакомые и так часто слышанные, сделали их разговор мне почти понятным. Как теперь, так и тогда я не могла бы отчетливо передать все слышанное, но смысл был мне ясен. В разговоре их так сильно высказывались надежды на что-то лучшее, что и я будто чему-то обрадовалась.

Вдруг Иван Сергеевич точно опомнился и обратился ко мне:

---

* Как смеешь ты смеяться, когда он говорит глупости! (*фр.*)

** но, по правде сказать, никогда я не читала ничего хуже и неприличнее (*фр.*).

— Ты задремала? ступай вниз, ты ведь тут ничего не понимаешь; тебе спать пора.

— Нет, поняла, — обиделась я, — моя Агашенька будет скоро вольная, да?

— Да, когда-нибудь, — задумчиво произнес Иван Сергеевич и при этом поцеловал меня так, будто за что похвалил.

В одну из этих зим приезжал в Москву Лист [16].

Один из своих концертов давал он не в Дворянском собрании, а в чьем-то частном доме.

Варвара Петровна, выезжавшая весьма редко, захотела, однако, послушать великого артиста. С нею поехал Иван Сергеевич. Лестница, ведущая в концертную залу, была высокая, а кресло на ремнях, на котором обыкновенно лакеи вносили ее на лестницы, не было взято. Ноги Варвары Петровны тогда уже пухли и были слабы; взойти так высоко и думать нечего было.

Глаза Варвары Петровны сверкнули гневом на недогадливых лакеев.

— Я тебя внесу на руках, maman, — сказал Иван Сергеевич и, не дождавшись ни согласия, ни возражения матери, моментально схватил ее на руки, как ребенка, внес на лестницу и поставил почти у входа в залу. Многие из публики были свидетелями этой сцены. Поднялся шепот удивления и умиления. Нашлись многие, которые подходили к Варваре Петровне и поздравляли ее с счастием иметь такого внимательного и нежного сына.

Должно быть, и сама она была этим очень довольна, потому что выговора лакеям за забытое кресло не последовало.

В этом же году у Ивана Сергеевича сильно болели глаза [17]. Зрачки так уходили, что иногда видны были почти одни белки. Он лечился и прикладывал к ним компрессы из какой-то зеленой жидкости.

Каждое послеобеда ложился он на диван, я подавала ему компрессы, и так повторялось мое послеобеденное сидение возле него. Но уже сказки о голубом фазане я не рассказывала. Иван Сергеевич был невесел. Говорили мы с ним потихоньку об Агашеньке, о ее детях, о том, как все боятся maman. Рассказывала я ему свои детские печали и печали других и часто совершенно невинно наводила на него грусть. При моих рассказах он часто вздыхал и видимо страдал. Я тогда не могла понять того, что его терзало полнейшее бессилие кому-либо помочь, и с жесто-

ким эгоизмом ребенка наслаждалась тем, что он мучился так же, как я. Никому другому я не смела ничего рассказывать. Некоторых своих гувернанток я боялась, да и не доверяла им — при случае, пожалуй, на меня maman донесут, а мне я без того часто за холопьев доставалось.

Весьма оригинально выражался Иван Сергеевич о моих уроках.

Обыкновенно, когда он приезжал, ему рассказывались мои, будто бы, необыкновенные успехи в науках и главное в языках.

Похвалила ему раз Варвара Петровна мое знание французского языка.

— Верю, верю, — ответил он, — болтает прекрасно, слов нет.

— И пишет без ошибок, — добавила maman.

— Ну этому ни за что не поверю; уж в партиципиях *, верно, сильно хромает. Но, впрочем, не ты одна, — утешил он меня, — все русские барыни и барышни в этом повинны. Все хорошо, а как до партиципиев дело дойдет, ну и конец! уж где-нибудь или лишний *s,* или *e* недостает.

Другой раз, — я была уже лет двенадцати, — наняли мне англичанку. Говоря уже до этого хорошо по-французски и по-немецки, я действительно очень скоро выучилась говорить по-английски.

Приехал Иван Сергеевич. Опять показывались мои тетрадки, опять похвалы моим успехам.

Единственное, к чему Иван Сергеевич относился всегда иронически, это к моим успехам. Он видел только внешнее, так сказать, салонное мое образование, более всего основанное на знании языков.

В одно утро Варвара Петровна не выходила еще из своей спальни, а я должна была уже приняться за уроки. Напал на меня шаловливый день, болтаю без умолку, не сажусь за дело. Добрая моя мисс Блэквуд никак со мной не сладит.

Вдруг с хор, над самым учебным моим столом, раздался голос Ивана Сергеевича:

— А вот хвалили твои успехи, а я тебе скажу, что ты, хотя и выучилась болтать по-английски, двух очень важных фраз не знаешь: be quite and hold your tongue **.

Я и притихла.

---

* причастиях (подлинные слова Ивана Сергеевича). (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

** сиди смирно и держи язык за зубами (*англ.*).

Потешно еще говорил он о моей игре на фортепьяно. Каждое утро должна я была играть гаммы.

Наслушавшись их вдоволь, Иван Сергеевич однажды выразился так:

— Люблю я слушать твои гаммы. Первая льется, как быстрый ручей по гладкому дну, ни одного камня преткновения! Вторая уже изображает некоторую негладкость дна. Третья встречает по дороге камни, четвертая и пятая бежит точно по кочкам, а фа мажор вполне изображает днепровские пороги! *

С каким восторгом вспоминаю я всегда его милые насмешки над моими познаниями и талантами, с какою любовью храню в памяти каждое его слово.

За год до Пушкинского праздника [18], в 1879 году, в одном из своих писем к нему, напомнила я ему все это и даже окончательно успокоила его насчет партиципиев и уверила его, что при своей долгой учительской практике вполне произошла сию премудрость. При последнем нашем свидании он очень смеялся этому выражению.

Перед отъездом Ивана Сергеевича за границу, в 1846 году, в Москву приезжала г-жа Виардо.

Она давала концерт. Варвара Петровна знала уже о привязанности сына к семейству Виардо и, конечно, не любила его, но слушать артистку поехала [19]. Концерт был утренний. Приехав домой, она очень рассердилась за то, что Иван Сергеевич к обеду не вернулся. Сидела она все время насупившись и не произнесла ни слова. К концу обеда она сердито стукнула ножом по столу и, будто сама с собою говоря, ни к кому не относясь, сказала:

— А надо признаться, хорошо проклятая цыганка поет! ** <...>

Какой бы эпизод из жизни, проведенной мною у Варвары Петровны, ни взялась я описывать, каждый из них имеет грустный, иногда даже мрачный оттенок. Но такова и жизнь вся наша была. Радостного было мало.

Кто не читал «Муму»? Кто не знаком с ее владельцем Герасимом? Весь рассказ Ивана Сергеевича об этих двух несчастных существах не есть вымысел. Вся эта

* Почти слово в слово. Сравнения все подлинные его. (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

** Подлинные слова. (*Примеч. В. Н. Житовой.*)

печальная драма произошла на моих глазах, и я надеюсь, что некоторые подробности о том, как Герасим или, вернее, немой Андрей попал к нам в дом, не будут лишены интереса.

Каждое почти лето Варвара Петровна отправлялась по деревням (технический термин), то есть предпринималась на долгих поездка в имения Орловской, Тульской и Курской губерний. С особенным удовольствием вспоминаю я эти путешествия, которые обыкновенно совершались в нескольких экипажах. Карета самой Варвары Петровны, коляска с моей гувернанткой и главной камерфрейлиной госпожи, кибитка с доктором, кибитка с прачкой и моей горничной и, наконец, кибитка с поваром и кухней. Поездки эти были продолжительные и длились иногда целый месяц. Варвара Петровна обозревала свои вотчины, поверяла своих управляющих, при себе совершала продажу хлебов, сохраняемых на гумнах, которых громадные скирды были расположены так, что карета, запряженная четвернею в ряд, свободно между ними проезжала. При этом надо заметить, что на такое гумно хлеб свозился из нескольких вотчин для продажи с одного места.

В одну из таких поездок приехали мы в Сычево. Деревня эта была верстах в 25-ти от Спасского. Оттуда привозились часто к столу живые стерляди и налимы, которыми изобиловал сычевский пруд.

Подъезжая к деревне, Варвара Петровна и все мы были поражены необыкновенным ростом одного пашущего в поле крестьянина.

Варвара Петровна велела остановить карету и подозвать этого великана. Долго звали его издалека, наконец подошли к нему ближе, и на все слова и знаки, которые к нему относились, он отвечал каким-то мычанием.

Оказалось, что это был глухонемой от рождения.

Призванный сычевский староста объявил, что немой Андрей трезвый, работящий и необыкновенно во всем исправный мужик, несмотря на свой природный недостаток.

Но мне кажется, что, исключая роста и красоты Андрея, этот недостаток, как придающий ему еще более оригинальности, и пленил Варвару Петровну. Она тут же решила взять немого во двор, в число своей личной прислуги и в звании дворника. И с этого дня он получил имя Немой.

Как совершилось это, охотно ли променял Андрей свою крестьянскую работу на более легкую при барском доме — не знаю. Да и будь я старше в то время, я бы тоже, вероятно, не особенно остановилась на этом. Тогда это было настолько обыкновенно: вдруг, ни с того ни с сего, помещику вздумается крестьянина преобразить в дворового или отдать его в сапожники, в столяры, в портные, в повара. Иногда это считалось даже особенною милостью, и никто и не заботился узнать, желает ли он или его семья такой перемены участи.

Точно так же и я тогда, при всей своей любви и жалости к крепостным, даже и не подумала пожалеть об Андрее, так внезапно оторванном от родной почвы и родных полей. И только прочитав «Муму», расспросила я очевидцев и узнала, что он действительно сначала сильно грустил.

Да! Надо было иметь ту любовь и то участие к крепостному люду, которые имел наш незабвенный Иван Сергеевич, чтобы дорываться так до чувства и до внутреннего мира нашего простолюдина. Узнал же он, что Немой скучал и плакал, а мы все даже и внимания не обратили.

Но утешительно то, что Немой, вероятно, не долго печалился, потому что до несчастного случая с Муму он был всегда почти весел и изъявлял в особенности очень сильную привязанность к барыне своей, которая, в свою очередь, была к нему особенно благосклонна.

Варвара Петровна щеголяла своим гигантом дворником.

Одет он был всегда прекрасно, и кроме красных кумачных рубашек никаких не носил и не любил. Зимой красивый полушубок, а летом плисовая поддевка или синий армяк.

В Москве зеленая блестящая бочка и красивая серая в яблоках заводская лошадь, с которыми Андрей ездил за водой, были очень популярны у фонтана близ Александровского сада. Там все признали тургеневского Немого, приветливо встречали и объяснялись с ним знаками.

Замечательно огромное, но совершенно пропорциональное с его гигантским ростом лицо Андрея всегда сияло добродушной улыбкой. Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что, когда ему случалось меня брать на руки, я себя чувствовала точно в каком экипаже. И вот таким-то образом была я однажды внесена им в его каморку, где я в первый раз увидала Муму. Крошечная со-

бачка, белая с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея. С этого дня все чаще и чаще доставалось мне от Агашеньки за крошки белого хлеба и кусочки сахару, которые она вытрясала из моего кармана. То были остатки лакомств, передаваемых мною потихоньку Андрею по адресу Муму. Очень мы с ним любили эту собачку!

Всем известна печальная участь Муму, с тою только разницей, что привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же. Как ни горько было Андрею, но он остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей и, кроме нее, никого своей госпожой признавать не хотел <...>

Но замечательно, что после трагического конца своей любимицы он ни одной собаки никогда не приласкал.

Вот как случилось, что наша поездка в Сычево дала впоследствии Ивану Сергеевичу материал для прекрасного рассказа[20] <...>

1846 год

В 1846 году Иван Сергеевич уехал за границу, получив от матери весьма скромную сумму денег[21].

Последние дни перед отъездом своим он был особенно грустен, и в памяти моей во все последующие за этим годы образ его представлялся мне не иначе, как задумчивым и печальным, совершенно противоположным тому, каким он рисовался мне в моем детском воображении.

В одном из его последних разговоров с матерью мне невольно пришлось участвовать и получить строгий выговор за неуместное мое в него вмешательство.

— Не знаю, о чем ты говоришь, — услыхала я, взойдя в смежную комнату, голос Варвары Петровны в разговоре, начатом уже до моего прихода, — не понимаю. Моим ли людям плохо жить? Чего им еще? Кормлены прекрасно, обуты, одеты да еще жалованье получают. Скажи ты мне, у многих ли крепостные на жалованьи?

— Я и не говорю, чтобы они были голодные или не одеты, — сдержанно, с некоторой запинкой начал Иван Сергеевич. — Но ведь каждый дрожит перед тобой.

— Ну что же! — перебила его мать голосом, в котором ясно слышно было: «Так и должно быть!»

— А ты, maman, подумай сама, каково человеку жить постоянно под таким страхом. Представь себе всю жизнь

страх и один страх. Деды их, отцы их, сами они все боялись, наконец дети их и те обречены на то же!

— Какой страх? Про что ты говоришь? — волновалась Варвара Петровна.

— Страх не быть уверенным ни в одном дне, ни в одном часе своего существования. Сегодня тут, а завтра там, где ты захочешь. Да это не жизнь!

— Не понимаю тебя.

— Слушай, maman, можешь ты вот сейчас, сию минуту, — все больше и больше горячился Иван Сергеевич, — можешь ты любого ну хоть на поселение отправить?

— Разумеется, могу.

— Ну, я про что же говорю — можешь?

— Заслужат — сошлю.

— А не заслужит? Так, по своему одному капризу тоже можешь?

— Конечно, могу.

— Вот тебе И доказательство того, что я всегда тебе говорю. Они не люди, они — вещь!

— Что же, по-твоему, их на волю отпустить?

— Нет, зачем? Я этого и не говорю, на это еще время не пришло.

— И не придет! — решила Варвара Петровна.

— Нет, придет, и непременно придет, — запальчиво и несколько визгливым голосом (когда горячился) почти вскрикнул Иван Сергеевич и быстро заходил по комнате.

— Сядь, ты меня беспокоишь своей ходьбой, — уняла его мать. — Моим людям дурно, — почти обиженно продолжала она. — От кого ты это слышал? Да разве без страха с ними можно?

— Можно, и многое, все можно. Неужели ты, при своем тонком понимании людей, не предполагаешь в них ни любви, ни привязанности, ни чувства?

— Да что ты, Jean, с ума сошел, что ли? От кого ты слышал, чтобы я...

Сердце у меня замерло, я не дышала.

Накануне я сама так много рассказывала Ивану Сергеевичу о всех мучениях Агафьи и ее мужа[22], и в эту минуту мысль о том, что он заговорит о них, блеснула у меня в голове. Невозможно описать, как быстро все это пронеслось в уме моем и как я быстро сообразила, что могло от этого произойти. Я схватила первую попавшуюся книгу со стола — как сейчас вижу — карикатуры Гран-

виля — и решилась прервать разговор, а потом сделать знак Ивану Сергеевичу.

— Maman, puis-je prendre ce livre? * — стремительно взошла я в кабинет и чувствовала, что сама бледнее смерти.

— Что тебе надо? — закричала на меня maman, — что ты мешаешь, ты слышишь, мы разговором заняты, ступай!

Я пошла уже к двери, вдруг вслед за мной:

— Воротись! что с тобой? на тебе лица нет.

— Я — ничего...

— Как ничего? Ты все лжешь, ты белее платка моего. Ты больна?

— Да, у меня голова болит.

— А если голова болит, то никакой книги не надо. Положи, ступай.

Я вышла и стала за дверью, чтобы обратить на себя внимание Ивана Сергеевича. Но он сидел нагнувшись, голова его опиралась на руку, видеть он меня не мог.

Все мои опасения оказались напрасными. Милый наш Иван Сергеевич сам спохватился и понял, что зашел слишком далеко, потому что, когда мать, желая продолжать разговор, спросила:

— Говори, что же ты слышал?

Он ответил:

— Разумеется, я ничего не слыхал, я только высказываю свое убеждение вообще. Я нахожу, что крепостной человек — не человек, а предмет, который можно передвигать, разбивать, уничтожать, ну все, вообще прескверное положение[23] <...>

Иван Сергеевич имел неосторожность вдруг сказать матери, что на одно из его сочинений написана критика[24].

Понимала ли Варвара Петровна настоящее значение критики или хотела только придраться к слову, чтобы напасть на сына, но дело дошло и до доктора, и до капель.

— Тебя, дворянина Тургенева, — кричала она, — какой-нибудь попович судит!

— Да помилуй, maman, критикуют, значит, заметили, и я этим счастлив. Я не нуль, когда обо мне заговорили.

— Как заговорили! Как заговорили-то? Осудили! Тебя будут дураком звать, а ты будешь кланяться, да? К чему

---

* Маменька, можно мне взять эту книгу? (*фр.*)

ваше воспитание, к чему все гувернеры, профессора, которыми я вас окружала? Один бросил меня из-за женщины, ему ни в чем не равной [25], другой — ты, mon Benjamin * — в писатели пустился...

И пошли тут слезы, рыданья и истерика.

Явился доктор с каплями. Иван Сергеевич перепугался, начал целовать руки матери и старался всячески ее успокоить.

— Ну, перестань же, maman, успокойся, прости меня. Я сам не рад, что затеял этот разговор.

— Могу ли я успокоиться, могу ли не огорчаться, — с искренними слезами продолжала Варвара Петровна. — Вот ты опять за границу собираешься.

И начались опять упреки и высчитывания всех выгод службы, женитьбы и жизни в России возле нее. Это и были самые трудные минуты для Ивана Сергеевича. Что мог он ответить на все упреки матери? Он опускал голову на руки и молчал или с выражением скорби, почти отчаяния на лице смотрел в сторону. И он и все мы вполне сознавали, что временная доброта и снисходительность Варвары Петровны поддерживались только редкостью и краткостью свиданий с сыном. Останься он при ней, она бы не выдержала долго, и он только был бы безмолвным и бессильным свидетелем того, что выносить он не мог, а чему помочь был не в силах. Легче от этого никому бы не было. И он уехал <...>

1849 год

С января 1849 года возобновились вызовы сыновей в Спасское. Я получала от Варвары Петровны письма почти по два раза в неделю, и почти в каждом из них выражалась надежда на то, что летом все соберутся около нее. Бакунин, отказавшийся от своих обязанностей, был в опале [26]. Николаю Сергеевичу подана была слабая надежда на позволение жениться. Ивану Сергеевичу наконец было послано 600 рублей на дорогу.

В первых числах июня и меня привезли в Спасское на вакации. С мая шли уже большие толки и приготовления к приезду молодых господ.

Флигель отделывался заново, цветники перед домом обещали самые разнообразные оттенки зелени и цветов.

---

* мой любимец (*фр*).

Уже распустившиеся померанцевые деревья были расставлены вокруг балкона в огромных зеленых кадках, С другой стороны дома испанские вишни и сливовые деревья ренклод были перенесены из грунтовых сараев, покрыты громадной сеткой, защищавшей их от воробьев.

— Пусть они здесь около дома стоят, — говаривала Варвара Петровна, — Ванечка ужасно всякие фрукты любит, а я из окна буду любоваться, как он их кушает.

А в фруктовых грунтовых сараях обильные завязи на громадных персиковых деревьях готовились к концу августа заменить и сливы в вишни.

На доме развевался флаг с тургеневским гербом, с одной стороны, и с лутовиновским, с другой, и возвещал о том, что Варвара Петровна дома, принимает и рада гостям. Когда флаг был спускаем, это значило, что она никого принимать не желает.

Раз как-то, катаясь, Варвара Петровна вспомнила место, где был когда-то пруд, на котором дети ее, тогда еще маленькие, имели свой ботик, доставлявший им немалое удовольствие. Пруд был мелок, и им позволено было одним на нем кататься.

Место это в 1849 году представляло уже большой сухой овраг, заросший травою и окаймленный серебристыми тополями.

Немедленно велено было расчистить этот овраг, и на стороне, обращенной к большой дороге, приказано было водрузить столб, на котором доморощенный живописец, Николай Федосеев, он же и маляр, по приказанию барыни изобразил с одной стороны руку с протянутым указательным перстом, а на другой надпись, конечно, французскую: «Они вернутся».

Все было в точности исполнено, исключая несбывшегося «Они вернутся». Николай Сергеевич в самых нежных и почтительных выражениях писал матери, что готов посвятить ее спокойствию всю свою жизнь и силы, если она только согласится на его брак. Иван Сергеевич писал тоже умоляющее письмо, говоря, что он готов приехать, если ему только мать вышлет еще денег на дорогу, потому что полученных им от нее 600 рублей даже не достало на уплату его долгов за эти три года, в которые он от матери ничего не получал.

Варвара Петровна ни тому, ни другому не ответила <...>

<1850 год>

Весною Иван Сергеевич был уже в Петербурге[27]. По разным обстоятельствам он был там довольно долго задержан, что внушало серьезное беспокойство его матери.

Но вот приехал ее Вениамин. Слезам радости и восклицаниям не было конца. Тут я встретилась с Иваном Сергеевичем уже не ребенком, а семнадцатилетней девушкой. При первой встрече мы обнялись с ним, как и прежде, но тех дружески-детских отношений, конечно, быть не могло: мы отвыкли друг от друга, и притом лета наши уже не допускали прежней интимности.

Первые дни свидания. Постоянные расспросы со стороны матери и постоянные рассказы со стороны сына. Иван Сергеевич был весел и разговорчив. С особенным удовольствием говорил он о графе В—ком и о тех лицах, которые сделали то, что довольно снисходительно посмотрели на его слишком долгое отсутствие из России[28].

Сначала все шло у нас хорошо. Варвара Петровна была в восторге. Весь дом принял праздничный вид. Говорилось об общей поездке в Спасское. Ивану Сергеевичу хотелось ехать туда в первых числах июля, когда настанет время охоты. Мать и на это согласилась и решила сама пробыть в Москве до этого срока.

В этот год круг знакомств Ивана Сергеевича значительно расширился. Он уже был известен (надо, впрочем, заметить, что как писатель он был известен в Москве, но не у нас в доме: у нас его не читали). Приглашения сыпались ему со всех сторон[29]. Он редко даже обедал дома. Но все свои утра, почти до двух часов, проводил он с матерью.

Нельзя было и требовать большего. Сама Варвара Петровна не удерживала долее сына при себе. Она довольствовалась своими утрами, которые всецело принадлежали ей, потому что здоровье ее не позволяло ей иметь приемов, и у нас, но правде сказать, было довольно скучно <...>

Тяжело и грустно вспоминать и рассказывать все, что совершилось затем в последующие дни. Единственная отрадная сторона в этой драме и над которой невольно умиляешься — это воспоминание о редкой сыновней почтительности Николая и Ивана Сергеевича к матери. Несмот-

ря на ее жестокое глумление над ними, они остались все теми же покорными сыновьями, готовыми даже быть и нежными, если бы она сама их не оттолкнула.

Наступил июль месяц. Николай Сергеевич все более и более находился в стесненных обстоятельствах <...> Иван Сергеевич тоже, бывая с приятелями и знакомыми, не имел даже возможности ответить бутылкой вина на их угощение. Не раз брал он у Леона Ивановича или Порфирия Тимофеевича по 30 и 50 копеек, чтобы заплатить извозчику, привозившему его домой [30].

Такое безденежье у Ивана Сергеевича в такая насущная потребность в деньгах у Николая Сергеевича вынудили братьев заговорить об этом с матерью.

В самых нежных и почтительных выражениях просили они мать определить им хоть небольшой доход, чтобы знать, сколько они могут тратить, а не беспокоить ее из-за каждой необходимой безделицы. Варвара Петровна выслушала сыновей без гнева и совершенно согласилась с необходимостью определить им известный доход.

А между тем дни проходили за днями и никаких распоряжений — полнейшее молчание.

Иван Сергеевич возобновил разговор.

— Я не столько тебя прошу за себя, как за брата, — говорил он матери. — Я как-нибудь проживу сочинениями и переводами. А у него ничего нет, ему скоро есть будет нечего.

— Все, все сделаю, — ответила Варвара Петровна, — оба вы будете мною довольны.

Действительно, в одно утро главному конторщику Леону Ивановичу отдан был приказ написать на простой бумаге две дарственные, по которым Варвара Петровна имение Сычево отдает в распоряжение сына Николая, а Кадное — сыну Ивану.

Дарственные эти написаны дома, без соблюдения законных форм.

По ее требованию пришли сыновья однажды утром. Она им прочла черновые и спросила:

— Довольны ли вы теперь мною?

Николай Сергеевич молчал, а Иван Сергеевич ответил:

— Конечно, maman, будем довольны и будем благодарить тебя, если ты все так сделаешь и все оформишь.

— То есть как оформишь? — переспросила Варвара Петровна.

— Что мне тебе объяснять, maman, ты сама знаешь,

что значит оформить. И если ты действительно хочешь что-нибудь сделать для нас, то и знаешь, как сделать надо.

— Я просто тебя не понимаю, Jean, чего ты еще от меня хочешь? чего еще? Я отдаю каждому из вас по имению... Я не понимаю.

Варвара Петровна любила часто употреблять это выражение «не понимаю» именно тогда, когда очень хорошо понимала, чего от нее хотят.

Николай Сергеевич продолжал молчать. Иван Сергеевич прошелся раза два по комнате и, не сказав ни слова, вышел.

— Nicolas! Что все это значит? — уже обиженно обратилась Варвара Петровна к старшему сыну.

Николай Сергеевич встал, хотел что-то ответить и бросился вон из комнаты.

Сыновья имели основание быть не только недовольными, но и оскорбленными поступками матери.

Леон Иванович сообщил им, разумеется, тайно от своей барыни, что в это же утро старостам обоих имении по почте послан был приказ: немедленно и не останавливаясь дешевизною цен продать в дареных имениях весь хлеб, имеющийся на гумнах и на корню. Спасскому же главному управляющему другой приказ: наблюсти за скорейшей продажей хлеба в вышесказанных имениях и вырученные от продажи деньги немедленно выслать в Москву на имя самой Варвары Петровны. Что же оставалось в дареных барщинных имениях? Ни одного даже зерна для будущего посева...

Оба брата, понурив головы, вышли из дома. Иван Сергеевич к обеду не вернулся.

Всему, передаваемому мною, прошло уже 33 года. Память могла бы мне изменить, если бы все виденное и слышанное мною я сотни раз не рассказывала своим друзьям и своей семье и если бы все последующие сцены, еще раньше, не были мною в подробности описаны в переписке моей с племянницей Варвары Петровны — Сливицкой. Поэтому <не> только каждое слово, даже жест — все живо сохранилось в моей памяти.

Впрочем, такого рода сцены никогда не забываются. Те, кто имел когда-либо несчастие пережить семейную драму, знают по опыту, какими неизгладимыми чертами остаются навеки самые даже пустые, мельчайшие подробности в уме испытавшего на себе всю горечь семейной ссоры. Я же была и действующим лицом, и свидетельни-

цей в этой драме, в том возрасте, когда всякое впечатление воспринимается необыкновенно живо. И на мне тогда все это отозвалось настолько сильно, что я даже сделалась больна.

Когда сыновья ушли, Варвара Петровна заперлась в своем кабинете с своим конторщиком: дарственные переписывались набело. В пять часов этого же дня я получила приказание отправиться в *тот дом* и объявить сыновьям, что она их ждет к себе в восемь часов вечера.

Я застала все семейство за обедом. Но по расстроенным лицам братьев и по заплаканным глазам жены Николая Сергеевича и его свояченицы видно было, что обед был подан больше для порядка. Блюда уносились почти нетронутыми. Иван Сергеевич был грустен, но спокоен. Николай Сергеевич, волновавшийся всегда во всем сильно, чуть не рвал на себе волосы, говоря о своей участи.

Когда я им объявила цель моего прихода, Иван Сергеевич спросил меня, есть ли перемена в форме дарственных и был ли стряпчий?

Я ответила правду: дарственные переписаны набело, подписаны Варварою Петровной, стряпчий не был, и на замечание ее домашнего поверенного по делам, что подобного рода бумаги законной силы не имеют, Варвара Петровна ответила:

— Пустяки!

— Все так же осталось, как и было, — почти про себя сказал Иван Сергеевич и озаботился спросить меня, не догадалась ли maman о том, что они знают о ее распоряжении насчет продажи хлебов. Он, конечно, опасался за Леона Ивановича, которого постигла бы горькая участь, если б его барыня узнала, что он сообщил сыновьям о ее приказах, посланных по почте.

Из слов моих сыновья поняли, что перемены к лучшему ожидать нечего. Ясно было, что мать ничего не желает им уделить законным порядком.

Более страдающим лицом при этом был Николай Сергеевич.

Ломая руки и со слезами на глазах заговорил он о том, что вынужден наконец переселиться в Тургенево, имение отца. Пречистенский дом он не считал своим, а на наследство после отца признавал за собою законные и нравственные права. Он предполагал доходы делить пополам с братом.

— Мне ничего не нужно, — перебил его Иван Сергее-

в и ч , — тебе самому едва будет чем жить. Я и без этого обойдусь.

Тут Николай Сергеевич зарыдал.

— Не то г о р ь к о , — говорил о н , — что я бросил службу и остался без куска хлеба. Горько то, что, предъявляя свои права на это наследство, я должен идти против матери. Это будет равняться жалобе на мать, которая до сих пор одна, без нас, владела этим имением. Кто таким образом не поймет это? А того ли мы с братом хотели? Вернуться в Петербург! — продолжал он, все с большим отчаянием, — опять поступить на службу. Стыд, стыд. Что я скажу, что скажут. Мать обман...

И он не договорил, бросился на стул и закрыл лицо руками.

Водворилось тяжелое молчание, прерываемое всхлипыванием Анны Яковлевны, с которой сделался чуть не нервный припадок.

— Ну что же, брат, все же пойдем туда? — послышался мягкий голос Ивана Сергеевича.

— Я не з н а ю , — как-то безнадежно произнес Николай Сергеевич.

Я подала свой робкий совет непременно идти в восемь часов к maman я выразила даже надежду на то, что, может быть, все будет изменено к лучшему, хотя в душе я этого не сознавала: я боялась крупной ссоры между матерью и сыновьями, если они не исполнят ее приказания. Оба обещались прийти в назначенный час.

— Ну что? — встретила меня Варвара Петровна, когда я взошла к ней.

— Они п р и д у т , — ответила я.

— Ну что они там?

— Ничего, они обедали, когда я пришла.

— Говорили же они о чем-нибудь?

И Варвара Петровна смотрела на меня так, что я не могла вынести ее грозного испытующего взгляда. Я опустила глаза.

— Что же ты молчишь? Что с тобой? — заметила она мой растерянный в и д . — Что с тобой?

Этого последнего вопроса было достаточно. Тяжелая сцена у сыновей, во время которой я сдерживала слезы, чтобы не приехать домой с заплаканными глазами, этот мучительный предстоящий допрос тут от maman... Нервы не выдержали. Я почувствовала горло точно в тисках, что-то горячее подступило к нему, дыхание вырвалось с та-

ким ужасным криком, что Варвара Петровна в испуге почти подбежала ко мне. Я схватила ее руку, хотела что-то сказать, и у меня хлынула кровь горлом.

— Порфирий! Кто там! Что с ней? — кричала Варвара Петровна.

Прибежали m-me Шредер и Медведева, и меня положили на диван.

Тут и мне пришлось отведать знаменитых лавровишневых капель. Но этот нервный припадок спас меня от дальнейшего допроса <...>

В восемь часов пришли сыновья. Но я была настороже. Мне было бы крайне неприятно, если бы сыновья заподозрили меня в том, что я передала Варваре Петровне их разговор при мне. А что так или иначе Варвара Петровна постарается узнать настоящую причину моего внезапного нездоровья, я в этом была уверена и не ошиблась.

— Что у вас там такое произошло? — встретила их Варвара Петровна. — Варенька приехала на себя непохожа: с ней какой-то припадок, кровь горлом пошла. Что у вас там было? Я ничего не понимаю.

— Ничего, maman, там не было, там было очень весело, — вставила я свое слово, прежде чем кто-либо из них успел ответить на вопрос матери. Я стояла в дверях балкона, выходящего в гостиную, где сидела Варвара Петровна.

— Молчать! — закричала она мне. — Тебя не спрашивают. Вон!

Я вышла в залу значительно успокоенная. Теперь оба брата поняли, что мать их разговора и решения не знает.

Иван Сергеевич немедленно последовал за мною. На лице его выразилось столько доброты и участия. Он взял меня за руку и вопросительно смотрел мне в глаза.

Едва слышно шепнула я ему: «после, после», указала ему на дверь гостиной, и он вернулся туда.

В зале был накрыт стол для чая.

Медведева понесла Варваре Петровне чашку. Лакей подал сыновьям стаканы. Из гостиной слышалось размешивание сахара ложечкой и стук колоды карт, которую Варвара Петровна тасовала для пасьянса. Несколько времени длилось молчание.

Все, что я видела и выстрадала в эти дни, так живо сохранилось в моей памяти и так сильно подействовало на всю мою жизнь, что нет возможности что-либо забыть.

Первая заговорила Варвара Петровна, распространя-

ясь о разных сортах чая, какие она любит и какие ей не по вкусу. Потом перешла она на какой-то весьма незначительный разговор. Сыновья отвечали отрывочными фразами. Чувствовалось, что все трое нисколько не думали о том, что говорили. Какие-то неестественные ноты звучали в голосе каждого из говорящих.

M-me Шредер, Медведева и я сидели в зале. Почти не шевелясь, прислушивались мы к тому, что говорилось в гостиной, часть которой отражалась в громадном зеркале. Это позволяло нам видеть только белые, изящные руки Варвары Петровны, двигавшиеся по столу с картами, которые она раскладывала в кучки, всего Николая Сергеевича, сидевшего направо от нее, и всего Ивана Сергеевича, сидевшего у стола же, напротив матери.

«Вот, вот сейчас начнется», — думалось каждой из нас. А если бы спросить, что начнется? Мы не могли бы даже ответить, что именно, но что-то ужасное.

Если бы в эту минуту в залу вошел совершенно посторонний человек, взглянув на нас, он по одному выражению лиц наших, по нашим глазам, напряженно устремленным в отражавшуюся в зеркале картину, понял бы, что там творится что-то необычайное, чего мы все страшимся.

Наконец Варвара Петровна позвонила.

— Позвать Леона Ивановича, — приказала она вошедшему слуге.

— Принеси! — коротко сказала она показавшемуся в дверях конторщику.

Через несколько минут Леон Иванович принес два пакета и на подносе подал их своей госпоже.

Варвара Петровна посмотрела надписи и один из них подала Николаю Сергеевичу, другой Ивану Сергеевичу.

Прошло несколько секунд. Оба держали пакеты в руках. Иван Сергеевич пересел несколько дальше от стола.

— Прочтите же! — нетерпеливо произнесла Варвара Петровна.

Сыновья повиновались. Слышен был шелест бумаги при мертвой тишине, царившей в доме.

— Что же, благодарите меня! — И мать протянула правую руку Николаю Сергеевичу и левую Ивану Сергеевичу. Николай Сергеевич как-то машинально, молча, поцеловал руку матери.

Видел ли, нет ли Иван Сергеевич протянутую руку — не знаю. Он сидел, низко опустив голову.

Через несколько секунд он встал, подошел к отворенной двери балкона, сделал несколько шагов обратно в комнату, опять вышел на балкон и, точно решившись на что-то, быстро подошел к матери.

— Bonne nuit, maman *, — сказал он тихо, так же, как говорил это дитятей, как говорил юношей, как всегда, ни словом, ни взглядом не выразив той скорби, которую выносил он этим глумлением матери над ними, нагнулся и поцеловал ее руку.

Мать перекрестила его так, как делала это всегда со всеми нами каждый вечер, и он вышел, быстро прошел через всю залу, не взглянув ни на кого из нас, и скоро мы услышали его шаги на лестнице. Он поднимался в занимаемые им комнаты наверх.

Николай Сергеевич еще не опомнился. Он сидел с каким-то тупым выражением лица, когда я вошла проститься с maman. Варвара Петровна продолжала раскладывать свой пасьянс, но руки ее заметно дрожали, сдвинутые брови, глаза, упорно смотревшие на разложенные кучки карт, свидетельствовали о сдерживаемом пока гневе. Обыкновенно заботливая к моему здоровью, она на этот раз не взглянула даже на меня, и это было в первый раз во всю мою жизнь у ней.

Вслед за мной встал и Николай Сергеевич, произнеся обычное: «Bonne nuit, maman», получил благословение и ушел, но не домой, а наверх к брату.

В доме погасили огни. Варвара Петровна удалилась в свою спальню, и когда Медведева вошла, чтобы по обыкновению растереть ей ноги, Варвара Петровна сказала «не надо» и махнула ей на дверь.

Сыновья, в комнате Ивана Сергеевича и в присутствии Порфирия Тимофеевича, от которого я это и узнала, решили предъявить свои права на наследство имением отца, с матерью же ни в какие ни споры, ни объяснения не входить и ни в какие увещания и упрашиванья не пускаться. Но, понятно, в подаренные на бумаге имения не ездить. Они рисковали или не быть принятыми там как владельцы, или подвергнуть жестокой ответственности тех, кто их таковыми там примет.

Тем бы все и кончилось. Сыновья, не упрекая мать ни в чем, остались бы все теми же, если бы сама Варвара Петровна не заставила наконец и кроткого Ивана Серге-

* Спокойной ночи, маменька (*фр.*).

свича высказать ей все, что долгие годы копилось у него на душе.

На следующее утро Иван Сергеевич пришел к матери, все так же, как и всегда, поздоровался с нею в объяснил ей, что он едет в деревню, что время охоты наступило и что и ей тоже пора выехать из душной Москвы.

Разговор шел в гостиной, и я, сидя в зале, в душе уже радовалась, что все обойдется благополучно, без бурных сцен. Торжество Варвары Петровны было полное. Власть ее над сыновьями не поколебалась. Она обещала им многое, ничего не исполнила, и ни один из них не высказал ей никакого неудовольствия.

Покорно перенесли они ее злую насмешку над ними, и даже ее любимец пришел ее уговаривать ради ее же здоровья уехать из Москвы. При всей ее страсти испытывать границы терпения она могла бы быть удовлетворена, но ей хотелось еще большего. И власть ее сломилась не перед негодующим за себя сыном, а перед ее незлобивым, правдолюбивым Вениамином, который умел кротко и терпеливо молчать, когда мщение и обида касались его одного, но который в защиту брата и других не выдержал и высказал то, что ради самого себя никогда бы не сказал. Варваре Петровне пришлось раз в жизни выслушать правду, и эту горькую правду выслушала она от любимого сына.

По-видимому, Иван Сергеевич избегал всякого намека на вчерашний вечер. Он отмалчивался на многие вопросы матери, но она вдруг обратилась к нему, так сказать, в упор:

— Скажи мне, Jean, отчего вчера, когда я тебе сделала такой подарок, ты даже не захотел благодарить меня?

Иван Сергеевич молчал.

— Неужели ты опять мною недоволен?

— Послушай, maman, — начал наконец Иван Сергеевич, — оставим этот разговор и все это. Зачем ты возобновляешь эту...

— Что же ты не договариваешь?

— Maman, еще раз прошу тебя, оставим это. Я умею молчать, но лгать и притворяться не могу, воля твоя, не могу. Не заставляй меня говорить, это слишком тяжело.

— Не знаю, что тебе тяжело, — неумолимо продолжала Варвара Петровна, — а мне обидно. Я все делаю для вас, вы же мною недовольны.

— Не делай для нас ничего. Мы теперь у тебя ничего не просим, пожалуйста, оставь, будем жить, как жили.

— Нет, не так, как жили! У вас теперь есть свое, — неумолимо продолжала пытать Варвара Петровна.

— Ну, зачем, скажи, зачем ты это говоришь? — не вытерпел наконец Иван Сергеевич. — У нас вчера ничего не было и сегодня ничего нет, и ты сама это хорошо знаешь.

— Как ничего! — вскрикнула Варвара Петровна. — У брата дом, именье, у тебя именье!

— Дом! А знаешь ли ты, что брат слишком честен, чтобы считать этот дом своим! Он не может исполнить тех условий, при которых он тобою дан. Ты требуешь, чтобы он жил в нем, а ему жить нечем, есть нечего.

— Как? А именье!

— Никакого именья нет, и ничего ты нам не дала и ничего не дашь. Твои дарственные, как ты их называешь, никакой силы не имеют. Завтра же ты можешь отнять у нас то, что подарила нам сегодня. Да и к чему все это? Имения твои, все твое. Скажи нам просто: не хочу ничего вам дать — и ты слова от нас не услышишь. Зачем вся эта комедия?

— Ты с ума сошел! — закричала Варвара Петровна. — Ты забываешь, с кем ты говоришь!

— Да я и не хотел ничего говорить, я желал молчать. Разве мне легко все это тебе говорить. Я просил тебя оставить...

И в голосе его слышалась такая тоска. Казалось, слезы душили его.

— Мне брата жаль, — продолжал он после некоторого молчания. — За что ты его сгубила? Ты позволила ему жениться, заставила его бросить службу, переехать сюда с семьей. Но ведь он там жил, жил своими трудами, у тебя ничего не просил и был сравнительно покоен. А тут со дня его приезда ты его на муку обрекла, ты постоянно его мучаешь, не тем, так другим.

— Чем? скажи чем? — волновалась Варвара Петровна.

— Всем! — уже с отчаянием и не сдерживаясь воскликнул Иван Сергеевич. — Да кого ты не мучаешь? Всех! Кто возле тебя свободно дышит? — И он крупными шагами заходил по комнате. — Я чувствую, что не должен тебе это говорить. Прошу тебя, оставим...

— Так вот ваша благодарность за все!

— Опять ты, maman, опять ты не хочешь понять, что мы не дети, что для нас твой поступок оскорбителен. Ты боишься нам дать что-нибудь, ты этим боишься утратить свою власть над нами. Мы были тебе всегда почтительными сыновьями, а у тебя в нас веры нет, да и ни в кого и ни

во что в тебе веры нет. Ты только веришь в свою власть. А что она тебе дала? Право мучить всех.

— Да что я за злодейка такая!

— Ты не злодейка, я сам не знаю, ни что ты, ни что у тебя творится. Проверь сама, вспомни все.

— Что такое? Какое я кому зло делаю?

— Как кому? Да кто возле тебя счастлив? Вспомни только Полякова, Агафью, всех, кого ты преследовала, ссылала. Все они могли бы любить тебя, все бы готовы были жизнь за тебя отдать, если бы... А ты всех делаешь несчастными. Да я сам полжизни бы отдал, чтобы всего этого не знать и всего этого тебе не говорить. Тебя все страшатся, а между тем тебя бы могли любить.

— Никто меня никогда не любил и не любит, и даже дети мои и те против меня!

— Не говори этого, maman, все мы, и мы первые, твои дети, готовы...

— Нет у меня детей! — вдруг закричала Варвара Петровна. — Ступай!

— Maman! — бросился к ней Иван Сергеевич.

— Ступай! — еще громче повторила ему мать, и с этим словом она сама вышла и захлопнула за собой дверь.

Проходя через залу, Иван Сергеевич увидал меня. Я платком старалась заглушить крик и рыдания, готовые вырваться из груди. Он положил мне руку на плечо.

— Перестань, ты опять заболеешь. Что делать, я не мог! — и слезы текли по щекам его.

Через несколько минут я из окна увидала его. Он шел по переулку по направлению к дому брата. И теперь его высокая, стройная фигура перед моими глазами. Кто бы его встретил в эту минуту, не усомнился бы в том, что это идет человек глубоко несчастный. Так вся его походка и осанка выражали полное отсутствие сознания чего-либо окружающего. Он шел, опустив голову: казалось, что она склонилась под тяжестью безысходного тяжкого горя.

Но и Варваре Петровне было не легко. Она только сдерживала себя, пока сын уйдет. Представить себе можно, как на нее подействовали его слова.

С ней сделался нервный припадок. Долго не могла она успокоиться. Кроме Порфирия Тимофеевича и Медведевой, с ней никого не было. Что происходило при этом во всем доме, легко понять. Настолько ужасен был у нас этот день, что, кроме тяжелой сцены утром, я ни о чем думать не могла. Я перебирала в уме своем все слышан-

ное. В ушах моих звучали то слова Ивана Сергеевича, то отрывочные фразы Варвары Петровны. Много лет прошло, и ничто не забыто мною.

Вечером maman позвала меня.

— Ступай *туда!* — И на мое недоумение и немой вопрос она нетерпеливо повторила: — *Туда, туда.* Вели запрячь.

Я поехала к Николаю Сергеевичу. Для чего, зачем, — сама не знаю.

Первое, что мне бросилось в глаза в пречистенском доме, — это повсюду расставленные сундуки, ящики и чемоданы, свидетельствующие о сборах в дорогу. Укладывались, чтобы ехать в Тургенево.

Николай Сергеевич сидел в своем кабинете и что-то писал. Иван Сергеевич тут же ходил взад и вперед.

Я взошла, бросилась на первый попавшийся стул и горько заплакала. Иван Сергеевич принес мне воды.

Когда я несколько успокоилась, первым со мной заговорил Николай Сергеевич.

— Вас маменька прислала?

— Да.

— Что же, она поручила вам что-нибудь сказать?

— Нет, она велела мне ехать сюда, я не знаю зачем. Что мне ей сказать?

Николай Сергеевич с видом отчаяния схватился за голову.

— Правду и правду надо сказать! — резко вступился Иван Сергеевич. — Скажи, что мы собираемся в Тургенево и завтра же едем.

Я наотрез отказалась это передать.

— Скажите маменьке, — начал Николай Сергеевич, — что я умоляю ее прочесть вот это письмо, — в он указал на не дописанный еще лист бумаги, лежащий на столе. — Это письмо я пришлю ей завтра утром. Сегодня она уже и так слишком расстроена, я не хочу ее беспокоить.

— Что маменька? — спросил Иван Сергеевич.

Я рассказала все, что у нас происходило.

Иван Сергеевич слушал меня, стоя у окна и прислонившись головою к стеклу. Лица я его не видала, но видела, что он поднес платок к глазам.

— Я завтра приду, — сказал он, не оборачиваясь.

Я уехала, донесла Варваре Петровне о письме и о просьбе Николая Сергеевича и ждала допроса, как смерти. Но она махнула мне рукой уйти.

На другое утро ей подали письмо Николая Сергеевича. Всем нам было известно содержание этого письма. Он писал, что едет в Тургенево с намерением вместе с братом ввестись во владение этим имением, уверял мать в любви и готовности служить ей и просил только простить ему этот поступок, который он вынужден сделать ради существования своего и своей семьи.

Иван Сергеевич пришел сам.

Без доклада к Варваре Петровне сыновья входить не смели. Я постучалась в дверь.

— Взойди, — был мне ответ.

— Jean est venu, maman, peut-il entrer? *

Тогда вместо ответа Варвара Петровна подошла к своему письменному столу, схватила юношеский портрет Ивана Сергеевича и бросила его об пол. Стекло разбилось вдребезги, а портрет отлетел далеко к стене.

Когда взошла горничная и хотела его поднять, Варвара Петровна закричала: оставь! и так портрет пролежал от первых чисел июля до первых чисел сентября.

Ивана Сергеевича она не захотела принять, и он, собрав кое-что из своих вещей наверху, велел их отнести к брату на Пречистенку. Он сделал еще попытку быть принятым матерью и, получив отказ, ушел.

Я провожала его на крыльцо. Он простился со мною.

— Я не мог, что делать, — были последние его мне слова, высказывавшие его сожаление о вчерашней сцепе.

На следующий день часов в двенадцать, на отданное мне приказание ехать *туда,* я уже без затруднения поняла, что это значит.

Когда я подъехала к пречистенскому дому, ворота были затворены. Вышел оставшийся еще при доме кучер и объявил мне, что молодые господа сегодня утром выехали на почтовых по тульскому тракту.

Тяжело переживаются такие дни. И теперь еще чувствую ту страшную внутреннюю дрожь, которую я испытала тогда, входя к Варваре Петровне с известием об отъезде ее сыновей.

— Как? уехали? — казалось, не верила она.

Я должна была повторить. Тут произошла такая сцена, которую я даже не в состоянии описать. С Варварой Петровной сделался точно припадок безумия. Она смеялась, плакала, произносила какие-то бессвязные слова,

* Иван пришел, маменька, можно ему войти? (*фр.*)

обнимала меня и кричала: «Ты одна, ты одна теперь!» <...>

Через несколько дней мы уехали в Спасское[31].

На крыльце спасского дома встретили нас Поляков и его жена. Они прожили весь этот год в деревне: он по делам, жена по болезни. Агашенька со страхом и грустью (такова была ее преданность) взглянула на свою барыню. Варвара Петровна была не та. Что за перемена? в чем она состояла? уяснить она себе этого не могла, но ее, несмотря ни на что, преданное сердце болезненно сжалось. Ей стало жаль своей барыни.

Когда же я рассказала Агашеньке все, что произошло у нас в Москве, она сказала только:

— Ну! теперь всем нам беда будет!

Но и в Спасском было все то же. Та же тишина, то же молчание, и только односложные вопросы и приказания со стороны Варвары Петровны.

Прошло дня три или четыре, и мне позволено было прокатиться верхом с целью навестить старушек в Петровском. Совсем уже одетая и с хлыстиком в руке вошла я к Варваре Петровне. Я застала ее в страшном гневе. Перед ней стоял Поляков, весь бледный и с дрожащими губами.

От кого и как узнала Варвара Петровна, вернее всего от какого-нибудь мальчишки садовника, не посвященного в семейную драму, что за день до нашего приезда в Спасское молодые господа и молодая барыня (Анна Яковлевна) приезжали в Спасское, осматривали дом, сады, оранжереи и грунтовые сараи.

Действительно, Николай Сергеевич и Иван Сергеевич, предвидя, что при текущих обстоятельствах въезд в Спасское будет им воспрещен, воспользовались отсутствием матери, чтобы посетить свое родное гнездо.

— Как ты смел пустить их сюда? — кричала она Полякову.

— Я не посмел им отказать, сударыня, — довольно твердо ответил Поляков, — они наши господа.

— Господа! Господа! Я твоя госпожа, и больше никто! — И с этими словами она вырвала из рук моих хлыстик и ударила им в лицо Полякова.

И это был последний припадок гнева Варвары Петровны.

С этого дня здоровье ее все слабело. Водяная делала быстрые успехи. Одышка становилась все сильней, и по

утрам опухоль лица и в особенности глаз все делалась заметнее.

Дни шли за днями однообразно, и жилось далеко не весело. Варвара Петровна, однако, ни на кого не гневалась, никого не преследовала. С физическими силами, казалось, угасала и власть ее. Она уже не проявлялась ни в каких резких поступках.

Дети ее жили в Тургеневе за 15 верст. Они писали ей письма, не получая от нее ответа. Иван Сергеевич приезжал иногда тайно осведомиться о здоровье матери, и я даже ни разу не видала его. Порфирий Тимофеевич все менее подавал надежд на улучшение состояния здоровья своей барыни. В особенности беспокоило его дыхание Варвары Петровны: оно доказывало присутствие водяной в груди. Он начал поговаривать об обратной поездке в Москву, где советы и помощь Федора Ивановича Иноземцева могли бы принести ей облегчение.

В одно утро Варвара Петровна почувствовала себя очень дурно. В несколько часов собралась она и уехала в Москву, взяв с собою только доктора и Медведеву. Она даже меня оставила в Спасском и велела нам с m-me Шредер последовать за ней, как только все будет приведено в порядок и уложено.

Дня через два после ее отъезда, вечером, часов в 11, я услыхала стук в стекло балконной двери. M-me Шредер испугалась и кричала мне не отворять, но я подошла к двери и отворила: передо мной стоял Иван Сергеевич, весь промокший, прямо с охоты, с ружьем и сумкой.

— Как маменька? Что ее здоровье? — были первые слова его. — Я слышал, она очень больна. Опасна она?

Я его успокоила насчет того, что видимой еще особенной опасности нет и что страха за очень быстрый исход Порфирий Тимофеевич не высказывал.

Иван Сергеевич взошел в залу, где горела единственная сальная свеча в медном подсвечнике. Расчетливый Михаил Филиппович находил, что для одной барышни и мадамы (то есть госпожи Шредер) в зале и одной свечи достаточно, и упорно стоял на этом, несмотря на наши требования.

Мы кончили ужин раньше. Ивану Сергеевичу накрыли на стол одному. Он пригласил нас с m-me Шредер сесть возле него и рассказать ему, как мы жили, как провели лето.

Рассказывать было нечего. Да и сам Иван Сергеевич

был скучен и озабочен. Я тоже невесела: разлука с больной Варварой Петровной меня мучила. Разговор не клеился. В комнате стало еще темнее от нагоревшей свечи, да и все это мое свидание с Иваном Сергеевичем было какое-то темное: ни радости при встрече, ни надежд на лучшее будущее. Каким-то мрачным пятном так и осталось оно в памяти моей.

— Я скоро приеду в Москву и опять постараюсь сойтись с маменькой, — сказал он мне, прощаясь, чтобы идти в свой флигель.

Наконец m-me Шредер, поняв, что ему неловко при ней затрагивать самые интимные стороны его отношений к матери, оставила нас одних.

— Что делает маменька с нашими письмами? — спросил он меня вполголоса.

— Она их читает, — ответила я.

— Ужасно тяжело мне. Меня постоянно мучит то, что я тогда не выдержал и все это сказал, — тихо продолжал он, — лучше было бы уж молчать до конца. Прощай! — И он быстро вышел.

Наступил и день моего отъезда в Москву. Я покинула Спасское, и мне даже и в голову не приходило, что я вижу его в последний раз.

Приехав в Москву, я узнала, что Иноземцев определил положение Варвары Петровны безнадежным. К водяной присоединился маразм, полнейшее отсутствие аппетита. Она питалась исключительно виноградом и позже фруктовыми морожеными. Было ли то предписание докторов или ее собственная прихоть, сказать не могу.

Знаю только, что это длилось почти два месяца и что Иноземцев весьма восторженно говорил о необыкновенной силе ее организма и об этой замечательной натуре, живущей и мыслящей все так же здраво на 70-м году жизни, при такой ничтожной поддержке. По целым часам просиживал он при постели Варвары Петровны и в разговорах с нею не замечал времени.

Но Варвара Петровна чувствовала приближение смерти и часто об этом со мной говорила.

Характер ее значительно изменился. Но перемена эта ничем противоположным прежнему резко не высказалась. Не было ни капризов, ни выговоров, ни гнева; но не было ни кротости, ни смирения, ни особенной нежности. Она смолкла. С домашними говорила вообще мало, и если говорила или приказывала что, то таким ровным, негромким голо-

сом, из которого даже мое привычное ухо не могло вывести никакого заключения о состоянии ее духа.

К любимцу ее Ивану Сергеевичу ее прежнее чувство высказалось следующим: портрет, брошенный в минуту гнева, был восстановлен и стоял опять на столике возле нее.

Вдоль ее кровати красного дерева, на которой она и скончалась, приделана была полочка такого же дерева, на которой лежала все та же знаменитая коробка в форме книги и с надписью: «Feuilles volante?» *. На этих-то Feuilles volantes писала Варвара Петровна каждый день что-то карандашом.

Впоследствии, после ее кончины, читали мы эти исписанные листки; то был дневник или, точнее, исповедь.

О сыновьях своих во время болезни своей она не говорила, а мы боялись начать. Обо мне она очень заботилась.

На векселе, данном до моего совершеннолетия на имя Андрея Евстафьевича Берса, по требованию Варвары Петровны сделана была передаточная надпись на мое имя, по которой я должна была получить от ее наследников 15 000 серебром. Шкатулка моя с медной дощечкой и вырезанным на ней моим именем была приведена в порядок и известность[32]. Рукою Леона Ивановича составлен был полный и подробный список того, что в ней содержалось, а ключ хранился у меня.

Мне продиктовано было следующее письмо.

«Милые мои дети, Николай и Иван!

Приказываю вам по смерти моей выдать вольную Полякову и всему его семейству и выдать ему 1000 руб. награждения; а также и доктору моему Порфирию Тимофееву вольную и 500 руб. награждения»[33].

Подписано ее рукою: «Любящая вас мать Варвара Тургенева».

Подписав это письмо, она отдала его мне.

— Береги это письмо у с е б я , — сказала о н а , — и когда я умру, отдай его им и скажи, что я требую, чтобы они исполнили мою последнюю волю.

В двадцатых числах октября Николай Сергеевич, извещенный о близости кончины матери, время которой Иноземцев почти определил, приехал с семейством своим в Москву, в свой пречистенский дом.

Как ни старались мы наводить Варвару Петровну на разговор о сыновьях, она упорно о них молчала.

* Отдельные листки (*фр.*).

Двадцать восьмого октября утром взошла я по обыкновению в спальню Варвары Петровны и, сказавши: — Bonjour, maman *, — громко, хотя и с дрожью в голосе, прибавила: — Je vous félicite, c'est aujourd'hui le jour de naissance de Jean **.

— Разве сегодня уже двадцать восьмое? — сказала она чуть дрогнувшем голосом и взглянула на передвижной календарь, висевший на стене.

Вдруг глаза ее наполнились слезами. Я схватила ее руку и покрыла ее слезами и поцелуями. Еще бы минута — и я бы заговорила с нею о ее сыновьях, которые тщетно выражали ей в письмах желание видеть ее. Но она вдруг выдернула свою руку из моих: — Иди! Иди! — и своим носовым платком, которым она утирала слезы, она мне махнула на дверь.

Настаивать я не посмела и вышла.

По нескольку раз в день, тайно от матери, прибегал Николай Сергеевич узнать об ее здоровье. Гнев матери невыразимо мучил его. Он плакал и совершенно искренне каялся в том, что дал повод к разладу с матерью. Хотя после, когда острое горе утихло, ни один из них не должен был, по совести, в чем-либо себя упрекать.

Виноваты они против матери не были. Да она их и не считала виновными: из ее дневника мы это ясно видели, когда прочли те строки, которые относились к сыновьям ее. Глубоко в сердце хранила она к ним любовь. Призвать их — значило бы уступить, а в ней текла все та же лутовиновская кровь.

Видно было, что в ней происходила жестокая борьба, и этому тоже нашли мы доказательство в ее предсмертном дневнике. Позволяю себе привести здесь несколько слов из него. Вот что прочли мы на одном из листков: «Ma mère, mes enfants! Pardonnez-moi! Et vous, Seigneur, pardonnez-moi aussi, car l'orgueil, ce péché mortel, fut toujours mon pêche» ***.

Долго выжидали мы и не находили удобного случая сказать Варваре Петровне, что ее сын Николай в Москве.

Четвертого ноября, день рождения Николая Сергеевича, я опять взошла утром к ней и после слов: «Jo

* Здравствуйте, маменька (*фр.*).

** Поздравляю вас, сегодня день рождения Ивана (*фр*).

*** Матушка, дети мои! Простите меня! И ты, о боже, прости меня, ибо гордыня, этот смертный грех, была всегда моим грехом (*фр.*).

vous félicite, maman, c'est la jour de naissance de Nicolas» *, я тут же залпом, не переводя дух, прибавила:

— Nicolas est á Moscou **.

Варвара Петровна взглянула на меня своими все еще блестящими, выразительными, прекрасными глазами, точно хотела сказать что-то, но быстро отвернулась, передвинула с места на место стоявшие на полочке флакончики, долго особенно внимательно разглядывала один из них и сказала:

— Почитай мне.

Я взяла какой-то французский роман и с легкой дрожью в голосе начала читать. Но и это утомляло ее. Я прочла несколько страниц и услыхала:

— Довольно!

Какого именно числа, не помню, но дня за четыре или за пять до кончины своей она пожелала исполнить христианский долг. Приглашен был приходский наш священник отец Павел от Успенья на Остоженке. Варвара Петровна исповедовалась и причастилась.

Слова ли духовника на нее подействовали или по собственному побуждению, но за день до кончины своей она вдруг мне сказала:

— Николая Сергеевича! — и мне послышался прежний ее суровый повелительный голос.

Вскоре вошел Николай Сергеевич. Он бросился на колени возле кровати матери.

Она притянула его к себе слабой уже очень рукой, обняла его, поцеловала и точно умоляющим шепотом произнесла:

— Ваню, Ваню!

— Я сейчас пошлю эстафету, maman, — ответил ей сын.

Ни упреков, ни объяснений не было между матерью и сыном. Он сел на кресле в ногах ее, я же на скамеечку, поближе к ней.

Раза два Варвара Петровна клала руку свою мне на голову.

— Не брось ее, — говорила она сыну.

Но свиданию ее с ее любимцем Иваном Сергеевичем не суждено было состояться. Иван Сергеевич своей матери в живых не застал [34].

---

* Поздравляю вас, маменька, сегодня день рождения Николая (*фр.*).

** Николай в Москве (*фр.*).

МОЛОДОСТЬ ТУРГЕНЕВА
КРУГ «СОВРЕМЕННИКА»

БЕРНГАРД ИКСКЮЛЬ-ФИККЕЛЬ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
в 1839—1882 гг.

В течение зимнего семестра 1839—1840 годов я посещал утренние лекции логики профессора Вердера в Берлине[1]. На эти лекции являлось не много слушателей; в числе их находилось двое молодых людей, говоривших по-русски. Я вскоре познакомился с ними; это были Иван Тургенев[2] и Михаил Бакунин; они занимались, подобно мне, в этом семестре философией и историей. И оба были восторженные приверженцы гегелевской философии, казавшейся нам в то время ключом к познанию мира. Подобную горячую любовь к занятиям философией могут понять лишь те люди, коих молодость протекла в начале двадцатых и тридцатых годов, но и в них она вызывает теперь улыбку и кажется почти невероятною тем самым лицам, которые ее пережили. Таковыми энтузиастами были Тургенев, Бакунин[3] и я сам; вот почему я и указываю на это обстоятельство, полагая, что подобная восторженная любовь к изучению философии и преувеличение ее значения повлияли на характер и судьбу очень многих, а в том числе и на самого Тургенева. Мы, земляки, скоро познакомились и часто, не менее двух раз в неделю, сходились по вечерам то у меня, то у обоих друзей, живших на одной квартире, для занятия философией в для беседы[4]. Хороший русский чай, в то время редкость в Берлине, и хлеб с холодною говядиною служили материальной придачей этих вечеров; вина мы никогда не пили и несмотря на это просиживали иной раз до раннего утра, увлекшись

разговором, переходившим нередко в спор. Тургенев был самый спокойный из нас; как живо вспоминал он об этих беседах, по прошествии более сорока лет, доказывает его письмо, писанное ко мне в сентябре 1882 года и помещенное здесь; письмо это характеризует любезность и задушевность его автора.

Буживаль. Les Frênes. 1-го сентября 1882 г.

...Увы, любезный барон, куда девалось наше беспечальное студенческое житье в Берлине? Куда кануло все светлое прошлое? Помните ли вы еще тот день, когда мы с Бакуниным зашли к вам и у вас загорелись у окон занавеси? Я помню до сих пор малейшие подробности. Впрочем, взвесив все обстоятельства и окинув взором прошлое, нам не придется особенно сетовать на то, как протекала наша жизнь. Мы делали что могли... faciant meloria potentes!

Для вас служит, вероятно, отрадою то, что вы очутились вновь, на закате дней ваших, под сенью древнего обиталища вашей семьи. У меня тоже есть на юге России клочок родной земли, где я провожу ежегодно несколько месяцев, но болезнь причинила мне величайшую неприятность, помешав съездить туда в нынешнем году. Одни бог знает, увидимся ли мы еще с вами, но я искренне желаю поблагодарить вас еще раз за вашу память обо мне и засвидетельствовать вам те чувства дружеской привязанности, которые всегда питал к вам ваш бывший товарищ Иван Тургенев.

<...> В 1839—1840 годах Тургенев ничем особенным не выдавался, но был преисполнен самых идеальных взглядов и надежд относительно будущего преуспеяния и развития своего великого отечества. Во всех наших беседах он никогда не сходил с чисто исторической почвы, и я не слыхал, чтобы он когда-либо высказывал горячие надежды или желания по поводу отмены крепостного права, как многие ныне утверждают[5]. Даже сам Бакунин, заходивший в своих желаниях гораздо дальше Тургенева, смотрел на освобождение крестьян как на дело далекого будущего.

В следующее затем десятилетие я не встречался более с Тургеневым, и лишь в начале 1850-х годов нам пришлось часто видеться в течение зимних месяцев в Петербурге[6]. Тургенев был тогда уже известным писателем, за

ним ухаживали, ему удивлялась, но он оставался скромным и непритязательным. В то время он жил всем существом своим великими вопросами социального и политического преобразования России и желал возможно скорого упразднения крепостного состояния. Каждого, не соглашавшегося с ним в неотложности этой меры и предлагавшего более медленный и постепенный образ действий в связи с разными мероприятиями и т. п., он считал реакционером. Ввиду того что и я должен был казаться ему таковым, я избегал говорить с ним о политике, но зато вспоминаю с особенным удовольствием некоторые вечера, на которых я с наслаждением слушал из уст его чтение не напечатанных еще произведений его пера. Он читал их только в кругу людей близких, причем ни скромность автора, ни характер его слушателей не допускали восторженных похвал, а вызывали лишь одобрительные рассуждения о прочитанном. Я позволю себе упомянуть при этом об одном шутливом отзыве Тургенева. Он читал у княгини Мещерской повесть о двух влюбленных, кончающуюся внезапною смертью героя[7]. Идя вместе с ним домой, я спросил Тургенева, почему он так неожиданно прервал свой рассказ, на что Иван Сергеевич отвечал, что он нашел своего героя очень скучным и поэтому покончил так скоро его *жизнь*<...>

В 1860-х годах я видался с ним у него на дому почти ежедневно, по целым часам, Я заставал его обыкновенно пишущим, садился напротив него, и мы беседовали до тех пор, пока ему не докладывали, что его завтрак готов <...>

Однажды утром я застал Тургенева не пишущим, а за корректурою.

— *Ах*, — сказал *он*, — я рад, что вижу вас: нет ничего неприятнее, как занятие корректурою.

На вопрос мой, что он теперь печатает, он отвечал, что пришлет мне корректурные листы; я получил их в тот же вечер, и затем они присылались ко мне несколько дней кряду. Повесть эта, кончающаяся самоубийством молодой девушки, произвела на меня тяжелое впечатление, и я выразил Тургеневу сожаление по поводу того, что последнее время он так часто описывает печальные события. Он отвечал мне на это, что с отвращением принялся за прочтенную мною повесть, но продолжал писать ее, потому что она изображает эпизод из его собственной жизни и что он этим хочет освободиться от воспоминания о нем[8].

А. В. ЩЕПКИНА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ
«Кружок друзей Грановского»

Семья Михаила Семеновича Щепкина была в дружественных отношениях со всем кружком знакомых Грановского и Кетчера. Поселившись в Москве с мужем моим Н. М. Щепкиным, сыном М. С. Щепкина, мы также примкнули к этому кружку в конце 1849 года. Кружок московских друзей Грановского составлялся из лиц, с которыми Грановский сошелся еще во время пребывания за границей (в числе их были Фролов, Неверов, Тургенев), и из давнишних близких знакомых Кетчера, как Сатин, Огарев, Герцен, Белинский и М. С. Щепкин. Бывали у Грановского и многие профессора Московского университета, но они реже встречались в его доме на дружеских собраниях в установленные дни. Ближе других стояли к нему Кудрявцев и его молодая жена, очень любимые в семье Грановских. Круг знакомых в Москве дополнялся еще некоторыми петроградскими литераторами; приезжая в Москву, они всегда посещали Грановского, также Кетчера и М. С. Щепкина. Из числа этих петроградских знакомых бывали тогда часто в Москве: Панаев, издатель «Современника», Некрасов, Анненков и семья Тютчевых, с которыми близки были эти петроградские литераторы, часто собираясь у них по вечерам. Тургенев и Анненков проводили зиму в Петрограде, если не уезжали за границу — в Германию или в Париж. Но по временам они посещали Москву, и тогда можно было часто встретить их у Грановских или у М. С. Щепкина. К М. С. они при-

езжали или на обед, или приглашались послушать вечером чтение какой-нибудь вновь появившейся пьесы. У М. С. Щепкина читали иногда свои произведения Островский и Писемский, а иногда читал и И. С. Тургенев. Я встречалась со всеми этими лицами, многих из них знала хорошо и желала бы оставить в этих записках, насколько в силах, точное воспоминание о всех этих более или менее замечательных людях. Не ограничиваясь личными впечатлениями, я могу руководиться и той характеристикой, которую сами они составляли друг о друге, как часто случалось слышать в их разговорах.

Я начну свои воспоминания с первой встречи с Белинским, Тургеневым, Кетчером и М. С. Щепкиным в Москве. О Белинском я уже давно много слышала от моих братьев. Белинский был в ранней юности членом кружка Н. В. Станкевича, старшего брата нашей семьи, который жил в Москве во времена своего студенчества. Но в первый раз пришлось мне видеть Белинского в 1846 году, когда с братом моим А. В. Станкевичем мы направлялись за границу, на воды в Эмс. Остановившись ненадолго в Москве, мы поместились тогда в гостинице «Дрезден», на Тверской площади. Нас посетили многие из кружка Грановских, знавшие уже прежде брата моего А. В. Станкевича. Первым посетил нас тогда И. С. Тургенев; почти вслед за ним явился М. С. Щепкин, а затем Кетчер и Белинский; я много слышала о всех них, но тут увидела их в первый раз, — и мне еще и теперь дорого это воспоминание <...>

Многие из кружка Грановских постоянно проводили большую часть года за границей. Таким путешественником был один из любимых в кружке приятелей, общий знакомый Василий Петрович Боткин. Это был человек, выдававшийся своим эстетическим развитием и тонким пониманием искусства во всех его областях — в литературе, как и в музыке и живописи <...>

В. П. Боткин был верный ценитель всего прекрасного; он понимал непосредственным чувством то, что Анненков — другой знаток нашей литературы — анализировал и понимал умом, взвешивая, сравнивая, прибегая порою к философским определениям. И Боткин и Анненков были близкими друзьями И. С. Тургенева. Тургенев признавал в них тонкое эстетическое понимание и обращался к ним часто за советом, отдавая на суд их свои новые произведения <...>

Иван Сергеевич Тургенев был счастливо поставлен судьбою в том отношении, что встретил таких ценителей таланта. Под их влиянием и под влиянием Белинского талант его быстро достиг своего развития. В юности Тургенев провел, как известно, несколько лет за границей, слушал лекции в германских университетах, много читал. Его знания редко проглядывали в его разговорах, как будто он берег себя, берег свои лучшие мысли и чувства для своих произведений, берег и свою плавную речь. В близких кружках он не был многоречив; говорил очень просто; впадая в шутливый тон, он сам смеялся своим шуткам <...>

При первой встрече Тургенев казался сдержан, мягок в движениях, ходил медленно и казался серьезен или задумчив. В Москве он бывал часто, проезжая в деревню из Петрограда. Он был близок с Кетчером, который легко со всеми входил в интимные отношения. Еще в Германии Тургенев знаком был с Грановским, бывал у него в Москве, хотя особой короткости между ними не замечалось [1]. Всегда бывал Тургенев у М. С. Щепкина, которого любил и уважал; бывал он и у нас, то есть у Н. М. Щепкина. Он появлялся иногда неожиданно, поутру или вечером, или когда слышал от кого-нибудь, что у нас назначалось чтение новой пьесы Островского или Писемского, и читали их сами авторы, по приглашению М. С. Щепкина. Случалось, что Тургенев заезжал к нам с общими знакомыми кружка на обед. Так, он обедал у нас но поводу приезда в Москву Тютчевых, очень любимых в среде москвичей. Тютчев Николай Николаевич служил в Петрограде, и Тургенев был давно и долго знаком с ним и его семейством. В начале пятидесятых годов Тургенев производил иногда неприятное впечатление на тех, кто не знал его близко, и проявлял некоторые странности в обществе. Кетчер объяснял это ранней избалованностью Тургенева в доме его матушки и вообще в провинции. Так, если Тургенев не расположен был говорить, он способен был провести у кого-нибудь несколько часов молча, что очень затрудняло хозяйку дома; он смотрел тогда апатично, не поддерживал разговора и отвечал односложными словами. Анненков объяснял это тем, что и в обществе Тургенев обдумывал свои повести и располагал в них сцены. На объяснение Анненкова, по-видимому, можно положиться. Но странности появлялись у Тургенева и при веселом настроении и тогда уже походили на шалость. Так однажды вечером

у нас в доме он долго сидел молча. Низко нагнувшись, свесив голову, он долго разбирал руками свои густые волосы и вдруг, приподняв голову, спросил: «Случалось вам летом видеть в кадке с водою, на солнце, каких-то паучков? Странных таких...» Он долго описывал форму этих паучков и потом замолк. Ответа он не ждал, его и не последовало. Все потом часто вспоминали эту выходку. Я припоминаю все эти мелочи, чтобы выяснить, почему многие находили Тургенева странным.

ИЗ ГЛАВЫ

«Михаил Семенович Щепкин в семье и на сцене»

Когда И. С. Тургенев приезжал в Москву, то всегда бывал в доме М. С. Щепкина и иногда сам читал ему свою пьесу. И М. С. Щепкин любил анализировать все характеры его пьесы в присутствии самого Тургенева и вместе с ним. И. С. Тургенев относился к М. С. Щепкину с чрезвычайною мягкостью и добродушием, что было вообще свойственно его характеру. Из пьес Тургенева М. С. Щепкин любил «Провинциалку», в которой он играл стряпчего. Но особенно нравилась ему пьеса «Нахлебник» и роль самого Нахлебника. Когда пьесу эту задерживали и она долго не появлялась на сцене, то М. С. Щепкин пробовал ставить ее на домашнем спектакле у своих знакомых и разучивал роль Нахлебника с величайшим удовольствием и одушевлением. Роль эта занимала его в продолжение целой зимы, хотя, к сожалению, спектакль не состоялся.

П. В. АННЕНКОВ

МОЛОДОСТЬ И, С. ТУРГЕНЕВА
1840—1856

I

За два года до его приезда из первого путешествия за границу (1840 г.) с целью образования — о нем были уже слухи в Москве и Петербурге. Знали, что он находился при отъезде своем в 1838 году на том самом пароходе, который сгорел у мекленбургских берегов, что он вместе с другими искал спасения на лодках, перевозивших пассажиров на малогостеприимную землю этой германской окраины. Рассказывали тогда, со слов свидетелей общего бедствия, что он потерял голову от страха, волновался через меру на пароходе, взывал к любимой матери и извещал товарищей несчастия, что он богатый сын вдовы, хотя их было двое у нее, и должен быть для нее сохранен [1]. Слухам этим верили, так как он был крайне молод в то время (двадцати лет). Даже и позднее Грановский, заставший его в Берлине, рассказывал еще, что он находил его с приставленным к нему крепостным дядькой за очень невинным занятием — игрой в карточные солдатики, которых они поочередно опрокидывали друг у друга [2]. При появлении его в России ожидали встретить доморощенного барчонка, по которому немецкое образование прошло, обделав его наружно и не тронув внутреннего содержания, и нашли полного студента-бурша, замечательно развитого, но с презрением к окружающему миру, с заносчивым словом и романтическим преувели-

чением кой-каких ощущений и малого своего опыта. Люди Москвы и Петербурга должны были привыкать к нему, и отзывы их поражают на первых порах печальным единодушием[3]. Образец гуманности, Николай Владимирович Станкевич, хорошо знавший Тургенева в Берлине, предостерегал своих приятелей в Москве не судить о нем по первому впечатлению. Он соглашался, что Тургенев неловок, мешковат физически и психически, часто досаден, но он подметил в нем признаки ума и даровитости, которые способны обновлять людей[4]. Герцен был проще, неумолимее и несправедливее. Он познакомился с ним в Петербурге (1840 г.), перед второй ссылкой своей и через посредство Белинского. Отзыв его может быть выражен в немногих словах: пускай, мол, Белинский занимается книгами и книжонками и не вмешивается в оценку людей — тут он ничего не смыслит *[5]. Дело в том, что и к Герцену, как ко всем другим, Тургенев явился с непомерным доверием к самому себе, которое позволяло ему высказывать в виде несомненных истин всякие измышления, приходящие в голову. Качество это заслоняло покамест все таившееся в глубине его души и составлявшее впоследствии прелесть его бесед с окружающими.

Удивительно, что он только малой частию был виноват в упреках, которые ему делали. Богато наделенный природою даром фантазии, воображения, вымысла, он по молодости лет не умел с ними справиться и позволил им сделаться своими врагами, вместо того чтобы держать их в качестве своих слуг[6]. Едва возникали в течение разговора представление или образ, как можно было видеть Тургенева, предъявляющего на них права хозяина, овладевающего ими, становящегося в центре рассказа в притягивающего все его нити к самому себе. При первом намеке на какую-либо тему в уме его возникала масса аналогических примеров, которыми он и подменивал главный возникший вопрос. Большая часть его слушателей — а у него их всегда было много — позабывали дело, с которого начиналась речь, и отдавались удовольствию слушать волшебную сказку, любоваться развитием непродуманного, бессознательного творчества, удерживая при этом наиболее смелые, яркие и поразительные черты фантастической

---

* Места эти не попали в опубликованную переписку обоих авторов. По отсутствию материалов нельзя восстановить их дословно и теперь. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

работы. Было что-то наивно-детское, ребячески-прелестное в образе человека, так полно отдававшего себя в ежедневное безусловное обладание мечты и выдумки, но в конце концов из такого воззрения на Тургенева возникло общее мнение о нем как о человеке, никогда не имеющем в своем распоряжении искреннего слова и чувства и делающегося занимательным и интересным только с той минуты, когда выходит заведомо из истицы и реального мира. Никто, конечно, не смешивал его с Хлестаковым, простейшим типом лжи, только что созданным тогда, который употребляет ложь как средство обмануть себя и других относительно своей ничтожности. Поэтическая ложь Тургенева обнаруживала большие сведения и часто касалась таких вопросов, которые были даже неизвестны многим из ожесточенных его критиков. Цели юного Тургенева были ясны: они имели в виду произведение *литературного эффекта* и достижение репутации *оригинальности.* В этом заключается и ключ к их правильному пониманию.

Самым позорным состоянием, в какое может попасть смертный, считал он в то время то состояние, когда человек походит на других. Он спасался от этой *страшной* участи, навязывая себе невозможные качества и особенности, даже пороки, лишь бы только они способствовали к его отличию от окружающих. Он усвоивал своей физиономии черты, не вязавшиеся с ее добродушным, почти нежным выражением. Конечно, он никого не обманывал надолго, да и сам позабывал скоро черты, которые себе приписывал. Случалось, что он изумлялся собственным словам и относил их к клевете, когда их повторяли перед ним по прошествии некоторого времени. Так он называл клеветой свое заявление, будто перед великими произведениями искусства, живописи, скульптуры, музыки он чувствует зуд под коленами и ощущает, как икры его ног обращаются в треугольники, — однако же заявление было сделано. Конечно; не стоило бы и упоминать об этой шутке, если бы из массы подобных шуток и преувеличений не слагался в публике образ молодого Тургенева, который держался гораздо долее, чем было нужно, и существовал даже и тогда, когда оригинал уже нисколько не походил на то, что о нем думали.

Замечательно, что в произведениях той эпохи, большею частию стихотворных отрывках, Тургенев не обнаруживал ни малейших признаков фальши. Они писались им добро-

совестно и поражают доселе выражением искреннего чувства и той внутренней правдой мысли и ощущения, которой он научился у Пушкина. Тургенев начал рано свою писательскую карьеру; если не считать драму «Стено», написанную им еще на студенческой скамье (он кончил курс в Петербургском университете в 1837 году), и рецензию на книгу Ан. Муравьева «Путешествие по святым местам русским», в старом «Современнике» Плетнева, 1838 года, где напечатано было и первое стихотворное его произведение «Старый дуб», то придется указать на «Отечественные записки», на страницах которых с 1841 по 1846 год помещено множество его стихотворных пьес за подписью Т. Л., которые представляли инициалы соединенных фамилий его отца и матери — Тургенев-Лутовинов [7]. Затем он перешел в новый «Современник» Панаева и Некрасова, в издании которого принимал, как увидим, горячее участие и продолжал в нем печатать свои стихотворения с 1847 года вплоть до 1850 года [8]. Все эти произведения носят несомненные признаки таланта и уже возвещали недюжинного писателя, который только ждал благоприятной минуты, чтобы высказать все свое содержание. Минута не заставила себя ждать. Из всех ранних его созданий замечены были публикой только два, вышедшие отдельно: «Параша», стихотворная повесть 1843 года, и «Разговор» — тоже в стихах, 1845 года. Мастерской рассказ далеко не затейливого происшествия в «Параше» и свободное, ироническое отношение к действующим ее лицам имели так много свежести и молодого здорового чувства, что обратили на себя общее внимание. Между прочим, «Параша» представила случай Белинскому высказать свою проницательность. «Что мне за дело до промахов и излишеств Тургенева, — говаривал он, — Тургенев написал «Парашу»: пустые люди таких вещей не пишут» [9]. Что касается до «Разговора», то дидактический, поучительный тон его подсказан был Тургеневу учением, которому он служил тогда горячим, хотя и не очень последовательным адептом, будто чистое творчество достигло с Пушкиным такого совершенства на Руси и такого повсеместного распространения, что ему предстоит потесниться немного и дать дорогу произведениям мыслящей способности, философско-политического созерцания. Тема встретила, однако же, горячую оппозицию в московской журналистике [10], но начавшаяся полемика прекратилась, когда через два года по напечатании «Разговора» явилась

первая глава из «Записок охотника» («Хорь и Калиныч») в «Современнике» Панаева 1847 года и показала писателя нашего опять в новом свете, упрочив за ним почетное и славное имя в литературе, которое уже не могло быть забрасываемо грязью при помощи слухов или под предлогом критики[11].

Во всяком случае, Тургенев нуждался тогда в литературе, почерпая в ней средства для своего существования. С самого начала сороковых годов он уже находился в ссоре с своей матерью, богатой и капризной помещицей Орловской губернии, которая, лишив содержания, предоставила его самому себе. Вплоть до конца его искуса, когда умерла мать (Варвара Петровна Тургенева скончалась в ноябре 1850 года), Тургенев представлял из себя какое-то подобие гордого нищего, хотя и сознававшегося в затруднительности своего положения, но никогда не показывавшего приятелям границ, до которых доходили его лишения. Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию министра внутренних дел, где попал под начальство известного этнографа В. Даля[12]. Он пробыл тут недолго, потому что начальник его принадлежал к числу *прямолинейных* особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только к своим служебным требованиям, но и к своим капризам... Тургенев невзлюбил начальника — собрата по ремеслу писателя — и скоро вышел в отставку, возвращаясь к старой скудости и к старому исканию эффектов и оригинальности. Чего он тогда не приносил в жертву этому Молоху? Он осмеивал тихие и искренние привязанности, к которым иногда сам приходил искать отдыха и успокоения, глумился над простыми сердечными верованиями, начало и развитие которых, однако же, тщательно разыскивал, примеривал к себе множество ролей и покидал их с отвращением, убедясь, что они казались всем не делом, а *гениальничанием* и скоро забывались. К этому же времени относится и его сближение с семьей артистки Виардо, — он был ей представлен в 1845 году и нашел у нее сына директора театров, Степана Гедеонова, который по музыкальному и художественному вообще образованию и по серьезной эрудиции был достойный ему соперник. Может статься, чувство соперничества определило и довольно резкий тон критической статьи, написанной Тургеневым в 1846 году по поводу драмы С. Гедеонова

«Смерть Ляпунова» [13]. Но у него были еще в запасе и даровые, беспричинные, совсем не преднамеренные оскорбления, такие, какие может наносить шутя только *всемирный ребенок,* Weltkind, не обязанный помнить свои обязательства и заниматься тем, что говорит. Он часто ходил тогда на охоту, и раз, возвратившись с отъезжего поля, хвалился количеством побитой им птицы, а в подтверждение своих слов приглашал слушателей отобедать у него на другой день. Слушатели поверили и чудной охоте, и приглашению. На другой день они поднялись в четвертый этаж громадного дома на Стремянной улице, где жил Тургенев (между ними были и грудные больные, с трудом одолевшие его лестницу), и долго стояли перед запертой дверью его квартиры, — до тех пор, пока вышедший человек не известил их как об отсутствии хозяина, так и всяких приготовлений к приему гостей. Тургенев долго смеялся потом, когда ему рассказывали о недоумении и ропоте обманутых гостей, но извинений никому не приносил: все это казалось ему в порядке вещей, и он удерживал за собой право играть доверием людей, не чувствуя, по-видимому, никакой вины на своей совести за проделки подобного рода. Он даже не очень долюбливал тех осторожных господ, которые защищали себя от увлекательности его речи, не доверяли наивному убеждению, с каким он относился к своим иллюзиям, и трезво берегли до конца свое суждение. Он называл их кожаными чемоданами, набитыми сеном, но, однако, сдерживал перед ними свои увлечения. Особенный зуб имел он против существовавших у нас литературных кружков и выразил даже в печати свое осуждение их нетерпимости друг к другу и узкости их воззрений. Но причины его негодования на кружки, с корифеями которых он был на дружеской ноге, а с одним из таких кружков (так называемым западническим) разделял и тогда и после основы его учения, следует также искать и в личных отношениях. Кружки эти имели свои правила поведения, свои доктрины жизни, более или менее строгие, за исполнением которых тщательно следили [14]. Нападая на кружки, Тургенев защищал еще свое право стоять особняком от господствующих течений в обществе, не подчиняться деспотизму принятых условий существования ни в каком их виде и оградить себя от разного вмешательства посторонней силы в дела своей души, в свободное, независимое цветение своей мысли и фантазии.

II

То же самое делал он и по отношению к своей матери. Замечательно, что настоящие и лучшие качества сердца обнаруживались у него с наибольшей силой в деревне или в семье. Всякий раз, как он отрывался от Петербурга, от его искушений и того возбуждающего чувства, которое распространяет большой центр населения, Тургенев успокоивался. Не перед кем было блестеть тогда, не для кого было изобретать сцены и думать о театральной постановке их. Деревня играла в его жизни ту самую роль, которую потом исполняли частые его отлучки заграницу, — она с точностью определяла, что он должен думать и делать. Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, которое тогда встречалось чуть ли не ежедневно, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях тем, что объявлял себя противником, без разбора, всех коренных, так называемых основ русского быта. Он потешался благоговейными отношениями Москвы к некоторым излюбленным quasi-началам русской истории, но такой дальний, бесполезный протест был уже не у места в помещичьей деревне. Тут он беспрестанно наталкивался на конкретные случаи произвола и беззакония, которые затрогивали его душу и требовали если не скорой помощи, часто и невозможной, то участия и понимания страданий.

Варвара Петровна Тургенева, мать его, обладала в одной Орловской губернии состоянием, равным, по тогдашнему счету, силе 5000 душ крепостных работников. Это была женщина далеко не дюжинная и по-своему образованная: она говорила большею частью и вела свой дневник по-французски. Воспитание, которое она дала обоим сыновьям, показывает, что она понимала цену образования, но понимала очень своеобразно. Ей казалось, что знакомство с литературами Европы и сближение с передовыми людьми всех стран не может изменить коренных понятий русского дворянина, и притом таких, какие господствовали в ее семействе из рода в род. Она изумилась, увидав разрушение, произведенное университетским образованием в одном из ее сыновей, который полагал за честь и долг отрицание именно тех коренных начал, какие казались ей непоколебимыми. При врожденном властолюбии вспыльчивость и быстрота решений развились у нее от противоречий. Она не могла простить своим детям, что

они не обменивали полученного ими воспитания на успехи в обществе, на служебные отличия, на житейские выгоды разных видов, в чем тогда и заключались для многих цели образования. Так как наш Тургенев не изменял ни своего образа мыслей, ни своего поведения в угоду ей, то между ними воцарился непримиримый, сознательный, постоянный разлад, чему еще способствовали и подробности ее управления имением. Как женщина развитая, она не унижалась до личных расправ, но, подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека, сохраняя приличие, спокойствие и свое достоинство. Она не затруднилась произнести смертный приговор несчастной собачонке своего дворника Герасима, зная, что приговором своим наносит смертельную рану сердцу ее хозяина. И что же? Одно появление Тургенева в деревне водворяло тишину, вселяло уверенность в наступлении спокойной годины существования, облегчало всем жизнь — и это несмотря на его натянутые отношения к матери и в силу только нравственного его влияния, которому подчинялась даже и необузданная, уверенная в себе власть.

<…> Но уже недалеко было время, когда он сделается любимцем не только своих спасовцев, как называл жителей деревни, но и любимцем читающей России вообще и русских женщин в особенности. Произошло это вскоре после кончины Варвары Петровны Тургеневой и после известного его ареста в 1852 году, сообщившего большую популярность его имени [15]. Круг его знакомства еще не раздвигался до тех огромных размеров, как впоследствии, и литературная деятельность еще не имела за себя голоса всей Европы. На виду стояли «Записки охотника», а за ними теплились малыми, мелькающими огоньками повести, где уже сказывались первые проблески воззрений Тургенева на русскую женщину как на представительницу нравственной силы в обществе. Гораздо позднее заметили, что между этими повестями есть маленькие шедевры, вроде «Дневника лишнего человека». Современникам его трудно было усмотреть также, что он в течение десяти

лет занимался обработкой одного и того же типа — благородного, но неумелого человека, начиная с 1846 года, когда написаны были «Три портрета», и вплоть до «Рудина», появившегося в 1856 году, где самый образ такого человека нашел полное свое воплощение [16]. С Рудиным кончается и молодость Ивана Сергеевича — ему было уже 38 лет. Никому и в голову не приходило тогда заниматься разбором теории, весьма важной в биографическом отношении и в силу которой русская жизнь распадалась на два элемента — мужественную, очаровательную по любви и простоте женщину и очень развитого, но запутанного и слабого по природе своей мужчину. В авторе этой теории всего более интересовало мастерство кисти, приемы творчества, верные картины жизни, а разоблачающий внутренний смысл его творений закрывался для многих яркой мозаикой внешних его похождений между людьми.

Тогда было в моде некоторого рода предательство, состоявшее в том, что за глаза выставлялись карикатурные изображения привычек людей и способов их выражаться, что возбуждало смех и доставляло успех рассказу. Тургенев был большой мастер на такого рода представления. Никто не сердился на это злоупотребление, никто не думал о прекращении связей вследствие дошедших слухов о совершенной над ним диффамации — напротив, все старались платить тою же монетой авторам карикатур, что и объясняет большое количество анекдотов, остающихся от этой эпохи. Надо прибавить, что ко всем своим качествам изобретательности, наблюдательности и вдумчивости в явления Тургенев присоединял еще в значительной доле едкое остроумие и эпиграмматическую способность. Он давал им ход с той же неразборчивостью и с тем же обилием мотивов, как и всему, что выходило от него. Он составлял весьма забавные эпиграммы на выдающихся людей своего времени, не стесняясь их репутацией и серьезностью задач, которые они преследовали и которым сам сочувствовал. Не удерживали его и дружеские отношения [17]. Все это, конечно, не способствовало к уменьшению неблагосклонного говора, раздававшегося вокруг его имени, по слух о меткости его эпиграмматических заметок, имевших пошиб народных поговорок, был так распространен, что В. П. Боткин вздумал однажды записывать его речи и привел свой план в исполнение. Затерянная книжка эта где-нибудь должна существовать, но она утратила свой интерес после того, как сам Тургенев прекратил свою

юмористическую деятельность и оставил в сыром виде старые попытки и проявления ее.

Весьма ошибся бы тот, кто на основании здесь сказанного пришел бы к заключению, что Тургенев обманывал свою публику и, пока она приглядывалась к нему, отдавал пороки ее и недостатки на общее посмеяние. Такое коварство не вязалось с добротой сердца, отражавшейся на всем, что он делал, и с его недоверием к себе, с весьма невысоким мнением о своих качествах и способностях. Он нуждался в помощи и благорасположении, а не в вызове и посрамлении кого-либо. Только с течением времени и возрастанием успеха приобретает он более правдивый, твердый, уверенный взгляд на самого себя. Вначале он брался за все с намерением ото всего отступиться, смотря по обстоятельствам. Если он силился походить на Манфреда или Дон-Жуана, то, конечно, это был застенчивый Манфред или стыдливый Дон-Жуан, готовый всегда убежать от затеянного им дела. Его сравнивали с Ювеналом в некоторых случаях его жизни, особенно за памфлетическую сторону таланта, как в «Дыме», например; но если присмотреться ближе, то легко можно распознать, что он не питал никакого отвращения к жертвам своих сатир, а биографические сведения показывают, что ядовитое жало свое он обращал прежде всего на самого себя. Довольно упомянуть о той жажде осуждения, критики своих произведений, которой он страдал всю свою молодость и которая обратилась у него почти в болезнь. Он радовался всякому разбору своих произведений, выслушивал его с покорностью школьника, обнаруживая и готовность исправления. Одного замечания о неуместности сравнения Хоря и Калиныча с Гете и Шиллером, допущенного им, достаточно было, чтобы сравнение осталось только на страницах «Современника» 1847, где впервые явилось, и не перешло в следующие издания. Вообще говоря, нельзя было никогда угадать, куда увлечет его голова, работающая в различных направлениях, но можно было указать, зная его прямое сердце, место, где он остановится. Было что-то женственное в этом сочетании решимости и осторожности, смелости и расчета, одновременной готовности на почин и на раскаяние, сообщавшее прелесть его меняющемуся существованию.

Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах: ему недоставало женской любви и

привязанности, которых он искал с ранних пор. Недаром повторял он замечание, что общество мужчин, без присутствия доброй и умной женщины, походит на тяжелый обоз с немазаными колесами, который раздирает уши нестерпимым, однообразным своим скрипом. Призыв и поиски идеальной женщины помогли ему создать тот Олимп, который он населил благороднейшими женскими существами, великими в своей простоте и в своих стремлениях. Пока требовательная критика разбирала, после Рудина, человека с большими претензиями и ничтожной волей, перенося на все поколение сороковых годов презрение, которое возбуждал в ней этот тип, Тургенев уже сделался идолом прекрасной половины человеческого рода. Любовь эта сопровождала его до могилы, но то была любовь платоническая. Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею: он мог только измучить ее. Для торжества при столкновениях страсти ему недоставало наглости, безумства, ослепления. В одной из чудных повестей своих, «Первая любовь», он рассказывает ужас, наведенный на него ударом хлыста, которым раздраженный любовник отвечал своей возлюбленной, побеждая ее волю и своенравие [18]. С тех пор ужас от дикого поступка, казалось, и не проходил у Тургенева и одолевал его, когда требовалась решимость выбора. Он не отвечал ни на одну из симпатий, которые шли ему навстречу, за исключением разве трогательных связей его с О. А. Тургеневой в 1854 году, но и она длилась недолго и кончилась, как кончаются минутные вспышки, капризы и причуды, на которые он разменял свирепое одушевление истинной страсти, то есть мирным разрывом и поэтическим воспоминанием о прожитом времени [19].

Немаловажную роль в его жизни играл другой афоризм, который он тоже любил повторять: «Только с теми людьми и жить можно, которые все видят и понимают — и умеют молчать». Чуткий ко всему, что происходило в обществе, он спускался в отдаленные края его и выводил оттуда людей, замеченных им по серьезности своего образа мыслей и по характеру, рассчитывая на их скромность и привязанность, потому что сочувствие и преданность людей были ему необходимы, как воздух, для существования. После 1850 года гостиная его сделалась сборным местом для людей из всех классов общества. Тут встречались герои светских салонов, привлеченные его репутацией возникающего *модного* писателя, корифеи лите-

ратуры, готовившие себя в вожаков общественного мнения, знаменитые артисты и актрисы, состоявшие под неотразимым эффектом его красивой фигуры и высокого понимания искусства, наконец, ученые, приходившие послушать умные разговоры светских людей. Высокопоставленные особы тогда еще не посещали его приемной: это явилось уже с началом нового царствования. Между всеми его гостями не редкость была найти людей без имени, никому не известных и отличавшихся своей сдержанностью. Тургенев дорожил ими столько же по крайней мере, сколько и теми, которые носили громкие имена в литературе и обществе. Беседа его с бойкими и развитыми людьми своего общества не стоила ему большого труда. С его образованием и находчивым умом, с его речью, исполненною того, что французы называют point (искрой), он легко приводил слушателей в восторг. Ввиду потребностей легкой эрудиции, столь необходимой для успеха в обществе, у него был недюжинный запас положительного знания и помощь справочных книг: так, в это время ему служила настольной книгой многотомная «Biographie universele». В разговоре с отысканными им и выведенными в свет людьми все было, наоборот, просто. Он говорил с ними о том, что они знали и чем интересовались, и внимательно прислушивался к их мнениям, которые нигде более не мог встретить. Он обладал одним замечательным качеством: за ним ничего не пропадало. Он никогда не оставался в долгу ни за какое дело, ни за оказанное расположение, ни за наслаждение, доставленное ему произведением, ни за простую потеху, почерпнутую в той или другой форме. Все это он помнил хорошо и так или иначе, рано или поздно находил случай отыскать и отблагодарить по-своему человека за интеллектуальную услугу, полученную от него когда-то. Сколько имен просятся под перо в подтверждение факта — имен мужского и женского пола. Конечно, он мог и ошибаться в своих приговорах. Пишущий эти строки случайно натолкнулся на одну из оригинальных сцен в его квартире. Однажды ему довелось прийти к Тургеневу довольно рано утром. В кабинете его сидел критик Аполлон Григорьев, мыслитель и всегдашний энтузиаст[20], сказавший про Тургенева слово, которое долго оставалось в памяти автора «Дворянского гнезда»: «Вы *ненужный более* продолжатель традиций Пушкина в нашем обществе». Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, ука-

зывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности, торжественным и зычным голосом воскликнул: «На колени! Становитесь на колени! Вы находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель». Пошли расспросы — оказалось, что они только что выслушали произведения Случевского и приведены ими были в восторженное состояние, которое — увы! — не разделили ни критики, ни общественное мнение, когда те же самые произведения предоставлены были их суду[21]. Почетные, смеем сказать, ошибки Тургенева в оценке новых талантов происходили от его горячности служить им и приводили иногда к комическим результатам. Нельзя не рассказать здесь анекдота, слышанного от В. П. Боткина. Известно, что ничто так не возбуждало и не оскорбляло Боткина, как превознесение человека без достаточных оснований. Он уже наслышался о необычайном таланте г. Леонтьева, которого Тургенев провозгласил рассказчиком вне сравнения и ставил далеко выше себя, принижаясь, по обыкновению, без меры для того, чтобы увеличить рост соперника. Достав одно из произведений г. Леонтьева и прочитав его внимательно, Боткин дождался панегириста и с документом в руке, усадив его за стол, требовал, чтобы он показал, где тут сила и гениальность[22]. Разбор его до того был резок и привязчив, что Тургенев не выдержал и убежал в сад, «где и принялся сочинять на меня эпиграмму», прибавлял Боткин. Эпиграмма вышла действительно забавная. Пародируя пушкинского «Анчара», Тургенев предоставил роль *древа яда* самому Боткину, умерщвляющему все живое кругом себя: «Панаев сдуру налетит и, корчась в муках, погибает» и проч. Мы уже не говорим о том, что кошелек Тургенева был открыт для всех, кто прибегал к нему. Пересчитать людей, материально ему обязанных, почти и невозможно за их многочисленностью. Ему случалось вменять себе в заслугу отказ о помощи слишком назойливому человеку, но были и такие друзья, которые принимали и это заявление за обычное хвастовство его. Денежное пособие было, однако же, низшим видом его благотворительности: он являлся с услугой, когда нужно было поднять дух пациента, разбудить его волю, внушить доверенность к себе. Между прочим, он подарил первое издание «За-

писок охотника» в 1852 году Н. Х. Кетчеру, которому оно досталось не без труда, потому что сопровождалось увольнением цензора, допустившего книгу в обращение, и вопросом о ее конфискации[23]. Кстати, это напоминает нам, что и администрация и публика одинаково смотрели тогда на сочинение Тургенева как на проповедь освобождения крестьян. Графиня Ростопчина (урожденная Сушкова), получив книгу, заметила перед Чаадаевым: «Voilà un livre incendiaire». — «Потрудитесь перевести фразу по-русски, — отвечал Чаадаев, — так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы — зажигающая книга — получится нестерпимое преувеличение. Можно думать, что арест Тургенева в том же 1852 году явился наказанием столько же за статью о Гоголе, сколько и за это издание «Записок»[24]. Мы знали вельможу, очень образованного и гуманного, немало способствовавшего и облегчению уз нашей печати, который до конца своей жизни думал, что успехом своей книги Тургенев обязан французской манере возбуждения одного сословия против другого. Но весь говор, сопровождавший деятельность Тургенева, не мешал ему идти своей дорогой. Составитель этой статьи сам слышал от почтенного историка нашего Ивана Ег. Забелина, как Тургенев умолял его дать свое согласие на напечатание какого-либо из его трудов[25]. «Нельзя же мне, — говорил тогда Тургенев, — тяготить весь век мой землю без пользы для других: дайте мне возможность сделать что-либо для общества». Предложение было отклонено, по неимению готового труда, но способ выразить свое сочувствие исследователю отличался оригинальностью. Вообще говоря, нравственная доблесть его превышала все его недостатки, и требовалось много усилий и громадное количество литературных и жизненных неприличий, чтобы из такого человека сделать себе врага и недоброжелателя.

III

Первую поездку за границу, после 1840 года, Тургенев совершил спустя семь лет, провожая семейство Виардо из России в Берлин, в 1847 году[26], и отправляясь оттуда в Штеттин для встречи больного Белинского, которого привез с собой на Шпре, а затем сопутствовал ему и в Зальцбрунн.

Никто из друзей не догадывался о скудости его средств в это время. Он умел мастерски скрывать свое положение, и никому в голову не могла прийти мысль, что по временам он нуждался в куске хлеба. Развязность его речей, видная роль, которую он всегда предоставлял себе в рассказах, и какая-то кажущаяся, фальшивая расточительность, побуждавшая его не отставать от затейливых похождений и удовольствий и уклоняться незаметно от расплаты и ответственности, отводили глаза. До получения наследства в 1850 году он пробавлялся участием в обычной жизни богатых друзей своих — займами в счет будущих благ, забиранием денег у редакторов под не написанные еще произведения — словом, вел жизнь богемы знатного происхождения, аристократического нищенства, какую вела тогда и вся золотая молодежь Петербурга, начиная с гвардейских офицеров. Впрочем, он никогда не терял надежды сделаться большим барином и однажды, несмотря на свои лишения, обещал Белинскому 100 душ крестьян, как только представится возможность к тому. Белинский принял в шутку подарок. «Жена, — закричал он, — иди благодарить Ивана Сергеевича: он нас помещиками делает»[27]. А между тем критик серьезно нуждался в устройстве своей судьбы. За год до отъезда своего в Зальцбрунн, именно в 1846 году, он разорвал связи с «Отечественными записками» и собирал труды друзей для большого альманаха «Левиафан». Тургенев был из первых, обещавших ему свою лепту, а между тем по лукавству, часто встречаемому в литературных кружках, ему не хотелось конечной гибели органа «Отечественные записки», которую уже им пророчили. Тогда он свел редактора их с В. Майковым, молодым писателем, эстетика которого, построенная на этнографических данных, могла дать своего рода окраску журналу. Майков имел несчастие утонуть, купаясь близ Ропши, но на первых порах успел сохранить за «Отечественными записками» влияние, приобретенное ими при старом критике. Все остальное хорошо известно и много раз повторялось. Сборник статей куплен был у Белинского Панаевым и Некрасовым, которые с помощью его вздумали основать свой собственный журнал, нашли в старом «Современнике» Плетнева готовый материал для издания и приобрели его[28]. Менее известно, что Тургенев был душой всего плана, устроителем его, за исключением, разумеется, личных особенностей, введенных в него будущими издателями, с которыми делил покамест все перипетии предприятия.

Некрасов совещался с ним каждодневно; журнал наполнился его трудами. В одном углу журнала блистал рассказ «Хорь и Калиныч», как путеводная звезда, восходящая на горизонте; в «Критике» явился его пространный разбор драмы Кукольника, и наконец множество его заметок разбросано было в последнем отделе журнала [29]. В одной из них находилась латинская цитата; не доверяя лингвистическим познаниям своего друга, Некрасов испортил ее нарочно в корректуре, чтобы иметь возможность, при случае, свалить вину на типографию, и признался в своей хитрости автору. Дождавшись первой книжки «Современника» на 1847 год, Тургенев выехал за границу.

Удивительный был этот 1846 год. По странной случайности к нему относится единовременное появление замечательных памятников русской литературы. Тогда были кончены и опубликованы: «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича — произведения, открывавшие новые дороги талантам и возвещавшие цветение литературы в скором будущем, не оправданное, однако же, событиями и обстоятельствами, вскоре за тем наступившими...

Я уже с год жил в Париже, когда Иван Сергеевич прибыл в Зальцбрунн с больным Белинским. Я поспешил присоединиться к ним, и мы встретились в этом только что возникавшем тогда месте лечения грудных страданий, как это видно из моей статьи «Замечательное десятилетие», к которой и отсылаем читателя за подробностями *. Тургенев писал тогда «Бурмистра» и прилежно учился по-испански [30]. Известно, что он покинул нас с Белинским тайком, выехав из Зальцбрунна под каким-то благовидным предлогом на короткое время, оставив в нем часть белья и платья и уже не возвращаясь более назад. Когда по осени того же года я спрашивал его в Париже о причинах бесполезной хитрости, употребленной им в Зальцбрунне, он только пожал плечами, как бы говоря: «Да и сам не знаю». Дела его были в плохом состоянии: он не мог жить в Париже, поселился в пустом замке, предоставленном ему Жорж Зандом [31] где-то на юге, и наезжал по временам в Париж, обегал своих знакомых в скрывался опять. Перед революцией 1848 года он, однако же, переехал совсем в Париж,

* См. «Вестник Европы» 1880 года, январь, февраль, март, апрель и май. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

занял очень красивую комнату в угловом доме Rue de la Paix и Итальянского бульвара, теперь уже снесенном, и переходил в том же доме то выше, то ниже, смотря по благоприятным или неблагоприятным известиям из России. Февральские и июньские дни 1848 года застали его еще в Париже, и при этом нельзя не сказать о замечательной его способности подмечать характерные общественные явления, мелькавшие у него перед глазами, и делать из них картины, выдающие дух и физиономию данного момента с поразительной верностью. Таковы небольшие рассказы его из французской революции, как «Наши послали» и проч., хотя, собственно, сам он не принимал никакого участия в социальном движении знаменитого 1848 года и только говорил о нем[32].

В октябре я уехал в Россию, оставив Тургенева в Париже, и только через два года снова встретил его на родине. Извещенный о тяжкой болезни своей матери — 1850 год, — он явился принять ее последний вздох и помириться с нею перед смертию, но уже не застал ее на свете. По какой-то чужой оплошности он не мог даже поспеть и на похороны ее в Донском монастыре, прибыв в Москву, где она скончалась, в самый день совершения обряда. Всеми подробностями церемонии распоряжался покойный брат его Н. С. Тургенев.

Шесть лет за тем прожил наш поэт безвыездно в России. В эти последние шесть лет его молодости произошло многое и в нем самом, и в обстановке его. Мы уже говорили в упомянутой выше статье «Замечательное десятилетие» о внезапном аресте, постигшем его за статью о Гоголе. Замечательно, что сам он отзывался всю жизнь о событии без малейшего признака злобы, без чувства оскорбленной личности, почти равнодушно. Да и были причины на то. Несмотря на суровое начало, арест в дальнейшем своем течении принес ему немало добра, обнаружив общие симпатии к его лицу, дав возможность создать одну крупную вещь — рассказ «Муму» — и, главное, открыв ему, что он и продиктован был без раздражения и ненависти, как простая полицейская мера для обуздания и принижения писателей, не раз употреблявшаяся и прежде относительно журналистов и цензоров. Гораздо хуже ареста была последовавшая за ним административная высылка в деревню, без права выезда из нее — во-первых, потому, что она могла продолжаться неопределенное количество лет, а во-вторых, потому, что Тургенев лишался возможности, имея

к тому все нужные средства, располагать собою. Стеснение это раздражало его более всего. Мы видели подложный паспорт на имя какого-то мещанина, приобретенный им где-то, и с которым он явился однажды в Москву, к изумлению и ужасу своих приятелей [33]. Не желая, однако ж, рисковать всякий раз дальнейшей своей судьбой, он жаловался в Петербург и получил оттуда совет составить письмо с просьбой об освобождении (прилагался даже и образчик такого официально-просительного письма с *признанием своей вины*). Тургенев последовал этому совету и был возвращен в следующем, 1853 году. Впоследствии, при заключении парижского мира, старый князь Орлов, бывший начальник III Отделения в оное время и семейству которого Тургенев имел случай оказать услугу, дружески знакомясь с ним и целуя его в лоб, примолвил: «Кажется, вы не имеете причин сердиться на меня» [34]. Действительно, никто не сердился, начиная с потерпевшего, на событие. Разве можно сердиться на установившиеся нравы и обычаи, против которых не слышится и протеста общественной совести?

Накануне постигшей его катастрофы Тургенев сделал еще одно доброе дело. Пользуясь дружескими отношениями с редакторами «Современника», он ввел в круг петербургских литераторов сотрудников журнала «Москвитянин», показав пример терпимости и беспристрастия, довольно редкий в то время. (См. мою статью о А. Ф. Писемском «Художник и простой человек» в «Вестнике Европы», 1882, апрель) [35].

Между тем года шли и приносили те плоды, семена которых давно в них были заложены. Разразилась свирепая война между нами и Турцией и англо-французскими ее союзниками в виду Европы, приготовляющейся к коалиции... Война перешла уже на нашу почву, обложила Севастополь и стучалась в Кронштадт; готовились большие приготовления к отпору, предвиделись новые жертвы и новые напряженные усилия отвечать нуждам минуты без особой надежды на успех. Мы все жили, как бы притаившись, чувствуя инстинктивно, что времена серьезны в высшей степени, и не питая радужных надежд на перемену обстоятельств. Летом 1854 года Тургенев поселился на даче по петергофской дороге, недалеко от О. А. Тургеневой, которая с отцом и теткой жила в самом Петергофе. Общество этой чрезвычайно умной и доброй девушки сделалось для него необходимостью...

Однажды и уже по зиме следующего, 1855, года, зашед к нему на квартиру, я узнал, к великому моему удовольствию, что в задней ее комнате спит приезжий из армии молодой артиллерийский офицер граф Лев Николаевич Толстой. Публике было уже известно это имя, а литераторы превозносили его в один голос. Лев Толстой выслал в «Современник» первый свой рассказ «Детство и отрочество», поразивший всех поэтическим реализмом своим и картиной провинциальной семьи, гордо живущей со своими недостатками и ограниченностью, как явление вполне самостоятельное и непререкаемое[36]. Он готовил еще и многое другое. Будучи соседом Толстого по деревне и движимый своим неугомонным демоном любопытства и участия, Тургенев пригласил его к себе. Но Л. Н. Толстой был очень оригинальный ум, с которым надо было осторожно обращаться. Он искал пояснения всех явлений жизни и всех вопросов совести в себе самом, не зная и не желая знать ни эстетических, ни философских их пояснений, не признавая никаких традиций, ни исторических, ни теоретических, и полагая, что они выдуманы нарочно людьми для самообольщения или для обольщения других. Как курьез воззрение это еще могло поддерживаться при громадном образовании и большой начитанности, но гр. Толстой не гонялся за курьезами. То был сектантский ум по преимуществу, очень логический, когда касалось выводов, но покорявшийся только вдохновенному слову, сказавшемуся, неизвестно как, в глубине его души. Поэтому столь же интересно было следить за его мнением, всегда новым и неожиданным, сколько и за происхождением этого мнения. Нередко встречались у него приговоры, поражавшие своим ультрарадикальным характером. Так, шекспировского «Короля Лира» он считал нелепостью за неправдоподобие сказки, лежащей в основании трагедии, а в то же время все симпатии его принадлежали пьяному артисту-немцу, которого встретил в публичном доме и сделал героем одной из повестей своих[37]. В Тургеневе он распознал многосторонний ум и наклонность к эффекту — последнее особенно раздражало его, так как искание жизненной правды и простоты и *здравомысленности* существования составляло и тогда идеал в его мыслях. Он находил подтверждение своего мнения о Тургеневе даже в физиологических его особенностях и утверждал, например, что он имеет фразистые ляжки. Вызывающий тон и холодное презрение, которые он выказывал перед Тургеневым

даже и тогда, когда тот успел уже отделаться от многих увлечений своей молодости, заставляли ожидать разрыва и катастрофы, которые и явились. Уже в шестидесятых годах, находясь в гостях, в селе Спасском, Толстой сделал презрительное и едкое замечание об опытах воспитания, которым Тургенев подвергает свою дочь, увезенную им за границу, и окончательно вывел из себя терпеливого хозяина, отвечавшего ему грубостью. Последствием было назначение дуэли, не состоявшейся за отказом Толстого. За несколько лет до кончины Тургенева Толстой, вероятно очнувшийся от своих предубеждений против старого друга, ввиду общего уважения, которое тот приобрел, обратился к нему с трогательной просьбой забыть прошлое и восстановить их прежние дружеские отношения, на что Тургенев, пораженный этим актом мужественного великодушия, отвечал не только полной готовностью на сделку, но приехал сам к нему в деревню протянуть руку примирения, которое им обоим делало великую честь[38].

И пора было. Не говоря уже о том, что странным казалось видеть корифеев русской литературы, так связанных всем своим прошлым, во вражде друг с другом; но Тургенев оставался еще жарким поклонником Толстого во все время ссоры. Он признавал в нем, кроме качеств примерного товарища и честнейшей души, еще человека инициативы, почина, способного выдержать до конца любое предприятие, которому посвятил себя, лишь бы только не пропадала у него вера в достоинство начатого дела. О литературных трудах Толстого и толковать нечего: Тургенев был одним из его панегиристов. Он говорил во всеуслышание, что из всех русских романистов, не исключая и его самого, первое место должно принадлежать графу Л. Н. Толстому за его способность проникать в сущность характеров, исторических событий и целых эпох, какой не обладает ни один из существующих ныне писателей.

Приближалось, однако, время *общественных,* в прямом смысле слова, романов и для Тургенева, превративших его в политического деятеля. Оно началось с появления повести «Рудин», в 1856 году. Это еще не был тот полный шедевр, каким оказались впоследствии «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Новь», но роман уже заключал в себе данные, которые так блестяще развились с годами. Впечатление, произведенное им, мало уступало тому, какое сопровождало появление «Хоря и Калиныча»; роман может считаться крупным торжеством автора, хотя журна-

листика отнеслась к нему очень сдержанно. Впервые является тут почти историческое лицо, давно занимавшее как самого автора, так и русское общество своим смело-отрицательным, пропагандирующим характером, и является как несостоятельная личность в делах общежития, в столкновении рефлектирующей своей природы с реальным домашним событием. Роман был погребальным венком на гробе всех старых рассказов Тургенева о тех абстрактных русских натурах, устраняющихся и пассирующих перед явлениями, ими же и вызванными на свет, — с тех пор они уже более не производились им. И понятно почему — последний, прощальный венок сплетался из качеств человека, заведомо могущественного по уму и способностям; после этого нечего было прибавлять более. Некоторые органы журналистики, оскорбленные унижением героя, объясняли это унижение негодованием автора на человека, который брал деньги взаймы и не отдавал их, но это было объяснение неверное [39]. Публика поняла повесть иначе и правильнее. Она увидала в ней разоблачение одного из свойств у передовых людей той эпохи, которая не могла же, в долгом своем течении, не надорвать их силы и не сделать их тем, чем они явились, когда выступили, по своему произволу, на арену действия. Выразителем этого мнения сделался известный О. И. Сенковский. Он написал восторженное письмо к г. Старчевскому о «Рудине», которое тот и поспешил сообщить Тургеневу. В письме Сенковский замечал, что автор обнаружил признаки руководящего пера, указывающего новые дороги, о чем он, Сенковский, имеет право судить, потому что сам был таким руководящим пером, и без *проклятого* (выражение письма) цензора Пейкера, испортившего его карьеру, может статься, и выдержал бы свое призвание. В «Рудине» Сенковский находил множество вещей, не выговоренных романом, но видимых глазу читателя под прозрачными волнами, в которых он движется. Политическое и общественное значение повести открывается во всех ее частях и притом с такой ясностию и вместе с таким приличием, что не допускает ни упрека в утайке, ни обвинения в злостных нападках. Сенковский сулил большую будущность автору повести и был в этом случае не фальшивым пророком, как часто с ним случалось прежде.

Между тем молодость Тургенева уже прошла. Ему предстояло еще около тридцати лет обширной деятельности, но тем же ветхим человеком, каким его знали в

эпоху появления «Параши», он оставаться не мог. Еще прежде «Рудина» он почувствовал сам роль, которая выпала ему на долю в отечестве, — служить зеркалом, в котором отражаются здоровые и болезненные черты родины; но для этого необходимо было держать зеркало в надлежащей чистоте. Всякое человеческое начинание имеет свой пункт отправления, который и указать можно; только одно действие времени не имеет такого пункта — оно мгновенно обнаруживает во всей полноте и цельности явление, которое готовилось в его недрах долго и невидимо для людского глаза. Нечто подобное такому действию времени случилось и с Тургеневым: только с эпохи появления «Рудина» обнаружилось, что он уже давно работает над собою. Порывы фантазии, жажда говора вокруг его имени, безграничная свобода языка и поступка — все происходило в нем или складывалось на наших глазах в равновесие. Ни одному из опасных элементов своей психической природы он уже не позволял, как бывало прежде, вырваться стремительно наружу и потопить на время в мутной волне своей лучшие качества его ума и сердца. Может быть, это было произведение годов, пережитых Тургеневым; может быть, приобретенный опыт и воля действовали при этом механически, безотчетно, в силу одного своего тяготения к добру и истине. Как бы то ни было, преобразование Тургенева свершилось без труда и само собой: ему не предстояло никакой работы для выбора новых материалов морали и постройки из них своего созерцания, никаких аскетических элементов для замены старых верований, ничего, что могло бы коверкать его природу и насиловать его способности. Оно произошло просто и натурально, благодаря одному наблюдению за собою и упразднению того потворства дурным инстинктам, которое вошло у него в привычку. Лучшие материалы для реформы лежали с детства в нем самом, лучшие верования жили с ним от рождения; стоило только их высвободить от помех и уз, наложенных невниманием к самому себе. Но зато с тех пор, как воссияла для Тургенева звезда самообразования и самовоспитания, он шел за ней неуклонно в течение тридцати лет, поверяя себя каждодневно, и достиг того, что на могиле его сошлось целое поколение со словами умиления и благодарности как к писателю и *человеку.* Не вправе ли были мы сказать, что редкие из людей выказали более выдержки в характере, чем он?..

Дрезден. Декабрь 1883 г.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ ПЯТОЙ

Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который также жил летом на даче в Павловске [1]. Он только что начал свое литературное поприще. На музыке, в вокзале, он и Соллогуб резко выделялись в толпе: оба высокого роста и оба со стеклышками в глазу, они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня. У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штеттина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле, необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе. Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью; между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не дозволяет ему сесть в лодку, причем жалобно воск-

лицал: «Mourir si jeune!» *[2] На музыке я показала этому знакомому, — так как он был деревенский житель, — всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Соллогуба и Тургенева. «Боже мой! — воскликнул мой гость, — да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе «mourir si jeune». Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил: «У него тоненький голос, что очень поражает в первую минуту при таком большом росте и плотном телосложении».

Мне все-таки казалось невероятным, чтоб это был Тургенев, но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации.

Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение; многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части: одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла по аллее; впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он будто бы вчера спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей; будто бы с дамой сделалось дурно и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь: «Надо было чем-нибудь занять своих дам».

С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости часто импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему:

— Когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым? Это возмутительно видеть в умном и образованном человеке [3].

Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей.

От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, что-

---

* умереть таким молодым! (*фр.*)

бы брать деньги за свои сочинения; что он их дарит редакторам журнала.

— Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев! — упрекал его Белинский.

Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость.

ИЗ ГЛАВЫ ШЕСТОЙ

В сороковых годах состав Итальянской оперы в Петербурге был замечательный; в ней пели знаменитые европейские певцы: Рубини, Тамбурини, Лаблаш; хотя их блестящее сценическое поприще уже было на закате, но все-таки они своим пением доставляли большое наслаждение

Появилась в Итальянской опере примадонна Виардо, которая сделалась любимицей публики. Такого крикливого влюбленного, как Тургенев, я думаю, трудно было найти другого. Он громогласно всюду и всем оповещал о своей любви к Виардо, а в кружке своих приятелей ни о чем другом не говорил, как о Виардо, с которой он познакомился. Но в первый год знакомства Тургенева с Виардо, из рассказов его и других лиц, которые бывали у Виардо, видно было, что она не особенно была внимательна к Тургеневу. В те дни, когда Виардо знала, что у нее будут с визитом аристократические посетители, Тургенев должен был сидеть у ее мужа в кабинете, беседовать с ним об охоте и посвящать его в русскую литературу. На званые вечера к Виардо его тоже не приглашали. После получения наследства <в 1851 году> Тургенев приобрел право равенства с другими гостями в салоне у Виардо. Зато сначала как дорожил Тургенев малейшим вниманием Виардо! Я помню, раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе.

— Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть на свете другого человека счастливее меня! — говорил он.

Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Тургенев описывал

свои ощущения, когда почувствовал прикосновение ее пальчиков к своим вискам. Белинский не любил, когда прерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и наконец воскликнул нетерпеливо:

— Хотите, господа, продолжать игру или смешать карты?

Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу:

— Ну, можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?

Любовь Тургенева к Виардо мне тоже надоела, потому что он, не имея денег абонироваться в кресла, без приглашения являлся в ложу, на которую я абонировалась в складчину с своими знакомыми. Наша ложа в третьем ярусе и так была набита битком, а колоссальной фигуре Тургенева требовалось много места. Он бесцеремонно садился в ложе, тогда как те, кто заплатил деньги, стояли за его широкой спиной и не видали ничего происходившего на сцене. Но этого мало: Тургенев так неистово аплодировал и вслух восторгался пением Виардо, что возбуждало ропот в соседях нашей ложи <...>

Перед отъездом за границу лето мы проводили в Петербурге, и Белинский также. Тургенев жил на даче в Парголове, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры[4].

Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил, когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых.

— Небось графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете к *себе*, — шутя заметил Белинский.

Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему.

— Мы-то приедем, а вот вы-то не удерите с нами такую штуку, как зимой: созвали нас всех на вечер, а сами не явились домой! — сказал Белинский.

С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома.

Белинский сказал, прощаясь, Тургеневу: «Я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения».

День был жаркий, когда мы в 11 часов, все шесть человек приглашенных, отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски; но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. Мы вошли в палисадник и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул: «Неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой?»

Но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда.

— Да я писал ему, что мы в час будем у него. Это черт знает что такое! Хоть бы в комнату нас впустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, — горячился Белинский.

Наконец выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбегал за поваром и привел его отворить дверь. Мальчик убежал, а мы в ожидании его уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал, чтобы мы ехали домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался везти нас обратно, пока не отдохнут его измученные лошади. Поневоле надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались; Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать чего-нибудь поесть. Тогда Парголово было настоящей деревней, еду трудно было достать. Панаев явился и объявил, что в трактире никакой еды нет, да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже второй час, да и провизии негде достать: в Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избу к хозяйке дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает.

— А обед тебе сегодня заказан барином? — допрашивал Белинский.

— Никак нет-с!

Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув:

— Вот так задал же нам фестиваль Тургенев!

Все тоже рассмеялись над комическим своим положением.

— Я-то дурак! — говорил Белинский. — Хотел провести приятно день на даче! — и, обратясь к повару, продолжал: — Иди, любезный, отыщи своего барина, где хочешь, и приведи его домой.

Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает, не без успеха, за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит.

Мы пошли на берег озера, в ожидании прихода Тургенева уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес:

— Как легко мне дышится, не то что в городе. Какая обида, что и одного дня не мог провести как добрые люди: что-нибудь да взбесит тебя.

Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме Белинского, Тургенев уверял, что никакого письма не получил.

— Хорошо, — сказал Белинский, — без оправданий обойдемся. Благодарите бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту, я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город.

Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан.

— А в котором часу вы нас накормите? чай, вечером? — спросил Белинский шутливым тоном.

Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий, и обед будет готов к пяти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей, и успел в этом; между прочим он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердце. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозна-

чено сердце. Он, как ребенок, обрадовался и воскликнул: «Я теперь сделаюсь бретером, господа!» Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго; легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ожидали нетерпеливо обеда. В шесть часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом:

— Что же ваш всемогущий повар не подает обед? Мы голодны, как волки.

По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, нельзя было судить о кулинарном таланте повара. Тургенев, сознавая это, сказал:

— Господа, в воскресенье приезжайте ко...

Но ему не дали окончить фразы, все покатились со смеху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху. Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув:

— Тургенев, вы наивны, как младенец! Нет! уж старого воробья на мякине не надуете.

Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед, и в каком он страхе шел к озеру.

Погуляв по парку, выпив чаю, мы поехали в город и продолжали смеяться над фестивалем, который нам задал Тургенев.

ИЗ ГЛАВЫ СЕДЬМОЙ

Некрасов задумал издать «Петербургский сборник». Им уже были куплены статьи у некоторых литераторов. Белинский принял горячее участие в этом издании, упросил Панаева написать что-нибудь для сборника, и Панаев написал «Парижские увеселения».

Белинский находил, что тем литераторам, которые имеют средства, не следует брать денег с Некрасова. Он проповедовал, что обязанность каждого писателя помочь нуждающемуся собрату выкарабкаться из затруднительного положения, дать ему средства свободно вздохнуть и работать — чт*о* ему по душе. Он написал в Москву Герцену и просил его прислать что-нибудь в «Петербургский сборник». Герцен, Панаев, Одоевский и даже Соллогуб отдали свои статьи без денег. Кронеберг и другие литераторы сами очень нуждались, им Некрасов заплатил.

Тургенев тоже отдал даром своего «Помещика» в стихах[5], но Некрасову обошлось это гораздо дороже, потому что Тургенев, по обыкновению истратив деньги, присланные ему из дому, сидел без гроша и поминутно занимал у Некрасова деньги. Об этих займах передали Белинскому. Он, придя к нам, как нарочно встретил Тургенева, поджидавшего возвращения Панаева домой, чтобы вместе с ним идти обедать к Дюссо. Белинский знал, что обыкновенно по четвергам в этот модный ресторан собиралось много аристократической молодежи обедать, и накинулся на Тургенева.

— К чему вы разыграли барича? Гораздо было бы проще взять деньги за свою работу, чем, сделав одолжение человеку, обращаться сейчас же к нему с займами денег. Понятно, что Некрасову неловко вам отказывать, и он сам занимает для вас деньги, платя жидовские проценты. Добро бы вам нужны были деньги на что-нибудь путное, а то пошикарить у Дюссо! Непостижимо! как человек с таким анализом, разбирающий неуловимые штрихи в поступках других людей, не может анализировать таких крупных, бестактных своих отношений к людям. Эта распущенность непростительна в таком умном человеке, как вы. Ведь вас заслушаешься, не нарадуешься, как вы рассуждаете о нравственных принципах, которыми обязан руководиться развитой человек, а сами вдруг выкидываете такие коленцы, которые впору ремонтеру. Подтяните, ради Христа, свою распущенность, ведь можно сделаться нравственным уродом. Мальчишество какое-то у вас, как бы тихонько напроказить, зная, что делаете скверно. Сколько раз вас уличали в разных пошлых проделках на стороне, когда вы думали, что избежали надзора. Бичуете в других фанфаронство, а сами не хотите его бросить. Другие фанфаронят бессознательно, у них не хватает ума; а вам-то разве можно дозволять себе такую распущенность!

Тургенев очень походил на провинившегося школьника и возразил:

— Да ведь не преступление я сделал, я ведь отдам Некрасову эти деньги!.. Просто необдуманно поступил.

— Так вперед и обдумывайте хорошенько, что делаете, я для этого и говорю вам так резко, чтобы вы позорче следили за собой.

Белинский сильно привязывался к молодым даровитым людям; ему хотелось, чтобы они заслуживали общее

уважение помимо своего таланта, как безукоризненные, хорошие и честные люди, чтобы никто не мог упрекнуть их в каком-нибудь нравственном недостатке. Он говорил: «Господа, человеческие слабости всем присущи и прощаются, а с нас взыщут с неумолимой строгостью за них, да и имеют право относиться так к нам, потому что мы обличаем печатно пошлость, развращение, эгоизм общественной жизни; значит, мы объявили себя непричастными к этим недостаткам, так и надо быть осмотрительными в своих поступках; иначе, — какой прок выйдет из того, что мы пишем? — мы сами будем подрывать веру в наши слова!»

ИЗ ГЛАВЫ ВОСЬМОЙ

Подписка на «Современник» шла хорошо. Некрасов хотел было значительно понизить подписную годовую плату, но Белинский побоялся, что не хватит денег, и потому плата была назначена в 16 руб. 50 коп. в год, тогда как плата за «Отечественные записки» была 17 руб. 50 коп.

Недоброжелатели всеми способами старались повредить успеху дела, распускали самые неблагоприятные слухи, будто бы издатели нового журнала люди несостоятельные, что деньги подписчиков пропадут и т. д.; но это очень мало влияло на ход подписки.

Тургенев, вернувшись поздней осенью из деревни, шумно выражал свою радость по поводу задуманного издания «Современника». Белинский ему заметил:

— Вы не словами высказывайте свое участие, а на деле.

— Даю вам честное слово, что я буду очень ревностным сотрудником будущего «Современника».

— Не такое ли даете слово, какое вы мне дали, уезжая в деревню, что, возвратясь, вручите мне ваш рассказ для моего альманаха? — спросил ироническим тоном Белинский.

— Он у меня написан для вас, только надо его обделать...

— Лучше уж прямо сознались бы, что он не окончен, чем вилять.

— Клянусь вам, что осталось работы не более, как на неделю.

— Знаю я вас, пойдете шляться по светским салончикам! Кажется, немало времени сидели в деревне, и то не могли окончить!

Тургенев клялся, что с завтрашнего утра засядет за работу и, пока не окончит, сам никуда не выйдет, и к себе никого не примет.

— Все вы одного поля ягоды; на словах любите разводить бобы, а чуть коснулось дела, так не шевельнут и пальцем... да и я-то хорош гусь! кажется, не первый день вас всех знаю, а имел глупость рассчитывать на ваше обещание... Ну, смотрите, Тургенев, если вы не сдержите своего обещания, что все вами написанное будет исключительно печататься в «Современнике», то так и знайте: я вам руки не подам, не пущу на порог своего дома!

Все присутствующие улыбались на угрозы Белинского.

— Я вас ведь лучше знаю, чем вы сами себя! — продолжал он. — Когда вам приспичит пофорсить перед вашими знакомыми, а в кармане не будет денег, так вы не только побежите запродать свой рассказ в «Отечественные записки», но даже в «Северную пчелу»!

Все расхохотались. Белинский также засмеялся над своими словами и потом продолжал:

— Без шуток, господа, надо всем нам приложить все старание, чтобы «Современник» был хорошим журналом. Вспомните, как все мы вздыхали да охали, что у нас нет своего журнала; ну вот, наше желание исполнилось, так нам и надо сообща стараться, чтобы каждый номер «Современника» был бы полон жизни и честного направления.

— Господа, я первый даю клятву, что ни одной строки моей не будет нигде напечатано, кроме «Современника»! — воскликнул Тургенев и, обращаясь к Белинскому, сказал: — Неверующий Фома, довольны?

Белинский, улыбаясь, произнес:

— Посмотрим, сдержите ли вы свою клятву <...>

С первого же года «Современнику» повезло. В февральской книжке 1847 года был напечатан роман Гончарова «Обыкновенная история», имевший огромный успех. Боже мой! как заволновались любознательные литераторы! Они старались разведать настоящую и прошлую жизнь нового писателя, к какому сословию он принадлежит по рождению, в какой среде вращается и т. п. Многие были недовольны сдержанностью характера Гончарова и

приписывали это его апатичности. Тургенев объявил, что он со всех сторон «штудировал» Гончарова и пришел к заключению, что он в душе чиновник, что его кругозор ограничивается мелкими интересами, что в его натуре нет никаких порывов, что он совершенно доволен своим мизерным миром и его не интересуют никакие общественные вопросы, «он даже как-то боится разговаривать о них, чтоб не потерять благонамеренность чиновника. Такой человек далеко не пойдет! — посмотрите, что он застрянет на первом своем произведении».

Странно, что предсказания Тургенева о литературной будущности его современников почти никогда не оправдывались. Например, приведя к Панаеву знакомиться Апухтина, тогда еще юного правоведа, он предсказывал, что такой поэтический талант, каким обладает Апухтин, составит в литературе эпоху и что Апухтин своими стихами приобретет такую же известность, как Пушкин и Лермонтов. Объяснить подобную странность в Тургеневе можно тем, что он сильно увлекался первыми впечатлениями, потому что никак нельзя было заподозрить его в отсутствии художнического литературного понимания. Он был прекрасно образован, много читал, сам был тонким художником в своих произведениях, и когда говорил об иностранной или русской литературе, то видно было, что он тонкий и строгий ценитель. Расскажу один эпизод, случившийся с Тургеневым. Он знал, что на следующий номер «Современника» не имелось ничего хорошего для отдела беллетристики, приходилось печатать плохонькую повесть, и вот он прибегает в редакцию и радостно объявляет Некрасову, что вчера в одном светском обществе он присутствовал при чтении одним молодым автором его первого произведения, что это такая прелесть, после которой он должен изломать свое перо, чтобы не осрамиться перед таким новым талантом, и советовал Некрасову поспешить приобрести эту повесть, заверяя, что она сразу прибавит 500 подписчиков. Некрасов обрадовался, просил Тургенева похлопотать, чтобы эта повесть попала в «Современник», и даже сделал распоряжение в типографии, чтобы прекратили набор данной им раньше повести. Оказалось, что хваленая повесть еще была не окончена, и автор сам через полторы недели привез ее в редакцию. Это был московский молодой франтик, подъехавший в карете четверней, потому что остановился у своей тетушки-старушки, которая иначе не выезжала, как с форейтором. Не-

красов, не прочитав рукописи, немедленно послал в типографию набирать, потому что ожидание этой повести и так задержало выход книжки. Когда принесли из типографии корректуру, Некрасов пришел в отчаяние. Все действующие лица в повести были графы, камергеры, графини, княгини; герой и героиня выражались до того высокопарно, что возбуждали смех; кроме вычурного слога, повесть была пересыпана массой каких-то туманных философских рассуждений.

Когда Тургенев пришел к обеду, Некрасов, не говоря ни слова, прочел ему выдержки из этой повести. Тургенев смеялся до слез и наконец сказал: «Это, наверно, Панаев выкинул такую штуку, не решился отказать какому-нибудь из своих аристократов, который пустился в литературу». Тогда Некрасов объявил, что не Панаев, а он рекомендовал эту повесть. Тургенев привскочил с места и с удивлением воскликнул: «Да это не может быть!» Когда же убедился, что это верно, то схватил себя за голову и жалобно произнес: «Что за помрачение нашло на меня! Как я так опростоволосился?» Тургенев объяснил, что он слушал чтение этой повести в блаженном одурении, сидя близко к одной барыне, которая ему очень нравилась, что он упивался ароматом ее головы, блаженствовал, когда она поворачивала свою голову к нему и тихо сообщала свои восторги от повести, что ее губки так близко были к его щеке. Он был мастер описывать свои ощущения в этом роде.

Некрасов в наказание засадил Тургенева исправлять высокопарные разговоры героини и героя в его хваленой повести. Тургенев, проработав немного, встал из-за стола, сказав: «Хорошенько надо было бы высечь автора, чтобы он не смел никогда браться за перо! Да уж и меня кстати!»

Сожалею, что не могу вспомнить название этой повести; помню одно, что она была напечатана в начале пятидесятых годов.

С тех пор Некрасов был осторожен и не полагался на похвалы Тургенева, когда тот брал под свое покровительство молодых людей, начинавших свое литературное поприще.

П. В. Анненков выступил на литературное поприще, кажется, в 1848 году, рассказом под названием «Кирюша». Тургенев стыдил Некрасова, что он срамит журнал,

печатая такую бездарность, и за глаза иначе не называл Анненкова, как «наш Кирюша». Кажется, в беллетристическом роде Анненков ничего более не писал[6].

ИЗ ГЛАВЫ ДЕВЯТОЙ

За 1848 и 1849 годы на «Современнике» накопилось много долгов[7], надо было их выплачивать, и потому среди 1850 года денег не было, а между тем Тургеневу вдруг понадобились две тысячи рублей. Приходилось занять, чтобы скорее удовлетворить Тургенева, который объявил Некрасову: «Мне деньги нужны до зарезу, если не дашь, то, к моему крайнему прискорбию, я должен буду идти в «Отечественные записки» и запродать себя, и «Современник» долго не получит от меня моих произведений». Эта угроза страшно перепугала Панаева и Некрасова. Они нашли деньги при моем посредстве и за моим поручительством[8].

Не прошло и года, как из-за Тургенева произошла остановка в печатании книжки «Современника». Он должен был дать рассказ, но не прислал его и даже с неделю не показывался в редакцию, что было необыкновенно, так-как он если не обедал у нас, то непременно приходил вечером. Некрасов волновался, два раза ездил к нему, но не заставал дома; наконец написал ему записку, убедительно прося тотчас прислать рукопись. Тургенев явился и, войдя в комнату, сказал:

— Браните меня, господа, как хотите, я даже сам знаю, что сыграл с вами скверную штуку, но что делать, вышла со мной пренеприятная история... Я не могу дать вам этого рассказа, я напишу другой к следующему номеру.

Такое неожиданное заявление ошеломило Некрасова и Панаева; сначала они совсем растерялись и молчали, но потом разом закидали Тургенева вопросами: как? почему?

— Мне было стыдно показываться вам на глаза, — отвечал он, — но я счел мальчишеством далее водить вас и задерживать выход книжки. Я пришел просить, чтобы вы поместили что-нибудь вместо моего рассказа. Я вам даю честное слово написать рассказ к следующему номеру.

Некрасов и Панаев пристали, чтоб он объяснил им причину.

— Даете заранее мне слово никогда не попрекать меня?

— Даем, даем, — торопливо ответили ему оба.

— Теперь мне самому гадко, — произнес Тургенев, и его как бы передернуло; тяжело вздохнув, он прибавил: — Я запродал этот рассказ в «Отечественные записки»! Ну, казните меня.

Некрасов даже побледнел, а Панаев жалобно воскликнул:

— Тургенев, что ты наделал!

— Знаю, знаю! все теперь понимаю, но вот! — И Тургенев провел рукой по горлу. — Мне нужно было пятьсот рублей. Идти просить к вам — невежливо, потому что из взятых у вас двух тысяч я заработал слишком мало.

Некрасов дрожащим голосом заметил:

— Неуместная деликатность!

— Думал, может, у вас денег нет.

— Да пятьсот рублей всегда бы достали, если бы даже их не было! — в отчаянии воскликнул Панаев. — Как ты мог!..

Некрасов в раздражении перебил Панаева:

— Что сделано, то сделано, нечего об этом и разговаривать... Тургенев, тебе надо возвратить пятьсот рублей Краевскому.

Тургенев замахал руками:

— Нет, не могу, не могу! если б вы знали, что со мной было, когда я вышел от Краевского... точно меня сквозь строй прогнали! Я, должно быть, находился в лунатизме, проделал все это в бессознательном состоянии; только когда взял деньги, то почувствовал нестерпимую боль в руке, точно от обжога, и убежал скорей. Мне теперь противно вспомнить о моем визите!

— Рукопись у Краевского? — спросил поспешно Некрасов.

— Нет еще!

Некрасов просиял, отпер письменный стол, вынул оттуда деньги и, подавая их Тургеневу, сказал:

— Напиши извинительное письмо.

Тургенева долго пришлось упрашивать; наконец он воскликнул:

— Вы, господа, ставите меня в самое дурацкое положение... Я несчастнейший человек!.. Меня надо высечь за мой слабый характер!.. Пусть Некрасов сейчас же мне сочинит письмо, я не в состоянии! Я перепишу письмо

и пошлю с деньгами. — И Тургенев, шагая по комнате, жалобным тоном восклицал: — Боже мой, к чему я все это наделал? Одно мне теперь ясно, что, где замешается женщина, там человек делается непозволительным дураком! Некрасов, помажь по губам Краевского, пообещай, что я ему дам скоро другой рассказ! — Тургенев засмеялся и продолжал: — Мне живо представляется мрачное лицо Краевского, когда он будет читать мое письмо! — и, передразнивая голос Краевского, он произнес: «Бесхарактерный мальчишка, вертят им как хотят в «Современнике»!» — Придется мне, господа, теперь удирать куда ни попало, если завижу на улице Краевского... О господа, что вы со мной делаете!

Когда Некрасов прочитал черновое письмо, то Тургенев воскликнул:

— Ну, где бы мне так ловко написать. Я бы просто бухнул, что находился в умопомешательстве, оттого и был у Краевского, а когда припадок прошел, то и возвращаю деньги.

С тех пор Тургеневу был открыт неограниченный кредит в «Современнике».

Раз, после выпуска книжки, у нас собралось обедать особенно много гостей. После обеда зашел общий разговор о том, как было бы хорошо, если бы разрешили издать сочинения Белинского, — тогда дочь его была бы обеспечена.

— Господа, — воскликнул вдруг Тургенев, — я считаю своим долгом обеспечить дочь Белинского. Я ей дарю деревню и двести пятьдесят душ, как только получу наследство[9].

Это великодушное заявление произвело большой эффект. В честь Тургенева был провозглашен тост. Один из литераторов даже прослезился и, пожимая руку Тургенева, проговорил: «Великодушный порыв, голубчик, великодушный!»

Когда восторги приутихли, я обратилась к сидевшему рядом со мной Арапетову и сказала ему:

— Я думала, что уже сделалось анахронизмом дарить человеческие души; однако, как вижу, ошиблась.

Мое замечание произвело эффект совсем другого рода. Многие из гостей посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев сконфуженно пожали плечами. Иногда я была не в силах совладать с собой; быва-

ло, долго слушаю, что говорят кругом, и неожиданно для самой себя выскажу какое-нибудь замечание, хотя я вполне сознавала всю бесполезность моих замечаний; кроме неприятностей, из этого ничего не выходило.

Полистная плата Тургеневу с каждым новым произведением увеличивалась. Сдав набирать свою повесть или рассказ, Тургенев спрашивал Некрасова, сколько им забрано вперед денег. Он никогда не помнил, что должен журналу.

— Да сочтемся! — отвечал Некрасов.

— Нет! Я хочу, наконец, вести аккуратно свои денежные дела.

Некрасов говорил цифру тургеневского долга.

— Ой, ой! — восклицал Тургенев. — Я, кажется, никогда не добьюсь того, чтобы, дав повесть, получить деньги: вечно должен «Современнику»! Как хочешь, Некрасов, а я хочу скорей расквитаться, а потому ты высчитай на этот раз из моего долга дороже за лист; меня тяготит этот долг.

Некрасов хотя морщился, но соглашался, а Тургенев говорил: «Напишу еще повесть и буду чист!»

Но не проходило и трех дней, как получалась записка от Тургенева, что он зайдет завтра и чтоб Некрасов приготовил ему пятьсот рублей, — «до зарезу мне нужны эти деньги», — писал он.

ИЗ ГЛАВЫ ДЕСЯТОЙ

Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов; но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых годов [10]. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть.

Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им [11].

Фет задумал издать полное собрание своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову carte blanche * выкинуть те стихотворении из старого издания, которые они найдут плохими.

У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происходили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в одной строфе стихотворения: «Не знаю сам, что буду п е т ь , — но только песня зреет!» — Фет изобличил свои телячьи мозги.

У меня сохранился экземпляр стихотворений Фета с помарками и вопросительными знаками, сделанными рукой Тургенева [12].

Гербель познакомился также в начале пятидесятых годов с Панаевым. Гербель явился к Панаеву без всяких рекомендаций и часто бывал у него по утрам, но всегда сидел в кабинете. Он долго не входил в кружок литераторов, которые собирались у нас на обеды и вечера. Причина была та, что Тургенев раз подсмеялся над Панаевым.

— Г о с п о д а , — сказал о н , — Панаев открыл новый талант и возится с ним как с будущим замечательным писателем, потому что первое произведение этого юного офицера имеет очень важное значение для русской литературы, а именно: «История Изюмского полка», написанная и изданная этим офицериком по приказанию командира полка.

Панаев обидчиво ему заметил:

— Уж ты бы, Тургенев, молчал! Да и за что ты обижаешь Гербеля? Он мне читал все свои переводы из Гейне, и мне кажется, что он очень недурно владеет стихом.

— О многострадальный Гейне! — воскликнул Т у р г е н е в , — почему-то это излюбленный поэт, над уродованием стихов которого все упражняются, причем всякий воображает, что достаточно перевести два-три стихотворения Гейне, чтобы иметь право считать себя литератором. Ну, признайся, Панаев, у тебя есть слабость разыгрывать роль литературного покровителя?

— Гербель, по крайней мере, г р а м о т н ы й , — отвечал П а н а е в , — а ты мне прислал третьего дня какого-то фран-

* полное право (*фр.*).

тика с рукописью и рекомендательным письмом, так твои франтик даже безграмотный.

Тургенев засмеялся и сказал:

— Я это сделал, чтобы избавиться от франтика, а ты по три часа беседуешь с офицериком, да еще всех знакомишь с ним. Входить скоро невозможно будет к тебе а кабинет.

Когда Гербель издал «Слово о полку Игореве», то Тургенев не называя его иначе, как «Изюмский Игорь» [13].

Мне часто приходилось слышать, как многие люди восхищались редкой чертой в характере Тургенева — искренностью. Он так был умен, что когда хотел, то мог очаровать всякого <...>

В 1852 году, вскоре после смерти Гоголя, Тургенева посадили в часть за то, что он напечатал <в Москве> маленькую статейку о Гоголе, которую цензор не пропустил в Петербурге [14]. От высшего начальства дано было приказание ничего не пропускать о Гоголе, вследствие того что в Москве на похоронах Гоголя собралась масса народу и присутствовали официальные особы.

В то время строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей. Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву.

Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании, вследствие того что носил траур по Гоголю и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензора. Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил: «За Гоголя я готов сидеть в крепости».

Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, с своей улыбкой сказал ему: «Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия». Арест Тургенева произвел большой переполох. Панаев и Некрасов навещали его сперва ежедневно утром и вечером, но потом реже, потому что Тургенев иногда давал знать рано утром, чтобы к нему не приходил никто из них. Первое такое известие

испугало Некрасова и Панаева; они думали, что Тургеневу грозит бог знает какая опасность, но потом оказалось, что в эти дни он ждал посещений своих знакомых из высшего круга. Мне арест Тургенева доставил также много хозяйственных хлопот. Тургенев просил Панаева, чтобы он присылал ему обед, так как не может есть обедов из ресторана. И пока он, если не ошибаюсь, три недели сидел в части, я должна была заботиться, чтобы в назначенный час ему был послан обед.

После похорон Гоголя, дня через четыре, у Панаева вечером собрались гости, и, разумеется, разговор вращался около болезни и смерти Гоголя и его похорон. Тургенев возмущался равнодушием петербургского общества и между прочим оказал:

— Я теперь убедился, что взгляд москвичей правилен, а Петербург — представитель чиновничества и лакейства.

Арапетов вспылил. «По-вашему, надеть креп на шляпу...» — начал он. Но Н. А. Милютин перебил его, спросив Тургенева: «Расскажите, пожалуйста, подробности о похоронах Гоголя; вы, вероятно, ведь ездили в Москву?»

Тургенев не вдруг ответил... «Я был болен». Милютин произнес протяжно: «Да! Я слышал о похоронах от одного пожилого чиновника, который отпросился у меня съездить на похороны, говоря, что хотя при жизни ему не удалось видеть такого замечательного писателя, то хоть на мертвого посмотрю».

Об освобождении Тургенева из-под ареста хлопотали многие, в том числе и Панаев, который ездил, по просьбе Тургенева, к разным лицам, имевшим доступ к влиятельным особам.

По выходе из-под ареста Тургенев был выслан в свою деревню, и ему лишь осенью <1853 года> разрешено было приехать в Петербург <...>

В том же 1852 году, в сентябрьской книжке «Современника», под инициалами Л. Н. Т. была напечатана «История моего детства» — первое произведение графа Льва Николаевича Толстого.

Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору, и все интересовались узнать его фамилию. В кружке же литераторов относились как-то равнодушно к возникавшему таланту, только один Панаев был в таком восхищении от «Истории моего детства», что каждый вечер

читал ее у кого-нибудь из своих знакомых. Тургенев трунил над Панаевым, уверяя, что все его знакомые прячутся от него на Невском, боясь, чтобы он им и там не стал читать выдержки из этого сочинения, так как Панаев успел наизусть выучить произведение нового автора. Панаев обиделся подтруниванием Тургенева и сказал ему:

— Меня удивляет, что ты так равнодушно относишься к такой художественной вещи и не радуешься появлению нового таланта.

Тургенев пожал плечами и отвечал:

— А меня удивляет, как вы щедры на похвалы; чуть появился новичок в вашем журнале, сейчас начинаете кричать: талант! Отыскиваете в его пробе пера художественность! Я объясняю это тем, что вы мало знакомы с истинно художественными произведениями в иностранной литературе, а если что и читали, то в слабом переводе, вот вы и впадаете в смешное преувеличение заурядных вещиц. Не только в ваших пигмеях, но даже в Пушкине, в Лермонтове, если строго разобрать, не много найдешь оригинальных художественных произведений. Когда их читаешь, то на каждом шагу натыкаешься на подражание гениальным европейским талантам, как, например, Гете, Байрону.

Тургенев более всех современных ему литераторов был знаком с гениальными произведениями иностранной литературы, прочитав их все в подлиннике. Некрасов и Панаев это хорошо сознавали.

— Да, Россия отстала в цивилизации от Европы, — продолжал Тургенев, — разве у нас могут народиться такие великие писатели, как Данте, Шекспир?

— И нас бог не обидел, Тургенев, — заметил Некрасов, — для русских Гоголь — Шекспир.

Тургенев снисходительно улыбнулся и произнес:

— Хватил, любезный друг, через край! Ты сообрази громадную разницу. Шекспира читают все образованные нации на всем земном шаре уже несколько веков и бесконечно будут читать. Это мировые писатели, а Гоголя будут читать только одни русские, да и то несколько тысяч, а Европа не будет и знать даже о его существовании!

Тяжко вздохнув, Тургенев уныло продолжал:

— Печальная вообще участь русских писателей, они какие-то отверженники, их жалкое существование кратковременно и бесцветно! Право, обидно: даже какого-нибудь Дюма все европейские нации переводят и читают.

— Бог с ней, с этой европейской известностью, для нас важнее, если б русский народ мог нас читать, — сказал Некрасов.

— Завидую твоим скромным желаниям! — ироническим тоном отвечал Тургенев. — Не понимаю даже, как ты не чувствуешь пришибленности, пресмыкания, на которые обречены русские писатели? Ведь мы пишем для какой-то горсточки одних только русских читателей. Впрочем, ты потому не чувствуешь этого, что не видел, какое положение занимают иностранные писатели в каждом цивилизованном государстве. Они считаются передовыми членами образованного общества, а мы? Какие-то парии! не смеем высказать ни наших мыслей, ни наших порывов души — сейчас нас в кутузку, да и это мы должны считать за милость... Сидишь, пишешь и знаешь заранее, что участь твоего произведения зависит от каких-то бухарцев, закутанных в десяти халатах, в которых они преют, и так принюхались к своему вонючему поту, что чуть пахнет на их конусообразные головы свежий воздух, приходят в ярость и, как дикие звери, начинают вырывать куски из твоего сочинения! По-моему, рациональнее было бы поломать все типографские станки, сжечь все бумажные фабрики, а у кого увидят перо в руках, сажать на кол!.. Нет, только меня и видели: как получу наследство, убегу и строки не напишу для русских читателей.

— Это тебе так кажется, а поживешь за границей, так потянет тебя в Россию, — произнес Некрасов. — Нас ведь вдохновляет русский народ, русские поля, наши леса; без них, право, нам ничего хорошего не написать. Когда я беседую с русским мужиком, его бесхитростная здравая речь, бескорыстное человеческое чувство к ближнему заставляют меня сознавать, как я развращен перед ним и сердцем и умом, и краснеешь за свой эгоизм, которым пропитался до мозга костей... Может быть, тебе это кажется диким, но в беседах с образованными людьми у меня не появляется этого сознания! А главное, на русских писателях лежит долг по мере сил и возможности раскрывать читателям позорные картины рабства русского народа.

— Я не ожидал именно от тебя, Некрасов, чтобы ты был способен предаваться таким ребяческим иллюзиям.

— Это не мои иллюзии, разве не чувствуется это сознание в обществе?

— Если и зародилось сознание, так разве в виде атома, которого человеческий глаз не может видеть, да и в

воздухе, зараженном миазмами, этот атом мгновенно погибнет... Нет, я в душе европеец, мои требования от жизни тоже европейские! Я не намерен покорно ждать участи, когда наступит праздник и мне выпадет жребии быть съеденным на пиршестве людоедов! да и квасного патриотизма не понимаю. При первой возможности убегу без оглядки отсюда, и кончика моего носа не увидите!

— В свою очередь, и ты предаешься ребяческим иллюзиям. Поживешь в Европе, и тебя так потянет к родным полям и появится такая неутолимая жажда испить кисленького, мужицкого квасу, что ты бросишь цветущие чужие поля и возвратишься назад, а при виде родной березы от радости выступят у тебя слезы на глазах.

Подобные разговоры я слышала множество раз, и они остались у меня в памяти. Я передаю только один из них.

Некрасов был прав, говоря, что Тургенев не в силах будет бросить совсем русские поля: он возвращался к ним, чтобы воодушевить себя к работе. Тургенев успел при жизни насладиться тем, что не горсточка русских, а все грамотные люди в России читают его произведения и оценивают в нем замечательного писателя, да и иностранцы переводят и читают его сочинения. Ему уже нельзя было жаловаться на жалкую долю русского писателя, о существовании которого цивилизованные европейские народы не узнают.

ИЗ ГЛАВЫ ОДИННАДЦАТОЙ

О появлении комедии Островского «Свои люди — сочтемся» много было разговоров в кружке[13]. Некрасов чрезвычайно заинтересовался автором и хлопотал познакомиться с Островским и пригласить [его] в сотрудники «Современника» <...>

Островский, когда ставились его пиесы на сцену, приезжал из Москвы и много возился с артистами, чтобы они хорошенько вникали в свои роли. Островский чуть не до слез умилялся, если артист или артистка старались исполнить его указание. К Мартынову он чувствовал какое-то боготворение. Островский был исключением из драматургов по своей снисходительности к артистам. Он никогда не бранил их, как другие, но еще защищал, если при нем осуждали игру какого-нибудь из артистов.

— Нет, он, право, не так плох, как вы говорите! —

останавливал Островский строгого критика. — Он употребил все старание, но что делать, если у него мало сценического таланта.

Не то было с Тургеневым; он приходил с репетиций обедать к Панаеву, когда ставилась его пиеса «Завтрак у предводителя», бесновался и говорил:

— Это не артисты, а балаганные паяцы! Они воображают, что в грубой шаржировке в кривлянье вся суть сценического искусства, да и как могут быть они хорошими артистами, когда поголовно круглые невежды! Провалят мою пиесу, опозорят меня!

Тургенев в день спектакля ничего не ел за обедом, так был ажитирован. Панаев его утешал тем, что взял честное слово с своих знакомых молодых людей, что они будут в театре. «Мы тебя вызовем, будь покоен!» — говорил он.

Тургенев должен был остаться довольным, приехав в спектакль; кроме всех членов кружка «Современника» и других литераторов, явившихся смотреть его пиесу, первые ряды кресел были заняты блестящей молодежью, знакомыми Панаева.

Вообще тогда высшее общество считало почему-то неприличным бывать в Александрийском театре и посещало только Большой и Михайловский театры.

Автора дружно вызвали, и Тургенев из директорской ложи раскланивался с публикой. Пиеса разыграна была очень хорошо. Сосницкий и Линская были превосходны в своих ролях. Мартынов, у которого вся роль состояла из двух-трех фраз, сделал из нее первую роль, такая замечательная мимика была у него в каждом движении, в каждом взгляде.

В этой бессловесной роли он показал, как был велик его сценический талант.

«Завтрак у предводителя», однако, не долго продер-–лся в репертуаре, потому что постоянная публика Александринского театра так привыкла к пошлым водевилям, что тонкий и настоящий юмор был ей не по вкусу [16].

Я была на третьем представлении «Завтрака у предводителя», и мне было досадно, что двое приживальщиков Тургенева оказали ему медвежью услугу, вздумав вызывать автора: их голоса были заглушены дружным шиканьем.

Тургенева это страшно огорчило, и он, в горячности, давал клятву, что для такой тупоумной публики никогда

более не будет писать пиес. В сущности, он был прав, потому что его пиеса была перлом между теми пиесами, которые давались тогда на русской сцене... Через несколько времени, однако, Тургенев опять написал пиесу «Провинциалку» и поставил ее на сцену <22 января 1851 года>. Эта пиеса держалась в репертуаре дольше, потому что в ней играли две любимицы публики: Вера Васильевна Самойлова и Снеткова. Если не ошибаюсь, Щепкин, приехавший в Петербург на гастроли, взял эту пиесу для своего бенефиса.

Щепкин был уже стар, и в сцене признания, что он отец богатой помещицы, так расчувствовался, что расплакался и едва мог говорить свою роль[17].

Островский приехал в Петербург летом хлопотать о постановке своей комедии на Александринской сцене, а в это время уже готовилась Крымская война.

За обедом присутствующие только и говорили, что о войне.

Островский не принимал никакого участия в жарких спорах о предстоящей войне, и когда Тургенев заметил ему, — неужели его не интересует такой животрепещущий вопрос, как война, то Островский отвечал:

— В данный момент меня более всего интересует — дозволит ли здешняя дирекция поставить мне на сцену мою комедию.

Все ахнули, а Тургенев заметил с многозначительной улыбкой:

— Странно, я не ожидал такого в вас равнодушия к России!

— Что тут для вас странного? Я думаю, что если бы и вы находились в моем положении, то также интересовались бы участью своего произведения: я пишу для сцены, и, если мне не разрешат ставить на сцену свои пиесы, я буду самым несчастнейшим человеком на свете.

Когда Островский и другие гости разъехались и остались самые близкие, Тургенев разразился негодованием на Островского:

— Нет, каков наш купеческий Шекспир?! У него чертовское самомнение! и с каким гонором он возвестил о том, что постановка на сцену его комедии важнее для России, чем предстоящая война. Я давно заметил его пренебрежительную улыбочку, с какой он на нас всех смотрит. «Какое вы все ничтожество перед моим великим талантом!»

— Полно, Тургенев, — остановил его Некрасов, — ты когда расходишься, то удержу тебе нет! В тебе две крайности — или ты слишком строго, или чересчур снисходительно относишься к людям; а насчет авторского самолюбия, то у кого из нас его нет? Островский только откровеннее других.

— Я, брат, при встрече с каждым субъектом делаю ему психический анализ и не ошибаюсь в диагнозе, — ответил Тургенев.

Некрасов улыбнулся, да и другие также, потому что было множество фактов, как Тургенев самых пошлых и бездарных личностей превозносил до небес, а потом сам называл их пошляками и дрянцой.

ИЗ ГЛАВЫ ДВЕНАДЦАТОЙ

Я должна вернуться назад и рассказать о появлении графа Льва Николаевича Толстого в кружке «Современника». Он был тогда еще офицер и единственный сотрудник «Современника», носивший военную форму. Его литературный талант настолько уже проявился, что все корифеи литературы должны были признать его за равного себе.

Впрочем, граф Толстой был не из робких людей, да и сам сознавал силу своего таланта, а потому держал себя, как мне казалось тогда, с некоторой даже напускной развязностью.

Я никогда не вступала в разговоры с литераторами, когда они собирались у нас, а только молча слушала и наблюдала за всеми. Особенно мне интересно было следить за Тургеневым и графом Л. Н. Толстым, когда они сходились вместе, спорили или делали свои замечания друг другу, потому что оба они были очень умные и наблюдательные [18].

Мнения графа Толстого о Тургеневе я не слышала, да и вообще он не высказывал своих мнений ни о ком из литераторов, по крайней мере, при мне. Но Тургенев, напротив, имел какую-то потребность изливать о всяком свои наблюдения.

Когда Тургенев только что познакомился с графом Толстым, то сказал о нем:

— Ни одного слова, ни одного движения в нем нет естественною! Он вечно рисуется перед нами, и я затруд-

няюсь, как объяснить в умном человеке эту глупую кичливость своим захудалым графством!

— Не заметил я этого в Толстом, — возразил Панаев.

— Ну, да ты много чего не замечаешь, — ответил Тургенев.

Через несколько времени Тургенев нашел, что Толстой имеет претензию на донжуанство. Раз как-то граф Толстой рассказывал некоторые интересные эпизоды, случившиеся с ним на войне. Когда он ушел, то Тургенев произнес:

— Хоть в щелоке вари три дня русского офицера, а не вываришь из него юнкерского ухарства, каким лаком образованности ни отполируй такого субъекта, все-таки в нем просвечивает зверство.

И Тургенев принялся критиковать каждую фразу графа Толстого, тон его голоса, выражение лица и закончил:

— И все это зверство, как подумаешь, из одного желания получить отличие.

— Знаешь ли, Тургенев, — заметил ему Панаев, — если бы я тебя не знал так хорошо, то, слушая все твои нападки на Толстого, подумал бы, что ты завидуешь ему.

— В чем это я могу завидовать ему? в чем? говори! — воскликнул Тургенев.

— Конечно, в сущности, ни в чем; твой талант равен его... но могут подумать...

Тургенев засмеялся и с каким-то сожалением в голосе произнес:

— Ты, Панаев, хороший наблюдатель, когда дело идет о хлыщах, но не советую тебе порываться высказывать свои наблюдения вне этой сферы! [19]

Панаев обиделся.

— Я тебе это заметил для твоей же пользы, — сказал он и ушел.

Тургенев продолжал кипятиться и с досадой говорил:

— Только Панаеву могла прийти в голову нелепая мысль, что я мог завидовать Толстому. Уж не его ли графству?

Некрасов все это время мало говорил, потому что болезнь горла совершенно подавляла его. Он только заметил Тургеневу:

— Да брось ты рассуждать о том, что вздумалось сказать Панаеву. Точно в самом деле можно тебя заподозрить в такой нелепости!

ИЗ ГЛАВЫ ТРИНАДЦАТОЙ

В 1856 году, весной, я уехала за границу на морские ванны и в конце августа получила от Некрасова письмо, в котором он просил меня встретить его в Вене, куда его послал доктор <П. Д.> Шипулинский, чтобы он посоветовался с каким-то знаменитым венским доктором относительно своей горловой болезни.

Я опасалась, что Некрасов, по незнанию иностранных языков, встретит немало затруднений добраться до Вены; но он благополучно совершил путешествие и уморительно рассказывал, как объяснялся в отелях и на железных дорогах [20].

Мрачное настроение духа, в котором он находился с тех пор, как заболело у него горло, исчезло <...> После свидания с Венской знаменитостью Некрасов снова впал в уныние. Знаменитость нашла его болезнь очень серьезной, предписала строжайший режим и велела ему ехать в Италию, где и провести зиму <...>

Но когда начались сильные жары, Некрасов стал чувствовать слабость, бессонницу и сильное нервное возбуждение, надо было поскорее увезти его из Неаполя. Он пожелал ехать в Париж, куда его звал Тургенев.

Не очень-то хотелось мне ехать в Париж, но нельзя было оставить больного человека без знания языка, и я скрепя сердце поехала.

Некрасов, напротив, рвался свидеться с Тургеневым. Тургенев целые дни проводил с Некрасовым, показывая ему Париж, и уговорил его ненадолго съездить в Лондон, к Герцену; по возвращении оттуда Некрасов тщательно скрыл от меня — виделся ли он с Герценом или нет [21].

Вскоре Тургенев познакомился с одним аристократическим княжеским русским семейством и перестал водиться с Некрасовым. Он приходил только перед обедом, чтобы вместе идти в какой-нибудь ресторан, потому что утро у него было занято визитами, а вечера он проводил в княжеском салоне.

В Париже находилось еще несколько русских общих знакомых — не литераторов, которые приходили обедать в тот же ресторан; они принимали живое участие в Тургеневе и в его отсутствие строили предположения о том, что он намерен жениться на княжне <Мещерской> [22], тем более что и сам Тургенев постоянными своими разговорами о ней подавал к этому повод.

Некрасов однажды спросил Тургенева:

— Ты, брат, в самом деле не задумываешь ли жениться? Это будет верх глупости с твоей стороны, и я этого не ожидал от тебя.

Тургенев на это ответил с оттенком неудовольствия:

— Что же я, какой-нибудь физический и нравственный урод, что для меня невозможна семейная жизнь? Остаться бобылем под старость — скверная вещь, в тебе советую об этом подумать. Молодость-то наша с тобой не ахти прошла как весело, испытали мы с тобой много передряг, не быв женатыми.

— Ты можешь жениться, только не на аристократке, — иначе ты погубишь себя.

Тургенев улыбнулся и ответил:

— А я иначе не женюсь, как именно только на такой девушке, которая была бы выдрессирована аристократическим воспитанием, потому что это — самая лучшая гарантия для меня в семейном спокойствии. Я был бы несчастным человеком, если б моя жена обладала вульгарными манерами. Аристократическая дрессировка женщин тем и хороша, что если они и сердятся, то и тогда сохраняют изящество и никогда не возмутят тебя резкими выходками, к которым я питаю непреодолимое отвращение, и жить вместе с такой женщиной для меня немыслимо.

— Да ведь ты сам говорил, что княжна совершенно не подготовлена к жизни, имеет детские взгляды на вещи!

— Тем лучше для меня: я могу, как из воску, вылепить себе жену, какую хочу. Я бы никогда не женился на девушке, которая уже имела жизненную опытность. То-то и привлекательно, что будешь развивать в своей жене те взгляды, которые желаешь, чтобы она имела на жизнь.

— Брось ты бывать в этом аристократическом салоне! — сказал Некрасов. — Еще влюбишься до зарезу, а родители найдут, что ты недостаточно хорошая партия для их дочери.

— О, в этом отношении я вполне гарантирован; в Париже у них плохой выбор женихов; все эти маркизы и виконты, посещающие их салон, предпочтут всегда породниться с русским купцом-миллионером или с жидом-откупщиком, нежели с русскими князьями, у которых едва хватает средств сохранить декорум достаточных людей... Княгиня придумала себе оригинальную болезнь — боль в пятках и под этим предлогом не выезжает на балы и парад-

ные обеды, чтобы и самой их не давать. В своем салоне она постоянно лежит на кушетке, и ее возят в креслах из комнаты в комнату. Но мне раз удалось видеть из кабинета князя, чего она не подозревала, как она отличнейшим образом может ходить. Только аристократическая женщина способна на такой героический поступок для поддержания своего достоинства.

— Есть чем восхищаться! — заметил Некрасов.

— Ну, ты об этих вещах плохой судья, — отвечал Тургенев и продолжал: — Я для того тебе это сказал, чтобы ты понял, в каком затруднении находятся в настоящее время родители с взрослой дочерью. Нельзя же, чтобы и у дочери появилась такая же боль в пятках, как у матери!.. Как видишь, мои фонды высоко стоят, если бы я только вздумал посвататься.

— Если ты не думаешь жениться, зачем же так часто бываешь в этом семействе?

— Не знаю, испытывал ли ты те ощущения, какие я испытываю, когда, после долгой русской зимы, в первый раз весной очутишься в березовой роще; деревья покрыты девственными блестящими листочками, точно лаком; в невысокой изумрудной траве выглядывают не совсем еще распустившиеся полевые цветы; воздух пропитан смолистым сочным ароматом; вдыхая его в себя, чувствуешь, как твоя душа так же обновляется и оживает, как природа.

— Я вижу, что ты задумал писать новую повесть и собираешь материал.

— Пока еще ничего не задумал писать; но, во всяком случае, для писателя очень важно время от времени возобновлять те юношеские ощущения, которые некогда испытывал в присутствии девушки такой же юной, как он сам. С летами эти нежные ощущения притупляются от чувственных отношений к женщинам.

Вскоре <весною 1857 г.> приехал в Париж писатель граф Л. Н. Толстой, и Тургенев, точно по обязанности, подробно докладывал, как Толстой держит себя в русском аристократическом салоне, где они часто сходились.

Толстой никогда ни слова не говорил о Тургеневе, а последний, наоборот, не стеснялся даже в присутствии посторонних людей делать свои замечания о нем.

Некрасов раз заметил Тургеневу:

— Ты какой-то вздор рассказываешь о Толстом, можно подумать, что он отродясь не был в таких салонах!

— Ты сегодня в хандре и придираешься ко всему! — улыбаясь, ответил Тургенев, но переменил разговор и так увлекательно стал рассказывать какой-то эпизод из своих охотничьих приключений, что нельзя было его не заслушаться.

Не могу в точности определить, в скором ли времени по приезде Толстого в Париж произошла следующая история.

Однажды Тургенев, против своего обыкновения, явился к нашему завтраку. Я никогда не видала его таким взволнованным. Едва войдя в комнату, он воскликнул:

— Знаешь ли, Некрасов, какую штуку выкинул сейчас со мною Толстой? Он сделал мне вызов.

Некрасов вскочил с кресел, и его без того бледное лицо буквально помертвело, а сиплый голос до того упал, что он шепотом проговорил:

— Тебе вызов?!

— Придумал глупейший предлог!

— Если бы даже был самый серьезный предлог, то вам стреляться невозможно! — дрожащим голосом сказал Некрасов.

— Чисто юнкерская выходка... я...

— Дело говори, а не глупости! — перебил его Некрасов.

— Ты сам посуди, кто бы из нас придал серьезное значение женской сплетне? — продолжал Тургенев.

— Господи! да говори толком! — в нетерпении воскликнул Некрасов.

— Какого ты хочешь добиться толку в женской сплетне? — горячась, отвечал Тургенев. — Черт знает из каких-то своих расчетов княгине понадобилось поссорить нас!

— Едем сейчас же к Толстому, и ты разъяснишь ему, что это сплетня.

— Нет! я не намерен лезть к человеку, который явно придрался к пустому случаю, чтобы выместить на мне свои неудачи...

— Замолчи ты, ради Христа, — опять крикнул Некрасов на Тургенева. — Я вижу, что в самом деле тебе не следует ехать, потому что ты мелешь какой-то вздор!.. Я еду один.

— Только, пожалуйста, не проговорись, что видел меня, он еще подумает, что я подослал тебя к нему. Скажи, что узнал об его вызове от моего секунданта. Я сейчас поеду к N и буду просить его быть моим секундантом.

Тургенев сказал это уже спокойным тоном и направился к двери.

Некрасов, собрав все силы, крикнул ему: «Погоди!» Тургенев, держась за ручку двери, повернул голову и ждал, когда Некрасов подойдет к нему.

— Ты должен выкинуть из головы мысль стреляться с Толстым, ты должен пожертвовать всем, чтобы между вами не было дуэли, иначе это будет позорное преступление!

Все это Некрасов проговорил хотя и тихо, но очень энергично. Тургенев пожал плечами и отвечал ему так же выразительно:

— Ты это не мне должен говорить, а тому, кто из-за женской сплетни сделал мне вызов!

Проговорив это, он быстро повернулся и ушел.

Некрасов в изнеможении сел в кресла и в отчаянии произнес:

— Боже мой, боже мой! им стреляться!

Я подала ему успокоительных капель, но он не захотел их выпить и, быстро вскочив с места, взял свою шляпу и палку и ушел, сказав мне на ходу:

— Пожалуйста, ни слова не говорите никому из наших знакомых о вызове! [23]

Несколько дней Некрасов провел в страшной суете; он возвращался домой до такой степени измученным и мрачным, что я ни о чем его не расспрашивала. Я узнала только, что Тургенев уехал из Парижа и что дуэль отложена.

ИЗ ГЛАВЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ

Добролюбов и Чернышевский сделались в это время уже постоянными сотрудниками «Современника» [24]. Я только раскланивалась с ними, встречаясь в редакции. Хотя я с большим интересом читала их статьи, но не имела желания поближе познакомиться с авторами.

Старые сотрудники находили, что общество Чернышевского и Добролюбова нагоняет тоску. «Мертвечиной от них несет! — находил Тургенев. — Ничто их не интересует!» <...>

Тургенев раз за обедом сказал:

— Однако «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом: что ни статья, то семинарист оказывается автором!

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью, раз она дельная, — проговорил Некрасов.

— Да, да! но откуда и каким образом семинаристы появились в литературе? — спросил Анненков.

— Вините, господа, Белинского, это он причиной, что ваше дворянское достоинство оскорблено и вам приходится сотрудничать в журнале вместе с семинаристами, — заметила я. — Как видите, не бесследна была деятельность Белинского: проникло-таки умственное развитие и в другие классы общества.

Анненков залился своим обычным смехом, а Тургенев, иронически улыбаясь, произнес:

— Вот какого мнения о нас, господа!

— Это мнение всякий о вас составит, если послушает вас, — отвечала я.

Григорович было хотел что-то заметить мне, но Тургенев остановил его на слове «голубушка, вы...» — перебив: — Лучше не надо разуверять Авдотью Яковлевну, она еще выведет новое заключение в том же роде о нас, а мы и так поражены и уничтожены[25] <...>

У Тургенева каждую неделю обедали литераторы.

Раз, придя в редакцию, он сказал Панаеву, Некрасову и находившимся тут некоторым старым знакомым литераторам:

—Господа! не забудьте: я вас всех жду сегодня обедать ко мне, — и затем, поворотив голову к Добролюбову, прибавил: — Приходите и вы, молодой человек.

Тургенев, наверно, услыхал бы громкий смех Добролюбова, если бы он смеялся, как другие. Но он только улыбался.

Тургенев в это время наслаждался вполне своей литературной известностью, держал себя очень величественно с молодыми писателями и вообще со всеми незначительными лицами.

Я посмеялась Добролюбову, что он, должно быть, считает себя сегодня счастливейшим человеком, удостоившись приглашения на обед от главного литературного генерала.

— Еще бы! такая неожиданная честь.

— Что же, пойдете? — спросила я, хотя была уверена, что он не пойдет после такого приглашения.

— К сожалению, у меня нет фрака, а в сюртуке не смею явиться к генералу, — отвечал, улыбаясь, Добролюбов.

Панаев и Некрасов были удивлены, что Добролюбов не хочет ехать вместе с ними на обед к Тургеневу. Они не обратили внимания на тон приглашения.

— Вас же приглашал Тургенев, — сказал ему Некрасов.

— После такого приглашения я никогда не пойду к Тургеневу.

Некрасов с удивлением произнес:

— Да он всех так пригласил.

— Вы все его очень короткие знакомые, а я нет.

— Это у него такая манера, — заметил Панаев.

Должно быть, Некрасов намекнул Тургеневу, почему Добролюбов не пришел обедать, потому что Тургенев в следующий раз сделал ему любезное приглашение, но это не тронуло Добролюбова, и он все-таки не пошел.

Тургенев заметно стал относиться внимательнее к Добролюбову и начал заводить с ним разговоры, когда встречал его в редакции или обедая у нас, потому что литературная известность Добролюбова быстро росла.

Тургенева заметно коробило, что Добролюбов все-таки не является к нему на обеды, и он однажды сказал Панаеву:

— Привези ты его обедать ко мне, уверь его, что он не застанет у меня общества, в котором никогда не бывал.

Наконец Тургенев понял, что причина, по которой Добролюбов не является на его обеды, заключается вовсе не в страхе встретиться с аристократическим обществом.

— В нашей молодости, — сказал он Панаеву, — мы рвались хоть посмотреть поближе на литературных авторитетных лиц, приходили в восторг от каждого их слова, а в новом поколении мы видим игнорирование авторитетов. Вообще, сухость, односторонность, отсутствие всяких эстетических увлечений, — все они точно мертворожденные. Меня страшит, что они внесут в литературу ту же мертвечину, какая сидит в них самих. У них не было ни детства, ни юности, ни молодости — это какие-то нравственные уроды.

— Это нам лишь кажется, что новое поколение литераторов лишено увлечений. Положим, у нас увлечений было больше, но зато у них они дельнее, — возразил Панаев.

— На тебя, кажется, семинарская сфера начинает влиять, — с пренебрежительным сожалением произнес Турге-

н е в . — Господа! — прибавил он, обращаясь к присутствующим в комнате. — Панаев начинает отрекаться от своих традиций, которым с таким неуклонным рвением следовал всю свою жизнь.

— Отчего же не сознаться, если это правда; теперь молодые люди умнее, дельнее и устойчивее в своих убеждениях, нежели были мы в те же л е т а , — отвечал Панаев.

Тургенев с притворным ужасом, обращаясь к присутствующим, воскликнул:

— Господа! Неужели мы дожили до такого печального времени, что увидим нашего элегантного Панаева в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, с сомнительной чистоты воротничком рубашки, без перчаток и в очках!

Добролюбов и Чернышевский всегда носили сюртуки и очки, но, разумеется, никогда не ходили в грязном белье.

— Мое зрение стало слабо, и я должен скоро надеть очки! — отвечал Панаев.

— Ну, н е т , — воскликнул Т у р г е н е в , — мы все, твои давнишние друзья, не допустим тебя сделаться семинаристом. Мы спасем тебя, несмотря на все старания некоторых личностей обратить тебя в поборника тех нравственных принципов, которых требуют от людей семинарские публицисты-отрицатели, не признающие эстетических потребностей жизни. Им завидно, что их вырастили на постном масле, и вот они с нахальством хотят стереть с лица земли поэзию, изящные искусства, все эстетические наслаждения и водворить свои семинарские грубые принципы. Это, господа, литературные Робеспьеры: тот ведь тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье.

— Бог с тобой, Тургенев, какие ты выдумал сравнения! — воскликнул Панаев в и с п у г е . — Ты, ради бога, не делай этих сравнений в другом обществе.

— Ты наивен, неужели ты думаешь, что статьи этих семинаристов читают в порядочном обществе?

— Однако тогда бы подписка на «Современник» с каждым годом не увеличивалась!

— По старой памяти ждут от «Современника» прежнего его стремления к развитию в обществе художественных вопросов... Меня удивляет, как Некрасов, с его практичностью, не видит, что семинаристы топят журнал и грязной луже <...>

Между сотрудниками «Современника» Тургенев был, бесспорно, самый начитанный, но с появлением Черны-

шевского и Добролюбова он увидел, что эти люди посерьезнее его знакомы с иностранной литературой.

Тургенев сам сказал Некрасову, когда побеседовал с Добролюбовым:

— Меня удивляет, каким образом Добролюбов, недавно оставив школьную скамью, мог так основательно ознакомиться с хорошими иностранными сочинениями! и какая чертовская память!

— Я тебе говорил, что у него замечательная голова! — отвечал Некрасов. — Можно подумать, что лучшие профессора руководили его умственным развитием и образованием! Это, брат, русский самородок... утешительный факт, который показывает силу русского ума, несмотря на все неблагоприятные общественные условия жизни. Через десять лет литературной своей деятельности Добролюбов будет иметь такое же значение в русской литературе, как Белинский.

Тургенев рассмеялся и воскликнул:

— Я думал, что ты бросил свои смешные пророчества о будущности каждого нового сотрудника в «Современнике».

— Увидишь, — сказал Некрасов.

— Меня удивляет, — возразил Тургенев, — как ты сам не видишь огромного недостатка в Добролюбове, чтобы можно было его сравнить с Белинским! В последнем был священный огонь понимания художественности, природное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбове всюду сухость и односторонность взгляда! Белинский своими статьями развивал эстетическое чувство, увлекал ко всему возвышенному!.. Я даже намекал на этот недостаток Добролюбову в моих разговорах с ним и уверен, что он примет это к сведению.

— Ты, Тургенев, забываешь, что теперь не то время, какое было при Белинском. Теперь читателю нужны разъяснения общественных вопросов, да и я положительно не согласен с тобой, что в Добролюбове нет понимания поэзии; если он в своих статьях слишком напирает на нравственную сторону общества, то — сам сознайся — это необходимо, потому что она очень слаба, шатка даже в нас, представителях ее, а уж о толпе и говорить нечего <...>

Когда Тургенев убедился, что Добролюбов не поддается на его любезные приглашения, то оскорбился и начал говорить, что в статьях Добролюбова виден инквизиторский прием: осмеять, загрязнить всякое увлечение, все

благородные порывы души писателя, что он возводит на пьедестал материализм, сердечную сухость и с нахальством глумится над поэзиею; что никогда русская литература, до вторжения в нее семинаристов, не потворствовала мальчишкам из желания приобрести этим популярность. Кто любит русскую литературу и дорожит ее достоинством, тот должен употребить все усилия, чтобы избавить ее от этих кутейников-вандалов.

Эти воззвания Тургенева доходили до Добролюбова, но он не обращал на них внимания и удивлялся только одному: к чему об этом передают ему?

— Неужели думают, — говорил он, — что я испугаюсь таких угроз и в угоду Тургеневу изменю свои убеждения. Странные понятия у этих господ!

ИЗ ГЛАВЫ ПЯТНАДЦАТОЙ

Теперь расскажу — каким образом произошел разрыв между Тургеневым и «Современником».

Добролюбов написал статью о повести Тургенева «Накануне», и она была послана к цензору Бекетову. Все читавшие эту статью находили, что Добролюбов хвалил автора и отдавал должное его таланту. Да иначе и быть не могло. Добролюбов настолько был честен, что никогда не позволял себе примешивать к своим отзывам о чьих-либо литературных произведениях своих личных симпатий и антипатий.

Некрасов пришел ко мне очень встревоженный и сказал:

— Ну, Добролюбов заварил кашу! Тургенев страшно оскорбился его статьею... и как это я сделал такой промах, что не отговорил Добролюбова от намерения написать статью о новой повести Тургенева для нынешней книжки «Современника»! Тургенев сейчас прислал ко мне Колбасина [26] с просьбой выбросить из статьи все начало. Я еще не успел ее прочитать. По словам Тургенева, переданным мне Колбасиным, Добролюбов будто бы глумился над его литературным авторитетом, и вся статья переполнена какими-то недобросовестными, ехидными намеками.

Некрасов говорил все это недоумевающим тоном. Да и точно, нелепо было допустить, чтобы Добролюбов мог написать недобросовестную статью о таком талантливом писателе, как Тургенев.

Я удивилась, — каким образом могли попасть в руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензор Бекетов сам отвез их Тургеневу из желания услужить. Я стала порицать поступок цензора, но Некрасов нетерпеливо сказал:

— Дело идет не о цензоре, а о требовании Тургенева выкинуть все начало статьи... нельзя же ссориться с ним!

— А вы находите, что с Добролюбовым можно? — спросила я. — Он, наверное, не захочет признать за Тургеневым цензорские права над своими статьями.

— Добролюбов настолько умен, что поймет всю невыгоду для журнала потерять такого сотрудника, как Тургенев! — ответил мне Некрасов.

— Да и Тургенев настолько же умен, чтобы, заявляя свои требования, не знать заранее, что Добролюбов им не подчинится.

Некрасов, стараясь объяснить себе поступок Тургенева, сказал:

— Не отзывался ли Добролюбов в каком-нибудь обществе нехорошо о Тургеневе? Может быть, это дошло до него, и вот он с предвзятой мыслью прочел статью, вспылил и сгоряча прислал подвернувшегося под руку Колбасина ко мне.

Предположение Некрасова не имело основания: Добролюбов в обществе никогда не касался личностей литераторов, да и бывал вообще в обществе таких людей, которые не занимались пересудами и сплетнями. Я подивилась — почему Тургенев не сам приехал объясниться с Некрасовым, с которым находился столько лет в самых коротких приятельских отношениях, а прибегнул к посреднику?

— Ну, что толковать о пустяках! — ответил Некрасов. — Важно то, чтобы поскорей успокоить Тургенева. Он потом сам увидит, что погорячился.

Некрасов отправился объясняться к Добролюбову. Через час Добролюбов пришел ко мне, и я услышала в его голосе раздражение.

— Знаете ли, что проделал цензор с моей статьей? — сказал он.

Я ему отвечала, что все знаю. Тогда Добролюбов продолжал:

— Отличился Тургенев! по-генеральски ведет себя... Удивил меня также и Некрасов, вообразив, что я способен на лакейскую угодливость. Ввиду нелепых обвинений

на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину из нее.

Добролюбов прибавил, что сейчас едет объясняться к цензору Бекетову[27]. Я заметила, что не стоит тратить время на объяснения.

— Как не стоит! — возразил Добролюбов. — Если у человека не хватает смысла понять самому, что нельзя дозволять себе такое бесцеремонное обращение с статьями, которые он обязан цензуровать, а не развозить для прочтения, кому ему вздумается...

Цензор Бекетов преклонялся перед авторитетом Тургенева и воображал, что и тот питает к нему большое уважение за его цензорскую храбрость. Бекетов всегда торжественно объявлял: «Я, господа, опять получил выговор от начальства — это третий в один месяц!»[28], и Бекетов с гордостью обводил глазами всех. Тургенев потешался над Бекетовым, расхваливая его храбрость, и говорил ему, что он единственный просвещенный цензор в России! Простодушный Бекетов умилялся и растроганным голосом благодарил литераторов за то, что они ценят его деятельность, и распространялся о своих либеральных подвигах.

Когда Бекетов уходил, то Тургенев покатывался со смеху и восклицал:

— Вот хвастливый гусь! Я думаю, у самого от каждого выговора под жилками трясется, а он кричит о своей храбрости!

Некрасов, давший знать Тургеневу, что сам будет у него, поехал к нему, но не застал его дома и намеревался перед клубным обедом опять заехать к нему, объясняя себе отсутствие Тургенева какой-нибудь случайностью.

В этот вечер Некрасов вернулся из клуба около двух часов ночи и вошел в нашу столовую; он был мрачен и, подавая мне записку, сказал:

— Мне не удалось опять застать дома Тургенева, я оставил ему письмо и вот какой получил ответ! — прочитайте-ка.

Ответ Тургенева состоял из одной фразы: «Выбирай: я или Добролюбов».

Некрасов был сильно озадачен этим ультиматумом и, ходя по комнате, говорил:

— Я внимательно прочел статью Добролюбова и положительно не нашел в ней ничего, чем мог бы оскорбиться Тургенев. Я это написал ему, а он вот какой ответ мне прислал!.. Какая черная кошка пробежала между

нами? Остается одно: вовсе не печатать этой статьи. Добролюбов очень дорожит журнальным делом и не захочет, чтобы из-за его статьи у Тургенева произошел разрыв с «Современником». Это повредит журналу, да и прибавит Добролюбову врагов, которых у него и так много; в литературе обрадуются случаю, поднимут гвалт, на него посыплются разные сплетни, так что гораздо благоразумнее избежать всего этого... Я в таком состоянии, что не могу идти к нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборот приняло дело.

Я отправилась к Добролюбову; он удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый тон своему поручению и сказала:

— Я явилась к вам как парламентер.

— Догадываюсь — предлагают сдаться? — с усмешкою спросил он.

— Рассчитывают на ваше благоразумие, которое устранит важную потерю для журнала; Некрасов получил записку от Тургенева...

— Вероятно, Тургенев грозит, что не будет более сотрудником в «Современнике», если напечатают мою статью, — перебил меня Добролюбов. — Непонятно мне, для чего понадобилось Тургеневу придираться к моей статье! Он мог бы прямо заявить Некрасову, что не желает сотрудничать вместе со мной. Каждый свободен в своих симпатиях и антипатиях к людям!.. Я выведу Некрасова из затруднительного положения: я сам не желаю быть сотрудником в журнале, если мне нужно подлаживаться к авторам, о произведениях которых я пишу.

Добролюбов не дал мне возразить и добавил:

— Нет, уж если вы взялись за роль парламентера, так выполните ее но всем правилам и передайте мой ответ Некрасову.

Идя от Добролюбова, я встретила в передней Панаева, только что вернувшегося домой, и передала ему ответ Добролюбова.

— О чем хлопочет Некрасов? — сказал Панаев. — Никакого соглашения не может быть с Тургеневым. Я был в театре, и там мне говорили, как о деле решенном, что Тургенев не хочет более иметь дела с «Современником», потому что редакторы дозволяют писать на него ругательные статьи... Анненков накинулся на меня с пеной у рта, упрекая в черной неблагодарности и уверяя, что единственно одному Тургеневу мы обязаны успехом жур-

нала; что мы осрамили себя, дозволив нахальному и ехидному мальчишке писать ругательства о таком великом писателе, как Тургенев! Я не мог уйти от него, потому что в проходе была толпа, а Анненков воспользовался этим и нарочно громко говорил, чтобы все его слышали... Я только тем заставил его замолчать, когда сказал ему, что он, верно, за обедом выпил много шампанского, что так кричит в публике.

Я сообщила Некрасову ответ Добролюбова.

— Ну, вот, недоставало этого! — с досадою воскликнул Некрасов.

В эту минуту вошел Панаев и передал Некрасову выходку Анненкова в театре. Некрасов выслушал его молча и, тяжко вздохнув, произнес:

— Ну, тут ничего не поделаешь! Значит, постарались науськать Тургенева на Добролюбова! — И, обратясь ко мне, он продолжал: — Скажите Добролюбову, чтобы он не сердился на меня, если я его обидел чем-нибудь. Очень я расстроен! Лучше завтра утром поговорим; нам обоим надо успокоиться.

Когда я рассказала Добролюбову о разговоре Анненкова с Панаевым, Добролюбов пожал плечами и заметил:

— Напрасно они думают, что стоит только им произнести свой приговор над человеком, что он дурак и недобросовестный, то им бесконтрольно все поверят!.. Удивляюсь, как мало у этих людей чувства собственного достоинства!.. <...>

Не знаю, какой разговор происходил на другое утро у Некрасова с Добролюбовым, но, придя от него, Некрасов сказал мне:

— Добролюбов — это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, проникаешься к нему глубоким уважением. Этот человек не то, что мы: он так строго сам следит за собой, что мы все перед ним должны краснеть за свои слабости, которыми заражены. Мне больно и обидно, что Тургенев составил себе такое превратное понятие о человеке такой редкой честности[29]. Но бог даст, все недоразумения выяснятся, и Тургенев устыдится, что по слабости своего характера поддался влиянию завистливых сплетников, которых, к несчастью, слишком много развелось в литературе[30].

Некрасов был убежден, что, несмотря на разрыв Тургенева с «Современником», это не повлияет на их давнишнюю дружбу. Он имел право так думать, потому что когда

прежде у Тургенева выходили истории с некоторыми литераторами из-за его нелестных отзывов о них на стороне, Тургенев говорил тогда Некрасову:

— Вот между нами подобных историй не может произойти, потому что мы оба не поверим никаким сплетням. Сколько раз пробовали нас поссорить, наушничая, что я будто бы о тебе дурно отзывался, однако ты не поверил же? Мне кажется, если бы ты вдруг сделался ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не могла пострадать. Я бы снисходительно относился к перемене твоих убеждений. Мы, брат, с тобой теперь так крепко связаны, что ничто не может нас разлучить.

Некрасов был привязан к Тургеневу и твердо убежден в его взаимной привязанности к нему. Некрасов понимал, что для журнала Добролюбов необходим. Тургенев в последнее время почти ничего не делал для «Современника». Принявшись за повесть «Накануне», он уверял, что пишет ее для «Современника», а между тем отдал эту повесть в другой журнал, оправдываясь тем, что к нему пристали с ножом к горлу, требуя исполнения честного слова, данного давно редактору, и чуть не силою взяли у него рукопись[31]. Он утешал Некрасова, уверяя, что у него уже обдумана новая повесть для «Современника» и он скоро ее напишет.

Некрасов говорил: «Я сам виноват, зная, как Тургенев теряется, когда на него накинутся нахрапом; мне надо было поступить так же, а я имел глупость этого не сделать... взял бы у него начало повести, и она была бы напечатана в «Современнике».

Разрыв Тургенева с «Современником» произвел такое же смятение в литературном мире, как если бы случилось землетрясение. Приближенные Тургенева, которыми он себя всегда окружал, как глашатаи оповещали всюду о разрыве и цитировали чуть ли не целые страницы ругательств на Тургенева, будто бы заключавшихся в статье Добролюбова. Одним словом, Добролюбов выставлялся Змеем Горынычем, а Тургенев богатырем Добрыней Никитичем, который спас литературу от чудовища, пожиравшего всех как прежних, так и современных авторитетных писателей.

Когда вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова о «Накануне»[32], то в оправдание себя друзья Тургенева стали кричать, что Некрасов струсил и заставил Добролюбова написать другую статью. Цензор Бе-

кетов выказал настолько храбрости, что опровергал этот слух, но его одинокий голос был заглушен криками, что Некрасов подкупил цензора, чтобы он выгораживал его.

Когда увидели, что предсказании не исполнились и «Современник» с уходом из него Тургенева не только не погибает, а напротив, подписка на него значительно увеличивается, тогда преследования Добролюбова перешли все границы: стали распространять слухи, что в «Современнике» свили себе гнездо разрушители всех нравственных основ общественной жизни, что они желают уничтожить все эстетические элементы в обществе и водворить один грубый материализм; а под видом женского вопроса проповедуют мормонство. В это же время появилась в «Колоколе» нелепая статья о Добролюбове, в которой он был выставлен как самая скверная личность[33] <...>

Нетрудно было догадаться, кем была доставлена статья в лондонскую газету. Один из сотрудников «Современника» <Н. Г. Чернышевский> нарочно поехал в Лондон, чтобы поговорить с редактором об этой статье. Поездка его продолжалась недолго. Никто не подозревал об его отсутствии, и только четыре лица в редакции знали об этой поездке[34] <...>

Тургенев был постоянно окружен множеством литературных приживальщиков и умел очень ловко вербовать себе поклонников, которые преклонялись перед его мнениями, восхищались каждым его словом, видели в нем образец всяких добродетелей и всюду усердно его рекламировали. После разрыва Тургенева с «Современником» эти приживальщики с каким-то азартом принялись распускать всевозможные клеветы и сплетни насчет Некрасова, Панаева, Добролюбова и других главных сотрудников «Современника». Так, между прочим, редакция «Современника» была извещена, что Тургенев уезжает за границу, для того чтобы на свободе писать повесть под заглавием «Нигилист», героем которой будет Добролюбов...[35]

ИЗ ГЛАВЫ ШЕСТНАДЦАТОЙ

Я не запомню, чтобы какое-нибудь литературное произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как повесть Тургенева «Отцы и дети». Можно положительно сказать, что «Отцы и дети» были прочитаны даже такими людьми, которые со школьной скамьи не брали книги в руки. Приведу несколько фактов, ри-

сующих состояние тогдашнего общества при появлении повестей Тургенева.

Я сидела в гостях у одних знакомых, когда к ним явился их родственник — отставной генерал, один из числа тех многих недовольных генералов, которые получили отставку после Крымской войны. Этот генерал, едва только вошел, уже завел речь об «Отцах и детях».

— Признаюсь, я эту дребедень, называемую повестями и романами, не читаю, но куда ни придешь — только и разговоров, что об этой книжке... стыдят, уговаривают прочитать... Делать нечего, — прочитал... Молодец сочинитель; если встречу где-нибудь, то расцелую его! Молодец! ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и ученых шлюх! Молодец!.. Придумал же им название — нигилисты! попросту ведь это значит глист! Молодец! Нет, этому сочинителю за такую книжку надо было бы дать чин, поощрить его, пусть сочинит еще книжку об этих пакостных глистах, что развелись у нас!

Мне также пришлось видеть перепуганную пожилую добродушную чиновницу, заподозрившую своего старого мужа в нигилизме на основании только того, что он на пасхе не поехал делать поздравительные визиты знакомым, резонно говоря, что в его лета уже тяжело трепаться по визитам и попусту тратить деньги на извозчиков и на водку швейцарам. Но его жена, напуганная толками о нигилистах, так переполошилась, что выгнала из своего дома племянника, бедняка студента, к которому прежде была расположена и которому давала стол и квартиру. У добродушной чиновницы исчезло всякое сострадание от страха, что ее муж окончательно превратится в нигилиста от сожительства с молодым человеком. Иные барышни пугали своих родителей тем, что сделаются нигилистками, если им не будут доставлять развлечений, то есть вывозить их на балы, театры и нашивать им наряды. Родители во избежание срама входили в долги и исполняли прихоти дочерей. Но это все были комические стороны, а сколько происходило семейных драм, где родители и дети одинаково делались несчастными на всю жизнь из-за антагонизма, который, как ураган, проносился в семьях, вырывая с корнем связь между родителями и детьми.

Ожесточение родителей доходило до бесчеловечности, а увлечение детей до фанатизма. В одном семействе погибли разом мать и дочь; в сущности, обе любили друг друга, но в пылу борьбы не замечали, что наносили себе

взаимно смертельные удары. Старшая дочь хотела учиться, а мать, боясь, чтобы она не сделалась нигилисткой, восстала против этого; пошли раздоры, и дело кончилось тем, что мать, после горячей сцены, прогнала дочь из дому.

Молодая девушка, ожесточенная таким поступком, не искала примирения, промаялась с полгода, бегала в мороз по грошовым урокам в плохой обуви и холодном пальто и схватила чахотку.

Когда до матери дошло известие, что ее дочь безнадежно больна, она бросилась к ней, перевезла к себе, призвала дорогих докторов, но было уже поздно — дочь умерла, а мать вскоре с горя помешалась.

Таких печальных семейных разладов тогда было множество, и тургеневские «Отцы и дети» только усилили их, внеся новые недоразумения. Тургенев сам это понял и в следующей повести «Новь» сделал попытку придать новому поколению некоторые примиряющие черты, но их никто уже не заметил[36]. А как легко было Тургеневу с его огромным талантом и литературным авторитетом выяснить обеим сторонам их взаимные недоразумения и беспристрастно показать все неразумие ожесточенной борьбы из-за пустых внешних причин, которым придавалось столь важное значение <...>

Вскоре после появления «Отцов и детей» Тургенев приехал из-за границы пожинать лавры[37]. Почитатели носили его чуть не на руках, устраивали в честь его обеды, вечера, говорили благодарственные речи и т. п. Я думаю, что ни одному из русских писателей не выпало при жизни столько оваций.

В то время ежегодные концерты, дававшиеся в пользу недостаточных студентов, были всегда полны; даже аристократическая публика посещала их.

Впрочем, нужно заметить, что артисты Итальянской оперы постоянно участвовали в этих концертах безвозмездно. Распорядители-студенты сами являлись к некоторым литераторам с билетами на свой концерт, как бы желая этим выразить им уважение от лица всей студенческой корпорации.

Но после напечатания «Отцов и детей» Тургенев не получил билета. Это произвело сенсацию в кругу его друзей-литераторов. Со стороны их посыпались обвинения, что все это произошло по интригам Некрасова и семинаристов, сотрудников «Современника», которые вооружают молодежь, распространяя о Тургеневе сплетни <...>

Привязанность Некрасова к Тургеневу можно было сравнить с привязанностью матери к сыну, которого она, как бы жестоко он ни обидел ее, все-таки прощает и старается приискать всевозможные оправдания его дурным поступкам. Я более никогда не слыхала, чтобы Некрасов сделал даже намек относительно враждебных к нему чувств и действий Тургенева; он по-прежнему высоко ценил его талант.

В характере Некрасова было много недостатков, но я не думаю, чтобы кто-нибудь из современных литераторов мог упрекнуть его в зависти к их успеху на литературном поприще или в том, что он занимался литературными сплетнями. Некрасов никогда не обращал внимания на то, что ему говорили друг про друга литераторы, и, если между ними происходили ссоры, старался примирить враждующих [38].

Внимание, которое оказывал Некрасов всякому вновь появляющемуся талантливому литератору, приписывали обыкновенно его спекулятивному расчету. Но Некрасов всегда искренне радовался, что в русской литературе выступает еще новый талант, и, как журналист, он, понятно, желал, чтобы произведения этого таланта попали в «Современник». Я уже упоминала, что Тургенев подсмеивался над Некрасовым, что он слишком преувеличивает свои взгляды на новых появляющихся литераторов. Некрасову часто доставалось за это от Тургенева и В. П. Боткина, как людей компетентных по части изящных искусств. Помню, как осенью в 1850 или 1851 году они привязались к Некрасову из-за Дружинина, когда тот печатал в «Современнике» свои фельетоны с подписью «Чернокнижников».

Тургенев и Боткин требовали, чтобы Некрасов прекратил печатание этих фельетонов, говоря, что они позорят журнал и даже других литераторов, которые в одной книжке с такой ерундою помещают свои произведения.

— Не могу же я, господа, оскорбить Дружинина, отказав ему печатать его фельетоны! — говорил Некрасов. — У всякого из нас может выдаться неудачная вещь. У Дружинина есть имя, он сам отвечает за себя.

Боткин возразил на это, что журнал не богадельня, чтобы помещать произведения исписавшихся литераторов, — да и с чего Некрасов взял, что Дружинин приобрел себе авторитетное имя в литературе?

Тургенев тоже соглашался с Боткиным.

— Да вы сами восхищались «Полинькой Сакс» Дру-

жинина [39], — воскликнул Некрасов, — даже находили, что его женские типы напоминают Гете!

Тургенев пояснил Некрасову, что если они и хвалили «Полиньку Сакс», то он забыл, какая была в 1849 году голодовка в русских журналах относительно беллетристики, что на прежних литераторов наложена была печать молчания, и цензура не пропускала ничего из их произведений, так что «Полинька Сакс» и могла иметь некоторый успех. Он привел пословицу: «На безрыбье и рак рыба» — и уверял, что, появись теперь «Полинька Сакс», на нее никто не обратил бы внимания.

— Ну уж, господа, как вы начнете нападать на кого-нибудь, так в клочья его растреплете, — заметил Некрасов.

— В нас, любезный друг, развито эстетическое чувство, — отвечал В. П. Боткин.

— Согласись, Некрасов, — вставил Тургенев, — что если человек слушает одну русскую музыку, видит картины одних русских художников и знаком только с одной русской литературой, то в нем не может развиться эстетическое понимание изящных искусств. Тебе нужно сознаться, что ты некомпетентный судья.

— И должен слушаться нас! — подхватил Боткин. — Нельзя, любезный друг, издавать журнал, валя в него без разбору и художественные вещи, и всякую ерундищу. Надо сначала развить в себе эстетическое чутье многосторонним знакомством с европейской литературой, изучить ее, а потом уж можешь полагаться на один свой вкус!

Некрасов сознавал, что Тургенев и В. П. Боткин имели большое преимущество перед ним в образовании и начитанности.

В этот год, осенью, Дружинин, Боткин и Тургенев — все трое жили у нас: Дружинин вернулся из деревни ранее своей матери, Боткин, по обыкновению, приехал из Москвы к нам, а Тургенев из деревни также остановился у нас до устройства своего зимнего пребывания в Петербурге.

Приведенный выше разговор происходил за ужином. На следующее утро я поила всех троих чаем и кофе и была удивлена, когда Тургенев и Боткин стали просить Дружинина прочитать им фельетон Чернокнижникова, который он писал для следующего номера «Современника». Дружинин прочитал им еще не оконченный фельетон, и слушатели смеялись и похваливали. Мне сделалось даже обидно за Дружинина, который принял эти похвалы

за чистую монету. Он сам никогда не говорил за глаза ничего дурного про своих приятелей-литераторов, и, вероятно, ему не приходило в голову, чтобы другие могли поступать иначе.

Лонгинов, сделавшись начальником над цензорами, на которых прежде сочинял шутовские стихи, запретил дальнейшее печатание фельетонов Чернокнижникова, так что Тургенев и Боткин не имели уже более повода преследовать Некрасова за Дружинина[40].

Тургенев и В. П. Боткин почему-то не церемонились с Некрасовым и высказывали ему в глаза очень горькие истины о его стихах. Живо помню, как будто это было вчера, обстановку комнаты, позы и выражения лиц во время одного разговора, происходившего в начале пятидесятых годов, когда с каждым новым стихотворением Некрасова его известность увеличивалась и все его стихотворения, запрещенные цензурой, заучивались наизусть молодежью.

За утренним чаем Тургенев сидел в серой охотничьей куртке с зеленым воротником и, сложив руки, облокотился на стол, а В. П. Боткин в беличьем халате сидел, углубясь в мягкое кресло. Перед Тургеневым стоял стакан кофе, а перед Боткиным — чай. Это происходило также в один из их приездов в Петербург, и они проживали у нас. Некрасов расхаживал по столовой. Панаев еще спал. Разговор зашел сперва о редакции объявления об издании «Современника» на следующий год. Я зачем-то вышла из столовой по хозяйству и, вернувшись через несколько минут за чайный стол, услышала, что разговор перешел уже к стихам Некрасова.

— Надеюсь, Некрасов, ты поймешь, — говорил Тургенев, — что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение.

— Да с чего вы взяли, что я сержусь, — отвечал Некрасов на ходу.

— Не за что ему сердиться! не за что! он должен быть благодарен нам! — произнес В. П. Боткин. — Да, любезный друг, твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной формы; это огромный недостаток в поэте.

— Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на реальность, — заметил Тургенев[41].

— Да, да! а этого нельзя! — подхватил Боткин. — Сильно напираешь, и это коробит людей с художественным

развитием, режет им ухо, которое не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и в предмете стихотворения.

— Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем, — сказал Тургенев, — она перечитала в оригинале все стихи Гете, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей: «Еду ли ночью по улице темной». Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? — «Это не поэзия! Это не поэт!»

— Да, да, — подтвердил Боткин.

— Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам! — проговорил Некрасов.

— Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин, — запальчиво возразил Василий Петрович. — Пушкин, Лермонтов и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи прежде, чем их печатали.

— До Пушкина и Лермонтова мне далеко! — отвечал Некрасов. — Если я стану подражать им, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть своя своеобразность: у меня — реальность.

Тургенев приводил сравнение между бриллиантом в первобытном виде и тем блеском, который он получает в искусных руках ювелира от грани. Он сопоставил параллель между деревенской красавицей и менее красивою женщиною, но с изящными светскими манерами.

— Изящная форма во всем имеет преимущество, — заключил Тургенев свою речь <...>

Я восстановляю те разговоры, которые производили на меня сильное впечатление. В продолжение многих лет мне постоянно приходилось слушать людей, ведущих длинные разговоры за утренним чаем, за завтраком, за обедом, за ужином; поневоле эти разговоры врезывались в моей памяти. Теперь, я думаю, таких продолжительных разговоров и не может быть между литераторами, как прежде, потому что о многом они могут говорить в печати, а тогда должны были удовлетворяться одними только разговорами.

«Чтобы хорошо узнать человека, надо с ним съесть пуд соли», — говорит пословица, а мне пришлось съесть десяток пудов соли с некоторыми литераторами в течение тридцати с лишком лет.

А. А. ФЕТ

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

ЧАСТЬ I

ИЗ ГЛАВЫ I

Находясь, можно сказать, в природной вражде с хронологией, я буду выставлять годы событий только для соблюдения известной последовательности, нимало не отвечая за точность указаний, в которых руководствуюсь более соображением, чем памятью. Так, например, я знаю, что ранее 1840 года, то есть до издания «Лирического пантеона», я не мог быть своим человеком у московского профессора словесности С. П. Шевырева.

Во время одной из наших с ним бесед в его гостиной слуга доложил о приезде посетителя, на имя которого я не обратил внимания.

В комнату вошел высокого роста молодой человек, темнорусый, в модной тогда «листовской» прическе и в черном, доверху застегнутом, сюртуке. Так как появление его нисколько меня не интересовало, то в памяти моей не удержалось ни одного слова из их непродолжительной беседы; помню только, что молодой человек о чем-то просил профессора, и самое воспоминание об этой встрече, вероятно, совершенно изгладилось бы у меня из памяти, если бы по его уходе Степан Петрович не сказал: «Какой странный этот Тургенев: на днях он явился со своей поэмой «Параша», а сегодня хлопочет о получении кафедры философии при Московском университете». Никогда в

позднейшее время мне не случалось спросить Тургенева, помнит ли он эту нашу первую встречу. Равным образом не могу утверждать, приходил ли Тургенев предварительно к Шевыреву с рукописью «Параша» или уже с напечатанной поэмой, что не могло быть раньше 1843 года. Первое предположение, по моим воспоминаниям, вероятнее [1]. Точно так же знаю наверное, что раньше 1848 года я не мог приехать в домовый отпуск из полка, где был утвержден в должности полкового адъютанта [2], хотя и тут не могу вполне точно определить года, да и не считаю, с своей точки зрения, этого важным.

Дома меня встретил самый радушный прием. Хотя старик отец по принципу никому не высказывал своих одобрений, но бывшему эскадронному командиру, видимо, было приятно, что я занимаю в полку видное место.

В доме я застал меньшую нашу сестру Надю, недавно кончившую учение, — смолянку, совершенно неопытную, по наружности весьма интересную, пылкую и любознательную семнадцатилетнюю девушку. Хотя стихи мои около десяти лет уже были знакомы читателям хрестоматий [3], Надя едва ли не одна из целого семейства знала о моем стихотворстве и искала со мною бесед. Невзирая на кратковременное пребывание дома, я, с своей стороны, старался поддерживать ее любознательные и эстетические стремления, конечно, тайком от отца, считавшего Державина великим поэтом, а Пушкина безнравственным писателем, и ревновавшего втайне свою любимую Надю ко всякого рода сторонним влияниям <...>

В тогдашний приезд мой раз навсегда заведенный отцом порядок в доме мало изменился. Он сам по-прежнему жил во флигеле, а в доме помещалась только Надя, а я жил в другом флигеле. Переходя в 8 часов утра в красном бухарском халате и в черной шелковой шапочке на голове с крыльца своего флигеля на крыльцо дома, он требовал, чтобы Надя была уже у своего хозяйского места перед самоваром. Завтрак строго воспрещался, обед с часу передвинулся на два, чай подавался в 7 часов, а в 9 часов — ужин с новым супом и пятью новыми блюдами, совершенно как во время обеда. Надобно прибавить, что такой ужин подавался лишь другим, а сам отец довольствовался неизменной овсяной кашей со сливочным маслом. Дочерям не позволялось гулять без вуаля и без лакея даже в саду, а выезжать не иначе, как в дормезе четверкой или шестериком с форейтором и с ливрейным

лакеем. Бывшие в гостях сестры должны были возвращаться к ужину.

Однажды, за полчаса до прихода отца, прогремевшая по камням карета остановилась у крыльца и быстро вошедшая в столовую Надя расцеловалась со мной.

— Я привезла тебе от всех поклоны, и Ш...ы[4] убедительно просят нас с тобой приехать в следующее воскресенье. Будет Тургенев, с которым я сегодня познакомилась. Он очень обрадовался, узнавши, что ты здесь. Он сказал: «Ваш брат — энтузиаст, а я жажду знакомства с подобными людьми».

Конечно, я очень обрадовался предстоящей мне встрече, так как давно восхищался стихами и прозой Тургенева.

— Мне сказывали, — прибавила Надя, — что он поневоле у себя в Спасском, так как ему воспрещен въезд в столицы. Папа ничего об этом не надо говорить, а то бог знает как он посмотрит на это знакомство; а в гости к Ш...м он нас отпустит охотно.

На следующее воскресенье мы уже застали Тургенева у Ш...х. Видевши его только мельком лет за пятнадцать тому назад, я, конечно бы, его не узнал. Несмотря на свежее и моложавое лицо, он за это время так поседел, что трудно было с точностью определить первоначальный цвет его волос. Мы встретились с самой искренней взаимной симпатией, которой со временем пришлось разрастись в задушевную приязнь.

Кроме обычных обитателей Волкова, было несколько сторонних гостей. Дамы окружали Тургенева и льнули к нему, как мухи к меду, так что до обеда нам не пришлось с ним серьезно поговорить. Зато после обеда он упросил меня прочесть ему на память несколько еще не напечатанных стихотворений и упрашивал побывать у него в Спасском. Оказалось, что мы оба ружейные охотники. По поводу тонких его указаний на отдельные стихи я, извиняясь, сказал, что восхищаюсь его чутьем. «Зачем же вы извиняетесь в выражении, которое я считаю величайшею для себя похвалой?»

При прощании я дал ему слово побывать в Спасском, но к себе по какому-то (невольно скажешь) чутью его не приглашал.

В условный день приходилось просить у отца лошадей, в которых он никогда не отказывал, и, кроме того, сказать, куда я еду. Тайком этого сделать было невозможно,

а отец, подобно мне, был заклятый враг всякой лжи. Услыхав, что я еду в Спасское, он нахмурил брови и сказал: «Ох, напрасно ты заводишь это знакомство; ведь ему запрещен въезд в столицы, и он под надзором полиции. Куда как неприглядно» [5].

Стоило большого труда убедить отца, что эти обстоятельства до меня не касаются и что порядочное общество тем не менее его не чуждается.

— Фить, фить! — проговорил отец, щелкая пальцами (это было его обычным обозначением легкомыслия), — а впрочем поезжай, уж если так тебе хочется.

Счастливый, я побежал и расцеловал своего друга Надю.

Воздержусь от описания Спасской усадьбы, хорошо знакомой публике и по описаниям, и по фотографиям; скажу только раз навсегда, что план дома представлял букву «глаголь», а флигель — как бы другую ножку буквы «пе», если бы верхняя часть «глаголя» соприкасалась с этой ножкой; но так как между домом и флигелем был перерыв, то флигель выходил единицей, подписанной под крышею «глаголя». Странно, что хотя со временем я узнал все расположение построек усадьбы Спасского, как свой собственный дом, я никак не в состоянии дать себе ясного отчета, где в первое мое посещение жил и принимал меня Тургенев, то есть в доме или во флигеле.

Конечно, меня не могло поразить окружавшее его множество лакеев, которых и у нас в доме было едва ли не дюжина; но у нас, как и у всех остальных, они появлялись в лакейских с утра и в доме не оставались; у Тургенева же я заметил в двух-трех соседних с приемною комнатках кровати и столики, у которых стояли длиннейшие чубуки от трубок со вспухнувшей табачною золой, хотя сам Тургенев никогда не курил. В этих-то комнатах, видимо, помещались лакеи, при которых, как я узнал впоследствии, состояли казачки для набивания трубок и других послуг.

Разговор наш принял исключительно литературный характер, и, чтобы воспользоваться замечаниями знатока, я захватил все, что у меня было под руками из моих литературных трудов. Новых стихотворений в то время у меня почти не было, но Тургенев не переставал восхищаться моими переводами од Горация, так что, по просьбе его, смотревшего в оригинал, я прочел ему почти все переведенные в то время две первые книги од. Вероятно,

он успел уже стороною узнать о крайней скудости моего годового бюджета и потому восклицал:

— Продолжайте, продолжайте! Как скоро окончите оды, я сочту своим долгом и заслугой перед нашей словесностью напечатать ваш перевод. С вами ничего более нет? — спросил он.

— Есть небольшая комедия[6].

— Читайте, еще успеем до обеда.

Когда я кончил, Тургенев дружелюбно посмотрел мне в глаза и сказал:

— Не пишите ничего драматического. В вас этой жилки совершенно нет.

Сколько раз после того приходилось мне вспоминать это верное замечание Тургенева, и ныне, положа руку на сердце, я готов прибавить: ни драматической, ни эпической.

Когда нас позвали к обеду (это уже было несомненно в доме), Тургенев познакомил меня со своими сожителями: Тютчевыми — мужем и женою, и девицею — сестрою мадам Тютчевой. После обеда мы отправились пить кофе в гостиную, где стоял, столь часто упоминаемый Тургеневым, широкий, времен Империи, диван *самосон,* едва ли не единственная мебель в Спасском с пружинным тюфяком. Тургенев тотчас же лег на самосон и только изредка слабым и шепелявым фальцетом вставлял словцо в наш разговор, ведение которого с незнакомыми дамами вполне легло на меня. Конечно, я не помню подробностей разговора; но когда, желая угодить дамам, я заявил, что по своим духовным качествам русская женщина — первая в мире, Тургенев внезапно оживился и, спустив ноги с самосона, воскликнул:

— Вы тут сказали такое словечко, при котором я улежать покойно не мог.

И между нами поднялся шуточный спор, первый из многочисленных последующих наших с Тургеневым споров.

Когда я вернулся домой, отец благодушно посмотрел мне в глаза и сказал:

— Так как тебе уж очень хочется бывать у него, то мешать тебе в этом не стану. Но успокой ты меня в одном: никогда ему не пиши.

Я почтительно промолчал.

Отпуск мой кончился, и я должен был вернуться в полк, а с тем вместе наступил долговременный перерыв

моих сношений с Тургеневым, во время которого я действительно ни в какой переписке с ним не состоял, так как случайная встреча не успела еще развиться в душевную приязнь <...>

Так как конные наши учения происходили только три раза в неделю, в течение одного часа, то свободного времени у меня оставалось много, и, по склонности к литературе, мне захотелось познакомиться с Некрасовым и Панаевым, тогдашними издателями «Современника» [7].

Когда я остановил извозчика, как мне говорили, на Владимирской, в Колокольном переулке, и стал громко спрашивать городового о их квартире, у саней моих остановилась ехавшая мне навстречу красивая коляска, и сидящий в ней в щегольской шляпе брюнет сказал мне: «Я — Панаев, позвольте узнать ваше имя?» Услыхав мое, он, видимо, обрадовался и, указавши дом, просил заехать к Некрасову и обождать с полчаса, так как к тому времени он сам вернется домой.

Встреча Некрасова была менее шумна, но не менее приветлива. «Мы обедаем в пять часов; приходите, пожалуйста, запросто; вы, между прочим, встретите здесь своих приятелей: Боткина и Тургенева».

Явившись к пяти часам, я был представлен хозяйке дома А. Я. Панаевой. Это была небольшого роста, не только безукоризненно красивая, но и привлекательная брюнетка. Ее любезность была не без оттенка кокетства. Ее темное платье отделялось от головы дорогими кружевами или гипюрами; в ушах у нее были крупные бриллианты, а бархатистый голосок звучал капризом избалованного мальчика. Она говорила, что дамское общество ее утомляет и что у нее в гостях одни мужчины.

Тут я, после долгих лет, встретил В. П. Боткина, по-прежнему обоюдоострого, то есть одинаково умевшего быть нестерпимо резким и елейно сладким. Познакомился с А. В. Дружининым, который стал меня расспрашивать о моих теперешних однополчанах Щ—х, с которыми он вместе воспитывался в Пажеском корпусе. С первого знакомства сошелся с веселым М. Н. Лонгиновым, сохранившим ко мне приязнь до своей смерти; с П. В. Анненковым, И. А. Гончаровым и повсегдатаем всех литературных обедов — М. А. Языковым, входившим в комнату

шатаясь на своих кривых ножках и с неизменною улыбкою на лице.

Все это веселое общество, в ожидании обеда, усаживалось на мягкой мебели хозяйского кабинета, рассказывая друг другу забавные анекдоты. Хохот и шум на минуту только прерывались с появлением нового гостя. В остальное время нужно было близко подсесть к данной группе, чтобы расслушать слова.

— Господа, — сказал входящий в комнату хозяин, — четверть шестого, и если мы будем ждать Тургенева, то он заморит нас с голоду, и у хозяйки перейдет обед; она просит вас пожаловать к столу.

Все бросились к закуске, которой была оказана надлежащая честь. Тургеневу оставлен был прибор, и когда он во время супа вошел, извиняясь, ему подали бульон, так как он боялся всего жирного и пряного. Мы встретились с ним как старые знакомые, и он просил меня не забывать его на его постоянной квартире, на Большой Конюшенной, в доме Вебера.

С этого дня я стал чуть не ежедневно по утрам бывать у Тургенева, к которому питал фанатическое поклонение.

По природе ли или вследствие долгого пребывания за границей, Тургенев отличался наклонностью к порядку в окружающих вещах. Он не иначе садился писать самую простую записку, как окончательно прибравши бумаги на письменном столе. Между тем это же самое стремление к порядку не помогало ему в первое время нашего петербургского знакомства устроиться с холостым своим хозяйством. Правда, в то время и прислуга у него была другая: не было у него ни тонкого Захара, литературным мнением которого он далеко не пренебрегал[8], ни неутомимого и точного Дмитрия Кирилловича, перешедшего позднее в услужение к В. П. Боткину, которого капризам умел угождать. А это великая рекомендация. Слуги эти были несомненными питомцами Спасского при матери Тургенева, тогда как бестолковый Иван — очевидный продукт позднейшей эмансипированной лакейской. Слуги прежних времен принимали молчаливо всякого рода замечания, тогда как крепостные либералы почитали нравственным долгом всякому оправданию предпосылать: «Помилуйте-с, помилуйте-с».

Вертелся ли сам Тургенев слишком усердно в этот период в вихре света, отбивал ли бестолковый Иван у него охоту просидеть лишний час дома, но случалось, что

усердно созванный на обед круг гостей к пяти часам соберется, бывало, под темною аркою ворот у двери тургеневской квартиры.

— Кто это? — спрашивает один другого.

— Ах, это вы, Дружинин? — восклицает другой, узнавши по голосу вопрошающего.

— Добродушный, но рассеянный человек, — говорит укоризненно Боткин, — он просто забыл, что позвал всех обедать, и я ухожу. Что же звонить понапрасну? Явно, что ни Ивана Тургенева, ни Ивана-лакея нет на квартире.

Однажды, перед самым обедом, я забежал к Тургеневу поболтать с ним, пока он будет одеваться. В комнатах было действительно никак не более десяти градусов, которые переодевавшемуся Тургеневу были всех чувствительнее.

— Иван! — воскликнул он слезливым голосом, — ну как же мне тебя умолять? Сколько раз уже я слезно просил тебя сильнее топить в такие морозы.

— Помилуйте-с, помилуйте-с, — отвечал Иван.

— Да ведь я, — прервал его Тургенев, все выше забирающим фальцетом, — и не спорю с тобою. Ну ты умен, а я дурак. Но помилосердуй! Не до такой же степени я глуп, чтобы не мог разобрать, холодно мне или тепло.

Чтобы понять следующий небольшой случай с Иваном, не оставшийся без литературного следа, необходимо упомянуть одно литературное лицо, по временам появлявшееся в нашем кругу. Это был небольшого роста белокурый молодой немец Видерт, весьма удачно переводивший русские стихи и прозу на немецкий язык. Его переводы Кольцова пользовались в Германии заслуженным успехом. Появлялся он обыкновенно к вечернему чаю. Во время одного из таких посещений, на требование чаю со стороны Тургенева, Иван объявил, что чай весь вышел.

— Помилуй, любезный друг! — воскликнул изумленный Тургенев. — Как же мог так скоро выйти чай, когда я только третьего дня принес фунт?

— Помилуйте-с, помилуйте-с, — отвечал Иван, — стаканы малы.

Ожидавший в числе прочих чаю Некрасов не преминул воспроизвести эту сцену в следующем стихотворении:

Стол накрыт, подсвечник вытерт,
Самовар давно кипит.
Сладковатый немчик Видерт
У Тургенева сидит.
По запросу господина
Отвечает невзначай
Крепостной его детина,
Что «у нас-де вышел чай».
Содрогнулся переводчик,
А Тургенев возопил:
«Чаю нет! Каков молодчик!
Не вчера ли я купил?»
Замечание услышал
И ответствовал Иван:
«Чай у нас так скоро вышел
Оттого, что мал стакан»[9].

Так как я давно уже не писал стихов, то для журнальной печати запас их у меня оказался ничтожен; тем не менее Некрасову легко было пригласить меня, совершенного новичка в журнальном деле, по совету самого Тургенева, в исключительные сотрудники «Современника» с гонораром 25-ти рублей за каждое стихотворение.

Тургенев радовался окончанию перевода од Горация и сам вызвался проверить мой перевод вместе со мною из строки в строку. Споров и смеху по этому поводу у нас возникало немало. Между прочим в XXI оде книги первой он восстал против стиха:

На Краге ль по весне.

Так как Горациева Крага изгнать было невозможно, то Тургенев привязался к слову *по весне* и спрашивал, что это такое?

Напрасно я ссылался на обычное в устах каждого русского выражение: *по весне, по зиме* — в смысле: в весеннюю или зимнюю пору; напрасно приводил я ему стих Крылова:

Он в море корабли отправил по весне.

Тургенев уверял, что ему хорошо известно, что краснокожие с перьями на голове и с поднятыми томагавками бегают по лесам Америки, восклицая: «На Краге по весне», причем он выговаривал *весне* так, как будто в конце стояло обратное «э».

Потому ли, что я стал окружен литературной атмосферой, или уж очень скучал в моем одиноком номере

гостиницы, — заехавший ко мне Иван Сергеевич застал меня с карандашом в руке. Я только что окончил стихотворение «Днепр в половодье».

Прослушавши стихи, он сказал:

— Я боялся, что талант ваш иссяк, но его жила еще могуче бьет в вас. Пишите и пишите!

Литературный кружок, к которому принадлежал и Д. В. Григорович, и мой университетский товарищ Я. П. Полонский, и генерал-майор Е. П. Ковалевский, путешественник по Малой Азии, Египту, Нубии я Абиссинии, — собирался не у одного Некрасова.

У Тургенева был прекрасный крепостной повар, купленный им за тысячу рублей [10]. Приглашая по временам приятелей обедать, Тургенев объявил, что не может принять более одиннадцати человек, так как столового сервиза у него только дюжина. В такие дни обед обыкновенно заказывал Боткин, и когда затем какой-либо соус выходил особенно тонок и вкусен, Тургенев спрашивал Боткина:

— А что ты скажешь об этом соусе?

— Надо, — отвечал Боткин, — непременно позвать повара: я буду плакать у него на жилетке.

Однажды Тургенев объявил мне, что Краевский желает со мною познакомиться, и мы отправились в условленный день к нему.

После первых слов привета Андрей Александрович стал просить у меня стихов для «Отечеств. записок», в которых я еще во времена Белинского печатал свои стихотворения. Он порицал уловку Некрасова, заманившего меня в постоянное сотрудничество. «Это уж какая-то лавочка в литературе», — говорил он.

Хотя я и разделял воззрение Краевского, но считал неловким нарушать возникшие между мною и «Современником» отношения. Вернувшись от Краевского, я высказал Тургеневу свои сомнения, но он, посоветовавший мне согласиться на предложение Некрасова, стал убеждать меня, что это нимало не помешает дать что-либо и Краевскому. К счастью, новых стихотворений у меня не оказалось, но от скуки одиночества я написал прозою небольшой рассказ «Каленик» и отдал его в «Отечеств. записки» [11]. Появившееся на страницах журнала имя мое воздвигло в Некрасове бурю негодования; он сказал, что предоставляет себе право печатать мои стихотворения не подряд, а по выбору, в ущерб моему гонорару <...>

Обеды у Панаева и Тургенева повторялись с обычным шумом и веселостью, не без примеси весьма крупной аттической соли и некоторого злорадства со стороны всегда мягкого и любезного Тургенева. В веселую минуту он сам повторял свои эпиграммы, острие которых обращено было даже на его друзей, например, Кетчера и Анненкова.

Про Анненкова, в то время весьма полного, экономного и охотника покушать, Тургенев не раз, возбуждая общее веселье, повторял эпиграмму, из которой помню только последние два стиха:

Чужим наполненным вином
Виляет острым животом.

И когда, бывало, Гончаров и Анненков первые подступали к муравленому горшку со свежею икрой от Елисеева, Тургенев вопил:

— Господа, не забудьте, что вы не одни здесь.

Нередко Дружинин и Лонгинов читали свои юмористические, превосходными стихами написанные, карикатурные поэмы [12]. Забавнее всего, что в одной из таких поэм у Лонгинов а в самом смешном в жалком виде человек, пробирающийся утром по петербургским улицам, был списан с Боткина. Всем хорошо был известен стих: «То Боткин был». А между тем сам Боткин пуще других хохотал над этим стихом, в котором при нем Лонгинов подставлял другое имя.

В последнее время Тургенев стал настаивать на новом собрании моих стихотворений, так как издание пятидесятого года почти все разошлось. Он сам брался за редакцию, приглашая к себе в сотрудники весь литературный ареопаг. Конечно, мне оставалось только благодарить <...>

Около этого времени у меня завязалась оживленная переписка с Тургеневым. Он писал мне: [13]

«Некрасов, Панаев, Дружинин, Анненков, Гончаров — словом, весь наш дружеский кружок вам усердно кланяется. А так как вы пишете о значительном улучшении ваших финансов, чему я сердечно радуюсь, то мы предлагаем поручить нам новое издание ваших стихотворений, которые заслуживают самой ревностной очистки и красивого издания, для того чтобы им лежать на

столике всякой прелестной женщины. Что вы мне пишете о Гейне? Вы выше Гейне, потому что шире и свободнее его».

Конечно, я усердно благодарил кружок, и дело в руках его под председательством Тургенева закипело. Почти каждую неделю стали приходить ко мне письма с подчеркнутыми стихами и требованиями их исправлений. Там, где я не согласен был с желаемыми исправлениями, я ревностно отстаивал свой текст, но по пословице: «Один в поле не воин» — вынужден был соглашаться с большинством, и издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным. Досаднее и смешнее всего была долгая переписка по поводу отмены стиха:

На суку извилистом и чудном.

Очень понятно, что, высланные мною скрепя сердце, три-четыре варианта оказались непригодными, и наконец Тургенев писал: «Не мучьтесь более над стихом «На суку извилистом и чудном»: Дружинин растолковал нам, что фантастическая жар-птица и на плафоне, и в стихах может сидеть только на извилистом и чудном суку рококо. И мы согласились, что этого стиха трогать не надо»

Три-четыре дня моего пребывания на этот раз в Петербурге я проводил преимущественно в литературном кругу. Тургенева я нашел уже на новой и более удобной квартире в том же доме Вебера, и слугою у него был уже не Иван, а известный всему литературному кругу Захар. Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. — Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот все время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь: а затем до двух часов спит как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою[14].

В этот же приезд мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипятящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

— Я не могу признать, — говорил Толстой, — чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев. — Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Б—й-Б—й!

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! и праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения.

Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему, слышанному мною в нашем кружке, полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.

Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказать

смешной анекдот, — Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами?

Вот что между прочим передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова[15]. «Голубчик, голубчик, — говорил, захлебываясь и со слезами смеха на глазах, Григорович, гладя меня по плечу. — Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели прошепчет: «Не могу больше! у меня бронхит!» и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. «Бронхит, — ворчит Толстой вослед, — бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит это металл!» Конечно, у хозяина — Некрасова — душа замирает: он боится упустить и Тургенева, и Толстого, в котором чует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»

— Я не позволю ему, — говорит с раздувающимися ноздрями Толстой, — нечего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!

ИЗ ГЛАВЫ V

Тургенев писал мне, что, но мнению всех литературных друзей, новый сборник моих стихотворений получил окончательно приличный вид, в котором на днях Тургенев сдаст его в типографию; [16] но что если я все еще желаю поднести его величеству свой перевод од Горация [17], то для этой цели мне необходимо воспользоваться, с наступлением мира, возможностью получить отпуск.

Вследствие этого, в первых числах января 1856 года, испросивши четырнадцатидневный отпуск, я однажды вечером растворил дверь в кабинет Некрасова и нежданно захватил здесь весь литературный кружок.

— О! а! э! и! — раздалось со всех сторон. Между про-

чим и Дружинин с улыбкою, протягивая мне обе руки, громко воскликнул:

На суку извилистом и чудном! [18] —

повторяя мой, спасенный его разъяснениями, стих.

С этих пор милый Дружинин постоянно встречал меня этим стихом, точно так же, как, в свою очередь, я постоянно встречал Полонского его стихом:

В те дни, как я был соловьем!

И каждый раз на мое приветствие он сам разражался добродушнейшим смехом.

— Ведь вот, — продолжал я, — ты сам хохочешь над нелепостью своего же стиха. Но кому же, кроме прирожденного поэта, может прийти в голову такая нелепость и кому же другому так охотно простят ее?

Весьма забавно передавал Тургенев, в лицах, недоумения и споры, возникавшие в кругу моих друзей по поводу объяснений того или другого стихотворения. Всего забавнее выходило толкование стихотворения:

О не зови! Страстен твоих так звонок
Родной язык... —

кончающегося стихами:

И не зови, но песню наудачу
Любви запой;
На первый звук я как дитя заплачу
И за тобой! [19]

Каждый, прислушиваясь к целому стихотворению, чувствовал заключающуюся в нем поэтическую правду, и она нравилась ему, как гастроному вкусное блюдо, составных частей которого он определить не умеет.

— Ну позвольте! Не перебивайте меня! — говорит кто-либо из объясняющих. — Дело очень просто: не зови меня, мне не следует идти за тобою, я *уже* испытал, как этот путь гибелен для меня, а потому оставь меня в покое и не зови.

— Прекрасно! — возражают другие, — но почему *же* вы не объясняете до конца? Как же связать — «о не зови»... с концом:

...я как дитя заплачу
И за тобой!

— Ясно, что эта решимость следовать за нею в противоречии со всем стихотворением.

— Да, точно! — в смущении говорит объяснитель, и всеобщий хохот заглушает слова его.

— Позвольте, господа! — восклицает гр. Л. Толстой. — Это так просто!

Но и на этот раз толкование приходит в тупик, покрываемое общим хохотом.

Как это ни невероятно, среди десятка толкователей, исключительно обладавших высшим эстетическим вкусом, не нашлось ни одного, способного самобытно разъяснить смысл стихотворения; и каждый, раскрыв издание 1856 года, может убедиться, что знатоки, не справившись со стихотворением, прибегли к ампутации и отрезали у него конец. А кажется, легко было понять, что человек влюбленный говорит не о своих намерениях следовать или не следовать за очаровательницей, а только о ее власти над ним. «О не зови — это излишне. Я без того, заслышав песню твою, хотя бы запетую без мысли обо мне, со слезами последую за тобой» <...>

Зная мою страсть к романсам, и романсам Глинки в особенности, Тургенев однажды вечером повез меня к певице [20], мужу которой не без основания предсказывал блестящую будущность на дипломатическом поприще. Я был представлен трем сестрам-певицам, из которых две случайно в этот вечер встретились в салоне старшей их сестры, хозяйки дома. Справедливость вынуждает сказать, что именно сама хозяйка была менее всех сестер наделена красотою. Спровадив более или менее формальных гостей, хозяйка сумела увести своих сестер и нас с Тургеневым в залу к роялю, и тут началось прелестнейшее трио. Но вот сестры хозяйки, вынужденные возвратиться домой, ушли одна за другою, и мы остались с Тургеневым у рояля, за которым хозяйка приступила к специальному исполнению романсов Глинки. Во всю жизнь я не мог забыть этого изящного и вдохновенного пения. Восторг, окрылявший певицу, сообщал обращенному к нам лицу ее духовную красоту, перед которой должна бы померкнуть заурядная, хотя бы и несомненная красота. Душевное волнение Глинки, передаваемое нам певицею, прежде всего потрясало ее самое, и в конце романса она, закрывая лицо нотами, уходила от нас, чтобы некоторое время оправиться от осиливших ее рыданий. Минут через пять она возвращалась снова и без всяких приглашений продолжала петь. Я никогда уже не слыхивал такого исполнения Глинки.

Решительно не припомню в настоящую минуту, кто по просьбе больного и никуда не выезжавшего графа Кушелева-Безбородко познакомил меня с ним. Желание Кушелева познакомиться со мною я объясняю тогдашнею его фантазией издавать журнал, которому он дал название «Русское слово». Я нашел в нем добродушного и скучающего богача, по болезненности прервавшего мало-помалу все сношения с так называемым светом, требовавшие известного напряжения. Всякое общественное положение, даже простое богатство требует от человека усилий, чтобы нести это вооружение к известной цели. Можно хорошо или плохо разыгрывать свою роль, но отказаться от нее совершенно — невозможно[21]. Кушелев именно, как мне кажется, думал прожить одною своею великолепною обстановкою и при этом пришел к материальному и духовному банкротству <...>

Хотя во время, о котором я говорю, вся художественно-литературная сила сосредотачивалась в дворянских руках, но умственный и материальный труд издательства давно поступил в руки разночинцев, даже и там, где, как, например, у Некрасова и Дружинина, журналом заправлял сам издатель. Мы уже видели, как при тяготении нашей интеллигенции к идеям, вызвавшим освобождение крестьян, сама дворянская литература дошла в своем увлечении до оппозиции коренным дворянским интересам, против чего свежий неизломанпый инстинкт Льва Толстого так возмущался[22]. Что же сказать о той среде, в которой возникли «Искра» и всемогущий «Свисток» «Современника», перед которым должен был замолчать сам Некрасов. Понятно, что туда, где люди этой среды, чувствуя свою силу, появлялись как домой, они вносили и свои приемы общежития. Я говорю здесь не о родословных, а о той благовоспитанности, на которую указывает французское выражение: «enfant de bonne maison», рядом с его противоположностью <...>

И вот русский барин-богач, взявшийся за непосильную ему умственную работу, является со знаменем во всех отношениях враждебного ему лагеря. Но не наше дело спрашивать, почему всем активным русским силам надлежало стать жертвою мелодраматических фраз. Только будущее способно ответить на такой вопрос, а моя задача — рассказывать о виденном.

Приходится, в числе лиц, принадлежавших к нашему литературному кружку, вспомнить о М. А. Языкове, неиз-

менно присутствовавшем на всех наших беседах, вечерах и попойках, хотя он был человек женатый и занимал прекрасное помещение на казенном фарфоровом заводе. Он был человек весьма дельный и, помнится, избираем был Тургеневым третейским судьею в каком-то щекотливом деле. Но когда на своих хромающих и от природы кривых ножках он с улыбкою входил в комнату, каждый, протягивая ему руку, был уверен, что услышит какую-либо нелепость.

Бывало, зимою, поздно засидевшись после обеда, кто-нибудь из собеседников крикнет: «Господа! поедемте ужинать к Языкову!» И вся ватага садилась на извозчиков и отправлялась на фарфоровый завод к несчастной жене Языкова, всегда с особенною любезностью встречавшей незваных гостей. Не знаю, как она успевала накормить всех, но часа через полтора или два являлись сытные и превосходные русские блюда, начиная с гречневой каши со сливочным маслом или со сливками и кончая великолепным поросенком, сырниками и т. д. И ватага отваливала домой, довольная хозяевами и ночною экскурсией.

Быть может, не всем известно, что Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для «Современника»[23]. Познакомившись впоследствии с Федором Ивановичем, я убедился в необыкновенной его авторской скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность. Появление небольшого собрания стихотворений Тютчева в «Современнике» было приветствовано в нашем кругу со всем восторгом, которого заслуживало это капитальное явление.

Все это приходит мне на память по случаю обеда, данного нами по подписке в честь Тургенева[24], нередко угощавшего нас прекрасными обедами. За обедом, в зале какой-то гостиницы, шампанского, а главное — дружеского единомыслия, — было много, а потому всем было весело. Собеседники не скупились на краткие приветствия, выставлявшие талант и литературные заслуги Тургенева.

— Господа! — воскликнул Тургенев, подымая руку, — позвольте просить вашего внимания. Вы видите, Михаил Александрович Языков желает говорить.

— Языков, Языков желает сказать спич! — раздались хихикающие голоса.

Языков, высоко поднимая бокал и озираясь кругом, серьезно произнес:

Хотя мы спичем и не тычем,
Но чтоб не быть разбиту параличем... —

и сел. Раздался громкий смех, что и требовалось доказать. Мне стало совестно, что я ничего не приготовил, и, вытащивши записную книжку, я на коленях написал и затем громко прочел следующее четверостишие:

Поднять бокал в честь дружного союза
К Тургеневу мы нынче собрались.
Надень ему венок, шалунья муза,
Надень и улыбнись!

Минуты две спустя Тургенев, в свою очередь, попросил слова и сказал:

Все эти похвалы едва ль ко мне придутся,
Но вы одно за мной признать должны:
Я Тютчева заставил расстегнуться
И Фету вычистил штаны.

Гомерический смех был наградою импровизатору.

ИЗ ГЛАВЫ VI

В Париже, за отсутствием сестры, уехавшей в Остенде, единственным знакомым мне человеком оказался Тургенев[25], которого адрес мне был известен из его письма <...>

Не без душевного волнения отправился я в rue de l'Arcade отыскивать Тургенева, которого могло там не быть. Спрашиваю привратника — говорит: «Здесь».

Тургенев, сидевший за рабочим столом, с первого взгляда не узнал меня в штатском, но вдруг крикнул от изумления и бросился меня обнимать, восклицая: «Вот он! вот он!»

Помещение, занимаемое Тургеневым, если не принимать в расчет формы потолка и двух лишних этажей, в сущности, мало отличалось от моего: тот же небольшой салон с камином и часами перед зеркалом и маленькая спальня.

Пока мы разговаривали, вошел высокого роста худощавый с проседью брюнет. Тургенев познакомил нас, назвавши мне господина Делаво. Оказалось, что г. Делаво прожил несколько лет в России, где познакомился с русской литературой и с литературным кружком раньше моего с последним знакомства. Так, знал он Панаевых, Не-

красова, Гончарова, Боткина, Тургенева и даже меня по имени. В настоящее время он в Париже занимался переводами с русского языка и, как сказывал мне Тургенев, должен был перебиваться весьма затруднительно в денежном отношении <...>

Однажды мы с Тургеневым сидели в первом ряду кресел театра Vaudeville на представлении «La dame aux camélias» *. Последнюю ломала перед нами старая и чахоточная актриса, имени которой не упомню. Тургенев сообщил мне шепотом, что покрывающие ее бриллианты — русские. При ее лживых завываниях Тургенев восклицал: «Боже! Что бы сказал Шекспир, глядя на все эти штуки!» А когда она бесконечно завыла перед смертью, я услыхал русский шепот: «Да ну, издыхай скорей!» Между тем дамы в ложах зажимали платками глаза. При таком несообразном зрелище я не выдержал и, припав головою к рампе, затрясся неудержимым смехом. Это не мешало Тургеневу давать мне шепотом знать, что многие недовольные взоры обращены на меня и что, если я буду продолжать смеяться, грозное «à la port!» ** не заставит ждать себя.

Покуда я осматривал парижские диковинки, Тургенев успел уехать, и я снова стал испытывать скуку, невзирая на любезную услугу Делаво.

Недели через две я получил от Тургенева письмо следующего содержания: «С последнего свидания нашего в Париже я поселился у добрых приятелей и почти ежедневно таскаюсь с хозяином дома на охоту, хотя куропаток в этот год весьма мало. Не знаю, когда буду в Париже. Если вам скучно, садитесь на железную дорогу, взяв предварительно билет в дилижанс, отходящий в Rosoy en Brie, куда к вам навстречу вышлют экипаж из Куртавнеля, имения г. Виардо. По крайней мере, получите понятие о французской деревенской жизни».

«В самом деле, — подумал я, — отчего же не проехаться и не взглянуть?» И вслед затем написал, что в будущий понедельник выеду. В понедельник, набрав небольшую лукошку персиков и фонтенеблырского винограда, до которого Тургенев был большой охотник, я рано утром отправился на железную дорогу <...>

Позвонив и не замечая никакого движения ни перед

* «Дама с камелиями» (*фр.*).
** «вон!» (*фр.*)

фасадом дома, ни по дорожкам, ведущим вокруг цветочных клумб и деревьев к воротам, я стал рассматривать мое будущее пристанище. Пепельно-серый дом или, вернее, замок с большими окнами, старой, местами мхом поросшей кровлей, глядел на меня из-за каштанов и тополей с тем сурово-насмешливым выражением старика, свойственным всем зданиям, на которых не сгладилась средневековая ф и з и о н о м и я, — с выражением, явно говорящим: «Э, вы, молодежь! Вам бы все покрасивее да полегче; а по-нашему попрочнее да потеплее. У вас стенки в два кирпичика, а у нас в два аршина. Посмотрите, какими широкими канавами мы себя окапываем; коли ты из наших, опустим подъемный мост, и милости просим, а то походи около каменного рва да с тем и ступай. Ведь теперь у вас, говорят, просвещение да земская полиция не дают воли лихому человеку. А кто вас знает, оно всетаки лучше, как в канаве-то вода не переводится».

Кроме цветов, пестревших по клумбам вдоль фасада, под окнами выставлены из оранжерей цветы и деревья стран более благосклонных. Насмотревшись на эспланаду, на каменный ров, в зеленую воду которого ветерок ронял беспрестанно листы тополей и акаций, позлащенные дыханием осени, на самый фасад замка, я позвонил снова, и на этот раз навстречу мне вышел лакей.

— Дома господин Виардо?

— Нет.

— А Тургенев?

— Тоже нет.

— Где же они?

— На охоте.

— Когда же они вернутся?

— Теперь час; они непременно должны быть к обеду, то есть к шести часам.

— Ну, а мадам Виардо дома?

— Мадам дома, только она еще не выходила. Вы желаете видеть господина Тургенева? Позвольте, я снесу пока ваши вещи в его комнату. Пожалуйте!

По каменным ступеням низенькой лестницы главного входа мы вошли в высокий, светлый коридор, выходивший в приемную комнату. Здесь встретила меня женщина средних лет, но кто она — хозяйка ли дома, родственница или знакомая хозяев? — я не имел ни малейшего понятия. Отрекомендовавшись, я намекнул на желание видеть Тургенева.

— Не угодно ли пожаловать в гостиную, пока вам приготовят комнату? Сестра еще не выходила, а брат и Тургенев на охоте.

Ну, слава богу! По крайней мере, знаю, с кем говорю. В высокой и просторной, во всю глубину дома проходящей угольной гостиной в два света, стол посредине, против камина — круглый стол, обставленный диванчиками, кушетками и креслами. В окна, противоположные главному фасаду, смотрели клены, каштаны и тополи парка. В простенке тех же окон стоял рояль, а у стены, противоположной камину, на диване, перед которым была разложена медвежья шкура, сидели молодые девушки, вероятно, дети хозяев. Я поместился на кушетке у круглого стола и завязал один из спасительных разговоров, в продолжение которых мучит одна забота: как бы его хилой нитки хватило на возможно долгое время.

— Теперь ваша комната готова, — сказала дама, взглянув на вошедшего слугу, — и если вам угодно отдохнуть или устроиться с дороги, делайте, как найдете удобным.

Я поклонился и пошел за слугою по знакомому коридору. Поднявшись по широкой лестнице во второй этаж, мы снова очутились в длинном коридоре с дверями направо и налево. В конце, направо у двери, лакей остановился и отворил ее.

— Вот ваша комната. Не прикажете ли горячей воды? Мадам приказала спросить, не угодно ли вам завтракать. Здесь завтракают в двенадцать часов, время прошло, а до обеда еще четыре часа.

Я отказался, и лакей вышел. Взятую с собой на всякий случай книгу читать не хотелось; дай хоть рассмотрю, где я. В окно виднелся тот же парк, который я мельком заметил из гостиной. Внизу, у самой стены, светился глубокий каменный ров, огибающий весь замок. Легкие, очевидно в позднейшее время через него переброшенные, мостики вели под своды дерев парка. Тишина, не возмущаемая ничем. Я закурил сигару и отворил окно, — все та же мертвая тишина. Лягушки тихо двигались в канаве по пригретой солнцем зеленой поверхности стоячей воды. С полей, прилегающих к замку, осень давно разогнала всех рабочих. Ни звука.

— Мадам приглашает вас в гостиную, если вам угодно, — проговорил лакей, не прося позволения войти в комнату.

«Слава богу! Наконец-то!» — подумал я и пошел.

В гостиной, кроме знакомых уже лиц, я заметил женщину, присевшую у камина и передвигавшую бронзовую решетку. При шуме моих шагов она обернулась, встала, и по свободной грации и той любезно-приветливой улыбке, которою образованные женщины умеют встречать гостя, не было сомнения, что передо мной хозяйка дома. Я извинился в хлопотах, причиненных моим приездом, на который Тургенев, без сомнения, испросил позволение хозяйки.

— Очень рада случаю с вами познакомиться, но Тургенев, по обычной рассеянности, не сказал ни слова, и вот почему вы должны были ожидать, пока приготовят вашу комнату. Но теперь все улажено, садитесь, пожалуйста.

Завязался разговор, и в десять минут хозяйка вполне успела хоть на время изгладить из памяти миниатюрную одиссею этого дня.

— Теперь обычное время наших прогулок. Не хотите ли пойти с нами?

День был прекрасный. Острые вершины тополей дремали в пригревающих лучах сентябрьского солнца, падалица пестрела вокруг толстых стволов яблонь, образующих старую аллею проселка, которою замок соединен с шоссе. Из-под скошенного жнивья начинал, зеленея, выступать пушистый клевер; невдалеке, в лощине около канавы, усаженной вербами, паслись мериносы; на пригорке два плуга, запряженные парами дюжих и сытых лошадей, медленно двигались друг за другом, оставляя за собою свежие, темно-бурые полосы. Когда мы обошли по полям и небольшим лескам вокруг замка, солнце уже совершенно опустилось к вершинам леса, разордевшись тем ярким осенним румянцем, которым горит лицо умирающего в чахотке.

— Как вам нравится здешняя природа? — спросила меня хозяйка.

— Природа везде хороша.

— Вы снисходительнее других к нашим местам. Мадам Дюдеван, гостя у меня, постоянно находила, что здесь почти жить *нельзя*, — так пустынны наши окрестности.

Версты за полторы раздались выстрелы.

— А! Это наши охотники возвращаются. Пойдемте домой через сад, тогда вы будете иметь полное понятие о здешнем хозяйстве.

Мы подошли к лощинке, около которой паслись стада

мериносов. «Babette! Babette!» — закричала одна из девочек, шедших с англичанкой. На голос малютки из стада выбежала белая коза и доверчиво подошла к своей пятилетней госпоже. Около оранжерей вся дамская компания рассеялась вдоль шпалер искать спелых персиков к обеду. Опять раздались выстрелы, но на этот раз ближе к дому. Уверенный, что Тургенев забыл о своем приглашении и, во всяком случае, не ожидает моего приезда, я предложил дамам не говорить обо мне ни слова, предоставляя ему самому найти меня у себя в кабинете. Заговор составился, и, как только завидели охотников, я отправился в комнату Тургенева. Но судьба отметила этот день строгою чертою неудач. Кто-то из прислуги, не участвовавший в заговоре, объявил о моем приезде, и Тургенев встретил меня вопросом:

— Разве вы не получали моего письма?

— Какого письма?

— Я писал, что хозяева ожидают на несколько дней приезжих дам, и в доме все лишние комнаты будут заняты. Поэтому я советовал вам приехать дней через десять.

Итак, опять неудача. Уехать сейчас же неловко, сидеть долго тоже неловко. Я решился уехать, пробыв еще день. Раздался звонок к обеду, и все общество, довольно многочисленное, собралось в угольной зале, в противоположном от гостиной конце дома. Желая сколько-нибудь оправдать в глазах хозяина свой приезд, я громко спросил:

— Тургенев! неужели вы ни словом не предупредили хозяйку о моем приезде?

На это мадам Виардо шутя воскликнула:

— О, он дикарь! (Ce sont de ses tours de sauvage!)

На что Тургенев стал трепать меня по плечу, приговаривая:

— Он добрый малый!

Разговор переходил от ежедневных событий собственно семейного круга к вопросам общим: политическим и литературным. Зашла речь о последних стихотворениях Гюго, и хозяин, в подтверждение своих слов касательно силы, которую поэт проявил в некоторых новых пьесах, прочел на память несколько стихов. Из-за стола все отправились в гостиную. Приехал домашний доктор, составился вист, хозяйка села за рояль, и долго чудные звуки Моцарта и Бетховена раздавались в комнате.

Так прошел день. На другой почти то же самое; сле-

дует только прибавить утренние партии на биллиарде, а к вечеру, кроме музыки и виста, серебряные голоски девиц, прочитывающих вслух роли из Мольера, приготовляемого к домашнему театру.

С особенною улыбкою удовольствия Тургенев вслушивался в чтение пятнадцатилетней девушки, с которою он тотчас же познакомил меня как с своей дочерью Полиною. Действительно, она весьма мило читала стихи Мольера; но зато, будучи молодым Иваном Сергеевичем в юбке, не могла предъявлять ни малейшей претензии на миловидность.

— Полина! — спросил Тургенев девушку. — Неужели ты ни слова русского не помнишь? Ну как по-русски «вода»?

— Не помню.

— А «хлеб»?

— Не знаю.

— Это удивительно! — восклицал Тургенев,

Во взаимных отношениях совершенно седого Виардо и сильно поседевшего Тургенева, несмотря на их дружбу, ясно выражалась приветливость полноправного хозяина, с одной стороны, и благовоспитанная угодливость гостя, с другой. Спальня Тургенева помещалась за биллиардной; и, как я узнал впоследствии, запертая дверь из нее выходила в гостиную. Конечно, я только спал в отведенной мне во втором этаже комнате, стараясь по возможности бежать к Тургеневу и воспользоваться его беседою на чужой стороне.

На другое утро, когда я спозаранку забрался в комнату Тургенева, у нас завязалась самая оживленная беседа, мало-помалу перешедшая в громогласный спор.

— Заметили ли вы, — спросил Тургенев, — что дочь моя, русская по происхождению, до того превратилась во француженку, что не помнит даже слова «хлеб», хотя она вывезена во Францию уже семи лет.

Когда я, в свою очередь, изумился, нашедши русскую девушку в центре Франции, Тургенев воскликнул:

— Так вы ничего не знаете, и я должен вам все это рассказать! Начать с того, что вот этот Куртавнель, в котором мы с вами в настоящую минуту беседуем, есть, говоря цветистым слогом, колыбель моей литературной известности. Здесь, не имея средств жить в Париже, я, с разрешения любезных хозяев, провел зиму в одиночестве, питаясь супом из полукурицы с яичницей, приготовляе-

мых мне старухой ключницей. Здесь, желая добыть денег, я написал большую часть своих «Записок охотника»;[26] и сюда же, как вы видели, попала моя дочь из Спасского. Когда-то, во время моего студенчества, приехав на вакан-цию к матери, я сблизился с крепостною ее прачкою. Но лет через семь, вернувшись в Спасское, я узнал следую-щее: у прачки была девочка, которую вся дворня злорадно называла барышней, и кучера преднамеренно застав-ляли ее таскать непосильные ей ведра с водою. По приказанию моей матери, девочку одевали на минуту в чистое платье и приводили в гостиную, а покойная мать моя спрашивала: «Скажите, на кого эта девочка похожа?» Полагаю, что вы сами убедились вчера в легкости ответа на подобный вопрос. Все это заставило меня призадуматься касательно будущей судьбы девочки; а так как я ничего важного в жизни не предпринимаю без совета мадам Виардо, то и изложил этой женщине все дело, ничего не скрывая. Справедливо указывая на то, что в России никакое образование не в силах вывести девушек из фальшивого положения, мадам Виардо предложила мне поместить девочку к ней в дом, где она будет воспитываться вместе с ее детьми[27]. И не в одном этом *отношении*, — прибавил Тургенев, *воодушевляясь*, — я подчинен воле этой женщины. Нет! она давно и навсегда заслонила от меня все остальное, и так мне и надо <...>

Мало-помалу разговор наш от частностей перешел к общему. Оказалось, что мы оба инстинктивно находились под могучим влиянием Кольцова. Меня всегда подкупало поэтическое буйство, в котором у Кольцова недостатка нет, и я тогда еще не успел рассмотреть, что Кольцов, говоря от имени крестьянства, говорит псевдокрестьянским языком, непонятным для простонародья, чем и объясняется его непопулярность. Ни один крестьянин не скажет:

Родись терпеливым
И на все готовым[28].

Тем не менее, невзирая на несоответствие формы содержанию, в нем так много специально русского воодушевления и задора, что последний одолевал и такого западника, каким стал Тургенев под влиянием мадам Виардо. Помню, с каким воодушевлением он повторял за мною:

И чтоб с горем в пиру
Быть с веселым лицом,
На погибель идти —
Песни петь соловьем[29].

Хотя мне до сих пор кажется, что такие качества менее всего у нас с Тургеневым в характере. Как бы то ни было, я вынужден не только рассказать о вечных наших с Тургеневым разногласиях, но и объяснять их источник, насколько я их в настоящее время понимаю. Ожесточенные споры наши, не раз воспроизведенные под другими именами в рассказах Тургенева, оставляли в душе его до того постоянный след, что, привезши мне в 1864 году из Баден-Бадена стихотворения Мёрике, он на первом листе написал: «Врагу моему А. А. Фету на память пребывания в Петербурге в январе 1864 г.»[30] <...>

Не странно ли, что споры, которым мы с Тургеневым за тридцать пять лет безотчетно предавались с таким ожесточением, нимало не потерявши своей едкости, продолжаются между славянофилами и западниками по сей день, невзирая на многократные их обсуждения с разных сторон и указания наглядного опыта? <...>

Впоследствии мы узнали, что дамы в Куртавнеле, поневоле слыша наш оглушительный гам на непонятном и гортанном языке, наперерыв восклицали: «Боже мой! они убьют друг друга!» И когда Тургенев, воздевши руки и внезапно воскликнув: «Батюшка! Христа ради, не говорите этого!» — повалился мне в ноги, и вдруг наступило взаимное молчание, дамы воскликнули: «Вот они убили друг друга!» <...>

На третий день я объявил желание возвратиться в Париж.

ИЗ ГЛАВЫ VII

На этот раз мы оставались в Париже недолго[31]. Зима гнала нас и от французских каминов, как прогнала от итальянских. Тургенева в его rue de l'Arcade я застал в нескольких шинелях за письменным столом. Не понимаю, как возможна умственная работа в таких доспехах! Узнав от него о прибытии семейства Виардо на зиму в Париж, я отправился к ним с визитом в собственный их дом rue de Douai, 50. Надо отдать полную справедливость мадам Виардо по отношению к естественной простоте, с которою она умела придавать интерес самому будничному разговору, очевидно тая в своем распоряжении огромный арсенал начитанности и вкуса.

Прочитавши объявление о концерте, в котором, кроме квартета, было несколько номеров пения мадам Виардо,

мы с сестрою отправились в концерт. Не могу в настоящее время сказать, какого рода была концертная зала, но, без сомнения, она принадлежала учебному заведению, так как публика занимала скамейки с пюпитрами, восходившими амфитеатром. Мы с сестрою сидели впереди скамеек на стульях у самого концертного рояля. Во все время пения Виардо Тургенев, сидящий на передней скамье, склонялся лицом на ладони с переплетенными пальцами. Виардо пела какие-то английские молитвы и вообще пиесы, мало на меня действовавшие как на немузыканта. Афиши у меня в руках не было, и я проскучал за непо--ятными квартетами и непонятным пением, которыми видимо упивался Тургенев. Но вдруг совершенно для меня неожиданно мадам Виардо подошла к роялю и с безукоризненно чистым выговором запела: «Соловей мой, соловей». Окружающие нас французы громко аплодировали, что же касается до меня, то это неожиданное мастерское, русское пение возбудило во мне такой восторг, что я вынужден был сдерживаться от какой-либо безумной выходки <...>

Имея перед собою целые сутки, я решился попробовать счастья, отыскивая Тургенева в rue de l'Arcade. На мой боязливый вопрос привратник отвечал: «Господина Тургенева нет дома».

— Где же он? — спросил я тоскливо.

— Он отправился в кофейню пить кофе.

— В какую кофейню?

— Он постоянно ходит в одну и ту же.

Привратник дал мне адрес кофейной. Вхожу, не замечая никого из посетителей, и во второй комнате вижу за столом густоволосую седую голову, заслоненную большим листом газеты.

— Pardon, monsieur, — говорю я, подходя.

— Боже мой, кого я вижу! — восклицает Тургенев и бросается обнимать меня.

Мы отправились к нему в rue de l'Arcade и сговорились в этот день вместе отобедать.

— Вот, — говорил Тургенев, — обыкновенно поэтов считают сумасшедшими; а в конце концов посмотришь на их действия, и дело выходит не так безумно, как надо бы ожидать.

В голове моей промелькнуло, что никто лучше самого

Тургенева не оправдывает мнения о сумасшествии поэтов. Но в данную минуту мне было вовсе не до сарказмов

Как-то в полуденное время И. А. Гончаров <...> пригласил Тургенева, Боткина и меня на чтение своего только что оконченного «Обломова»[32]. В жаркий день в небольшой комнате стало нестерпимо душно, и продолжительное, хотя и прекрасное чтение наводило на меня неотразимую дремоту. По временам, готовый окончательно заснуть, я со страхом подымал глаза на Боткина и встречал раздраженный взгляд его, исполненный беспощадной укоризны. Но через десять минут сон снова заволакивал меня своею пеленою. И так до самого конца чтения, из которого я, конечно, не унес никакого представления.

Начались заботы о приданом и приготовления к назначенному дню свадьбы[33] <...>

Шаферами у невесты <Марии Петровны Боткиной> были ее братья, а у меня И. С. Тургенев.

Шестнадцатого августа в четыре часа карета, запряженная парою прекрасных серых лошадей, с лакеем и кучером в одинаковых ливреях, явилась к нашему подъезду. А я, не желая тратить денег на ненужный мне фрак, оделся в полную уланскую форму и отправился в церковь с Тургеневым.

«Итак, — подумал я, становясь на ковер, — вот он Рубикон, за которым начинается новый, неведомый поворот жизненного течения». Никогда не испытывал я подобного страха, как в этот миг, и с озлоблением смотрел на Тургенева, который неудержимо хохотал, надевая на меня венец из искусственных цветов, так странно противоречивших военной форме. За обычными поздравлениями новобрачная пошла прикладываться к местным иконам, а свидетели стали расписываться в церковной книге.

Можно было предполагать, что два известных литератора не напишут в метрической книге вздору. Такое предположение не оправдалось в 1880 году, когда, с переселением в Курскую губернию, мне пришлось записаться в Курскую дворянскую книгу[34]. Потребовали метрическое свидетельство о браке, не удовлетворяясь почему-то указом об отставке, в котором сказано: «Женат на девице Боткиной». Пришлось списываться со священником парижской посольской церкви, который немедля ответил, что в книге записано: «С дочерью Петра Кононова» и опущено последнее слово: «Боткина». В архиве петер-

бургской консистории, конечно, стояло то же самое, и нужно было, чтобы все оставшиеся в живых братья Боткины подали заявление, что сестра их действительно повенчана со мною в 1857 году и что фамилия «Боткина» опущена по недосмотру свидетелей.

Прямо из церкви мы со всеми приглашенными отправились к Филиппу, где в двух комнатах, роскошно уставленных цветами, нас ожидал свадебный обед на двенадцать человек. Тонкий и великолепно поданный обед прошел оживленно и весело. Прекрасного вина, в том числе и шампанского, было много, и под конец обеда Тургенев громко воскликнул: «Я так пьян, что сейчас сяду на пол и буду плакать!» <...>

Вот пришлось и нам думать о возвращении в Москву.

ИЗ ГЛАВЫ IX

Настоящее лето было, можно сказать, самым удачным в Новоселках.

<...> Однажды, когда мы только что вернулись от реки, до которой доходили по березовой аллее, у крыльца раздался грохот подъехавшего экипажа.

— Кого это бог дает? — сказал Ив. Петрович.

Полюбопытствовал и я — и увидал вылезшую из тарантаса плечистую, рослую фигуру в серой широкополой шляпе.

— Вон он! Вон он! — воскликнул Тургенев, с лицом совершенно почерневшим от пыли. — Вот они где! — восклицал он, когда мы все четверо вышли к нему навстречу на крыльцо.

— Идите вон на то крыльцо, в уборную Ивана Петровича умыться и почиститься от пыли.

Через полчаса Тургенев сидел уже в гостиной и говорил о совершенном переустройстве своей жизни в Спасском[35] со времени последнего моего там появления. Он сам в первый раз приехал в Новоселки и познакомился с Ив. Петровичем, с женою которого был уже давно знаком. Он говорил, что во главе всего его хозяйства стоит теперь 65-летний дядя его Николай Николаевич, кавалергардский корнет 1814 года[36], проживающий в настоящее время в Спасском с молодою женою и свояченицей. Он рассказывал, как дядя его, человек старого покроя, никак не мог в прошлом году помириться с шутовскими проделками Дружинина, Боткина, Григоровича, Колбасина и само-

го Ивана Сергеевича, сочинивших и поставивших на домашнюю сцену смехотворную пиесу, оканчивающуюся смертью всех действующих лиц, тут же падающих на пол[37].

— Мы сами слышали, — говорил Ив. Серг., — как дядя, шагая под окнами залы вдоль крытой галереи, невольно восклицал: «Оголтелые! оголтелые!»

Передавая мне поклон от мадам Виардо, Тургенев сообщил, что она положила несколько моих стихотворений на музыку, которую прелестно поет, правильно выговаривая русские слова, и говорит про меня: «C'est mon poète» *[38].

Неистощим он был в повествованиях о сожительстве и встречах с В. Боткиным. «Так, — между прочим рассказывал Тургенев, — сошлись мы с ним за обедом в большом берлинском отеле. Заговоривши с сидевшим против меня гостем, я упомянул о необычайном приросте городского населения и заметил, что давно ли мы учили по географии, что в Берлине 400 000 жителей, а вот их уже 700 т.

— Это несколько преувеличено, — сказал мой собеседник, — так как их всего неполных шестьсот тысяч.

При этом возражавший ссылался на то, что ему, как здешнему жителю, это должно быть хорошо известно.

Я не уступал, и завязалось пари на два золотых, которое немец взялся немедля разрешить, сходивши в свой номер за гидом. Когда он вышел из-за стола, Боткин, сидевший рядом со мною, излил на меня всю желчь, вероятно, возбужденную в нем необычным эпизодом во время методического трапезования.

— Вот это чисто русское растрепанное многознайство! Вот так-то мы по всему свету развозим свое невежество! Мне стыдно подле тебя сидеть. Нашел с кем спорить! С туземцем! Я очень рад, что он тебя оштрафует за твое позорное русское хвастовство!

Я уткнулся носом в тарелку и замер под его беспощадными упреками. Вдруг чувствую руку на своем правом плече, и споривший со мною немец, шепнувши мне на ухо: «Извините, я проиграл», — положил около моей тарелки два наполеона.

— Кельнер, — сказал я, — бутылку шампанского!

Надо было видеть сладчайший мед, которым мгновен-

* Это мой поэт (*фр*).

но засияло лицо Боткина. «Молодец, молодец!» — воскликнул он, гладя меня по правому рукаву» <...>

В хорошие дни мы обедали на террасе. Так было и в этот раз; и хотя Надя с любопытством слушала интересные подробности о тургеневском путешествии, тем не менее сумела улучить минуту переговорить с поваром, для того чтобы обед вышел, по ее выражению, — «*с крыльями*». Она еще из Парижа помнила, что Тургенев умел отличать старательно приготовленный обед от безразличного.

После обеда, едва только Тургенев узнал в Борисове шахматного игрока, как они уже сцепились до самого вечернего чая, и Тургенев с удовольствием принял предложение переночевать в новом флигеле, где ему приготовили, по возможности, удобный ночлег.

На другой день он пришел к нам утром в дом пить чай и приказал запрягать своих лошадей.

— Ну, господа, — сказал он, обращаясь ко мне и к Борисову, — надеюсь, что вы, не считаясь визитами, приедете запросто к нам в Спасское. С вами я не первый год знаком, — обратился он к Наде, — и вы еще в Париже приучили меня к вашему любезному гостеприимству. Что же касается до вас, — сказал он жене моей, — то я ваш шафер <...>

Свидания наши с Тургеневым стали с этого дня весьма частыми. Несколько раз и дамы обменялись визитами, и даже сам старик Ник. Ник. приезжал с своими барынями в Новоселки, где, между прочим, застал Льва Ник. Толстого. Указываю на моменты, ярко сохранившиеся в моей памяти, но не в состоянии сказать, сколько раз Тургеневы и Толстые сходились с нами в Новоселках или в Спасском. Помню только, что свидания эти были задушевны и веселы <...>

Приближался июль месяц, около десятого числа которого молодые тетерева не только уже превосходно летают, но начинают выпускать перья, отличающие рябку от черныша. 8-го июля мы с женою приехали в Спасское, где все приготовления к охоте уже были окончены. На передней тройке за день до нашего отъезда отправлялся знаменитый Афанасий с поваренком, еще с другим охотником и с собаками, а на другой тройке в крытом тарантасе следовали мы с Тургеневым днем позднее. Направлялись мы в полесье Жиздринского уезда, Калужской губернии, через Болхов, до которого от Спасского верст пятьдесят. Не бывавший в этой стороне ни разу, я вполне под-

чинился распоряжениям Тургенева, ехавшего в знакомые ему места. Отправившись из Спасского около полудня, мы прибыли весьма рано на ночлег в Болхов, откуда передовая наша подвода уже выехала на дальнейшую станцию.

В отведенных нам комнатах с целыми восходящими рядами сияющих образов по углам Тургенева встретило препятствие, причинившее ему немало волнения: неразлучную его белую с желтоватыми ушами Бубульку ни за что не хотели впускать в комнату, так как она пес. Над необыкновенною привязанностью Тургенева к этой собаке в свое время достаточно издевался неумолимый Лев Толстой, но со стороны Тургенева такая нежность к Бубульке была извинительна. Когда собака была еще щенком, мадам Виардо, лаская ее, говорила: «Бубуль, бубуль». Это имя за нею и осталось. Со скорым, верным и в то же время осторожным поиском эта превосходная собака соединяла рассудок, граничащий с умозаключениями. Вот один образчик ее соображения, которого я был очевидцем. Привела она нас по чистому полю к оврагу, поросшему кустарником; вела она так осторожно и решительно, что нельзя было сомневаться, что перед нами большой выводок куропаток. Дело выходило крайне неудобное.

Взлетевшие в кустах куропатки непременно бросятся к самому дну оврага и, защищенные кустарником, незаметно пронесутся вдоль оврага, избегнув выстрела. Но делать было нечего: собака стояла как мраморная перед нами, обращая раздувающиеся ноздри к кустам. «Бубуль, але!» — вполголоса командовал Тургенев. Собака оставалась неподвижна. После нескольких тщетных понуканий собака бросилась, но только не в кусты, а по опушке далеко в обход и в порядочном расстоянии уже исчезла в кустах. «Что за притча?» — вполголоса говорил Тургенев. Я тоже ничего не мог понять. «Надо обождать», — шептал Тургенев. Но в ту же минуту большое стадо куропаток, как лопнувшая бомба, с треском и чиликаньем взлетело над нашими головами. Последовало четыре выстрела, и четыре убитых куропатки покатились в кусты.

— Ведь это плакать надо от умиления! — воскликнул Тургенев. — Умнейший человек не мог бы ничего лучшего придумать, как, спустившись на дно оврага, гнать куропаток на нас из густоты на чистое поле.

Бубулька всегда спала в спальне Тургенева, на тюфячке, покрытая от мух и холода фланелевым одеялом. И когда по какому-либо случаю одеяло с нее сползало,

она шла и бесцеремонно толкала лапой Тургенева. «Вишь ты, какая избалованная собака», — говорил он, вставая и накрывая ее снова.

С большим трудом удалось нам убедить толстую хозяйку с огненного цвета волосами, выбивающимися из-под шелковой повязки, что Бубулька представляет исключение из всех собак и что поэтому несправедливо считать ее псом. «Пес лает и неопрятен, а она никогда».

На другой день, покормив в дороге, мы к вечеру отправились по заблаговременному плану Тургенева ночевать в усадьбу знакомых ему помещиков Онухтиных.

Когда мы въехали в лесную область, направляясь к северо-западу, сзади нас, то есть с юго-востока, стал подувать ветер, и на горизонте показалась темная туча. «Пошел!» — кричал Тургенев, в то время как ветер, усиливаясь, уносил из-под нас целую тучу пыли. «Ох, захватит нас гроза! — восклицал Тургенев. — Давайте, батюшка, остановимся да подымем верх у тарантаса».

— Да как по-вашему, — спрашивал я, — далеко ли до ваших Онухтиных?

— Да, пожалуй, верст пятнадцать еще будет, и я вам говорю, мы попадем под самую страшную грозу.

Действительно, вечер начинал все хмуриться, так как только полнеба перед нами еще было чисто и сине, а полнеба за нами представляло сплошной черный зонт, все далее над нами надвигавшийся. Мы даже пустили пристяжных вскачь, стараясь уехать от грозы, так пугавшей Тургенева. Но ничто не помогало. Черный зонт окончательно закрыл небосклон, засверкала почти непрерывная молния, освещавшая нам дорогу, раздались раскаты грома, и полился крупный дождик, скоро превративший пыльную дорогу в липкую грязь, прорезаемую бегущими ручьями. Пришлось поневоле ехать шагом. Так довелось ехать под непрерывным дождем и грозою часа два, показавшиеся нам вечностью.

Наконец, при блеске молнии, влево от дороги показался огонек, подавший нам надежду добраться до ночлега. «Тут влево ворота, — говорил Тургенев кучеру, — не зацепи и подъезжай к крыльцу».

Когда вышедший из тарантаса на крыльцо барского дома Тургенев сказал встретившему нас слуге свою фамилию и спросил молодого барина, слуга пояснил, что молодой барин у соседей в гостях, но что он сейчас доложит старым господам.

Любезные хозяева тотчас же предложили нам оправиться с дороги в мезонине, в комнатах их отсутствующего сына, которому послали дать знать о нашем приезде, невзирая на страшную темень и продолжающийся ливень.

Когда мы оправились с дороги и Тургенев около дивана уложил свою Бубульку, он сказал, что нам следует испросить позволения хозяев явиться к ним вниз и извиниться в нежданном приезде. Хозяин оказался человеком среднего роста, с сильною проседью, типом помещика средней руки, желавшим и умевшим держать хозяйство и дом на подобающей высоте. Предупредительности и любезности хозяйки не было конца. Иван Сергеевич стал расспрашивать их об их сыне, воспитывавшемся в школе правоведения и нередко посещавшем Тургенева в Петербурге. Так как молодой Онухтин был в гостях в самом близком соседстве, то не успели мы кончить чая, как он появился в гостиной и, поздоровавшись с Тургеневым, объявил мне, что давно знаком со мною по литературе. Тургенев, как это нередко случалось, был в духе и очень любезен; посмотрев тихонько на часы, я заметил, что уже одиннадцатый час. Догадался и Тургенев, что нам пора освободить любезных хозяев, и мы было поднялись прощаться, но хозяйка объявила, что без ужина никак невозможно. Мы все отправились в столовую, где поместились: Тургенев по левую, а я по правую руку хозяйки. Здесь совершенно так же, как у нас при отце в Новоселках, нас ожидал тот же обеденный стол в пять блюд, начиная с супа. Проголодавшись за дорогу, я не заставлял себя просить, но Тургенев, весьма редко ужинавший, брал кушанья более для вида. В конце ужина появилось освещенное из середины желе. С меня начали обносить блюдо, и я тотчас же увидал, что доморощенный Ватель произвел освещение своего прозрачного Колизея посредством мужского наперстка, прилепленного желтком к середине блюда, со вставленным восковым огарком. Измерив глазами всю опасность предстоящей задачи, я запустил ложку с толстого наружного основания желейного венца и торжественно положил свою добычу на тарелку. Затем слуга, обойдя хозяйку, поднес блюдо Тургеневу, за манипуляциями которого я стал смотреть во все глаза. Этот простодушно-неосторожный человек, не боясь, вероятно, обременить желудок желеем, смело рассек ложкою венец и положил себе порядочный кусок на тарелку. Но в тот же миг концы, подходящие к бреши, дрожа, повалились на

огарок, затрещавший и пустивший струйку копоти. При этом Тургенев так жалобно посмотрел на меня, что только при помощи энергических усилий я воздержался от душившего меня смеха. Молодой Онухтин проводил нас в свои комнаты и долго еще расточал нам свои любезности.

— А вы, батюшка, — сказал Тургенев, обращаясь ко мне после ухода молодого хозяина, — целый вечер без галстука.

Оказалось, что, меняя белье, я второпях забыл надеть галстук.

После сладкого отдыха нам прислали наверх чаю и кофею, и мы собирались уже поблагодарить хозяев и отправиться в дальний путь, но молодой хозяин объявил, что «мамаша и слышать не хочет о том, чтобы мы уехали без завтрака». Делать нечего; приходилось скрепя сердце ждать. Должно быть, ввиду нашего нетерпения поторопились с завтраком, и в 11 час. мы сошли в гостиную к круглому столу перед диваном, покрытому всевозможными яствами, начиная с превосходных пикулей и грибков до жареной печенки в сметане, молодого рассыпчатого картофеля и большого блюда с телячьими котлетами, плавающими в сочном бульоне. В те времена я редко отказывался от съестного. Когда я добирался до котлет, в комнату вошел слуга с раскупоренной бутылкой редерера и стал наливать бокалы.

— Господа, пью за ваше здоровье и благодарю за доставленное мне удовольствие вашим посещением, — сказала хозяйка, подымая бокал. Стоящий тут же у стола семи- или восьмилетний мальчик в туго накрахмаленной, колокольчиком торчащей рубашке тоже высоко поднял свой бокал и воскликнул:

— Иван Сергеевич, честь имею вас поздравить.

Я видел, как родительница дернула его сзади за торчащую рубашечку, и, сообразив, что попал не туда, мальчик на некоторое время остался с поднятым бокалом, в виде неуместного знака восклицания.

Колокольчик нашей коренной побрякивал уже у крыльца.

— Позвольте вас поблагодарить, — заговорили мы.

— Ах, нет, нет! — возразила хозяйка. — Надо прежде уложить с вами закуску.

— Ради бога, этого не делайте, — говорили мы с Тургеневым в один голос, в то время как лакей убирал кушанье.

— Нет, нет! Это одна минута.

Твердо уверенные, что доводы наши одержали верх, мы, простясь с любезными хозяевами, пустились в путь.

— Господи! — восклицал Тургенев, когда тарантас наш покатил по песчаной дороге, закрепленной вчерашним дождем. — Чего только не делает наше русское гостеприимство! Ну мыслимо ли, чтобы в нормальном состоянии я, с моим вечным страхом перед холерой, пил в одиннадцать часов утра шампанское? — И все это Тургенев восклицал таким тоном, как будто все это гибельное для его желудка русское гостеприимство не только находило себе усердную защиту в моем старообрядстве, но даже как бы исходило из меня.

Хотел было уже я для сравнения с нашими обильными яствами сопоставить скудное убожество немецкой, французской и итальянской кухни с ее прозрачными листиками ветчины, но в это время тарантас наш стал так круто спускаться в долинку, за которой начинался красный лес, что было не до споров, а нужно было упираться ногами, чтобы не скатиться с своего места. Упираться приходилось в довольно обширный сундучок в кожаном чехле. Без этого сундучка, содержавшего домашнюю аптеку, Тургенев никуда не выезжал, видя в нем талисман от холеры. Толкаемый на корявом спуске Тургеневым и толкая его, в свою очередь, вдруг слышу пронзительный его фальцет:

— Боже мой! что же тут такое?

Тогда только, откинув совершенно фартук и взглянув себе под ноги, я увидал следующее зрелище: услужливый и сообразительный слуга, получивший на чаек, завязал все блюдо с котлетами в салфетку и поставил на аптечку. При утраченном тарантасом равновесии вся обильная подливка сквозь салфетку облила драгоценный ящик.

— Стой! Стой! Стой! — кричал Тургенев кучеру, спустившемуся уже в долинку. Развязавши узлы пропитанной жиром салфетки, я увидал на блюде сбившиеся в кучку котлеты. Хотя от смеха я едва владел руками, тем не менее воспользовался кусочком газет, которыми Тургенев стал усердно вытирать драгоценную аптеку, и, прикрывши этой бумажкой свое левое колено, прижал на нем пальцами котлеты и держал их на весу до тех пор, пока Тургенев, вылезши из тарантаса, не стал, согнувшись, таскать сначала блюдо, а затем салфетку по обильной росе, промывая таким образом то и другое. Во время всей этой, весьма искусно им выполняемой, операции, при которой

ему приходилось сильно изгибаться, он не переставал кряхтеть и повторять одну и ту же фразу: «Господи! проклятое русское гостеприимство!»

Наконец блюдо и салфетка были по возможности вымыты; я положил и завязал спасенные мною котлеты, и мы тронулись в путь. К вечеру мы приехали в окруженное лесами селение Щигровку, где остановились во дворе давно знакомого Тургеневу охотника. Помещение, невзирая на местную дешевизну строевого леса, было самое зауряднoе в крестьянском быту и состояло из довольно просторной избы направо и так называемой чистой горницы налево, которую хозяева уступили нам. Не помню даже, была ли эта горница с мощеным полом или с земляным, наподобие избы, находящейся через сени. Рассматривая от скуки, по моему обыкновению, лубочные картины и стены, я нашел на правой дверной притолоке в нашей горнице четко написанное хорошо знакомым мне почерком: «Тургенев». Если эта изба цела, то я уверен, что и эта ясная надпись карандашом сохранилась.

Хозяин Григорий и брат его Иван, конечно, оба превосходно знали окрестное полесье и попеременно служили нам проводниками — иногда единовременно оба, разводя нас группами в разные стороны. Конечно, Тургенев еще с вечера сделал все распоряжения, и я заранее объявил, что, стараясь ни в каком случае не мешать Тургеневу, буду тем не менее держаться того же вожака, что и он.

Когда Тургенев объяснял строгому своему Афанасию, смотревшему на ружейную охоту как на дело далеко не ш у т о ч н о е, — что Григорий и Иван оба обещают много тетеревиных выводков, Афанасий скептически повторял свою обычную фразу: «Не верьте вы мужику! Ну что мужик понимает!»

На другое утро часов в пять, напившись чаю и кофею и сунувши в я г д а ш и съестного и, между прочим, спасенные мною котлетки, мы на двух тройках отправились по указанию наших вожаков по лесным дорожкам и перелескам.

— Стой! — крикнул наконец нашему кучеру Григорий, и мы с Тургеневым вылезли из тарантаса, забирая тщательно приготовленные ружья и снаряды, и пустились за Григорием в кусты, разбросанные по заросшим травою так называемым *гарям* (прежним лесным пожарищам). Расходясь в разные стороны, мы должны были, чтобы окончательно не потерять проводника, от времени до вре-

мени кричать ему: «Гоп, гоп!» — не слишком отдаляясь от его отклика. С Непиром моим, пересланным мне в Москву любезным Громекою с Волховской станции, мне не удавалось до сих пор охотиться в течение двух лет, и я боялся, зная горячность собаки, помешать Тургеневу. Несмотря на мои свистки, Непир носился как угорелый. Но вот на большом кругу он вдруг остановился и замер. Конечно, я не заставил себя ждать и прямо пошел к остановившейся собаке. Вдоволь нагладившись по его блестящей черной спине, я, приготовивши ружье, стал подвигаться по направлению его носа, и вдруг с шумным хлопаньем из росной травы поднялся черныш. Грянул мой первый выстрел, и черныш покатился в траву. Конечно, я был в восторге от своего почина.

Не берусь день за день и удар за ударом описывать наших более или менее удачных полеваний, ограничиваясь воспоминаниями о моментах более мне памятных.

В то время еще не было в употреблении ружей, заряжающихся с казенной части, и Тургенев, конечно, был прав, пользуясь патронташем с набитыми заранее патронами, тогда как я заряжал свое ружье из пороховницы с меркою и мешка дробовика, называемого у немцев Shorot-Beutel, причем заряды приходилось забивать или нарубленными из шляпы кружками, или просто войлоком, припасенным в ягдташе. У меня не было, как у Тургенева, с собою охотников, заранее изготовляющих патроны; а когда при отъезде на охоту необходимо запасаться, сверх переменного белья, всеми ружейными принадлежностями, то отыскивать что-либо в небольшом мешке весьма хлопотливо и неудобно, и Борисов очень метко обозвал это занятие словами: «тыкаться зусенцами». Конечно, такое заряжение шло медленнее, и когда Тургеневу приходилось поджидать меня, он всегда обзывал мои снаряды «сатанинскими». Помню однажды, как собака его подняла выводок тетеревей, по которому он дал два промаха и который затем налетел на меня. Два моих выстрела были также неудачны навстречу летящему выводку, который расселся по низкому можжевельнику, между Тургеневым и мною. Что могло быть удачнее такой неудачи? Можно ли было выдумать что-либо великолепнее предстоящего поля? Стоило только поодиночке выбирать рассеявшихся тетеревей. Тургенев поспешно зарядил свое ружье, подозвав к ногам Бубульку, и кричал издали мне, торопливо заряжавшему ружье: «Опять эти сатанинские снаряды! Да не

отпускайте свою собаку! Не давайте ей слоняться! Ведь она может наткнуться на тетеревей, и тогда придется себе опять кишки рвать».

Помню случай, о котором мне до сих пор совестно вспоминать.

Угомонившийся Непир стал необыкновенно крепко держать стойку. Право, казалось, что, если его не посылать, он полчаса и более, не тронувшись с места, простоит над выводком. Давно уже не приходилось мне ни самому стрелять, ни слышать за собою выстрелов Тургенева. Жара стояла сильная, и утомление при долгой неудаче давало себя чувствовать. Вдруг, гляжу, шагах в пятидесяти передо мною, на чистом прогалке между кустами стоит мой Непир, а в то же самое время слышу за спиною в лощине, заросшей молодою березовой и елового порослью, голос Тургенева, кричащего: «Гоп! Гоп!» Бросивши собаку, я иду на край ложбины и кричу в ее глубь: «Гоп, гоп! Иван Сергеевич!» Через несколько минут слышу близкое: «Гоп, гоп!» и крик Тургенева: «Что такое?»

— Идите стрелять тетеревей! — кричал я. — Моя собака стоит.

Когда Тургенев вышел из чащи, мы оба отправились к черневшемуся вдали Непиру.

— Идите поправее от собаки, а я пойду полевее, — сказал я. Так мы и сделали.

Умница Бубулька по окрику Тургенева пошла за его пятой. Когда мы с обеих сторон стали опережать собаку, из лежащего между нами куста с хлопаньем поднялся старый черныш, и Тургенев стал в него целить. Поднял ружье и я; и мне почему-то показалось, что Тургенев упускает его из выстрела. Этого истинного или подложного мотива было достаточно, чтобы я нажал спуск. Грянул выстрел, и черныш упал.

— А еще вызывал стрелять, — сказал Тургенев, — да сам и убил!

Приводите какие хотите объяснения: поступок остается все тот же.

Помню, что в первый день мы охотились в два приема, то есть вернулись к часу, на время самой жары, домой к обеду, а в пять часов отправились снова на вечернее поле. В первый день я, к величайшей гордости, обстрелял всех, начиная с Тургенева, стрелявшего гораздо лучше меня. Помнится, я убил двенадцать тетеревей в утреннее и четырех — в вечернее поле. Чтобы облегчить дичь, которую

мы для ношения отдавали проводникам, мы потрошили ее на привале и набивали хвоей. А на квартире поваренок немедля обжаривал ее и клал в заранее приготовленный уксус. Иначе не было возможности привезти домой дичины.

Нельзя не вспомнить о наших привалах в лесу. В знойный июльский день при совершенном безветрии открытые гари, на которых преимущественно держатся тетерева, напоминают своею температурой раскаленную печь. Но вот проводник ведет вас на дно изложины, заросшей и отененной крупным лесом. Там между извивающимися корнями столетних елей зеленеет сплошной ковер круглых листьев, и когда вы раздвинете их прикладом или веткою, перед вами чернеет влага, блестящая, как полированная сталь. Это лесной ручей. Вода его так холодна, что зубы начинают ныть, и можно себе представить, как отрадна ее чистая струя изнеможенному жаждой охотнику. Если кто-либо усомнится в том, как трусивший холеры Тургенев упивался такою водою, то я могу рассказать о причале в этом смысле гораздо более изумительном.

После знойного утра, в течение которого неудачная охота заставляла еще сильнее чувствовать истому, небо вдруг заволокло, листья, как кипящий котел, зашумели под порывистым ветром, и косыми нитями полился ледяной, чисто осенний дождик. Случайно мы были с Тургеневым недалеко друг от друга и потому сошлись и сели под навесом молодой березы. При утомительной ходьбе по мхам и валежнику мы, конечно, старались одеваться как можно легче, и понятно, что наши парусиновые сюртучки через минуту прилипли к телу. Но делать было нечего. Мы достали из ягдташей хлеба, соли, жареных цыплят и свежих огурцов и, предварительно пропустив по серебряному стаканчику хереса, принялись закусывать под проливным дождем. Снявши с себя фуражку, я с величайшим трудом ухитрился закурить папироску, охраняя ее в пригоршне от дождя. Некурящий Тургенев был лишен и этой отрады. Мокрые, на мокрой земле, сидели мы под проливным дождем.

— Боже мой! — воскликнул Тургенев. — Что бы сказали наши дамы, видя нас в таком положении!

Через час дождик перестал, и мы, потянувши к нашим лошадям, вскорости обсохли.

Нельзя не вспомнить с удовольствием о наших обедах и отдыхах после утомительной ходьбы. С каким удовольствием садились мы за стол и лакомились наваристым су-

пом из курицы, столь любимым Тургеневым, предпочитавшим ему только суп из потрохов. Молодых тетеревов с белым еще мясом справедливо можно назвать лакомством; а затем Тургенев не мог без смеха смотреть, как усердно я поглощал полные тарелки спелой и крупной земляники. Он говорил, что рот мой раскрывается при этом «галчатообразно».

После обеда мы обыкновенно завешивали окна до совершенной темноты, без чего мухи не дали бы нам успокоиться. Непривычные спать днем, мы обыкновенно предавались болтовне. В этом случае известные стихи «Домика в Коломне» можно пародировать таким образом:

. . . . много вздору
Приходит нам на ум, когда *лежим*
Одни или с товарищем *иным.*

— А что, — говорит, например, Тургенев, — если бы дверь отворилась и вместо Афанасия вошел бы Шекспир? Что бы вы сделали?

— Я старался бы рассмотреть и запомнить его черты.

— А я, — восклицает Тургенев, — упал бы ничком да так бы на полу и лежал.

Зато как сладко спалось нам ночью после вечернего поля, и нужно было употребить над собою некоторое усилие, чтобы подняться в 5 ч. утра, умываясь холодной как лед водою, только что принесенной из колодца. Тургенев, видя мои нерешительные плескания, сопровождаемые болезненным гоготаньем, утверждал, что видит на носу моем неотмытые следы вчерашних мух.

Здесь позволю себе небольшое отступление, могущее, по мнению моему, объяснить в глазах читателя ту двойственность в воззрении на предметы, которую я иногда сам в себе подмечаю и которая происходит из того, что я теперь рассказываю о том, что происходило тогда.

В те времена еще все вещи были единичны и просты.

Жареный поросенок был простым поросенком и не был, как во времена римских императоров, начинен сюрпризами в виде воробьев или дроздов. Правда, я был страстным поклонником Тургенева, но меня приводили в восторг «Певцы» или раздающийся по заре крик: «Антропка! а-а-а! Поди сюда, черт, леший!» А ко всем возможным направлениям я был совершенно равнодушен, и меня крайне изумляло несогласие проповедей с делом. Так, помню, проезжая однажды вдоль Спасской деревни с Тур-

геневым и спросивши Тургенева о благосостоянии крестьян, я был крайне удивлен не столько сообщением о их недостаточности, сколько французской фразой Тургенева: «Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais» *.

Не менее поражала меня совершенная неспособность Тургенева понимать самые простые практические вещи, между тем как он, видимо, принадлежал к числу людей, добивавшихся практических изменений и устройств <...>

Душевно радуюсь, что сохранившиеся в значительном количестве письма Боткина, Тургенева и Толстого помогут мне воспроизвести нравственные очерки этих писателей с гораздо большею точностью оттенков, чем воспроизведение былых наших разговоров, причем могут вкрасться оттенки, и не вполне верные действительности.

Говоря о Спасском, я принужден говорить и обо всех его тогдашних обитателях, во главе которых стоит глубоко мною уважаемый старик, дядя Ивана Сергеевича — Н. Н. Тургенев.

Еще с первого знакомства даже шуточные выходки Л. Н. Толстого постоянно поражали меня своею оригинальностью. Так когда-то общие впечатления, производимые отдельным писателем нашего тогдашнего круга, он приравнивал к впечатлениям, производимым известными цветами. В настоящее время не могу припомнить цвет каждого из нас, но про меня, кажется, он говорил, что я светло-голубой. Так однажды, когда мы встали из-за стола в Новоселках и я стал рассыпаться в похвалах только что уехавшему домой Ник. Ник. Тургеневу, Л. Н. Толстой тоже воскликнул: «Он прелесть!» и, схвативши у кого-то зубочистку — перо в бисерном чехольчике, прибавил:

— В своем пышном белом галстуке и шелковой муаровой жилетке песочного цвета он — вот что!

Если вспомнить моду двадцатых годов на бисерные часовые цепочки, кошельки, то лучше нельзя было выразить всего общего тона Никол. Никол., что не мешало ему быть вполне хорошим, добрым и толковым человеком.

В четырнадцатом году, 16-ти лет от роду, только что произведенный в корнеты, он повел эскадрон кавалергардских рекрут на молодых лошадях в Париж, и, конечно, за такой долгий поход эскадрон пришел обученным полевой езде. В Париже, в числе прочей молодежи, познакомился

* Делайте то, что я говорю, но не делайте того, что я делаю (*фр.*).

он и с англичанами, сильно тогда нахлынувшими в столицу мира. Уже в то время Тургенев отличался той физической силой, которую сохранил до старости.

Посещая залу гимнастики, он, в свою очередь, стал вытягивать из стены машину, указывавшую по градусам силу каждого. Тургенев не токмо вытащил машину до последнего градуса, но совсем вырвал ее из стены. Англичане подхватили его на руки и понесли с триумфом.

Никогда не видав матери Тургенева, не стану воспроизводить о ней рассказов едва ли в этом случае беспристрастного Ивана Сергеевича. Повторю только слышанное мною от Ник. Ник., заведовавшего при покойной Тургеневой всем ее домом. При этом перескажу лишь то, что, помоему, находится в прямой связи с дальнейшею судьбою ее семьи. Независимо от какого-то кресла в виде трона, она содержала при себе целый штат компанионок и гофмейстерин. При поездках в другие свои имения и в Москву она, кроме экипажей, высылала целый гардеробный фургон, часть которого была занята дворецким со столовыми принадлежностями. Изба, предназначавшаяся для ее обеденного стола или ночлега, предварительно завешивалась вся свежими простынями, расстилались ковры, раскладывался и накрывался походный стол, и сопровождавшие ее девицы обязательно должны были являться к обеду в вырезных платьях с короткими рукавами.

Если при такой домашней обстановке принять во внимание безотлучное пребывание в этой среде холостяков, то нечему удивляться, что Никол. Никол. и старший брат Ивана Сергеевича женились на камеристках Варвары Петровны, тогда как последствием сближения Ив. Серг. с крепостною прачкой была та, чрезвычайно на него похожая, 15-летняя дочь, с которою мы познакомились в Куртавнеле. Кто были те Белокопытовы, из коих на младшей женат был шестидесятилетний Ник. Ник. Тургенев и от которой у него были две девочки, я сказать не умею. Знаю только, что Ив. Серг. постоянно относился к ним весьма любезно и родственно, и фразу: «Дядя, ты не беспокойся: твои дети — мои дети» — я нередко слыхал из уст Ив. Серг.

Дамы эти иногда не только играли в зале на подаренном им Тургеневым пианино, но даже пели.

Однажды, когда Тургенев лежал в гостиной на самосоне, а я сидел подле него, в разговор наш врывалось из третьей комнаты довольно безыскусственное пение.

— Ведь в о т , — проговорил кисленьким голоском Турге-

7*

н е в , — если бы ваши родственницы так пели, то вас бы это коробило. А меня это нисколько не трогает.

Я тотчас же подумал: «Меня это не трогает, так я об этом и не говорю». Что же касается до жены брата Ник. Серг., то И. С. ее терпеть не мог и часто вспоминал про нее, не стесняясь в выражениях. Это была немка из Риги, не признаваемая покойной Варв. Петр. в качестве невестки и в мое время проживавшая верстах в 10-ти от Спасского в селе Тургеневе.

Чета эта представляла одну из тех психологических загадок, которыми жизнь так любит испещрять свою ткань. Ник. Серг. в совершенстве владел французским, немецким, английским и итальянским языками. В салоне бывал неистощим, и я не раз слыхал мнение светских людей, говоривших, что, в сущности, Ник. Сергеевич был гораздо умнее Ив. Серг. Я далее передавал эти слухи самому Ив. Серг., понимавшему вместе со мною их нравственное убожество. У Ивана Сергеевича были большие изъяны; у него, как мы видели, не хватало формального математического и философского ума. Однажды он говорил мне: «На днях я просматривал свои берлинские философские записки. Боже мой! неужели же это я когда-то писал и составлял? Пусть меня убьют, если я в состоянии понять хотя одно слово».

Вспомним, что он добивался кафедры философии при Московском университете. Но зато Ив. Серг. был, как выражался про себя И. И. Панаев, «человек со вздохом». Невзирая на внешнее сходство двух братьев, они, в сущности, были прямою противоположностью друг друга. Насколько Ив. Серг. был беззаботным бессребреником, настолько Николай мог служить типом стяжательного скупца. Известно, что после смерти Варв. Петр. Николай приехал в Спасское и забрал всю бронзу, серебро и бриллианты, и все это они с женой берегли в тургеневской кладовой. Если справедливо, что Ник. Серг. в душе презирал поэзию, то нельзя сказать, чтобы он не чувствовал ее краски, чему доказательством может служить переданный мне Ив. Сергеевичем разговор его с братом.

— Стоит л и , — говорил Ник. С е р г ., — заниматься таким пустым делом, которое всякий ленивый на гулянках может исполнить.

— Вот ты и не л е н и в , — отвечал Ив. С., — но даже одного стиха не напишешь, как Жуковский.

— Ничего нет л е г ч е , — отвечал Николай:

Дышит чистый фимиам урною святою.

— А ведь похоже, — говорил хохочущий Ив. Серг.

— Разгадайте, — нередко восклицал И. С., — каким образом брат мог привязаться к этой женщине? Что она чудовищно безобразна, в этом вы могли сами убедиться в нашем доме; прибавьте к этому, что она нестерпимо жестока, капризна и неразвита и крайне развратна. Достаточно сказать, что, ложась ночью в постель при лампе, она требует, чтобы горничная, раскрахмаленная и разодетая, всю ночь стояла посреди комнаты, но чтобы не произвести стука, босая. Вот и подивитесь! Ведь он ее до сих пор обожает и целует у нее ноги.

Когда я отправлялся в Спасское один, то ездил туда верхом вброд через Зушу, значительно сокращая дорогу, и приезд мой в Спасском сделался самым обычным явлением. Однажды, всходя на балкон, слышу усиленный, мелко дребезжащий звук, похожий на фырканье, и, вступая в гостиную, вижу, что дамы усердно надрезают и рвут на клоки темно серый кусок нанки.

— Над чем это вы так трудитесь? — спросил я.

— Да вот Иван Сергеевич выписал из Петербурга больного студента для поправки на деревенском воздухе. Оказывается, что этот гость совершенно разут и раздет, и мы послали в Мценск взять нанки, чтобы у нашего деревенского портного заказать приезжему костюм[39].

Вернувшийся с прогулки Ив. Серг. подтвердил известие, пояснив при этом, что он предназначает студента учителем сельской школы и переписчиком своих рассказов.

В последующие разы я увидал студента в нанковой паре уже за семейным столом, и любивший подшутить Ник. Ник. говорил:

— Право, наш молодец-то таки очень посмелел. Бывало, ждет, покуда скажут: «Не хотите ли вина?» А нынче рука-то сама далеко достает бутылку. Не знаю, какой толк из этого всего выйдет.

Как-то, проходя через небольшую комнату, я увидал жену Ник. Серг. Тургенева лежащею на диване с далеко выставленными ботинками, а нанкового студента сидящего на табурете и растирающего ей ноги. Однажды осенью, зайдя во флигель к Ив. Серг., я застал его в волнении.

— Я, — сказал он, — решился просить дядю, чтобы он выпроводил этого Рабионова, который мне опротивел своим нахальством. Мне он ничего не переписывает. В школьниках видит эклогу Виргилия; и приходил мне жаловаться

на жену моего брата, будто бы разрушившую его нравственный мир.

Конечно, и Ник. Ник., говоря на ту же тему, воскликнул: «Вот, Иван всегда так! Сам невесть кого затащил в дом, а теперь дядя выгоняй! Что я за палач такой?»

Не знаю, как это случилось, так как я вскорости затем уехал в Москву, куда вслед за мною приехал и Ив. Сергеевич. Но для бедного Ник. Ник. штука эта разыгралась не без убытка. Не знаю, по болезни или по иной причине Рабионов продержался в Спасском до зимы, и когда пришлось отправлять его, стал просить у Н. Н. шубу, клятвенно заверяя, что доедет в ней только до Москвы, а затем прямо доставит ее в наш дом. Добросердечный старик согласился на просьбу, но пропавшая шуба дала повод Ив. Сергеев. к следующему куплету:

Рабионов! Рабионов!
Вор и варвар, без сомненья,
Redde meas legiones! *
Возврати чужую шубу!

Впрочем, И. С. Тургенев предлагал и следующий вариант:

Рабионов! Рабионов!
Вор и варвар без изъятья,
Redde meas legiones,
Возврати чужое платье! [40]

Воспроизведение в данное время Спасского персонала было бы далеко не полно без домашнего доктора Порфирия Тимофеевича, правильнее — без вывезенного, еще при жизни матери, Тургеневым в Берлин крепостного фельдшера Порфирия, отпущенного на волю и получившего при возвращении в Россию патент зубного врача. При помощи этого патента он пользовался известной практикой в округе и благосклонно принимаем был в Спасском семейством Тургеневых. Толстый и отяжелевший, он иногда сопутствовал И. С. в ближайших охотах и в случае надобности мог составить желающему партию на биллиарде или в шахматы. Наивное вранье и попрошайство указывали в нем на бывшего дворового <...>

Тургенев был прав, предсказывая мне из Рима прелестное деревенское лето [41]. Действительно, лето пролетало в частых дружеских и совершенно безоблачных сближениях.

---

* Верни мои легионы (*лат.*).

с шахматным игроком и предупредительно любезным Борисовым Тургенев сблизился дружески и весьма часто день и два оставался ночевать в Новоселках.

Однажды вечером, сидя на новой террасе перед вновь устроенной Борисовым цветочною клумбою, обведенною песчаной дорожкой, Тургенев стал смеяться над моей неспособностью к ходьбе.

— Где ж ему, несчастному толстяку, — говорил он, — с его мелкой кавалерийской походочкой сойти со мною. Это я могу сейчас же доказать на деле. Вот если десять раз обойти по дорожке вокруг клумбы, то выйдет полверсты, и если мы пойдем каждый своим естественным шагом, то я уверен, что кавалерийский толстяк значительно от меня отстанет.

Хотя я и до состязания готов был уступить Тургеневу пальму, но ему так хотелось явиться на глазах всех победителем, что мы пустились кружить по дорожке: он впереди, а я сзади. До сих пор помню перед собою рослую фигуру Тургенева, старающегося увеличить свой и без того широкий шаг; я же, вызванный на некоторого рода маршировку в пешем фронте, вследствие долголетнего обучения, конечно, делал шаг в аршин. Через несколько кругов Тургенев стал видимо отдаляться от меня, как я заметил, к общему удовольствию зрителей. Где источник этого удовольствия? Под конец состязания я на десятом кругу отстал на полкруга, что в целой версте представляло бы от 20 до 25-ти сажен. Явно, что Тургенев делал шаги более чем в аршин.

Но не одними подобными затеями наполняли мы с ним в Новоселках день. Окончив вчерне перевод «Антония и Клеопатры», я просил Тургенева прослушать мой перевод, с английским текстом в руках. Дамы ушли с работами в кабинет Борисова и заперли за собою дверь в гостиную, чтобы не мешать своим разговором нашему чтению. Ив. Серг. сидел на диване к концу овального стола, а я на кресле уселся спиною к свету. На этот раз мы прочитывали пятый акт и дошли до того места, где Клеопатра, припустив к груди аспида, называет его младенцем, засасывающим насмерть кормилицу.

На это Хармион, кончая стих, два раза восклицает:

«O, break! O, break!» — которое Кетчер справедливо, согласно смыслу, переводит:

О разорвись, разорвись, сердце!

Приняв во внимание неизменный мой обычай сохранять в переводах число строк оригинала, легко понять затруднение, возникающее на этом выдающемся месте. Помнится, у меня стояло: «О разорвись!» Тургенев справедливо заметил, что по-русски это невозможно. Загнанный в неисходный угол, я вполголоса рискнул: «О лопни!» Заливаясь со смеху, Тургенев указал мне, что я и этим не помогаю делу, так как не связываю глагола ни с каким существительным. Тогда, как заяц с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: «Я лопну!» С этим словом Тургенев, разразившись смехом, сопровождаемым криком, прямо с дивана бросился на пол, принимая позу начинающего ползать ребенка. Дамы, слыша отчаянный крик Тургенева, отворили дверь, и уже не знаю, что подумали в первую минуту <...>

Пятого сентября, в именины жены Н. Н. Тургенева Елизаветы Семеновны, точно так же, как 9 мая в день именин самого старика, в Спасском постоянно бывал пир горою <...>

Часам к 12-ти во флигеле Ивана Сергеевича подавался завтрак, которого бы хватило за границей на целый ресторан, а, за невозможностью добыть во Мценске свежих стерлядей, к обеду, кроме прохладительной ботвиньи, непременно являлась уха из крупных налимов. Дядя, в новой, черной муаровой ермолке, могучий и веселый, всегда сам становился у верхнего конца стола, ловко рассылая уху гостям. Ив. Серг. садился всегда с одной стороны посередине стола, а мы с Ник. Ник. Толстым усаживались по правую и по левую его сторону. Зная нашу слабость и разделяя ее сам, Иван Серг. все время не забывал подливать нам в стаканы редереру.

— Странное *дело*, — сказал однажды при подобном случае *Тургенев*, — никогда я не замечал, чтобы Фет отказался от редерера. Ну а вы, граф, как? расположены ли к нему по временам или всегда?

С секунду промедлив ответом, Ник. Ник. самым добросовестным тоном ответил:

— Скорее всегда.

Сопоставление этих двух определений окончательно срезало Тургенева. С неудержимым хохотом повторяя: «Скорее *всегда*», — он со стула повалился на пол и некоторое время, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом.

Дворовые Спасского, по старой памяти, оканчивали вечер фейерверком на лужайке перед балконом <...>

В те времена Малоархангельский уезд еще славился изобилием болотной дичины, и если мы с Тургеневым ездили в его Малоархангельское имение Топки, впоследствии им проданное, то, конечно, главною целью Тургенева было удобно поохотиться, а никак не разбирать какие-либо свои экономические дела. Пролет болотной дичи почти совпадает с лучшим временем охоты на молодых тетеревей, с которой, как я рассказывал, мы только что вернулись. Вследствие этого и зная достоверно, что действие романа «Дворянское гнездо» перенесено Тургеневым в Топки, я до сего времени думал, что поездка в Малоархангельск совершена нами гораздо позднее; но увы! — развертывая сочинения Тургенева, я увидал пометку «Дворянского гнезда» — 1858 годом, вследствие чего не может быть ни малейшего сомнения, что вскорости после охоты на тетеревей мы с Тургеневым отправились в Топки. Описание старого флигеля, в котором мы останавливались, верное в тоне, весьма преувеличено пером романиста. По раскрытии ставней мухи действительно оказались напудренными мелом, но никаких штофных диванов, высоких кресел и портретов я не видал. А в одной из пустых комнат, вместо упоминаемой кровати под пологом, я увидал ткацкий станок, на котором крепостной ткач работал прекрасную пестрядь. Правда, что, худо ли, хорошо ли, нам приготовили обед, и старый слуга Антон, принарядившись в серый сюртучок, надел белые вязаные перчатки. После отмены даже крепостного права граф Л. Толстой говаривал: «Едете в заглазное имение, ни о чем не хлопочите. Садитесь только за стол в ваш определенный час, и вам подадут ваших обычных пять блюд». Действительно так и было во время крепостного права. В заглазное имение обыкновенно отправлялись на покой заслуженные старики — слуги, повара и т. д. Приезд господ, как звук трубы для бракованной лошади, был призывом к старинной деятельности и случаем отличиться.

На другой день нашего приезда в Топки Тургенев, предчувствуя, что к нему придут крестьяне, мучительно томился предстоящею необходимостью выйти к ним на крыльцо. Сетования эти до того мне надоели, что я вызвался выйти вместо него к крестьянам; и полагаю, что исполнил бы это, хоть не с большею пользой, но с большим достоинством. Я из окна смотрел на эту сцену. Кра-

сивые и видимо зажиточные крестьяне без шапок окружали крыльцо, на котором стоял Тургенев, и, отчасти повернувшись к стенке, царапал ее ногтем. Какой-то мужик ловко подвел Ивану Сергеевичу о недостаче у него тягольной земли и просил о прибавке таковой. Не успел Ив. Серг. обещать мужику просимую землю, как подобные настоятельные нужды явились у всех, и дело кончилось раздачей всей барской земли крестьянам. Само собою разумеется, что дело это оставалось на этом основании до отъезда Ив. Серг. за границу и приезда Ник. Ник. Тургенева в Топки. С каким добросердечным хохотом говорил он мне впоследствии: «Неужели, господа писатели, все вы такие бестолковые? Вы же с Иваном ездили в Топки и раздали там мужикам всю землю, а теперь тот же Иван пишет мне: «Дядя, как бы продать Топки?» Ну что же бы там продавать, когда бы вся земля осталась розданною крестьянам? Спрашиваю двух мужиков-богачей, у которых своей покупной земли помногу: «Как же ты, Ефим, не постыдился просить?» — «Чего же мне не просить? Слышу, — другим дают, чем же я-то хуже?» <...>

Тридцатого октября Тургенев писал из Спасского:

«Пишу к вам две строки <...> чтобы, во-первых, испросить у вас позволения поставить у вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а во-вторых, чтобы предуведомить вас о моем приезде в Москву к вам 5-го или 6-го ноября <...> До скорого свидания.

Ваш *Ив. Тургенев*».

Действительно, 5 ноября не успели мы окончить кофею, как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас, и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева[42]. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.

За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.

— Как вы можете работать при таком беспорядке? — говорил Ив. Серг., аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.

В 5 часов он нашел на столе суп-потрох, о котором с любовью вспоминал и за границей.

За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции у Тургенева за три дня, которые провел он в нашем доме.

ИЗ ГЛАВЫ X

Наконец, после долгих сборов и обещаний, Тургенев приехал в Спасское, и мы, хотя с грехом пополам, поохотились с ним на куропаток и вальдшнепов. На одном из привалов он вдруг предался своей обычной забаве придираться к моей беспамятности с географическими именами, требуя, например, двадцати названий французских городов. На этот раз он требовал только пяти португальских, кроме Лиссабона. «Только пяти», — настойчиво прибавлял он. Назвав Опорто и Коимбру, я было стал в тупик, но вдруг вспомнил урок из арсеньевской географии, и язык мой машинально пролепетал: «Тавиро, Фаро и Лагос — портовые города». — «Ха-ха-ха! — вынужденно захохотал Тургенев, — какой ужасный вздор!» — «Очень жаль, что вы их не знаете», — сказал я, надеясь на своего Арсеньева, как на каменную гору. Тургенев достал памятную книжку и записал города. «Хотите пари?» — «Пожалуй, — отвечал я, — на бутылку шампанского!» — «Нет! — фальцетом протянул Тургенев: — Я хочу пробрать вас хорошенько, — на дюжину шампанского!» — «Это значило бы пробрать вас!» — «Знаем мы эти штуки! — воскликнул Тургенев. — Это незнание в одежде великодушия». Мы ударили по рукам. На другой день Тургенев, подходя ко мне в бильярдной со старою книжкой в руках, сказал: «А ведь шампанское-то я проиграл, ведь вот они в самом деле, эти нелепые города».

ИЗ ГЛАВЫ XII

Раза с два, в бытность мою у Тургенева в Петербурге, я видел весьма неопрятную серую смушковую шапку Шевченко на окошке, и тогда же, без всяких задних мыслей, удивлялся связи этих двух людей между собою [43]. Я нимало в настоящее время не скрываю своей тогдашней наивности в политическом смысле. С тех пор жизнь на многое, как мы далее увидим, насильно раскрыла мне

глаза, и мне нередко в сравнительно недавнее время приходилось слышать, что Тургенев n'était pas un enfant de bonne maison *. Как ни решайте этого вопроса, но, в сущности, Тургенев был избалованный русский барич, что, между прочим, с известною прелестью отражалось на его произведениях. Образования и вкуса ему занимать было не нужно, и вот почему, познакомившись с тенденциозными жалобницами Шевченко, я никак не мог в то время понять возни с ним Тургенева. Впрочем, несмотря на мою тогдашнюю наивность, мне не раз приходилось изумляться отношениям Тургенева к некоторым людям. Привожу один из разительных тому примеров, которыми подчас позволял себе допекать в глаза Тургенева.

Однажды, когда я в Петербурге сидел у Тургенева, Захар, войдя, доложил: «Михаил Евграфович Салтыков».

Не желая возобновлять знакомства с этим писателем, я схватил огромный лист «Голоса» и уселся в углу комнаты в вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой. Рассчитывая на непродолжительность визита, я не ошибся в надежде отсидеться. Между тем вошедший стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров, где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги[44].

— Ну, а какая же участь ожидает детей? — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом.

— Детей не полагается, — отвечал Щедрин.

— Тем не менее они будут, — уныло возразил Тургенев.

Когда по уходе гостя я спросил: «Как же это не полагается детей?» — Тургенев таким тоном сказал: «Это уж очень хитро», — что заставлял вместо *хитро* понимать *нелепо* <...>

Вдруг получаю следующее письмо Тургенева из Спасского 19 мая 1861:

«Fethie carissime **, посылаю вам записку от Толстого, которому я сегодня же написал, чтобы он непременно приехал сюда в теченье будущей недели, для того чтобы

---

* не получил хорошего воспитания (*фр.*).
** Дражайший Фет (*ит.*).

совокупными силами ударить на вас в вашей Степанов--е, пока еще поют соловьи и весна улыбается «светла, блаженно-равнодушна». Надеюсь, что он услышит мой зов и прибудет сюда. Во всяком случае, ждите меня в конце будущей недели, а до тех пор будьте здоровы, не слишком волнуйтесь, памятуя слова Гете: «Ohne Hast, Ohne Rast» [45], и хоть одним глазом поглядывайте на вашу осиротелую Музу. Жене вашей мой дружеский поклон.

Преданный вам *Ив. Тургенев».*

<...> Невзирая на любезные обещания, показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого [46]. Не удивительно, что, при тогдашней скудости хозяйственных строений, Тургенев с изумлением, раскидывая свои громадные ладони, восклицал: «Мы все смотрим, где же это Степановка, и оказывается, что есть только жирный блин и на нем шиш, и это и есть Степановка».

Когда гости оправились от дороги и хозяйка воспользовалась двумя часами, остававшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью <...> После обеда мы с гостями строем отправились в рощицу, отстоявшую сажен на сто от дому, до которой в то время приходилось проходить по открытому полю. Там на опушке мы, разлегшись в высокой траве, продолжали наш прерванный разговор еще с большим оживлением и свободой. Конечно, во время нашей прогулки хозяйка сосредоточила все свои скудные средства, чтобы дать гостям возможно удобный ночлег, положив одного в гостиной, а другого в следующей комнате, носившей название библиотеки. Когда вечером приезжим были указаны надлежащие ночлеги, Тургенев сказал: «А сами хозяева будут, вероятно, ночевать между небом и землей, на облаках». Что в известном смысле было справедливо, но нимало не стеснительно.

Сколько раз я твердо решался пройти молчанием событие следующего дня по причинам, не требующим объяснений. Но против такого намерения говорили следующие обстоятельства. В течение тридцати лет мне самому неоднократно приходилось слышать о размолвке Тургенева с

Толстым, с полным искажением истины и даже с перенесением сцены из Степановки в Новоселки.

Из двух действующих лиц Тургенев, письмом, находящимся в руках моих, признает себя единственным виновником распри, а и самый ожесточенный враг не решится заподозрить графа Толстого, жильца 4-го бастиона, в трусости. Кроме всего этого, мы впоследствии увидим, что радикально изменившиеся убеждения Льва Николаевича изменили, так сказать, весь смысл давнишнего происшествия, и он первый протянул руку примирения. Вот причины, побудившие меня не претыкаться в моем рассказе.

Утром, в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей.

— Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности.

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден, — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу: «Перестаньте!», как, бледный от злобы, он сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением». С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога извините

мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел[47].

Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику Федоту, воспроизведенному впоследствии Тургеневым[48] <...>

Размышляя впоследствии о случившемся, я поневоле вспоминал меткие слова покойного Ник. Ник. Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».

ИЗ ГЛАВЫ XIII

Можно себе представить наше с женой удивление, когда в половине мая в гостиную к нам вдруг вошел Василий Петрович, бодрый и веселый, которого воображение наше давно привыкло видеть болеющим по разным европейским столицам. Не успели мы обнять его, как следом за ним появился и Тургенев[49]. Конечно, это была одна из самых радостных и одушевленных встреч, и наш Михаила употребил все усилия, чтобы отличиться перед знатоками кулинарного искусства. Редерер тоже исправно служил нам с Тургеневым, а ввиду приезда Боткина мы запаслись и красным вином, которого я лично не пил во всю жизнь.

От специальных литературных вопросов разговор мало-помалу попал в русло текущих событий. Так как мы все преисполнены живой веры в целебность охватившего страну течения, то о главном русле его между нами не могло быть разноречия и споров. Зато я помню, когда вопрос коснулся народной грамотности, я почувствовал потребность настойчиво возражать Тургеневу и жарко его поддерживающему Боткину. Меня поразил умственный путь, которым Тургенев подходил к необходимости народных школ. Если бы он говорил, что должно исправить злоупотребления, внесенные временем в народную жизнь, то я не стал бы с этим спорить. Но он, освоившийся со складом европейской жизни, представлял Россию каким-то параличным телом, которое нужно гальванизировать всеми возможными средствами, стараясь (употребляю собственное его выражение) *буравить* это тело всяческими буравами, в том числе и грамотностью[50].

Н. А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
1848—1870

I

Когда мы. всем семейством, то есть мои родители, я с сестрой и гувернантка наша, m-lle Michel, приехали в 1848 году из Рима в Париж, Александр Иванович Герцен писал о нашем приезде Павлу Васильевичу Анненкову, который, как и Иван Сергеевич Тургенев, находился тогда там [1]. Сначала Анненков пришел к нам один; он нам всем очень понравился: его непринужденность, приятное и ровное обхождение со всеми, его готовность нам все показывать в Париже, где он был как дома, приводили нас в восторг. Его помощь была всего чувствительнее в картинных галереях: он понимал живопись, много уже видал галерей за границей и любил объяснять нам особенности картин, которые были у нас перед глазами, но которые бы мы, вероятно, без него не заметили благодаря нашей неопытности. Через несколько дней Анненков привел к нам Ивана Сергеевича Тургенева. Высокий рост Ивана Сергеевича, прекрасные его глаза, иногда упорная молчаливость, иногда, наоборот, горячий разговор, бесконечные споры с Анненковым на всевозможные темы — все это не могло не поразить нас. Капризность его характера не замедлила выказаться в каждодневных посещениях им нашего семейства: иной раз он приходил очень веселый, другой раз очень угрюмый, с иными вовсе не хотел говорить и т. д. У Виардо, говорят, он не позволял себе капризов,

с русскими он чувствовал себя свободнее. Многие за глаза смеялись над продолжительностью его привязанности к Виардо, а я думаю, напротив, что это было его самое лучшее чувство. Какова же была бы его жизнь без него? Мне только грустно то, что Виардо была иностранка, понемногу она отняла его у России. Женщина без выдающегося таланта, без обстановки искусства, неартистическая натура не могла бы ему нравиться надолго. В его произведениях, особенно в «Записках охотника», так виден поэт, что он не мог бы ужиться в другом мире. Для Виардо он покинул Россию, отвык от нее, она становилась все дальше, дальше, будто в тумане; он продолжал писать, но талант его изменялся, угасал, как и талант Огарева[2]. На родине с 1849 по 1855 год Николай Платонович Огарев написал более стихотворений и лучших, чем в продолжение всей его жизни за границей.

На одного Байрона отсутствие из родины не имело влияния, но он был мировой поэт, к тому же он ненавидел Англию; но как ненавидел? Потому ли, что слишком горячо ее любил, или это была аномалия, как бывает очень редко с детьми, которые не любят своих родителей, — кто нам скажет?

Возвращаясь к Тургеневу, я вспоминаю, как он в это время нам всем казался странен. Он приходил к нам ежедневно, иногда чтоб играть в шахматы с моим отцом, иногда исключительно для меня, с остальными дамами он только здоровался, а дам было много, особенно с возвращения из Италии семейства А. И. Герцена, и все дамы, конечно, замечательнее меня.

Жена Герцена, о которой я много говорила в записках Т. П. Пассек[3], была поэтическая натура и наружности очень привлекательной; Мария Федоровна Корш (сестра Евгения), немолодая уже девица, умная и очень любезная; красивая и еще не старая мать Александра Ивановича Герцена, Луиза Ивановна, и Мария Каспаровна Эрн (ныне m-me Рейхель), тогда девушка, очень умная, веселая, образованная; моя мать, тогда еще довольно молодая и тоже красивая; моя сестра Елена, которую за необыкновенную грацию Наталья Александровна Герцен называла своим пажем, и я, дурнушка, которую она называла своей Консуэлой или Миньоной Гете[4].

Тургенев любил читать мне стихотворения или рассказывать планы своих будущих сочинений; помню до сих пор канву одной драмы, которую он собирался написать,

и не знаю — осуществилась ли его мысль: он хотел представить кружок студентов, которые, запинаясь и шутя, вздумали для забавы преследовать одного товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его; он выносил все с покорностью, так что многие, ввиду его кротости, стали считать его за дурака. Вдруг он умирает: при этом известии сначала раздаются со всех сторон шутки, смех. Но внезапно является один студент, который никогда не принимал участия в гонениях на несчастного товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, по теперь он будет говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный товарищ, тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой-нибудь факт оказанной им помощи, доброты и проч. Шутки умолкают, наступает неловкое, тяжелое молчание. Занавес опускается, Тургенев сам воодушевлялся, представляя с большим жаром лица, о которых рассказывал [5].

Иногда Иван Сергеевич приносил мне духи «Гардени», его любимый запах; говорил со мною даже иногда о Виардо, тогда как вообще он избегал произносить ее имя; это было для него вроде святотатства. Он написал тогда маленькую комедию «Где тонко, там и рвется», прочел ее у нас и посвятил мне.

Когда мы ходили всем обществом гулять по городу, он вел меня под руку, несмотря на то что он был самый высокий, а я самая маленькая из нашего общества. Раз, когда мы вышли смотреть иллюминацию, Тургенев вдруг почти присел.

— Что с вами? — спросила я с удивлением.

— Ничего, — отвечал он, — я хотел только убедиться, можете ли вы что-нибудь видеть через эту сплошную толпу, — иллюминация очень хороша.

Вероятно, убедившись, что мне почти ничего не видно, Тургенев подвел меня к какому-то крыльцу и ввел на верхнюю ступеньку; там действительно я могла вполне любоваться великолепным зрелищем иллюминации в Париже.

Впоследствии мы жили в одном доме с А. И. и Н. А. Герценами в Париже, и потому Тургенев часто заставал меня с сестрой у Наталии Александровны. Часто Александра Ивановича не было дома; тогда Тургенев читал мне что-нибудь, при этом если все сидели вместе, то у Тургенева

являлись удивительные фантазии: он то просил у нас всех позволения кричать, как петух, влезал на подоконник и действительно неподражаемо хорошо кричал и вместе с тем устремлял на нас неподвижные глаза; то просил позволения представить сумасшедшего. Мы обе с сестрой радостно позволяли, но Наталья Александровна Герцен возражала ему.

— Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете, — говорила она, — да, пожалуй, и напугаете меня.

Но он не обращал внимания на ее возражения. Попросит у нее, бывало, ее бархатную черную мантилью, драпируется в нее очень странно и начинает свое представление. Он всклокочет себе волосы и закроет себе ими весь лоб и даже верхнюю часть лица; огромные серые глаза его дико выглядывают из-под волос. Он бегал по комнате, прыгал на окна, садился с ногами на окно, делал вид, что чего-то боится, потом представлял страшный гнев. Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело. Тургенев оказался очень хорошим актером; слабая Наталья Александровна отвернулась от него, и все мы вздохнули свободно, когда он кончил свое представление, а сам он ужасно устал. Когда нас звали с сестрой наверх, Иван Сергеевич или уходил в кабинет Герцена, смежную с гостиной комнатку, или ложился на кушетку в гостиной и говорил мне:

— Возвращайтесь поскорей, а я пока понежусь.

Он очень любил лежать на кушетках и имел талант свернуться даже на самой маленькой.

Наталья Александровна или читала, или занималась с кем-нибудь из детей, а на Тургенева не обращала ни малейшего внимания: он был, как и П. В. Анненков, короткий знакомый в их доме. Анненков имел большую симпатию и глубокое уважение к Наталье Александровне; Тургенев же, напротив, не любил ее, мало с ней говорил, как будто нехотя; нередко случалось им даже говорить друг другу колкости [6]. Я была в странном положении между ними двумя: горячо любя Наталью Александровну, я была, однако, как молодая девушка, очень польщена постоянным вниманием Ивана Сергеевича ко мне, но я оставалась совершенно спокойна, и мысль полюбить его никогда мне не приходила в голову; я не кокетничала, но видела в Тургеневе особенно талантливого и оригинального человека, и мне это нравилось; бывало только иногда досадно на насмешки дам, которые меня дразнили, называя

внимание Тургенева ухаживаньем. Иногда мне хотелось ему высказать, что его постоянное и исключительное ко мне внимание конфузит и навлекает на меня разные маленькие неприятности; но взгляну, бывало, на его большие, прекрасные глаза, которые так добродушно, почти по-детски улыбаются, и промолчу.

Раз мы все сидели, то есть молодежь, на крыльце, которое выходило в наш садик; был теплый июльский вечер. Анненков и Тургенев тоже были с нами. Вдруг Иван Сергеевич обратился ко мне с вопросом:

— M-lle Natalie, за которого из нас двух вы бы скорее пошли замуж? (разумея Анненкова).

— Ни за которого, — отвечала я, смеясь.

— Однако если б нельзя было отказать обоим? — сказал он.

— Почему же нельзя, — сказала я, — ну, в воду бы бросилась.

— И воды бы не было, — возразил Тургенев.

— Ну, — сказала я, смеясь, — за вас бы пошла.

— А! вот этого-то я хотел, все-таки вы меня предпочли Анненкову, — сказал Иван Сергеевич, глядя на Анненкова с торжествующей улыбкой.

— Конечно, — сказала я, — если и воды нет.

И все засмеялись.

Осенью мы оставили Париж:[7] срок, назначенный для нашего путешествия, оканчивался; Иван Сергеевич пришел проститься и принес мне на память маленькую записную книжечку, где было написано, чтоб я никогда не принимала серьезного решения, не взглянув на эти строки и не вспомнив, что есть человек, который меня никогда не забудет[8].

Мы уехали.

II

Через год или два я услышала, что Ивану Сергеевичу велено жить в его имении в Орловской губернии, где он прожил безвыездно два года. Говорили, что он был сослан за то, что находился в Париже во время июньских дней 1848 года[9]. Тогда были большие строгости <...>

Во время ссылки Ивана Сергеевича Виардо была приглашена петь в Петербурге. Все были очень удивлены, что у нее не хватило мужества навестить Тургенева в его

Спасском; не повидавшись с ним, она возвратилась за границу [10].

Впоследствии, уже замужем, я была однажды в Петербурге. Огарев хлопотал о получении заграничного паспорта; наш был первый, выданный в наступившем царствовании Александра II [11]. Кто-то нам сказал, что И. С. Тургенев тоже в Петербурге; мы этому очень обрадовались оба. Сначала Огарев встретился с ним у кого-то из общих приятелей, потом Тургенев явился к нам, мы стояли в какой-то гостинице. Никогда не забуду этой встречи, так мало я ее ожидала.

Когда Тургенев постучал в дверь, я сидела в первой комнате, Огарев был во второй. Он хотел идти навстречу входящему, но Тургенев предупредил его, услышав обычное «войдите». Он вошел, кланяясь мне на ходу и спеша к Огареву.

Дверь была открыта, и я слышала, как он сказал Огареву:

— Ведь вы женаты? На ком?

— На Тучковой, — отвечал Огарев, с простодушным удивлением в голосе, — да вы разве не знаете?

— Познакомьте меня, пожалуйста, с вашей женой, — сказал Иван Сергеевич.

— Да ведь вы, кажется, давно знакомы, — говорит Огарев и зовет меня.

Я встаю, они входят, и я не могла не улыбнуться, протягивая руку этому новому знакомому. Это была какая-то сцена из «Онегина». С этой минуты Иван Сергеевич был действительно новый знакомый.

Зато к Огареву у него была в эту эпоху горячая симпатия [12]. Прощаясь, он говорил ему: «Я не могу так уйти, скажите мне, когда я вас увижу снова, где, назначьте день» и пр. Мне кажется, все очень горячие чувства его, кроме к Виардо, не длились долго. Раз он зашел к нам в Петербурге, в отсутствии Огарева, и сказал мне:

— Я хотел передать Огареву поручение Некрасова, но все равно, вы ему скажите. Вот в чем дело: Огарев показывает многим письма Марии Львовны и позволяет себе разные о них комментарии. Скажите ему, что Некрасов просит его не продолжать этого; в противном случае он будет вынужден представить письма Огарева к Марье Львовне куда следует, из чего могут быть для Огарева очень серьезные последствия.

— Это прекрасно, — вскричала я с негодованием, — это

угроза доноса en toute forme *, и он, Некрасов, называется вашим другом, и вы, Тургенев, принимаете такое поручение!

Он проговорил какое-то извинение и ушел.

Конечно, это объяснение ничуть не способствовало нашему сближению. Из писем Марии Львовны (присланных Огареву по смерти ее) он узнал, что, несмотря на то что Панаева с поверенным Шаншиевым по доверенности Марии Львовны получили орловское имение для передачи ей, все-таки они ее оставляли без всяких средств к существованию, так что она умерла, содержимая христа ради каким-то крестьянским семейством близ Парижа [13]...

III

Каждый год раз или два Тургенев приезжал в Лондон. Иногда он бывал очень весел; не могу забыть, как он приехал однажды с каким-то соотечественником из литераторов [14]. Последний вовсе не знал по-французски. Когда стали спрашивать паспорты на французском пароходе, оказалось, что молодой человек запрятал свой паспорт куда-то далеко в чемодан. Тургенев его успокаивал, говоря, что это не беда, спросят имя и проч. и запишут; так и случилось. Услышав, что у молодого русского паспорта нет, гарсон вынул записную книжку и начал делать обыкновенные вопросы:

— Votre nom, prénom, nom de famille? **

Молодой литератор бойко отвечал.

— Votre âge? *** — продолжал гарсон.

— Cent vingt sept ans ****, — отвечал скромно наш путешественник. Тургенев кусал себе губы, чтобы не разразиться смехом.

— Comment? ***** — переспросил гарсон, не веря своим ушам.

Молодой литератор уверенно повторил. Тогда улыбка мелькнула на лице гарсона, и он стал пристально осматривать говорящего; в глазах его читалось: «Diable! Dans

---

* по всей форме (*фр.*).

** Ваше имя, фамилия? (*фр.*)

*** Сколько лет? (*фр.*)

**** Сто двадцать семь (*фр.*).

***** Что? (*фр.*)

ce climat de neige et de glace, on se conserve joliment bien Avec ses 127 ans ce gaillard a l'air d'en avoir à peine 25» *.

И Тургенев хохотал, не стесняясь смущением своего молодого друга, который прерывал его, сконфуженно говоря:

— Это все вы, Иван Сергеевич, — право, вы сами!..

Помню еще один замечательный случай. Это было около 1861 года; кто-то приехал из Парижа к нам и рассказывал, как русские, находящиеся в Париже, собрались на дебаркадере, чтобы приветствовать при въезде в Париж одно высокопоставленное лицо, отправляющееся в кругосветное путешествие. Когда ожидаемый поезд приблизился и ожидаемое лицо вышло, наши соотечественники встретили его с почтительным приветствием, но вместо обычного любезного ответа на оное последовало резкое замечание о том, что неприлично русским дворянам носить бороду. Приветствующие были поражены подобным обращением. Слыша об этом происшествии из достоверного источника, Герцен хотел рассказать это в «Колоколе», но вдруг является Иван Сергеевич и говорит, что приехал затем, чтобы передать Герцену, что его просят не печатать о вышеупомянутом факте: высокопоставленное лицо обещает в продолжение всего своего путешествия воздерживаться от подобных выходок, если Герцен промолчит на этот раз. Это было передано Ивану Сергеевичу князем Н. А. Орловым, служившим посланником в Бельгии. Герцен и высокопоставленное лицо сдержали оба слово.

Однажды Тургенев приехал в Лондон в очень хорошем расположении духа. Он нас забавлял разными рассказами о родине; между прочим, мы были очень заинтересованы следующим рассказом о государе Николае Павловиче и графе Т... Всем известно, что Николай Павлович предпочитал штатской службе военную службу; особенно терпеть не мог, чтоб оставляли военную службу для штатской. Как-то случилось, что граф Т... оставил военную службу и взял отставку. Кажется, год спустя, находясь в Петербурге, Т... был приглашен к коротким знакомым на многолюдный раут, куда и отправился в простом пиджаке. На его беду, совершенно неожиданно явился туда

---

* Черт возьми, в этой стране снега и льда люди удивительно сохраняются. Сто двадцать семь лет, — а ему и двадцати пяти не дашь на вид (*фр.*).

и Николай Павлович. Он прохаживался по залам; его высокий рост позволял ему различать всех и в густой толпе.

Заметив Т..., который был тоже высокого роста, Николай Павлович направился в его сторону. Завидя государя, граф Т... приветствовал его с замиранием сердца, чувствуя себя как бы виноватым перед государем за то, что находился в отставке. Николай Павлович отвечал слегка на его поклон и стал всматриваться в его костюм.

— Ah, mon cher T..., comme vous voilà affublé, — сказал он с улыбкой, — comment appelez vous cela, — продолжал он, взяв его за рукав.

— Peatjack, votre majesté, — отвечал Т...

— Comment? — переспросил Николай Павлович.

— Peatjack, votre majesté, — повторил Т... с сильным сердцебиением.

— Ce n'est pas mal, mais quelle différence avec l'uniforme militaire *, — сказал государь и проследовал дальше.

Т... вздохнул всей грудью, надеясь, что его приключение окончено. Но, походя немного и милостиво разговаривая с некоторыми лицами, Николай Павлович опять увидал неподалеку Т...

— Ah! T..., comment s'appelle donc votre costume? — сказал он.

— Peatjack, votre majesté!

— Comment dites-vous? — переспросил Николай Павлович.

— Peatjack, votre majesté **, — отвечал Т... и чувствовал, как крупные капли пота выступали у него на лбу. Казалось, Николай Павлович забавлялся его смущением. Походя еще по залам, он опять увидал Т... и пошел к нему навстречу. Бедный граф, завидя государя, хотел ретироваться за колонну, но высокий рост выдавал его, и Николай Павлович отыскал его и там.

— Ah! mon cher T..., comment appelez-vous donc cet habit, j'ai très mauvaise mémoire ce matin, — сказал он.

— Peatjack, votre majesté, — с отчаянием отвечал Т...

— Comment, c'est un mot très difficile à retenir, — переспросил Николай Павлович.

---

* «А, Т... Как вы разоделись! Как это называется?» — «Пиджак, в. в.». — «Как?» — «Пиджак, в. в.». — «Недурно, — но какая разница с военным мундиром!» (*фр.*)

** «А! Т..., как же называется ваш костюм?» — «Пиджак, в. в.». — «Как?» — «Пиджак, в. в.» (*фр.*).

— Peatjack, votre majesté! * — сказал Т..., и едва Николай Павлович проследовал, как граф Т... поспешил оставить раут, обещая себе никогда не попадаться на глаза государю в злополучном пиджаке.

Раз Тургенев приехал к нам вскоре после написания им «Фауста». Он читал его сам у нас, но ни Огареву, ни Герцену «Фауст» не понравился, с той только разницей, что последний делал свои замечания очень сдержанно, тогда как первый критиковал «Фауста» очень резко; с этих пор Иван Сергеевич окончательно потерял всякое расположение к Огареву [15].

Помню, что раз Тургенев приехал в Лондон особенно веселый и милый к Герцену.

— Знаешь ли, что я тебе скажу, — начал он, обращаясь к Александру Ивановичу, — ведь я приехал нынче не один; чтоб тебя лицезреть, один чудак пустился в дорогу, не зная ни одного иностранного слова, и просил меня проводить его до Лондона. Ведь это подвиг? Отгадай — кто это? Вот что, — продолжал он, — может, лучше сначала тебе к нему съездить, может, Огареву не совсем приятно его видеть, были какие-то неприятности...

— Господа, — сказал Александр Иванович, — да уж это не Некрасов ли? Он ведь безъязычен; с чего же он взял, что мне будет приятно его видеть после того, что он через тебя, Иван Сергеевич, передавал Огареву?

— Да ведь он нарочно приехал из России, чтоб повидаться с тобой!

— Может ехать обратно, — сказал Герцен, и был непреклонен. Вообще, за Огарева он оскорблялся гораздо более, чем за самого себя.

В продолжение трех дней Иван Сергеевич постоянно уговаривал Герцена увидать Некрасова, по принужден был покориться непреклонной воле Герцена и увезти его обратно, не добившись свиданья [16].

По переезде в Швейцарию мы не видали более Ивана Сергеевича; изредка он переписывался с Герценом [17]. По распоряжению последнего «Колокол» высылался правильно Тургеневу, Вырубову и некоторым еще, но когда Огарев сломал ногу и Тургенев не осведомился о состоянии его здоровья, Герцен рассердился на Тургенева и не велел высылать ему более «Колокола»; зато, когда мы приехали

* «А! Т..., как же называется это одеяние? У меня сегодня прескверная память». — «Пиджак, в. в.». — «Как? Ужасно трудно запомнить это слово». — «Пиджак, в. в.» (*фр.*).

в Париж в конце 1869 года, Герцен сам смеялся, рассказывая, как при первом свидании Тургенев подробно и долго расспрашивал своего друга о здоровье Огарева.

— Видно, урок был хорош! — говорил Александр Иванович, смеясь.

IV

Во время свидания в Париже, в 1869 году, они разговорились о литературе. Александр Иванович спрашивал, что пишет Тургенев в настоящее время.

— Я ничего не пишу, — отвечал Иван Сергеевич, — меня в России не читают более; я уже стал писать для немцев по-немецки и печатать в Берлине; но вот беда, вздумали переводить, что я пишу, и, поверишь ли, — продолжал он с жаром, — когда в С.-Петербурге Краевскому был подан перевод, то он отдал его обратно переводчику, говоря: «Это нельзя напечатать, это слишком хорошо, вы переведите как-нибудь похуже, — я напечатаю»[18]. И оба приятеля залились звонким смехом.

Тургенев шутил, но внутри ему было больно это отчуждение своих. С двадцатипятилетнего возраста он был избалован судьбой, слава его все росла; впоследствии благодаря переводам Виардо он стал не менее известен и в Европе; перед ним широко растворялись двери лучших салонов Парижа и Лондона, он становился баловнем счастия, как вдруг родная страна отшатнулась, отвернулась от него, и за что? За изящную фотографию нигилизма в России («Отцы и дети»). Он писал, как соловей поет, без намеренья уязвить чье-нибудь самолюбие, он писал, потому что это было его призвание [19], а русская молодежь оскорбилась, увидала злую преднамеренность и ополчилась на Тургенева: тяжелое отношение со своими продолжалось несколько лет.

Герцен не любил антиэстетического проявления нигилизма в России и удивлялся негодованию русской молодежи на Тургенева. Он говаривал иногда соотечественникам: «Помилуйте, Базаров — апофеоз нигилизма, нигилисты никогда до него не дойдут. В Базарове есть много человеческого. Чего же им оскорбляться?»

Герцен и Тургенев переживали тяжелое время; оба они находились тогда под опалой общественного мнения в России: Тургенев, как сказано выше, за яркое представле-

ние нигилизма, Герцен за соболезнование о Польше[20]. Конечно, по своим взглядам и правилам, А. И. был всегда на стороне более слабых, но он не принимал никакого участия в польских делах; однако были недоброжелательные личности, которые на это намекали, и этого было достаточно, чтобы он был почти всеми оставлен.

Впоследствии для Тургенева все изменилось, к счастью еще при его жизни; он был понят, оценен на родине, и пылкая молодежь спешила сама горячо приветствовать талантливого писателя и старалась загладить свое несправедливое предубеждение против него[21]. А для Герцена заря этого горячего примирения никогда не занялась...

Когда Александр Иванович Герцен занемог своей последней болезнью, Иван Сергеевич навестил его и видел, что Герцену угрожает большая опасность, и все-таки он исчез на несколько дней[22]. Тогда именно Тургенев ходил (только потому, что не сумел отказаться) смотреть казнь Тропмана, которую и описал вскоре в «Вестнике Европы», издание 1870 года[23].

После казни Тропмана Тургенев пришел к нам нервный, почти больной; он провел несколько дней без сна и пищи. Он вспоминал с содроганием о виденном.

— Да, — говорил он, — лучше бы я вам помогал ходить за больным Александром Ивановичем, вот где было мое место; но я жалкий человек, стихии управляют мной. Когда Белинский *, умирающий, возвращался в Россию, я... я не простился с ним[24].

— Знаю, Иван Сергеевич, вас отозвала Виардо, не сделайте того же и нынче. Вы любите Герцена, а, пожалуй, и с ним не проститесь, — сказала я.

— Нет, нет, как можно, — возразил он горячо.

Вырубов почти не отходил от больного; Таландье **, узнав в Англии о кончине Герцена, без денег в ту минуту, заложил часы и поспел к похоронам Герцена, а И. С. Тургенева не было — он выехал из Парижа![25]

---

* Белинский был как бы руководителем Тургенева, восхищался его талантом, направлял его, а иногда выговаривал ему, как ребенку. (*Примеч. Н. А. Тучковой-Огаревой.*)

** Впоследствии депутат в палате. (*Примеч. Н. А. Тучковой-Огаревой.*)

М. Н. ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О И. С. ТУРГЕНЕВЕ

(*В пересказе М. А. Стаховича*)

Несколько дней тому назад я говорил в довольно многочисленном обществе очень почтенного дома о готовящемся после двадцати лет незаслуженного и непонятного равнодушия поминании Тургенева его земляками.

Общее сочувствие вызвали воспоминания.

Хозяйка дома обещала даже поделиться ими с, по-видимому, одумавшейся публикой, а хозяин посоветовал мне поискать их в беседе с его сестрою, бывшей здесь, но собиравшейся в этот день уезжать в тот монастырь, в котором она уже более десяти лет жила монахиней.

Я раньше слышал о дружбе ее с покойным писателем, зародившейся из-за соседства, развившейся благодаря своеобразной прелести этой выдающейся женщины, связанной с необыкновенной строгостью ее самостоятельного ума при сердце, способном привязываться глубоко и самоотверженно.

Но беседа представлялась мне уже вперед не плодотворной. Всегдашняя неоживленность семидесятилетней старушки и замкнутость монахини осложнялись сегодня готовящимся прощанием на целый год с родными, тревогой и сборами перед неблизкой дорогой. Ей, очевидно, было не до меня и моих мыслей о Тургеневе. Но и те несколько обрывистых сообщений, которыми она старалась откупиться от моего вопроса, показались мне способными заинтересовать тех, кто будет вспоминать Тургенева 22 августа. Попробую их пересказать «своими словами», вперед извиняясь перед истинным автором этой заметки и перед чи-

тателями, что в моем сухом пересказе они утеряли свою убедительную живость.

— Да, я была очень дружна с Иваном Сергеевичем. Одно время мы виделись ежедневно. Потом мы долго переписывались, и у меня было много его писем, очень интересных и, по-моему, великолепно написанных. Они пропали. Один бесцеремонный мои свойственник, посетив мое имение после того, как я переехала в монастырь, поднял стамеской верх письменного стола, в который я их запирала, унес вместе с двумя письмами Некрасова, которыми я очень дорожила, и, говорят, даже напечатал одно или несколько в каком-то журнале. Он, вероятно, приравнял мое монашество к смерти, утвердил себя в праве наследства и распорядился, как захотел... как я, наверное, никогда не захотела бы распорядиться.

Мы познакомились раньше, но мы очень сошлись с Тургеневым, когда он, сосланный, жил в Спасском, всего в 18 верстах от нашего Покровского, и ежедневно к нам приезжал. Он уверял даже, что ездит к нам с трепетом, с чувством виноватости перед запрещенным, так как Покровское было в Чернском уезде, а он не должен был выезжать из пределов Мценского, и местная полиция обязана была иметь постоянный надзор за этим невыездом и над его занятиями и поведением [1].

Но рассуждал он так в шутку. Иван Сергеевич сам и уморительно представлял нам, как раз в месяц ему докладывали, что «становой в передней. Приехал для сыску». Иногда он его отпускал тут же, даже не показавшись ему на глаза; иногда по забывчивости, занятости или отлучке задерживал. Потом пленник вспомнит и, извинившись, вышлет грозному тюремщику 10 рублей. Добродушный представитель полицейской власти немедленно удалялся, несколько раз с поклонами пожелав «продолжения его благополучию и успехов во всех желаниях и начинаниях». Первому не очень-то сочувствовал я, смеясь, добавлял Тургенев, а второму, вероятно, посылавшие его!

Он очень просто и незлобно рассказывал о недолгом своем пребывании на съезжей в Петербурге, предшествовавшем его высылке в Спасское. Вспоминал, что очень многие лица в городе были не менее его самого удивлены такой странной карой, наложенной на уже известного писателя, а еще больше поводом к ней *. Кроме друзей и зна-

* Некролог о скончавшемся в Москве Гоголе. (*Примеч. М. А. Стаховича.*)

комых, к нему или с расспросами о нем собиралось в части многочисленное общество. Узенькая улица, на которую она выходила, была заставлена экипажами, и наконец был прислан особый пост для установки и скорейшего пропуска экипажей, так как полицмейстер узнал, что государь Николай Павлович очень недоволен общественным участием и общими симпатиями к арестованному [2].

Одна тяжелая подробность этих дней сохранилась в его памяти: ужасное соседство его комнаты с экзекуционной, где секли присылаемых владельцами на съезжую провинившихся крепостных слуг. Написавший «Записки охотника» принужден был с отвращением и содроганием слушать хлест розг и крики секомых [3].

1855 год Тургенев, кажется, весь провел в Спасском [4], и наша дружба еще более скрепилась, мы сошлись еще теснее. Но мы, семейные люди, реже ездили к нему, нежели он, одинокий, к нам, и, помнится, не проходило у нас дня без встречи. Мой муж был такой же страстный охотник, как Иван Сергеевич. С охоты они обыкновенно возвращались к нам и вечер проводили за чтением или беседой. Тургенев читал очень хорошо: просто, вдумчиво, как бы толкуя, но охотнее читал чужое, любимое им, нежели свое.

Свое он читал только что написанное, даже не отделанное еще. «Так в серьезных домах, — говорил он, — не заставляют гостей любоваться своими детьми. Еще можно, пожалуй, показать их на крестинах, а потом уже нечего их выводить, пока не станут большими».

Я помню, как он читал нам «Рудина», который и мне и мужу очень понравился. Мы были поражены небывалой тогда живостью рассказа и содержательностью рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин действительно умным среди остальных, которые больше умничают [5]. При этом он считал не только естественной, но и неизбежной растерянность этого человека перед сильнейшей духом Наташею, готовой и способной на жизненный подвиг.

Такие вечера в деревенской тиши были очаровательны, и я дорожила ими чрезвычайно. Но завелась губительница моей радости — его собака Булька. После охоты она требовала отдыха, ей нужен был сон, а чтобы она хорошо выспалась, уверял Тургенев, ей необходим был «Journal des Débats». Я сшила ей подушку на кресло, покрывала ее нашими газетами, но противная собака не засыпала, постоянно вздрагивала от мух, ловила их, нерв-

ничала и подходила к хозяину, будто жалуясь и зовя его домой.

— Вот видите, — говорил Тургенев, — нет «Journal des Débats» — нет и сна. Я для нее подписываюсь на него.

Я знала, что секрет заключался в размерах этой самой большой в то время газеты, покрывавшей Бульку кругом, но все-таки сердилась и на нее, и на Бульку, а иногда доставалось и хозяину.

Но ссоры из-за разлучницы — Бульки, как мы ее прозвали, не нарушали ежедневных сношений. Мы подолгу разговаривали...

— Вы были знакомы с Иваном Сергеевичем? Не правда ли, другого такого собеседника не бывало? Никто живее его не рассказывал. Мне тогда казалось, что не может быть вещи, которой бы он не знал. И на всех языках он говорил не свободно (как принято выражаться), а удивительно. Необыкновенно изящно, не утрируя и не копируя национального говора, но выговаривая верно и твердо.

Чаще всего мы с ним спорили о стихах. Я с детства не любила и не читала стихов; мне казалось, и я говорила ему, что они все — выдуманные сочинения, еще хуже романов, которых я почти не читала и не любила.

Тургенев волновался и спорил со мною «даже до сердцов». Особенно из-за Фета, которым он тогда восхищался и часто цитировал, добавляя: «Под таким стихом ведь Пушкин подписался бы. Понимаете ли, — Пушкин! Сам Пушкин!!»

Из-за прекрасного его чтения, под его влиянием развившись вкусом и умом, я во многом изменила свои взгляды, многое перечитала, даже пристрастилась. Но Фета продолжала не ценить и не понимала его прелести.

Раз наш долгий спор так настойчиво разгорячился, что перешел как-то в упреки, в личности. Тургенев сердился, декламировал, доказывал, повторял отдельные стихи, кричал, умолял. Я возражала, ни в чем не сдаваясь и подсмеиваясь. Вдруг я вижу, что Тургенев вскакивает, берет шляпу и, не прощаясь, уходит прямо с балкона не в дом, а в сад. Я очень испугалась, потому что к балкону не была приделана лестница, ступенек 6—8. Но огромный рост помог ему соскочить благополучно.

Приказав запрягать коляску и догнать себя, он сердитой походкой зашагал по полю.

Мне стало жаль, а потом досадно.

Когда вернулся муж и хотел сейчас же за ним ехать, я отговорила, прикидываясь недовольной.

Мы с недоумением прождали его несколько дней. Тургенев не приезжал.

Как часто бывает при размолвках, люди понемногу свыкаются с неожиданной обидой, подыскивают ей основание, и случайное недружелюбие переходит во взаимность, закрепляется. Так мы, через 2—3 недели, перестали его ждать и уже избегали даже разговаривать о ссоре: она стала неприятностью, сердившей нас.

Вдруг неожиданно приезжает Тургенев, очень взволнованный, оживленный, но без тени недовольства.

— Да почему вы так долго не показывались?

— А видите *ли*, — это была хитрость. Никогда так не пишется, как «в сердцах», никогда так прилежно не работаешь, как озлобившись. Я почувствовал тогда это настроение и поскорее ушел, чтоб не сгладить его, не упустить. Мне давно надо было написать одну вещицу. Вот я и написал. Если хотите, я вам вечерком прочитаю.

В тот же вечер он прочел нам эту повесть. Она называлась «Фауст».

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

ИЗ ГЛАВЫ XII

Сколько помнится, в 1855 году Дружинин, Боткин и я согласились совершить поездку в деревню к Тургеневу, который, после кончины матери, упрашивал нас приехать к нему в Спасское-Лутовиново. К назначенному сроку мы съехались в Москве, переночевали у Боткина и на другой день выехали в тарантасе на тульскую дорогу. Во все время пути Боткин, так часто менявший расположение духа, так неожиданно переходивший от сахара к перцу и от меда к горчице, находился в самом елейном настроении. Он все время с нежностью говорил о Тургеневе, радовался его избавлению из-под сурового гнета родительницы, радовался его теперешнему благосостоянию. Мы вторили ему и вместе с ним мысленно переносились к тому, что нас ожидало: старинный, обширный барский дом, полный, как чаша, нескончаемый парк, леса на несколько верст в окружности и, наконец, перспектива увидеть эту соседку-красавицу, о которой Тургенев говорил, что при первом взгляде на нее ум наш помрачится и мы все попадаем ниц, как подкошенные стебли [1].

Ожидания наши, к сожалению, не вполне оправдались. После пожара старого дома осталась только часть его, куда перенесли все, что можно было спасти; парк оказался садом, по, правда, очень большим, с древними деревьями и пространным прудом; на всем лежала печать запущенности, не мешавшей, впрочем, живописности в

целом. Вокруг дома и деревни расстилалась плоская черноземная земля; надо было отправляться версты за две, чтобы встретить холмы и леса. Соседка-красавица произвела на нас обратное действие против того, что мы ожидали: она была во всех статьях скорее дурна собою, чем красива.

Разочарование наше продолжалось, впрочем, не долго. Радушная встреча, искренняя радость Тургенева, удовольствие видеть его в собственном доме — все это возвратило нам отличное расположение духа. Боткин поворчал немного; не обошлось, конечно, без того, чтоб он не подтрунил над хозяином дома, но после купанья в пруду и отличного обеда с блюдом грибов, зажаренных в сметане, он вдруг умилостивился и несколько раз подходил к Тургеневу, лаская его по плечу и приискивая ему разные милые названия.

По утрам Тургенев удалялся в свой маленький кабинет, где находилась также его постель, загороженная ситцевыми ширмами; мы расходились по своим комнатам с книгой или занимались писанием писем. К завтраку и обеду являлся всегда дядя Тургенева, человек старый, но крупный, служивший когда-то в кавалерии, большой весельчак и жуир, взявший на себя все хлопоты по хозяйству и, как оказалось, распоряжавшийся им на более широкую ногу, чем бы следовало: он приходил обыкновенно с женою, молодой женщиной, годившейся ему во внучки. Тургенев как будто стеснял их своими наездами в деревню.

После обеда к подъезду подавали длинные-длинные дрожки, так называемые *разлюли,* мы все усаживались, не выключая Дьянки, любимой собаки Тургенева и неразлучной его спутницы, и отправлялись в лес. Никогда, я думаю, лес Тургенева не оглашался такими взрывами хохота, как тогда, во время этих прогулок. Боткин положительно захлебывался от прилива сладких чувств. Раз только внезапно изменил он своему настроению и налетел на меня, как сокол на жертву. Думая провести кратчайшим путем, я всех завел в высокую, полную росы траву, и Боткину представилось, что он промочил себе ноги. Боже, какие эпитеты посыпались на мою голову! Но мы вышли на красивую лужайку, отененную большими деревьями, и все тотчас же как рукой сняло. Боткин бросился на траву, вытянулся на спине и нежно млеющим голосом начал читать стихотворение Кольцова:

Природы милое творенье,
Цветок, долины украшенье...
и т. д.[2]

По вечерам мы собирались в диванной и кто-нибудь из нас громко читал новую статью из толстых журналов, присылаемых из Москвы и Петербурга. Вечер проходил иногда в беседе, приправляемой оживленным спором.

Не помню, кто-то из нас коснулся деревенской красавицы, которую так живо описывал нам Тургенев и которая нас так разочаровала. Боткин привязался к этому случаю и стал язвить Тургенева, уверяя, что привычка его усиливать всегда краски против того, что есть в действительности, часто ставит его в комическое положение. Слово за словом, пришли к заключению, что такая слабость легко приводит к последствиям, которые могли бы служить отличным мотивом для сценического представления, Я предложил присесть сейчас и набросал план пьесы; мысль была единогласно одобрена, и Тургенев сел записывать; мы. между тем, кто лежа на диване, кто расхаживая по комнате, старались, перебивая друг друга, развивать сюжет, придумывать действующих лиц и забавные между ними столкновения. Кавардак вышел порядочный. Но на другой день, после исправлений и окончательной редакции, вышел фарс настолько смешной и складный, что тут же решено было разыграть его между собой. Сюжет фарса не отличался сложностью: выставлялся добряк помещик, не бывавший с детства в деревне и получивший ее в наследство; на радостях он зовет к себе не только друзей, но и всякого встречного; для большего соблазна он каждому описывает в ярких красках неслыханную прелесть сельской жизни и обстановку своего дома. Прибыв к себе в деревню с женою и детьми, помещик с ужасом видит, что ничего нет из того, что он так красноречиво описывал: все запущено, в крайнем беспорядке, всюду почти одни развалины. Он впадает в ужас при одной мысли, что назвал к себе столько народу. Гости между тем начинают съезжаться. Брань, неудовольствие, ссоры, столкновения с лицами, враждующими между собою. Жена, потеряв терпение, в первую же ночь уезжает с детьми. С каждым часом появляются новые лица. Несчастный помещик окончательно теряет голову, и когда вбежавшая кухарка объявляет ему, что за околицей показались еще три тарантаса, он в изнеможении падает на авансцене и

говорит ей ослабевшим голосом: «Аксинья, поди скажи им, что мы все умерли!..»

Тургенев сам вызвался играть помещика; он добродушно согласился даже произнести выразительную фразу, внесенную в его роль и сказанную будто бы им на пароходе во время пожара: «Спасите, спасите меня, я единственный сын у матери!» Боткин взял роль сластуна, брюзгливого, ворчливого статского советника; Дружинин должен был играть роль желчного литератора; мне предоставлена была роль врага Дружинина, преследующего его всюду и на этот раз решившегося с ним покончить.

Тургенев не остановился на этом: увлеченный мыслью домашнего спектакля в Спасском, он стал уверять, что одного фарса мало будет, необходимо перед тем разыграть что-нибудь классическое; в тот же вечер принес он нам пародию на сцену Эдипа и Антигоны из Озерова; она оканчивалась таким образом:

Антигона (*сентиментально*).

Почто я зрю печали на лице твоем, родитель?

Эдип (*рыдая*).

Ах, я Эдип!..

Антигона (*целуя его в лысину*).
Родитель, полно ныть...
Прекрасную тираду ты лучше прочитай,
Где в пламенных стихах
Ты сожалел о падших волосах...

Эдип (*внезапно одушевляясь*).
Изволь, о дочь моя, изволь...
Ты зри главу мою... главу... зри... зри...

Антигона (*в страхе и в сторону*).
Он роль свою забыл, несчастный старикашка...
Уйдем отсель скорей, папашка...
и т. д.

Эдипа должен был представлять Тургенев, я — Антигону.

По этому случаю графиня М. Н. Толстая (сестра Льва Николаевича, соседка Тургенева) прислала нам целый ларец браслетов, колец и диадему, долженствовавшие украшать костюм Антигоны. Из Мценска привезли красок, кистей и несколько стоп бумаги. Я принялся клеить и пи-

сать декорации; для Эдипа приготовил я из трепаной пакли парик и бороду.

Намерение потешить только самих себя и двух-трех близких соседей совсем не удалось. Слух о *спектакле* в Лутовинове быстро распространился по уезду; со всех концов посыпались письма с просьбой получить приглашение. Тургенев все время страшно суетился; в ответ на протесты с нашей стороны он уверял, что отказать просьбам — значило бы перессориться со всем уездом, и поминутно повторял известную французскую фразу:

— Le vin est tiré, il faut le boire!.. *

Вечером, в день спектакля, съехалось столько публики, что половина принуждена была слушать стоя.

Сцена из «Эдипа» не произвела никакого эффекта, несмотря на то что Тургенев в своем парике и бороде, делавших его похожим на короля Лира, очень хорошо изобразил расслабленного, выжившего из ума старца. Фарс имел больше успеха; мы лезли из кожи; Боткин был великолепен в роли ворчливого статского советника. Сцена, когда желчный литератор (Дружинин) бросает зажженную спичку на солому, служившую ему постелью, и говорит: «Пускай горит, он накормил нас тухлыми яйцами!» — и когда на крик: «Пожар!» — выбежал сам помещик (Тургенев) и произнес свою знаменитую фразу: «Спасите, спасите, я единственный сын у матери!» — вызвала дружные аплодисменты. Но вообще, сколько можно было заметить, большинство публики осталось не вполне удовлетворенным спектаклем.

Эти пять-шесть недель, проведенные в Спасском, считаю я в числе лучших моих воспоминаний [3].

Мне случалось потом снова заезжать к Тургеневу. Последний раз, летом в 1881 году, я застал у него семью Якова Петровича Полонского. Тургенев всегда особенно любил и ценил Я. П. Полонского; связь их была давнишняя, едва ли не с юности; он любил все, что было близко Полонскому, и радовался видеть его семью у себя дома [4]. Я, со своей стороны, тоже радовался встрече, так как разделял к семье Полонского чувства Тургенева. Мы проводили время в беседах и прогулках. Иван Сергеевич был по-прежнему разговорчив, приветлив, часто шутил, но уже той веселости — той полной веселости, которая оживляла нас в старое время, я уже в нем не заметил. Время от

* Вино откупорено, надо его выпить!.. (*фр.*)

времени в чертах его проявлялся плохо скрываемый оттенок меланхолического, как будто даже горького чувства. Оно и понятно: не считая жены и детей Я. П. Полонского, мы были в тех уже годах, когда легче вспоминать о веселых днях, чем их испытывать.

Кто бы мог подумать, однако ж, что злосчастному фарсу, сочиненному нами ради потехи в Спасском, суждено было еще раз явиться на *сцене*, — и где же? — в Петербурге!

Но я забегаю вперед.

ИЗ ГЛАВЫ XIII

Мы как-то разговорились о Тургеневе и припомнили наше представление в Спасском; рукопись фарса оказалась у Дружинина. Я, от нечего делать, воспользовался ею и сочинил рассказ «Школа гостеприимства», напечатанный потом в «Современнике», к великому негодованию тогдашнего критика «Отечественных записок» Дудышкина, который отозвался о нем как о предмете низменного литературного рода, забыв, вероятно, что даже такой великий писатель, как Диккенс, не брезгал иногда фарсом [5] <...>

Вернувшись из Марьинского в Петербург, я встретился с графом Л. Н. Толстым <...> С первых же дней Петербург не только сделался ему не симпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.

Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника» и, несмотря на то что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником [6], прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к по-

зорной колеснице и возить по петербургским улицам. У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего — его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенною дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком <...>

Выше я заметил, что злосчастный фарс, сочиненный в Спасском, был разыгран в Петербурге. Случилось это в зиму того лета, когда мы жили у Тургенева. В артистических кружках Петербурга распространился слух, что Тургенев, имя которого пользовалось громкою известностью, написал пьесу. В семействе архитектора Штакеншнейдера, жившего тогда в своем доме на широкую ногу, затевался домашний спектакль. Чего же лучше, как угостить публику такою новинкой? С Тургеневым Штакеншнейдеры не были знакомы; его к тому же еще не было в Петербурге. Обратились к Дружинину; тот начал отказывать, и, наконец, раздражившись неотвязчивыми просьбами, отдал рукопись, умолчав почему-то о нашем сотрудничестве. Роли живо разобрали любители. Хозяева дома, не присутствуя на репетициях, рассылали между тем приглашения, стараясь собрать по возможности избранную публику; приглашен был, между прочим, Н. И. Греч. Тургенев в это время только вернулся из Спасского. В день представления Дружинин, желая, вероятно, подшутить над

Тургеневым, уговорил его ехать вместе к Штакеншнейдерам [7].

Появление Тургенева в зале было тотчас же всеми замечено; хозяева дома были в восхищении; они начали его упрашивать занять кресло в первом ряду, но тот, к счастью, отказался и сел на скромном месте подле Дружинина. Случилось так, что перед самым началом спектакля актеры, желая, вероятно, придать себе больше смелости, выпили много лишнего; при поднятии занавеса многие из них были совершенно пьяны и понесли страшную чепуху; один из них, игравший роль брюзгливого статского советника, украсил почему-то свою грудь целым рядом орденских звезд; [8] вместо реплики он неловко толкнул товарища; тот споткнулся и повалился на пол, увлекая за собою стул; другие сочли нужным вступиться; на сцене произошла чистейшая свалка. Публика пришла в смущение. Можно себе представить, что должен был испытывать Тургенев, когда Дружинин шептал ему, что все считают его автором пьесы, и в подтверждение указал на многих лиц, которые приподымались с мест, отыскивая глазами автора. Греч, сидевший в первом ряду и как нарочно надевший в этот вечер свою звезду, привстал и, с негодованием указывая публике на сцену, произнес: «Полюбуйтесь, милостивые государи, вот она натуральная школа!»

Тургенев, стараясь скрыться за спинками кресел, что было не легко для его роста, и частью заслоняясь ближайшими соседями, пробрался наконец к выходной двери [9].

Когда напоминали ему в приятельском кругу об этом спектакле, он бросался на ближайший стул, закрывал лицо руками и начинал стонать, как от жесточайшего ревматизма. Неуместная шутка Дружинина не прошла ему даром. Тургенев отплатил ему следующею эпиграммой:

Дружинин корчит европейца, —
Как ошибается, бедняк!
Он труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.

Дружинин посердился, но не долго; он сам сознавался в своей вине перед приятелем; неудовольствие против Дружинина прошло еще скорее. В течение зимы их хорошие отношения снова возобновились.

ИЗ ГЛАВЫ XIV

Недостаток воли в характере Тургенева и его мягкость вошли почти в поговорку между литераторами; несравненно меньше упоминалось о доброте его сердца; она между тем отмечает, можно сказать, каждый шаг его жизни. Я не помню, чтобы встречал когда-нибудь человека с большею терпимостью, более склонного скоро забывать направленный против него неделикатный поступок. Раз только в жизни у него достало настолько характера, чтобы сохранить до конца неприязненное чувство к лицу, с которым прежде находился он на приятельской ноге, — лицо это был Некрасов [10].

Причина их размолвки мне настоящим образом неизвестна; рассказы о ней слишком разнообразны и пристрастны, чтобы можно было с достоверностью на чем-нибудь остановиться. Несомненно одно только: в натуре Тургенева не было ничего агрессивного, не было признака того, что называется задором; его, напротив, можно было упрекнуть в излишней уступчивости, даже против тех, кто не стоил его мизинца, не мог равняться с ним ни в каком отношении.

Нельзя предполагать, чтобы поводом к размолвке между ним и Некрасовым служила со стороны Тургенева денежная причина; бескорыстие Тургенева можно причислить к отличительным чертам его характера. За несколько времени до ссоры с Некрасовым он продал ему издание «Записки охотника» за тысячу рублей; сообщая об этом Герцену письмом от 22 июля 1857 года *, он не только не жалуется, но радуется, что Некрасов перепродал это издание за две с половиной тысячи и нажил на нем, таким образом, полторы тысячи. Можно привести целый ряд случаев, доказывающих, с какою беспечностью Тургенев относился к денежному вопросу.

Тронутый положением бедного семейного родственника, Ив. Серг. предложил ему заняться управлением имения; желая окончательно успокоить его и упрочить его судьбу, Ив. Серг. поспешил выдать ему, на случай своей смерти, вексель в пятьдесят тысяч. Два года спустя благородный родственник представил вексель ко взысканию, поставив своего благодетеля в трагическое положение.

---

* «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к Герцену». М. Драгоманова, Генуя, 1892 г. [11]. (*Примеч. Д. В. Григоровича.*)

Ив. Серг. ограничился только тем, что попросил его оставить Спасское и передал его управление другому лицу <...>

Если б возможно было составить список деньгам, которые Тургенев роздал при своей жизни всем тем, кто к нему обращался, сложилась бы сумма больше той, какую он сам прожил. Приписывать его щедрость не доброте сердца, а распущенности, мелочному тщеславию могут только те, которые, судя по себе, не допускают в других возможности честных, великодушных побуждений; когда такая возможность слишком уже очевидна, они набрасываются с яростью голодных собак на какую-нибудь другую сторону лица и на ней стараются выместить свою злобу.

Разрыв с Некрасовым и «Современником» объяснялся публике редакцией как результат исключительно идейных разногласий и убеждений; инициатива разногласия приписывалась самой редакции. Из переписки Тургенева с Герценом видно между тем, что разрыву способствовал Герцен, а инициатива разрыва принадлежит самому Тургеневу. Вот что писал он Герцену 9 января 1861 года: «С «Современником» и Некрасовым я прекратил всякие сношения, что, между прочим, явствует из ругательств à mon adresse * почти в каждой книжке. Я велел им сказать, чтоб они не помещали моего имени в числе сотрудников, а они взяли и поместили его на самом конце. Что тут делать?» [12] Авторское самолюбие вряд ли играло здесь какую-нибудь роль; имя Тургенева стояло тогда на главном плане, и желание оскорбить его, поставив его имя в конце объявления, не достигало цели, не могло оскорбить его. Наконец, все это произошло уже после разрыва. Поводом к нему должна была служить более важная причина, иначе Тургенев, с его уступчивостью и мягкостью, не был бы способен в течение стольких лет не изменить своему неприязненному чувству [13].

У Тургенева было авторское самолюбие; у кого же его нет? Он, кажется, имел на него право, но оно никогда не доходило до того болезненного состояния, как это было, например, у Гончарова, Достоевского и т. д. С ним свободно, без всякого стеснения, можно было высказывать мнение о его произведениях, не рискуя поселить в нем враждебного чувства. Самолюбие, надо думать, питается

* в мой адрес (*фр.*).

другими корнями, чем самомнение, потому что с этой последней стороны Тургенев представлял исключение между своими собратами. Редко его произведение печаталось прежде, чем он прочтет его кому-нибудь из близких людей, не посоветуется; замечания возбуждали иногда спор, но принимались всегда без признака самолюбивого укола; рукопись потом сверху донизу перечитывалась, исправлялась и часто переписывалась заново.

Строгий к самому себе, он не только был снисходителен к другим, но часто открывал в их произведениях несуществующие достоинства. Стоило ему прочесть повесть или рассказ и покажись ему сгоряча, что в том или другом есть проблеск дарования, он носился с ними всюду, торжественно провозглашал нарождение нового таланта, спорил, раздражался против недостатка чуткости к художественным приемам и в конце концов, когда убеждался или ему ясно доказывали несостоятельность предмета его увлечения, он охотно сознавался в своем заблуждении и сам над собою добродушно подтрунивал. В увлечениях этого рода часто руководило им также чувство добра, желание поддержать начинающего или, наконец, помимо литературы, просто прийти на помощь, выручить человека из бедственного положения.

Где бы он ни жил — в Париже или Петербурге, — нельзя было к нему зайти без того, чтобы не встретить множество молодежи обоего пола; раз в Петербурге, направляясь в номер гостиницы, где он жил, мне пришлось проходить по коридору мимо целого ряда таких посетителей и посетительниц, сидевших на подоконниках в ожидании очереди. Его терпимость и снисхождение в этих случаях могли основываться на мягкости характера, готового скорее стеснить себя, чем решиться на отказ, но, во всяком случае, не на желании *популярничать,* как распускали слух его недоброжелатели. Те, которые к нему обращались, по большей части платили ему неблагодарностью, другие принадлежали почти исключительно к людям скромного общественного положения, наконец, сколько бы их ни было и к какому бы классу они ни причислялись, что могли бы они прибавить к популярности Тургенева, которая росла год от году без всякой помощи, благодаря только его таланту?

В терпимости и снисхождении Тургенев доходил иногда до самоунижения, возбуждавшего справедливую досаду его искренних друзей.

Одно время он был увлечен Писемским [14]. Писемский, при всем его уме и таланте, олицетворял тип провинциального жуира и не мог похвастать утонченностью воспитания; подчас он был нестерпимо груб и циничен, не стеснялся плевать — не по-американски, в сторону, а по русскому обычаю — куда ни попало; не стеснялся разваливаться на чужом диване с грязными сапогами, — словом, ни с какой стороны не должен был нравиться Тургеневу, человеку воспитанному и деликатному. Но его прельстила оригинальность Писемского. Когда Ив. Серг. увлекался, на него находило точно затмение, и он терял чувство меры.

Раз был он с Писемским где-то на вечере. К концу ужина Писемский, имевший слабость к горячительным напиткам, впал в состояние, близкое к невменяемости. Тургенев взялся проводить его до дому. Когда они вышли на улицу, дождь лил ливмя. Дорогой Писемский, которого Тургенев поддерживал под руку, потерял калошу; Тургенев вытащил ее из грязи и не выпускал ее из рук, пока не довел Писемского до его квартиры и не сдал его прислуге вместе с калошей.

С его большим умом, разносторонним образованием, тонким эстетическим чувством, широтой и свободой мысли, Тургенев мог бы быть — и, по-настоящему, должен был бы быть в свое время — центром литературного кружка; вокруг него охотно бы стали группироваться остальные литературные силы; к сожалению, это не осуществилось, — не осуществилось потому, что для представителя кружка у него недоставало твердости, выдержки, энергии, необходимых условий в руководителе. Он сам добродушно величал себя «овечьей натурой». Он, кроме того, не был способен к практической деятельности, доказательством чего служат его собственные запутанные дела; наконец, даже при лучших нравственных условиях, Тургенев не мог бы играть преобладающей роли в литературном кружке; он наездом только бывал в России и никогда бы не решился оставить Париж и семейство г-жи Виардо. Он и его брат оправдывали предсказание матери, говорившей им обоим: «Жаль мне вас; вы не будете счастливы, вы оба *однолюбцы»,* то есть будете всю жизнь привязаны к одной женщине.

Но слабость характера отличала Тургенева только в делах житейских. Известно, как много нужно силы воля, энергии, твердости, чтобы долгое время неотступно пресле-

довать одну и ту же задачу, бороться против нервного и физического утомления, заставить себя довести до конца продолжительный умственный или художественный труд. С этой стороны Тургенев — автор многих длинных литературных произведений — подтверждает только факт двойственности в артистических натурах с выдающимся творческим талантом. Такие натуры как бы вмещают в себе два отдельные существа, не только не схожие между собою, но большею частью совершенно противуположного характера: одно выражается внешним образом и принадлежит жизни; другое скрывается в тайнике души и служит только творчеству; последнее чаще всего лучше первого. Пушкин превосходно выразил эту двойственность, сказав:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира.
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел...
и т. д. [15]

Но это не вполне можно отнести к Тургеневу. Когда усыплялось его творчество и сам он малодушно погружался «в заботы суетного мира», он и тогда не казался ничтожным; его большой ум и образование нигде и никогда не допустили бы его до такой роли.

Ивана Сергеевича часто упрекали в том, что он не стеснялся, когда приходил случай, сочинить эпиграмму на приятеля, сделать на его счет какое-нибудь комическое или едкое сравнение, и приписывали это двуличию его характера. Тургенев действительно был мастер на эпиграмму. В прекрасной статье о нем Я. П. Полонского «Тургенев у себя» приведено несколько таких образчиков. Для красного словца он, правда, не щадил иногда приятеля, но отсюда далеко еще до обвинения его в фальшивости и двуличии. Легко так говорить тем, кому бог отказал в остроумии. Награди их бог наблюдательностью, способностью подмечать смешную сторону — и главное, способностью моментально облечь подмеченное в живую форму, — они

заговорили бы совсем другое. Желательно было бы взглянуть на смертного, награжденного такими свойствами, который отказался бы от них добровольно и сказал бы себе: не высказывай своих наблюдений, скрой их в груди своей, придержи язык из христианского чувства, из опасения хотя бы на секунду досадить ближнему... На такую добродетель способен был бы разве только Христос, олицетворение всех добродетелей. Не в оправдание, а в пример приведу Пушкина, который не утерпел, чтобы не написать на двери друга своего Жуковского:

Из савана оделся ты в ливрею,
На пудру променял лавровый свой венец
И руку жмешь камер-лакею...
Бедный певец!..[16]

Другой поэт, Ф. И. Тютчев, не стеснялся называть своего друга князя Горчакова «фасадом великого человека» и «Нарцызом собственной чернильницы» и т. д. Соболевский, друг князя В. Ф. Одоевского, написал на него <...> эпиграмму:

Случилось раз, во время оно,
Свалился с дерева комар,
и т. д.

Для перечисления подобных примеров потребовались бы не страницы, но целые томы; из этого следует только, что даже у хороших людей больше эгоизма, чем христианской добродетели, и ничего больше. Кто же в этом не грешен?

У Тургенева, как у всякого выдающегося человека, было много недоброжелателей и клеветников. Известие о его кончине, отразившееся скорбью во всей России, его похороны, собравшие на улицах весь Петербург и сопровождаемые массами людей, которым дорога русская слава, — были лучшим ответом его клеветникам и завистникам, старавшимся уронить его значение в глазах русской читающей публики. Кончу о нем словами Я. И. Полонского, — словами, вырвавшимися из сердца: «Кто в Тургеневе потерял не только знаменитого, родного писателя, но и друга, тот никогда не забудет, как много потерял он, насколько стал он беднее и беспомощнее».

Разрыв Тургенева с Некрасовым и уход его из «Современника» сильно отразились на характере редакции этого журнала. В каждом кружке есть непременно лицо более

или менее интересное, симпатическое, привлекательное; таким был в «Современнике» Тургенев. Его не стало, и старые приятели мало-помалу один за другим начали удаляться. В состав редакции входили к тому же новые лица, принадлежавшие другому поколению, ничем нравственно не связанные с прежними сотрудниками. Во главе журнала как критик, дававший камертон направлению, находился Добролюбов, весьма даровитый молодой человек, но холодный и замкнутый. Главный редактор и хозяин журнала, Некрасов, посвящал ему те свободные часы, которые оставались у него после вечеров и ночей, проводимых за картами в Английском клубе и в домах, где велась крупная игра. Громадные выигрыши и проигрыши, поддерживая в нем одинаковое нервное возбуждение, отвлекая его ум к другим интересам, мешали ему вести дела с прежним вниманием. Ив. Ив. Панаев из редакторов превратился каким-то образом в простого сотрудника, получавшего гонорар за свои ежемесячные фельетоны. Добрейший этот человек, мягкий как воск, всегда готовый услужить товарищу, когда-то веселый, беспечный, любивший приятельскую компанию, находился теперь постоянно в мрачном, раздраженном до болезненности состоянии духа.

. . . .

И. С. ТУРГЕНЕВ
В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

П. В. АННЕНКОВ

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ
1856—1862

I

В 1856, то есть в год появления «Рудина» — с чем связывают поворот в жизни самого автора, — начинаются и частые отлучки Тургенева за границу *[1]. С переменой царствования наступила и льготная пора для русских путешественников, которые высвобождены были от паспортных стеснений при отъезде, считавшихся прежде нужными для благоденствия и устойчивости порядка, что еще от времени до времени многими повторяется и теперь. Отмена формальностей при добывании паспорта, объявленная

---

* Просим извинения у наших читателей за продолжительный перерыв в рассказе со времени появления первого нашего очерка «Молодость Тургенева» в «Вестнике Европы», 1884, февраль, 449 стр. Причина замедления заключалась в том, что накануне своей смерти Тургенев уполномочил меня письменно, в случае своей кончины, разобрать его переписку и взять из нее то, что мне будет пригодно, а после его смерти г-жа Полина Виардо, сделавшаяся законной наследницей всего оставшегося после него движимого имущества, изъявила готовность исполнить волю покойного немедленно, но была остановлена процессом, возникшим между нею и мужем единственной дочери покойного, по поводу того же самого наследства. Так как процесс уже решен ныне французскими судами в пользу г-жи Виардо, то надежда добавить мой труд весьма важными документами частной переписки Тургенева заставила меня снова приступить к делу, результатом чего и являются эти воспоминания. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

в эпоху коронации имп. Александра II, не могла касаться вполне Тургенева: он состоял еще под присмотром полиции, и для него требовалось соблюдение старых порядков ходатайства и особого разрешения[2]. Много помог ему выпутаться из хлопот егермейстер Иван Матвеевич Толстой (впоследствии граф) своим влиянием. Человек этот оказывал несомненные знаки личного расположения и внимания к Тургеневу, сопровождаемые, однако, по временам выговорами и замечаниями, когда последний слишком легко и свободно относился к его словам и наставлениям. Так, однажды, приглашенный И. М. Толстым на охоту и дав ему слово, Тургенев не почел за нужное обременять себя исполнением обещания и на другой же день получил от Толстого записку с замечанием, что поступок этот имеет вид и характер грубой неучтивости, которая, может статься, и находится в привычках автора, но которую не следует прилагать ко всякому.

Около того же времени мы имеем первое письмо Тургенева с дороги. Он внезапно уехал в Москву из Петербурга, вызванный издателем «Русского вестника» г. Катковым. Письмо это довольно любопытно. Оно рисует начало большой распри между писателем и журналистом, не упраздненной и смертию одного из них.

«*Москва, 16 января 1856 г.* [3]

Любезный П. В. Я приехал сюда хотя не с бронхитом, однако с расстроенной грудью и поселился у милейшего И. И. Маслова, в Удельной конторе, на Пречистенском бульваре. Но оказывается, что я мог еще с неделю оставаться в Петербурге, потому что г-н редактор «Русского вестника», вытребовавший мою повесть 6 недель тому назад, не отвечавший ни слова на мои четыре письма, даже на последнее письмо, в котором я извещал его о моем отъезде и спрашивал о положении этого набора, — велел мне вчера сказать, что моя рукопись только в будущую середу поступит ко мне в корректуре. Вот как следует учить сотрудников, чтобы они не забывались. Некрасов и Краевский[4] никогда не достигали такой олимпийской высоты неделикатности, не заставляли больного человека скакать за 600 верст и т. д. Поделом мне! По слухам, повесть моя признана редакцией «Русского вестника» «образчиком нелепой бездарности». В таком случае, кажется, было бы лучше возвратить ее автору. А впрочем, все это пустяки...»

Известно, что большая часть крупных ссор начиналась с подобных же пустяков. Дело, однако же, на этот раз уладилось. Нельзя же было предположить, что редакция такого органа, каким был тогда «Русский вестник», обозвала прелестный рассказ Тургенева «Фауст», — ибо о нем идет дело, — образчиком бездарности, а между тем неверный и преувеличенный слух об этом отзыве если не породил, то укрепил раздражение автора[5]. Возвратясь в Петербург, так как более десяти дней он не располагал быть в отсутствии, и известив о том г. Каткова, Тургенев бросил корректуру, прибавляя в том же вышеприведенном письме: «Пусть они распоряжаются, как им угодно!» В Петербурге он отдал свой рассказ в «Современник»», где тот и появился в 10-й книжке журнала: «Фауст, рассказ в девяти письмах» («Современник», 10-я книжка, 1856). Но и этого мало. В объявлении об издании журнала в следующем 1857 году редакторы «Современника» извещали, что четыре первоклассных литератора, во избежание неудобств конкуренции, согласились печатать свои произведения исключительно в журнале «Современник». Имена этих четырех исключительных сотрудников действительно явились с 1-го № журнала на 1857 на его обложке: это были Д. В. Григорович, А. Н. Островский, гр. Л. И. Толстой и И. С. Тургенев. Конвенция продолжалась, однако, недолго, и один шутник, подозревавший ее происхождение, конечно, имел право сказать, что на пороге «Современника» возвышаются четыре загадочные и молчаливые сфинкса. Она была нарушена в следующем же 1858 году одною из сторон. Тургенев именно послал тогда письмо из-за границы в «Атеней», затем в 1859 году напечатал «Обед в обществе английского литературного фонда» в «Библиотеке для чтения»[6], а в 1860 году предоставил тому же «Русскому вестнику», с которым так недавно поссорился, третью социальную свою повесть «Накануне».

«Русский вестник» отвечал на объявление-манифест «Современника» чрезвычайно вежливо и уклончиво, сваливая вину непоявления в его журнале повести «Призраки» (это «Фауст» в «Современнике») на медленность и задержки в корректурных исправлениях со стороны самого автора ее и прибавляя, что и он, с своей стороны, отказывается от сотрудничества людей, готовых смущаться всякими случайностями и затруднениями издания и строить на них далекие и несправедливые соображения.

Возвращение Тургенева в Петербург пришлось как раз к появлению первой части «Рудина» в запоздавшей январской книжке «Современника» 1856 года. Вторая часть напечатана была в следующей книжке. Здесь будет уместно привести любопытное примечание, встреченное нами в черновой тетради Тургенева, содержащей «Рудина». Повесть была первоначально озаглавлена: «Гениальная натура», что потом было зачеркнуто, и вместо этого рукой Тургенева начертано просто: «Рудин». Затем оказывается, что роман создан и написан в 1855 году в деревне и притом в весьма короткий срок — 7 недель. Примечание гласит именно: «Рудин. Начат 5 июня 1855 г., в воскресенье, в Спасском; кончен 24 июля 1855 г. в воскресенье, там же, в 7 недель. Напечатан с большими прибавлениями в январ. и февр. книжках «Современника» 1856 г.». Между прочим, заметка эта подтверждает опасения последнего редактора сочинений Тургенева (посмертное издание), колебавшегося зачислять произведения нашего автора по годам их появления в печати, так как он полагал основательно, что некоторые из них могли быть написаны им ранее их опубликования. Но для приложения хронологической системы к изданию никакого другого средства не оставалось. Выслушав все разнообразные толки о своем «Рудине», между которыми к восторженным отзывам примешивались уже и обидные подозрения в недоброжелательстве к лицу, скрывавшемуся под именем Рудина [7], Тургенев в августе 1856 года выехал в Париж. Это было первое его путешествие после ареста.

Всю зиму 1856/57 года не было о нем ни слуха ни духа [8], и только 24 октября 1857 получено было от него первое известие, пущенное им 5 октября (23 сентября старого стиля). Письмо носило штемпель «Rosoy en Brie» и пришло из неизвестного нам места Куртавнель, оказавшегося замком, или виллой, г-жи Виардо. Тургенев писал:

«*Куртавнель, 5 октяб. (23 сент.) 1857*

Милый А. На днях я получил письмо от Некрасова е приложением циркуляра на издание альманаха для семейства Белинского, но так как я недавно писал ему, то я предпочитаю поговорить с вами. Прежде всего — скажите Некрасову, что я обещаю ему две статьи — повесть или рассказ и воспоминания о Белинском. Я глазам не верю — неужели позволили наконец альманах с именем

Белинского на заглавном листе и с отзывами о нем! Как бы то ни было, я с восторгом впрягаюсь в эту карету и буду везти из всех сил [9].

Что же касается до моего внезапного путешествия в Рим *, то, поразмыслив хорошенько дело, вы, я надеюсь, убедитесь сами, что для меня, после всех моих треволнений и мук душевных, после ужасной зимы в Париже [10] — тихая, исполненная спокойной работы зима в Риме, среди этой величественной и умирающей обстановки, просто душеспасительна. В Петербурге мне было бы хорошо со всеми вами, друзья мои, но о работе нечего было бы думать; а мне теперь, после такого долгого бездействия, предстоит либо бросить мою литературу совсем и окончательно, либо попытаться: нельзя ли еще раз возродиться духом? Я сперва изумился предложению (В. П. Боткина), потом ухватился за него с жадностью, а теперь я и во сне каждую ночь вижу себя в Риме. Скажу без обиняков: для совершенного моего удовлетворения нужно было бы ваше присутствие в Риме; мне кажется, тогда ничего не оставалось бы желать... Вы, сколько я помню, собирались ехать в Рим; что бы вам именно теперь исполнить это намерение? Право, подумайте-ка об этом. Славно бы мы пожили вместе! Если вы не приедете, я буду часто писать вам и Некрасову. Я надеюсь, что болезнь моя не схватит опять меня за шиворот; в таком случае я, разумеется, буду молчать, но я надеюсь, что она не придет снова. Прощайте, друг мой, П. В. Пришлите мне 7-й том Пушкина в Рим [11]. Обнимаю вас!»

Болезнь, однако, не замедлила явиться опять и оправдала нерешимость мою склониться на предложение Тургенева и посетить его в Риме. Что касается до альманаха Некрасова, то он не состоялся, а взамен его предпринято было в Москве, большой издательской конторой К. Т. Солдатенкова, полное собрание сочинений Белинского, которое под редакцией Н. Х. Кетчера и доведено было до конца благополучно. Почти вслед за тем письмом Тургенева получено от него и другое, уже из Рима.

---

* Я не мог доискаться в моих бумагах письма Тургенева о поездке его в Италию, а так как корреспонденция моя с ним вся сохранилась, то считаю письмо это так или иначе погибшим. Зима 1856/57 была чрезвычайно сурова на Западе, — дети ремесленников и других бедных людей замерзали в домах и в колыбелях своих. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

«Рим, 31 октяб. (12 нояб.) 1857

Милый А. Ваше письмо меня очень обрадовало, и я надеюсь, что переписка наша оживится снова. Нам с вами надобно непременно, хотя изредка, писать друг к другу. Вот уже скоро две недели, как я в Риме; погода стоит чудесная; но болезнь моя опять принялась грызть меня. Это очень меня огорчает, потому что, если бы не эта мерзость, я бы работал. Я это чувствую, и даже, несмотря на болезнь, уже кое-что сделал. Не буду говорить вам о Риме — мало сказать не стоит, много — невозможно. Я знакомлюсь с ним помаленьку — спешить не для чего, ходил на вашу квартиру в Via Felice; но уже все изменилось с тех пор, и хозяин другой — расспрашивать было некого. Постараюсь исполнить ваше желание и напишу для Корша письмо, то есть два или три письма, не знаю, будет ли интересно *. «Современник» имеет право на меня сердиться; но, право же, я не виноват. Говорят, Некрасов опять стал играть... Вы воображаете, что мне «со всех сторон» пишут! Никто мне не пишет. А потому давайте мне сведений как можно больше.

Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее 25 лет своей жизни. Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок, нет единства, нет воздуха на первом плане (пейзаж в отдалении удивительный), все как-то пестро и желто [12]. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление (будут фанатики, хотя немногие), и главное: должно надеяться, что она подаст знак к противодействию брюлловскому марлинизму. С другой стороны, византийская школа князя Гагарина... [13] Художеству еще худо на Руси. Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и «всё» дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую расейскую замашку. Невежество их всех губит. Иванов — тот, напротив, замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся: 25-летнее одиночество взяло свое. Не забуду я (но это непременно между нами), как он, во время поездки в Аль-

---

* Для «Атенея» — издания, предпринятого Е. Ф. Коршем после его разрыва с «Русским вестником». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

бано, вдруг начал уверять Боткина и меня, весь побледневши и с принужденным хохотом, что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и т. д. Мы очень часто с ним видимся; он, кажется, расположен к нам.

Вы меня хвалите за мое намерение прожить зиму в Риме. Я сам чувствую, что эта мысль была недурная, по как мне тяжело и горько бывает, этого я вам передать не могу. Работа может одна спасти меня, но если она не дастся, худо будет! Прошутил я жизнь, а теперь локтя не укусишь. Но довольно об этом. Все-таки мне здесь лучше, чем в Париже или в Петербурге.

Не знаю, писал ли я вам, что в Париже встретил Ольгу Александровну *. Она не совсем здорова и зиму будет жить в Ницце. Здесь из русских пока никого нет: ждут Черкасских.

Боже вас сохрани — не прислать мне 7-го тома Пушкина, переписку Станкевича и ваше письмо о Гоголе [14]. Справьтесь у Некрасова и Колбасиных, как сюда пересылались книги, — и так и поступайте.

Со вчерашнего дня стал дуть tramontano **, а то такая теплынь стояла, что сказать нельзя. Третьего дня мы с Боткиным провели удивительный день в villa Pamfili. Природа здешняя очаровательно величава и нежна и женственна в то же время. Я влюблен в вечнозеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные, бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой. Стараюсь, однако, не пускать эту копоть в то, что я делаю; а то кому оно будет нужно? Да и самому мне оно будет противно.

Боткин здоров; я с ним ежедневно вижусь, но я не живу с ним. В его характере есть какая-то старческая раздражительность — эпикуреец в нем то и дело пищит и киснет; очень уж он заразился художеством.

Напишите мне все, что узнаете, услышите о Толстом и его сестре. Я не думаю, чтобы вам понравилось его последнее произведение [15], но у него есть другие, хорошие вещи. Он вас очень любит ***.

---

* Ольгу Александровну Тургеневу, с которой он недавно разорвал свои дружеские связи. Она вышла замуж, вскоре после того, за Сомова. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** северный ветер (*ит.*).

*** О семействе гр. Л. Н. Толстого Тургенев всегда отзывался восторженно, не исключая и времени его непродолжительной раз-

Познакомились ли вы с графиней Ламберт? Она того желала, и я вам советую. Я опять напишу ей письмо через ваше посредничество. На этот раз пойдите к ней.

Ну вот, переписка благополучно возобновлена; смотрите же, чтобы она не прекратилась. Поклонитесь всем друзьям, а вам я крепко жму руку. Читали ли вы «Историю Рима» Момзена? Я ей здесь упиваюсь. Весь ваш И. Т.

P. S. Напишите мне досконально: Базунов не пострадал от моих повестей? Если нет, мое самолюбие было бы несколько успокоено».

Вопрос о Базунове относится к первому отдельному изданию повестей Тургенева, порученному мне и проданному мною в Москве совсем готовым и отпечатанным в числе 5000 экземпляров старому и уже давно покойному книгопродавцу Базунову за 7500 р. с. Издание представляло три небольших томика, которые тогда и составляли весь литературный багаж Тургенева. В нем еще не обреталась ни одна из социальных его повестей, доставивших ему позже славу художественного комментатора своей эпохи. По условию, полученная от Базунова сумма была разделена на три равные части, и одна из них вручена автору, другая покрыла издержки печатания, третья осталась у продавца [16].

Оба письма из Италии, несмотря на живое описание красот Рима и сочувственное отношение к вековечному городу, носили еще на себе меланхолический оттенок в предчувствии приближающейся к автору болезни; но никто из знавших о письме не обратил на это никакого внимания. Мы уже привыкли к жалобам Тургенева на ожидающую его судьбу, которая никогда не приходила. Впоследствии это разъяснилось больше. Уже с 1857 года Тургенев стал думать о смерти и развивал эту думу в течение 26 лет, до 1883, когда смерть действительно пришла,

---

молвки с ним, о чем речь еще впереди. Сестру гр. Толстого, по мужу тоже Толстую, он называл умной, понимающей все кругом себя и обнаруживающей свое понимание только при случае. О брате Толстого, молодом человеке, умершем в чахотке в 1860 году за границей в Гиере, он говорил не иначе, как с умилением. Не помню впечатления, произведенного на меня слабым произведением Л. Н. Толстого, да и кто бы мог сохранить память о неудачных произведениях после позднейших образцовых созданий его и после колоссальной эпопеи его «Война и мир». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

оставаясь сам все время, с малыми перерывами, совершенно бодрым и здоровым. Болезнь, на которую он преимущественно жаловался, — стеснение в нижней части живота, он принимал за каменную, которая свела в гроб и отца его. С течением времени она миновала окончательно, не оставив после себя и следа. Затем — кроме бронхитов и простудных воспалений горла — наступила эпоха ужасов перед холерой, когда он не пропускал почти ни одной значительной аптеки в Москве, Петербурге, Париже и Лондоне, чтобы не потребовать у них желудочных капель и укрепляющих лепешек. Случалось, что при расстройстве пищеварения он ложился в постель и объявлял себя потерянным человеком; достаточно было несколько ободрительных слов врача, чтоб поднять его опять на ноги. По действию неустанно работавшего воображения, ему мерещились исключительные бедствия — он считал себя то укушенным бешеной собакой, то отравленным и сам смеялся над собой, когда припадок его проходил, оставляя ему в наследство некоторую жизненную робость. Так, он не любил останавливаться в многолюдных отелях, а искал помещения у старых приятелей. Много раз видели мы его изнемогающим под мучительными припадками подагры, которой он был подвержен, и долго думали, что это единственная серьезная болезнь его. Уединение, создаваемое недугом, он употреблял на чтение популярных медицинских сочинений и приобрел столько познаний в медицине, что, по слову Гейне, всегда мог отравить себя, но он желал только знать страдания человечества, а слушался единственно докторов и по временам, более чем нужно было, эмпириков. Умер же он посреди невыразимых мучений, от болезни, приведшей в тупик знаменитейших врачей Парижа, недоумевавших, против чего им следовало бороться, именно от ракового воспаления в спинной кости, пожравшего у него три позвонка, хотя это была не новость для нас: в эпоху Пушкинского юбилея в Москве мы были свидетелями, что каждый вечер он заставлял бить себя по обнаженной спине стальными щетками, подозревая, что там накопился у него, по его словам, какой-то злой материал, и оставаясь днем ликующим и готовым на все труды великого литературного праздника.

Что касается до его суждений о русском искусстве и русских художниках в Риме, то мы оставляем это на памяти критика, если не на ответственности его, ибо отвечать он уже не может. В низкой оценке Брюллова он со-

вершенно сходился с обычным своим возражателем, В. В. Стасовым, который очень горячо и остроумно отстаивал перед ним право русских живописцев не уважать Рафаэля и итальянских идеалистов XVI столетия, так как люди эти и утвердили нашу Академию художеств в том мнении, что с ними кончается свет и за ними нет ничего. По Стасову, отрицание Рафаэля было первым симптомом развития искусства в России и пробуждения в русских художниках сознания о необходимости самостоятельной деятельности и об отыскании новых современных идеалов и предметов для воспроизведения их посредством искусства. Относительно презрительной оценки Брюллова оба противника его совершенно выпускали из виду смелый выбор тем и замечательную виртуозность при их исполнении у художника — качества, которые и сделали его имя необычайно популярным в среде соотечественников. Несмотря на суровый приговор Ивана Сергеевича: «плохо искусству в России», оно незаметно шло вперед. Утомленное идеализмом без содержания, на которое присуждала его академическая практика, оно тихо, но постоянно высвобождалось от нее. Знамя Брюллова, под которым оно шло навстречу запросам академии, было знаменем реформ и прогресса. Месяц спустя после последнего письма получена была отписка Тургенева из Рима, в которой нападки на Брюллова еще усилились.

«Рим, 1 (13) декабря 1857

Любезнейший П. В. Ваше умное как день письмо [17] получено мною вчера — я спешу отвечать вам; чтобы не сбиться и все сказать, что следует и на своем месте, разобью мое письмо на пункты. 1) *Литература.* Вероятно, вы, по получении этого письма, уже будете знать, что я нарушил мое молчание, то есть написал небольшую повесть, которая вчера отправлена в «Современник» [18]. Я и Панаева и Колбасина просил о том, чтобы до напечатания повесть эта была прочтена вами и напечаталась не иначе, как с вашего одобрения. Не стану вам говорить о ней — лучше я послушаю, что вы о ней скажете. В ней решительно нет ничего общего с современной пряной литературой, а потому она, пожалуй, покажется fade *. Повесть эту я

* пресной (*фр.*).

окончил здесь. Я чувствую, что я здесь мог бы работать... (см. ниже пункт: Жалобы на судьбу). Кончивши эту работу, я засел за письмо Коршу, которое оказывается затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения — и дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ваше имя. 2) *Жалобы на судьбу.* Если здоровье вообще нужно человеку, то в особенности оно нужно ему тогда, когда он подходит к 40 годам, то есть во время самой сильной его деятельности. Под старость болезнь дело обычное, в пору молодости — интересное. Как же мне не пенять на судьбу, наградившую меня таким мерзким недугом, что по милости его я превращаюсь в Вечного жида. Вы из одного слова поймете мое горе: после двухмесячной борьбы я с сокрушенным сердцем принужден оставить милый Рим и ехать черт знает куда — в поганую Вену советоваться с Зигмундом. Здешний климат развил мою невралгию до невероятности, и доктор меня сам отсюда прогоняет. Ну, скажите — не горько это? Не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда, по больше месяца от нынешнего числа я не проживу здесь. Ведь надобно же, чтобы ко мне привязалась такая небывалая болезнь. Поверьте, никакие ретроспективные соображения тут не утешат. Однако, если вы будете отвечать мне тотчас (а это было бы очень мило с вашей стороны, потому что мне хочется поскорее узнать ваше мнение о моей повести), пишите еще пока в Рим. 3) *Рим.* Рим — прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работается вкуснее и уединение не тяготит. И потом этот дивный воздух и свет! Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный: каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле; каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна. Мы много разъезжаем с Боткиным. Вчера, например, забрались мы в Villa Madama — полуразрушенное и заброшенное строение, выведенное по рисункам Рафаэля. Что за прелесть эта вилла — описать невозможно: удивительный вид на Рим, и vestibule такой изящный, богатый, сияющий весь бессмертной рафаэлевской прелестью, что хочется на коленки стать. Через несколько лет все рух-

нет — иные стены едва держатся; но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха: «Печаль моя светла» [19]. Одинокий, звучно журчавший фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний — и чище и нежнее звучат в ней художественные струны.

Кстати, я здесь имел страшные «при» с русскими художниками. Представьте, все они (почти без исключения — я, разумеется, не говорю об Иванове), как за язык повешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками. Здесь есть какой-то Железнов (я его не видал), который всему этому злу корень и матка [20]. Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский: delenda est Carthago, delendus Brulovhis *. Брюллов — этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор — стал идолом, знаменем наших живописцев! Надобно и то сказать, таланта в них, собственно, ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику — и больше ничего. В одном только из них, Худякове, есть что-то живое; но он, к сожалению, необразован (он из дворовых людей), а умен и не раб — не ленивый и самонадеянный раб духом, как другие, хотя и он молится Брюллову.

Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! [21] Вот человек! С отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я все-таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу. *Résumé:* a) напишите мне тотчас мнение об «Асе» сюда; b) высылайте сюда же Пушкина, Гоголя *непременно;* c) я вам через неделю пошлю письмо Коршу; d) любите меня, как я вас люблю. Боткин благодарит и кланяется вам. И. Т.».

Как ни откладывал Тургенев свой выезд из Рима, сперва на месяц, а потом на 1 (13) марта 1858 (в январе

* как пал Карфаген, так падет Брюллов (*лат.*).

1858 года он еще был на месте), по только 9 апреля успел свидеться с доктором Зигмундом в Вене. Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней. Нужно еще удивляться, что он так скоро разорвал свои связи с Римом. Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, — тут была еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как ни любил ее. Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты — даже анекдоты и говор толпы, конечно, не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежит сомнению; свидетельством тому может служить только что приведенное письмо: в нем есть описания высокопоэтического характера и верности почти фотографической. Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования. Правда, в 1848 году, в эпоху «risorgimento» *, пульс умственной и общественной жизни в Италии бился сильнее прежнего, но бежать из Франции (Тургенев находился тогда в Париже), которая давала тон всему европейскому движению, было бы нелепостью, кроме разве с специально агитаторскими целями, а Тургенев, что бы ни говорили нынешние клеветники поэта, агитатором никогда не был, да по развитию своему и не мог им быть. Замечательно, что с 1858 года

* возрождения, обновления (*ит.*).

он уже более никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию.

Сам Л. Н. Толстой распустил тогда слух о том, будто он предполагает заняться лесоразведением в южной России. Я передавал только его слова, когда сообщал Тургеневу такой слух. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сделаться очень важным предприятием, если бы не возникло оно у Толстого из странного отвращения к писательству, к роли, играемой у нас авторами; важнее, говорю, другое явление: усиленное беспокойство Тургенева об участи своего прелестного рассказа «Ася». Трудно сказать, что заставляло его домогаться с настойчивостью отзывов о такой малой вещице, как «Ася». Вероятнее всего предполагать, что основа «Аси» взята из биографического факта, дорогого почему-то самому автору. Он боялся, что слабая передача его уничтожит или извратит его значение. Я успокоил его, передав ему мнение многих его почитателей, что недостаток «Аси» заключается в одном. Такая поэтическая и вместе реальная характеристика героини, не часто встречающаяся и в более богатых литературах, чем наша, заслуживала бы бóльшего развития, рамки, например, романа, которую она совершенно наполнила бы собою. Тургенев остался доволен отзывом, как это видно и из последнего письма его в Риме, которое теперь и приводим здесь.

«Рим, 19 (31) января 1858

Я виноват перед вами, как нельзя более, — не отвечал на ваше письмо от 21 декабря и не переписал совсем конченные два письма (№ 2 и 3) для Корша. С нынешнего дня засел я за эту работу, и через 4 или 5 дней они отправятся к вам. Мысль, что первое письмо вам понравилось, меня ободряет и развязывает руки. Я не хочу только откладывать ответ мой на ваше письмо от 8 января. Причины моего замедления были двоякие: некоторые рассеяния и довольно серьезная и для меня не совсем привычная работа, о которой я поговорю с вами лично и которая касается вопроса, занимающего теперь всю Россию *[22].

* Дело шло о проекте народного образования и обучения через посредство имущих и развитых классов общества[23]. О проекте этом будем говорить сейчас же, а теперь скажем, что он не удался и не был приведен в исполнение, даже не поступал на утвержде-

Очень вам благодарен за доставленные сведения и проч. В ваших письмах наш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества.

Отзыв ваш об «Асе» меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спасшись на берег — пока сушил «ризу влажную мою»[24], а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая — после долгого перерыва — работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная — и я искренне этому радуюсь.

Рассеяния, о которых я упомянул выше, состоят во множестве новых знакомств. Из них упомяну великую княгиню Елену Павловну, с которой я уже имел несколько длинных разговоров. Она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и — не стеснять; на конце каждого ее слова сидит как бы штопор — и она всё пробки из вас таскает: оно лестно, но под конец немного утомительно. Сошелся я очень близко с кн. Черкасским (Владимиром) и его женой; очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Д. Оболенского, г-жу Смирнову... иногда Бакуниных, также Ростовцева, сына Иакова. Трудно выразить, что это за милый, симпатический, честный и откровенный человек. Из художников, после Иванова, самый приятный Сорокин как человек; таланта у него, к сожалению, нет. Изо всех здешних художников талант есть только у одного Худякова, но сам он... необразован, завистлив и надут. Молодой живописец Никитин сделал мой акварельный портрет; все находят его чрезвычайно схожим[25].

Известия об обеде в Москве и т. д. радуют и в то же время несколько пугают. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шуметь. Вы прочтете в «Nord» * небольшое письмо, написанное мною в ответ на статью, помещенную об этом обеде; там была несправедливая выходка против славянофилов — как будто они не желают освобождения крестьян, между тем как они-то больше всех и хлопотали о нем. Я в этом письме заступаюсь за них с *этой только точки зрения.* Я это сделал в угоду

ние подлежащего начальства, как требовалось по закону. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

* Это юбилейный обед Московского университета, праздновавшего столетие своего основания. Мне не случилось встретить в «Le Nord» письма Тургенева, да оно не попало ни в один из известных и очень подробных библиографических перечней его сочинений. См. «Исторический вестник», 1884 год. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)[26]

Черкасскому, письмо которого не было бы принято. Впрочем, и мое, пожалуй, не примут.

Пушкина (то есть издания) еще нет здесь. Гг. «Современники» также не выслали свой декабрьский номер. О свадьбе Ол. Алекс, ничего не слыхал. Она в Ницце, и здоровье ее хорошо. Жаль мне очень бедного Дружинина. Боткин только на днях получил письмо от него (оно провалялось месяца два на почте) и тотчас отвечал ему. Наружность Дружинина мне весьма не понравилась уже в Зинциге. Знаете ли, мне почему-то кажется, что у него должен быть diabète sucré (моча с сахаром), весьма быстро изнуряющая и опасная болезнь. Нельзя ли шепнуть об этом Шипулинскому? «Иногда и слепая свинья набредет на желудь», — гласит немецкая пословица, и, может быть, моя мысль справедлива.

Погода у нас здесь стоит чрезвычайно ясная и холодная. Говорят, в Венеции выпал сильный снег, и лагуны замерзли. Боятся, как бы в карнавал не пошли дожди. Здоровье мое если не хорошо, то, по крайней мере, удовлетворительно. Мучений нет, а уж от malaise'a * я и не надеюсь отделаться.

Ждите двух больших пакетов через несколько дней. Да непременно вышлите сюда «Атеней». Если увидите Д. Колбасина, напомните ему, что я жду от него ответа на некоторые мои запросы. Пишите мне пока в Рим, poste restante. Я отсюда окончательно выезжаю только 1 (13) марта. Жму вам дружески руку и остаюсь И. Т.

P. S. Поклонитесь от меня кн. Вяземской, да сходите наконец к графине Ламберт и попросите ее написать мне свое мнение об «Асе» — нужды нет, выгодное или невыгодное»[27].

* * *

В 1858 году предпринял и я поездку в Европу, после десятилетнего безвыездного пребывания в России. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившиеся на Западе в течение этого времени. Перемен, и нравственных и материальных, было много. За исключением Берлина, где строительная горячка началась только с франко-прусской войны 1870 года, старые города Европы, как Париж, Вена, Дрезден, сделались почти неузнаваемы. Стремле-

* недомогания (*фр.*).

ние к роскоши существовало и до Второй империи, поддерживаемое громадным торговым производством и обогащением буржуазии; но с Наполеона III оно забыло все приличия. Повсюду возникали великолепные, как общественные, так И частные, здания, опрокидывались памятники старины, уничтожались исторические дома и улицы; по примеру Парижа, каждая столица, каждый значительный пункт населения (за исключением, повторяем, Берлина, остававшегося до поры-времени старым и грязным городом) как бы решились отделаться от своего прошлого, смыть с себя последние остатки средневекового быта и начать для себя новую эру существования со вчерашнего дня. Одобрение со стороны многочисленных рабочих и мещан, заинтересованных в постройках, поддерживало общее одушевление; но когда наступил кризис, капиталы скрылись в банкирских конторах, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынков и населения, остановилось; явились для всех — предпринимателей и исполнителей — разочарование и нищета. До тех пор на улицах европейских городов шел постоянный пир и праздник. Увеселительные заведения множились со всех сторон ежедневно, принимая тоже громадные размеры, и в уровень с ними разрастались вкусы и требования рабочих и мещан, которые уже составляли их верную статью дохода. Вид общего благосостояния на Западе обманывал туристов и заставлял их думать, что средства каждого посетителя этих волшебных замков увеличились, по крайней мере, в десять раз за последнее время. Зрелище общего ликования было действительно увлекательное.

В Берлине я получил венскую телеграмму Тургенева, которая, в отмен прежних требований явиться в столицу Австрии для свидания с ним, приказывала не трогаться с места и ждать новых инструкций. Как горячо звал меня Тургенев в Вену, видно из следующего письма;

«Вена, 7 апреля 1858

Милый А. Сегодня в 5 час. вечера я приехал сюда, получил ваше письмо[28] в седьмом и отвечаю в 8. Нечего говорить, как и рад нашему скорому свиданию — все это само собою разумеется, — приступаю к делу.

Не стану вам повторять моей плачевной истории: вы знаете, что вот уже скоро $1^1/_2$ года, как бес в меня все-

лился в виде болезни пузыря и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения, я не лечился, потому что махнул рукой; однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача — специалиста по этой части — Зигмунда (для этого я приехал в Вену) и, по крайней мере, месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вены выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда — я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет, но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь... Остается вам приехать сюда; разница всего несколько часов, положим, даже целые сутки, но я надеюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я так был бы рад свидеться с вами! Вы видите, что я прикован здесь; мне уже наскучило попусту *советоваться* с знаменитостями; я хочу, я должен лечиться — или уже примириться с мыслью, что жизнь моя отравлена. Батюшка, П. В.!.. Приезжайте! А отсюда ступайте в Лондон — я сам вслед за вами поеду. (Я должен 15 мая присутствовать в качестве шафера на свадьбе Орлова и в начале мая на несколько дней буду в Лондоне, куда приедет и Боткин)[29]. Одним словом, я вас жду здесь. Вы должны приехать. Это невозможно, чтобы вы не приехали; умоляю вас приехать. Остановился я в гостинице Matshakerhof, Seiler-Gasse, № 33. Я жду вас... Боже что мы переговорим! Завтра от меня еще будет письмо. Весь ваш Ив. Т.».

Инструкции и явились через два дня в форме письма из Вены от 9 апреля 1858 года, где он описывает свое свидание с доктором Зигмундом и прибавляет, чтобы я тотчас же укладывался и направлялся в Дрезден, так как он сам, после отсылки своего письма, едет туда и будет ждать меня в Hôtel de Saxe. Известие было очень приятное. На другой же день, через 5—7 часов, я был уже в Дрездене и в отеле и изумился, встретив цветущего пациента в человеке, чуть не приговоренном к смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его речь, исполненная юмора, образности и меткости. Я заметил ему это и получил ответ: «Вот видите ли! Организмы людей, пораженных хроническим, опасным недугом, каков мой, кажутся в спокойные минуты свои более крепкими, чем те, которые не

испытывали никаких потрясений. Болезнь тут отдыхает, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почве разыграться еще с большей силой. Я даже полагаю, что и умру так, что удивлю всех неожиданностью». Пророчество, однако же, не сбылось. Он умирал долго и слишком *ощутительно* для своих друзей и образованной части России и Европы. Прилагаем венское его письмо. Это, как увидит читатель, — скорбный лист Тургенева, продиктованный одною из тогдашних ученых знаменитостей.

«Вена. Пятница, 9 апреля 1858

Любезный А. Сейчас от Зигмунда. Осмотревши меня весьма подробно и сзади и спереди, он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый с... канал (извините все эти подробности) поражен; что если я не займусь серьезно этой болезней, худо будет; что я должен в нынешнем же году провести 6 недель в Карлсбаде и 6 недель в Крейцнахе, а здесь должен остаться еще дней 5, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе «bougies» *. Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива... Приходится начинать старческий период жизни, то есть заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать... А скоро все выгорело!

Но теперь что предпринять? Ясно, что вам сюда незачем ехать; боюсь только, как бы вы уже не выехали из Берлина. Обдумавши свое положение, я решаюсь на следующее.

Отложить свое возвращение в Россию до конца августа. На лечение употребить 3 месяца — от половины мая до половины августа. Съездить теперь в Париж и Лондон, так как раньше половины мая лечение водами невозможно. Все это мне как кол в горло, но необходимость — не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанет вас в Берлине (оно вас застанет, потому что я сейчас посылаю к вам телеграмму), то знайте, что я во вторник выезжаю отсюда и в среду утром буду в Дрездене, в Hôtel de Saxe, куда и вы приезжайте; мы там сговоримся, что

* свечи (*фр.*).

нам делать и как ехать. Может быть, я да;ке в понедельник выеду, но, во всяком случае, в среду утром я в Дрездене. И потому до свидания. Ваш И. Т.».

* * *

«А скоро все выгорело!» — воскликнул Тургенев, сообщая диагноз доктора Зигмунда, — однако же не так скоро, как думал сам пациент я его эскулап. Еще целых двадцать шесть лет горела трудовая лампа на письменном столе Тургенева и освещала возникновение один за другим многих и многих капитальных произведений. Но о них не было еще и помина в Дрездене. «Дворянское гнездо» зрело в уме Тургенева, но к нему он еще и не приступал [30]. Разговор наш обращался к проектам вояжей и встреч, из которых ни один не осуществился, как и большая часть таких проектов, не принимающих в соображение случайностей и непредвидимых помех. Ни слова не было сказано также и о том, о чем хотел переговорить со мною лично, о проекте обучения и воспитания народа. Взамен литературные новости интересовали Тургенева в высшей степени, и анекдотов о людях и событиях из этой области было множество. Три дня с их обедами и ужинами пролетели незаметно. Тургенев отправился в Лондон, как хотел, а я уехал в Киссинген, а оттуда, по окончании курса, в Мюнхен, Тироль и Зальцбург. Из Зальцбурга через Берхтесгаден, Кенигзее и Линц, праздновавший тогда рождение австрийского кронпринца Рудольфа, далее по Дунаю, в Вену; из Вены я скоро достиг Бреславля, потом Варшавы, а оттуда, сопровождаемый великолепной кометой, не сходившей с неба почти всю ночь, прибыл в Петербург в августе месяце. Тургенев явился туда же почти вслед за мною.

Он привез с собой новинку, именно — «Дворянское гнездо», которую начал еще за границей, а докапчивал уже всю осень в Петербурге на своей квартире — Б. Конюшенная, д. Вебера, — посреди шума и говора приемов и массы посетителей [31]. Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно. Мы не имеем, к сожалению, чернового подлинника «Гнезда»; [32] но вот какую отметку встречаем на сле-

довавшем за «Дворянским гнездом» романе «Накануне»: «Начата в Виши, во вторник 28 (16 июня) 1859; кончена в Спасском в воскресенье 25 октяб. (6 ноября) 1859; напечатана во 2-й книжке «Русского вестника» за 1860 г.» — срок вроде больший, чем тот, который потребовал для себя «Рудин» в первоначальной редакции (7 недель), но тоже не очень значительный, если принять в соображение время, употребленное на переезд из Виши в Париж, оттуда в Берлин и Петербург, а оттуда через Москву в деревню Орловской губернии и еще неизбежные остановки в городах. Но что такое было само «Дворянское гнездо», явившееся в январской книжке 1859 года «Современника»?

В один зимний вечер 1858 года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением[33]. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего, доктора Шипулинского, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством нее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне; оно заняло два вечера. Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом. Совершенно успокоенный, он просил Некрасова припечатать, после оглавления, посвящение его мне, в благодарность за чтение, но Некрасов почему-то не исполнил его желания, и запоздалое посвящение явилось только в 1860 году в «Библиотеке для чтения» при замечательной тоже повести его «Первая любовь» *.

* На черновой тетради «Первой любви» стоит отметка: «Начата в Петербурге в первых числах 1860; кончена в Петербурге же 10 (22) марта 1860». Он отдал ее в «Библиотеку для чтения» А. В. Дружинина, где она и явилась в 3-й книжке журнала, почти при самом отъезде за границу ее автора. По стройности всех частей, правде и выдержанности характеров, чрезвычайному искусству рассказа она может быть сравниваема не только с двумя

Но что произошло, когда в «Современнике» 1859 года явился роман «Дворянское гнездо»? Многие предсказывали автору его овацию со стороны публики, но никто не предвидел, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающие свою карьеру, один за другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его приговора, в чем он никогда не отказывал им, стараясь уразуметь их дарования и их наклонности; светские высокопоставленные особы и знаменитости всех родов искали свидания с ним и его знакомства. Особенно, как мы уже имели случай заметить прежде, он сделался любимцем прекрасного пола, упивавшегося чтением его романа. Женщины высших кругов петербургского общества открыли ему свои салоны, ввели его в свою среду, заставили отцов, мужей, братьев добиваться его приязни и доверия. Он сделался *свой человек* между ними и каждый вечер облекался во фрак, надевал белый галстук и являлся на их рауты и «causeries» * удивлять изящным французским языком, блестящим изложением мнений своих с применением к понятиям новых его слушательниц и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной и весьма красивой фигурой.

Несмотря на многочисленные светские свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе с его репутацией. Он не позволил отуманить себя общественными похвалами, а, напротив, под говор их взгляд его на самого себя приобретал особенную трезвость и ясность. Едва напечатав «Дворянское гнездо», он принялся за новое произведение, уже упомянутую повесть «Накануне», которая была совершенной противоположностью с романом, имевшим такой колоссальный успех. Оставайся он при одном и том же счастливом мотиве, проведенном им однажды, имя его как литератора, конечно, пользовалось бы еще заслуженным уважением, но никогда не выросло бы до того значения перед публикой, в каком застала его смерть. Собственно говоря, «Дворянское гнездо» было трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отходящих в историю, причем все высшие, идеальные их потребности и стремления выставлены в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми и с порядками, с

предшествующими capo d'opera <шедеврами> Тургенева, но и с последним, последовавшим за ними через 17—18 лет, романом «Новь» (1877 г.). (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

* «беседы» (*фр.*).

которыми современники расстаются навсегда. В самом упоении славой и на первых же порах общего одушевления Тургенев почувствовал, что есть опасность продолжать такие же отношения к отжившему времени и далее. Благоуханный цветок, выросший на этой почве и возбуждавший всеобщий восторг, мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности, чего Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ, боялся всего более. Следовало напомнить энтузиастам романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей их верности и искусстве обрисовки, зиждутся все-таки на обеспеченном состоянии лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира. Случай помог Тургеневу найти подходящий сюжет.

Прожив с нами часть зимы 1858/59 года, Тургенев не раз читал нам по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести некоего г. Катранова (псевдоним, как объяснял сам Тургенев *), удивляя нас своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания. Имя это имеет, однако же, право на упоминание его в воспоминаниях о Тургеневе, так как господин, носивший его, внушил Тургеневу идею романа «Накануне». Повесть Катранова, озаглавленная «Московское семейство», изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку, Аграфену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином, Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский университет, и распознав в нем сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него; но он, по врожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привя-

* В приложении или в предисловии, которое явилось в 3-м издании его сочинений (1880 г.). Там повесть приписывается молодому человеку, по фамилии Каратееву, который рассказал событие, с ним самим случившееся в Москве, передал свой рассказ Тургеневу для обделки, сознавая свою неспособность, и отправился с орловским ополчением в 1855 году в Крым, где и умер. Катрановым назывался сам герой его повести, переименованный им в Николая Каменского, — фамилию, мало напоминавшую его болгарское происхождение. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

занность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить, да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которая получила его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недальнем будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Все, что любила Катерина, разом уничтожилось вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить «истинное происшествие», но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне» и украсившая собою второй № «Русского вестника» на 1860 год[34].

Мы уже знаем, что она начата была в июне предыдущего года, в Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда; но она продолжалась с тайным содействием министерства короля сардинского, на море и на суше, ибо могущество Австрии не было сломлено окончательно в Италии. Виллафранкский трактат оставлял Австрии еще большое влияние на Апеннинском полуострове, устранить которое приходилось уже Гарибальди высадкой в Неаполь и возмущением Сицилии; да император французов не желал и слышать о поколебании римского владычества папы. Италия доделывала то, что Наполеон оставил полуконченным, и притом доделывала на свой страх, не справляясь с видами и намерениями своего покровителя. Некстати медлительный и некстати решительный, Наполеон думал только о том, чтобы пожать новые лавры перед публикой в своем отечестве. Войска, участвовавшие в итальянской кампании, стягивались в Париж, где император готовил им колоссальный смотр — une revue monstre, имевший все подобие триумфа старых кесарей Римской империи. От этого триумфа именно Тургенев и бежал сперва в Виши, а потом в Куртавнель. От природы Тургенев был ненавистником всего деланного, официально праздничного, декоративного — без теплоты и сердечного участия. Письма его от этой эпохи наполнены

восторженными восклицаниями: «Evviva Italia, evviva Garibaldi» *, которые он считал еще революционными возгласами, как оказывается, да еще насмешками и ироническим отношением к французам и к их национальному безмерному самолюбию, к их самообожанию. Кстати заметить, что он был далек в это время от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказали европейской цивилизации лучшие ее умы. 22 (10) июня 1859 года получено было от него из Виши письмо, в котором заключались, между прочим, и следующие строки:

«Соллогуба дернуло перевести «Дворянское гнездо» для «Revue Contemporaine» — гнусный журнальчик, — но я отклонил такую великую честь. Все французское для меня воняет, и уж, коли выбирать, лучше возиться с французскими *épiciers* **, чем с французскими *beaux esprits* ***. Я живу в Виши в скромном отеле, где вижу за table d'hôte'ом несколько французских *épiciers;* особенно один из них пленителен. Он убежден, что русские мужики продают своих детей — «pour le sérail du Grand Kan des Tartares, monsieur!» (в сераль великого хана Тартарии, государь мой!) — и прибавляет: «Ah, monsieur! quelle sale chose que la religion de Mahomet» ****. Я, разумеется, его не разуверяю. Здешние мужички сильно ругаются и употребляют необыкновенно замысловатые выражения. Недавно одна из них при мне говорила своему двухлетнему сыну: «*Satané bougre d'anisette».* Удивительное сцепление идей. А что скажете П. В.? Можно кричать: «Evviva l'Italia! Evviva Garibaldi!» — черт возьми — «Evviva Napoleone» *****. Напишите мне непременно и немедленно в Париж poste restante; в Виши вам писать нечего — я остаюсь здесь 25 дней, а письмо мое доползет до вас, в Simbirsk, не раньше месяца».

Анекдоты о пленительном épicier и о ругающейся матроне могли быть и вымышлены, но они показывают, как тогда смотрел Тургенев на французскую культуру и как относился к стране, которую так любил впоследствии. Замечательно, что относительно результатов французско-

* Да здравствует Италия, да здравствует Гарибальди (*ит.*).
** лавочниками (*фр.*).
*** остроумцами (*фр.*).
**** Ах, сударь! Какая гадость религия Магомета (*фр.*).
***** Да здравствует Наполеон (*ит.*).

германской войны Тургенев спустя 10 лет обнаруживал то же нерасположение к французам, как и тогда, что ясно видно из тогдашних его писем о событий в «С.-Петербургские ведомости»[35]. С приятелями и втихомолку он говорил просто: французы возмущены *невежливостью* немцев, решившихся вырвать победу из рук непобедимой нации и публично осрамить ее тем перед светом.

Юмористическое настроение, привитое Тургеневу плагиатами Наполеона III из императорского Рима, длилось более месяца. Так, в письме своем от 1 (13) августа 1859, носившем штемпель «Rosay en Brie», что доказывало переезд автора его из Виши в Куртавнель — дачу г-жи Виардо, заключаются целые фразы на латинском диалекте, как бы единственно пригодные для выражения его мыслей в годину такого величественного военного праздника! Я оставил в этом письме похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденции, выпущенные во всех других, потому что шутливый тон письма много ослабляет их пафос, а во-вторых, и потому что пристрастие и слабость ко мне составляли у него род физиологического признака, во всяком случае довольно любопытного. Прозвище «ненавистник либерализма» я получил от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге[36]. Описание самой комнаты, где жил наш автор, на даче г-жи Виардо, составляет биографическую подробность, не лишенную своего рода занимательности. Вот это письмо целиком:

«*Куртавнель, 1 (13) августа 1859*

Ай да умница П. В.! Какие большие и милые письма пишет! Нельзя не погладить по головке и не сказать спасибо! С истинным наслаждением прочел я ваши поучительные и занимательные странички, прочел не в Париже, а здесь, в деревне г-на Виардо, где я нахожусь теперь и где останусь еще месяц, до отъезда в Россию. Ибо я — хотя это вам покажется невероятным — к 14 (26) числу сентября, то есть к Никитину дню, то есть к храмовому празднику в моей деревне, то есть к прилету вальдшнепов, буду, если останусь в живых, в Спасском, и это так верно, что я вас прошу отвечать на это письмо числа 21 не инако, как: Орловской губер. в г. Мценск. Дела мои идут

порядочно, то есть болезнь меня не мучит (много помогли воды Виши) и работа подвигается; надеюсь к половине ноября привезти в Москву из деревни (где я буду сидеть взаперти до того времени) роман, который объемом будет больше «Дворянского гнезда». Каков он будет в исполнении — это ведают одни боги. Я должен вам сказать, что я так постоянно занят своим произведением — даже тогда, когда ничего не делаю, — что мне почти нечего сообщать приятелю: я ничего не знаю и не ведаю, в строгом значении этого слова. Знаю, что завтра происходит в Париже великое преториански-цезарское празднество, что все улицы Парижа перерыты, везде наставлены триумфальные ворота, венецианские мачты, статуи, эмблемы, колонны, везде навешаны знамена и цветы: это император будет держать *аллокуцию* в цесарско-римском духе своим militibus (воинам); так что *maxima similitudo invenire debet между Galliam hujusce temporis et Roman Traiani necnon Caracallae et aliorum Heliogabaloram.* (Разительное сходство должно возникнуть между Францией нынешнего времени и Римом Траяна, а также Каракаллы и разных других Гелиогабалов.) Боюсь продолжать латинскую речь, не знаю, поймете ли вы ее, ученый друг мой, ненавистник либерализма. Я, разумеется, бежал из Парижа в то самое время, как сотни поездов со всех концов Европы, с свистом и треском, мчали тысячи гостей в *центр* мира; всякое военное торжество *ist mir ein Gräuel* (возмущает мою душу), подавно это: будут штыки, мундиры, крики, дерзкие sergeants de ville * и потом облитые адъютанты, будет жарко, душно и вонюче — connu, connu!.. **[37] Лучше сидеть перед раскрытым окном и глядеть в неподвижный сад, медленно мешая образы собственной фантазии с воспоминаниями далеких друзей и далекой родины. В комнате свежо и тихо, в коридоре слышны голоса детей, сверху доносятся звуки Глюка... Чего больше?

Риля я читал с наслаждением и с чувством, подобным вашему чувству, хотя по временам честил его филистером. Гуттена по вашей рекомендации прочту и привезу вам его портрет ***. За описание провинциального брожения, свер-

---

* полицейские (*фр.*).
** знакомо, знакомо!.. (*фр.*)
*** Биографический очерк Гуттена. составленный Страусом в отдельной брошюре. Книга Риля озаглавлена: «Land und Leute», I Band (fileni, Naturgeschichte des Volkes). (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

ху кислого, в середине пресного, внизу горько-горячего, — нижайшее спасибо. Вы мастер резюмировать данный момент эпохи (говоря по-русски).

Из русских за границей я видел только вашего бывшего киссингенского товарища, Елисея Колбасина; Боткин тайком пробрался в Англию, кажется на остров Уайт, и не дает знать о себе[38]. Коты так пробираются украдкой по желобам крыш. Изредка попадаются мне русские журналы; жаль, «Русского слова» никто не выписывает. Говорят, Григорьев написал обо всех нас статью прелюбопытную[39].

Надеюсь, что вы зиму проведете в Петербурге; я постараюсь не иметь никаких *ларингитов,* и авось не так нам будет скучно, как в прошлом году. А впрочем, наши, батюшка, года такие, что нечего думать от скуки уйти. Хорошо еще, что глаза не отказываются, зубы не падают. Я месяц намерен провести в Москве, так как мой роман явится у Каткова. Сговоримтесь и проведем этот месяц вместе.

Какая каша происходит в Италии![40] Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного з р и т е л я, — и заставит сделать какую-нибудь глупость. Вдруг закричишь: «Viva Garibaldi!» или a basso... * кого-нибудь другого — и, глядь, с трех сторон розги хлещут по спине. В молодые годы это только кровь полирует; под старость стыдно, или, как говорил при мне один отечески наказанный мужик лет пятидесяти: «Оно не то что больно, а перед бабой зазорно». У нас с вами бабы нет, а все — зазорно.

Satis! ** Преторианский воздух на меня действует — не могу не говорить по-латыни. Ad diabolum mitto multas res, quarum denominationes sunt ad pronunciandum difficiles. Vale et me ama. I. Turgenevius» ***.

В оценке «Накануне» публика наша разделилась на два лагеря и не сходилась в одном и том же понимании произведения, как то было при «Дворянском гнезде». Хва-

---

* долой... (*ит.*)

** Довольно! (*лат.*)

*** Посылаю к черту многие вещи, наименования которых неудобны для произнесения. Прощай и люби меня. И. Тургенев (*лат.*).

лебную часть публики составляла университетская молодежь, класс ученых и писателей, энтузиасты освобождения угнетенных племен — либеральный, возбуждающий тон повести приходился им по нраву; светская часть, наоборот, была встревожена. Она жила спокойно, без особенного волнения, в ожидании реформ, которые, по ее мнению, не могли быть существенны и очень серьезны, — и ужаснулась настроению автора, поднимавшего повестью страшные вопросы о правах народа и законности, в некоторых случаях, воюющей оппозиции. Вдохновенная, энтузиастическая Елена казалась этому отделу публики еще аномалией в русском обществе, никогда не видавшем таких женщин. Между ними — членами отдела — ходило чье-то слово: «Это «Накануне» никогда не будет иметь своего завтра». Повесть, однако же, дождалась своего завтра — и притом кровавого — через 17 лет, когда в самой Болгарии русская кровь лилась ручьями за спасение этой несчастной землицы. Многим из возражателей Тургенева казалось даже, что повесть, несмотря на свои русские характеры, яркие черты русского быта и мнения, способные возникать только на нашей почве, вроде выходок Шубина, афоризмов Увара Ивановича, принадлежит очень опытному, смышленому и талантливому *иностранному* перу. Почти тотчас после прибытия моего из деревни я получил от Тургенева в Петербурге довольно странную записочку:

«Четверг, вечером[41]

Любезнейший П. В. Со мной сейчас случилось преоригинальное обстоятельство. У меня сейчас была графиня Ламберт с мужем, и она (прочитавши мой роман) так неопровержимо доказала мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от A до Z, что я серьезно думаю, не бросить ли его в огонь? Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко мне часа в три — и я вам покажу ее написанные замечания, а также передам ее доводы[42]. Она, без всякого преувеличения, поселила во мне отвращение к моему продукту — и я, без всяких шуток, только из уважения к вам и веря в ваш вкус, не тот же час уничтожил мою работу. Приходите-ка, мы потолкуем — и, может быть, и вы убедитесь в справедливости ее слов. Лучше теперь уничтожить, чем впоследствии бранить себя. Я все

это пишу не без досады, по безо всякой желчи, ей-богу. Жду вас и буду держать огонь в камине. До свидания. Весь ваш И. Т.».

Огонь в камине оказался не нужен. Через полчаса размышления сообща автор убедился сам, что непривычка к политическим мотивам в художническом деле была одна из причин недовольства его критика, — точно так же, как заявленная критиком невозможность допустить увлечения болгарской идеей на Руси и особенно в женском сердце породила все те упреки в несообразностях, резкостях и преувеличениях, какие пришлось выслушать от него автору с глазу на глаз. Графиня Ламберт была женщина чрезвычайно умная и чуткая к красоте поэзии, но, как большинство развитых русских женщин, не любила, чтобы искусство искало помощи и содействия политики, философии, чего-либо постороннего, хотя бы даже науки вообще. «Накануне» было, таким образом, спасено и явилось в свое время и на назначенном ему месте. В течение недолгого нашего разговора с автором мне все казалось, что уничтожения романа не желал и он сам, что он обратился к постороннему человеку с целию иметь третье, не заинтересованное в деле лицо, на которое можно бы было при случае сослаться.

С появлением «Накануне» начались для Тургенева серьезные неприятности и прежде всего формальный разрыв с издателями «Современника» [43]. Полемика, возникшая позднее по поводу разрыва, преувеличила его размеры в такой степени, какой он сначала вовсе не имел. Несомненно, что Некрасов желал иметь повесть в своем журнале по многим причинам и прежде всего по ее либеральному содержанию, а затем и потому, что вторичное появление Тургенева в «Современнике» и на таком близком расстоянии (1859—1860 г.) укрепило бы в публике мнение о его намерении принадлежать этому изданию преимущественно перед другими. Уговоры и обольщения, пущенные в ход Некрасовым для этой цели, не имели влияния — Тургенев оставался непреклонен. Однажды утром Некрасов явился к автору с денежными предложениями; Тургенев и в этот раз отринул предложение, прибавив, что повесть уже обещана другому и он сам не имел более на нее никаких прав. Через несколько дней он присоединил к отказу новое огорчение, потребовав в конторе «Современника» полного расчета за все старое время. Надо заметить, что

с года основания журнала (с 1847 года), и даже прежде, существовали между ними счеты дружеского характера, которые потом возросли и запутались до того, что Тургенев уже и не знал, под бременем какого долга он состоит у Некрасова или у журнала. В течение 12—13 лет он брал у них деньги, выплачивая то своими сочинениями, то наличными суммами и не справляясь о равновесии уплат с займами. Можно думать, что это неведение коммерческой стороны дела под конец ему надоело. Другая сторона не торопилась исполнить его просьбу, может быть, и потому, что понимала выгоду, какую имеет всякий кредитор держать в некоторого рода зависимости своего должника. Но это уже был не старый Тургенев, которого все знали и который легко мог поддаться на всякую ловушку, а другой, гораздо более настойчивый и твердый. Так как он, видимо, не хотел более возвратиться к домашнему, безотчетному ведению своего литературного бюджета, то счет был представлен. Безропотное, покорное очищение его сделалось именно сигналом полного разрыва между старыми друзьями — Тургеневым и Некрасовым.

Справедливость наших слов о том, что не разность мнений была первой причиной разрыва с «Современником», а отказ Тургенева отдать в журнал новую свою повесть и прекратить вообще свои вклады в него, подтверждается и словами самого Тургенева. Я получил от него из села Спасского от 23 октября 1859 года письмо, из которого предлагаю здесь следующие выдержки:

«Теперь несколько объяснений:

1) Конченная повесть (название ей *по секрету* «Накануне») будет помещена в «Русском вестнике», и нигде иначе. Это несомненно — und damit Punctum *.

2) «Библиотека для чтения» знает, что у меня повести готовой *нет,* но что я постараюсь и надеюсь написать хоть небольшую вещь для нее.

3) Во время проезда через Петербург Некрасов явился ко мне и, сказав, что знает, что моя повесть будет в «Русском вестнике», просил хоть чего-нибудь и позволения напечатать, что я им дам что-нибудь — новое какое-нибудь произведение. К этому он прибавил местоимение: свое, и вышло, что я им даю *свое новое произведение.* Но, кроме этих трех слов, они от меня ничего не получат.

Кажется, довольно объяснений. Перехожу к другому.

* и на этом точка (*нем.*).

Рад я очень утверждению литературного фонда и очень бы желал быть в Петербурге к 8 ноября, но у меня *та же самая болезнь,* как в прошлом году: я нем, как рыба, и кашляю, как овца. В прошлом году эта штука продолжалась 6 недель, а здесь и докторов нет... Я не теряю надежды хоть к 20 ноября быть в Петербурге — и тогда, разумеется, по примеру «Дворянского гнезда», первый прочтете мою повесть — вы. Я теперь не имею никакого суждения о том. что я произвел на свет: кажется, эротического много, Шатобрианом пахнет... Коли не выгорело, брошу — не без сожаления, но с решительностью. Теперь уже нельзя... в грязь садиться: это позволительно только до 30 лет...

А я теперь занят общим пересаживанием крестьян на оброк. Дядя — спасибо ему! — не потерял времени, размежевался и переселил крестьян, так что они теперь сами по себе, и я сам по себе [44]. Оброк назначался по 3 руб. сер. с десятины, разумеется безо всяких других повинностей. Но леса истребляются страшно — все продают, пока их не раскрали.

Скучно мне, любезный П. В., не быть в Петербурге. Сидел бы в своей комнате, у Вебера, а то здесь живого лица не увидишь. Надо терпеть — а кисло.

Толстой был у меня недели две тому назад, но мы с ним не ладим — хоть ты что! Впрочем, вы, вероятно, имеете о нем известия.

Прощайте... Жму вам крепко руку и кланяюсь всем приятелям. Преданный вам И. Т.».

Постоянные пикировки между Тургеневым и Толстым привели их обоих чуть не к формальному обмену пулями, о чем будем говорить скоро [45]. Теперь же мы видим, что, по мысли Тургенева, разрыв с «Современником» был окончательный, и произошел он из намерения его раз навсегда высвободиться из кабалы, в которую попал и которая продолжалась долее, чем можно было терпеть, чего Некрасов, с своей стороны, никак не хотел понять.

Но оставалась еще публика. С ней надо было обращаться осмотрительнее. В последнее время «Современник», благодаря искусству своей редакции, получил громадное влияние и распространение. По голосу его уже с 1858 года стали формироваться в литературе мнения и убеждения, которые следовало беречь и не возмущать никаким подобием мелкого расчета. Все шло по-прежнему

тихо и прилично. Знаменитая, более остроумная и блестящая, чем неотразимо убедительная, речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот», сказанная им в январе 1860 года на вечере литературного фонда, явилась, по обыкновению, на страницах «Современника»[46]. Почти вслед за нею Тургенев еще побывал в Москве, повторив свою речь тоже на вечере литературного фонда; добился еще для А. Н. Островского позволения публично прочесть отрывок из комедии «Свои люди — сочтемся», которая много возмущала петербургскую цензуру и дозволена была московскою без особого затруднения. Тургенев выслал в комитет литературного фонда, как результат устроенного им чтения, 1220 р. 50 к., прибавляя: «Комитет должен быть доволен мною». По возвращении в Петербург он прожил еще там до мая месяца и уехал, как назначал сам, сперва в Париж. Русская переписка наша тоже прекратилась или перешла на иностранную почву, ибо спустя месяц в я уехал в Италию. Между тем приближалось для «Современника» время подписки, и являлась необходимость объяснять читателям, почему один из четырех главных сотрудников журнала удалился вовсе из редакции. Надо было подготовить умы к известию о разрыве, и дело началось издалека запоздалым разбором «Рудина», поразившим и огорчившим автора романа. Я убедился в этом из парижского письма Тургенева, полученного в Петербурге 8 октября 1860 года, когда я уже опять был дома. Письмо гласило:

«Париж, 12 октября н. с., 1860

...Скажу вам несколько слов о себе. Я нанял квартиру в Rue de Rivoli, 210, и поселился там с моей дочкой и прекраснейшей англичанкой-старушкой, которую бог помог мне найти. Намерен работать изо всех сил. План моей новой повести готов до малейших подробностей — и я жажду за нее приняться[47]. Что-то выйдет — не знаю, но Боткин, который находится здесь... весьма одобряет мысль, которая положена в основание. Хотелось бы кончить эту штуку к весне, к апрелю месяцу, и самому привезти ее в Россию. «Век» должен считать меня в числе своих серьезнейших неизменных сотрудников[48]. Пожалуйста, пришлите мне программу, а я в свободные часы от моей большой работы буду писать небольшие статейки, которые постараюсь делать как можно интереснее.

Спасибо, батюшка, за книги... И за 40 руб., данных беспутному двоюродному братцу, — благодарю[49]. «За все, за все тебя благодарю я»[50]. Этот сумасшедший брандахлыст, прозванный у нас в губернии Шамилем, прожил в одно мгновение очень порядочное имение, был монахом, цыганом, армейским офицером, а теперь, кажется, посвятил себя ремеслу пьяницы и попрошайки <см. рассказ Тургенева от 1881 года «Отчаянный»>. Я написал дяде, чтобы он призрел этого беспутного шута в Спасском. Что же касается до 100 сер., пусть вам заплатят издатели «Века», а я им это заслужу ранее месяца.

Сообщите прилагаемую записку Ив. Ив. Панаеву. Если бы он хотел узнать настоящую причину моего нежелания быть более сотрудником «Современника», попросите его прочесть в июньской книжке нынешнего года, в «Современном обозрении», стр. 240, 3-я строка сверху, пассаж, где г. Добролюбов обвиняет меня, что я преднамеренно из Рудина сделал карикатуру, для того чтобы понравиться моим *богатым* литературным друзьям, в глазах которых всякий бедняк мерзавец. Это уже слишком — и быть участником в подобном журнале уже не приходится порядочному человеку[51].

Пристройте, то есть помогите пристроить через Егора Ковалевского (которому кланяюсь дружески) Марковича <мужа г-жи Марко Вовчок>.

Жена его здесь, не совсем здорова и грустит. Но это пройдет, и она оправится. А главное, она без гроша. Хотя муж ей посылать не будет, но если у него будет порядочное жалованье, так он, по крайней мере, не будет ее грабить. Макаров еще здесь, но скоро возвращается.

Бедный, благородный Николай Толстой скончался в Hyéres'е. Его сестра там зимует, и Лев Николаевич еще там.

Ну, прощайте. Целую вас в уста сахарные и жду ответа. Кланяйтесь всем приятелям... Что делает бедный <Я. П.> Полонский. <У Полонского скончалась в это время первая его жена.> Преданный вам И. Т.».

* * *

Характеристика Рудина была предшественницей характеристики Базарова, которую сделал другой рецензент в разборе «Отцов и детей», тоже напечатанном в «Современнике»[52].

Полунасмешливая, полувызывающая записочка Тургенева к И. И. Панаеву была следующего содержания:

«1 (13) октября 1860

Любезный Иван Иванович. Хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в «Современнике» о своих сотрудниках [53] и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать, что я вам более не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более что у меня ничего готового нет и что большая вещь, за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник».

Я, как ты знаешь, поселился в Париже на зиму. Надеюсь, что ты здоров и весел, и жму тебе руку. Преданный тебе Ив. Тургенев. Париж, Rue de Rivoli, 210» *.

Письмо осталось в моих бумагах. Я не отослал его по адресу из одного соображения: при разгоравшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пламя. Но я ошибся. Редакция «Современника» решилась довести дело до конца. В объявлении о подписке и в особой статье она сообщала подписчикам своим, что принуждена была отказаться от участия и содействия автора «Записок охотника» по разности взглядов и убеждений и уволить его от сотрудничества в журнале [54]. Удар был верно рассчитан. Он возмутил Тургенева, имевшего все доказательства противного, возмутил более, чем все выходки «Свистка», образовавшегося при журнале, более чем всякие другие уколы, рассеянные на страницах журнала, как, например, тот, где говорилось о модном писателе, следующем в

---

* По получении обоих писем я тотчас же обратился тогда за справками, ибо, пробыв некоторое время за границей, упустил множество журнальных явлений. Сомнение в том, что Тургенев как обиженный человек мог преувеличить смысл места, на которое указывал, было тоже одной из причин проверки его цитаты. Указываем здесь, например, статью, из которой читатель может увидеть, что Тургенев даже и не достиг еще того пафоса, в котором написана статья. Критик разбирал переводную книгу американца Готорна «Собрание чудес — повести из «мифологии» («Современник», в отделе «Русская литература», июнь, № 6, 1860 г.) и, оставшись недоволен попыткой автора придать нравственный оттенок сказаниям мифологии, в числе разных доказательств своего мнения ссылается и на Рудина. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

хвосте странствующей певицы я устраивающем ей овации на подмостках провинциальных театров за границей. Тургенев решился публично опровергнуть такое известие, и вот что говорит он в своей статейке по поводу «Отцов и детей» (1868—1869) (см. посмертное издание 1883 года, стр. 118): «Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте — ни сами сказать, ни услышать *последнее слово.* Делайте свое дело, а то все перемелется... Пусть следующий пример послужит вам в назидание; в течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей я, несмотря на ее просьбы, — на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня... «Как смел я поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав? Я должен был молчать». Этот урок пошел мне впрок...» [55]

Но если Тургенев каялся в своем вмешательстве в дело, касавшееся до него лично, то еще в сильнейшей степени раскаивался и Некрасов в том, что начал его так смело и решительно. Правда, что, благодаря необыкновенной даровитости своих главных журнальных сотрудников и приобретенной ими чрезвычайной популярности, он торжествовал долгое время победу на всех пунктах. Но все это не мешало Некрасову сознавать грехи своей полемики. Когда составитель краткой биографии Тургенева, приложенной к I тому посмертного издания его сочинений 1883 года, указал Некрасову еще в 1877 году, незадолго до его смерти, некоторые черты этой полемики, то получил от него в извинение замечание, будто он тут без вины виноват и, находясь на охоте, не думал вовсе о статьях «Современника» [56]. Не знаем, насколько подобное оправдание может быть принято от редактора влиятельного журнала, знаем только, что обращение к подписчикам состоялось с его согласия и под его влиянием. Гораздо откровеннее был Некрасов со мной лично, когда однажды, возвращаясь поздно ночью от кого-то, он мне неожиданно сказал: «Я вас уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, как другие, за выходки «Свистка» против

наших литераторов. Могу вас уверить, что я серьезно думаю положить им конец». Но «Свисток» процветал и после того еще пуще, кажется, чем прежде[57]. Несколько дней спустя после замечания Некрасова он сам приехал утром ко мне и целый час говорил в кабинете о постоянном присутствии образа Тургенева перед глазами его днем и особенно ночью, во сне, о том, что воспоминания прошлого не дают ему, Некрасову, покоя и что пора комунибудь взяться за их примирение и тем покончить эту безобразную (так он выразился) ссору[58]. Но Тургенев уже не походил на человека, с которым легко помириться по слову постороннего, третьего лица. Когда я передал ему в письме весь происходивший у нас разговор, он отвечал ссылкой и указанием на новую выходку против него в «Современнике» и более не заикался о предмете. Говоря вообще, никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений и никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осуждаемому его совестью. Это была странная настойчивость, которую подчас он старался искупить великодушием и готовностью на многочисленные жертвы. Можно сказать, что он всю жизнь состоял под настоятельной потребностью самоочищения и искупления, не исправляясь от грехов, в которых горячо каялся[59]. Примирение между врагами произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу.

Второй эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его, относится к тому же времени — литературное недоразумение с романистом-художником Иваном Александровичем Гончаровым[60] — не заслуживал бы и рассказа, если бы не авторитетные имена обоих участников этого спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей третейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех «Дворянского гнезда» и «Накануне» приобретенным неправильно. Дело, без сомнения раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом

и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность — и «я успокоился», — прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц 30 или 40 из романа, как говорится в письме И. А. к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору. «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста», — говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:

«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту — это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других, и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе»[61]. Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, в на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разрабатывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи, — позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 в квартире И. А. Гончарова — это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков — люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем

самым иметь несколько схожих положении, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились, в 1864 — при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. Во время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений [62].

Третий эпизод из жизни Тургенева касался уже весьма близкого к нему лица — гр. Л. Н. Толстого, но об этом будет сказано ниже.

II

В мае 1860 я уехал за границу. Русским туристам должно быть известно чувство, которое весной тянет их далеко от намеченных целей, — туда, где больше солнца, где природа деятельнее и цветущее. Это случилось и со мной. Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его Unter den Linden, съездил в голый, еще не распустившийся Tiergarten — и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вы-

звал гомерический хохот у Тургенева. Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, — пишет он, — по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом... Как? Этот человек, который мечтал только о том, как бы дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstgriff» *. Однако же полагаю, что этот художнический прием не составлял особенности моей природы, а скорее совпал с тем, что постоянно происходило у моего наставника. В письме, только что приведенном, заключалось еще следующее: «Но увлеченный вашим примером, я также, вместо того чтобы съездить в Англию до начала моего лечения, которое будет в Содене, возле Франкфурта, и начнется 15 июня, думаю, не катнуть ли мне в Женеву, которую я никогда не видел, не пожить ли недельки две с некиим толстым человеком — Пав. Ан.?:. Итак, быть может и весьма вероятно, до скорого свидания...»

Но в Женеву Тургенев и не думал ехать, и я, проживши понапрасну, в ожидании его каждый день, целых две недели в скучном городе, выехал из него наконец в Милан. Впрочем, я еще получил письмо от Тургенева из Парижа (3 июня 1860). Он извещал, что выезжает в Соден. «А я, проживши три недели в Париже, — пишет он, — скачу завтра же в Соден. И вот вам мой план:

1. От 5 июня и. с. до 20 июля — я в Содене.

2. От 20 июля по 1 августа — я в Женеве, на озере 4-х Кантонов, на вершинах Юнг-Фрау, где угодно.

3. От 1 августа по 20 августа — на острове Уайт.

4. От 20 августа по 1 сентября — у m-me Виардо, в Куртавнеле.

А там я живу — в Париже.

Изо всего вышеприведенного вы легко можете заключить, даже не будучи Ньютоном или Вольтером, что наши планы могут слиться в одно прекрасное целое и что ничего не помешает нам попорхать вместе от Женевы до Уайта. Главное, надо будет списаться: я вам пришлю из Содена мой точный адрес».

Не успели еще остыть и чернила на этих строках, как план, так настойчиво поставленный, потерпел крушение.

---

* прием, манеру (*нем.*).

Он изменился в сроках пребывания на избранных местах, в выборе новых, в беспричинном упразднении старых проектов, как поездки в Женеву например, и т. д. Все это увидим скоро. Теперь же прилагаем окончание письма, тоже любопытное по портретам, в нем заключающимся. Кстати, надо прибавить, что портреты Тургенева не имеют ничего общего с тем родственным, неделимым сочетанием диффамации и клеветы, какое свойственно памфлетам нашего времени, и никого оскорбить не могут. Это только незлобивое, остроумно-критическое отношение к личностям, во что обратилась его старая привычка определять их карикатурой.

«Здесь появился <В. П.> Боткин, загорелый, здоровый, медом облитый, но не без мгновенных вспышек раздражительности; так, он, зайдя ко мне, чуть не прибил моего портного за то, что он хочет мне сделать пиджак с *тальею;* портной трепетно извинялся, а Вас. Петр. with a withering smile (с надменной улыбкой): «Mais c'est une infamie, monsieur!» (Ведь это низость, государь мой!) Толстой и Крузе здесь; здесь также и Марко Вовчок[63]. Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо, но зараженное страстью к самоистреблению: просто так себя обрабатывает, что клочья летят!.. Она также намерена быть в августе на Уайте. Наша коллегия будет так велика, что, право, не худо бы подумать, не завоевать ли кстати этот остров? Кстати, если вы не отыскали, то отыщите в Милане Кашперова и поклонитесь ему от меня. Его легко сыскать — спросите в музыкальных магазинах. Он отличный малый — и жена его милая и умная женщина.

До свидания, лобзаю вас в *верх* головы, как говорит Кохановская. *А-пропо!* * Катков обайбородил Евгению Тур за письмо к нему по поводу Свечиной[64]. Вот междуусобица. Ваш И. Т.».

В этом письме останавливают внимание оживленные похвалы г-же Маркович (Марко Вовчку). Он был с нею в то время в самых приятельских отношениях и сделал путешествие с нею и молодым ее сыном в Берлин в почтовой бричке, где они сидели втроем. Железной дороги до Берлина тогда еще не существовало. Тургенев с умо-

* Кстати (*фр.* à propos).

рительным юмором рассказывал потом, как резвый мальчик сидел у него всю дорогу на руках, на ногах и спал на шее. В Париже он поместил мальчика в пансион и неустанно покровительствовал его матери. Марко Вовчок принадлежала к кругу малороссов, с поэтом Шевченкой во главе, — кругу, который с журналом «Основа» значительно увеличился и приобрел видное положение в обществе. Тургенев сочувствовал его стремлениям, имевшим целью поднять язык своей страны, развить ее культуру и поставить ее в дружеские, а не подчиненные только отношения к великорусской культуре. Он искал знакомства с поэтом Шевченкой, высказывал искренние симпатии его прошлым страданиям и его таланту, но не разделял его увлечений. Над его привязанностью к Запорожью, казачьему удальству, к гайдаматчине он подсмеивался не раз в приятельском кружку Марко Вовчок была тогда в апогее своей славы за свои грациозные и трогательные повести из крепостного быта — «Украинские народные рассказы», вышедшие к тому же времени (1860) в переводе Тургенева на русский язык[65]. С тех пор завязались у них то задушевные отношения, свидетельством которых служит его переписка и которые длились до той минуты, когда Тургенев открыл в Марко Вовчке наивную способность поглощать благодеяния как нечто ей должное и требовать новых, не обращая внимания на свои права на них. Это была удивительная натура, без нужных средств для поддержания своих привычек, но с замечательным мастерством изобретать средства для добывания денег, что, в соединении с серьезностию, какую дают человеку труд, талант и горькие опыты жизни, сообщало особый колорит личности г-жи Маркович и держало при ней многих умных и талантливых приверженцев довольно долгое время. Тургенев пока только удивлялся ей. В декабре 1860 года он писал мне: «Марья Алекс. все здесь живет и мила попрежнему; но что тратит эта женщина, сидя на сухом хлебе, в одном платье, без башмаков, — это невероятно. Это даже превосходит Бакунина. В $1^1/_2$ года она ухлопала 30 000 франков совершенно неизвестно куда!» Тургенев мало-помалу отвык от нее, а под конец жизни и вовсе не вспоминал о ней.

Из Болоньи я отправился в Равенну осмотреть ее древнехристианские памятники, но при этом только одна случайность помешала мне сделаться свидетелем и участником чисто итальянской черты народного быта. Я пошел

в почтамт, чтобы взять единственный остававшийся свободным билет в купе, которое отправлялось в Равенну. Не помню, что помешало мне овладеть им, только я отложил свою поездку до следующего раза. Толпа итальянцев, окружающая обыкновенно все входы и выходы присутственных мест, подметила меня и, вероятно, приняла за англичанина с туго набитым кошельком. На другой день утром я был разбужен лакеем гостиницы, который сообщал мне испуганным голосом следующее: «Вы собираетесь в Равенну — будьте осторожны. Вчера бандиты остановили почтовый дилижанс и, вероятно, ограбили бы его, если бы ехавший с ними офицер не разогнал их своим револьвером». Я пошел тотчас же на разведки — билет, который был уже в моих руках, попал к офицеру итальянской армии, вероятно более меня знавшему об анархии в тогдашней Италии, только что переменившей у себя «правительство» [66], и на всякий случай взявшему с собой заряженный револьвер. Угрозой выстрелов он и обратил в бегство мошенников, еще не приученных к ремеслу, как их собраты в Папской области. Рассчитав, что лучшего времени для вояжа и быть не может, я опять взял билет в карету, и мы благополучно достигли Равенны, сопровождаемые отрядом берсальеров с ружьями, в почтовой тележке, приданных нам администрацией для сохранения свободы сообщений; они всю ночь распевали итальянские патриотические песни. Из Равенны я переехал в Сиену, где получил от Тургенева последнее соденское письмо, извещавшее о начавшемся разложении так хорошо обдуманного плана наших встреч. Следовало торопиться, ибо весь план этот со дня на день мог разлететься в пух и оставить меня и мой вояж без цели результатов.

Вот письмо Тургенева:

«Соден, 8 июля 1860

Милый П. В. Сейчас получил ваше письмо и отвечаю. Сообщаемые вами подробности очень любопытны. Что бы с нами было, если бы вас застрелили, хотя вы бы, вероятно, защищаться не стали! Но пуля — дура. Много придется поговорить с вами обо всем, что вы видели, поговорить на острове Уайте: [67] раньше мы не увидимся. План мой потерпел маленькое изменение, о котором считаю долгом известить вас. Я остаюсь здесь до 16-го числа и еду

прямо в Куртавнель, к m-me Виардо, где я пробуду до 1 августа, то есть до эпохи морских купаний на Уайте. M-me Виардо этого желает, а для меня ее воля — закон. Ее сын чуть было не умер, и она много натерпелась[68]. Ей хочется отдохнуть в спокойном, дружеском обществе. Кстати, о смерти: вообразите, какое горестное известие получил я от Писемского. Миленькая, хорошенькая жена Полонского умерла![69] Я не могу вам выразить, как мне жаль и ее и ею, да и вы, вероятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить, и не следовало ли Полонскому маленькое вознаграждение за все его прошедшее горе? Где же справедливость!

Мы здесь в Содене ведем жизнь чрезвычайно тихую. Здоровье мое в отличном положении; к сожалению, погода стоит прехолодная и прескверная: дожди непрерывные. Вы пишете о зное, а я в жизни так не зяб, как третьего дня, ехавши в открытой коляске из Эмса, где я посетил графиню Ламберт, в Швальбах, где поселилась М. А. Маркович <Марко Вовчок>. Это очень милая, умная, хорошая женщина, с поэтическим складом души. Она будет на Уайте, и вы должны непременно сойтись с ней... Чур, не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что она не очень красива. Впрочем, мы с вами прокопченные сельди, которых ничего уже не берет. Карташевская промчалась здесь с братом и живет пока в Бонне, в Hôtel Belle-Vue, под руководством Килиана. Она проведет там месяц, я послал ей ваш адрес. Вы можете заехать к ней, когда будете плыть по зеленоводному Рейну.

Здесь я видаюсь чаще всего с братом Льва Толстого, Николаем. Он отличный малый, но положение его горестное: у него безнадежная чахотка. Он ждет сюда брата Льва с сестрой; но бог знает — приедут ли они?[70] Я получаю письма от Ростовцева: он на Уайте, в Вентноре. Нету слов на языке человеческом, чтобы выразить, до какой степени я здесь ничего не делаю. Пальцам больно, когда перо держишь. Неужели я занимаюсь литературой?..

Ну, прощайте. Авось после всех моих откладываемых свиданий мы увидимся в Вентноре, на Уайте. Я почему-то воображаю, что там будет очень хорошо. Будьте здоровы и старайтесь держать свой круглый и приятный подбородок над поверхностью воды. Ваш И. Т.».

* * *

Быстро промчался я на возвратном пути через северную Италию и ночевал в Милане. На другой день мы переехали Симплон. Дорога эта слишком хорошо известна путешественникам, чтобы еще описывать ее. Скажу только, что вторую ночь я ночевал во Франкфурте-на-Майне, третью в Кельне, а четвертую на диване пассажирского парохода, перевозившего нас через канал из Остенде. В Лондоне я застал В. П. Боткина, Тургенева[71] и Герцена, еще не уехавшего на дачу. Мы последовали с Тургеневым за ним, когда он наконец поднялся с семейством из города. Целый день проплутали мы по разным дорогам, когда вблизи Сутсгемптона остановились, нашли дилижанс и достигли ночью пригорка с домиком на вершине его. Пригорок лежал на берегу моря и носил гордое название Eagle-nest (Орлиное гнездо). Никакого орла там не было, за исключением хозяина, радушный хохот которого встретил нас у порога и проводил в ярко освещенную залу, где уже готов был ужин. Сколько расточено было при этом рассказов, шуток, замечаний, смеха — всего передать нельзя. Тургенев провел всего два дня в Eagle-nest'е и отправился на остров Уайт — нанимать cottage, взяв с меня слово остановиться у него. Я дал ему время устроиться и через три дня явился к нему в чистую и хорошенькую виллу, из которой скоро попросили меня, однако же, выехать. В кабинете Тургенева на письменном его столе с утра лежала записка хозяйки коттеджа, в которой она просила его противодействовать дурной привычке приезжего его сотоварища, то есть моей, — курить в ее доме папиросы. Хозяйка была диссидентка, как большинство всего населения острова. Узнав содержание записки, я предложил Тургеневу позволить мне переселиться в красивый отель на берегу моря и оставить его, таким образом, мирно и безмятежно пользоваться выгодами удобной квартиры, обещая ему являться каждый день у дверей его и не напускать более богопротивного дыма в стенах благословенного его жилища. Но Тургенев и слышать ничего не хотел. «Уступить капризу раскольницы было бы очень глупо», — говорил он. Он попросил меня подождать его возвращения, а сам надел шляпу и ушел. Когда он вернулся назад, квартира была найдена. Прелестный, чистый домик у самого купанья на море уже ожидал нас. Распорядившись переноской наших вещей, мы в нем

и поселились. Мы нашли целую колонию русских на Уайте: гр. Алексея Конст. Толстого, гр. Николая Яков. Ростовцева, брата его, гр. Михаила, исследователя древнехристианского искусства Фрикена, бывшего цензора Крузе, Мордвинова, В. П. Боткина и т. д. Г-жи Маркович не было, да она, кажется, и не имела намерения исполнить обещания, данного ею Тургеневу [72].

Время, которое мы тогда переживали, было тревожное вообще как у нас дома, так и на Западе. Мы видели уже, как часто Тургенев восклицает в письмах evviva Garibaldi, — обещая себе розгу, если услышат возглас посторонние; но положение России не вызывало никаких возгласов, а было как-то ровно грозящее и сулящее бедствия. С приближением крестьянской реформы напряженное состояние умов все увеличивалось, и сдерживать его уже не могла ни цензура министерства просвещения, изнывавшая под бременем своей ответственности, ни безответственное III Отделение, боявшееся решительными мерами повредить самой мысли о преобразовании и следовавшее издали за общим волнением. Иногда оно неожиданно восставало с прежними, некогда столь страшными, угрозами против разумных требований общества, которых и разобрать правильно не могло, как то было в вопросе о сохранении за крестьянами существующего надела, и, пристыженное, уходило опять за кулисы. Затруднения администрации еще увеличились, когда к этому же времени овладел всей образованной частью общества, всей интеллигенцией России дух реформ и жажда политической деятельности. Придирались ко всякому часто маловажному факту, чтобы раздуть его в политическое или социальное явление и сделать его предметом толков. Сам Тургенев поддался духу времени и препроводил государю императору в 1862 году письмо, в котором защищал арестованного журналиста Огрызко, уличенного в связях с польским восстанием. Журнал, им издаваемый, был запрещен [73]. Мы видели черновую этого всеподданнейшего письма, очень красноречиво составленного. Решаемся на память передать его содержание. Не зная сущности дела, Тургенев просил не о снисхождении к виноватому, а о восстановлении его во всех его правах. Письмо, между прочим, говорило, что арестованием издателя польской газеты и упразднением ее самой нарушаются великие принципы царствования, что мера потрясает надежды и доверие, возлагаемые на него русским обществом как на освободи-

тиля крестьян и как на лицо, провозгласившее с высоты престола неразрывное слияние интересов государства с интересами подданных; что он, проситель, считает своим долгом высказаться откровенно, исполняя тем, во-первых, прямую обязанность верноподданного, а во-вторых, выражая своим поступком глубокую признательность за защиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма. Письмо, конечно, не имело никаких последствий для Тургенева и оставлено было без ответа. Тургенев рассказывал только потом, что, встретившись с государем на улице и поклонившись ему, он мог приметить строгое выражение на его лице, а в глазах прочесть как бы упрек: «Не мешайся в дело, которого не разумеешь».

Но ни один из наших импровизированных прожектеров не задавал себе тогда и мысленно никакого вопроса. Все дело казалось очень легким. Стоило только вспомнить безобразия прошлого и своей собственной жизни, противопоставить им идеалы существования, их отрицающие и всегда у нас существовавшие, — и план нового проекта был тотчас же готов. Кроме того, каждый проект обещал с принятием его эру невиданного благоденствия на земле. Канцелярии наши были завалены работами в этом смысле и не оставались в долгу у общества. Они благосклонно относились к поголовному уничтожению всякого зла и заготовляли уже декреты, упразднявшие такое зло, около которого, однако, собирались жизненные интересы управляемых, предоставляя последним выпутываться из дела, как умеют, и не объясняя своих идей, целей, намерений. Контролирующей власти приходилось считаться так же точно с своими собратами по управлению, как и с публикой. Трудно было тогда найти человека во всей России, который ясно и отчетливо сознавал бы и предвидел результаты, какие должны, по местным условиям, выйти из приложения его планов и убеждений. В публике образовался целый класс людей, который всячески поощрял насаждение новых начал и принципов, думая, что из общего переворота выйдет сам собою обновленный строй жизни и упразднит все отребье второстепенных деятелей, их честолюбивые замыслы, их надежды на возвышение и играние ролей, незрелость их мысли. Почти то же самое думали и настоящие герои дня, те колоссы «редакционных комиссий», которые, не обращая внимания на шум, вокруг них царствовавший, и одушевленные только жаждой народной

пользы, шли впереди всех твердо к своей цели — полному и обдуманному освобождению крепостных [74]. Трагическое в их положении составляло совсем не то, что, порешив свою задачу, они обратились в простых граждан, а то, что не прошло и двух лет, как их труд, благодаря позднейшим прибавкам и отменам, дал результаты не те и ниже тех, какие от него ожидались.

Усевшись в Вентноре и одолеваемый такой праздностью, что «больно было перо взять в руки», по собственному его выражению, Тургенев задался мыслью основать общество для обучения грамоте народа и распространения в нем первоначального образования с помощью имущих и развитых классов всего государства. Наскоро составлена была им программа общества и представлена на обсуждение русской колонии в Вентноре [75]. Она подробно разбиралась по вечерам в домике Тургенева, изменялась, переделывалась и после многих прений, поправок и дополнений принята была комитетом из выборных лиц кружка. После того принялись за составление и переписку обстоятельного циркуляра, при котором должен быть выслан «проект» общества всем выдающимся лицам обеих столиц — художникам, литераторам, ревнителям просвещения и влиятельным особам, проживающим дома и за границей. Из одного этого перечня уже видно, какую массу механической работы приняли на себя участники предприятия, но благодаря настойчивости Тургенева и их усердию работа осуществилась. Основная мысль программы, как и всех проектов того времени, поражает своею громадностью, но подобно им и грешит отсутствием практического смысла. Она молчала о путях, которыми следовало идти для создания массы учебных заведений и корпорации учителей при них, не указывала на группы людей и на центры, откуда должны были истекать распоряжения о покрытии России народными училищами, и многое другое пропускала без внимания. Можно было подумать, что программой руководила только мысль доказать нужду, полезность и патриотичность общества, а подробности его осуществления предоставить ему самому, как именно и полагал Тургенев.

Я уже покинул Уайт и находился в Аахене, когда получил от Тургенева письмо из Вентнора, с приложением и программы и разосланного уже циркуляра:

«*Вентнор. Пятница, 31 августа*

Вот вам, любезнейший друг П. В., экземпляр проекта и копия с одного из циркуляров. Вы усмотрите из присланного, что проект подвергся незначительным сокращениям, а в одном месте прибавлена оговорка, в предостережение от будущих возражателей. Боюсь только, как бы это письмо не застало вас уже в Аахене, так как, по письму таинственной Марьи Александровны <Марко Вовчок>, Макаров *поскакал* расстраивать *свадьбу* Шевченко! *[76]

Я написал на адресе, что в случае вашего проезда письмо послать в Петербург **. Нечего вас просить распространять проект наш, елико возможно. Вы и без того сделаете все, что будет в вашей власти, — в этом я уверен. Вслед за вашим экземпляром 10 других отправляются в Петербург и Москву. Куйте железо, пока горячо! Вот вам копия циркуляра: «М. г.! NN! Из прилагаемого при сем проекта программы общества для распространения грамотности и первоначального образования вы усмотрите цель письма моего к вам. Эта программа составлена при участии и с согласия нескольких русских, случайно съехавшихся в одном заграничном городе, и представляет только первоначальные черты общества. Надеюсь, что вы одобрите мысль, которая лежит ей в основании, и захотите посвятить ей и собственные размышления, и беседы с друзьями. Я бы почел себя счастливым, если бы ко времени моего возвращения в Россию (весной 1861 года) предлагаемая мысль получила обработку, достаточную для приведения ее в исполнение. Обращаясь к вам, я не нуждаюсь в громких словах: я и без того уверен, что вы охотно захотите принять деятельное участие в деле подобной важности или, по крайней мере, выразите свое воззрение. Я уверен также, что вы не откажетесь распространять списки нашего проекта. Предприятие это касается

---

* При моем отъезде из Аахена Н. Я. Макаров еще оставался там, так как свадьба Шевченко с горничной девушкой графини Ка—ой расстроилась сама собой за отказом невесты. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** На конверте стояла приписка рукой Тургенева: «Sollte Herr P. A. durchgereist sein, so wird gebeten diesen Brief nach Russland, S.-Petersburg, Demidoff Pereulok, Haus Wisconti zu schicken».

<Если господин П. А. в отъезде, прошу это письмо переслать в Россию, С.-Петербург, Демидов переулок, дом Висконти (*нем.*).> (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

всей России: нам нужно знать, по возможности, мнение всей России о нем. С искренней благодарностью получил бы я всякое возражение или замечание. Мой адрес: в Париж, poste restante. Остаюсь с полным и сердечным уважением преданный вам И. Т.».

Кажется, ничего нет ни лишнего, ни неуместного. Над всеми экземплярами будет приписано (и вы так распорядитесь), что всякого рода замечания и возражения с благодарностью принимаются на имя Тургенева — poste restante, в Париже, и на имя П. В. Анненкова в С.-Петербурге.

Желаю вам доехать благополучно и застать все в порядке, поклонитесь всем, и будем переписываться. Адрес мой — в Париж, poste restante, или Rue Laffitte, Hôtel Byron».

Большинство из тех, которые получили этот циркуляр, доказывавший, между прочим, какую цену давал Тургенев своему плану, изъявили, конечно, согласие вступить в члены общества, но некоторые замечали при этом, что программу следовало бы начертить с большей ясностью, подробностью и с большим знанием особых условий русской жизни. Знать *мнение всей России* о плане, как выражался циркуляр, не представляя самого плана или представляя только слабый его очерк, было дело нелегкое и вряд ли удалось бы даже и лицу неизмеримо более влиятельному и вышепоставленному, чем Тургенев. Впрочем, пока собирались приступать к составлению обстоятельного плана, время проектов подобного рода уже миновало; после петербургских пожаров 1862 года, временного закрытия Петербургского университета, упразднения воскресных школ и всяких попыток со стороны частных лиц распространять народное образование, программа не достигла и канцелярского утверждения, а заглохла и рассеялась сама собой, не оставив после себя и следа, кроме воспоминания у немногих современников ее.

Более посчастливилось литературному фонду, основанному год перед тем, в 1859 году, по мысли А. В. Дружинина. Тургенев вложил всю свою душу для доставления ему успеха; он устраивал блестящие литературные вечера, ездил за тем же в Москву, и всякий раз появление его на эстраде сопровождалось громадным стечением публики и энтузиастическим приемом чтеца. Трудно себе представить ныне ту степень благорасположения публики к ли-

тературному фонду. Люди, дотоле не признававшие даже и существования литераторов в России, собирались теперь на помощь сословию, от влияния которого старались прежде охранить нашу публику. Дело в том, что в литературном фонде, под руководством и представительством Егора Петровича Ковалевского, видели тогда признак времени и торжество взглядов, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Доля участия Тургенева в укреплении литературного фонда и в доставлении ему материальных средств была чрезвычайно значительна. Вместе с императорскими пожертвованиями и приношениями самой публики литературный фонд обязан и Тургеневу тем прочным положением, которым ныне пользуется.

* * *

Наступил и великий 1861 год, который своим днем 19 февраля, то есть днем уничтожения крепостного права, изменил всю нравственную физиономию России, а также замечательный и тем, что им следует пометить и полное окончание капитального произведения нашего автора — «Отцы и дети», появившегося вслед за тем во второй книжке «Русского вестника» 1862 года. Надо же было случиться, что в то время произошла перемена и в моей жизни. Виновником перемены был все-таки И. С. Тургенев, познакомивший меня с семейством, где я встретил будущую мою жену [77]. Я так мало был приготовлен к свадьбе (22 февраля 1861), что позабыл даже известить о ней человека, бессознательно открывшего к ней дорогу, то есть Тургенева, к великому его удивлению и огорчению. Вот что он мне писал:

«Париж, 5 (17) января 1861

Я собирался уже к вам писать, любезнейший П. В., и выразить мое удивление, что вы, мой аккуратнейший корреспондент, не отвечаете на мое последнее письмо со вложенными тремя фотографиями (получили ли вы это письмо?), — как вдруг до меня дошла весть, столько же поразившая меня, сколько обрадовавшая, — весть, которой я бы не поверил, если бы она не предстала передо мною окруженная всеми признаками несомненной достоверности, но которая и доселе принимает в моих глазах

образ сновидения или известных «тающих видов» — «dissolving views»! И как, думал я, если это известие действительно справедливо, — как мог он не написать об этом мне, мне — человеку, который почувствует смертельную обиду, если он не будет восприемником будущего *Ивана,* непременно *Ивана* Павловича Анненкова? Из этих последних слов вы должны догадаться — если уже не догадались, — на что я намекаю. Вследствие этого я требую безотлагательного и немедленного ответа: правда ли, что вы женитесь, и на той ли особе, про которую могла писать гр. Кочубей. Если *да,* примите мое искреннее и дружеское поздравление и передайте его кому следует. Если нет... но, кажется, этого нет не может быть, хотя с другой стороны... Словом, я теряюсь и требую «света, более света», как умирающий Гете[78].

Ни о чем другом я теперь писать не могу. Скажу вам только, что здоровье мое порядочно, что работа подвигается понемногу, что здесь ужасно холодно и что Основский меня надул[79]. Засим крепко жму вам руку и с судорожным нетерпением жду вашего ответа. Преданный вам И. Т.».

Я получил еще два-три письма в таком же оживленном духе и с такими же дружескими жалобами и нежными упреками, после чего Тургенев успокоился, получив от меня подробное описание «события».

Нечто подобное случилось и с известием о наступлении дня освобождения крестьян. Я послал телеграмму в Париж, но она никого там не удовлетворила. Как? Ни бешеного восторга, ни энтузиазма, достигающего границ анархии, — ничего подобного. Петербург оставался совершенно покоен. Понятно, что людям, живущим далеко от места события, подготовленным и своим воображением, и журнальными статьями к манифестациям великого дня, не имевшим в руках даже и нового положения о крестьянах, — тишина столицы казалась чем-то необъяснимым; они требовали дальнейших подробностей, заклинали не оставлять их без сведений о том, что совершалось в России, волновались предчувствиями и ожиданиями, но успокоить их рассказом о каком-либо значительном патриотическом движении не было возможности. Правда, по свидетельству многих и разнообразных лиц, почти во всех церквах Петербурга, когда священник или диакон, читавшие высочайший манифест о воле, с амвона, после обед-

ни, подходили к месту: «Православные, осените себя крестным знамением, приступая к свободному т р у д у », — голос их дрожал, и в нем слышались готовые слезы. Судя по частым и ускоренным крестным поклонам толпы, можно было думать, что и она разделяет чувства чтецов; но умиление, как следует назвать это ощущение, совсем не составляло коренной народной принадлежности русской массы и могло быть разделяемо так же точно и иностранцами. Заслуживала удивления, напротив, эта, по наружности, равнодушная встреча — со стороны народа — громадного переворота в его судьбе. Он ожидал его давно, постоянно и никогда в нем не сомневался. С минуты, когда у него отнято было право свободно располагать собою, он каждодневно, в течение 200 лет, думал, что день восстановления права недалеко. То говорил еще и Посошков при Петре I. Лишь только прошел первый пыл волнения и ожидания, Тургенев в Париже и его друзья тоже хорошо поняли, что настоящие результаты «Положения о крестьянах» скажутся только тогда вполне, когда оно обойдет всю империю, проникнет в душу селянина, встретится с невежеством и кривотолком, обнаружит, в чем оно противоречит психическим особенностям народа и в чем не допускает к себе мечтательных поправок. Тогда и наступит время настоящих манифестаций и контрманифестаций. Я получил несколько писем из Парижа в ту эпоху и привожу их по порядку:

«15 (27) февраля 1861. Париж

Любезнейший друг П. В. Мне совестно утруждать вас какой бы то ни было просьбой в нынешнее время, когда у вас, вероятно, голова кругом ходит, но, несмотря на ваши préoccupations *, вы все-таки самый надежный комиссионер, а комиссия моя состоит в следующем: вышлите мне, ради бога, вышедшие томы моего издания, чтобы я имел о нем понятие, sous bande ** — это рублей с 5 или с 6 станет — я это охотно заплачу. Пожалуйста, душа моя, сделайте это, не откладывая дела в дальний ящик.

Когда мое письмо к вам дойдет, вероятно, уже великий у к а з , — указ, ставящий царя на такую высокую и прекрас-

* заботы (*фр.*).
** под бандеролью (*фр.*).

ную ступень, — выйдет. О, если бы вы имели благую мысль известить меня об этом телеграммой. Но, во всяком случае, я твердо надеюсь, что вы найдете время описать мне вашим энциклопедически-панорамическим пером состояние города Питера накануне этого великого дня и в самый день. Я ужасно на себя досадую, что я раньше не попросил вас о телеграмме. Но я еще утешаю себя надеждою, что вы сами догадаетесь.

В моей парижской жизни, собственно, не происходит ничего нового: работа подвигается помаленьку; статья для «Века» скоро будет окончена[80]. (Самого журнала я еще не получал; зато «Русская речь» является с остервенелой аккуратностью.) Ну, а в общей парижской жизни происходят скандалы непомерные: дело Миреса растет не по дням, а по часам, преступные банкиры (Richemont, Solar) стреляются и вешаются; сыновья министров (Барош, Фульд, Мань) видят в перспективе Тулон и двухцветную одежду галерных преступников. Мирес, сидящий под секретом в Мазасе, воет á la lettre * как дикий зверь на всю тюрьму. Ждут больших финансовых потрясений, а итальянский корабль понемногу и благополучно спускается в воду.

На днях приехал сюда из Италии Толстой <Л. Н.>, не без чудачества, но умиротворенный и смягченный. Смерть его брата ** сильно на него подействовала. Он мне читал кое-какие отрывки из своих новых литературных трудов, по которым можно заключить, что талант его далеко не выдохся и что у него есть еще большая будущность. Кстати, что это за г. Потанин, о котором так вострубил «Современник»? Действительно он писатель замечательный? Дай-то бог, но я боюсь за него, вспоминая восторженные отзывы Некрасова о гг. Берви, Надеждине, Ип. Панаеве e tutti-quanti... ***[81] А гончаровский отрывок в «Отечественных записках» я прочел — и вновь умилился. Это прелесть!

Боткину <В. П.> немного лучше, и есть надежда на окончательное выздоровление. Но если бы вы знали, как безобразно грубо и .... выступил в нем эгоист. Это даже

---

* буквально (*фр.*).

** Граф Николай Николаевич Толстой, как уже упоминали, умер в Гиере, близ Ниццы. Свидание это Тургенева с будущим автором «Войны и мира» происходило еще до октябрьской их распри, о чем ниже. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

*** и всех прочих (*ит.*).

поразительно!.. Ох, Павел Васильевич, в каждом человеке сидит зверь, укрощаемый одною только любовью. Я вам в скором времени опять напишу. А пока будьте здоровы и веселы и передайте мой дружелюбнейший поклон вашей невесте. Ваш Ив. Т.».

Чем далее шло время, тем более росло нетерпение моего парижского корреспондента и сочувствующих ему друзей. Вот какую записку получил я из Парижа от 6 (18) марта 1861:

«Дорогой Павел Васильевич. Спасибо за депешу, от которой у нас у всех головы кругом пошли. Но, к сожалению, ничего положительного неизвестно об *условиях* нового Положения. Толки ходят разные. Ради бога, пишите мне, что и как у вас все это происходит. Вероятно, я теперь раньше вернусь в Петербург, чем предполагал; может быть, через месяц я уже с вами. Сюда прислал кто-то напечатанный экземпляр Положения, но его никак поймать невозможно. Теперь более чем когда-либо надеюсь на вашу дружбу и жду от вас писем. Я знаю: вы *молодой* теперь, и вам не до того; но время ведь необыкновенное. Передавайте все ваши впечатления — все это теперь вдвойне дорого. Здесь русские бесятся: хороши представители нашего народа! Дай бог здоровья государю. Судя по тому, что здесь говорится, мы бы никогда ничего путного не дождались. Бешенство бессилья отвратительно, но еще более смешно.

Обнимаю вас от души и поздравляю и с вашей личной, и с нашей общей радостью. Не могу ни о чем другом писать. Я весь превратился в ожидание. Преданный вам Ив. Тургенев».

Присоединяем к этим двум отзывам еще третье письмо, с картиною того, что происходило в Париже.

«Париж, 3 апреля 1861

Еще разит, еще, еще...
Погиб, погиб сей муж в плаще!.. —

сказано в какой-то поэме. Так и я — еще, еще благодарю вас, милейший П. В., что вы, несмотря на новую вашу жизнь, нашли время написать мне крайне любопытное и поучительное письмо о первых днях после объявления ма-

нифеста[82]. Двойное вам спасибо! С некоторых пор народы как будто дали себе слово удивлять современников и наблюдателей — и русский народ и в этом отношении едва ли не перещеголял всех своих сверстников. Да, удивил он нас, хотя, подумав и приглядевшись, увидишь, что нечему было удивляться; это всегда случается после так называемых необыкновенных событий и доказывает только нашу близорукость. Сделайте божескую милость, продолжайте извещать нас о состоянии умов в России. Здесь господа русские путешественники очень взволнованы и толкуют о том, что их ограбили (из Положения решительно не видать, каким образом их грабят!), но принимают меры к устроению своих дел. Вероятно, в нынешнем же году прекратится в России барщинная работа. В прошлое воскресение мы затеяли благодарственный молебен в здешней церкви — и священник Васильев произнес нам очень умную и трогательную речь, от которой мы всплакнули. (NB. Много ушло из церкви до молебна.) Передо мной стоял Н. И. Тургенев и тоже утирал слезы; для него это было вроде «Ныне отпущаеши раба твоего»[83]. Тут же находился старик Волконский (декабрист). «Дожили мы до этого великого дня», — было в уме и на устах у каждого.

Сгораю жаждою быть в России. Ждите меня через 4 недели — *никак не позже.* В Петербурге пробуду дня три. Работа моя совсем приостановилась; окончу ее бог даст в деревне. На днях отправляю статейку в «Век».

В теперешнюю минуту я болен. Прошлогодний нервический кашель вернулся ко мне, когда уже я мог думать. что обойдусь без него, так как зима давно минула. Теперь сижу и налепил себе мушку, но весна меня вылечит. Дружески жму вам руку и кланяюсь вашей жене и всем добрым приятелям. Преданный вам И. Т.».

Итак, слезы умиления пролились и в Париже почти одновременно с Петербургом. Ник. Иван. Тургенев и князь Волконский имели основание прослезиться еще и потому, что мечты их молодых годов в эпоху царствования императора Александра I осуществлялись тогда, когда их самих уже ожидала могила.

Этот замечательный год, однако же, начался с дурными предзнаменованиями для Тургенева. Начать с того, что второе издание ею сочинений, порученное г. Основскому, окончилось третейским судом издателя со своими заимодавцами в Москве и полным фиаско. Тургенев роптал, не

получая ничего от издателя, а вместо следующих ему сумм к нему беспрестанно приходили жалобы на недобросовестность издателя, занимавшего кругом деньги, чтобы исполнять свои обязательства перед подписчиками, на запоздалые или неудовлетворительные его счеты, даже на некоторые издательские его приемы, имевшие некрасивый вид. Тургенев был раздражен. Впрочем, история с Основским началась еще ранее, и уже можно было предвидеть, чем она кончится. Вот что писал мне Тургенев еще в 1860 году:

«19 (31) ноября 1860. Париж

Любезнейший друг П. В. Доложу вам, что я сильно почесал у себя в затылке после вашего письма[84]. Если Основский, которого я считал честным человеком, выкинул такую штуку с «Московским вестником», то кто ж ему помешает выкинуть таковую же и со мной, то есть вместо 4800, как сказано в условии, напечатать 6000 и денег мне не выслать? А деньги мне крайне нужны, при теперешних моих больших расходах и при оказавшемся нежелании моих мужичков платить мне оброк, тот самый оброк, за который они хотели быть благодарны *по гроб дней.* А потому позвольте поручить вам мои «интересы», как говорят французы, хотя, собственно, я не вижу, что вы можете сделать. Вот, однако, что можно: через московских приятелей, стороной, узнать о поступках Основского; можно прибегнуть к Кетчеру или Ив. Вас. Павлову, одним словом, вам книги в руки. Вы поступите с свойственной вам аккуратностью и деликатностью.

Я наконец серьезно принялся за свою новую повесть, которая размерами превзойдет «Накануне»[85]. Надо надеяться, что и участь ее будет лучше. А впрочем, это все в *руках урны судьбы,* как говорил один мой товарищ по университету. Разумеется, как только она окончится (а это будет не скоро), вы первый ее прочтете. А для вашего превосходного баритона изготовляется другая статья, которую я полагаю прочесть сперва здесь для нашего же общества моим сквернейшим дискантом. Также начал я письмо для «Века», в котором описывается заседание *медиумов*[86], где я присутствовал в где происходили необыкновенные, сиречь комические, штуки. Других сторон парижской жизни

я не изучал до сих пор, да и вряд ли успею этим заняться при многочисленных предстоящих мне работах.

...Кстати, не можете ли вы узнать, где, собственно, находятся теперь братья Аксаковы. О них ходят здесь самые разноречащие слухи. Вы, может быть, слышали, что жена Огарева * пропадает без вести вместе с своим ребенком[87].

Спасибо вам за Родионова, Леонтьева[88] и т. д. и т. д. Хлопочите также о нашем обществе, против которого, слышно, возражают несколько лиц в журналах. Кстати, извольте немедленно отправиться, по получении сего, к гр. Ламберт (на Фурштатской, в соб. доме). Она говорила о нашем обществе с Мейендорфом[89] — и тот пожелал увидаться с вами, и графиня мне пишет, чтобы я вас послал к ней. Теперь уже у вас нет предлога не идти, и я вас убедительно прошу это сделать и предсказываю вам, что если вы это сделаете, вы будете просиживать у ней три вечера в неделю, — и это будет доброе дело (я уже не говорю об удовольствии, которое вы чрез то получите), потому что она одинокая и больная женщина. Слышите, пожалуйста, ступайте к ней.

Гиероглифов — издатель Писемского! В этом есть что-то тупо-величественное, как в пирамиде... Я останавливаюсь и немею[90].

Я изредка видаюсь здесь с Чичериным — вот, батюшка, разочарованный человек! Лев Толстой все в Иере (Hyères), собирается, однако, сюда приехать[91].

Vale et me ama. (Прощай в люби меня — Цицерон так оканчивал свои письма.) Жму вам крепко руку. Ваш Ив. Т.».

Между тем раздражение Тургенева против Основского выросло до такой степени, что разрешилось ругательствами, которые мы выпускаем, хотя Тургенев продолжал молчать великодушно о собственных потерях.

«Париж, 7 (19) января 1861

Спасибо за сообщенные известия об издании. Я вчера получил письмо от Плещеева с подробнейшим изложением дела. Я ему сегодня же написал — и поручил ему сгово-

* Первая и законная жена Огарева, урожденная Рославлева, а не Милославская, как ошибочно напечатано в моей статье «Идеалисты 30-х годов». (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

риться с Фетом для обоюдоострого действия. Но, кажется, я останусь в дураках, хотя особенной грусти по этому поводу не чувствую. Так и быть! Но кто бы подумал, что Основский...

Потешание надо мною «Свистка» не удивляет меня, и могу прибавить, не обинуясь, — нисколько меня не оскорбляет [92]. Все это в порядке вещей. Но описание ваше нравственного состояния петербургской жизни есть capo d'opera *. Размышляя о нем, начинаешь понимать, как в разлагающемся животном зарождаются черви. Старый порядок разваливается, и вызванные к жизни брожением гнили выползают на свет божий разные гниды, в лицах которых мы, к сожалению, слишком часто узнаем своих знакомых... Я на днях видел засыпающего, хотя дельного, Слепцова [93]. Из его слов я мог заключить, что «общество» наше провалилось (я говорю об обществе распространения грамотности). Он не отчаивался провести эту мысль в другом виде, но это, кажется, вздор. Лишь бы наше другое общество (то есть литературного фонда) продолжало преуспевать! Я надеюсь недель через 6 устроить для него здесь чтение, а пока извините меня перед комитетом, что я до сих пор не выслал должных мною 5 проц. с прошлогодней литературной выручки и уверьте их, что это будет исполнено очень скоро. Мне придется заплатить 250 р. сер. Нельзя ли доставить по почте биографию Шамиля? Меня об этом просят для одной здешней Revue. Кстати, поклонитесь от меня *земно* Макарову за высылку «Искры». Хотя интересного в ней мало, но она поддерживает в моем носе запах петербургской жизни, а это важно. На днях здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай) и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина, уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только и делал, что кричал: «На бой, на бой за святую Русь». Он, однако, не вполне одобряет Добролюбова [94]. Мне почему-то кажется, что он с ума сойдет.

Ну, прощайте пока. Жду вашего письма с необычайным нетерпением. Будьте здоровы и кланяйтесь всем друзьям. Преданный вам Ив. Т.».

Бывший лицеист, молодой и в высшей степени честный Слепцов не засыпал, когда нужно было ходатайствовать за ближнего или оказать ему деятельную помощь. Можно

---

* образцовое произведение, шедевр (*ит.*).

только пожалеть, что энергия и выдержки у него не были в уровень с добрыми намерениями и пожеланиями его благородного характера. Николай Успенский, неожиданно замолкший после ссоры с первым издателем своих рассказов, Н. А. Некрасовым, кажется, здравствует и до сих пор, в полном обладании своих умственных способностей.

Как удивились приятели Тургенева, рассчитывавшие на его поддержку в их расчете с Основским, когда получили от него формальный отказ участвовать в каких-либо заявлениях и протестах против издателя, нанесшего такой ущерб ему и погубившего целое предприятие! В числе негодующих тогда находился один из заимодавцев Основского и горячий энтузиаст самого Тургенева, которого он называл основателем русского женского Олимпа, населенного богинями непогрешимой нравственной чистоты и прямой, неуклонной воли, — именно известный умный, даровитый писатель Иван Вас. Павлов [95]. Г. Павлов разорвал дружелюбные сношения с Тургеневым, не понимая, как можно потворствовать явному нарушению своих обязанностей и покрывать их молчанием и своим именем. Но у Тургенева были и логические, а всего более гуманные причины поступать так, как он сделал. Прежде всего первой причиной неудачи «издания своих сочинений» был он сам: он поручил дело человеку, не отвечавшему идеалу литературного деятеля, но очень хорошо отвечавшему старой привычке Тургенева предполагать в простых, малоразвитых людях основы иногда тупой и досадной, но всегда стойкой и неизменной честности. Что касается до высокогуманных оснований его поведения, мы даже решаемся выделить из переписки одно задушевное письмо его, вовсе не предназначавшееся для публики, но разоблачающее в сильной и блестящей степени правила и начала Тургенева. Пусть упрек в нескромности падет на меня, но скрыть одну черту его характера я не мог.

«Париж, 16 (28) января 1861

Наконец получил я столь давно ожиданное от вас письмо [96], милый друг, — и вы, вероятно, не будете сомневаться в моих словах, когда я скажу вам, что никто изо всех ваших приятелей так искренне не обрадовался сообщенному вами известию, как я. Моя привязанность к вам старинная, сердечная, а потому и радость была большая. Вам известны

также мои чувства к вашей будущей жене, которой прошу передать мой самый дружеский и горячий привет. Теперь это событие — столь неожиданное с первого разу — кажется мне совершенно естественным и необходимым — и чем больше я о нем думаю, тем отраднее и прекраснее представляется мне ваша будущая жизнь. Слава богу! Свил себе человек гнездо, вошел в пристань — не все мы, стало быть, еще пропали! То, о чем я иногда мечтал для самого себя, что носилось передо мною, когда я рисовал образ Лаврецкого, — свершилось над вами, и я могу признать всё, что дружба имеет благородного и чистого, в том светлом чувстве, с которым я благословляю вас на долгое и полное счастье. Это чувство тем светлее, чем гуще ложатся тени на собственное мое будущее; я это сознаю и радуюсь бескорыстию своего сердца.

Марья Алекс. <Марко Вовчок>, которой я сообщил ваше письмо, от души вас поздравляет. Я непременно хочу увидеть вас обоих перед вашим отъездом в деревню. Я и без того хотел вернуться в Россию в апреле месяце, а теперь это уже дело решенное. 15 (27) апреля я в Петербурге — может быть, даже раньше[97]. Посмотрю на вас, прочту вам свою новую повесть и отпущу вас — с богом — «к четырехугольным грибам» *. Итак, ждите меня через три месяца.

Я получил длинное письмо от Основского, и оказывается, что он действительно был оклеветан — и достоин сожаления. До него, между прочим, дошли слухи, будто я поручал вам употребить против него *полицейские меры;* будьте так добры, напишите ему в двух словах, что я ничего подобного вам не поручал: это поднимет этого придавленного человека, который в одно и то же время разорен и опозорен. Зная ваше доброе сердце, я не сомневаюсь в том, что вы немедленно это сделаете. Я не мог не усомниться в нем, вследствие писем от его же приятелей, но я *никогда не позволил бы себе осудить окончательно человека бездоказательно.*

Ну, а засим — прощайте. Еще и еще поздравляю вас и крепко вас обнимаю и лобызаю в обе ланиты; а вашей

---

* Четырехугольные грибы, такие же пруды, толстые корни и другие принадлежности деревни, где я жил летом, выдуманы были Тургеневым для того, чтобы привести в соответствие обстановку моей резиденции с ее хозяином или предполагаемым наружным его видом. Они много потешали общих наших друзей. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

невесте позволяю себе поцеловать руку. Кланяйтесь всем приятелям и будьте здоровы и благополучны. Любящий вас Ив. Т.».

* * *

Особый эпизод — устранение распри с гр. Л. Н. Толстым — приходится к этому же времени. С апреля месяца Тургенев находился уже в своей деревне, Спасском, где и произошла сцена их столкновения. Тургенев во всех своих письмах заявляет, что первым виновником ссоры был он сам своим неосторожным словом, что и должно было предполагать, зная его старую привычку, некстати возобновившуюся тогда, а именно отвечать ядовитым замечанием на всякую речь, которая ему не нравилась, а таких речей было немало у гр. Л. Н. Толстого в последних сношениях его с Тургеневым. В одном из своих писем, которое сейчас же увидим, Тургенев старается уверить, что Толстой его ненавидел с самого начала и сам он, Тургенев, никогда не любил его, но вслед за тем являются от Ивана Сергеевича известия совершенно противоположного смысла и характера. Такие повороты мысли встречаются очень часто у него, да и в переписке, какая далее прилагается, не редкость найти то же самое. Им объясняются также и насмешливые отзывы его о лицах, горячо и искренне им любимых. Смущаться или останавливаться перед таким явлением может только тот, кто незнаком с обыкновенным, природным, так сказать, свойством всякой переписки. Людям, занимающимся составлением характеристик замечательных современников на основании таких, по-видимому, несомненных документов, как подлинные письма, можно только рекомендовать большую осторожность при выводах, к каким документы эти дают повод. В иностранных литературах мы имеем многочисленные примеры, к каким ложным заключениям приводят даже любопытные, а особенно весьма пикантные издания, опубликованные вскоре после смерти замечательных личностей и содержащие их интимную и задушевную переписку! (См. Lettres de Mérimée à une inconnue *, переписку Варнгагена ф. Энзе с Алекс. Гумбольдтом, изданную г-жой Ассинг, и проч., проч.) Каждая переписка заключает в себе столько случайных настроений автора, столько желания сказать *более* того, что находилось в мысли и чувстве ее автора, что

* Письма Мериме к незнакомке (*фр.*).

часто приговоры ее о людях и вещах противоречат действительному их значению. Издателю необходимо знать сущность коренных нравственных основ писателя, чтоб исправлять мимолетные увлечения его пера и не давать им смысла общественных обличений, чистосердечных откровений.

«Село Спасское, 7 (19) июня 1861

Не ожидал я, carissimo mio Annenkovio *, что вы так и проедете через Москву, не обрадовав меня присылкой ваших достолюбезных «паттдемушей» **, несмотря на привет и поклон, посланные вам от меня через ленивейшего из хохлов, Ивана Ильича (Маслова)! Но, видно, Москва вас закружила вихрем, и я посылаю вам сию мою цидулу в Симбирскую губернию, в страну четырехугольных грибов, толстых корней etc., etc. Надеюсь, что в уединении и тишине деревенской вы найдете более времени отозваться на мой голос.

Так как я жду от вас подробностей о вашем житье-бытье, то я дерзаю предполагать, что и от меня вы ждете таковых же новостей, а потому приступаю к передаванию оных. (Замечаете ли вы, как я подражаю вашему стилю!)

Я здоров — это главное; работаю потихоньку — это не совсем хорошо; гуляю в ожидании охоты; вижусь с некоими соседями. Объясняемся с мужиками, которые изъявили мне свое благоволение: мои уступки доходят почти до подлости. Но вы знаете сами (и, вероятно, в деревне узнаете еще лучше), что за птица русский мужик: надеяться на него в деле выкупа — безумие. Они даже на оброк не переходят, чтобы, во-1-х, не «обвязаться», во-2-х, не лишить себя возможности прескверно справлять трехдневную барщину. Всякие доводы теперь бессильны. Вы им сто раз докажете, что на барщине они теряют сто на сто; они вам все-таки ответят, что «несогласны, мол». Оброчные даже завидуют барщинным, что вот им вышла льгота, а нам — нет. К счастью, здесь в Спасском мужики с прошлого года на оброке.

Я видел Фета и даже был у него. Он приобрел себе за фабулозную сумму в 70 верстах отсюда 200 десятин го-

* дражайший мой Анненков (*ит.*).
** каракулей (от *фр.* pattes de mouche).

лой, безлесной, безводной земли с небольшим домом, который виднеется кругом на 5 верст и возле которого он вырыл пруд, который ушел, и посадил березки, которые не принялись... Не знаю, как он выдержит эту жизнь (точно в пирог себя запек), и, главное, как его жена не сойдет с ума от тоски. Малый он, по-прежнему, превосходный, милый, забавный — и, по-своему, весьма умный.

В этой же деревне совершилось неприятное событие... Я окончательно рассорился с Л. Н. Толстым (дело, entre nous *, на волоске висело от дуэли... и теперь еще этот волосок не порвался) [93]. *Виноват был я,* но взрыв был, говоря ученым языком, обусловлен нашей давнишней неприязнью и антипатией наших обеих натур. Я чувствовал, что он меня ненавидел, и не понимал, почему он нет-нет и возвратится ко мне. Я должен был, по-прежнему, держаться в отдалении, попробовал сойтись — и чуть было не сошелся с ним на барьере. *И я его не любил никогда,* — к чему же было давным-давно не понять все это?..

Я постараюсь вам переслать первую (переписанную) половину моего романа. Разумеется, вы должны мне сказать всю правду. Но сперва напишите мне... Помнится, из Симбирска в Орел, то есть в Мценск, почта шла чуть не полтора года. Авось в нынешнее время, когда и т. д., произойдет улучшение.

Передайте мой самый задушевный поклон вашей жене. Говорят, москвичи ее на руках носили. В этом нет ничего удивительного, но это меня радует тем не менее.

Не забудьте, что будущей весной я у вас крещу сына Ивана. Ну, прощайте, милый мой. Жду ответа от вас и дружески, крепко жму вам руку. Ваш И. Т.».

Для понимания этого письма необходимо вспомнить, что оно написано тогда, когда «Положение о крестьянах» еще не знало «обязательного выкупа» наделов и требовало предварительного переведения земледельцев на оброк, а потом уже допускало сделки с ними. Вот этого двойного соглашения и трудно было добиться у обеих сторон, владетельской и крестьянской, так что обе пришли к убеждению, что и освобождение крестьян есть война, а не мир. Имение Тургенева принадлежало еще к счастливым по отношению к освобождению. Управляющий им, дядя

* между нами (*фр.*).

И. С. Тургенева, упоминаемый в записках г-жи Житовой о семье Тургеневых, Николай Николаевич Тургенев, был опытный хозяин [99]. Покамест помещик увещевал бывших своих подчиненных, он отмежевал во всех имениях своего доверителя крестьянские наделы согласно «уставным грамотам» и тем приготовил их переход на оброк и на выкуп. Последний и состоялся почти вслед за тем. Иван Сергеевич мог гордиться, что он был один из первых, рассчитавшихся окончательно с крестьянами, кроме благодеяний и услуг, на которые он был щедр и которые всегда оказывал и потом своим ех-крепостным.

Впоследствии отношения между владельцем села Спасского и его управителем значительно спутались. Трудно сказать, не имея под рукой документов, кто был из них прав. По слухам и ходячим толкам, управляющий Н. Н. Тургенев будто бы воспользовался безденежным векселем в 50 000, данным ему владельцем с целью обеспечения его на случай преждевременной смерти И. С. Тургенева, и представил вексель ко взысканию при жизни племянника, будучи еще даже управляющим всеми его имениями. Неизбежным следствием того являлась или продажа части этого имения, или того добра, какое в нем находилось. Иван Сергеевич искал занять такую сумму и, не успев в том, принужден был продать великолепную виллу, построенную им в Бадене, московскому банкиру Ахенбаху и, таким образом, расквитался с фиктивным своим долгом.

Но все это только слухи; переходим опять к фактам. В сентябре 1861 года Тургенев покинул Спасское и явился в Петербург, а в начале октября находим его опять в Париже, откуда он и послал следующее письмо. В нем он уведомляет о получении моего отчета о романе. «Отцы и дети» [100], много занимавшем его, как увидим, все лето в Спасском, а также продолжает рассказ о своей истории с Л. Н. Толстым.

«Париж, 1(13) октября 1861. Rue de Rì voli, 210

Любезнейший П. В., примите от меня искреннюю благодарность за ваше письмо, в котором высказывается мнение о моей повести. Оно меня очень порадовало, тем более что доверие к собственному труду было сильно потрясено во мне. Со всеми замечаниями вашими я вполне согласен (тем более что и В. П. Боткин находит их справедливыми)

и с завтрашнего дня принимаюсь за исправления и переделки, которые примут, вероятно, довольно большие размеры, о чем уже я писал к Каткову [101]. Времени у меня еще много впереди. Боткин, который, видимо, поправляется, сделал мне тоже несколько дельных замечаний и расходится с вами только в одном: ему лицо Анны Сергеевны мало нравится. Но, мне кажется, я вижу, как и что надо сделать, чтобы привести всю штуку в надлежащее равновесие. По окончании работы я вам ее пришлю, а вы доставите ее Каткову. Но довольно об этом и еще раз искреннее и горячее спасибо.

Остальные известия, сообщенные вами, невеселы. Что делать! Дай бог, чтобы хуже не было! Пожалуйста, tenez-moi au courant *. Это очень важно, в я опять-таки надеюсь на ваше всегдашнее и старинное благодушие.

Здесь (то есть у меня) идет все порядочно, и здоровье мое недурно... Только и я имею вам сообщить не совсем веселое известие: после долгой борьбы с самим собою я послал Толстому вызов и сообщил его Кетчеру для того, чтобы он противодействовал распущенным в Москве слухам [102]. В этой истории, кроме *начала, в котором я виноват,* я сделал все, чтобы избегнуть этой глупой развязки; но Толстому угодно было поставить меня *au pied du mur* ** (Тютчевы могут вам подробно рассказать все) — и я не мог поступить иначе. Весною в Туле мы станем друг перед другом. Впрочем, вот вам копия моего письма к нему: [103].

«М. г. Перед самым моим отъездом из Петербурга я узнал, что вы распространили в Москве копию с последнего вашего письма ко мне, причем называете меня трусом, не желавшим драться с вами, и т. д. Вернуться в Тульскую губ. было мне невозможно, и я продолжал свое путешествие. Но так как я считаю подобный ваш поступок, *после всего того, что я сделал, чтобы загладить сорвавшееся у меня слово,* — и оскорбительным, и бесчестным, то предваряю вас, что на этот раз не оставлю его без внимания и, возвращаясь будущей весной в Россию, потребую от вас удовлетворения. Считаю нужным уведомить вас, что я известил о моем намерении моих друзей в Москве для того, чтобы они противодействовали распущенным вами слухам. И. Т.».

Вот и выйдет, что сам я посмеивался над дворянской

---

* держите меня в курсе дела (*фр.*).
** в безвыходное положение (*фр.*).

замашкой драться (в Павле Петровиче) *[104], и сам же поступлю, как он. Но, видно, так уже было написано в книге судеб.

Ну, прощайте, мой милый П. В. Поклонитесь вашей жене и всем приятелям и примите от меня самый крепкий shakehand **. Ваш И. Т.

P. S. Арапетов здесь... Как мы обедали вчера с ним и с Боткиным!»

Итак, еще в Петербурге застало Тургенева известие о слухе, гулявшем по Москве уже давно, но картель Толстому он послал уже из Парижа. Может быть, что усилия его примириться с оскорбленным другом в были первой причиной зародившейся сплетни. Гораздо труднее разъяснить, что московские друзья, вероятно лучше знавшие основы происшедшего столкновения, советовали Тургеневу раз навсегда, так или иначе, покончить с Толстым и настаивали на принятии и ускорении дуэли. Тургенев действовал наоборот. После сцены в Спасском [105] Толстой тотчас же уехал, оставив там только свой вызов. На другой день Иван Сергеевич послал доверенного человека в соседнюю деревню к Толстому выразить ему глубочайшее сожаление о происшедшем накануне и, в случае если он не примет извинения, условиться о месте и часе их встречи и об условиях боя. Доверенное лицо не застало Толстого дома; он уехал в Тульскую губернию, в другую свою деревню, чуть ли не в известную Ясную Поляну. Доверенное лицо исполнило точно свое поручение. Толстой объявил, что драться с Тургеневым он теперь не намерен для того, чтобы не сделать их обоих сказкой читающей русской публики, которую он питать скандалами не имеет ни охоты, ни повода. Извинений Тургенева он, однако же, как было слышно тогда, не принял, а вместо того отвечал письмом [106], которое и дало повод Тургеневу сказать: «Дело висело на волосок от дуэли, и теперь еще волосок не порвался»; он и порвался бы действительно, если бы не случилось совершенно неожиданного обстоятельства. Оказалось, что вся история о письме и весь слух об изворотливости и трусости Ивана Сергеевича суть не более как произведения фантазии

* Кирсанове из «Отцов и детей». Павел Петрович Кирсанов дрался, как помнит читатель, на дуэли с Базаровым и, легко раненный, возвратился лечиться в деревню и эффектно выздоравливать. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** рукопожатие (*англ.*).

чьего-то досужего ума. Проживая еще в деревне, я получил из Петербурга и почти вслед за приведенным выше письмом из Парижа еще записку от Тургенева из Петербурга такого содержания: *

«26 ноября (7 ноября) 1861 г. С.-Петербург

Любезный П. В. Я начинаю терять надежду получить от вас письмо, хотя бы с простым извещением, что вы здоровы; и если я теперь пишу к вам, то единственно с целью известить вас о следующем: я получил от Л. Н. Толстого письмо, в котором он объявляет мне, что слух о распространении им копии оскорбительного для меня письма есть чистая выдумка, вследствие чего мой вызов становится недействительным, — и мы драться не будем, чему я, конечно, очень рад. Сообщите это Колбасину — и пусть он менее верит своим друзьям. Желал бы я также узнать ваше мнение насчет печатания моей повести [107], но на вас нашла немота, и я очень был бы рад узнать, что вы, по крайней мере, живы и здоровы. Кланяюсь всем вашим и жму вам руку. И. Т.».

Так и кончилось дело, которому и начинаться не следовало бы. Полное примирение между врагами произошло за год или за два до смерти одного из них, и притом произошло по письму гр. Л. Н. Толстого, которого, к сожалению, не имею под рукой [108]. Тургенев сохранял до последнего дня своего воспоминания о нем как о трогательнейшем сердечном вопле человека, призывающего старые, простые, дружеские связи и сношения. Он их получил вполне и охотно, так что прежние уверения Тургенева, что он никогда не любил Толстого, должно опять считать не более как вспышкою и увлечениями приятельской переписки.

Так прошли первые полгода. Остальная половина посвящена была преимущественно созданию «Отцов и детей» и выражает в переписке все перипетии, чрез которые роман проходил в его уме, да беседам с мужиками, а наконец, с ноября, известиям о Париже. Сведенные вместе и поставленные рядом друг с другом данные эти представля-

* Мы изъясняем то обстоятельство, что записка помечена: «С.-Петербург», после того как на предыдущем письме сделана отметка: «Париж», предположением следующего рода. Слух о московской сплетне застал еще Тургенева на берегах Невы, как знаем. Он тогда же написал Толстому письмо, копию с которого переслал мне из Парижа, и тогда же получил ответ от последнего, который сообщал мне теперь из Петербурга, еще им не покинутого. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

ют очень занимательную и довольно пеструю картину. Относительно «Положения о крестьянах» и Тургенев пришел наконец к заключению, что всякие выводы из него в эту эпоху оригинального усвоения его народом были бы и преждевременны и ложны. Я получил от него, по лету, такое письмо:

«Село Спасское, 10 июля 1861

Милый П. В., давно мне следовало отвечать на ваше письмо из Чирькова [109], но я только что вернулся с охотничьей экспедиции, совершенной нами вместе с Фетом, — экспедиции, которая, кроме ряда самых неприятно-комических несчастий и неудач, не представила ничего замечательного. Я потерял собаку, зашиб себе ногу, ночью в карповском трактире чуть не умер, — одним словом, чепуха вышла *несуразная,* как говорит Фет. Теперь я снова под кровом спасского дома и отдыхаю от всех этих треволнений, — следовательно, настало лучшее время, чтоб перекинуться с вами двумя-тремя словами.

Но прежде всего — ни слова о крестьянском деле (хотя я очень вам благодарен за доставленные подробности). Это дело растет, ширится, движется во весь простор российской жизни, принимая формы большей частью безобразные. И хотеть теперь сделать ему какой нибудь путный résumé — было бы безумием, даже предвидеть задолго ничего нельзя. Мы все окружены этими волнами, и они несут нас. Пока можно только сказать, что здесь все тихо, волости учреждены, и сельские старосты введены, а мужички поняли одно, — что их бить нельзя и что барская власть вообще послаблена, вследствие чего должно «не забывать себя»; мелкопоместные дворяне вопят, а исправники стегают ежедневно, но понемногу. Общая картина, при предстоящем худом урожае, не из самых красивых, но бывают и хуже. На оброк крестьяне не идут и на новые свои власти смотрят странными глазами... но в работниках пока нет недостатка, а это главное. Будем выжидать дальнейшего.

Работа моя быстро подвигается к концу [110]. Как бы я был рад показать ее вам и послушать вашего суждения!.. Но как это сделать? Я хотел было послать вам первую часть, но теперь, когда уже обе части почти готовы, мне не хочется подвергать мою работу впечатлениям и суждени-

ям вразбивку. Умудрюсь как-нибудь послать вам всю штуку, о которой я, разумеется, в теперешнее время совершенно не знаю, что сказать.

Ну-с, а как идет ваша женатая жизнь? Должно быть, отлично... Дай вам бог всяких удовольствий побольше, начиная, разумеется, с удовольствия быть родителем.

Нелепое мое дело с Толстым окончательно замерло, то есть мы окончательно разошлись, по драться уже не будем *. То-то была чепуха! Но я повторяю, что *виноватым в ней был я.* Когда-нибудь, на досуге, расскажу вам всю эту ерунду, выражаясь слогом писателей «Современника».

От моей дочки письма приходят довольно аккуратно. Она в Швейцарии [111]. Как бы я желал выдать ее замуж ** осенью или в первые зимние месяцы, чтобы хотя к новому году прибыть в Петербург!

Прощайте, carissimo; жму вашу лапку и целую ручку вашей жены. Ваш И. Т.».

* * *

Последние письма из Спасского относятся к 18 и 28 августа 1861 года. В одном из них он извещает об окончании романа «Отцы и дети», 20 июля. Судя по сведениям, какие имеем, роман писался почти около года, часто прерываясь, и шел то ускоренными, то медленными шагами. Ему предстояли еще целые полгода поправок, изменений, переговоров, пока он явился в печати и произвел то впечатление, о котором еще будем говорить. Недаром, замечал сам автор, что он работал над ним усердно, *долго,* добросовестно. Значительная доля труда и таланта, положенная на его создание, только и могли упрочить ему тот громадный успех и ту враждебность, какими он пользовался в свое время. Представляем покамест последние письма из Спасского:

---

* Писано еще до разрешения всего вопроса в октябре, о чем уже было говорено. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** С. П. Б—ъ в своих «Воспоминаниях о селе Спасском-Лутовинове и И. С. Тургеневе», изданных в январской книжке «Русского вестника», и тут делает ошибку, говоря, что Тургенев выдал свою дочь за «французского фабриканта Шамера», разорившегося будто бы при франко-прусской войне. Г-и Шамеро женат на одной из дочерей г-жи Виардо и никогда не был фабрикантом: он владел и теперь владеет одною из первых типографий в Париже, основанной в прошедшем столетии Фирменом Дидо, — известная издательская фирма. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

«Село Спасское, 6(18) августа 1861

Мне давно следовало написать вам, дорогой П. В., — но черт знает, как это выходило: собирался беспрестанно, а пишу только теперь. Извините великодушно и выслушайте снисходительно.

О моей глупости с Толстым говорить не стану, она давно упала в Лету, оставив во мне ощущение стыда и конфуза, которое возобновляется всякий раз, как только воспоминание коснется всей этой нелепой проделки. Мимо!

Мой труд окончен наконец. 20 июля написал я блаженное последнее слово. Работал я усердно, долго, добросовестно: вышла длинная вещь (листами двумя печатными длиннее «Дворянского гнезда»). Цель я, кажется, поставил себе верно, а попал ли в нее — бог знает.

А отсюда выезжаю около 25-го, и, передавая рукопись Каткову, *непременно* потребую, чтобы он дал вам ее прочесть (так как, вероятно, раньше ноября эта вещь не явится *), а вы *непременно* напишите мне подробную критику в Париж poste restante. Так как у меня будет черновая тетрадь, то мне можно будет сделать нужные изменения и выслать их заблаговременно в Москву. Если вы не скоро приедете в сей последний город, то я скажу Каткову, чтобы он велел переписать и послать вам рукопись.

Провел я лето здесь порядочно; ни разу не болел, но охотился очень несчастливо. Дела по крестьянскому вопросу (что касается до меня) остаются в status quo ** до будущего года; надеюсь, однако, уломать здешних крестьян на подписание уставной грамоты. До сих пор они очень упорствуют и носятся с разными задними мыслями, которых, разумеется, не высказывают.

Читаю я мало, и то, что мне попадается из русских журналов, не очень способно возбудить желание подобного упражнения. Совершился какой-то наплыв бездарных и рьяных семинаров — и появилась новая, лающая и рыкающая литература. Что из этого выйдет — неизвестно, но вот и мы попали в старое поколение, не понимающее новых дел и новых слов. А «Век»-то, «Век»! Хуже этого *нашего* журнала еще не бывало.

Вы еще успеете написать мне, если ответите тотчас, *сюда:* долго ли вы думаете еще прожить в деревне и какие

---

* Она явилась в марте 1862, во второй книжке «Русского вестника», как знаем. Все слова курсивом назначены автором письма. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

** в том же положении (*лат.*).

ваши планы на зиму? Мои же планы не от меня зависят, а от того, когда и как выдам я свою дочь и выдам ли ее. Очень бы хотелось хотя в январе вернуться в Питер.

Здесь я очень часто вижу Фета. Он, по-прежнему, очень хороший малый. Впрочем, новых знакомств, как и новых чувств, новых намерений — нет. Мы уж рады теперь, когда *продолжаем* безбедно.

Ну, прощайте, милый П. В. Когда увидимся — бог весть. А вы не оставляйте меня своими письмами, на которые я буду отвечать исправно, по-старому. Обнимаю вас — преданный вам И. Т.».

Через 10 дней получена была из Спасского коротенькая записка, которую здесь прилагаем, несмотря на то что она содержит похвальный отзыв об одной из моих статеек, но биографическое ее значение от этого не уменьшается.

«Село Спасское, 28 августа 1861

Милый П. В. Я не могу уехать из Спасского (это событие совершится завтра), не отозвавшись хотя коротеньким словом на ваше дружелюбное письмо. Мне очень жаль, что не увижу вас перед моим путешествием за границу; авось свидимся в феврале, потому что я лишней минуты не пробуду в Париже. Моя повесть будет вручена Каткову, с особенной инструкцией, а именно: по прибытии вашем в Москву рукопись должна быть вручена вам, и вы, по прочтении, напишите мне в Париж подробное ваше мнение, с критикою того, что вы найдете недостаточным; я сейчас же примусь за поправки, и к новому году все будет давным-давно готово. Вы, я уверен, исполните мою просьбу с обычным вашим благодушием и беспристрастьем. А адрес мой пока: в Париж, poste restante.

Я вам из Парижа напишу в Москву на имя Маслова. Ну, будьте здоровы, вы оба с вашей женою, которой я усердно кланяюсь, — и пусть долго продолжается ваше счастливое и тихое житье. Да, кстати... Я прочел вашу статью о «двух национальных школах» и нашел ее превосходной. И я уверен, что на нее обратили бы гораздо больше внимания, если бы она явилась не в этой темной и глухой дыре, называемой «Библиотека для чтения»[112]. По милости этой статьи я съезжу в Бельгию. Ну, еще раз обнимаю вас. Преданный И. Т.».

В сентябре я сам был в Москве. Тургенев уже проехал в Петербург, а оттуда в Париж. Все так и произошло, как он наметил и указал. Едва успел я дать знать о моем прибытии в редакцию «Русского вестника», как из нее явился какой-то молодой человек с рукописью, которую и оставил у меня, прося не задержать. Зачем нужно было это предостережение, когда рукопись предназначалась к печати еще в феврале будущего 1862 года, но оно объясняется опасением редакции утерять капитальную вещь, приобретенную ею. С ней это случалось — вспомним о «Фаусте» того же Тургенева. Исполняя предписание, я в два дня *проглотил* роман, который мне показался грандиозным созданием, каким он действительно и был. Помню, что меня поразила одна особенность в характере Базарова: он относится с таким же холодным презрением к собственному своему искреннему чувству, как к идеям и обществу, между которыми живет. Эта монотонность, прямолинейность отрицания мешает в него вглядеться и распознать его психическую основу. Кажется, я тотчас же и передал это замечание автору романа, но в общем известии о получении отзыва моего не видно, чтобы он дал ему какую-либо цену. То же самое было почти и со всеми другими отзывами: Тургенев был доволен романом и не принимал в соображение замечаний, которые могли бы изменить физиономию лиц или расстроить план романа. Между тем при отъезде из Москвы он оставил еще у Маслова, для передачи мне, записочку, в которой поручает взять обратно у Каткова согласие, данное им на разделение и напечатание его труда в двух или трех частях. «Я скорее соглашусь, — говорил Тургенев, — чтобы он напечатал мою вещь в нынешнем году, с обещанием выдать ее отдельной книжкой новым подписчикам. Вообще поручаю себя и свое детище вам в совершенное распоряжение».

Необходимость личного объяснения с г. Катковым была очевидна. В одно утро я собрался и явился у его дверей. М. П. Катков принял меня очень добродушно, но речь его была сдержанна. Он не восхищался романом, а, напротив, с первых же слов заметил: «Как не стыдно Тургеневу было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как перед заслуженным воином». — «Но, М. Н., — возражал я, — этого не видно в романе, Базаров возбуждает там ужас и отвращение». — «Это правда, — отвечал он, — но в ужас и отвращение может рядиться и затаенное благоволение, а опытный глаз узнает птицу в этой форме...» — «Неужели

вы думаете, М. Н., — воскликнул я, — что Тургенев способен унизиться до апофеозы радикализму, до покровительства всякой умственной и нравственной распущенности?..» — «Я этого не говорил, — отвечал г. Катков горячо и, видимо, одушевляясь, — а выходит похоже на то. Подумайте только, молодец этот, Базаров, господствует безусловно надо всеми и нигде не встречает себе никакого дельного отпора. Даже и смерть его есть еще торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь, и это, хотя и случайное, но все-таки самопожертвование. Далее идти нельзя!» — «Но, М. Н., — замечал я, — в художественном отношении никогда не следует выставлять врагов своих в неприглядном виде, а, напротив, рисовать их с лучших сторон». — «Прекрасно-с, — полуиронически и полуубежденно возражал г. Катков, — но тут, кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратится этот тип? Ведь это только начало его. Возвеличивать спозаранку и украшать его цветами творчества значит делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии. Впрочем, — добавил г. Катков, подымаясь с дивана, — я напишу об этом Тургеневу и подожду его ответа».

Мы можем сослаться на самого почтенного издателя «Московских ведомостей», что сущность нашего разговора о романе Тургенева была именно такова, как здесь изложено. Из полемики, возгоревшейся после появления «Отцов и детей», причем Тургенев дал и отрывок из письма к нему г. Каткова, видно, что последний писал именно в том смысле, как говорил со мной. Множество искушений должен был пережить Тургенев в Париже относительно лучшего, совершеннейшего своего произведения, начиная с совета предать его огню, данного семьей Тютчевых, которую он очень уважал, а особенно хозяйку его, весьма умную, развитую и свободную духом женщину Александру Петровну Тютчеву[113]. Восемь дней спустя после первого парижского, уже знакомого нам, письма я получил от него записочку такого содержания:

«Париж, 8 октября н. с. 1861

Что же это вы, батюшка П. В., изволите хранить такое упорное молчанье, когда вы знаете, что я во всякое время, и теперь в особенности, ожидаю ваших писем. Предполагаю, что вы уже прибыли в Петербург, и пишу вам через Тютчевых, которые (как они уже, вероятно, вам сообщали) осудили мою повесть на сожжение или, по крайней мере,

на отложение ее в дальний ящик. Я желаю выйти из неизвестности — и если ваше мнение и мнение других московских друзей подтвердит мнение Тютчевых, то «Отцы и дети» отправятся к... Пожалуйста, напишите мне, не мешкая. Адрес мой: Rue de Rivoli, 210.

Здесь я нашел все в порядке: погода стоит летняя, иначе нельзя ходить, как в летних панталонах. Из русских почти никого нет, кроме В. П. Боткина, который, entre nous soit dit *, окончательно превратился в безобразно эгоистического, цинического и грубого старика. Впрочем, вкус у него все еще не выдохся — и так как он лично ко мне не благоволит, то его суждению о моем детище можно будет поверить. Сегодня начинаю читать ему.

Сообщите мне ради бога, что у вас там делается. В самое время моего отъезда стояла странная погода. Все ли здоровы?

Пришлите мне ваш адрес. Кланяюсь вашей жене, всей вашей родне и всем знакомым. Ваш И. Т.».

* * *

Приговор Тютчевых вышел из начал, совершенно противуположных тем, которые руководили мнением г. Каткова; они боялись за антилиберальный дух, который отделялся от Базарова, и отчасти предвидели неприятные последствия для Тургенева из этого обстоятельства. Таким образом, накануне появления «Отцов и детей» обозначились ясно два полюса, между которыми действительно и вращалось долгое время суждение публики о романе. Одни осуждали автора за идеализацию своего героя, другие упрекали его в том, что он олицетворил в нем не самые существенные черты современного настроения. Время обнаружило, что обе точки зрения были одинаково несостоятельны, и поставило роман на его настоящую почву, признав в нем художественное отражение целой эпохи, которое всегда вызывает подобные упреки и недоразумения. Кажется, и сам Тургенев, встретив эти противуположные течения общественной мысли, был сконфужен. Он хотел остановить печатание романа и переделать лицо Базарова с начала до конца, как о том и писал даже к г. Каткову [114]. К счастью, этого не случилось: «Отцы и дети» явились в печати в том виде, как сошли с его пера [115]. В записке встречаются загадочные фразы: «В самое время моего отъезда стояла

* между нами говоря (*фр.*).

странная погода. Все ли вы здоровы?» Объясняются они как намек на первую уличную манифестацию студентов в Петербурге, тогда же происшедшую и тогда же подавленную [116]. Печальная история эта чрезвычайно заинтересовала заграничных корреспондентов наших. Множество английских, немецких и французских газет говорили о студенческой манифестации с участием, но, по обыкновению, извращая и преувеличивая факты. Тургенев даже испугался и спрашивал в коротенькой записочке: не приостановить ли печатание романа? Таким образом, роман до своего появления пережил уже три решения или катастрофы, которые ему предстояли: сожжение в камине, переделка сызнова лица Базарова, приостановление появления в печати. Для характеристики времени считаем нужным передать содержание записочки:

«Суббота, Париж, 14(26) октября 1861 г.

Любезный друг, пишу вам несколько слов для того только, чтобы убедительнейше просить вас написать мне. Я знаю, как это теперь должно быть тяжело и трудно, — но возьмите в соображение, в каком мы здесь находимся состоянии. Самые печальные слухи доходят до нас — не знаешь, чему верить и что думать. Сообщите, хотя вкратце, перечень фактов, совершающихся около вас.

Прошу также вашего совета: не думаете ли вы, что при теперешних обстоятельствах следует отложить печатание моей повести? Поправки все почти окончены, но мне кажется, что надо подождать. Ваше мнение на этот счет решит дело — и я тотчас же дам знать Каткову.

Говорить о том, что я чувствую, невозможно, да и, кажется, не нужно. Утешать себя тем, что «я, мол, все это предвидел и предсказывал», доставляет мало удовольствия. Богом вас умоляю, окажите на деле вашу старинную дружбу и — напишите.

О себе сказать вам пока нечего: я здоров и живу попрежнему. Русских вижу немного. В. П. Боткин процветает и объедается. Кланяюсь всем вашим и вам, и вашей жене жму руки. Ваш И. Т. Rue de Rivoli, 210».

Вторая записка, полученная из Парижа, была непонятного характера для меня лично. В ней сообщалось, что туда дошел слух о том, что я предпринял издание журнала и даже получил на это разрешение. Поводом к этому слуху, удивившему меня более, чем друзей моих, как следует

полагать, было следующее обстоятельство. Министр внутренних дел, П. А. Валуев, искал редактора для предпринятой им официальной газеты «Правительственный вестник», которая, кроме прямых сообщений правительства, должна была поправлять все неверные слухи о намерениях администрации, опровергать несправедливые толки о тех мерах ее, которые уже явились на свет, и вообще наблюдать за журналами и восстановлять истину, когда она попиралась ими. В числе многих имен кандидатов на редакторство, вероятно, находилось и мое; это было, как полагаю, первым толчком к слуху, о котором я ничего не знал [117]. Между тем выбор был сделан — в лице А. В. Никитенко, и, помоему, очень удачный, ибо под его редакцией газета обратилась просто в официальную справочную газету и никаких других затей, о которых так много говорили, не предъявила, а всего менее заявляла претензию быть руководительницей и наставницей других изданий. Городская молва привязалась также и к имени А. В. Никитенко, наградив его жалованьем в 10 000 с., что было нелепо — ввиду громадности и необычайности суммы. Раздраженный, я написал Тургеневу *насмешливое* письмо, где и рассказал процедуру возникновения нового органа и великого шума без всякого результата, им произведенного [118]. Вторая записка его гласила:

«Париж, 3 дек. (21 ноября) 1861 г.

Любезнейший А. Во-первых, благодарите от моего имени Тютчева за высылку трех экземпляров моих сочинений [119], которые я получил исправно. Во-вторых, правда ли, что вы собираетесь издавать журнал и уже получили разрешение? Я этому не совсем верю — по той причине, что вы, вероятно бы, уже известили меня об этом; но, вспомнив вашу скрытность перед вступлением в брак, я колеблюсь. В-третьих, взяли ли вы от того же Тютчева 100 сер. для стипендии двум бедным студентам и отдали ли кому следует? Напишите словечко [120]. А если вы точно собираетесь издавать журнал, то эта мысль у вас отличная. Я бы, разумеется, стал вашим исключительным сотрудником, насколько хватило бы сил. Правда, этим немного сказано, потому что я очень ослабеваю в литературном отношении и пера в руки не беру. Каткову я дал знать о нежелании моем печатать «Базарова» в теперешнем виде — да и он, кажется, этого не желает, а переделка, между нами, еще далеко не кончена.

У вас, в Петербурге, кажется, все понемногу утихает. Напишите об этом. Правда ли, что Добролюбов опасно болен. Очень было бы жаль, если б он умер [121]. Вы, наверное, видите Дружинина и Писемского: поклонитесь им от меня. Вы знаете, бедная гр. Ламберт потеряла своего единственного сына... Она не переживет этого удара [122].

Я в довольно грустном настроении духа, тем более что вот уже третий день, как моя старая болезнь, о которой я уже забыл думать, вернулась ко мне. А эта штука очень скверная. Нет ли чего-нибудь нового в *беллетристике?* Прощайте, милый П. В. Будьте здоровы — это главное. Жму вам руку и кланяюсь вашей жене. Преданный вам И. Т.»

Наконец прилагаем и последнее письмо Тургенева того же года из Парижа, полученное в декабре 1861 г.

«11(23) декабря 1861. Париж, Rue de Rivoli, 210

Получил я ваше сурово-юмористическое письмо, любезнейший П. В., и, по обыкновению, узнав из него лучше всю *суть* современного положения петербургского общества, чем из чтения журнальных корреспонденций и т. д., говорю вам спасибо, но удивляюсь начальной вашей фразе, из которой я должен заключить, что, по крайней мере, *одно* мое письмо к вам затерялось. Но, видно, что с возу упало, то пропало, и не нам тужить о неисправностях почты. Это в сторону. Сто рублей в Москву посылать нечего: там сияет великий Чичерин — чего же еще? [123] Возьмите из этих денег недостающее на подписку журналов, а остальное храните у себя до времени. Кстати, узнайте из бумаг архива, взнес ли я в нынешнем году весной при проезде 40 р. от имени Ханыкова [124]. Если нет — значит, я забыл, и вы взнесите.

Огорчила меня смерть Добролюбова, хотя он собирался меня съесть живым. Последняя его статья, как нарочно, очень умна, спокойна и дельна [125]. Вы мне ничего не пишете о литературе — видно, о ней нечего писать. А я прочел в «Современнике» повесть Помяловского «Молотов» и порадовался появлению чего-то нового и свежего, хотя недостатков много, но это все недостатки молодости. Познакомились ли вы с ним? Что это за человек? [126]

А я, кажется, обречен в жертву сплетням. На днях должен был послать успокоительную телеграмму Каткову в ответ на исполненное брани и упреков письмо... Все дело

возгорелось по поводу моей злополучной повести, поправки которой все еще не кончены. Судя по охватывающей меня со всех сторон апатии, это будет, вероятно, последнее произведение моего красноречивого пера. Пора натягивать на себя одеяло — и спать.

Здесь жизнь идет как по маслу, безобразно, но тихо.

Правительство ждет и желает войны с Америкой [127]. На днях один мой знакомый протестантский пастор был призываем в министерство и *тамо* угрожаем за помещение в своем журнальце, коего название «Piété-Charité» *, статьи о невольничестве. Статья эта состоит из четырех страничек и была написана *дочерью* Н. И. Тургенева [128]. Ему объявили, что в предвидении войны — на невольничество не должно сметь нападать... А m-r Pelletan осужден на 3 месяца тюремного заключения за то, что пожелал Франции свободу, которою пользуется Австрия [129]. Как же тут не умиляться!

Здоровье мое порядочно: это главное. Кланяйтесь жене вашей и всем приятелям. Ваш И. Т.

P. S. 1-е. Слышал я, что разрешили представить «Нахлебника»; в таком случае передаю вам все свои права и прошу в особенности обратить внимание на то, чтобы «Нахлебника» не давали без прибавочной сцены во 2 акте, которую я давным-давно выслал Щепкину и которую могу выслать вам теперь [130].

P. S. 2-е. Никитенко **, получающий 10000 руб. сер. за редакторство журнала, есть факт, достойный остромыслия Щедрина».

* * *

Наконец наступил и 1862 год, которым кончился второй период деятельности Тургенева, а также кончается и наша статья. О третьем и последнем периоде надеемся говорить вскоре. Жизненные периоды у замечательных литераторов обозначаются резко их произведениями. «Рудин» в 1856 году завершил собою всю подготовительную эпоху искания психических и социальных мотивов, пробуя открыть их источник то в картинах сельского быта, то в биографических данных собственной семьи, то в явлениях жизни, возведенных до значения руководящих начал. Рудин был олицетворением глубоких убеждений, но без нрав-

---

* «Набожность и милосердие» (*фр.*).

** Слух, оказавшийся неверным, как уже упоминали. (*Примеч. П. В. Анненкова.*)

ственных сил, необходимых для их осуществления и даваемых только историей, характером национальности, свойствами культуры, личными свойствами. Базаров в 1862 году явился уже законченным типом человека, верующего только в себя и надеющегося только на самого себя, но смелым — по незнанию жизни, решительным и на все готовым — по отсутствию опыта, резким в суждениях и поступках — по ограниченному пониманию людей и света. Это был истинный представитель своей эпохи, который еще долго жил и после того, как сошел со сцены, но его неспособность к творчеству и к серьезному делу, равно и его последователей, обнаружилась вполне. Много лет прошло, пока Базаров изжил все свое содержание, а молодежь, отшатнувшаяся было от Тургенева за одно произнесенное им *слово,* возвратилась к нему опять. Здесь у места будет сказать, что Тургенев не входил ни в какие сделки с молодым поколением, не делал ему никаких уступок, как утверждали и утверждают еще враги его; он разъяснял свои намерения при создании тех или других лиц, а это еще далеко до заискивания, и всегда с негодованием он отвергал предположение, что питал злобу и недоброжелательство к типам, им же и выведенным. В 1877 году он заключил третий и последний период развития, опубликовав знаменитую «Новь» [131], где явился даже провозвестником будущих движений, что опять подало повод тем же врагам заподозрить его — о, нелепость! — в знании тайн заговора. Художественное провидение, свойственное одним высокоодаренным натурам, и политическое укрывательство подведены были под одну рубрику, но Тургенев не обращал никакого внимания на злобные толки. Он шел своей дорогой, рассыпая по пути такие ценные цветы, как «Ася», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Первая любовь»; начиная же с «Отцов и детей» и вплоть до «Нови», отдавая публике такие капитальные произведения, как «Дым», «Бригадир», «Вешние воды», изумительные «Живые мощи» и т. д. Оставляя за собою право или, лучше, привилегию ознакомить публику, по многочисленным письмам, еще остающимся в наших руках, с тем, что он думал и делал вплоть до «Нови», позволяем себе сказать теперь, что «Новь», — успех которой будет расти с годами, как думаем, — заслуживает не менее своих великих предшественниц названия выразительницы общественного строя в известную, данную минуту. В ней встречаем поэтическую Марианну, девушку-энтузиастку, которую любовь, восторженность ведут неу-

держимо в процесс революционного движения, и простого, малогероичного, бесцветного, мещански-осторожного фабриканта Соломина, который под покровом спекуляции делает упорно в со смыслом дело разрушения и пропаганды, на которое посвятил себя. Изящная Марианна променивает своего взбалмошного Нежданова на эту деловитую, лимфатическую фигуру и соединяет с ним свою судьбу. Хождение в народ Нежданова представляет замечательную страницу из истории внутреннего быта России, и надо удивляться, что нашлись люди, которые прозвали все это поэтически-реальное создание «водевилем с переодеваниями» [132] не обращая ни малейшего внимания на художественные черты, входящие постоянно в изображение лиц, в описания их отношений друг к другу, в картину их волнений, страданий и надежд.

Но возвращаемся к «Отцам и детям». Издатели «Современника» были отчасти правы, когда говорили, что разность мнений и убеждений понудила их расстаться с Тургеневым, но, прибавим, это не касалось принципов, оснований, а относилось только до способа обращаться с авторитетами. Осенью 1860 года, когда начат был роман, Тургенев проводил целые вечера в толках о причинах такого разногласия и о средствах упразднить его или, по крайней мере, значительно ослабить. Разговоры эти не прошли даром: в возражениях и объяснениях сформировался как план нового романа «Отцы и дети», так и облик главного его лица — Базарова — с его надменным взглядом на человечество и свое призвание, которые так поразили публику 1862 года, когда роман явился на свет. Следует сказать, что вместе с Базаровым найдено было и меткое слово, хотя вовсе и не новое, по отлично определяющее как героя и его единомышленников, так и самое время, в которое они жили, — нигилизм. Едва произнесенное, оно было подхвачено особенно Европой, которая не знала, что думать и что сказать о странных событиях русской жизни. Подсказанное слово дало содержание целым трактатам и воззрениям. Русская молодежь долго не могла простить Тургеневу этого слова, которым завладели журналисты и применили к ней самой. Мы не покидаем надежды рассказать впоследствии все то зло, все те огорчения, какие это слово внесло в жизнь своего автора, начиная с похвал, расточенных перед ним за счастливое выражение, и кончая обвинениями в предательстве и отречении от своих убеждений.

Берлин, 5 января 1885 г.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

(Ответ на вопрос)

О том, каковы были отношения Добролюбова к Тургеневу в первое время их знакомства, я не умею припомнить ничего положительного. Они должны были встречаться довольно часто у Некрасова. Вероятно, и мне случалось довольно нередко видеть их вместе у него. Но никаких определенных воспоминаний об этом у меня не осталось. Без сомнения, Добролюбову и мне случалось и говорить что-нибудь о Тургеневе в наших частых долгих разговорах вдвоем: одним из главных предметов их были дела «Современника», а Тургенев печатал тогда свои произведения еще в нем; едва ли возможно было нам не касаться того романа или рассказа Тургенева, корректуру которого в дни разговоров приходилось читать мне или Добролюбову [1]. Но, вероятно, в тогдашних разговорах наших о Тургеневе не было ничего особенно интересного Добролюбову; иначе они лучше сохранились бы в моей памяти, потому что мне приводилось бы и самому оживляться интересом к тому, что я говорил Добролюбову или слышал от него.

По всей вероятности, Добролюбов в это первое время своего личного знакомства с Тургеневым думал о нем как о человеке точно так же, как Некрасов: это хороший человек. Вероятно, талантливость и добродушие Тургенева заставляли и Добролюбова, как Некрасова и меня, закры-

вать глаза на те особенности его качеств, которые не могли быть симпатичны Добролюбову или мне.

Тургенев действительно был добродушен и в особенности всегда был рад оказывать любезную внимательность начинающим писателям. В начале моей журнальной деятельности испытывал это и я. И тогда и впоследствии я постоянно видывал, что он таков же и со всеми другими начинающими писателями. Без сомнения, он был очень любезен и с Добролюбовым, но об этом я говорю лишь по соображению, а не по воспоминаниям.

Отношения между Добролюбовым и Тургеневым приняли совершенно иной характер, когда Добролюбов поселился в квартире, примыкавшей к квартире Панаева и Некрасова, и, обедая у них, стал проводить значительную часть своего времени отдыха у Некрасова. Это началось, вероятно, в 1857 г.[2] <...> Вообще он проводил в комнатах Некрасова очень много времени, утром почти каждый день и вечером часто. Тут они вместе читали рукописи, просматривали корректуры, говорили о делах журнала; так что довольно большую долю своей работы по редакированию журнала Добролюбов исполнял в комнатах Некрасова.

Тургенев до своей ссоры с Некрасовым, когда жил в Петербурге, заезжал к Некрасову утром каждый день без исключения и проводил у него все время до поры, когда отправлялся делать свои великосветские визиты; с визитов обыкновенно возвращался опять к Некрасову; уезжал и опять приезжал к нему, очень часто оставался у Некрасова до обеда и обедал вместе с ним; в этих случаях просиживал у Некрасова после обеда до той поры, когда отправлялся в театр или, если не ехал в театр, просиживал до поздней поры отправляться на великосветские вечера. Каждый раз, когда заезжал к Некрасову, он оставался тут все время, какое имел свободным от своих разъездов по аристократическим знакомым. Положительно, он жил больше у Некрасова, чем у себя дома. Таким образом, Тургеневу и Добролюбову приходилось бывать вместе у Некрасова много времени каждый день <...>

Как держал себя Добролюбов относительно Тургенева в первое время после своего переселения к Некрасову, я не умею теперь припомнить и, вероятно, не замечал и не слышал тогда. Сам я этим не интересовался, а Добролюбов, вероятно, не находил надобности говорить со мною об этом; он не имел охоты быть экспансивным со мною отно-

сительно вещей не важных, да и некогда нам было толковать о том, что не представлялось занимательным ни ему, ни мне.

Итак, человек не наблюдательный, я очень долго или не замечал ничего особенного в отношениях Добролюбова к Тургеневу, или если, может быть, иной раз и замечал, чего, впрочем, не полагаю, то оставлял без внимания эти, во всяком случае, маловажные для меня впечатления. Сколько времени длилось это, не умею определить годами и месяцами; но помню, что когда Добролюбов писал свой разбор романа Тургенева «Накануне» и я читал эту статью в корректуре, у меня не было никаких мыслей о чем-нибудь особенном в отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Я полагал, что они такие же, как между Тургеневым и мной: горячей симпатии нет, но есть довольно хорошее взаимное расположение знакомых, не имеющих желания сближаться, чуждых, однако ж, и всякому желанию расходиться между собою. Через несколько времени после того, как вышла книжка «Современника» со статьею Добролюбова «Накануне», я, разговаривая с Тургеневым (у Некрасова, я с ним виделся в то время почти только у Некрасова), услышал от моего собеседника какие-то суждения о Добролюбове, звучавшие, казалось мне, чем-то враждебным. Тон был мягкий, как вообще у Тургенева, но сквозь комплиментов Добролюбову, которыми всегда пересыпал Тургенев свои разговоры со мною о нем, звучало, думалось мне, какое-то озлобление против него. Когда через несколько ли минут или через час, через два остался я один с Некрасовым (не помню, ушли ли мы с ним в другую комнату говорить о делах или уехал Тургенев), я, окончив разговор с Некрасовым о том, что было важнее для меня и, вероятно, для него — о каких-то текущих делах по журналу, спросил его, что такое значит показавшийся мне раздраженным тон рассуждений Тургенева о Добролюбове. Некрасов добродушно рассмеялся, удивленный моим вопросом. «Да неужели же вы ничего не видели до сих пор? Тургенев ненавидит Добролюбова». Некрасов стал рассказывать мне о причинах этой ненависти — их две, говорил он мне. Главная была давнишняя в имела своеобразный характер такого рода, что я со смехом признал ожесточение Тургенева совершенно справедливым. Дело в том, что давным-давно когда-то Добролюбов сказал Тургеневу, который надоедал ему своими то нежными, то умными разговорами: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить

рить», — встал и перешел на другую сторону комнаты. Тургенев после этого упорно продолжал заводить разговоры с Добролюбовым каждый раз, когда встречался с ним у Некрасова, то есть каждый день, а иногда в не раз в день. Но Добролюбов неизменно уходил от него или на другой конец комнаты, или в другую комнату. После множества таких случаев Тургенев отстал наконец от заискивания задушевных бесед с Добролюбовым, и они обменивались только обыкновенными словами встреч и прощаний, или если Добролюбов разговаривал с другими и Тургенев подсаживался к этой группе, то со стороны Тургенева бывали попытки сделать своим собеседником Добролюбова, но Добролюбов давал на его длинные речи односложные ответы и при первой возможности отходил в сторону.

Понятно, что Тургенев не мог не досадовать на такое обращение с ним. Но, вероятно, он умел бы и дольше скрывать от меня свое неудовольствие на Добролюбова, если б оно не усилилось в последние дни до положительной ненависти по поводу статьи Добролюбова о его романе «Накануне». Тургенев нашел эту статью Добролюбова обидной для себя: Добролюбов третирует его как писателя без таланта, какой был бы надобен для разработки темы романа, и без ясного понимания вещей[3]. Я сказал Некрасову, что просматривал статью и не заметил в ней ничего такого. Некрасов отвечал, что если так, то я читал статью без внимания. При этих его словах я сообразил, что действительно просматривал ее торопливо, пропуская строки и целые десятки строк, и целые столбцы корректуры. Дело в том, что я вообще уж давно перестал читать статьи Добролюбова и просматривал иной раз кое-что в какой-нибудь из них лишь по какому-нибудь особенному обстоятельству[4]. Обыкновенно этим обстоятельством бывало желание Добролюбова, чтоб я взглянул, не делал ли он какой ошибки, излагая мысли о предмете мало ему знакомом. Так было и тут. Добролюбову приходилось говорить о положении Болгарии, о чувствах болгарских патриотов, о том, до какой степени возможно находить их желания сбыточными. Ему казалось, что эти вещи знакомее мне, чем ему, и он просил меня просмотреть относящиеся к ним места его статьи. Я и искал глазами в статье только этих мест, пропуская все остальное не читанным. Просмотрев их, я сказал Добролюбову, что не нашел в них никаких ошибок.

Услышав от меня, что и в самом деле так: я читал статью Добролюбова действительно торопливо, Некрасов

сказал мне, что Тургенев действительно прав, рассердившись на эту статью; она очень обидна для самолюбия автора, ожидавшего, что будет читать безусловный панегирик своему роману. Что обидного Тургеневу в этом разборе его романа, я и теперь не знаю сколько-нибудь положительным образом. Издавая собрание сочинений Добролюбова, я, разумеется, сличал и эту статью, как была напечатана она в «Современнике», с рукописью Добролюбова (в типографию посылались для набора вырезки из «Современника» или те корректуры, которые уцелели). Перечитывал статью во второй раз в корректуре нового набора[5]. Но, конечно, мое внимание при этом было занято не размышлениями о том, достаточно или недостаточно похвал роману Тургенева в отзывах Добролюбова о нем, и я не помню, как именно оценивал Добролюбов этот роман в статье о нем.

Некрасов имел тогда еще очень большое расположение к Тургеневу, но в его рассказе не было ни малейшего порицания Добролюбову, он только смеялся над обманутыми надеждами Тургенева на панегирик роману; посмеялся и я. Увидевшись после того с Добролюбовым, я принялся убеждать его не держать себя так неразговорчиво с почтенным человеком, достоинства которого старался изобразить Добролюбову в самом привлекательном и достойном уважения виде; но мои доводы были отвергаемы Добролюбовым с непоколебимым равнодушием. По уверению Добролюбова, я говорил пустяки, о которых сам знаю, что они пустяки, потому что я думаю о Тургеневе точно так же, как он; Тургенев не может не быть скучен и неприятен и для меня. Если мне угодно не выказывать этого Тургеневу, я могу не выказывать, он не убеждает меня держать себя прямее и откровеннее. Но мне хорошо не уходить от разговоров с Тургеневым, потому что мы видимся сравнительно редко; а толковать с Тургеневым столько, сколько приходилось бы ему, нашел бы невыносимым и я. Нечего было делать, я отстал от внушения моих прекрасных чувств Добролюбову.

Своих мнений о Тургеневе я не имею надобности излагать здесь, поэтому довольно будет заметить, что Добролюбов казался мне совершенно справедливым в своих мнениях о нем. Если я не желал разрыва между ними и сам не выказывал Тургеневу, что желал бы уклоняться от разговоров с ним, у меня был на то мотив, не имевший ничего общего с приятностью или неприятностью, заниматель-

ностью или незанимательностью их для меня. Мне казалось полезным для литературы, чтобы писатели, способные более или менее сочувствовать хоть чему-нибудь честному, старались не иметь личных раздоров между собою. Добролюбов был об этом иного мнения. Ему казалось, что плохие союзники — не союзники.

Таким образом тянулись отношения между Добролюбовым и Тургеневым довольно долго: они беспрестанно встречались в комнатах Некрасова, обменивались словами «здравствуйте» и «прощайте», других разговоров между собой не имели, но посторонним людям могли казаться людьми, которые не имеют ничего друг против друга. Не умею теперь припомнить, чем прервались их свидания: отъездом и Добролюбова за границу или ссорою Тургенева с Некрасовым; не помню, который из этих фактов предшествовал другому; но, во всяком случае, когда оставался другом Некрасова, Тургенев не мог открытым образом дать волю своему ожесточению против Добролюбова.

Из-за чего произошел разрыв между Некрасовым и Тургеневым, я не имею положительных сведений, мне никогда не случалось спросить об этом у Некрасова, потому что я очень мало интересовался дружбою Тургенева с ним, а еще меньше того озлоблением Тургенева на него. А с очень давних пор без прямого моего вопроса Некрасов почти никогда не говорил ни о чем из своей личной жизни <...>

Итак, мне не случилось ни разу слышать от Некрасова ничего о причинах его разрыва с Тургеневым. Сам я теперь, принужденный припоминать и соображать, могу найти больше причин для этой ссоры, чем представлялось мне тогда при отсутствии интереса вдумываться в нее. Очень может быть, что главными поводами были обстоятельства, в которых Некрасов не принимал никакого личного участия, но которые необходимо должны были, как я теперь вижу, раздражать Тургенева против него. Некоторые лица, очень близкие к Некрасову, навлекали на себя негодование Тургенева [6]. Из них довольно назвать Добролюбова и меня. Об отношениях Добролюбова к Тургеневу было уже говорено. О моих нет надобности говорить здесь много. Я держал себя с Тургеневым сколько умел любезно, но он не мог не замечать, что, в сущности, я думаю о нем точно так же, как Добролюбов. Бывали случаи, когда я и прямо наносил обиду ему по необходимости избавить «Современник» от какого-нибудь рекомендуемого им про-

взведения, которое, по моему мнению, не понравилось бы публике. Расскажу здесь для примера два таких случая.

Однажды Некрасов подал мне какую-то маленькую книжку, выражая желание, чтобы я прочел ее. Я развернул: это был один из томиков повестей Ауэрбаха; не помню заглавие, шварцвальденские ли рассказы или что-нибудь другое. Тургенев очень хвалит их и советует перевести в «Современнике»; особенно он настаивает на том, что надобно перевести один из этих рассказов, — на котором и вложена закладка. У меня с Некрасовым были уже раньше того разговоры об Ауэрбахе, которого я никогда не читывал, но достаточно знал по панегирикам ему, из которых видно было: он жеманник, пресный и скучный, и Некрасов помнил, что я находил этого автора не заслуживающим перевода в «Современнике», но что я судил так о нем, никогда его не читавши. Некрасов передавал это Тургеневу, и Тургенев был уверен, что, прочитав что-нибудь из Ауэрбаха, я переменю мнение о нем, и что, в частности, тем рассказом, который отмечен в книжке, я буду восхищен. Я взял книжку и прочел отмеченный рассказ. Это была маленькая повесть «Barfüssele». Она не поправилась мне. Других рассказов я и не пробовал читать[7]. Я отдал книжку Некрасову и сказал, что ничего из нее переводить не стоит. Тургенев долго не отставал и много раз спорил со мною и был очень раздражен неуспехом, но эта неудача его хоть оставалась никому, кроме нас, неизвестной; а другой случай подобного рода произошел в присутствии многочисленного общества.

Раз в неделю у Некрасова бывали обеды, которые можно назвать редакционными[8]. На них собирались литераторы, сотрудничеством которых дорожил журнал. Кроме них, постоянно бывал приглашаем цензор; бывали и кое-кто из числа светских людей, пользовавшихся любовью в кругу литераторов. Очень часто бывал Языков, которого так любил Белинский. Когда жили в Петербурге, часто бывали тут Лихачевы, родственники и друзья Панаевых, бывал Арапетов.

Выбор других людей, чуждых литературной деятельности, приглашенных раз навсегда бывать на этих обедах, был такой строгий с точки зрения их способности не уронить себя в глазах литераторов, что, например, ни один из однофамильцев Ив. Ив. Панаева никогда не бывал приглашаем на эти собрания[9]. (Бедняжка цензор, конечно, играл тут, сам того не замечая, жалкую роль, и обыкно-

венно единственным усладителем его одиночества приятными разговорами являлся я; в исполнении этой роли и состоял для меня мотив бывать на этих обедах.) После обеда гости оставались тут, до какой поры кому было удобно. Первыми уезжавшими бывали обыкновенно те, которые отправлялись на этот вечер в театр. Другие, кому был досуг, оставались гораздо дольше.

И вот после одного из таких обедов, когда общество расположилось, как кому удобнее, на турецком диване и другой уютной мебели, Некрасов пригласил всех выслушать чтение драмы Мея «Псковитянка», которую Тургенев предлагал ему напечатать в «Современнике»; Тургенев хочет прочесть ее. Все собрались в ту часть залы, где расположился на диване Тургенев. Один я остался там, где сидел, очень далеко от дивана, по соседству с тем камином, на котором стоял кабан. (Камни был в дальнем от окон углу стены, противоположной дивану.) Началось чтение. Прочитав первый акт, Тургенев остановился и спросил свою аудиторию, все ли разделяют его мнение, что драма Мея — высокое художественное произведение. Разумеется, по одному первому акту еще нельзя вполне оценить ее, но уже и в нем достаточно обнаруживается сильный талант и т. д. и т. д. Кто считал себя имеющим голос в решении таких вопросов, принялись хвалить первый акт и высказывать предвидение, что в целом драма окажется действительно высоким художественным произведением. Некрасов сказал, что предоставляет себе слушать, что будут говорить другие. Люди, не считавшие себя достаточно авторитетными для значительных ролей в литературном ареопаге, выражали свое сочувствие компетентной оценке скромным и кратким одобрением. Когда говор стал утихать, я сказал со своего места: «Иван Сергеевич, это скучная и совершенно бездарная вещь, печатать ее в «Современнике» не стоит». Тургенев стал защищать высказанное им прежде мнение, я разбирал его аргументы, так поговорили мы несколько минут. Он свернул и спрятал рукопись, сказав, что не будет продолжать чтение. Тем дело и кончилось. Не помню, каким языком вел я спор. По всей вероятности, безобидным для Тургенева. О нем положительно помню, что он спорил со мною очень учтиво. Но понятно, что ему должно было быть очень досадно это маленькое приключение, разыгравшееся на глазах почти всех тех его литературных приятелей, которые жили в то время в Петербурге. Вообще, при моем вступлении в «Современник» Тургенев имел большое

влияние по вопросам о том, какие стихотворения, повести или романы заслуживают быть напечатанными. Я почти вовсе не участвовал в редижировании этого отдела журнала, но было же много разговоров у Некрасова со мною и о поэтах и беллетристах. Находя в моих мнениях о них больше согласного с его собственными, чем во мнениях Тургенева, Некрасов, по всей вероятности, стал держаться тверже прежнего против рекомендаций плохим романам или повестям со стороны Тургенева. А когда сблизился с Некрасовым Добролюбов, мнения Тургенева быстро перестали быть авторитетными для Некрасова. Потерять влияние на «Современник» не могло не быть неприятно Тургеневу [10].

Надобно упомянуть и о другом, по всей вероятности, очень сильном мотиве расстройства дружбы между Тургеневым и Некрасовым. Излагать дело, из которого возник этот мотив, я не буду здесь. Оно слишком многосложно и длинно, так что, начав говорить о нем, я не скоро довел бы до конца ответ на вопрос, которым занимаюсь теперь. В коротких словах история была такого рода. Огарев должен был уплатить пятьдесят тысяч рублей жене, с которой разошелся. Взамен платы он предоставил в пользование ей часть своих поместий. Огарева умерла. Поместья должны были быть возвращены Огареву; но управляющий поместьями, дальний родственник Ивана Ивановича, бестолковый плут, расстроивший свое, прежде довольно большое состояние хитрыми, но глупыми спекуляциями, не желал возвращать поместья, да если б и хотел, то затруднился бы при запутанности своих дел [11]. Дело усложнялось чрезвычайно запутанными расчетами о том, какие из долгов, лежавших на Огаревой, должны быть признаны Огаревым. Огарев и Герцен, у которого он жил тогда, вообразили, что плут, в управление которому были отданы поместья, был приискан в поверенные Огаревой Некрасовым и что он подставное лицо, которому Некрасов предоставил лишь маленькую долю выгоды от денежных операций, основанных на управлении имуществом Огаревой, а главную долю берет себе сам Некрасов. При уважении, каким пользовался тогда Герцен у всех просвещенных людей в России, громко высказываемое им обвинение Некрасова в денежном плутовстве ложилось очень тяжело на репутацию Некрасова. Истина могла бы быть достовернейшим образом узнана Герценом, если бы он захотел навести справки о ходе перемен в личных отношениях Некра-

сова в те годы, в которые были делаемы г-жою Огаревой неприятные ее мужу распоряжения [12]. Но Герцен имел неосторожность высказать свое мнение, не ознакомившись с фактами, узнать которые было бы легко, и тем отнял у себя нравственную свободу рассматривать дело с должным вниманием к фактам. Я полагаю, что истина об этом ряде незаслуженных Некрасовым обид известна теперь всем оставшимся в живых приятелям Огарева и Герцена в всем ученым, занимающимся историею русской литературы того времени, потому считаю возможным не говорить ничего больше об этом жалком эпизоде жизни Огарева и соединенных с его странными поступками ошибках Герцена.

Авторитет Герцена был тогда всемогущим над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, то есть тенденциями смутными и шаткими. Тургенев ничем не выделялся в своем образе мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве. Конечно, ему трудно было оставаться другом человека, которого чернит руководитель массы, к которой принадлежал он. Делает честь ему, что он долго не уступал своему влечению сообразоваться о мыслями Герцена и подобно людям менее робким, более твердым, как, например, П. В. Анненков, оставался в прежних отношениях с Некрасовым. Но, разумеется, слишком долго не мог он выдерживать давления авторитета Герцена. И кончилось тем, что он поддался Герцену.

К важным причинам, принуждавшим Тургенева разорвать дружбу с Некрасовым, должно было присоединиться множество влияний сравнительно мелких, но в своей совокупности действовавших сильно в том же направлении. К ним принадлежат, например, желания других журнальных кружков приобрести себе сотрудничество Тургенева.

Когда я говорил, что мне не были определительно известны причины разрыва Тургенева с Некрасовым и что я могу только угадывать их по соображению, у меня не было под руками ни одной книги для справок; но вчера я получил Посмертное издание стихотворений Некрасова (четыре тома, 1879). Просматривая «Примечания», помещенные во второй части четвертого тома, я нашел в них цитату из моей статьи («Полемические красоты», напечатанной в № 6 «Современника» за 1861 г.). Вот это место, очевидно служившее ответом на чьи-нибудь рассуждения о причинах разрыва Тургенева с «Современником» [13], то

есть по необходимости и с Некрасовым, — рассуждения, основанные на рассказах самого Тургенева и одобренные им, как это видно из того, что в моем ответе на них я обращаюсь к самому Тургеневу с приглашением возразить мне, если он имеет что-нибудь возразить: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? — Ссылаемся на самого г. Тургенева».

Из этого ясно, что я в то время находил себя вполне знающим все причины разрыва между Тургеневым и Некрасовым и что единственным, решившим дело, мотивом было враждебное отношение Тургенева к направлению «Современника», то есть на первом плане к статьям Добролюбова, а на втором и ко мне, имевшему неизменным правилом твердить в разговорах с нападавшими на статьи Добролюбова, что все его мысли справедливы и что все написанное им совершенно хорошо. Если я думал тогда, что знаю все, то, разумеется, были у меня положительные основания думать так. Очевидно, что я слышал и от Некрасова, и от самого Тургенева подобные разъяснения причин разрыва между ними, и ясно, что слышанное мною от них не оставило следов в моей памяти потому, что не представляло мне ровно ничего нового. Когда мы слышим только то, что уже сами знаем, мы забываем, что наши прежние сведения были повторены нам словами других. Так, например, вероятно, никто из нас не помнит, было ли ему рассказано кем-нибудь, что Пушкин великий поэт и что он умер от раны, полученной на дуэли; а вероятно, у всех нас было много разговоров, в которых наши собеседники говорили нам об этом. Что мне было много случаев слышать от Некрасова объяснения причин ссоры между ним и Тургеневым, понятно само собой; но было много случаев и Тургеневу рассказывать мне об этом. Он никогда не переставал быть очень разговорчив со мной при наших встречах, а случаев встречаться нам было очень много после того, как мы перестали видеться у Некрасова. Не говоря о чем другом, надобно только припомнить, что Тургенев и я, мы оба были членами комитета Общества пособия нуждающимся литераторам и ученым в первый год по основании этого общества. Комитет собирался каждую не-

делю [14]. Собирался он у Егора Петровича Ковалевского, который был председателем. До начала заседания долго шли всяческие серьезные и шутливые приятельские разговоры между всеми обо всем на свете; по окончании заседания они возобновлялись и очень часто тянулись долгие часы. Главным из серьезных собеседников в этом приятельском кружке был Тургенев. Я, постоянно повертывавший разговор в шутливое направление, говорил, я полагаю, еще гораздо больше, чем он. Вообще, мы с ним толковали, оставаясь в гостиной вместе во всеми другими; но часто уходили в зал продолжать только вдвоем разговор, начатый при других. Мог ли Тургенев после своей ссоры с Некрасовым излагать ее историю с своей точки зрения мне? По здравому смыслу несомненно, что не мог. Но на деле этот резон не мог быть помехою ему. Я помню, что он жаловался мне на Добролюбова; тем легче было ему жаловаться мне на Некрасова. Каковы были мои отношения к Добролюбову, этого нельзя было не понимать и наивнейшему человеку в мире, видевшему нас вместе или хоть слышавшему, каким тоном я говорю о Добролюбове; людям, знавшим о наших отношениях несравненно меньше, чем Тургенев, было известно и вполне понятно, что жаловаться на Добролюбова мне несравненно бесполезнее, чем на самого меня; и однако же Тургенев жаловался. Расскажу один такой случай.

Комитет, членами которого мы были, устраивал литературные чтения. Обыкновенным местом для них служил зал Пассажа. Тут, недалеко от одного из концов комнаты, был ряд колонн, по которым развешивался занавес, так что образовался особый отдел вроде кабинета не очень широкого, но очень длинного. Тут и заседал заведовавший чтениями комитет. Эти заседания, занимавшиеся исключительно внешним порядком чтений, могли, разумеется, совершенно благополучно обходиться без моего участия в совещаниях. Я, бывая тут лишь по нелепой деликатности относительно моих сотоварищей, все время проводил в каких-нибудь своих особых занятиях: усевшись в дальнем углу, рассматривал соседний стул или ближайшие фигурки резьбы на каких-то шкапчиках каких-то витрин, стоявших вдоль стены, вообще проводил время не без пользы для обогащения своего ума познаниями. А если говорить серьезно, то обыкновенно читал корректуру. В грехе слушания того, что читалось публике, я никогда не был повинен. Натурально всякий другой из членов комитета, усердно слу-

шавший чтение сквозь занавес, когда желал развлечься от этой скуки, подходил ко мне, чтобы поболтать. Часто случалось это и с Тургеневым. И вот тут-то привелось мне однажды выслушать длинную иеремиаду его о том, как всегда обижал, теперь, после разрыва его с Некрасовым, еще больше обижает его Добролюбов. Под конец он почувствовал, что элегический тон выходил слишком нелеп. Какого в самом деле утешения себе от меня мог ждать человек, жалующийся на Добролюбова? И в особенности человек, который сам знал, что я думаю о нем так же, как Добролюбов? Итак, Тургенев догадался, что он делает себя смешным; чтобы поправить свою репутацию в своем собственном мнении, обратил свое горе в шутку. Мы начали смеяться. Из тех шуток, которыми обменивались мы, осталась в памяти у меня одна острота Тургенева, которую тогда же я похвалил, чем очень порадовал его. И когда стали подходить к нам другие члены комитета, он повторял ее каждому из них, и я каждый раз поддерживал его удовольствие одобрительным смехом. Вот эта острота с тем местоимением, какое было в ней сказано мне: «Вы простая змея, а Добролюбов очковая». Когда Тургенев пересказывал это другим, местоимение выходило, конечно, иное; именно так: «Я сказал ему, что он простая змея, а Добролюбов — очковая». Но другие стали подходить после, а пока мы с ним, посмеявшись этой остроте, продолжали разговор только вдвоем, он шутливо развивал совершенно серьезную тему, что со мной он может уживаться и даже имеет расположение ко мне, но что к Добролюбову у него не лежит сердце [15].

Если Тургенев имел наивность жаловаться мне на Добролюбова, то в тысячу раз легче было ему доходить в разговорах со мною до жалоб на Некрасова. Вижу из той цитаты, что я слышал их и вполне знал весь ход дела о разрыве Тургенева с Некрасовым, по рассказам самого Тургенева, — иначе я не мог бы ссылаться на него самого; и если теперь эти его рассказы совершенно исчезли из моей памяти, так что я и не предполагал их существования, то понятная вещь: это могло произойти лишь потому, что в них, когда я их слушал, не было ничего, кроме известного мне.

Открытым заявлением ненависти Тургенева к Добролюбову был, как известно, роман «Отцы и дети». Мне случилось читать, что Тургенев находил нужным печатать объяснения по вопросу об отношениях этого романа к ли-

цу Добролюбова; [16] попадались на глаза в кое-какие отрывки из этих объяснений. Но это были только отрывки; и не берусь по ним решать, удовлетворительны ли были объяснения, взятые все вместе. Мне самому случилось знать дело по рассказам лиц, дружных с Тургеневым. Важнейшее из того, что я слышал, — рассказ какого-то из общих приятелей Тургенева и г-жи Маркович о разговоре ее с Тургеневым. Она жила тогда за границей, где-то или в Италии, или во Франции; быть может, в Париже. Тургенев, живший в том же городе, зашел к ней. Она стала говорить ему, что он выбрал дурной способ отмстить Добролюбову за свои досады; он компрометирует себя, изобразив Добролюбова в злостной карикатуре. Она прибавляла, что он поступил, как трус: пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой, а теперь, когда Добролюбов умер, чернит его [17]. Тургенев отвечал, что она совершенно ошибается: ему и в голову не приходило думать о Добролюбове, когда он изображал Базарова. Это действительно портрет действительного лица, но совершенно иного; это медик, которого он встречал в той провинции, где его поместье. Тургенев называл ей фамилию медика; лицо, пересказывавшее мне разговор, не помнило ее. Мне кажется, будто бы я припоминаю, что этот медик, по словам Тургенева, занимал в то время должность уездного врача, но не ручаюсь за эту подробность моего воспоминания [18]. Г-жа Маркович стала говорить, что напрасно Тургенев отрицает намерение мстить Добролюбову: из романа ясно, что он имел его. Тургенев сознался наконец, что действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман.

Мое личное мнение об этом деле основано на фактах, которые случилось мне слышать об одном из прежних романов Тургенева — «Рудин».

Вскоре после того, как «Рудин» был напечатан [19], В. П. Боткин приехал на несколько времени в Петербург. Он поселился жить, как обыкновенно делал в те годы, у Некрасова и проводил большую часть утра и после своих разъездов по городу все остальное время дня в той комнате, где случалось бывать в эти часы Некрасову. Потому я постоянно виделся с ним в этот его приезд, как и в другие, подобные. Особенно близкого знакомства со мною он не заводил, но был очень добр ко мне и потому охотно разговаривал со мною. В один из очень длинных разговоров втроем, между Некрасовым, Боткиным и мною, случи-

лось Боткину заговорить с Некрасовым о «Рудине». Я вставил в их беседу о нем какие-то маловажные слова, имевшие тот смысл, что портрет Бакунина, начерченный Тургеневым в лице Рудина, едва ли верен. По всей вероятности, сходство утрачено через то, что черты слишком изменены с намерением сделать их дурными. Некрасов на это сказал: «Да, но если б вы видели, каково был изображен Бакунин в третьей или четвертой редакции романа, которую Тургенев хотел отдать в печать как окончательную. Только благодаря Василию Петровичу он понял, что обесславил бы себя, если бы напечатал роман в том виде. Тургенев переделал роман, выбрасывая слишком черное из того, что говорилось там о Рудине». Я попросил Боткина рассказать мне, как это было. Боткин стал рассказывать. Тургенев начал писать с намерением изобразить Бакунина в блистательнейшем свете. Это должно было быть апофеозом. Он дописал или почти дописал в этом направлении, когда струсил. Ему вообразилось, что репутация его способности понимать людей пострадает, если он изобразит главное лицо своего романа только одними светлыми красками. Скажут: где же тут анализ, открывающий в человеческом сердце темные уголки. Без темных уголков никакое человеческое сердце не обходится: кто не нашел их, тот не умел глубоко заглянуть в пего. Тургенев начал переделывать роман, стирая слишком светлые краски и внося тени. Долго возился он, то стирая слишком много, то опять восстановляя сияние ореола. В разных стадиях этой колеблющейся переделки он читал совершенствуемый роман тем из приятелей, эстетическому вкусу которых доверял: читал и Некрасову, и ему (Боткину), и Дружинину, и Коршу (Евгению Федоровичу), и Кетчеру, и не помню теперь еще кому-то. Каждый судил, разумеется, по-своему, и Тургенев уступал в чем-нибудь советам каждого[20]. Но в общем переделка шла к тому, что темные краски делались все гуще и гуще. Этим, конечно, сглаживались несообразности остатков прежнего панегирика со вносимыми в него страницами пасквиля. И когда не осталось в романе ничего, кроме пасквиля, Тургенев увидел, что теперь роман хорош: все в нем связано и гармонично. Он объявил приятелям, что вот роман наконец готов для печати, он прочтет им его, и начал читать. В собрании приятелей, на котором происходило чтение, был и Василий Петрович. Выслушав, он стал говорить Тургеневу, что напечатать роман в таком виде будет невыгодно для репу-

тации автора. На этом месте рассказа Боткина Некрасов, ограничивавшийся прежде короткими и маловажными напоминаниями и замечаниями, сказал, что продолжать будет он, и продолжал, попросив Боткина слушать и направлять, если он скажет что-нибудь не так. Действительно, самому Боткину было бы затруднительно продолжать рассказ с прежней подробностью и живостью: приходилось бы передавать негодующую речь, имевшую характер нотации, какие читают взрослые солидные люди зашалившимся школьникам. Боткин, в те годы, когда я знал его, был человеком очень умеренных мнений, более склонявшимся на сторону осторожного консерватизма, нежели расположенным одобрять что-нибудь рискованное или эксцентричное, прогрессивное. Но он не забывал, что люди, с которыми был он дружен в молодости, были, в сущности, люди честные, и был возмущен сплошною клеветою на одного из них. Рудин был в этой окончательной редакции романа с первого слова и поступка до последнего фанфарон, лицемер, мошенник, и только фанфарон, лжец и мошенник, больше ничего. Когда Боткин кончил свою оценку характера, какой дан Рудину в этой редакции романа, Тургенев был смущен до того, что оставался совершенно растерявшимся. Он, по-видимому, сам не понимал, что такое вышло из его Рудина. Тут Боткин остановил Некрасова возражением, которое начиналось словами в таком роде: «Извините, Некрасов, он понимал», — и продолжалось беспощадным анализом некоторых сторон характера Тургенева. Боткин говорил с ядовитым негодованием. Когда он кончил, Некрасов не мог сказать ничего в защиту Тургенева и только убеждал Боткина судить снисходительнее о человеке, который если поступает иногда нехорошо, то лишь по слабости характера. После этого эпизода Боткин и Некрасов докончили рассказ об истории переделок романа. Боткин сказал тогда Тургеневу, что если он не хочет погубить свою репутацию, то должен вновь переделать «Рудина» или бросить его. В таком виде, как теперь, роман не может быть напечатан без позора для автора. Тургенев сказал, что переделает. И переделал. По мнению Боткина и Некрасова, роман, испытавший столько перипетий, вышел в том виде, как напечатан, мозаикой клочков противоположных тенденций, в особенности в характере Рудина. На одних страницах, или клочках страниц, это человек сильного ума и возвышенного характера, а на других — человек дрянной. Кажется, и мне самому думалось тогда, что характер Ру-

дина — путаница несообразностей. Не умею припомнить теперь ни того, думалось ли мне так тогда, ни того, так ли это на самом деле[21].

Но выдержан или не выдержан в романе характер Рудина, во всяком случае, это вовсе не портрет Бакунина и даже не карикатура на него, а совершенно не похожее на Бакунина лицо, подле которого сделаны кое-какие надписи, утверждающие, что это портрет Бакунина. Такими ярлычками нельзя не признать, например, того, что Рудин оратор, и того, что он иногда забывает отдать приятелю какие-нибудь ничтожные деньги, взятые взаем. Вероятно, подобных заимствований из характера или биографии Бакунина очень много в романе, но я плохо помню его.

В заключение истории переделок «Рудина» расскажу последнее, что случилось мне узнать о его судьбе. Не умею определить теперь, через сколько времени после того, как он был в первый раз напечатан, Тургенев издал собрание своих сочинений. Панаев, отдавая мне экземпляр этого издания, передал мне желание Тургенева, что если я буду писать что-нибудь об этом издании, то чтоб я не упоминал о прибавлении, которое он сделал к «Рудину»: роман теперь кончается тем, что Рудин участвует в одном из парижских народных восстаний (Панаев, разумеется, называл, в каком именно, но я теперь не умею припомнить в каком: в июньском ли междуусобии или в февральской революции), сражается геройски и умирает славною смертью бойца за свободу. Если журналы выставят на вид этот эпилог, все издание может подвергнуться запрещению, и потому не надобно говорить о нем. Желание Тургенева, если только следует называть это желанием, а не заявлением справедливого авторского требования, которому честные люди обязаны повиноваться по внушению совести, конечно, было принято мной с полным одобрением; но так как из этого вышло, что мне, обязанному не писать об эпилоге, нет и надобности прочесть его, то я и оставил его не прочтенным; потому не знаю, хорош ли он в художественном отношении и может ли выгодный для репутации Рудина конец заставить простить ему те слабости или дурные качества, которые в целом длинном романе навязывал ему автор[22]. Но важен ли сам по себе или маловажен этот эпилог, он заслуживает большого внимания, как факт, доказывающий стремление Тургенева загладить сделанную ошибку, когда достало у него характера и уменья.

Основываясь на фактах, известных мне о «Рудине», я

полагаю, что справедливо было мнение публики, находившей в «Отцах и детях» намерение Тургенева говорить дурно о Добролюбове. Но я расположен думать, что и Тургенев не совершенно лицемерил, отрекаясь от приписываемых ему мыслей дать в лице Базарова портрет Добролюбова и утверждая, что подлинником этому портрету служил совершенно иной человек. Очень может быть, что и в самом деле он в Базарове изображал того провинциального медика, о котором говорил г-же Маркович (говорил в последствии времени и многим другим; быть может, даже и заявлял что-нибудь такое в печати: мне кажется, будто бы я помню, что читал какой-то отрывок из какого-то его объяснения, имевшего этот смысл; не умею, впрочем, разобрать, нет ли какой ошибки в этом моем воспоминании). Но если предположить, что публика была права, находя в «Отцах и детях» не только намерение чернить Добролюбова косвенными намеками, но и дать его портрет в лице Базарова, то я должен сказать, что сходства нет никакого, хотя бы и карикатурного. У Рудина есть хоть то общее с Бакуниным, что оба они ораторы и оба, занимая у приятеля деньги, забывают отдавать. У Базарова нет, если не ошибаюсь, ни одной такой налепки, которая годилась бы в признаки, что он должен изображать собою Добролюбова. Разве одно: я слышал сейчас, что Базаров высок ростом, но я слышу это как воспоминание лишь очень вероятное, а не вполне отчетливое и достоверное, сам я не помню ничего о наружности Базарова. Этого, вероятно, довольно об «Отцах и детях».

Хорошо помнится мне, что в одной из тех моих статей о Добролюбове, ряд которых должен был составить полный по возможности сборник бывших у меня под руками материалов для его биографии, употреблено мною очень суровое выражение, относившееся в моей мысли к двум лицам, из которых одним был Тургенев[23]. Чем навлек он на себя этот приговор о его уме? Написал ли он после «Отцов и детей» еще что-нибудь злобное о Добролюбове в какой-нибудь маленькой статье или заметке или вообще выразил каким-нибудь способом свою злобу против Добролюбова в месяцы более близкие, чем время появления «Отцов и детей», к тем дням, когда я писал эту статью? Не умею припомнить и расположен думать, что ничего такого не было и что мое чувство было возбуждено не какой-нибудь недавней выходкой Тургенева, а лишь воспоминанием об «Отцах и детях».

Этим я закончу рассказ о том немногом, что помнится мне об отношениях между Добролюбовым и Тургеневым. Остается прибавить то, что я знаю о чувствах Некрасова к Тургеневу после разрыва между ними. Я не умею припомнить никаких отзывов моих о Тургеневе в разговорах с Некрасовым за это время. Но, разумеется, невозможно же, чтобы не случалось мне иногда говорить о нем что-нибудь Некрасову, и нет никакой возможности сомневаться, что каждый раз, когда я говорил Некрасову, все было говорено тоном пренебрежения к Тургеневу и насмешки над ним. Зная свою манеру, не могу сомневаться в том, что от насмешек над Тургеневым я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым. Таким образом, он имел с моей стороны возбуждение говорить мне о Тургеневе как можно хуже, и, однако же, он всегда говорил о нем тоном человека, дорожащего воспоминаниями своей прежней дружбы и сохраняющего дружеское расположение к своему бывшему другу. Людям, мало знавшим Некрасова или наталкивавшимся на какие-нибудь угловатости его характера, он мог казаться человеком жестоким; но если не всегда в своих поступках (надобно помнить, что он был человек с сильными страстями и сначала страдавший от безденежья, после того больной), то всегда в своих чувствах он был человек очень мягкий, чрезвычайно терпеливый, человек справедливый и великодушный.

Г. З. ЕЛИСЕЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Ни мы, все остальные сотрудники «Современника», ни тем более Некрасов не думали, что поведем журнал с таким тактом и уменьем, как он велся при Чернышевском, тем не менее все надеялись, что журнал, поставленный прежде хорошо, сам собою пойдет недурно, а кроме того, не без надежд в будущем были относительно Антоновича <...> В 1862 году он, за смертью Добролюбова, дебютировал в качестве литературного критика по поводу выхода в свет романа Тургенева «Отцы и дети», а статья его «Асмодей нашего времени» печаталась в мартовской книжке «Современника». Не знаю, сам ли Антонович напросился на эту работу или Чернышевский, находясь под обаянием его критических философских статей, понадеялся, что он справится и с критикой произведения беллетристического, только задача вышла для Антоновича не легкая, совсем не подходящая к его критическому таланту, по натуре своей, если можно так выразиться, вполне прямолинейному, способному рубить прямо и грубо, сплеча, и терявшемуся там, где нужна была работа более тонкая, требовавшая приличных подходцев, сноровки и мягкости приемов. А такая именно работа предстояла теперь. Во-первых, автор «Отцов и детей» был до сих пор постоянный почти сотрудник «Современника», художественный талант которого не подлежал никакому сомнению не только в глазах «Современника», но и всей читающей публики. Еще недавно «Современник» устами его даровитейшего критика Добролюбова признал за талантом Тургенева особенную чуткость угадывать, подмечать в литературе вновь возникающие явления общественной жизни. Новое произведение Тургенева, напечатанное в «Русском вестнике», по-видимому, вполне соответствовало этой аттестации «Совре-

менника». Оно было так талантливо написано, что публика зачитывалась. Оно первое определило для нее происходившие в обществе брожения, выведши перед ним на сцену действовавших в этом брожении лиц с их взглядами, стремлениями. Лица эти представлялись так метко и верно очерченными, что казались выхвачены живьем из самой жизни. Так стояло дело с одной стороны. С другой же стороны, еще задолго до появления нового романа на страницах «Русского вестника», в литературных кружках стали ходить слухи, что Тургенев, разошедшийся тогда с Некрасовым и сильно недолюбливавший Чернышевского и особенно Добролюбова, пишет новый роман с целью осмеять направление «Современника», главным героем выведен один из редакторов «Современника», именно Добролюбов, остальные лица взяты из его поклонников в среде молодого поколения; слухи прибавляли, что роман пишется по инициативе Каткова, что Тургенев ведет с ним переписку о разных лицах романа, в особенности о личности главного героя, и сообразно тому делает поправки. Слухи о таком бесчестном образе действий Тургенева, конечно, не могли не раздражить редакции «Современника»; насколько, однако, справедливы эти слухи, она проверить не могла; да если бы даже и вполне в них удостоверилась, она могла иметь их в виду про себя при рассмотрении романа Тургенева, а печатно высказывать не могла. От критика требовалось большое искусство, чтобы не впасть в прямое противоречие с прежними отзывами «Современника» о Тургеневе как выдающемся художественном таланте, владеющем при этом особенным чутьем угадывать нарождающиеся движения в обществе, а тем более не стать в совершенно абсурдное положение к новому роману, отрицая перед восхищающеюся им публикой в нем всякую художественность. Писарев в «Русском слове» сумел отчасти избегнуть этих неудобств. Он признал новый роман и вполне художественным и признал в то, что автор верно почувствовал движение новой жизни в старом обществе, но только не понял вполне этого движения, потому что сам автор — человек старого склада жизни и новых нарождающихся явлений не мог понять. Взгляд в основании был совершенно верный; Писарев только сам, увлекшись внешнею художественностью романа, недостаточно вник в фальшь характеров рисуемых Тургеневым личностей и в их неверную постановку и отнесся к этой фальши снисходительно.

Антонович не счел нужным входить в какие бы то ни

было объяснения о признаваемом всеми художественном таланте Тургенева, ни о прежних статьях по этому предмету «Современника», ни, наконец, об общем увлечении публики, восхищавшейся художественностью нового произведения Тургенева. К общему удивлению всех, он начал свою критику с того, что объявил, что в романе «Отцы и дети» нет никакой художественности, что все выведенные в нем лица — не живые лица, а отвлеченные идеи и взгляды, олицетворенные и названные собственными именами, что весь роман написан преднамеренно, с целью осмеять и унизить молодое поколение и выставить превосходство пред ним старого во всех отношениях. Указав потом подробно, в чем злобно искажены и опошлены личности детей и в чем сочувственно прикрашены и обелены отцы, критик говорит, что и в таком фальсифицированном виде отцы оказываются в романе Тургенева ничуть не лучше детей. В заключение критик говорит, что Тургенев не понял происходящего перед ним движения, не был научно подготовлен к тому, чтобы ориентироваться среди разнообразных толков общества об этом движении и понять суть, поэтому он доходит до таких нелепостей, что может отрицать в молодом поколении даже любовь к природе и свободе, признав их достоянием старого поколения. В общем, критика Антоновича похожа не столько на литературную статью, сколько на судебный доклад по обвинению Тургенева в злостном оклеветании молодого поколения, но доклад сделан был доказательно, обстоятельно и спокойно. Он не имел никаких блестящих достоинств, показывал даже, напротив, неспособность автора быть критиком беллетристических произведений, но как мнение «Современника», тщательно обработанное и толково изложенное, достиг своей партийной цели.

Название или, правильнее сказать, кличка: «Асмодей нашего времени», с которою появилась статья Антоновича в журнале, дана им не случайно и не без злого умысла. Дело в том, что в романе «Отцы и дети» никто этим именем не называется и в нем, как показывает самое его название, никакая индивидуальная личность не выдается за героя. Героями являются две личности собирательные — и отцы и дети. Потому при первом взгляде на статью впечатление получается такое, что «Современник» окрестил этим именем самого Тургенева для вящего его унижения в глазах читателей. Только по осилении всей статьи Антоновича, составляющей три с лишком печатных листа, и притом на последних ее страни-

цах читатель узнает, что таким именем назывался изданный назад тому четыре года роман известного ретрограда Виктора Ипатовича Аскоченского, осмеиваемого в то прогрессивное время единодушно всей журналистикой, и что название это взято Антоновичем якобы по сходству героя, выводимого Аскоченским, некоего Пустовцева с личностью Базарова. Но в действительности между Пустовцевым и Базаровым нет решительно никакого сходства. Базаров был человеком убеждения, пропагандистом идей, которым был предан; он проповедовал их всегда пред всеми, где мог и где представлялся к тому случай, не задаваясь при этом личными целями, скорее даже вредя этим целям. Пустовцев же является просто негодяем, который свои перверсивные идеи внушает одной молодой девушке с единственною целью соблазнить ее, что и достигает. Несомненно, что все дочитавшие внимательно до конца статью Антоновича ясно видели, что в приравнении Базарова к Пустовцеву Аскоченского не было другой цели, как третировать Тургенева, ставя его относительно понимания новых идей и людей на одну доску с презираемым всеми Аскоченским, даже ниже его. Быть может, в видах того вредного влияния, какое мог иметь и действительно имел роман Тургенева на отношение общества и литературы к пропагандируемым «Современником» идеям, это было и нужно, но ошибка Чернышевского состояла в том, что он не произвел казни над Тургеневым сам: несмотря на свою жестокость в подобного рода критиках, он сделал бы это гораздо умнее и приличнее, а главное, не поселил бы и не утвердил бы в Антоновиче того самомнения, что он способен быть таким же компетентным и основательным критиком при рассмотрении беллетристических произведений, каким был относительно сочинений философских. Впоследствии, когда Антонович занял роль критика «Современника», он опустился до площадной перебранки с разными газетами и журналами, в том числе и с «Русским словом», когда последний назвал его «лукошком глубокомыслия», укоряя его за «Асмодей нашего времени» и говоря, что этою статьею он добивался роли первого критика в «Современнике», то Антонович, с своей стороны, называя критика «Русского слова» «бутербродом глубокомыслия», отвечает на это, что он никогда не имеет и мысли добиваться этого, что в то время, когда напечатана была его статья на Тургенева, редакцией «Современника» заведовало исключительно и безраздельно одно лицо, от ко-

торого вполне зависело принять и напечатать или отвергнуть эту критику, и что, если бы это лицо было не согласно с критикою Антоновича, оно бы, конечно, ни за что ее не напечатало бы («Соврем.», 1864 г., декабрь). Вот какую прыть получило самомнение Антоновича оттого только, что статья его о Тургеневе одобрена была Чернышевским.

Но этим не ограничилось то зло, которое причинило Антоновичу одобрение его статьи о Тургеневе Чернышевским. Антонович понимал, как высоко ценил Чернышевский критический талант его, когда ему, не занимавшемуся до сих пор рассматриванием беллетристических произведений, поручил рассмотрение произведения первого нашего поэта и всеобщего любимца публики, и притом произведения не какого-нибудь заурядного, а самого капитального, разрешавшего самый болезненный вопрос злобы дня, долженствующий повлечь за собою громадные последствия в литературе и обществе. И когда критика Антоновича настолько удалась, что Чернышевский одобрил ее и напечатал, то Антонович вырос в собственных своих глазах, он стал смотреть на себя как на прирожденного критика и для беллетристических произведений, в своей критике на Тургенева увидел chef d'oevre критического искусства и ту уголовную манеру критики, которую он употребил относительно Тургенева, где автор притягивается к суду и где составлялся обстоятельный протокол по всем пунктам его уклонения от истины, исповедуемой критиком, и затем он подвергался приличной распеканции, — такую манеру критики он признал единственно верною и полезною. А так как для такой уголовной критики годились более сочинения отрицательного, чем положительного достоинства, более всего пищи себе находила эта критика в мелких произведениях периодической прессы, занятой преимущественно злобою дня, то критика, естественно, должна была спуститься до личной полемики. А так как предметы, по которым приходилось вести полемику, большею частью были достаточно разъяснены и никакой надобности в составлении обстоятельного протокола об отступлении автора в тех или других пунктах от истины не оказывалось, то и оставалось ограничить полемику распеканцией провинившегося автора, но так как немногие авторы позволяли безответно распекать себя, большая часть, напротив, раздражалась ими, то полемики превращались в простую площадную брань, дошедшую наконец до лукошек, бутербродов и т. д.

Е. Н. ВОДОВОЗОВА

ИЗ КНИГИ «НА ЗАРЕ ЖИЗНИ»

ИЗ ГЛАВЫ XVIII

Среди петербургской молодежи шестидесятых годов

Перед своим отъездом из Петербурга я явилась к «сестрам» на последнюю вечеринку, на которую они заранее особенно усердно зазывали своих друзей, совершенно серьезно требуя, чтобы каждый из них дал мне надлежащий совет относительно того, что я должна делать в деревне. На этот раз их гостями были те же лица, что и на первой вечеринке, кроме княжны Липы.

В то время нередко можно было встретить в интеллигентных кружках девушку или женщину аристократической фамилии. Разочарование в своих близких, знакомство с людьми иного крута и идеи шестидесятых годов обыкновенно были причиною их разрыва с своею средою. Такие личности тоже подвергали себя опрощению: жили, питались и одевались чрезвычайно скромно, зарабатывали свое существование уроками, переводами, перепискою. Обыкновенно они до фанатизма были преданны идеалам и стремлениям эпохи шестидесятых годов, свято выполняли даже внешние мелочные требования по кодексу нравственности того времени <...>

Из речи «Смерча», обращенной ко мне, когда гости садились за стол и шумели стульями, до меня долетали только отрывочные фразы:

— Вы должны пропагандировать современные идеи среди окружающих вас, чтобы они не явились лишними на пиру жизни! Вы должны указывать на высокое при-

звание гражданки! Вы должны звать на великое служение!..

В эту минуту вошел новый посетитель, и Слепцов, воспользовавшись этим маленьким перерывом, заметил:

— Конечно, все, что вы сказали, очень возвышенно и благородно! Но ведь госпожа Цевловская, вероятно, не составила себе никакой программы для деятельности. Она, конечно, желает добра ближнему, но едва ли имеет представление, как осуществить это стремление. Чтобы сделать эти советы более практичными, их следовало бы излагать попроще... Ведь госпожа Цевловская не скрывает того, что она не подготовлена к отвлеченным идеям и мышлению.

Называть звонкие фразы «Смерча», которые он высыпал, как горох из мешка, отвлеченным мышлением, несомненно, было злою ирониею, но при необыкновенно оживленных разговорах не до того было, чтобы обдумывать каждое слово.

— Натурально, — подтвердил медик Прохоров, — что для нее (то есть для меня) все надо излагать полегче и удобопонятнее. Вот, барышня, берите-ка карандаш и бумагу и записывайте, а мы сообща будем припоминать все, что вам надо читать и какое чтение вы обязаны рекомендовать другим. Кто-нибудь из товарищей, например Петровский, как человек обязательный, возьмет на себя труд собрать для вас кое-какие книги из указанных вам, а кое-что, может быть, вы и сами достанете...

И я начала записывать то, что мне выкрикивали с разных сторон: «Современник», «Колокол», «Полярная звезда», стихотворения Некрасова, Фогт, Льюис, Молешотт, Луи Блан, Бокль, «Искра», «Молотов», «Мещанское счастье» и мн. др.

— Советуйте провинциальным барышням сдать в архив не только чтение Поль де Коков и Евгениев Сю, но и Пушкиных, Лермонтовых и других художественных деятелей. Объясняйте им, что теперь времена переменились и необходимо изучать прежде всего то, что может научить служению общественным интересам, любви к народу, все то, что помогает уничтожать предрассудки, то есть <изучать> естественные науки <...>

— Довольны ли вы, господа нигилисты, вашею новою кличкою, которую вам дал самозваный ваш крестный папаша Тургенев, и вашим представителем Евгением Васильевичем Базаровым?

При этом вопросе Прохорова все присутствующие сразу заговорили, зашумели, заспорили, а через несколько минут уже вскочили со своих мест и сбились в кучу. Слова и выкрики, раздававшиеся здесь и там, преисполнены были злобы и негодования: «Весь роман — сплошная гнусная карикатура на молодое поколение!» — «Это презренный пасквиль!» — «Он (Тургенев) не имеет ни малейшего понятия о молодом поколении!» — «Еще бы: сидит за границею, услаждается пением своей Виардо и перестал понимать, что делается в России!» — «Эстетики в конце концов всегда превращаются в обскурантов, клеветников, гасителей просвещения, гонителей всего честного, порядочного и молодого!» — «Они ненавидят молодое поколение за то, что оно требует не только слов, но и дел». — «Трудно сочинить б*о*льшую клевету: Базаров, этот представитель молодого поколения, обжора, пьяница, картежник, который еще бахвалится своею пошлостью и даже в ней пасует!» — «Он представлен пошлым самцом, который не может оставить в покое ни одной смазливой женщины!» — «Кто из нас опивается шампанским, кто посещает дома, где идет картеж?» — «Да... да, кто нам дает шампанское? Сестры, что ли?» — «Мы даже решили, чтобы на наших собраниях никогда не было ни карточной игры, ни спиртных угощений!» — «А дуэль? Кто из нас оскандалит себя ею?» — «Дуэль — старый пережиток, и никто еще дуэлью не доказывал своей правоты!»

Княжна Липа долго силилась перекричать других; наконец это ей удалось.

— В несравненно более гнусном виде, чем мужчина, выставлена современная женщина в этом клеветническом романе! Встречали ли вы, господа, женщину, хотя сколько-нибудь напоминающую тупую, развратную, пьяную от шампанского Кукшину, которая, чтобы похвастать своею ученостью и прогрессивными взглядами, разбрасывает по столам своей квартиры неразрезанные журналы и окурки папирос? Господин Тургенев желает показать этим, что женщина недостойна свободы, не должна заниматься науками, иначе из нее выйдет карикатура на человека!.. Я предлагаю вам, господа, написать протест против романа «Отцы и дети», выразить в нем презрение и негодование к подобным пасквилянтам, покрыть это заявление массою подписей и отправить в Париж господину Тургеневу.

— Я совсем не очарован этим романом, — возразил

Слепцов, — нахожу в нем множество промахов и противоречий, неправильно понятых взглядов молодого поколения. Автор выставляет Базарова человеком без веры, но молодое поколение верит в очень многое, прежде всего оно твердо верит в свои идеалы. Тем не менее я все-таки не разделяю только что высказанного здесь взгляда на Кукшину. В ней автор вовсе не изображает современной женщины: она и ее приятель Ситников представляют превосходную карикатуру на людей, заимствующих лишь внешность прогрессивных идей, примазывающихся к новому течению, чтобы щегольнуть словами и фразами, и воображающих, что этого достаточно, чтобы прослыть общественными деятелями. Что это карикатура, видно уже из того, что к обеим этим личностям с презрением относятся Аркадий и Базаров.

— Не то, не то... — кричали ему. — Базаров с презрением относится к Кукшиной только потому, что она не понравилась ему своею внешностью: он может любоваться богатым телом женщины, а других отношений к ней он иметь не желает!..

— Тургеневу необходимо отправить протест! — требовала молодежь, и тут поднялся невообразимый шум.

— Господа! Устроим какой-нибудь порядок для обсуждения этого романа! Пусть каждый выскажет свой взгляд не голословно, а мотивируя его, — предложил Ваховский <...>

— Базаров, — доказывал он, — является истинным представителем молодого поколения. Он обрисован в романе необычайно сильным, можно сказать мощным, характером, с непреклонною волею, — ни перед кем не виляет, ни у кого не заискивает, смело до дерзости говорит в глаза все, что думает, и притом никого не щадит, отличается необыкновенною жизнедеятельностью, работает неутомимо, двигает науку вперед, не любит загребать жар чужими руками, но, при выдающейся силе своего ума и характера, Базаров отличается сатанинскою гордостью и о себе самом самого высокого мнения. Хотя он обладает весьма крупным и оригинальным умом, но вследствие своей самонадеянности, этого характерного грешка молодежи, нередко высказывает незрелые мысли. Все остальные лица, выведенные в романе, стоят несравненно ниже Базарова по своей работоспособности, по своему закалу, уму и характеру. Как же можно говорить, что в лице Базарова Тургенев осмеял молодое поколение,

когда, наоборот, он показал в нем редкие достоинства? В нем сгруппированы наиболее характерные стремления, симпатии и антипатии молодого поколения: он серьезно изучает медицину и естественные науки, ботанизирует, режет лягушек, работает с микроскопом, не признает авторитетов, издевается, иногда даже невпопад, над проявлениями романтизма, отрицает искусство и поэзию, находит, что химик в двадцать раз полезнее всякого поэта, что Рафаэль гроша медного не стоит, признает только то, что полезно, чрезвычайно скептически относится к старому поколению. Базаров, можно сказать, фотографически верно списан с молодого поколения... Что же касается шампанского, к которому он питает большую склонность, и других его качеств, например его отношений к женщинам, то в тех кругах, где мы с вами вращаемся, мы действительно не встречаем в молодежи этих слабостей. Но, господа, простите... вы еще так мало знаете жизнь и ее соблазны... так мало знаете самих себя!.. Можете ли вы ручаться, что, если бы вас стали усердно угощать шампанским, может быть, оно кому-нибудь из вас и пришлось бы по вкусу? Базаров не всегда последователен: он с презрением отзывается о женщинах, а затем сам влюбляется. Такою непоследовательностью грешит большинство молодых людей. Господа! перед вами длинная жизнь со всеми ее соблазнами, подвохами и западнями! Неужели каждый из вас может наперед ручаться за то, что он всегда, как теперь, будет стремиться выбирать себе подругу жизни прежде всего для того, чтобы рука об руку с нею работать на общественной ниве? Почем знать, не падет ли ниц кто-либо из вас перед могуществом женской красоты и очарования! Что же касается дуэли, то несомненно, что обычай этот отживший и весьма неумный. Но, осуждая Базарова за дуэль, вы не принимаете в расчет разнообразно-сложных положений, конфликтов, в которые иногда жизнь ставит человека. Наконец, нужно помнить и то, что роман «Отцы и дети» хотя и вышел в свет только теперь, но, говорят, написан уже года три тому назад, следовательно, Тургенев работал над ним в то время, когда тип представителя молодого поколения еще не настолько определился, как теперь.

— Как ни обеляйте Базарова, — возразил Петровский, — таким, каким он выставлен, он оказывается порядочной дрянью: человеком жестоким, который не умеет ни к кому отнестись сердечно. У него даже достает наг-

лости сказать, что «свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш рад сам себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке». Ну, скажите, пожалуйста, кто из молодежи способен сказать такую пошлость?

— Антипатичность Базарова, — доказывала Очковская, — проявляется в особенно отталкивающем виде тогда, когда дело касается его отношений к безобидным старикам родителям, любящим его всем сердцем. Но ведь вы в этой комнате не раз называли сентиментальною пошлостью всякое проявление нежных чувств к родителям! Разве вы не проповедуете постоянно, что нужно порвать со всем прошлым, и прежде всего с папашами и мамашами? При этом вы не исключаете даже таких родителей, которые не мешают своим детям жить и учиться... Будьте же справедливы, сознайтесь, что этою чертою характера вы сильно напоминаете Базарова! Но я тоже нахожу, что в остальном Тургенев все-таки клевещет на молодое поколение: Базаров насмешливо, высокомерно, жестоко, с презрением и изредка разве только снисходительно относится даже к своему другу, никого не любит, ничего не признает, даже своего народа. Это, конечно, возмутительная клевета на молодое поколение. Большая часть молодежи, с которою мне приходилось сталкиваться, бескорыстные, превосходные друзья, сердечные товарищи, готовые отдать всю кровь своего сердца для блага и просвещения народа!

Хотя при дальнейшем разборе романа многие соглашались, что «отцы» являются у Тургенева не в авантаже, обрисованы людьми неразвитыми, дряблыми и безвольными, и даже более умный из них, дядя Аркадия, выставлен совершенным баричем, который все время тратит на уход за своей великолепной особой, тем не менее все-таки присутствующие решили, что Тургенев с большею симпатиею относится в этом романе к старому поколению, чем к молодому, и называли его ренегатом, так как он, по их мнению, из прогрессивного лагеря перешел в реакционный.

В то время как княжна Липа с некоторыми другими принялась составлять протест Тургеневу, который, кажется, совсем не был ему отправлен, началось обычное веселье.

И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-СЕМИДЕСЯТНИКОВ

П. Л. ЛАВРОВ

ИЗ СТАТЬИ «И. С. ТУРГЕНЕВ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА»

Первое время моего пребывания в Париже, куда я приехал в начале 1870 года, я не видал Тургенева [1]. Не помню, был ли он в Париже, но я не считал себя вправе возобновить наше петербургское знакомство посещением его после моего отзыва о «Дыме», отзыва, который мог быть ему известен [2]. Но <...> мы встретились у общего приятеля [3], и мне было известно, что Иван Сергеевич знал, что я буду там. Встреча была очень радушная. Он или хотел игнорировать мою экскурсию в область критики его произведений, или не знал действительно об этой экскурсии. Он пригласил меня к себе. Через несколько дней я поехал к нему, и с этого времени всегда, когда мы оба были в Париже, мы видались, хотя не очень часто, но и не редко, а в промежутках обменивались письмами. Собственно, лишь за это время я надлежащим образом узнал Ивана Сергеевича.

Это возобновление знакомства нашего имело место в конце 1872 года перед моим переселением из Парижа в Цюрих для того, чтобы начать там издание «Вперед!» [4], и первые сохранившиеся у меня письма Ивана Сергеевича с определенною датою, писанные весной 1873 года, относятся к его проекту приехать в Цюрих, чтобы ознакомиться с тамошнею русскою молодежью. Но эта поездка не состоялась. От 9 июня 1873 года он писал мне об известной «большой и беспощадной статье, помещенной в «Правительственном вестнике» от имени правительства, с угро-

зами тогдашним цюрихским студенткам»; о «драконовских мерах», принимаемых русским правительством [5], и прибавлял: «Вот и выходит, что l'homme propose, а М. И. Лонгинов dispose» *.

В феврале 1874 года, проезжая через Париж, при перенесении редакции и типографии «Вперед!» из Цюриха в Лондон, я прожил несколько дней в Париже и написал Ивану Сергеевичу, находит ли он удобным повидаться со мной. Я понимал, что для легального русского свидание с редактором «Вперед!» было нечто совершенно иное, чем знакомство с эмигрантом, виновным лишь в произвольном оставлении своего места ссылки, а мои прежние отношения с Иваном Сергеевичем не были вовсе так близки, чтобы я имел право предполагать, что он захочет рискнуть из-за свидания со мною какими-либо возможными неприятностями. Но я получил самое любезное приглашение позавтракать вместе и «побеседовать de omnibus rebus **», с прибавкою, что «увидаться непременно надо». Это свидание состоялось 20 февраля 1874 года, и Тургенев жадно расспрашивал меня о цюрихской молодежи, о ее содействии предпринимаемому мною делу, хотел знать подробности, обстановку. Само собой разумеется, что я с удовольствием передавал ему все, что мог, и я видел, как он был взволнован рассказом о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства на дело, в котором они участвовали только как наборщицы. Ни он, ни я, мы не знали тогда, что говорили о будущих героинях процесса 50-ти, которые впишут навсегда свои имена в историю рус-

---

* Человек предполагает, а Лонгинов располагает (*фр.*).

Пользуюсь случаем, чтоб сообщить анекдот по поводу этого декрета русского правительства против русских цюрихских студенток. Одна из них, занимавшаяся набором «Вперед!» в Лондоне, умерла там от скоротечной чахотки, и так как английский врач был позван слишком поздно (в нашей колонии был свой врач), то coroner производил следствие. На этом следствии перед большим jury мне пришлось рассказать о том, каким образом умершая очутилась в Англии в нашей колонии. Когда я сказал, что она должна была оставить Цюрих, так как русское правительство выгнало русских студенток из Цюриха, коронер хотел поправить меня: «Вы, верно, хотите сказать швейцарское правительство». Я уверил его, что хочу именно сказать то, что сказал. Англичане очень удивились. Мне пришлось выяснить подробности, но они все-таки едва ли вполне ясно поняли, как могло русское правительство сделать такое дело и как это его послушались. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

** О всех делах (*лат.*).

ского революционного движения и в мартиролог его. Троих из этих милых сотрудниц по делу, тогда таких молодых и полных жизни, теперь уже нет на свете. Остальные все в Сибири[6].

С своей стороны, Иван Сергеевич с раздражением рассказывал мне о положении дел в России, об отсутствии всякой надежды на правительство, о растущей реакции, о бессилии и трусости его либеральных друзей. Он не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась; напротив, тогда, как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей. Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытке бороться против него. Иван Сергеевич имел, может быть, право писать в 1880 году, что его убеждения «не изменились ни на йоту в последние сорок лет», что он остался «либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше — принципиальным противником революции» («Новости» от 14/26 сентября 1883 г.)[7]. Я писал еще в 1877 году в «Atheneum»: «Никто из сколько-нибудь знакомых с автором и его прошедшим не может подумать ни на минуту, чтобы г. Тургенев был демагог или даже чтобы он симпатизировал людям насильственного и кровавого переворота»[8]. В прошлом номере «Вестника Народной воли» было также определенно сказано («Совр. обозр.», стр. 209), что Иван Сергеевич «не был никогда ни социалистом, ни революционером»[9]. Он никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства, как не верил, чтобы народ мог осуществить свои «сны» о «батюшке Степане Тимофеевиче»; но история его научила, что никакие «реформы свыше» не даются без *давления,* и энергического давления снизу на власть; он искал силы, которая была бы способна произвести это давление, и в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества. Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силою, он сочувственно относился к этому элементу и готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные. Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах

молодежи, примкнувших в Цюрихе к «Вперед!», он без всякого вызова с моей стороны высказал свою готовность помогать этому изданию, первый том которого был уже около полугода в его руках и программа которого, следовательно, была ему хорошо известна. На другой же день (21 февр. 1874 г.) я получил от него письмо, где он более определенно высказал: «Я буду давать ежегодно 500 фр. до тех пор, пока продолжится ваше предприятие, которому я желаю всяческого успеха» *, и прислал взнос за первый год. Следующие два года взнос происходил через посредников, так как я находился все время в Лондоне. У меня сохранилось очень мало писем и записок Ивана Сергеевича из этого периода. В одной из них (от 29 апреля 1875 г.) он писал мне, что думает ехать на partridge shooting и быть проездом в Лондоне, прибавляя: «Надеюсь увидеть вас там и побеседовать об omnibus rebus. На бумаге это неудобно исполнить; ограничусь тем, что нахожу вашу деятельность полезной, несмотря на неизбежные drawbacks **, которые я очень хорошо видел сам». Не помню, помешало ли что Ивану Сергеевичу приехать или во время его проезда через Лондон оказалось невозможным или неудобным наше свидание, но оно не состоялось. Скорее, он вовсе не приезжал, так как 7 сентября того же года он мне писал из Буживаля о двух произведениях нашей наборни, ему посланных, входя в довольно подробный разбор сказки «Мудрица — Наумовна», указывал на ее литературные недостатки, но говорил: «Автор — человек с талантом, владеет языком, и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения». Далее Иван Сергеевич еще раз говорит, что у автора «есть и талант и огонь — пусть он продолжает трудиться на этом поприще». В последние годы одна книга этого автора появилась на итальянском языке; а переводы на английском языке появились в Англии и Америке; как слышно, готовятся ее французское и немецкое издания [10].

В следующем месяце он писал мне об одной статье, которую я ему посылал в рукописи на прочтение и которая

---

* Это письмо, сохранившееся в моих бумагах, я давал прочесть двум лицам, пользующимся общественным уважением, имевшим случай знать почерк Ивана Сергеевича, никогда не принадлежавшим к русской революционной партии, и свидетельства которых никто, вероятно, не решится заподозрить. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

** недостатки (*англ.*).

принадлежала личности, фигурировавшей впоследствии в «Нови» под именем Кислякова. Иван Сергеевич благодарил меня «за непомещение статьи» во «Вперед!» и сообщал некоторые подробности о своих сношениях с этим господином [11]. Мне неизвестно, продолжал ли Иван Сергеевич свое содействие «Вперед!», когда с концом 1876 года я оставил редакцию этого издания. Так как это было дело не личное, а взнос в кассу издания, то дальнейшие распоряжения до меня не касались.

О личности, только что упомянутой в письме ко мне Ивана Сергеевича, говорит он, очевидно, и в письмах к даме (симпатичную личность которой не трудно угадать), помещенных в октябрьской книжке «Русской старины» за 1883 год (стр. 219 и след.). Эти письма доставляют немаловажный материал для его взгляда на революционную молодежь в 1874—1875 годах. Почтенная энтузиастка хотела познакомить его «с образом мыслей», вообще с личностями «новых людей». Иван Сергеевич отвечал ей, что к этим экземплярам можно отнестись «только с сатирической, юмористической точки зрения», что «это еще не новые люди», и упрекал их в «скудости мысли, в отсутствии познаний, а главное, в бедности, в нищенской бедности дарований». Но он писал: «Я знаю таких между молодыми, которым гораздо более приличествует подобное наименование (новых людей)». «Я мог бы назвать вам молодых людей, с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми, пред которыми я, старик, шапку снимаю, потому что чувствую в них действительное присутствие и таланта и ума» [12] <...>

В конце 1876 года я приехал на две недели в Париж. Я был очень озабочен отстаиванием газеты «Вперед!» против съезда, имевшего место в Париже. Я потерпел неудачу, отказался от редакции и предвидел гибель начатого дела (хотя такого быстрого его падения и политического самоубийства своих товарищей пропагандистов, какое имело место, я вовсе не ожидал) [13]. Утомленный и раздраженный ежедневными прениями на съезде, я рад был отдохнуть на разговорах о чем-либо другом и раза два в эти две недели был у Ивана Сергеевича. Он мне говорил о «Нови», которая должна была появиться в первых книжках «Вестника Европы» 1877 года, и обещал мне прислать корректуру статьи, как только она получится [14]. По возвращении в Лондон я как-то упомянул об этом в разговоре тогдашнему радикальному члену палаты общин (теперь зани-

мающему очень высокое политическое положение), тесно связанному с лондонским «Атенеумом»[15]. Он попросил меня дать в «Атенеум» статью о новом романе, и она была напечатана там, значительно сокращенная. В последующем я приведу из нее некоторые отрывки, так как мой взгляд на «Новь» с тех пор не изменился *. Иван Сергеевич едва ли знал, что она принадлежит мне.

С появления «Дыма» до «Нови» прошло почти десять лет. Реакция раздавила в России земство, исказила судебную реформу, довела освобожденных крестьян до разорения. Самарский голод сделал очевидным все язвы народных бедствий. Ученики Чернышевского, Добролюбова, Писарева сплотились в растущую, хотя и неорганизованную революционную силу. Трагедия Коммуны не прошла даром и для России. Процесс нечаевцев позволил выступить адвокатуре с политическими речами. Начали за границей снова работать типографские станки для новой литературы анархистов и подготовителей революции[16]. Молодежь пошла «в народ». Записка, разосланная графом Паленом в 1875 году, говорила о «раскрытии пропаганды в 37 губерниях», о привлечении к дознанию 770 лиц[17]. Русские Инсаровы, люди, «сознательно и всецело проникнутые великой идеей освобождения родины и готовые принять в ней деятельную роль», получили возможность «проявить себя в современном русском обществе» (Соч. Добролюбова, III, 320)[18]. Новые Елены не могли уже сказать: «Что делать в России?» Они наполняли тюрьмы. Они шли в каторгу. Они, через месяц с небольшим (10 марта 1877 г.) после появления конца «Нови», говорили перед судом, что их целью было «внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя», признавали «насильственную революцию, при известных обстоятельствах, неизбежным злом» и предсказывали, что революционное движение «не может быть остановлено никакими репрессивными мерами... Оно может быть, пожалуй, подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова... И так будет продолжаться до

---

* Предупреждаю читателя, что у меня нет под руками номера «Атенеума», где помещена статья, а сохранился лишь французский оригинал его в рукописи, где недостает нескольких страниц. Следовательно, может случиться, что я приведу кое-какие места, выброшенные редакцией при сокращении статьи для помещения ее в «Атенеуме», для которого она оказалась слишком длинной. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

тех пор, пока наши идеи не восторжествуют»[19]. А в то же время реакционная литература, в особенности же реакционная беллетристика, разливалась ливнем грязи на новых русских революционеров.

«Новь» вызвала очень разнообразные мнения среди передовых групп русской молодежи. Когда я читал ее в корректуре в Лондоне в январе 1877 года П. А. Кропоткину и некоторым членам прежней наборни «Вперед!», она очень понравилась[20]. Но другие были возмущены. Даже люди, очень расположенные к Ивану Сергеевичу, как тот, кому принадлежат стр. XV и след. в обращении «К читателю» сборника «Из-за решетки» (1877)[21], отнеслись достаточно жестко к новому роману. Приведу несколько страниц из «Атенеума»[22].

«Я сказал выше, говоря о прежних произведениях г-на Тургенева, что его произведения представляют всегда неполную картину наблюдаемого им движения; это справедливо и для его романа. Его личные отношения позволили ему наблюдать и выразить лишь одну сторону революционного движения в России...

Он опять оставил в стороне многие точки зрения, входящие в рассматриваемый им вопрос. Он снова создал несколько живых типов, которые навлекут на него ругательства одних, симпатии других. Он набросил несколько симпатичных или поразительных сцен, которые останутся в литературе...

Господствующее впечатление, получаемое при чтении романа, заключается в том, что наблюдатель художник был живо поражен важностью революционного движения среди русской молодежи. Группа, составляющая центр всего рассказа и привлекающая симпатии читателя, несмотря на свои недостатки, это — группа молодых людей, глубокие убеждения которых сделали их врагами порядка вещей, существующего в России. Они живут своим трудом; они горды своей бедностью; они ищут не выгодной карьеры или личного счастья; они хотят «служить» народу, подавленному господствующими классами; они хотят для него действительной свободы; они хотят поднять его против существующего строя...

Личности этой центральной группы представляют весьма различные типы и различаются еще более между собою способностями, умом; но всех их характеризует одна общая черта, резко отделяющая их от людей другой группы, вызывающая к ним любовь и уважение, несмотря на их

недостатки, несмотря на их явные ошибки, несмотря на недостаток ума у одних из них и на комический оттенок, который имеют иногда их приемы деятельности. Эта черта заключается в том, что они суть представители иной, высшей нравственности; не нравственности условной, но той глубокой нравственности, которая убивает всякий эгоизм, всякое личное вожделение, придает людям характер искренности и делает их способными на все жертвы для класса несчастных и обездоленных».

Здесь, при оценке значения того комического элемента, который внес Тургенев в фигуры «опростившихся», следует взять в соображение слова его по поводу подобного же элемента в Дон-Кихоте, сказанные за семнадцать лет ранее <...> Бесспорно, что борцы за лучшее будущее русского народа, выставленные автором в «Нови», были для него сродни Дон-Кихоту, но следует не забывать, что для него дон-кихоты были «служителями идеи и обвеяны ее сиянием» (I, 337), что «попирание» их «свиными ногами» есть «последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию» и что тем самым «они завоевали себе бессмертие» (I, 351). Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле революционной мысли не хотели признать в своих рядах людей типа Дон-Кихота, «отличительная черта» которого — «непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий» (Соч. Добролюбова, III, 307), но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое дело, составляются не по собственным идеалам, а по тому фатальному процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего их общества. «Не с подобной ли же *иронией*, — говорят передовые деятели 1883 года («И. С. Тургенев», в типогр. «Народн. *воли*»), — относимся сами мы к движению семидесятых годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было много наивного»[23].

Машурины, Остродумовы, Маркеловы были живые лица, типы, которые действительно встречались; даже Неждановы были возможны (хотя мне не случалось наблюдать даже близкого типа в среде нечаевцев или народников, которых мне удалось видеть, а тот О., на которого намекает г. Ковалевский в своих воспоминаниях — «Русск. ведом.» от 27 сентября 1883 *г.*, — не представлял даже самого отдаленного сходства с нравственным типом Нежда-

нова) [24], но дело в том, что лишь художник-индивидуалист мог ограничиться этими личностями; для того же, который сам ставил себе задачею «воплотить в надлежащие типы образ и давление времени», превосходно отделанный *угол* картины, развернутый пред глазами читателя, не мог заменить самой картины. Дело в том, что в революционной партии были не *одни* Машурины, Остродумовы и Неждановы, как в обществе, против которого они вооружались, были не *одни* Сипягины и Коломейцевы. Дело в том, что если бы революционная партия состояла в это время только из тех личностей, которых нарисовал Тургенев, то история России последних десяти лет была бы невозможна; в том, что даже в своем рассказе художник смешал (как и было ему замечено в обращении «К читателю» в сборнике «Из-за решетки», стр. XV, примеч.) «чисто народническое движение» 1873 и следующих годов с «заговорщицким движением времен нечаевщины», то есть смешал две ступени развития, резко различавшиеся между собой по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков» (на это было указано в статье, приготовленной для «Атенеума»). Процессы 1877 и следующих годов показали, что люди иного типа были налицо, и между тем даже отдаленного намека на эти весьма характеристические типы для «образа и давления времени» не дал художник в группе тех живых личностей, которых он создал в «Нови» пред глазами читателя. «Я тогда мало знал нашу молодежь», — говорил сам Иван Сергеевич о своей «Нови» в 1879 году в Петербурге («Общее дело», № 56, стр. 4) [25]. И тем не менее перед целой литературой грязных ругателей этой молодежи он выставил ее, эту революционную молодежь, как единственную представительницу высокого нравственного начала, как «служительницу идеи, обвеянную ее сиянием», как «тех личностей», над которыми «масса глумится», которых она «проклинает и преследует», но за которыми затем «идет, беззаветно веруя», потому что они, «не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут непреклонно вперед, вперив духовный взор в им только видимую цель» (I, 343) [26]. В этом еще раз проявилась способность Ивана Сергеевича, о которой сказано выше, способность «угадывать некоторые действительные явления русской жизни Далеко вернее и шире, чем его сверстники, соперники его по таланту, но стоявшие далеко ниже его по развитию».

Весной 1877 года я переселился в Париж, и личные

мои сношения с Иваном Сергеевичем сделались теснее в последние пять лет его жизни, чем в прежнее время.

Общее настроение Ивана Сергеевича в эти годы становилось все мрачнее. С 1878 года он начал свои «Стихотворения в прозе», серию, проникнутую возвращающимся и усиливающимся чувством нравственного одиночества, мучительною мыслью о старости, о близкой смерти. «Настали темные, тяжелые дни», когда он говорил себе: «Уйди в себя, в свои воспоминанья... Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик!» («Старик», июль 1878) Настоящее вызывало мысль: «Я один, один, как всегда» («Голубь», май 1879). Воспоминания раздражали его воображение представлением о том, «как хороши и свежи были розы»... как теперь ему «холодно» и как «все они умерли... умерли» («Как хороши» и т. д., сент. 1879 г.). А впереди грозная старуха судьба гнала его к могиле, которая «плывет, ползет» сама к нему («Старуха», февраль 1878 г.).

Росло в его доброй душе, вместе с увеличивающейся болезненностью, и раздражение против критиков, так как он, живя вне России, не мог знать, до его торжественной поездки на родину в 1879 году, насколько он остался любимым беллетристом всех групп читающей русской публики[27]. Он говорил об «ударах, которые больнее бьют по сердцу», чем «суд глупца». Он говорил о человеке, который «сделал все, что мог; работал усиленно, любовно, честно... И честные души гадливо отворачиваются от него, честные лица загораются негодованием при его имени» («Услышишь суд глупца», февр. 1878). Он рисовал «довольного» клеветника, который сам поверил своей клевете («Довольный человек», тогда же), говорил о «житейском правиле»: упрекайте противника «в том самом пороке или недостатке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте и упрекайте» («Житейское правило», тогда же). Он рисовал «дурака, заведующего критическим отделом», и восклицал: «Житье дуракам между трусами» («Дурак», апрель 1878). Он противуполагал торжествующего Юлия оплеванному Юнию, хотя первый лишь украл у второго его мысль («Два четверостишия», там же). После марта 1879 года мыслей этого рода мы не встречаем в «Стихотворениях в прозе», хотя, по частным сведениям («Русская мысль», ноябрь 1883 г., стр. 314, 318), они встречались в разговорах Ивана Сергеевича рядом с выражением чувства нравственного одиночества[28].

О русских общественных вопросах в этой серии произведений, охватывающей 1878—1882 годы, говорится мало, и мнения Ивана Сергеевича, относящиеся к этому времени, приходится более черпать из воспоминаний о частных разговорах. Мои разговоры с ним и наша переписка оставались, большею частью, на почве нейтральной, именно на почве личной помощи, которую он постоянно оказывал через мое посредство нуждающимся русским, принадлежавшим к колонии Латинского квартала (в значительной доле состоявшей не только из эмигрантов, а также из легальных русских, но не имевших сношений с другою русской колонией, группировавшейся около церкви улицы Дарю и посольства), не считая тех лиц, которые лично обращались к нему помимо моего посредства; а также на почве литературных вопросов, причем, между прочим, он лично помог мне своим замечательным знанием Шекспира чуть не наизусть, когда мне пришлось для одной работы искать, куда относятся многочисленные цитаты из Шекспира одного автора, приведенные весьма часто без точных указаний. Но само собою разумеется, что редко свидание наше проходило без разговора о России, о русских делах, о правительстве, о либералах и о революционной партии. Он мне часто сообщал в извлечении или даже прочитывал отрывки писем, получаемых им от лиц, которые могли знать действительное положение дел и которые большею частью еще живы, а потому я их не называю. Так как я не записывал наши разговоры, то не могу ни приводить точных слов Ивана Сергеевича, ни указывать точную эпоху в течение последних шести лет, когда происходил тот или другой разговор. Передаю лишь общее его отношение к различным элементам русского общества, причем всякий, знавший Ивана Сергеевича, поймет, что при его чрезвычайной впечатлительности к внешним влияниям минуты отношение его к тому или другому элементу русского общества, мною характеризованное в общих чертах, становилось ярче или бледнее, смотря по случайностям событий, по впечатлениям, полученным Иваном Сергеевичем от лиц, с которыми он видался, или от его корреспондентов.

Скептицизм относительно чего бы то ни было действительно полезного для России, способного выйти от кого бы то ни было: от правительства, от либералов или революционеров, составлял основную черту его взглядов на русские дела, хотя при этом он готов был сочувственно отнестись к самомалейшему явлению, которое как будто

обещало что-либо, но лишь для того, чтобы, вслед за тем, еще сильнее обрушиться на то, что обмануло его минутные надежды.

Безусловно отрицательно относился он к министрам последних лет, хотя было время, когда как будто ждал чего-то от Меликова[29]. С неподражаемою добродушной иронией говорил он о личностях из царской фамилии, с которыми ему пришлось встречаться в Париже, о сожалении, выраженном однажды нынешней императрицей *России* (тогда уже давно женою наследника *русского* престола), что он, Тургенев, пишет свои повести *по-русски;*[30] об ограниченности, невежестве и неловкостях нынешнего императора и его дядюшек, — и между тем это не помешало тому, что под его влиянием (если не им самим, может быть, написанная, в чем он мне прямо не сознавался) появилась в «Revue politique et littéraire» вслед за воцарением Александра III статья, выражавшая надежды, которые едва ли мог иметь серьезно человек, который знал, что за личность всходила на престол Российской империи[31].

Много раз у нас заходил разговор о его ближайших друзьях или единомышленниках, о русских либералах. Много раз я к нему приставал с вопросом, почему они не делают того или другого, очевидно полезного для их политических взглядов? Почему они, при своей численности, при значительных денежных средствах, при бесспорном присутствии в их рядах людей со способностями, с талантом, с авторитетным именем, не выступают как политическая партия, пытаясь захватить себе то значение представителей передовых требований, которое они предоставляют ненавидимым ими социалистам-революционерам? Каждый раз он начинал иронически или раздражительно перебирать имена и личности (иные весьма близкие ему) и доказывать для каждого, что он не способен ни к смелому делу, ни к риску, ни к жертве и что поэтому невозможна организация их в политическую партию с определенною программою и с готовностью пожертвовать многими личными удобствами до тех пор, пока для них сделается возможною надежда достичь своих политических целей *.

* Пользуюсь случаем, чтобы выразить свое сомнение, имели ли вовсе в последние годы русские либералы определенную политическую программу действий. В 1882 году собралось у меня в Париже несколько личностей из русской либеральной интеллигенции, достаточно смелых, чтобы посещать меня, и каждый из которых завоевал себе право называться одним из лучших представи-

По словам автора статьи «Черты из парижской жизни И. С. Тургенева*» («Русская мысль», ноябрь 1883 г.), — нисколько не утверждая, насколько можно верить его свидетельству, — Иван Сергеевич выражался о своих единомышленниках в последние годы так (стр. 324):

«Мы, то есть я и мои единомышленники, — честные и искренние либералы и от всей души желаем воцарения в России благоденствия, правды и свободы; мы готовы много работать для достижения этих целей, но все мы, сколько нас ни есть, все хорошие и нескупые люди, не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия, потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества... Что делать, надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре».

Следовательно, для меня совершенно бесспорно, что ни в какой момент последних шести лет жизни Иван Сергеевич не питал надежды, что его единомышленники, русские либералы, в состоянии, как политическая партия, оказать то давление на правительство, без которого немыслимы реформы в либеральном направлении. И между тем, когда весною 1879 года русские либералы сделали из его приезда в Москву и Петербург повод к демонстрации в пользу своих идей, Иван Сергеевич — отлично понимавший (он это не раз говорил и мне, и моим приятелям), что овации, делаемые ему, гораздо менее относятся к его личности, чем составляют прием агитации для либералов, — охотно отдавал себя в распоряжение этим господам, в способность которых к жертвам за убеждения или к политической деятельности он нисколько не верил.

Насколько Иван Сергеевич «интересовался» и «следил с особенным вниманием в последние годы» за «русскою молодежью» («Русская мысль», ноябрь 1883 г., стр. 312), можно видеть из многих воспоминаний о нем, уже обнаро-

---

телей русского либерализма. Все они нападали, конечно, на русскую революционную партию и на ее способ деятельности. Но все согласны были в полном расстройстве положения дел в России. «Так продолжаться не может», — повторял почти каждый. Я им сказал: «Положим на минуту, господа, что программа деятельности революционной партии неверна. Дайте другую программу, чтобы выйти из теперешнего положения, и обсудим ее». Эти люди, принадлежавшие, как я уже сказал, к самому цвету русской либеральной интеллигенции, не могли дать никакой программы. Один из них, очень остроумный, сказал, правда, что порядочным людям надо бежать из России, но он сам отлично понимал, что ведь это не политическая программа. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

дованных. Нечего говорить, что он относился скептически и к деятельности революционеров, отрицал у них и возможность пропаганды в народе, и достаточную силу, чтобы произвести надлежащее давление на правительство; после какого-либо неудавшегося покушения или факта, вызвавшего много жертв, но оставшегося без видных результатов, он раздражался на неумелость революционеров и говорил, что они лишены надлежащей энергии. Весною 1878 года он писал, проникнутый глубоким скептицизмом, разговор «Чернорабочего с белоручкой», где представитель «народа» не только гонит от себя того, кто «хотел освободить серых, темных людей, восставал против притеснителей их», но в то же самое время, когда вешают этого «белоручку», думает лишь о том, «нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут; говорят, ба-альшое счастье от этого в дому бывает!». В конце того же года он говорил о русском мужике — о том самом мужике, «сны» которого так грозно брызгали теплою кровью на мечтателя 1863 года: [32] «Да, и ты тоже сфинкс. Только где твой Эдип?» («Сфинкс», декабрь 1878) Но в то же время старался расширить свое знакомство в кругу «нигилистов», вел долгие разговоры с П. А. Кропоткиным о его планах и взглядах на русские общественные дела и всячески помогал людям этого лагеря.

В феврале 1879 года Иван Сергеевич приехал в Москву и тут только он увидел, как сильно влечение к нему в русских интеллигентных кружках. Когда блестящий представитель русской интеллигенции [33] провозгласил на скромном дружеском обеде из двадцати человек тост за него «как за любимого и снисходительного наставника молодежи», Иван Сергеевич «не дослушал этого приветствия и разрыдался». В записке, писанной на другой день к учредителю маленького празднества, он говорил об этом как о чем-то «еще небывалом» в его «литературной жизни» («Русск. вед.», 1883, № 265, фельет.).

Но он застал Россию действительно в несколько небывалом настроении. Выстрел Веры Засулич в Трепова в январе 1878 года разбудил сонное общество Обломовых до слоев, которые казались вовсе неспособными к пробуждению [34]. Когда присяжные в столице империи вынесли 31 марта оправдательный приговор и этот приговор был встречен аплодисментами даже генерал-адъютантов и высших сановников в зале суда и всеобщим ликованием по всем углам России, общество русское само было удивлено

своим либерализмом и удобством высказаться в процессе, где, в сущности, истцом был произвол неограниченной власти, представляемой Треповым, а ответчиком — личная инициатива подданного, протестующего против этого произвола револьвером. Оказалось, что система произвола неограниченной власти была торжественно осуждена петербургскими присяжными, а протест против нее *всеми* средствами был признан правильным представителями общественной совести. Вслед за тем началась открытая война между революционерами и правительством. Вооруженное сопротивление в Одессе (30 января), попытка убить Котляревского) (23 февраля), убийство Гейкинга (25 мая), юридическое убийство Ковальского (2 августа), убийство Мезенцова (4 августа) и кн. Кропоткина (6 февраля 1879 г.) последовали быстро одно за другим в промежуток времени немногим более года[35]. Заволновалось студенчество. Московская полиция с Катковым пустили в ход кулаки приказчиков Охотного ряда (3 апр. 1878 г.) как ответ «настоящего русского народа» на приговор петербургских присяжных 31 марта[36]. Эти господа не могли понять, что, приучая народ выходить на улицу и расправляться собственными силами, правительство делало как раз то, что имели в виду самые крайние революционеры: оно воспитывало в народе революционную практику, и легко было заключить, против *кого* была бы направлена подобная практика, если бы она вошла в привычки массы, и дело пошло бы не о случайной демонстрации, не об уличной потехе, а о каком-либо серьезном экономическом требовании. Правительство переорганизовывало полицию, два раза в течение одного года изменило подсудность преступлений «против порядка управления». Оно почувствовало себя даже настолько в опасности, что решилось (20 августа) призвать на помощь то самое русское общество, которому с незапамятных времен вменялось в главную гражданскую обязанность «молчать на всех языках», по выражению Шевченко. «Правительство, — говорило официальное сообщение, — должно найти себе опору в самом обществе и потому считает ныне необходимым призвать к себе на помощь силы всех сословий русского народа для единодушного содействия ему в усилиях вырвать с корнем зло». В конце года и сам император лично обратился (20 ноября) к представителям всех сословий в Москве с выражением «Надежды на содействие». Трусливый русский либерализм поднял голову. В ответ на призыв правитель-

ства тверское земство указывало в «постоянно повторяющихся политических преступлениях... только внешний признак общих глубоких недугов, кроющихся в нашем общественном организме»; говорило о том, что «вредные лжеучения», влиянию которых впервые подпадает молодежь в учебных заведениях мин. нар. просвещения, «находят себе благоприятную почву в ненормальном строе самих заведений»; указывало на необходимость для России «самоуправления, самостоятельности личности, строго огражденной в ее правах, независимости суда и свободной печати»; наконец, выводило заключение, что «русское общество пришло к убеждению в совершенной невозможности борьбы с внутренним злом в том случае, если... все условия, порождающие зло, не будут устранены». Черниговское земство находило, что «положение русского общества представляет в настоящую минуту все условия для процветания идей, противных государственному строю», и что этому три причины: «организация высших и средних учебных заведений; отсутствие свободы слова и печати; отсутствие среди русского общества чувства законности». Доказав, что все эти причины созданы самим правительством, земство кончало словами, что оно «с невыразимым огорчением констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры к борьбе со злом». Об этом происходили совещания и в некоторых других земствах, и были приняты подобные же решения, хотя в иных случаях председатели не допускали обсуждению идти очень далеко.

Понятно, что при подобном настроении приезд Ивана Сергеевича в Россию сделался удобным поводом к либеральным демонстрациям, но эти демонстрации — значение которых он сам очень хорошо понимал, как мы это видели, — устроились тем скорее и успех их был тем значительнее, что дело шло о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом понятые, *должны* были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству.

В этом случае с его стороны какого-либо заискиванья и «кувырканья» (как выражались катковские «мошенники пера») перед радикальной молодежью действительно не

было. Он мог искренне сказать, что он не «шел» сознательно «к молодому поколению», но «оно пришло к нему»; как оказалось, он бессознательно сблизился с этим поколением, а оно сознало эту близость.

Ряд оваций начался встречею Ивана Сергеевича на публичном заседании Общества любителей российской словесности[37]. «Прием, сделанный ему, превзошел все ожидания. При его появлении в зале... поднялся, буквально, гром рукоплесканий и не смолкал несколько минут» («Русск. вед.», 1883, № 256, фельет.). Его приветствовала вслед за тем речь студента, представителя этого молодого поколения (того самого, который через несколько лет должен был заплатить ссылкой за мечту, что возражения докторанту могут высказываться свободно в русских университетах)[38]. Овации сопровождали после этого Ивана Сергеевича на каждом шагу и продолжались в Петербурге. В речах и в адресах профессора, представители литературы, искусства, адвокатуры, делегаты я группы учащейся молодежи обоих полов высказывались весьма смело о том, о чем в России обыкновенно лишь шепчутся, и вызывали самого героя торжества на смелое слово. Литературу сравнивали для России с «преторским эдиктом», впервые внесшим начало гуманности в суровую римскую среду. Проводили сравнение России конца семидесятых годов с закрепощенною Россиею сороковых годов и говорили: «Состояние общества сходно: и тогда была под ногами закованная почва, только иначе закованная; и ждет общество, что рухнут наши неправды». В адресах писали: «Вас так же, как и нас, возмущают до глубины души печальные и странные явления нашей общественной жизни, вытекающие, как строго логические последствия, из нашего общественного строя», и призывали его «в ряды той интеллигенции нашего общества, которая так или иначе стремится к ниспровержению настоящего порядка». Даже высказывали: «Вы один в настоящее время сумеете объединить все направления и партии, сумеете оформить это движение, придать ему силу и прочность. Подымайте высоко ваше светлое знамя; на ваш могучий и чистый голос откликнется вся Россия: вас поймут и отцы и дети» («Общее дело», № 58, стр. 6)[39]. И несмотря на свой скептицизм относительно всех действующих в России людей и групп, Иван Сергеевич радовался сближению около него старого и молодого поколения, старался указать, что «есть слова, есть мысли, которые им одинаково дороги; есть стремления, есть на-

дежды, которые им общи; есть, наконец, идеал не отдаленный и туманный, а определенный и осуществимый и, может быть, близкий, в который они одинаково верят». Он говорил: «Все указывает, что мы стоим накануне хотя близкого и законно правильного, но значительного перестроя нашей жизни». Он отвечал восторженной молодежи, призывавшей его «объединить все направления и партии» в России: «После всего, что мне пришлось здесь видеть и слышать, я прихожу к заключению, что я должен переселиться в Россию... Я знаю, что это дело, за которое мне приходится взяться, — очень нелегкое дело; лучше было бы взяться за него молодому человеку, а не мне... старику... Но что же делать? Я положительно не вижу и не знаю человека, который обладал бы более серьезным образованием, лучшим положением в обществе и большим политическим тактом, чем я... Вот и приходится мне... Трудно это, конечно, для меня: приходится от многого отказаться... Ну, что же делать! ведь пришлось же не малым пожертвовать, когда начал писать охотничьи рассказы, — значит, и теперь можно» («Общее дело», там же)[40]. Само собою разумеется, что русскому правительству это было не по сердцу. В Петербурге седого путешественника окружили шпионами. Ему запрещено было там являться среди молодежи и принимать ее овации. Ему советовали под рукою уезжать. Император говорил о любимом русском романисте: «C'est ma bête noire» *. Но тронуть писателя, знаменитого во всей Европе, не решились. Он мог только ответить на приветствия молодежи письмом, которое было напечатано в «Петербургском листке»[41] и где было сказано, между прочим:

«Вижу я, что молодое поколение стоит на том пути, который один может вывести нас к свету, освежить нас и дать нам свободно и мирно развиваться».

Он уехал из России в конце русского марта[42], недели за две до покушения Соловьева, писал мне 9 апреля (28 марта):

«Не зайдете ли завтра около 12 часов ко мне покалякать? А есть о чем! Я бы сам к Вам наведался, да подагра опять меня кусает, и, вероятно, я просижу дома несколько дней. Из России я вернулся в субботу (5 апреля — 24 марта)».

Он действительно рассказывал с одушевлением о том,

* Это ненавистный мне человек (*фр.*).

что пережил, хотя беспрестанно возвращался к мысли, что овации ему были лишь поводом для либералов высказаться, а на мои вопросы: можно ли надеяться, что либералы сгруппируются, организуются, решатся кое-чем рискнуть и выступить как политическая партия с определенной программой? — опять-таки перечислял лиц, показывал их несостоятельность. Однако он часто возвращался к общему возбуждению в молодежи, по-видимому полагая, что терроризм ей надоел, что она от него отворачивается и ищет других, более мирных путей. О мысли, высказанной в его речи, которую недавно сообщило «Общее дело», именно о его решимости принять на себя роль объединителя партий и руководителя политического движения в России, он ни слова мне не говорил. Но много раз после того в следующем году высказывал свою решимость вернуться в Россию и там поселиться, разорвав с долголетними привычками обстановки. Верил ли он сколько-нибудь в то, что он может принять на себя подобную роль? Что при заострившейся борьбе вообще возможно, что «отцы и дети» 1879 года «поймут» его и пойдут за ним?.. Ответить решительно на это я не могу, но... сомневаюсь... Допускаю лишь, что, совершенно согласно с общими чертами его характера, он, при самомалейшей надежде на развитие общественной силы в России, где бы то ни было и в каком бы то ни было направлении — тем более в направлении ему симпатичном, — готов был не только сочувствовать, но и содействовать всякому такому движению, хотя не верил ни в прочность его, ни в состоятельность людей, к которым примыкал, и готов был, при первом проявлении этой несостоятельности, погрузиться снова в свой скептицизм. Иван Сергеевич тогда передал мне для прочтения некоторые адресы, поднесенные ему в России молодежью, и я воспользовался ими частью для очерка, который поместил тогда о русском движении в цюрихском «Jahrbuch für Socialwissenschaft», откуда перенес и в эту статью некоторые частности, не встречающиеся в известиях, публикованных в газетах *.

---

* Я возвратил тогда же Ивану Сергеевичу эти адреса, а полной копии с них не снимал, поэтому теперь проверить новых печатных сведений не могу. Помнится, один из этих адресов, именно тот, из которого я выписал одну из приведенных выше фраз, был от студентов Горного института. Следовательно, это должен быть тот самый, который, по памяти, восстановлен в № 56 «Общ. дела». Разницу в таком случае пришлось бы приписать тому, что я делал из оригинала, переданного мне И. С., выписку того, что *для меня*

Покушение 2 апреля сильно разуверило Ивана Сергеевича в том, что пора терроризма в России прошла[43]. Мы в это время едва ли видались, по крайней мере, у меня не осталось личных воспоминаний о впечатлении, на него произведенном этим событием. Знаю, что ходили слухи, будто по его инициативе посылается от парижского общества русских художников адрес императору, и я нашел между своими бумагами неотосланное мое письмо по этому поводу к Ивану Сергеевичу; неотосланное именно потому, что слухи оказались, вероятно, сомнительными или вовсе неверными[44]. Люди, видевшие его часто в это время, сообщали мне о резком переходе, замеченном в его мнениях о Соловьеве. Сначала Иван Сергеевич был сильно вооружен против него, но потом, выслушав рассказ какого-то высокопоставленного приятеля, передавшего ему, как держал себя Соловьев на суде, его оценка, говорят, совершенно изменилась, и он признавал в Соловьеве замечательный героизм. Около июня месяца он самым усердным образом хлопотал о г-же Кулешовой, арестованной в Париже по поводу устройства там секции Интернационала, и которую, как ходили слухи, имелось в виду по окончании следствия выдать русскому правительству[45]. Он обратился прямо к Орлову и доставил мне немедленно телеграмму, полученную от последнего, о том, что русское посольство и не думало хлопотать о выдаче Кулешовой России. Несколько позже он хлопотал о помещении в «Temps» очерка, изображавшего в автобиографической форме картину одиночного заключения в России политических преступников, очерка, писанного эмигрантом, и которому Иван Сергеевич предпосылал сочувственное предисловие[46]. Там говорилось, между прочим («Le Temps» от 12 ноября 1879 г.):

«Автор принадлежит к тем молодым русским, слишком многочисленным в настоящее время, мнения которых правительство моей страны нашло опасным и заслуживающим наказания. Нисколько не поддерживая его мнений, я думал, что наивный и откровенный рассказ о тех страданиях, которые он испытал, не только вызывает сочувствие к его личности, но докажет и то, насколько предварительное одиночное заключение не может быть оправдано с точки зрения здравого законодательства... Вы увидите, что

было важно; участник же адреса, восстановляя его по памяти, восстановляет особенно то, что *для него* было интересно. Но может случиться, что мои выписки относились и к другому адресу. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

эти нигилисты, о которых говорят в последнее время, не так черны и не так зачерствелы, как их представляют».

Само собой разумеется, что Катков не упустил случая воспользоваться словами Ивана Сергеевича, и один из его споспешников, весьма известная и в достаточной степени грязненькая личность, напечатал в «Московских ведомостях» от 9 декабря 1879 года под псевдонимом «Иногороднего обывателя» корреспонденцию, где обвинял Ивана Сергеевича «в низкопоклонничестве и в заискивании и в «кувырканье» пред известною частью нашей молодежи»[47]. Тогда-то Иван Сергеевич в конце декабря 1879 года прислал в редакцию «Вестника Европы» письмо, которое г. Стасюлевич поместил в «Молве» 30 декабря 1879 года, в «Вестнике Европы» за февраль 1880 года и паки в «Новостях» от 14 сентября 1883 года. В этом письме находилось то исповедание политической веры, из которого я привел отрывочно уже некоторые места и которое теперь привожу в связи:

«Не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя факт, я имею право утверждать, что убеждения, высказанные мною и печатно и изустно, не изменились ни на йоту в последние сорок лет; я не скрывал их никогда и ни пред кем. В глазах нашей молодежи — так как о ней идет речь, — в ее глазах, к какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор остался «постепеновцем», либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ *только свыше,* — принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени. Молодежь была права в своей оценке — и я почел бы недостойным и ее, и самого себя представляться ей в другом свете. Те овации, о которых упоминает «Иногородный обыватель», мне были приятны и дороги именно потому, что *не я шел к молодому поколению...* но потому, *что оно шло ко мне;* они были мне дороги, эти овации, как доказательство проявившегося сочувствия к тем убеждениям, которым я всегда был верен и которые громко высказывал в самых речах моих, обращенных к людям, которым угодно было меня чествовать».

Слова «о безобразиях последнего времени», не совсем гармонировавшие с теми отзывами о героизме Соловьева, которые — как мне передавали вполне заслуживающие доверия свидетели — были высказываемы Иваном Сергеевичем после казни Соловьева, не могли не произвести в русской молодежи некоторого охлаждения недавних востор-

гов, хотя никогда нельзя было считать его сочувствующим террору, и его письмо не содержало в целом ровно ничего; что не совпадало бы и с общим характером деятельности Ивана Сергеевича, и с теми побуждениями, которые вызвали овации в молодежи в феврале и марте 1879 года. Это охлаждение выказалось на Пушкинском празднике в июне 1880 года. В фельетоне «Русских ведомостей» от 27 сентября 1883 года автор сообщает, что речь Ивана Сергеевича «была встречена холодно, и эту холодность еще более оттеняли те овации, предметом которых вслед за ним сделался Достоевский». Сообщает и следующий анекдот: «Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому, в числе их были и дамы. Одна из них, сделавшаяся потом эмигранткой, оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: «Не вам, не вам!» [48] Это было очень несправедливо, но вполне объяснимо.

Это было вопиющей несправедливостью именно по отношению к Достоевскому и его речи, с ее трескотней фраз о «всечеловеке», о необходимости принять «вкусы и предрассудки народа», при высказанном лишь в объяснении речи утверждении, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его («Дневник писателя», авг. 1880, стр. 21), что «идеал» русского народа — «Христос» (там же, стр. 23); с лицемерно любовною болтовнею Достоевского о «русской душе», указывающей «исход европейской тоске» во имя «братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону» (Речь в «Дневник писателя», авг. 1880, стр. 19) [49]. Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что в этой речи соответствовало *ее* стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она в туманных словах нервного оратора: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только... стать братом всех людей, всечеловеком...» (там же, стр. 18), а солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций. Она готова была смириться пред народом в том смысле, который употреблял Иван Сергеевич в своем письме от 11 сентября 1874 года («Русск. стар.», окт. 1883, стр. 225) [50], смириться для «мелкой и темной работы», смириться пред народом, жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своею жизнью, но пред народом, в пробуждающемся сознании которого

она читала ненависть к его вековым притеснителям, пред народом, который, в стремлении к правде умственной и нравственной, «принял бы в свою суть» уже не Христа, смиренно переносящего заушения, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею. Эта молодежь при словах Достоевского о русском «несчастном скитальце в родной земле... в оторванном от народа обществе нашем» [51] видела вовсе не образы Алеко и Онегина, но образы более дорогие и близкие. Она сама, эта страстная и самоотверженная молодежь, только что горько испытала, насколько она оторвана от народа; за эту оторванность она заплатила шестью годами бесплодной пропаганды, тысячами жертв братьев, томившихся на каторге, умиравших в одиночном заключении и на виселице. Она только что начала новый, более ожесточенный бой с врагами этого народа, со своими врагами, и все более проникалась сознанием, что ей приходится выполнить *делом* «Аннибалову клятву», которую в молодости давал Тургенев; задачу, за которую сидел в «Мертвом Доме» прежний сторонник Петрашевского, говоривший теперь о христианском смирении и подразумевавший под словами: «Государство, которое приняло и вновь вознесло Христа» («Дневник писателя» от 1880, стр. 38), ту самую царскую Русь Иванов Грозных и споров о двуперстном кресте, ту самую императорскую Россию Шаховских, Магницких, Дуббельтов, Мезенцевых, против которой поднималась русская молодежь. *Свою* боль скитальчества по русской земле, *свое* жаркое желание слиться с народом, *свою* страстную готовность жить и умереть за братьев она вносила в слова оратора, и ее овации, которые он гордо принимал за «событие», относились к *ее собственной* трагической истории, которую она подкладывала под его туманные фразы.

В это самое время седой поклонник искусства, как нарочно, не касался ни одного больного жгучего места взволнованной Руси. Он говорил о том минувшем времени борьбы сороковых годов, когда стало «не до поэзии, не до искусства» («Вестн. Евр.», июль 1880, прилож., стр. X), когда «миросозерцание Пушкина показалось узким» [52]. Но что значила для слушателей та старинная борьба, когда теперь кипела новая, когда стоны слышались с Кары [53], из централок и из казематов крепостей, когда жертвы падали одна за другой с обеих сторон и взрывы заставляли колебаться и окрестности Москвы, и Зимний дворец! Он

кончал приглашением слушателей признать «учителем» (стр. XIII) великого поэта, для которого поэзия была примирением со всеми бедствиями жизни, когда в ушах молодежи звучали слова других, безымянных, затерянных в ее массе учителей, требующих «крови за кровь», призывающих народ к восстанию. Он, верный своим прежним задачам, говорил (стр. XV):

«В эпохи народной жизни, носящие название переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей Родины, — идти вперед, несмотря на трудность и часто на грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом».

Под этими словами мог подписаться любой русский революционер, и они несравненно ближе подходили к задаче русской революционной партии, чем *действительный* смысл широковещательных слов Достоевского о «всечеловеке», но они потерялись для слушателей в общем сдержанном тоне речи, не гармонировавшей с раздраженными нервами русского общества. Они еще более потеряли для слушателей значения, когда седой оратор только что перед тем отожествил «народного» поэта с «национальным» (стр. VI), тогда как самая суть социального вопроса последнего периода заключалась в противуположении понятия о «народе» понятию о «нации»; понятия о народе, как экономическом классе, обреченном самою историей на классовое противуположение, на классовую борьбу с экономически господствующими группами, — понятию о «нации», как такому, которое соединяло, с точки зрения этнографической, культурной или политической, в одно целое все экономические классы и потому замазывало самый существенный вопрос истории, вопрос борьбы классов. Для Ивана Сергеевича этот вопрос в его грозном значении никогда не был ясен, хотя художнику не раз приходилось невольно подходить к нему довольно близко. Но именно тот политический либерализм, верностью которому в продолжение всей своей жизни Иван Сергеевич так гордился, мешал ему ясно видеть за единством «нации» противуположение «народа» экономически господствующим над ним классам *. Но для русской молодежи противуположение

* О «малом знакомстве» Ивана Сергеевича с современной постановкой социально-экономического вопроса в Европе см. «Русск. мысль», ноябрь 1883, стр. 323. Но здесь, говоря о народе, позволю себе попутно заметку, вызванную недавно сообщенным мне све-

«народа» и «нации» было не только вопросом теории, а вопросом жизни, вопросом, определяющим решимость на борьбу и на самоотвержение.

Все это вызвало печальное недоразумение, вследствие которого нервный проповедник примиряющего христианства, поклонник русского государства с его жандармским строем, мистический ренегат убеждений своей молодости стал на минуту предметом оваций молодежи, увлеченной *своим* призраком, а тот, который недавно был предметом восторгов, который только что публично оттолкнул грязную руку Каткова, должен был почувствовать, что не ему можно в 1880 году явиться объединяющим центром отцов и детей взволнованной России [54]. К сожалению, мы имеем очень мало «стихотворений в прозе», относящихся ко времени после июня 1880 года, и ни одного, которое давало

дением. Иван Сергеевич, один из лучших и наиболее развитых представителей русских экономически господствующих классов, искрение любил русский народ, и его теплые симпатии к последнему слишком ясны для внимательного читателя его произведений, чтобы стоило на этом останавливаться; но он иногда, в разговорах, высказывался о нем так же резко, как нежно любящий человек высказывается иногда с крайним раздражением о любимой женщине, недостатки которой его тем более раздражают, чем нежнее он ее любит, и всем очень хорошо известно, что подобные взрывы негодования не только не показывают ненависти или презрения, но скорее суть именно свидетельство о неискоренимости привязанности. Мне рассказывали достоверные люди со слов Ивана Сергеевича, что Достоевский передал в «Русскую старину» для непечатания в 1890 году о бывшем будто у него разговоре с Тургеневым, где последний отзывался самым оскорбительным образом о русском народе. Иван Сергеевич отрицал, что он имел когда-либо подобный разговор с Достоевским. Читатели 1890 года, может быть, будут иметь (если все это верно) в самом произведении какие-либо доказательства «за» или «против» «воспоминаний» Достоевского. По-видимому, отзывы Достоевского об Иване Сергеевиче, напечатанные в первой книжке «Вестника Европы» за нынешний год (которой мне еще не удалось видеть), не позволяют ожидать сколько-нибудь беспристрастной передачи первым фактов, относящихся ко второму. Но если бы и случилось когда-нибудь Ивану Сергеевичу говорить подобным образом при Достоевском — а, по некоторым рассказам, это ему случалось при других — и потом забыть об этом, мне кажется, что всякий беспристрастный читатель должен бы, согласно только что сказанному, приравнять это брани влюбленного. Не лишены значения, если они переданы верно, слова Ивана Сергеевича, упомянутые в «Русск. мысли» (ноябрь 1883, стр. 326): «Нам нужно не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыши которых кроются в ней самой». (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

бы истолкование того, как смотрел на отношение русского общества к нему Иван Сергеевич. Может быть, это найдется в рукописях. Из трех произведений этого времени, мне известных, мне придется еще упомянуть о двух.

К эпохе, следовавшей за возвращением Ивана Сергеевича из Буживаля в Париж в 1882 году, относятся два факта из моих воспоминаний *, точной даты которых я не помню и важности которым я особенной не придаю, но которые мне были потому неприятны, что в этом случае мои вполне невинные сношения с Иваном Сергеевичем как бы послужили поводом неприятностей для него.

В русское посольство явился доносчик, который сообщил о подслушанном им будто бы в одной парижской кофейне разговоре между двумя русскими о планах цареубийства. Доносчик сообщил, что слышал, как называли по имени и отчеству одного из разговаривавших, и что захватил обрывок письма, которым один из них зажигал сигару. На обрывке стояли по-русски слова «Буживаль» и дата. Эти слова были написаны рукой Ивана Сергеевича. Он признал свой почерк. Он уверял меня, что в это время мог по-русски писать только двум лицам: мне и еще другому, но, по некоторым соображениям, думал, что скорее мне. Как мы ни ломали с ним головы, каким образом этот обрывок письма — вероятно, самого невинного — мог попасть в руки какого-нибудь шпиона, но мы не догадались. Рассказ же о «цареубийцах» носил на себе следы явной и неловкой фантазии. По описанию фигур разговаривавших, мне переданному, я не мог применить этого описания ни к кому из лиц, мне знакомых, хотя имя и отчество одного из говоривших могло бы служить руководителем, если бы рассказ был верен. Так как имя это носил один общий наш с Иваном Сергеевичем приятель (совершенно чуждый всяких «революций»), то надо думать, что в письме — вероятно не имевшем никакого серьезного содержания и потому брошенном мною — Иван Сергеевич случайно упомянул о нем, а доносчик, доставший както этот листок, воспользовался действительным именем для округления своего рассказа. Князь Орлов имел, как мне передавал Иван Сергеевич, разговор с ним по этому поводу, писал в Петербург и окончательно объявил ему, что ему верят и дело предают забвению [55].

* По крайней морс, наверно, второй. Первый мог иметь место и ранее его последней поездки в Россию. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

Другой случай имел более широкую огласку и перешел в газеты. Общество русских художников в Париже вздумало дать литературно-музыкальный вечер. Быв раз у Ивана Сергеевича, я спросил как-то: «А что, как он думает, можно мне быть на этом вечере?» Он ответил мне, что, конечно, можно и что он даст мне два билета для меня и для кого-либо из моих приятелей. Я тогда серьезно спросил его, не может ли быть какого-либо скандала? Ведь если запоют «Боже царя храни», так мне придется выйти среди пения, а это может доставить ему неприятности. (О других неприятностях, меньших, но возможных, вследствие самого моего присутствия, мы едва ли упомянули.) Он с улыбкою сказал, что «Боже царя храни» петь не будут. Концерт состоялся. Иван Сергеевич лежал больной в подагре и прислал мне билеты с любезною запискою (впрочем, не сохранившейся). При входе я спросил, смеясь, секретаря общества, не выгонят ли меня? Но все были чрезвычайно любезны. Мои знакомые художники и лица, довольно известные, очень смело подходили ко мне. Со мною знакомились при случае даже лица, мне до чех пор неизвестные. Программа вечера была прекрасно составлена; я усердно аплодировал всем исполнителям и ушел вполне уверенный, что все прошло благополучно. Но оно оказалось не так. По чьему-то доносу — не то священника русской церкви, не то военного агента г. Фредерикса — началось разыскание, кто доставил мне билет. Общество составило даже проект протеста против Ивана Сергеевича (который, для вящей иронии, по безграмотности составителей, дали конфиденциально ему же поправить, как он мне сам говорил). Он имел в виду выйти из общества после того. Но дело перешло в высшую инстанцию. Князь Орлов поехал к Ивану Сергеевичу опросить его, снесся с Петербургом и, окончательно оставив в стороне протест, изменил существенно устав общества, устранив впредь возможность появления на его вечерах столь неприятных личностей и, кроме того, попутно, стеснив право членов вводить женщин (почему? — осталось для меня неясным, так как ни одной из известных революционерок в Париже не было, а все русские Латинского квартала, там бывшие — большею частью легальные студентки, — и были одеты и держали себя вполне прилично) [56].

Грянул удар 1 марта 1881 года [57]. Долго после того я не видался с Иваном Сергеевичем. Но еще весною, до обыкновенного переезда своего в Буживаль, он мне на-

значил тайные свидания в одном ресторане Avenue Clichy, так чтобы ни у него дома, ни на улице нас не видали вместе. Не могу сказать поэтому, по личным воспоминаниям, какое впечатление произвело на него событие непосредственно. Относительно статьи в «Revue politique et littéraire» (которой у меня нет теперь под руками) он не отказывался, что она была внушена им, хотя не признавал ее при мне своим произведением[58]. Из нее видно было, что он ожидал от нового царствования лучшего. Когда мы стали видаться, реакция была уже в полном разгаре, и он с раздражением сообщал мне о подвигах нового царствования, о падении духа его приятелей и т. и. Летом я его вовсе не видал, так как в Буживаль не ездил. Но я имею основание думать, что суд, приговор и казнь 3 апреля произвели на него сильное впечатление[59] и что под этим впечатлением написано им стихотворение в прозе «Порог», которое не вошло и не могло войти в состав того, что было напечатано в следующем году в «Вестнике Европы», но было мне прочитано им летом 1882 года вместе с тремя другими, там напечатанными[60]. Новым Еленам, рисовавшимся в воображении художника, приходилось отвечать теперь: «Знаю, я готова!» — на более грозные вопросы, чем те, которые им ставили дорогие им личности в 1859 году, и если из конур катковцев раздавалось около них озлобленное «дура!», то они слышали над собой и голос истории, в которую они смело вступали и которая говорила потомству: «Святая!» В бумагах Ивана Сергеевича должен оказаться листок, бывший в 1882 году в ящике его письменного стола, листок, на котором карандашом нарисованы изящные портреты Перовской, Желябова и Кибальчича. О сходстве я судить не могу.

Я отношу «Порог» к первой половине 1881 года, так как это произведение, очевидно, было навеяно образом Перовской (как и заметил критик в «Iustice» 8 янв. 1884), но к концу года Иван Сергеевич относился крайне скептически к русским революционерам, которых он считал — как и многие — окончательно разбитыми и неспособными к дальнейшей энергической борьбе. Это особенно проявилось в его «Отчаянном» («Вестн. Евр.», янв. 1882), писанном в ноябре 1881 года. Здесь, как аналогия современным революционерам, выставляется человек прежнего времени с «беспредметною отчаянностью» («В. Евр.», 37), сходный с новыми своими потомками будто бы тем, что «и там и тут — жажда самоистребления, тоска, неудовлет-

воренность» («В. Евр.», 56). В частных разговорах Иван Сергеевич еще резче настаивал, как мне рассказывали, на этой параллели, но отрицал в новых революционерах ту физическую энергию, которая для них, как он полагал, была необходима и тип которой он хотел нарисовать в своем Мише с «зубами его, крупными, белыми и по-звериному заостренными» («В. Евр.», 39). Он так горячо стоял за подобный взгляд, что даже поссорился с одним своим молодым приятелем, резко отстаивавшим отсутствие всякого рационального сходства между типом жалкого Миши и новыми революционерами *. Это был явно продукт периода, когда Иван Сергеевич видел только недостатки в представителях нового движения и раздражался ими как новым разочарованием. Вероятно, к той же эпохе относится и разговор, сообщенный в фельетоне «Русск. Вед.» от 27 сент. 1883 г., в котором Иван Сергеевич раздражался «слабостью и отсутствием всякой почвы» под разными «новыми течениями» русского общества, отказывался воплотить их в романе, придать «бесформенности форму» или предлагал назвать этот новый роман «Трясиною». Так как в промежуток до лета 1882 года, когда он мне читал «Порог», не случилось ничего, что могло бы оживить веру Ивана Сергеевича в силу борющейся партии, то я не считаю возможным, чтобы «Порог» был написан после «Отчаянного».

Впрочем, в январе 1882 года, когда я был у него с одним приятелем, он так мрачно смотрел на события в России, что говорил между прочим: «Прежде я верил в реформы сверху, но теперь в этом решительно разочаровался; я сам с радостью присоединился бы к движению молодежи, если бы не был так стар и верил в возможность движения снизу» **. Между тем в России были группы, сильно верившие в то, что Тургенев стоит за партию движения. Как одно из проявлений этого приведу довольно забавное истолкование, которое давали иные его совершенно объективному рассказу «Песнь торжествующей любви», появившемуся в ноябрьской книжке «Вестника Европы» [62], когда Иван Сергеевич писал уже «Отчаянного». Валерия — это Россия, которой легально обладает Фабий —

---

* См. об этом «Русскую мысль», ноябрь 1883, стр. 329, хотя, по некоторым частным сведениям, разговор там передан не совсем точно. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*) [61]

** Свидетель и участник разговора выразил мне готовность засвидетельствовать в случае нужды его действительность. (*Примеч. П. Л. Лаврова.*)

правительство, но силою чар немого — именно русского народа — и силою чар собственной любви, готовой даже на преступление, и «торжествующей» над всеми препятствиями, Муций — символическое воплощение русских революционеров — привлекает к себе неудержимо Россию, делается ее обладателем назло ей самой, и лишь он способен оплодотворить ее для лучшего будущего, причем она, даже после гибели своего оплодотворителя, соединяется с ним духовно и поет «песнь торжествующей любви» — песнь революции. Мы с Иваном Сергеевичем не мало смеялись, когда я ему передавал это истолкование, более фантастическое, чем сам этот фантастический рассказ.

Вслед за тем я был выслан из Франции [63]. В три дня, предоставленные мне для устройства дел, я съездил проститься к Ивану Сергеевичу, которого не застал, но получил от него вслед за тем (от субботы 11 февраля) самое сочувственное письмо, где он мне пишет, что говорил обо мне с префектом полиции Камескассом, что тот готов мне дать отсрочку, если я только попрошу ее, и предлагал свои услуги, «если только он может быть мне полезным» [64]. Я не имел в виду просить об отсрочке и уехал. Но в тот самый день, когда Иван Сергеевич писал мне предшествующую записку, в «Gaulois», редактируемом тогда слишком известным Ционом, появилась статья, где, должно быть (я не имею ее под руками и цитирую по «Temps»), упоминалось о введении меня Иваном Сергеевичем в парижское общество русских художников и говорилось, что я мог так долго оставаться на почве Франции лишь потому, в особенности, что «пользовался покровительством Тургенева», который «при помощи своих связей спасал» меня «несколько раз». На другой день появилось в «Gaulois» и вечером в «Temps» (от 13 февр. 1882) письмо Ивана Сергеевича [65], где было сказано:

«Я знал г. Лаврова в Петербурге как литератора, когда он... преподавал военное искусство и печатал работы по философии. Как литератора я ввел его однажды на музыкальный вечер кружка русских художников в Париже.

Что касается *спасения* г. Лаврова, я никогда не имел для этого ни возможности, ни случая, а наши политические взгляды расходятся настолько, что он в одном из своих напечатанных произведений формально упрекал меня в том, что я, как *либерал* и *оппортюнист,* всегда противодействовал тому, что он называл развитием революционной мысли в России» [66].

Мне совершенно неизвестно, на какое мое напечатанное произведение намекал при этом Иван Сергеевич, так как единственный раз, когда я серьезно напал на него, я не мог обвинять его в «оппортюнизме», термине, еще не родившемся в 1869 году, и полагаю, что память его обманула (как и в приписывании мне преподавания «военного искусства», которого я *никогда* не преподавал) [67], тем более что русских либералов «оппортюнистами» я не мог никак называть, когда именно они страдали тем, что упускали из рук всякое «оппортюнное» обстоятельство для действия... Едва ли также я когда-либо писал, что он «противудействовал» развитию революционной мысли в России, так как «противудействовать» ей едва ли он когда-нибудь мог, оставаясь в стороне от нее, косвенно же и бессознательно содействуя ей. Во всяком случае, если я где-нибудь высказал что-либо, подходящее к этому, это могла быть лишь заметка, которую Иван Сергеевич растолковал себе не совсем точно. Он был совершенно прав в том, что он «не имел случая спасать» меня. Но все это, в сущности, совсем не важно, так как разница наших взглядов, упомянутая Иваном Сергеевичем, была совершенно верна, и я действительно видел в нем всегда только либерала, хотя либерала, настолько имеющего более чутья, чем его товарищи, что он готов был сочувствовать и даже содействовать *всякой* нарождающейся силе, оппозиционной по отношению абсолютизма, как только он мог на минуту предполагать, что она может проявиться как сила.

По возвращении моем в Париж через три месяца я застал Ивана Сергеевича уже сильно больным, и мы ни разу даже не упоминали в разговорах о его письме. Тогда его занимал план романа, в котором он хотел противоположить тип русского социалиста-революционера типу французского его единомышленника. Эта мысль противоположения русской и западноевропейской передовой натуры составляла часто предмет его разговоров и со мною, и с другими лицами (как свидетельствуют воспоминания, напечатанные в «Русской мысли» за ноябрь 1883 г., стр. 319 и след., в «Русском курьере» за 14 декабря 1883 г., в «Нов. времени» 7 сент. 1883 г. из лондонского «Атенеума» и в других изданиях). По некоторым свидетельствам («Русский курьер» 14 дек. и «Русск. мысль» за ноябрь 1883 г.), рукопись, заключающая первый набросок этого задуманного романа, была уже довольно значительного объема в 1882 году, по другим («Русские ведом.» от 27 сент. 1883 г.,

фельетон) — ее вовсе не существовало, и план романа был только в голове Ивана Сергеевича. Позднейшее обнародование оставшихся после него рукописей покажет, кто прав [68]. Но если и найдется набросок этого романа, можно заранее предсказать, что и здесь мы встретим превосходно созданные, живые типы, найдем великолепный угол картины русского общества конца семидесятых и начала восьмидесятых годов, но полной картины, полного «воплощения в надлежащие типы образа и давления времени» не найдется и здесь.

В продолжение последней тяжкой болезни Ивана Сергеевича 1882—1883 годов я несколько раз посетил его в Буживале и в Париже. Именно тогда, на балконе в Буживале, поздним летом 1882 года он мне прочел из своих «Стихотворений в прозе» «Разговор», «Чернорабочий и белоручка», «Порог» в что-то еще. Он чувствовал себя временно лучше, говорил о поездке в Россию и был более оживлен, чем в другие разы. Тогда он мне показал и портреты, о которых я говорил выше. Тем не менее скептицизм относительно всех русских деятелей ясно высказывался в его словах, высказался и в последнем напечатанном его стихотворении в прозе («Русский язык», июнь 1882 г.):

«Во дни сомнения, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! — Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..»

Эти «Стихотворения в прозе», указывавшие несколько полнее субъективную жизнь Ивана Сергеевича, появились в декабре 1882 года.

В 1883 году сначала многочисленные занятия не позволили мне часто бывать у Ивана Сергеевича, потом до меня стали доходить известия, что к нему не допускают посетителей, боясь волновать его разговорами. Летом 1883 года я видел его не более трех раз. В последний раз я нашел его очень слабым, упадок сил и приближение фатальной развязки были совершенно очевидны; разговор явно утомлял его. Я остался у него в Буживале всего четверть часа. Последнюю записку, писанную карандашом в минуту, когда он чувствовал себя несколько лучше, я получил от него от 13 июня 1883 года: она заключала приглашение побывать у него, обращенное к одному нашему приятелю, которого Иван Сергеевич очень любил, но адреса которого не знал [69]. Когда тот поехал в Буживаль, Ивану Сергеевичу уже трудно было говорить с ним.

Великий художник русского слова умер 23 августа (4 сент.) [70]. Каков был ответ стихийных, бессмысленных сил на вопрос, который он сам поставил ровно за три года до своей смерти: «Что я буду думать тогда, когда мне придется *умирать*, — если я только буду в состоянии тогда думать?» Что именно тогда «в глубине его потухающих глаз билось и трепетало — как перешибленное крыло насмерть раненной птицы?» («Что я буду думать?», авг. 1879 г.). Это останется тайной бессмысленных стихийных сил, а в последние минуты около него не было никого, способного хотя приблизительно истолковать последнюю мысль умирающего. Лицо, которому я имею основание верить, передавало мне сведение, будто в предсмертном бреду Иван Сергеевич признавал «террористов великими людьми», но тот, кто мне говорил это, указывая на свои источники, называл лиц, к свидетельству которых я не могу уже иметь такого доверия, и потому я не придаю этому сведению никакого особенно серьезного значения [71].

Нам важен не бред умирающего. Нам важна жизнь одного из самых крупных художников слова XIX столетия. Если около его гроба встретились, как говорит Рольстон («Новое время», 7 сент. 1883 г., из английского «Атенеума»), представители русского правительства и русской революции, для этого было достаточно основания, даже помимо того общего уважения, которым справедливо пользовался Иван Сергеевич и как человек, и как писатель. Князь Орлов достаточно европейский человек, чтобы понимать, что пред лицом Европы ему невозможно было не отдать чести единственному, может быть, современному русскому писателю, которого признает великим писателем западная цивилизация, хотя бы члены царской семьи, управляющей Россией, и способны были высказывать сожаление о том, что Тургенев «писал по-русски». Русским революционерам следовало высказать свое уважение к человеку, который, в проповеди гуманных идей и либеральных начал, принадлежал к великой плеяде литературных борцов сороковых годов против царства пошлости; к плеяде подготовителей более определенных программ борьбы последующей четверти века за лучшую будущность России; человеку, который умел лучше, чем большинство его сверстников, сочувствовать, а частью и содействовать новым силам, выступившим на почву этой борьбы, хотя не был в состоянии настолько отказаться от старых преданий либерализма, чтобы вполне понять значение новых собы-

тий и тем не менее стать в ряды новых «отчаянных» борцов. Бессознательный подготовитель и участник в развитии русского революционного движения, он тем не менее подготовлял его и участвовал в нем. В типе болгарина Инсарова он поставил задачу для «русских Инсаровых». Он признал нравственное величие «русской нови». Он отметил ярко «канун» великой борьбы и более смутно разглядел рассвет «настоящего дня» этой борьбы, хотя другой «настоящий день», день торжества свободы русского народа, остался для него, как остается для нас, «открытым вопросом» (речь в Московском юридическом обществе в «Русск. ведом.», 27 сент. 1883) [72]. Имеем ли мы право требовать большего от человека, сверстники и единомышленники которого, за крайне немногими исключениями, оказались или ренегатами, или трусами? Наши товарищи в Петербурге высказали уже мнение передовых русских революционеров об Иване Сергеевиче («И. С. Тургенев», в летучей типографии «Нар. воли», 25 сентября 1883).

Всем известные обстоятельства делают для меня, по моему мнению, неприличным говорить о той сцене, которая разыгралась в русской прессе после его смерти [73]. Но Иван Сергеевич оказал услугу русским либералам и мертвый. Русское правительство выказало еще раз свою неспособность ни явно препятствовать чествованию неприятной для него личности, ни взять на себя преобладающую роль в торжестве европейски знаменитого русского художника, ни даже скрыть свою бессильную и нерешительную оппозицию церемонии, в которой участвовали все оппозиционные силы России, группируя около себя — следовательно, против него, правительства, — множество сил, в сущности, вовсе не оппозиционных. У русских либералов хватило духу, опираясь на поддержку общественного мнения, придать этому торжеству, явно оппозиционному, размеры, до тех пор неслыханные на Руси для похорон частного лица, и, следовательно, нанести еще удар призраку непоколебимости русского абсолютизма. Мертвый Тургенев, окруженный пением православных попов, которых он ненавидел, и многочисленными делегациями групп, в политическую состоятельность которых он не верил, продолжал бессознательно дело своей жизни, выполнение «аннибаловой клятвы». Как его чисто художественные типы, так и его покрытый бесчисленными венками гроб были ступенями, по которым неудержимо и неотразимо шла к своей цели русская революция.

Г. А. ЛОПАТИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ТУРГЕНЕВЕ

Я передала Герману Александровичу нашу просьбу: не может ли он написать свои воспоминания для нашего тургеневского сборника.

— Нет. Ни в каком случае. Я не испытываю ни малейшего «литературного зуда» — одно из любимых выражений Ивана Сергеевича. Мне уже не раз делали подобные предложения, но, повторяю, у меня нет «литературного зуда»... Впрочем... если вы уже пришли, я расскажу вам, что помню.

Начну словами самого Тургенева. Они свежи в моей памяти, так как еще недавно мне пришлось привести их по поводу одного современного романа — «То, чего не было» Ропшина [1]. Слова эти были сказаны Тургеневым в одну из наших бесед с ним по поводу произведений Достоевского. Объясняя свое отрицательное отношение к роману «Бесы», Тургенев говорил:

«Выводить в романе всем известных лиц, окутывая и, может быть, искажая их вымыслами своей собственной фантазии, это значит выдавать свое субъективное творчество за историю, лишая в то же время выведенных лиц возможности защищаться от нападок. Благодаря главным образом последнему обстоятельству, я и считаю такие попытки недопустимыми для художника <...>» [2]

Ходил я к Тургеневу по утрам, принимал он меня у себя наверху в своих маленьких комнатках на улице Дуэ. Приходя к нему, я не раз заставал у пего madame Виардо, с которой Тургенев читал по утрам по-русски [3]. Меня всегда поражали ее черные испанские глаза — вот такие два колеса (Герман Александрович изобразил их широким жестом). Да и вся-то она была «сажа да кости», как говорил Глеб Успенский про одну грузинскую девушку.

Надо сознаться, смотрела на эмигрантскую публику madame Виардо косо. Может быть, боясь, что они обирают Тургенева, а может быть, из боязни, что они могут набросить тень неблагонадежности на Ивана Сергеевича[4]. С обычным появлением таких гостей у Ивана Сергеевича она сейчас же спускалась к себе вниз. Там внизу у нее был свой салон, куда допускались русские баре, артисты, художники и в особенности музыканты. Я там не бывал, отчасти благодаря плохому знанию разговорного французского языка...

Так вот, прихожу я однажды утром к Ивану Сергеевичу и застаю у него Салтыкова-Щедрина. Михаил Евграфович сердито хрипел:

— Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?

— Они дали форму, — отвечал Тургенев.

— Форму, форму... а дальше что? — допытывался Щедрин. — Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окруя;ающую? Нет, нет и нет... [5]

Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, — возразил Щедрин, — вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше больное место. Ведь он нас думать заставляет.

Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь...

Встает в моей памяти одна сцепка по поводу «Бесов», а именно — по поводу карикатуры на Тургенева, помните... Кармазинов? «Merci» Достоевского — злая пародия на Тургеневское «Довольно».

В разговоре со мной о «Бесах» Иван Сергеевич заметил:

— Там и мне досталось.

А я, представьте, совершенно забыл о Кармазинове. Во время чтения я почему-то не обратил на него внимания.

— Где же, Иван Сергеевич? Я что-то не помню. Это Верховенский-отец, что ли?

— Ай, нет! — поморщился Иван Сергеевич. — Чудной

вы человек... Ну, как его? Ну, да этот... — и что-то брезгливое пробежало по губам Тургенева, — Кармазинов[6].

Вдруг я вспомнил. И, сознавая, что это неприлично, неудобно, нехорошо, я, как ни крепился, как ни старался, не мог удержаться от душившего меня громкого, неудержимого смеха... Закрыв лицо руками вот так, я буквально катался по креслу от смеха... Так нелепа была фигура Кармазинова рядом с красивой фигурой стоявшего передо мною Тургенева...

А какая умница был Тургенев! Вы почитайте его переписку с Герценом[7]. Какой проницательный ум! Какое всестороннее, широкое образование! Как знал он литературу не одного своего, но и других народов! Ведь он владел многими языками.

Теперь мне вспоминается все отрывками, отдельными сценами... Знаете, человек всегда забывает одну истину — все люди смертны. Кай — человек, следовательно, Кай смертен. Мы, живые, никогда не помним этого.

А о чем, о чем бы ни поговорил я с теми, с которыми уже не поговоришь... Да... Был я близок тоже, и даже ближе, с Марксом. Я испытывал на себе чисто отеческую любовь его ко мне. Часто видались мы с ним, горячились, спорили, случалось, говорили подолгу о пустяках... а многое, многое, очень важное, осталось невыясненным. Обо многом надо было узнать, попросить совета...[8]

И по отношению к Тургеневу у меня осталось тяжелое чувство невыполненного обещания. В свое время я не сделал того, что собирался, а потом уже не пришлось. Я расскажу вам это.

Попав последний раз за границу, я в Париже получил письмо от Тургенева с. просьбой приехать к нему в Буживаль. А Буживаль ведь не близко от Парижа — пять франков. Я привык в это время считать расстояние на франки. Я поехал. Встретила меня там madame Виардо далеко не любезно и не хотела пустить к Тургеневу, ссылаясь на его тяжелое состояние. Как пропуск я показал ей письмо Ивана Сергеевича и прошел.

Время было неудачное. Тургенев корчился от боли. У него были ужасные боли где-то около позвоночника. Ему только что впрыснули морфий, и он должен был заснуть.

Увидев меня, Тургенев обрадовался.

— Я не могу говорить сейчас, — сказал он, — но мне необходимо увидеть вас еще раз и переговорить с вами.

Я хотел что-то сказать, по Иван Сергеевич остановил меня.

— Молчите, молчите, — сказал он, — дайте мне договорить, а то я сейчас засну. Вы приедете еще раз ко мне непременно.

Я ушел и все собирался съездить. Но... пять франков! Вы понимаете?.. и вдруг я узнаю, что он умер... а несказанное так и осталось несказанным.

Я долго потом ломал голову: о чем хотел переговорить со мной Тургенев, что он хотел сообщить мне, да так ничего и не придумал...

— Вы спрашиваете, были ли у меня письма Тургенева? Да, были. Но весь свой архив перед отъездом в Россию я оставил за границей, а потом он был уничтожен.

— В «Былом» мне попалась переписка Тургенева с, Лавровым по поводу вашего ареста и побега[9]. Это было, кажется, в...

— Эх, ну, стоит ли разбираться, когда это было, и устанавливать даты. Сидел я чуть ли не двадцать семь раз в восемнадцати разных тюрьмах — всего сразу и не вспомнишь.

Во время своих поездок за границу я каждый раз бывал у Тургенева. Познакомился я с ним по поводу дел журнала «Вперед!». Вам известно, что Тургенев субсидировал этот журнал. Сначала он давал тысячу франков в год[10], а потом пятьсот. Так вот по поводу этих денег у меня и было поручение к Тургеневу от Лаврова.

Тургенев далеко не разделял, конечно, программу «Вперед!». Но он говорил:

— Это бьет по правительству, и я готов помочь всем, чем могу.

Тогдашний строй России давил Тургенева, и свобода нужна была ему не только как теоретический принцип, как программное пожелание. Он нутром страдал от отсутствия этой свободы у себя на родине и всем нутром жаждал наступления ее в России.

Он был в лучшем смысле этого слова либерал. Ну, радикал. Он приветствовал каждую попытку выступления против старого строя.

Тургенев допускал, что социализм, может быть, и будет венцом социального развития человечества[11]. Но социализм рисовался ему в такой дали, что еле верилось в него. Ему казалось, что ни технические, ни экономические, ни моральные предпосылки не созрели еще для проведения

его в жизнь... А кроме того, его смущали сомнения, сможет ли социализм удовлетворить индивидуальным запросам и индивидуальным вкусам будущего общества.

— Ведь не будем же мы в самом деле, — говорил Тургенев, — ходить, по Сен-Симону, все в одинаковых желтеньких курточках с пуговкой назади?

Сомневался Иван Сергеевич и в людской способности пока жить сообща, общинно: наша психика не подготовлена к этому. И все попытки жить коммунистически, даже людей хороших и интеллигентных, всегда кончались неудачей...

В нас Тургенев ценил людей, ради идеи ставящих на карту жизнь свою.

Было что-то неподдельно отеческое в отношении Тургенева вообще к молодежи. И, пожалуй, он больше любил «буйных» сынов своих. Ибо, по его понятиям, как было молодому человеку и не побуйствовать! «Буйные» были ближе и приятнее душе его.

— Но в то же время у Тургенева, — сказала я, — было ясное сознание трагической тщеты усилий русских социалистов того времени.

— Да, конечно, он знал, что мы потерпим крах, и все же сочувствовал нам.

Вообще говоря, мы должны были погибнуть, но иногда случается ведь и невозможное <...>

Тургенев любил молодежь и искренне интересовался ею. Когда я бывал в Париже, всегда заходил к нему. Он интересовался моими рассказами о России, в особенности после моих странствий.

Бывал я у него и в Петербурге. В год так называемого «примирения» Тургенева с молодежью я был в Петербурге и о московских чествованиях только слыхал. Потом я узнал, что Иван Сергеевич приехал в Петербург.

«Почему бы и не навестить мне его?» — подумал я и отправился в Европейскую гостиницу.

Прежде чем войти, я отправил ему свою визитную карточку, чтобы он узнал мою тогдашнюю фамилию. Кажется, Афанасием Григорьевичем Севастьяновым я был тогда.

Вхожу. Увидал меня Тургенев и воскликнул: «Безумный вы человек! Можно ли так рисковать собой?..» Потом он рассказал мне о своем пребывании в Москве, о речах, о молодежи и чествовании.

— Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство.

Тургенев красноречивым жестом показал, как это делается.

— Ну, и пусть в пусть, я очень рад, — закончил Иван Сергеевич [12].

Умный и скромный был человек Тургенев.

Заходил я к нему и еще раз или два. Однажды прихожу я к Ивану Сергеевичу, а он встречает меня словами:

— Как я рад, что вы пришли! Вы нужны мне были.

И, взяв меня за плечи, заговорил взволнованно:

— Безумный, отчаянный вы человек! Уезжайте, бегите отсюда! Скорее! Я знаю, я слышал, не сегодня завтра вы будете арестованы.

И сколько было тревоги за меня и боязни, что я его не послушаю, в голосе И. С. Я упорствовал. Мне захотелось проверить источник слухов.

Иван Сергеевич назвал мне фамилию.

Я знал названного господина за труса. Этот господин встретился с одной важной особой. «А знаете, ваш-то Лопатин... — огорошила его особа. При словах «ваш Лопатин» на лице моего знакомого появилось, конечно, выражение горячего протеста. — Да нечего, нечего, — продолжала особа, — я ведь знаю, что вы там, за границей, с ним якшаетесь, ну, так не долго ему гулять, скоро его на веревочку посадят».

Взвесив достоверность названного источника, я заявил:

— Нет, Иван Сергеевич, я не поеду.

Иван Сергеевич сокрушенно качал головой. Ему больно было сознавать, что он не сможет убедить меня.

Я остался. А через два дня меня арестовали... [13]

Я не мог тогда уехать. У меня были дела, вещи...

Ко мне должны были прийти.

Но до ареста я успел еще раз повидаться с Тургеневым. На другой день после нашего разговора я опять зашел к нему. Смотрю, вещи собирает.

— Иван Сергеевич, да куда же вы? Вы же хотели пожить здесь? А вечер в Дворянском собрании, на котором вас собираются еще чествовать?

— Нет, батюшка мой, оставаться больше не могу. Приезжал флигель-адъютант его величества с деликатнейшим вопросом: его величество интересуются знать, когда вы думаете, Иван Сергеевич, отбыть за границу?

— А на такой вопрос, — сказал Иван Сергеевич, — может быть только один ответ: «Сегодня или завтра», а затем собрать свои вещи и отправиться [14].

Тургенев уехал, а я пошел на концерт в Дворянское собрание. Увезла меня на него жена Станюковича. Сидели мы, по обыкновению, на хорах. На эстраде много пели, декламировали. Но особенно памятна мне песня, спетая Тартаковым. Это известное стихотворение Ал. Толстого:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль.
Колодников звонкие цени
Взметают дорожную пыль...

Я люблю это стихотворение. Кто знает этапы, тот поймет, как верна эта картина [15]. Музыка же этой песни Ли-ина полна для меня очарования. В аккомпанементе песни, там, где поют про дикую волю, врывается напев «Вниз по матушке по Волге». Как это хорошо!

На том же вечере мельком видел я одного из знакомых Тургенева, художника Репина. Мы встречались с ним у Ивана Сергеевича в Париже [16]. Любопытно, недавно, вот в эти уже годы, на каком-то вечере подходит ко мне старичок. Здоровается со мной.

— Здравствуйте, Герман Александрович. Вспомните? Ведь мы встречались...

— Где? Не помню.

— В Париже художников, помните?

— Конечно, Поленов, Репин.

— Да ведь вот он, Репин, перед вами...

— Да разве вы Репин?

Передо мною сухенький улыбающийся старичок. Я знал Репина, да не таким. Юношей кудрявым знал я его.

Как не помнить мне Репина? Его картина «Не ждали» была моим последним впечатлением перед переселением моим *туда.* Помню, мне попалось объявление о выставке картин Репина. Я зашел. Остановился перед «Не ждали» и залюбовался...

Блудный сын этот, вернувшийся к семье, я думаю, не политик. Он не за идею страдал, иначе не было бы у него такого виноватого лица. Просто, думается мне, проиграл он казенные деньги, побывал в Сибири. А может быть, у него «черносотенная», говоря современным языком, семья, и он не знает, как его примут. Как бы то ни было, но лица на этой картине удивительные. Мальчик этот, болтающий ногой под стулом... Все на этой картине, все до мельчайших подробностей, живет. Но я был поражен не только верностью лиц, поз и выражений, а главным образом выполнением внешней стороны картины. Вы за-

метили, как передана там перспектива, — ведь воздух чувствуется! Вот одна комната, другая, а на пороге кухарка застыла, во второй комнате окно открыто, и там на дворе, за окном, на веревке белье сушится. И кажется, что его чуть-чуть ветерок покачивает. Это удивительно! [17]

Стоял я, любовался этой картиной, а рядом со мною любовались ею же два жандармских офицера. Это была случайность, конечно. На другой день, тоже по случайности, один из них допрашивал меня. И другой был тут же в этой комнате. Странное совпадение. Фамилия допрашивающего меня была страшная — Лютов.

Я сейчас же узнал их обоих и говорю им:

— А ведь мы встречались с вами, господа!

У них вытянулись лица.

— Где?

— Припомните, вы вчера были на выставке? — начал я их допрашивать.

— ?! Были.

— Вспомните, вы стояли перед картиной Репина?

— Да.

— Так я тоже вместе с вами любовался на эту картину...

Вспоминается мне и еще один из русских художников в Париже — Поленов.

Помню, мы, русские, решили создать библиотеку в Париже, где бы мы могли собираться, читать. Попросили Тургенева устроить в пользу этой библиотеки утро [18].

По делам этой библиотеки у нас было заседание. На этот раз председателем был я. Я записывал ораторов кое-как, для себя, начальными буквами на клочке бумаги. Вдруг, слышу, из угла кричит мне кто-то:

— Поленов. Запишите [19].

Записываю.

— Через ять, через ять, — добавляет тот же голос из угла.

Я засмеялся.

Литературное утро состоялось. Оно происходило в доме Виардо. Madame Виардо вышла петь.

Пела она романс Чайковского:

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я стражду...
Гляжу я вдаль, нет сил, темнеет око...
Ах! кто меня любил и знал, — далеко.

Она была старухой. Но когда она произносила: «Я стражду», меня мороз подирал по коже, мурашки бегали по спине. Столько она вкладывала экспрессии. Ее глаза. Эти бледные впалые щеки... Надо было видеть публику!

И еще стихотворение Фета спела она:

Облаком волнистым
Пыль встает вдали.
. . . .
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне.

Последние слова были полны такой еле сдерживаемой страстью, такой глубокой тоской, так звали к себе.

Было спето: «Шепот. Робкое дыханье. Трели соловья». Но это уже не то. Ей удавались вещи с сильным, страстным чувством.

На этом вечере, помню, захотелось мне курить. Но в доме Виардо это не разрешалось. Я знал расположение дома и вышел во двор. Стою, курю, смотрю: около меня тоже кто-то попыхивает папиросой.

— Здравствуйте, Герман Александрович!

— Здравствуйте!

А сам не знаю, кто это.

— Да кто же вы? — спрашиваю.

— Поленов.

— Через ять, через я т ь , — обрадовался я.

Мы засмеялись.

— Да вы поймите, Герман Александрович, — ведь всегда пишут мою фамилию через «е». Как же мне было не крикнуть вам?..

Многие эмигранты обращались к Тургеневу за помощью, и он помогал.

Однажды И. С. письменно предложил мне заведовать раздачей некоторой ежемесячной суммы этого фонда просителям.

— Вы знаете и х , — писал о н , — возьмите на себя труд помогать им. Если кто-нибудь обратится ко мне, я направлю к вам. Вы будете расходовать эту сумму по своему усмотрению.

— Нет, Иван Сергеевич. Сам лично я никогда не пользовался чужой помощью. Здесь необходима строгая отчетность. А кому я буду давать отчет? Ведь я лишен возможности отчитываться перед всеми публично. Сделаем мы так. Деньги останутся у вас, но просителей вы будете направлять ко мне за отзывом.

Так и сделали.

Однажды Тургенев познакомил меня с «Неждановым». Это некто Отто, Онегин. Он и сейчас жив.

— Это Жуковский? — спросила я.

— Да, говорят, что он сын Жуковского. Настоящая его фамилия Отто. Это уже впоследствии он сделал из себя Онегина.

— Что же он за человек, расскажите, очень интересно, — попросила я.

— Сопляк, простите за выражение, — коротко ответил Герман Александрович.

Пришел я к Тургеневу. Он говорит:

— Идите, я познакомлю вас с «Неждановым».

Увидал я «Нежданова». Мы поздоровались.

— Вы не вспоминаете меня? — обратился он ко мне.

— Нет.

— А ведь мы с вами вместе в университете учились.

— Да кто же вы?

— Отто.

Так это Отто! Я вспомнил его. Это был розовый херувимчик. Такой незначительный. В Нежданове Тургенев, конечно, сильно опоэтизировал его.

Я свиделся с Тургеневым, когда «Новь» уже печаталась. Тургенев дал мне прочесть ее еще ранее выхода книг «Вестника Европы». Разумеется, мое мнение уже не могло ничего изменить в тексте, сданном в печать[20]. Вообще говоря, Тургенев чутко прислушивался к мнению других.

Типы молодежи нашей трудно поддаются изображению. В Базарове не укладывается, конечно, вся молодежь шестидесятых годов. Но, несомненно, такие бывали, в особенности с таким отношением к искусству. Мне было шестнадцать—семнадцать лет, когда появились «Отцы и дети». В романе чувствовалось любовное отношение Тургенева к Базарову. Меня волновал только один вопрос: почему для Базарова не существовало искусства? Разве материализм несоединим с любовью ко всему прекрасному?

И я и Герман Александрович устали. Разговор иссякал. Надо было уходить. Я чувствовала, что Г. А. рассказал ничтожную долю того, что знал. И то, что он рассказал, мне жаль было испортить своей передачей.

— Герман Александрович! А может быть, вы все-таки собрались бы сами написать свои воспоминания, — начала снова просить я.

— Нет. Я не могу себя заставить взяться за перо по

тысяче причин, которые было бы долго и скучно излагать. Чтобы писать, надо много знать. Вполне изучить, освоиться с этим предметом. А так, наброски. Нет. Я не охотник до этого.

— Последний вопрос. Скажите ваше мнение о Виардо. Она была злым или добрым гением Тургенева?

— Виардо? Добрый гений Тургенева? Она экспроприировала Тургенева у России... И что такое Виардо? Я знаю французское женское воспитание... Собрали вокруг нее своих знаменитых друзей и сделали ее такой, какой она была, ее муж и любовник, если таковым был Тургенев. Муж ее был очень умным господином. Это для нас, русских, monsieur Виардо только муж Полины Виардо, а для французов madame Виардо только жена Луи Виардо. Это был очень образованный и очень сведущий в литературе и искусстве человек. Интересовался он и политикой и смыслил в ней много. Французы знали его.

Для русских очень заметна разница в произведениях Тургенева до встречи его с ней и после нее[21]. До — у него был народ, а после — уже нет. Изображение молодежи не вполне соответствовало действительности. Да и чем жил Тургенев? Как поглощала она его и влекла из России туда, где была она? Почитайте его письма к Виардо. Это одна тоска, один порыв к ней и к ней. Она отняла его у России. Любопытно было бы почитать его дневник[22]. Он должен быть в семье Виардо, если только они не продали его из жадности. У них же должны быть тургеневские наброски пером — карикатуры[23].

— Герман Александрович, скажите, вам не приходилось слышать о вызове Тургенева на допрос в Петропавловскую крепость? Я впервые встретилась с такой версией в воспоминаниях Павловского и не очень доверяю ему[24].

— Право, не знаю. Следственная комиссия могла, конечно, заседать и в Петропавловской крепости (как, например, Верховный суд над каракозовцами) или в Третьем отделении, но мне он рассказывал лишь о своем вызове в сенат, кажется, в связи с делом Серно-Соловьевича.

Тургеневу дали возможность заранее ознакомиться с теми вопросами, которые ему будут предложены, и с показаниями о нем. «И я, — рассказывал Тургенев, — читая эти показания и объяснения, так часто слышал в них тот «заячий крик», который так хорошо знаком нам, охотникам».

П. А. КРОПОТКИН

ИЗ «ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА»

Во время этого * пребывания в Париже я познакомился с И. С. Тургеневым. Он выразил желание нашему общему приятелю, П. Л. Лаврову, повидаться со мной и, как настоящий русский, отпраздновать мой побег небольшим дружеским обедом. Я переступил порог квартиры великого романиста почти с благоговением. Своими «Записками охотника» он оказал громадную услугу России, вселив отвращение к крепостному праву (я тогда не знал еще, что Тургенев принимал участие в «Колоколе» [2]), а последующими своими повестями он принес молодой интеллигентной России не меньшую пользу. Он вселил высшие идеалы и показал нам, что такое русская женщина, какие сокровища таятся в ее сердце и уме и чем она может быть как вдохновительница мужчины. Он нас научил, как лучшие люди относятся к женщинам и как они любят. На меня и на тысячи моих современников эта сторона писаний Тургенева произвела неизгладимое впечатление, гораздо более сильное, чем лучшие статьи в защиту женских прав [3]. Повесть Тургенева «Накануне» определила с ранних лет мое отношение к женщине, и, если мне выпало редкое счастье найти жену по сердцу и прожить с ней вместе счастливо больше двадцати лет, этим я обязан Тургеневу.

Внешность Тургенева хорошо известна. Он был очень красив: высокого роста, крепко сложенный, с мягкими се-

* Зимой 1877/78 года.

дыми кудрями. Глаза его светились умом и не лишены были юмористического огонька, а манеры отличались той простотой и отсутствием аффектации, которые свойственны лучшим русским писателям. Голова его сразу говорила об очень большом развитии умственных способностей; а когда после смерти И. С. Тургенева Поль Бер и Поль Реклю (хирург) взвесили его мозг, то они нашли, что он до такой степени превосходит весом наиболее тяжелый из известных мозгов, именно Кювье[4], что не поверили своим весам и достали новые, чтобы проверить себя.

В особенности была замечательна беседа Тургенева. Он говорил, как и писал, образами. Желая развить мысль, он прибегал не к аргументам, хотя был мастер вести философский спор: он пояснял ее какой-нибудь сценкой, переданной в такой художественной форме, как будто бы она была взята из его повести.

— Вот вы имели случай много наблюдать французов, немцев и других европейцев, — как-то сказал он мне. — Вы, верно, заметили, что существует неизмеримая пропасть между многими воззрениями иностранцев и нас, русских: есть пункты, на которых мы никогда не сможем согласиться.

Я ответил, что не заметил таких пунктов.

— Нет, они есть. Ну вот вам пример. Раз как-то мы были на первом представлении одной новой пьесы. Я сидел в ложе с Флобером, Доде, Золя (не помню точно, назвал ли он и Доде и Золя, но одного из них он упомянул, наверно). Все они, конечно, люди передовых взглядов. Сюжет пьесы был вот какой. Жена разошлась с своим мужем и жила теперь с другим. В пьесе он был представлен отличным человеком. Несколько лет они были совершенно счастливы. Дети ее, мальчик и девочка, были малютками, когда мать разошлась с их отцом. Теперь они выросли и все время полагали, что сожитель их матери был их отец. Он обращался с ними, как с родными детьми: они любили его, и он любил их. Девушке минуло восемнадцать лет, а мальчику было около семнадцати. И вот сцена представляет семейное собрание за завтраком. Девушка подходит к своему предполагаемому отцу, и тот хочет поцеловать ее. Но тут мальчик, узнавший как-то истину, бросается вперед и кричит: «Не смейте! N'osez pas!» Это. восклицание вызвало бурю в театре. Раздался взрыв бешеных аплодисментов; Флобер и другие тоже аплодировали. Я, конечно, был возмущен.

— Как! — говорил я. — Эта семья была счастлива... Этот человек лучше обращался с детьми, чем их настоящий отец... мать любила его, была счастлива с ним... Да этого дрянного, испорченного мальчишку следует просто высечь... Но сколько я ни спорил потом, никто из этих передовых писателей не понял меня[5].

Я, конечно, был совершенно согласен с Тургеневым в его взглядах на этот вопрос и заметил только, что знакомства его были, по преимуществу, в средних классах. Там разница между нациями сильно заметна. Мои же знакомства были исключительно среди рабочих: а все работники, и в особенности крестьяне всех стран очень похожи друг на друга.

Говоря это, я был, однако, совершенно неправ. Познакомившись впоследствии поближе с французскими рабочими, я часто думал о справедливости замечания Тургенева. Действительно, существует глубокая пропасть между взглядами русских на брак и теми понятиями, которые господствуют во Франции как среди буржуазии, так и среди работников. Во многих других отношениях русские взгляды так же глубоко разнятся от взглядов других народов.

После смерти Тургенева где-то было сказано, что он собирался написать повесть на эту тему. Если он начал ее, то рассказанная мною сейчас сцена непременно должна быть в его рукописи. Как жаль, что Тургенев не написал этого произведения![6] Вполне «западник» по взглядам, он мог высказать очень глубокие мысли по предмету, который, наверное, глубоко интересовал его всю жизнь.

Из всех беллетристов XIX века Тургенев, без сомнения, не имеет себе равных по художественной отделке и стройности произведений. Проза его звучна, как музыка, — как глубокая музыка Бетховена; а в ряде его романов — «Рудин». «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» — мы имеем быстро развивающуюся картину «делавших историю» представителей образованного класса, начиная с 1848 года. Все типы очерчены с такой философской глубиной и знанием человеческой природы и с такою художественною тонкостью, которые не имеют ничего равного ни в какой другой литературе. Между тем большая часть молодежи приняла роман «Отцы и дети», который Тургенев считал своим наиболее глубоким произведением, с громким протестом[7]. Она нашла, что нигилист Базаров отнюдь не представитель молодого по-

коления. Многие видели даже в нем карикатуру на молодое поколение. Это недоразумение сильно огорчало Тургенева. Хотя примирение между ним и молодежью и состоялось впоследствии в Петербурге[8], после «Нови», но рана, причиненная этими нападками, никогда не залечилась.

Тургенев знал от Лаврова, что я восторженный поклонник его произведений, и раз, когда мы возвращались в карете после посещения мастерской Антокольского, он спросил меня, какого я мнения о Базарове. Я откровенно ответил: «Базаров — великолепный тип нигилиста, но чувствуется, что вы не любите его так, как любили других героев».

— Напротив, я любил его, сильно любил, — с неожиданным жаром воскликнул Тургенев. — Вот приедем домой, я покажу вам дневник, где записал, как я плакал, когда закончил повесть смертью Базарова[9].

Тургенев, без всякого сомнения, любил умственный облик Базарова. Он до такой степени отождествил себя с нигилистической философией своего героя, что даже вел дневник от его имени, в котором оценивал события с базаровской точки зрения. Но я думаю, что Тургенев больше восхищался Базаровым, чем любил его. В блестящей лекции о Гамлете и Дон-Кихоте он разделил всех «двигающих историю» людей на два класса, представленных тем или другим из двух этих типов. «Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверие. Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может», — так характеризовал Тургенев Гамлета. Поэтому он — скептик и потому никогда ничего не сделает, тогда как Дон-Кихот, сражающийся с ветряными мельницами и принимающий бритвенный тазик за Мамбринов шлем (кто из нас не делал подобных ошибок?), ведет за собою массы. Массы всегда следуют за тем, кто, не обращая внимания ни на насмешки большинства, ни на преследования, твердо идет вперед, не спуская глаз с цели, которая видна, быть может, ему одному. Дон-Кихоты ищут, падают, снова поднимаются и в конце концов достигают. И это вполне справедливо. Однако «хотя отрицание Гамлета сомневается в добре, но во зле оно не сомневается и вступает с ним в ожесточенный бой...»

«Скептицизм Гамлета не есть также индифферентизм», «но в отрицании, как в огне, есть истребляющая сила», и эта сила истребляет его волю.

В этих мыслях, мне кажется, Тургенев дал ключ к

пониманию его отношения к своим героям. Он и некоторые из его лучших друзей были более или менее Гамлетами. Тургенев любил Гамлета и восторгался Дон-Кихотом. Вот почему он уважал также Базарова. Он отлично изобразил его умственное превосходство, он превосходно понял трагизм одиночества Базарова; но он не мог окружить его тою нежностью, тою поэтической любовью, которую, как больному другу, он уделял своим героям, когда они приближались к гамлетовскому типу. Такая любовь была бы здесь неуместна, и мы чувствовали ее отсутствие!

— Знали ли вы Мышкина? — спросил он меня раз в 1878 году. (Когда судили наши кружки, сильная личность Мышкина, как известно, резко выступила вперед.)

— Я хотел бы знать все, касающееся е г о , — продолжал Т у р г е н е в . — Вот *человек,* — ни малейшего следа гамлетовщ и н ы . — И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал новый тип, выдвинутый русским движением и не существовавший еще в период, изображенный в «Нови». Тип такого революционера появился года два спустя после выхода «Нови» из печати [10].

В последний раз я видел И. С. Тургенева не то осенью, не то в июле 1881 года. Он был уже очень болен и мучился мыслью, что его долг — написать Александру III, который недавно вступил на престол и колебался еще, какой политике последовать, указать ему на необходимость дать России конституцию [11]. С нескрываемой горестью Тургенев говорил мне: «Чувствую, что обязан это сделать; но я вижу также, что не в силах буду это сделать». В действительности он терпел уже страшные муки, причиняемые раком спинного мозга. Ему трудно было даже сидеть и говорить несколько минут. Так он и не написал тогда, а несколько недель позже это уже было бы бесполезно: Александр III манифестом объявил о своем намерении остаться самодержавным правителем России.

Еще одно воспоминание. Тургенев как-то заговорил со мной о тех книжках, которые издавал для народа наш кружок. «Да... но это все не то, что нужно» [12], — заметил он, задумавшись о чем-то, и, к моему удивлению, тут же упомянул, как наш народ расправляется с конокрадами... Точных его слов не могу припомнить, но смысл его замечания врезался мне в память. К сожалению, кто-то, вошедший в кабинет, прервал наш разговор, и впоследствии я не раз спрашивал себя: «Что же такое он хотел сказать?»

И вот через несколько времени после его смерти по-

явился его рассказ, продиктованный им перед смертью г-же Виардо по-французски и переведенный на русский язык Григоровичем, где рассказано, как крестьяне расправились с одним помещиком-конокрадом...[13]

Известно, как Тургенев любил искусство; и когда он увидал в Антокольском действительно великого художника, он с восторгом говорил о нем. «Я не знаю, встречал ли я в жизни *гениального человека* или нет, но если встретил, то это был Антокольский», —говорил мне Тургенев. И тут же, смеясь, прибавил: «И заметьте, ни на одном языке правильно не говорит. По-русски и по-французски говорит ужасно... но зато скульптор — великолепный». И когда я сказал Тургеневу, до чего я еще совсем юношей восторгался «Иваном Грозным» Антокольского и что мне особенно понравилась его вылепленная из воска группа евреев, читающих какую-то книгу, и инквизиторы, спускающие их в погреб, то Тургенев настоял, чтобы я непременно посмотрел только что законченную статую «Христос перед народом». Я совестился идти и, может быть, помешать Антокольскому, но тогда Тургенев решил, что он условится с Антокольским и в назначенный день поведет П. Л. Лаврова и меня в мастерскую Антокольского.

Так и сделали. Известно, как поразительно хороша эта статуя. Особенно поражает необыкновенная грусть, которой проникнуто лицо Христа при виде толпы, вопиющей: «Распни его!» В то же время вся фигура Христа поражает своей мощью, особенно если смотреть сзади — кажется, что видишь здорового, могучего крестьянина, связанного веревками.

— А теперь посмотрите его сверху, —сказал мне Тургенев, —вы увидите, какая мощь, какое презрение в этой голове...

И Тургенев стал просить у Антокольского лестницу, чтобы я мог увидеть эту голову сверху. Антокольский отнекивался:

— Да нет, Иван Сергеевич, зачем?

— Нет, нет, — настаивал Тургенев, — ему это нужно видеть: он революционер.

И действительно, когда принесли лестницу и я взглянул на эту голову сверху, я понял всю *умственную* мощь этого Христа, его глубокое презрение к глупости вопившей толпы, его ненависть к палачам. И, стоя перед статуей, хотелось, чтобы Христос разорвал связывающие его веревки и пошел разгонять палачей...[14]

15 И. С. Тургенев в восп. совр., т. 1

С. Н. КРИВЕНКО

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Относительно И. С. Тургенева до сих пор существуют несколько разных и весьма противуречивых мнений: одни считают его чуть не консерватором, другие, наоборот, чуть не красным; одни видят в нем человека без определенных убеждений, но в высшей степени честолюбивого, который в угоду честолюбию приносил решительно все и, смотря по времени и обстоятельствам, являлся то в одном виде, то в другом, шел то по течению, то против течения, как было выгоднее, — не в смысле каких-либо материальных расчетов, а для литературной известности и популярности; другие, напротив, считают его человеком убежденным, который никогда не изменял убеждениям и всегда оставался верен идеалам сороковых годов, с которыми вступил на литературное поприще, идеалам, хотя несколько общим и неопределенным, но, несомненно, очень светлым и возвышенным. Одни говорят, что дело не в светозарности идеалов, а в том, что когда наступило время их осуществления, то Тургенев двоился, был непоследователен или неискренен: относясь, например, отрицательно к крепостному праву, своих крестьян, однако, на волю не отпускал, подобно некоторым помещикам, а пользовался их трудом до самой эмансипации [1]; а другие им на это отвечают, что прилагать такую строгую мерку к нему нельзя и что одно то уже, что он так долго держал знамя свободы и просвещения в руках, есть уже большая заслуга с его стороны и т, д. и т. д. Литературные его отношения и положения также полны недоразумений: то он тяготеет к «Современнику», то появляется в «Русском вестнике», когда последний принял уже иное направление, чем вначале [2]; то либеральная критика недовольна им и говорит, что он поет в унисон реакции и обскурантизму,

то Катков не одобряет его за излишний либерализм. И все это как-то переплетается с чисто личными его недоразумениями с разными лицами. На самых похоронах Тургенева нам пришлось слышать несколько таких противоположных мнений: одни говорили о нем как о человеке очень умеренном, даже именно как о плохо понятом консерваторе, допускавшем один только прогресс — постепенный, одну только — медленную эволюцию; а крайняя фракция, как бы в ответ на это, раздавала листок, в котором Urbi et orbi * говорилось: «Он наш, а не ваш»[3]. Появившиеся после смерти воспоминания немного прибавили к выяснению его личности: одни из этих воспоминаний, при всей симпатии к покойному, оставляли что-то как бы недоговоренным; другие прямо накладывали на него неблагоприятную тень (печатавшиеся в «Русском вестнике»)[4], третьи представляли его каким-то не то легкомысленным, не то двусмысленным. Вообще неблагоприятных и сомнительных мнений о Тургеневе гораздо больше, чем благоприятных, и в то же время на его долю выпала редкая популярность не только после смерти, как это по большей части бывает, но и при жизни еще. В последние годы и во время болезни ему приходилось видеть очень много общественного внимания, уважения и почета: ему делали овации, посылали сочувственные адреса и письма, дамы целовали руки. А похороны его были положительно небывалыми на Руси похоронами по многолюдству и одушевлению.

Лично меня подобная противоположность взглядов и отношений к Тургеневу нисколько не удивляет: таков уж удел всех крупных и сложных натур. А натура у него была, несомненно, очень сложная. Барин по рождению и привычкам, он имел настолько больше умственных и вообще духовных потребностей, что не мог жить жизнью русского барства. И вот он повернулся к нему спиною и жил за границей. Его влекло туда не только нежное и постоянное чувство к женщине, навестившей его в тяжелую для него минуту, когда он жил поневоле у себя в деревне[5], но и свобода: ему там вольнее дышалось. Жил он за границею, но в то же время все его лучшие помыслы были в России, о ней он говорил, думал и ей посвящал все свое творчество, то есть всю или почти всю внутреннюю жизнь. Он настолько знал европейскую жизнь и рас-

* «Городу и миру», то есть всему свету (*лат.*).

полагал настолько крупным талантом, что мог бы занять видное место и в европейской литературе, беря сюжеты для произведений из тамошнего быта, но он не мог этого делать, потому что любил родину. Самое большее, на что он решался, — это придавать некоторым своим фигурам общечеловеческий характер, расширять их или придавать им несколько европейского изящества, но в то же время они оставались русскими. Любил родину, но в то же время не принимал прямого, непосредственного участия в ее нуждах и судьбах, как сделал бы человек, которому она дороже собственного спокойствия. Становился совсем европейцем и в то же время оставался русским барином, со всеми слабыми сторонами нашего барства, и никак не мог совлечь с себя этого первичного, точно прирожденного и насквозь его пропитавшего культа. Тяготел к лучшим литературным стремлениям и в то же время не принадлежал близко ни к одному из литературных кружков, а держался как-то особняком и не стеснялся дурными отзывами о людях *. Держался особняком, но в то же время имел настолько общественного чувства и мужества, чтобы в Москве, на Пушкинском празднестве, не принять протянутую Катковым руку примирения, в то время как некоторые все забыли и радостно хватали эту всесильную руку, он помнил, сколько эта рука написала против литературной свободы, и оставил ее в воздухе.

Я далек от намерения выяснить вполне личность и характер Тургенева: я не знал его настолько. Хотя характер его мне и кажется понятным, но я не решусь утверждать, что не ошибаюсь. Покойный М. Е. Салтыков однажды в разговоре утверждал, что я вижу Тургенева только с показной стороны. С обычной своей прямотой и суровостью он говорил: «Он перед вами, как павлин, распускает хвост, а вы любуетесь, и это ему приятно; а потом сам же будет рассказывать, что за ним ухаживают, и опять получит при этом удовольствие». Насколько Салтыков был прав, не знаю, только я действительно видел Тургенева лишь с хорошей стороны, и сторона эта мне каза-

* Например, о Некрасове, который, как сейчас помню, незадолго перед смертью вот что говорил: «Право, я никогда не любил денег, а скорее боялся их. Потому и берег. Это Тургенев ославил меня каким-то сребролюбцем. Он постоянно швырял деньги. Ему можно было швырять, а мне нет. Получит из деревни, разбросает в несколько дней все и приедет ко мне за деньгами, а не дашь — сердится». (*Примеч. С. Н. Кривенки.*)

лась не совсем показною. Салтыков, этот прямой, нервный, искренний и не любивший никаких компромиссов человек, человек, весь отдавшийся литературе и видевший в ней чуть ли не самое высшее призвание на земле, был очень часто слишком строг к людям и имел на это неоспоримое право; но право это было чисто личным его правом, его да разве еще весьма немногих столь же цельных людей, а большинство не может так смотреть на Тургенева. Тем более не имеет права смотреть на него так наше общество, которое обязано ему очень многим, которое само не имеет даже сотой доли его заслуг и имеет неизмеримо больше всяких изъянов и пороков. Хорошие его стороны не поглощались дурными и не были только костюмами, которые он менял, а гораздо глубже коренились в его душе. Если он не шел наравне с другими передовыми людьми в оценке происходивших явлений и дальнейшем логическом развитии идей, то не потому, что не хотел, а потому, что не мог вследствие душевного процесса; то он сомневался в верности и целесообразности дальнейшего шага, то не находил в себе внутреннего ему соответствия, то его просто что-нибудь шокировало, как эстетика и барина, хотя бы это была иногда даже какая-нибудь частность. Натуры колеблющиеся, нерешительные, сомневающиеся были любимыми натурами Тургенева, на изображение которых он клал все свое мастерство, наделяя их чертами личного своего характера. Это вовсе не слабые натуры, вовсе не тряпки, как некоторые думают, а, напротив, натуры даровитые, которым недостает только внутреннего или внешнего равновесия для надлежащей деятельности. Зато они смотрят дальше; я не говорю — видят, но некоторые и видят. Тургенев сам отдавал предпочтение людям действия, но любил не Дон-Кихотов, а Гамлетов. По природе сам он был несомненным Гамлетом, но довольствоваться таким жребием не мог, и его постоянно тянуло в первые ряды жизни не к какой-либо обыденной и тем более мелкой практической деятельности, а к такой, которая соответствует первым рядам и большим внутренним силам. Но при первых же практических шагах в нем начиналась рефлексия, и просыпался Гамлет. Тургенев с его слабостями, а может быть, больше всего благодаря им, был гораздо ближе к обществу, чем другие вожди. Он настолько был органически связан с обществом, что, собственно говоря, не мог слишком далеко заходить вперед, ходить без оглядки, как это некоторые делают, а

постоянно оглядывался и соображался с тем, что делается назади; но в то же время и так же постоянно его тянуло вперед и вперед, если но действовать, то смотреть. Такие люди систематически действовать не могут, а либо остаются на житейской арене вместе с большинством общества пассивными зрителями, либо действуют и догоняют других порывами; догоняют, а иногда и перегоняют; часто проигрывают, а иногда и оказываются совершенно неожиданно господами положения. Я не знаю, думал ли когда-нибудь Тургенев о руководящем положении, стремился ли когда-нибудь серьезно руководить общественным мнением, один или вместе с другими, но что он принимал близко к сердцу общественные и литературные вопросы и интересы — в этом не может быть сомнения. И очень возможно, что если бы к нему более заботливо и снисходительно относились люди, которых он ценил и уважал, то роль его в литературе могла бы быть иною, менее обособленною и более плодотворною. Нельзя, конечно, в этом никого винить, потому что странно было бы приспособлять целую литературу к одному человеку или требовать к нему большей внимательности, чем сам он личными отношениями заслуживал. Поджидать размышляющих в житейской борьбе так же трудно, как и собирать отсталых. Но мы никого и не виним, а только хотим сказать, что такие сложные натуры руководятся и очень сложными душевными процессами, которые не легко поддаются определениям. Они никогда почти не возбуждают таких глубоких и искренних симпатий, как натуры цельные, но тем не менее всегда представляют глубокий интерес. Выяснение характера Тургенева может быть чрезвычайно интересною темою для психолога. Каждая новая черта, каждый лишний штрих могут пригодиться и не должны пропадать. Вот поэтому мне и думается, что и мое непродолжительное знакомство с ним и особенно то, что он говорил относительно литературы, представляет некоторый интерес и может служить для его характеристики.

Знакомство мое с Иваном Сергеевичем началось в 1879 году: по указанию одного общего нашего знакомого, он прислал мне из-за границы две рукописи проживавших там русских, с которыми те к нему обратились, для пристройства их в петербургские журналы. Подобные обращения к Тургеневу были очень часты: одни просили у него совета, другие рекомендации, третьи просто интере-

совались его мнением. Я знаю случаи, когда ему посылались за границу рукописи даже из России. Некоторые из них он посылал прямо в редакции, а другие через знакомых, поручая им позаботиться об их судьбе и куда-нибудь пристроить; но и в первом случае он нередко просил кого-нибудь узнавать о рукописях, будут они напечатаны или нет, и если нет, то передать их в какую-нибудь другую редакцию и т. и. Потом еще раза два или три он обращался ко мне с подобными же поручениями как лично, так и через А. В. Топорова. В то время я был постоянным сотрудником одного петербургского журнала и имел знакомства в других редакциях, так что подобные поручения меня нисколько не обременяли и не удивляли, — с ними постоянно все и ко всем обращались, — но вот что меня удивило или, лучше сказать, порадовало: мы, несколько человек приятелей, и я в том числе, мечтали о новом журнале, который издавался бы на несколько иных основаниях и преследовал бы несколько иные цели, и Тургенев, узнав об этом, выражал нам сочувствие и пожелал со всеми нами познакомиться. Его вообще интересовали молодые и новые писатели, что они представляют собою и что несут в жизнь, а может быть, отчасти и как к нему относятся, тем более что некоторые из них категорически отказывались от знакомства с ним, несмотря на неоднократно высказанное им желание и попытки их увидеть. В то время, о котором идет речь (1879—1881 годы), он не пользовался особым расположением в тех кружках, к которым я принадлежал: на него были недовольны за его «Дым» и «Новь», а некоторые не забыли еще и «Отцов и детей», но главным образом недовольны были «Новью». Я и тогда разделял и в значительной степени и до сих пор разделяю это недовольство, но недовольство мое не переходило в нетерпимость и безапелляционное обвинение: я просто находил, что он гораздо лучше сделал бы, если бы совсем не писал этого неблестящего и в литературном отношении романа, но ни на одну минуту не ставил «Нови» на одну доску с «Бесами» Достоевского, как некоторые делали. Там я видел озлобление, прежде всего и больше всего озлобление, а тут находил нечто примиряющее, нечто происходящее совсем из иного источника: порою недоразумение и недостаточное знакомство с молодежью (а не предумышленность), порою скорбь и досаду (а не нетерпимость и злобу), а порою, несомненно, и добрые стремления и желания, — словом, нечто от доброты.

Все это как-то само собою чувствовалось между строк. Чувствовалась доброта и в письмах, в которых Тургенев писал о рукописях. Писем этих было у меня немного: два или три из них (разрезав на части, так как желающих было больше) я роздал в 1883 году, после тургеневских похорон, знакомым, желающей иметь его автограф, а одно, оставленное себе на память, к сожалению, утерял или по ошибке уничтожил. Письма эти, впрочем, не заключали в себе ничего особенного: это были краткие, деловые письма, в которых он или просто излагал, что именно желательно авторам, или рекомендовал их статьи, но и тут, говорю я, сказывалась душевность и сочувствие к бедственному положению авторов. «Постарайтесь, пожалуйста, пристроить, потому что автор нуждается», «Сделайте, что можно, автор бедствует» и т. и. Мало того, можно было видеть, что Тургенев сочувствует в статьях действительно хорошим мыслям, хотя в литературном отношении рекомендации его далеко не всегда были удачны и не соответствовали действительному достоинству статей. Все это как-то невольно располагало к нему и укрепляло во взгляде на него, который потом так хорошо высказал и Н. К. Михайловский. Совершенно независимо от меня и в другое время он почувствовал относительно Тургенева то же самое, что и я. Собрав мысленно всех действующих лиц его произведений к его гробу, он показал, что они могут простить ему те обиды, какие он некоторым из них причинил, как потому, что в обидах этих не было для них бесчестья, а с его стороны злонамеренности, так и потому, что «слишком много обязано русское общество этому человеку», и это тем более, что человек этот никогда не был Савлом, никогда не был в рядах гонителей истины и гасителей света, а если ему и случалось впадать в ошибки, порождать недоразумения и обнаруживать личные слабости, могшие быть тому или другому досадными и неприятными, то все это «не должно и просто не может заслонять собою его громадных заслуг» *.

Журнал, о котором мы мечтали и о котором мне пришлось потом не раз говорить с Тургеневым, должен был издаваться и вестись кружком, артелью, а помещаться в нем должны были статьи преимущественно начинающих писателей. Старые таланты старились, а молодые на смену не являлись. Это — с одной стороны, а с другой, у нас в

* Том VI, стр. 157—158. (*Примеч. С. Н. Кривенки.*) [6]

литературе всегда был избыток пишущей братии, не находившей места в существующих органах печати, избыток не слишком ярких или невыработавшихся еще дарований, но дарований, отличавшихся честным направлением, так что голос их, помимо всего прочего, был бы небесполезным голосом. Это в большинстве случаев были неисправимые идеалисты, для которых литература была чем-то вроде святая святых <...>

Мечты наши долго не осуществлялись: то не находилось подходящего издания, то попытки получить разрешение на новое не удавались, то не было денег и т. и. Наконец судьба нам улыбнулась, — довольно, впрочем, кислою улыбкою, — мы приобрели маленький подцензурный журнальчик — «Русское богатство»[7]. Перед этим он несколько раз переходил из рук в руки, приостанавливался и вновь возникал, утрачивая все больше и больше подписчиков, и в последнее время, как говорится, просто валялся на литературных задворках. Он не выходил, но право на издание еще сохранялось. Это была настоящая утлая дырявая ладья, в которой и предстояло совершить трудное плавание и произвести все те преобразования, о которых мы мечтали. Положение вещей было такое: не было подписки и денег; не было ни у кого практического умения вести дело и ладить с цензурою; приходилось работать даром, а для многих это было не только трудно, но даже невозможно; были хорошие имена, но не имена литературных корифеев, которые обеспечивают успех изданию, да и те имена, которые были, не всецело принадлежали журналу, потому что должны были участвовать в других изданиях, где приходилось работать. Надо отдать справедливость, что большинство хороших писателей нам сочувствовало, хотя некоторые и посмеивались, говоря, что ничего у нас не выйдет. Предприятие действительно было довольно смелым, чтобы не сказать больше. Как раз в это время приехал в Петербург Тургенев, и у некоторых из нас явилась мысль заручиться и его именем и попросить у него какой-нибудь рассказ или статейку для журнала. Другие были против этого, говоря, что «не стоит кланяться» и даже «связываться с ним»; но большинство думало не так, указывая именно на то, что он сам высказывает нам сочувствие и тем более что коммерческих выгод с журналом у нас не соединялось, а прежде всего было желательно создать хорошее дело. Если мы и рассчитывали работать в журнале и иметь впоследствии пра-

вильный заработок, то издательских интересов ни у кого в виду не было, так как всю чистую прибыль, какая могла бы получаться, предполагалось употреблять, с одной стороны, на увеличение, улучшение и удешевление журнала, а с другой — на общее повышение литературного гонорара и типографского труда, не исключая и посторонних сотрудников. При таких условиях не так стыдно было обратиться к Тургеневу. Затрудняло нас только одно, какой предложить ему гонорар: такой, какой он получал из других редакций, был для нас обременителен, а установившийся для обыкновенных статей — чересчур мал; одни говорили, что никаких исключений делать не следует, другие, напротив, что не следует срамиться и надо лучше занять денег, чтобы заплатить ему не меньше других, третьи предлагали, чтобы он сам назначил плату. Но так как до вопроса о гонораре дело не дошло, то об этом можно и не говорить. А Тургенев, между тем, со своей стороны, опять выражал сочувствие нашему предприятию и, между прочим, высказал Г. И. Успенскому, которого раньше знал, желание познакомиться с нами. Были нежелавшие и этого, и когда зашла речь, где назначить место для свидания — в редакции или у кого-нибудь на частной квартире, то одни стояли за редакцию на том основании, что если он сам хочет знакомиться, то пусть в редакцию или к каждому особо с визитом и приходит, а другие, напротив, стояли за частную квартиру. В конце концов остановились на квартире Г. И. Успенского. В назначенный вечер собрались мы, и приехал Тургенев. Первое впечатление, какое он на меня произвел, было следующее: «Какой он большой (высокий), а мы-то какие маленькие». Перезнакомившись со всеми, Тургенев сел и сейчас же овладел разговором. Говорил он прекрасно, просто и образно, слегка пришамкивая по-стариковски.

— Сейчас я со Скобелевым обедал, — сказал он. — Вот красная девушка: поминутно краснеет, скажет слово и покраснеет. И не подумаешь, что такой храбрый.

Потом рассказал, что они говорили со Скобелевым, перешел к нашей политике по восточному вопросу[8], к тому, как смотрят на эту политику в Париже, Вене в Берлине и т. д. Речь лилась почти безостановочно, а мы слушали, попивая чай. Впрочем, не все молчали: кто предлагал вопрос, кто вставлял замечание, а один вступил даже в продолжительный разговор[9]. Это были две полные противоположности: один старик, другой — юноша, совсем почти

мальчик; тот седой и высокий, этот черный, как жук, и маленький; тот художник, этот экономист, то есть сама проза и цифра. Тургенев с большим вниманием вслушивался в то, что он говорил, и, по-видимому, слушал его с удовольствием. Скоро разговор перешел на разные внутренние вопросы: на народ, экономическое его положение, земельное устройство, возрастание кулачества и проч.

— Вот явление, — сказал Тургенев относительно кулачества, — с которым просто необходимо считаться и не оставлять его без внимания. Скоро не будет, кажется, деревни без кулака. Плодятся они положительно как грибы и черт знает что делают. Это какие-то разбойники. Я думаю написать рассказ об одном таком артисте, который так и назову — «Всемогущий Житкин»[10]. Это, видите ли, сосед бывших наших крестьян. Он не только всячески их эксплуатирует, не только берет с них разные поборы и чуть ли не каждый день загоняет их скот и берет штрафы, но захватывает даже у них землю, переносит межи и переставляет столбы. Представьте, какую штуку выкинул: жаловались мне несколько лет тому назад крестьяне, что он у них землю захватил. Я сказал им: захватил, так жалуйтесь суду. «Да жаловаться-то, говорят, нельзя: уж жаловались, да ничего не выходит, потому что по плану-то по его выходит. А на самом-то деле по-нашему должно быть». Что, думаю, за чепуха такая. Послал в контору, велел принести план, поехал с ним на место и увидел, что все как следует, то есть границы в натуре совпадают с планом. Очевидно, крестьяне не правы. Так и сказал им. А они между тем все свое твердят и каждый год мне повторяют одно и то же: захватил да захватил. Ну, думаю, это обыкновенная история: мужику как втемяшится что в голову, так не скоро оттуда выйдет. Однако, представьте, что вышло: в позапрошлом году разбирали в кладовых и на чердаках всякий хлам и старые бумаги и нашли старый план имения, где обозначены соседние границы и земля, отведенная потом крестьянам. Стал я сличать этот план с новым и убедился, что они не сходятся. Велел запрячь дрожки и поехал на место: оказалось, что межа действительно перенесена и что крестьяне правы. Просто руками развел и окончательно стал в тупик, как это могло случиться. Ах, какая тут досада меня взяла! Между тем, увидев, что я приехал опять с планом и что-то смотрю, пришли и мужики, целая огромная толпа, пришел и Житкин, и какая было вышла неприятная ис-

тория. Услышав, что правда не на его, а на их стороне, они напустились на него и стали самым невозможным образом ругаться; он сначала было попробовал отругиваться, но потом видит, дело плохо, видит, что негодование растет и становится все единодушнее и единодушнее, видит, что его окружают. Был один момент, когда и мне показалось, что вот еще одно какое-нибудь слово, одна какая-нибудь капля, и все набросятся на него и растерзают в клочки. Признаться, перетрусил я; попаду, думаю, в кашу, пожалуй, еще подстрекателем сделают: я ведь план разыскал и приехал к ним, я сказал, что он не прав, и т. д. Но тут меня внезапно осенила мысль, которая дала делу совершенно неожиданный оборот. Вдруг я протискался вперед и просто не своим голосом закричал на Житкина: «Я тебе, мерзавец, за это задам. В острог засажу, в каторгу сошлю, в кандалы закую!» Смотрю, все примолкли, возбуждение в толпе утихает, видят, что защита есть, что сам барин, а следовательно, и начальство за дело берутся. «Вот погоди, говорят, будет тебе на орехи, вражий сын, узнаешь кузькину мать». А Житкин тем временем все пятился да пятился назад, дошел до дома, юркнул в него и запер дверь. Точно камень у меня с души свалился: слава богу, думаю, благополучно все кончилось. И за них ведь боялся: случись что-нибудь, отвечали бы, не пошутили бы с ними. Дальше. Пообещав наказать Житкина, я действительно думал не оставлять этого дела так и что-нибудь сделать, просил всех, кого только можно было, обратить на это внимание, говорил, при случае, даже губернатору, которого хорошо знаю. Все обещали, но не тут-то было: по крайней мере, в прошлом году ничего еще не было сделано и все оставалось по-старому. Вот интересно, что в нынешнем году найду. Очень возможно, что и до сих пор ничего не сделано. Просто удивительно, какими судьбами, какими путями такие господа устраивают и обделывают свои дела. Чтобы межу перенести и один план заменить другим, надо похлопотать да похлопотать, и втихомолку ведь этого тоже нельзя сделать, об этом, вероятно, если не все, то многие знали или слышали. Затем, тот факт, как вам нравится, что я, крупный местный землевладелец, человек со связями и знакомствами, ничего не могу сделать в данном случае, не могу добиться никакого толку. Уверен ведь, что и губернатор на моей стороне и желал бы также, чтобы дело решилось в пользу крестьян, но и он, оказывается, не все может сделать. Такие дела

обделываются через всю эту канцелярскую многочисленную уездную мелюзгу, а с нею в тесной связи, конечно, и губернская мелюзга, вот и идут отписки да переписки, справки да заключения, а губернатор тем временем ждет-ждет, да и забудет. Во многих случаях только этого и было нужно. Но лучше всех сам этот Житкин: представьте, в прошлом году еду я по железной дороге, вдруг он на одной из станций откуда-то взялся, влетает в вагон и валится в ноги: «Сделайте божескую милость, не погубите, век богу буду молить» и т. д. Вы, может быть, подумаете, что он отказывается от захваченной земли и просит только, чтобы наказания ему какого-нибудь не было? Нет, он просит только, чтобы я отказался от дела и оставил его, как оно есть. Понимаете, кланяется, а в то же время свое дело делает, зацепил зубами и не может разжать пасть-то.

Затем, помнится, зашла у нас речь об отношении народа к помещикам, начальству и вообще к власти, и Тургенев рассказал нам тему другого предложенного им рассказа, который он думал озаглавить — «Повиноваться!». Рассказ этот был просто неподражаем в устной передаче по своей рельефности и живости. Я не могу его в точности воспроизвести, но суть состояла в следующем: проезжал куда-то по Орловской губернии император Николай Павлович, проезжал на лошадях, так как железной дороги тогда еще не было. И вот крестьяне, желая его повидать, бросали работу и со всех сторон бежали на станцию, где он должен был менять лошадей. Некоторые делали по двадцать пять верст и больше. В то время где-то в Орловской губернии были какие-то недоразумения между крестьянами и помещиками. Увидев крестьян, Николай Павлович строго взглянул на них, сказал им несколько слов, которые закончил словом «повиноваться!», и при этом погрозил им пальцем. Все остальное, кроме этого, совершенно улетучилось у крестьян из памяти, а это слово и жест, напротив, глубоко врезались и точно все подавили и вытеснили из головы. По отъезде Николая Павловича ближайшие крестьяне и те, которые мимо шли, пришли к Тургеневу и рассказывали, что было, но, говорил Тургенев, я решительно не мог составить себе об этом никакого представления. Сколько ни расспрашивал, на какие лады ни ставил вопросов, все повторяли только одно: «Как стал он в тарантасе, да как глянет на нас, так мы все на коленки и упали, а он поднял, значит, палец да как крикнет «повиноваться!». Тут уж мы ниц все полегли и долго

так лежали. Он уже уехал давно, а мы все лежим, только помаленьку поглядываем. Едет это в гору, а пальцем все грозит. И покеда из глаз скрылся, все стоял в тарантасе и палец держал. Палец-то во какой! — Тургенев показывал со слов очевидцев величину представившегося им пальца чуть не в пол-аршина. — Ей-богу, не преувеличиваю, — говорил он. «Не может быть, — говорю одному, — чтобы такой большой палец был». Божится, что такой. Не мог также разубедить их, что будто Николай Павлович, стоя в тарантасе, ехал; уверяют, что стоял — и конец. По всей вероятности, он обратился к ним, садясь в экипаж, и крикнул «повиноваться!», стоя, — так это впечатление и застыло. А насчет того, что он еще говорил, так-таки ничего и не добился.

— Вот, Иван Сергеевич, если бы вы написали и нам дали какой-нибудь из этих рассказов? — сказал кто-то, кто именно — теперь уже не помню.

— Если напишу, то извольте, — сказал Тургенев, — только последний рассказ вряд ли цензурен. Я и насчет первого-то сомневаюсь: очень возможно, что и в нем что-нибудь усмотрят.

Затем стали говорить о наших намерениях, целях и материальном положении журнала. Как человек опытный, он прежде всего указал, что без денег трудно вести хорошо дело, а затем, что подцензурному изданию не легко конкурировать с бесцензурными и что ладить с цензурою надо большое умение. Это, впрочем, мы и сами хорошо понимали. О чем еще говорилось — не помню, помню только, что вечер прошел очень оживленно и что мы остались довольны Тургеневым. Затем мы пригласили его еще через несколько дней к одному из издателей «Слова» г. С.[11], который любезно предложил устроить для него вечер, но вечер этот прошел довольно скучно, как-то официально и натянуто: кроме нас, были еще гости, около Тургенева уселся адвокат N—ъ, тоже до некоторой степени причастный к литературе, и совершенно завладел им; он почтительно рассказывал ему что-то и столь же почтительно предлагал разные вопросы, не давая никому слова сказать, так что мы все время сидели и слушали. Между тем ничего интересного он не говорил, всем было скучно, а Тургеневу, должно быть, больше всех, хотя он рассказывал что-то и отвечал на вопросы. После, по крайней мере, он жаловался и жалел, что ни о чем не удалось поговорить. Видя, что почтительному пленению его конца

не будет, мы стали понемногу уходить в другие комнаты и говорить между собою.

Через несколько дней Тургенев уехал из Петербурга, так что в этот приезд я его больше не видел <...>

В 1881 году, если не ошибаюсь, в мае, он опять приехал из-за границы. Находя, что жить можно только или в Париже, или в деревне, он, как птица, два раза в году совершал перелет: весной отправлялся в деревню, а осенью возвращался в Париж, причем проездом обыкновенно останавливался на несколько дней в Петербурге и Москве, чтобы повидаться с знакомыми. В этот приезд ему, однако, пришлось довольно долго просидеть в Петербурге, потому что он заболел: у него было что-то такое в печени, был кашель, по главным образом болели ноги. Узнав, что он приехал и лежит, мы с Г. И. Успенским отправились его навестить. Стоял он в то время в меблированных комнатах на углу Морской и Невского, где в последнее время обыкновенно останавливался. Просидели мы у него недолго: был у него, кажется, кто-то в это время и чувствовал он себя не совсем хорошо; а говорили, помнится, больше о текущих делах и событиях и множестве всевозможных слухов, которые в то время ходили в Петербурге. Время тогда было очень смутное, никто не знал, что будет и чему верить, невероятное осуществлялось, ни с чем несообразное казалось возможным, а потому самые разнообразные слухи циркулировали в великом изобилии. Помню, впрочем, говорили еще вот о чем: в то время в редакции газет и журналов начали довольно часто присылать рукописи крестьяне. Я не знаю, продолжается ли это и до сих пор или уже прекратилось, по тогда у нас, по крайней мере, нередко получались такие рукописи. Какая-то полоса такая вышла, так что порою даже казалось, что мужик не хочет больше молчать и собирается говорить. В рукописях этих говорилось и о народных нуждах, и о правде, и неправде, и о начальстве, и о суде, и о земле, и о социалистах — словом, обо всем, что так или иначе касалось народа, его жизни и души. Успенский очень интересовался этими рукописями, всегда их внимательно прочитывал, собирал и хранил, находя в них большой интерес и доказывая, что их непременно нужно печатать как непосредственный голос народа. Заинтересовал он ими и Тургенева, который просил его прислать ему некоторые из них для прочтения.

— Вы, господа, не забывайте же меня, пожалуйста, —

говорил, прощаясь. Тургенев, — и не считайтесь с больным визитами: видите, я теперь какой.

Через несколько дней я был в Морской по делу и по дороге еще раз зашел к Тургеневу. Чувствовал он себя лучше. Говорил много и о разных предметах, но больше всего о литературе и молодых писателях. Говорил о Г. И. Успенском, которого очень любил и ценил, досадуя на него только за одно, почему он не попытается большого романа или повести написать; а из молодых писателей больше всех ему нравился Гаршин. «Какая, должно быть, у него чудесная душа, — говорил он, — только что-то болезненное в нем есть». Очень нравилась ему еще небольшая повесть Виницкой, напечатанная в то время в «Отеч. записках». «Просто прелестные, чисто художественные есть страницы, — говорил он, — но не все хорошо, а потому трудно сказать, что из нее выйдет»[12]. Тургенев следил решительно за всем, что появлялось новенького в литературе, не исключая даже иллюстрированных изданий и таких газет и журналов, которых в Петербурге обыкновенно не читают, а потому знал и таких писателей, которые только что выступили в литературе или написали только одну какую-нибудь вещь, мало кому известную. Он помнил даже особенно выдающиеся и яркие места и страницы, которые произвели на него впечатление, обращал внимание даже на слог и внешность.

— А у Виницкой, — сказал он, — должно быть, Салтыков вымарывал и исправлял... Так это как-то чувствуется. Я почти безошибочно всегда могу сказать, где он постарался. Это уж такой человек, которого всегда и везде узнаешь. И, должно быть, сердился при этом, верно, что-нибудь было неподходящее или слишком растянутое. Сейчас ведь это видно, как он вырубает[13]. А как он сам меня радует, вы не можете себе представить: он не только нисколько не стареет, но становится все лучше и сильнее, нее ярче и определеннее. Я радуюсь за него, помимо всего прочего, еще чисто эгоистически, потому что это наше поколение, значит, мы не совсем еще старики и кое на что годимся... За исключением меня, впрочем, потому что я вряд ли могу уж теперь работать.

— А вы хотели два рассказа-то написать? — сказал я.

— Да, вот хотел и не мог ничего с собою сделать. Ну, да это что. Я говорю, работать так, чтобы стыдно не было, работать, как Салтыков, например, работает. Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литера-

тура теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он. Вот на ком непростительный грех, что не пишет, вот кто мог быть теперь чрезвычайно полезен — Лев Толстой; но что же вы с ним поделаете: молчит и молчит, да мало еще этого — в мистицизм ударился. Такого художника, такого первоклассного таланта у нас никогда еще не было и нет. Меня, например, считают художником, но куда же я гожусь сравнительно с ним? Ему в теперешней европейской литературе нет равного. Ведь он за что бы ни взялся — все оживает под его пером. И как широка область его творчества — просто удивительно. Будет ли это целая историческая эпоха, как в «Войне и мире», будет ли это отдельный современный человек с высшими духовными интересами и стремлениями или просто крестьянин с его чисто русскою душою, — везде он остается мастером. И барыня высшего круга выходит у него как живою, и полудикарь-черкес; даже животных, вы посмотрите, как он изображает. Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону, недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа совсем как-то пригнули ее; она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью». Да, вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади. И в то же время одинаково ему доступны и психическая сторона высоко развитого человека, и высшая философская мысль. Но что вы с ним поделаете? Весь с головою ушел в другую область: окружил себя библиями, Евангелием, чуть ли не на всех языках, исписал целую кучу бумаги. Целый сундук у него с этой мистической моралью и разными кривотолкованиями. Читал мне кое-что, — просто не понимаю его. Говорил ему, что это не дело, а он отвечает: «Это-то и есть самое дело». Очень вероятно, что он ничего больше и не даст литературе, а если и выступит опять, так с этим сундуком. Он не только для общества, но и для литера-

турной школы был бы нужен. У него есть ученики. Гаршин ведь несомненно его ученик.

Тургенев очень подробно расспрашивал меня о Гаршине и особенно об его эксцентрическом путешествии к графу Лорис-Меликову, о котором тогда говорили [14].

Тургенев лично знал Гаршина.

Очень удивлялся он, каким образом Гаршин, такой миролюбивый человек, вдруг бросил студенческую скамью и попал на войну, очутился вдруг на Дунае, в действующей армии, сражался и был ранен. Я также этому не мало удивлялся и однажды спросил его об этом. «Да, видите ли, как это случилось, — отвечал он, — я всегда сочувствовал братушкам, а тут, как нарочно, экзамены подошли, и я... по правде сказать, — струсил экзаменов, а потому взял и уехал». Он даже доказывал, помнится, когда я спросил: а разве на войне менее страшно? что экзамены, как акт систематического и растянутого страха, который переживается человеком индивидуально, при сознании полной своей зависимости от случая, усмотрения и настроения экзаменаторов, хуже военного страха, когда люди двигаются против опасности как-то стихийно, все вместе и с одинаковыми для всех шансами умереть или остаться в живых.

— Скажите, пожалуйста, — вдруг совершенно неожиданно спросил меня Тургенев после некоторого раздумья, — очень меня бранят за мою «Новь»?

Я смутился от такого неожиданного вопроса, предложенного тоже каким-то смущенным голосом, но сейчас же оправился и подумал, зачем я буду умалчивать или неправду ему говорить, а потому ответил:

— Да, Иван Сергеевич, побранивают...

— За что, за что, скажите, пожалуйста, вот это-то мне интересно. Я сознаю, что это неудачная в литературном отношении вещь, но у кого же нет неудачных вещей? У всех есть, и, право, за это не стоит бранить человека, да я думаю, что только за это и не бранили бы меня, а тут, очевидно, недовольство гораздо глубже идет. Это я вижу уже по одним печатным отзывам, а затем и слышу через знакомых, слышу, но все-таки никак не могу взять в толк, в чем именно дело, чем недовольны? Пожалуйста, не стесняйтесь и говорите откровенно. Я буду очень вам благодарен.

— Да, видите ли, говорят, что вы молодежь не настоящую взяли...

— Какую видел, такую и взял.

— Есть гораздо более яркие и симпатичные фигуры.

— Не отрицаю этого и охотно допускаю, но я таких людей близко не видел, не видел их деятельности, а затем подумайте, как бы я стал изображать их деятельность? Ведь тогда «Новь» не могла бы появиться в русской печати. Наконец, такие вещи трудно писать только понаслышке, их надо близко видеть, а еще лучше — пережить. У меня, если хотите, есть в «Нови» такие фигуры, но я не посмел их очерчивать даже общими чертами, поэтому они и стоят у меня вдали, в тумане. Ах, с каким удовольствием я изобразил бы «безымянного человека», это полное отречение от себя и всего, чем люди дорожат и во все века дорожили. Право, только русский человек может выдумать и быть способным на такую штуку[15].

— Вот и говорят, зачем же в таком случае вы Соломина поставили как-то выше других?

— Не выше, а вышло это, вероятно, потому, что Соломин ближе и понятнее мне, ближе к моим понятиям и представлениям, а затем я убежден, что такие люди сменят теперешних деятелей: у них есть известная положительная программа, хотя бы и маленькая в каждом отдельном случае, у них есть практическое дело с народом, благодаря чему они имеют отношения и связи в жизни, то есть имеют почву под ногами, на которой можно твердо стоять и гораздо увереннее действовать, тогда как люди, не имеющие не только прочных корней, но и просто поддержки ни в народе, ни в обществе, уже самою силою обстоятельств обречены на гибель и должны действовать урывками, постоянно озираясь и затрачивая непроизводительно, хотя бы на одно это, массу сил. Не подумайте, однако, что это мне доставляет удовольствие. Уверяю вас, что, кроме грусти, ничего не доставляет.

— А не думаете ли вы, что Соломины легко могут превращаться в простых буржуа или в самодовольных навозных жуков?

— Это уж от них зависит, это смотря по человеку или по людям и по тому, как они будут действовать, — в свою пользу или нет, в одиночку или согласно, поддерживая друг друга. Но подобные превращения всегда и во всех положениях ведь возможны.

— Вот еще говорят, что вы недостаточно показали всю трудность условий, в каких нашей молодежи приходится жить и действовать, стремиться к добру, пытаться сделать его и потом страдать.

— Это верно. Тут действительно следовало бы многое сказать. Мне на днях рассказывали такие факты, что просто ужас берет. Но опять, как это скажешь?

— Затем, Иван Сергеевич, самое главное, чем недовольны в «Нови», это то, что вы изобразили почти всех действующих лиц, кроме Соломина, ниже обыкновенного умственного уровня. В этом усматривают с вашей стороны умысел.

— Это неправда, этого я не имел в виду. Послушайте, ну разве же они так глупы? Конечно, это не гении, но и не глупцы. Скажите, пожалуйста, как вы сами об этом думаете? Откровенно скажите.

— Откровенно говоря, и мне тоже кажется — я не скажу прямо глупы: это действительно нельзя сказать, а както придурковаты.

Тургенев засмеялся и покраснел.

— Ну, значит, у меня не вышло, что я хотел показать, — сказал он. — Уверяю вас, что я не имел в виду изобразить их такими, я брал обыкновенных средних людей, а если и был тут некоторый умысел, так вот какой: мне хотелось показать некоторую умственную узость людей, в сущности, вовсе не глупых [16]. Так ведь это и есть на самом деле: люди до того уходят в борьбу, в технику разных своих предприятий, что совершенно утрачивают широту кругозора, бросают даже читать, заниматься, умственные интересы отходят постепенно на задний план, и получается в конце концов нечто такое, что лишено духовной стороны и переходит в службу, в механизм, во что хотите, только не в живое дело. Где нет движения мысли, там нет и прогресса. Почему же никто не хочет посмотреть так на вопрос, что я потому указал на эту слабую сторону, что желал добра молодежи?

Теперь уж я не помню всех подробностей этого довольно продолжительного разговора, помню только, что Тургенев в заключение сказал: «Новь» ведь у меня не кончена. Я удивляюсь, как этого не заметили. Так прямо оборваны нити, и как бы мне хотелось, если только буду в состоянии, написать продолжение или что-нибудь подобное на ту же тему. Не хочется только, чтобы об этом раньше времени говорили» [17].

Затем он спросил меня, что у нас в редакционном портфеле есть интересного по части беллетристики, и просил дать ему некоторые рукописи для просмотра. Через несколько же дней я исполнил это его желание и завез

ему какие-то две рукописи, которых и сам еще не читал, но которые мне хвалили. Заходил я к Тургеневу по большей части утром, пока еще не начинались к нему визиты. Так он сам просил, чтобы иметь возможность поговорить. Заставал я его обыкновенно уже в зале на диване, куда он с трудом перебирался из спальни. Ходить ему было очень трудно, одеваться также, а потому он не одевался и лежал в фуфайке и всем прочем из сосновой шерсти, прикрыв чем-нибудь ноги, которые, должно быть, очень болели, потому что он частенько морщился и поправлял их, а иногда и прямо жаловался; «Ах, какая несносная боль! Когда придет кто-нибудь и говоришь, то все еще ничего, как-то легче становится, а уж как один останешься, так просто беда». Тургенев был очень словоохотлив и обыкновенно сейчас же начинал что-нибудь рассказывать, точно действительно стараясь поскорее заглушить боль <...>

— <...> Я вам расскажу, в каком я здесь комическом положении, только вы, пожалуйста, никому не говорите, потому что мне, право, стыдно. Теперь ведь здесь время переходное, смутное, говорят о сведущих людях, всех спрашивают, как быть и что делать. В Париже были глубоко убеждены, что как только я сюда приеду, так сейчас же меня позовут для совещаний: «Пожалуйста, Иван Сергеевич, помогите вашей опытностью» и т. д. Гамбетта, который прежде держался относительно меня довольно высокомерно, тут два раза приезжал ко мне, несколько раз совещался с Греви, и составили они вместе целую программу, которую я должен был тут предложить, программу, безусловно, прекрасную, выгодную, конечно, для Франции, но не менее выгодную также и для России. Сколько было надежд и волнений. Теперь они там ждут от меня известий, и сам я, признаться, тоже разделял их надежды, а я сижу здесь дурак дураком целых две недели, и не только меня никуда не зовут, но и ко мне-то никто из влиятельных людей не едет, а те, кто заглядывает, как-то все в сторону больше смотрят и норовят поскорее уехать: «Ничего, мол, неизвестно, ничего мы не знаем». По некоторым ответам и фразам имею даже основание думать, что я здесь неприятен, что лучше было бы мне куда-нибудь уехать. Да я и сам уехал бы с большим удовольствием, если бы только не эта проклятая болезнь. Очень уж тут скучно теперь, а иногда право, даже страшно бывает: ничего не понимаешь, что творится, каждый что

хочет, то и делает, а потом все объясняют недоразумением. Покорно благодарю за такие недоразумения. Как только мало-мальски поправлюсь, сейчас же уеду в деревню. Но теперь, пожалуй, и в деревне тоже страшно?

— А в деревне-то чего же бояться?

— Как чего? И там, я думаю, тоже сумятица и смута в головах. Знаете, что может быть, — засмеялся Тургенев, — я иногда боюсь, что какой-нибудь шутник возьмет и пришлет в деревню приказ: «Повесить помещика Ивана Тургенева». И достаточно, и поверьте, придут и исполнят. Придут целою толпою, старики во главе, принесут веревку и скажут: «Ну, милый ты наш, жалко нам тебя, то есть вот как жалко, потому ты хороший барин, а ничего не поделаешь, — приказ такой пришел». Какой-нибудь Савельич или Сидорыч, у которого будет веревка-то в руках, даже, может быть, плакать будет от жалости, а сам веревку станет расправлять и приговаривать: «Ну, кормилец ты наш, давай головушку-то свою, видно, уж судьба твоя такая, коли приказ пришел».

— Ну, уж это вы преувеличиваете, — сказал я.

— Нет, право, может быть, может. И веревку помягче сделают, и сучок на дереве получше выберут, — фантазировал Тургенев и смеялся <...>

— <...> Скажите лучше, какие рукописи вы мне принесли?

Я сказал и отдал ему рукописи, причем высказал сожаление, что не мог захватить еще одного рассказа Н. В. Максимова, который мне очень нравится, но не нравится, к сожалению, цензуре.

— А в чем там дело? — спросил Тургенев. — Если не трудно и есть время, расскажите, пожалуйста, вкратце.

— По моей передаче вы не увидите литературной стороны рассказа, то есть самого описания, потому что я совсем плохо говорю, а тут именно в описании-то все и заключается, так как темою для рассказа послужил действительный случай, бывший в Пензенской губернии.

— Нет, все-таки расскажите мне только самую суть, самое содержание расскажите.

— А суть, — сказал я, — такая: жила, видите ли, в одном селе солдатка Матрешка, женщина опустившаяся, пьяная, оброшенная. Все, кто хотел, пользовался ее услугами, все над ней смеялись, ругали ее, а под пьяную руку и били. Дома своего у нее не было, ночевала она где случится из милости, а нередко и просто под заборами, по-

близости кабака. Но вот несколько человек крестьян, в сердцах на помещика, задумали поджечь барское гумно и решили воспользоваться для этого ею. С этой целью один из них приласкался к ней, поговорил по-человечески и сказал ей, чтобы она сослужила службу миру. И вот под влиянием этой-то ласки, человеческого отношения и идеи быть полезной миру она вдруг точно перерождается, становится другим человеком.

Тургенев приподнялся на диване.

— Какая чудесная тема, — сказал он. — Ну, а затем что же?

— А затем совершает она поджог, производится следствие, крестьяне, не дорожа ею и выгораживая себя, показывают на нее, попадает она в острог и судится в окружном суде. Но, выдавши ее, крестьяне чувствуют сожаление, их, как говорится, зазрила совесть, и они решаются выгородить ее на суде, то есть отказаться от своих показаний и сказать, что ничего не видали, ничего знать не знают и ведать не ведают. Цель достигается, и подсудимая выходит из суда оправданной. Только и всего.

Тургенев, забывши о больных ногах, вдруг вскочил и с чисто юношеским нетерпением спросил:

— Ну, а дальше что? Как он кончил? Как?

— А дальше, по выходе из суда и она и свидетели отправились в кабак, перепились, и опять все по-прежнему пошло, то есть она превратилась опять в старую Матрешку.

— Очень хорошо, ужасно я рад, что он так кончил, — сказал Тургенев, ложась опять на диван, — это вполне естественно: а я боялся, что он как-нибудь по-немецки кончит: заставит ее выйти за кого-нибудь замуж, устроит им с мужем какую-нибудь булочную или лавочку и т. д. Вы мне все-таки, пожалуйста, пришлите этот рассказ.

Прощаясь, он еще раз повторил ту же просьбу и сказал:

— Кланяйтесь, пожалуйста, Глебу Ивановичу и всем-всем. Мне кажется, что если бы я с вами, господа, почаще виделся, то опять стал бы писать. А если буду в силах и что-нибудь напишу из того, что думаю, непременно пришлю вам.

Я поблагодарил.

Через несколько дней он возвратил мне оставленные ему рукописи и уехал в деревню. Больше я его уже не видел.

КОММЕНТАРИИ

В настоящем двухтомнике (второе издание *) собраны воедино из обширнейшей многообразной мемуарной литературы об И. С. Тургеневе наиболее значительные и достоверные воспоминания современников. Такая задача встала перед исследователями творчества Тургенева достаточно давно. Почин был сделан в 1924 году Н. Л. Бродским, подготовившим сборник воспоминаний в двух частях. Собственно воспоминания составили первую книжку (около двенадцати печ. л.), во второй же публиковались избранные письма Тургенева, представляющие первостепенный интерес. Сборник так и назывался: «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников и его письмах» (М., 1924). Таким образом, в него вошла только небольшая часть мемуаров, опубликованных в отрывках; к тому времени количество выявленных воспоминаний насчитывало уже свыше ста названий. Следующим изданием мемуаров был тематический сборник «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» (М.—Л., «Academia», 1930), подготовленный М. К. Клеманом и Н. К. Пиксановым.

В шестидесятые годы, в канун юбилея писателя, особенно оживилась работа, связанная с выявлением затерявшихся публикаций воспоминаний о Тургеневе, а также мемуарных материалов, которые находятся в рукописных фондах страны.

Опубликованная в 1965 году библиография воспоминаний об Н. С. Тургеневе (*ЛН,* т. 73, кн. вторая) содержит уже свыше трехсот названий, но это в основном русские источники. Иностранная периодика в таких странах, как Франция, Англия, Германия, где Тургенев или подолгу жил, или часто бывал, до сих пор еще далеко не обследована и не изучена. Эта работа — дело будущего. Правда, в 1884 году, на следующий год после смерти Тургенева, в Петербурге был издан специальный сборник под названием «Иностранная критика о Тургеневе», в котором, наряду со статьями французских, немецких, датских исследователей, таких, как Мель-

* Первое издание было приурочено к 150-летию со дня рождения писателя. — «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников» в 2-х томах, М., «Художественная литература», 1969.

хиор де Вогюэ, Юлиан Шмидт, Георг Брандес, вошли воспоминания писателей — Ги де Мопассана, А. Доде, В. Рольстона. В 1908 году вышло второе, несколько дополненное издание этого сборника.

В 1967 году иностранные мемуары о Тургеневе пополнились опубликованными в «Литературном наследстве» воспоминаниями немецкого дипломата X. Гогенлоэ (дневниковые записи), участника франко-прусской войны Батиста Фори, французского писателя Жюля Кларти (*ЛН,* т. 76).

Настоящее издание подготовлено с учетом и на основе того, что уже сделано русскими и иностранными исследователями. Речь идет прежде всего об уникальном по своей полноте и уровне научной подготовки Академическом собрании сочинений и писем И. С. Тургенева в 28-ми томах, осуществленном Институтом русской литературы в 1961—1968 годах, и втором, дополненном издании (вышли в свет 10) томов), которое выходит в настоящее время; томах «Литературного наследства» (т. 73, 76), выпусках «Тургеневских сборников» *. Накоплен поистине огромный фактический материал, облегчающий комментирование мемуаров.

Расположение мемуаров, композиция томов в настоящем издании диктуется самим характером жизненного и творческого пути Тургенева. Жизнь Тургенева, можно сказать, была «поделена» между Россией и Францией, творчество же отдано только России.

Первый том воспоминаний сложился главным образом как «русский», отразивший три основных периода в судьбе Тургенева-писателя, в формировании его личности. Это сороковые—пятидесятые годы («Молодость Тургенева»), ознаменованные сближением Тургенева с Грановским, Станкевичем, встречей и дружбой с Белинским, близостью с Некрасовым, с кругом «Современника». В эти годы завязывается дружба с Фетом и Анненковым, с Л. Толстым. «Жизненные периоды у замечательных литераторов, — писал Анненков, — обозначаются резко их произведениями». Так и «Молодость Тургенева», как точно подметил мемуарист, завершается созданием «Рудина» — романа о людях сороковых годов.

Следующий раздел — шестидесятые годы: расцвет творчества, новый герой («Отцы и дети», «Накануне»), идейная борьба вокруг произведений Тургенева, разрыв с «Современником».

Последний раздел первого тома — «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» рисует один из значительных и важных этапов в жизни писателя, автора «Нови», — сближение с крупнейшими деятелями революционного народниче-

* «Тургеневские сборники». Материалы к Полн. собр. соч. и писем Тургенева. Вып. I—V. М.— Л., «Наука», 1964—1969; сб. «Тургенев и его современники». Л., 1977.

ства, а также с представителями народнической молодежи семидесятых годов.

Второй том, охватывающий в основном семидесятые — восьмидесятые годы, открывает раздел «Тургенев дома и за границей»: Германия, Франция, Англия; Тургенев — на Международном литературном конгрессе во Франции; торжественные встречи писателя во время его приезда в Россию в 1879 году, которые устраивались прогрессивными кругами русской интеллигенции; Тургенев — в Англии, где ему была присуждена Оксфордским университетом в июне 1879 года почетная степень доктора гражданского права; и снова Россия: писатель — организатор и участник Пушкинских торжеств в Москве в июне 1880 года.

В самостоятельный раздел выделены воспоминания иностранных современников Тургенева — в основном писателей, переводчиков, публицистов Франции, Англии, Германии, Америки. При всем разнообразии авторов мемуаров, степени их знакомства с писателем воспоминания зарубежных современников Тургенева на редкость единодушны в освещении его личности. Почти все мемуаристы говорят об удивительной многогранности Тургенева, общечеловечности его творчества, выражающего русскую национальную суть. Поэтому, естественно, иностранные воспоминания о Тургеневе содержат и размышления о России, о русском искусстве.

Последние годы пребывания Тургенева на родине были озарены встречей с великой русской актрисой М. Г. Савиной, примирением после длительной ссоры с Л. Н. Толстым. Воспоминания Савиной, С. Л. Толстого, старинного друга Тургенева Я. П. Полонского («Тургенев у себя в его последний приезд на родину») образовали самостоятельную главу. Последний раздел второго тома — «Болезнь и кончина И. С. Тургенева».

Внутри разделов воспоминания располагаются в хронологическом ряду, по времени первой встречи автора мемуаров с Тургеневым. Как правило, мемуары охватывают факты и события разных лет, претендуя на известную полноту рассказа о жизни писателя, что влечет за собой некоторые повторы, которые в то же время свидетельствуют и о достоверности того или иного факта, приведенного автором.

Подавляющее большинство воспоминаний о Тургеневе относится к более поздним, семидесятым — восьмидесятым годам. Ранний период, особенно сороковые — пятидесятые годы, гораздо слабее освещен в тургеневской мемуаристике. Это время запечатлели П. В. Анненков, А. Я. Панаева, Н. А. Тучкова-Огарева, Д. В. Григорович, чьи мемуары уже публиковались в советское время. Однако «тургеневские страницы» этих мемуаров включаются в настоящий сборник, ибо без них представление о писателе

было бы далеко не полным. Особенно важны работы П. В. Анненкова как непревзойденного истолкователя личности и духовного мира Тургенева. Осуществляя мемуарный цикл о Тургеневе, он сформулировал свою задачу как постижение «образа мыслей» своего великого современника. Его воспоминания, главным образом «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым», — своего рода классика в мемуарной «тургениане».

Большинство русских мемуаристов — младшие современники писателя, узнавшие его в семидесятые годы, когда в связи с подъемом народнического движения с новой силой вспыхнул интерес к автору «Записок охотника», «Отцов и детей», «Нови».

Широта и свобода мысли, разносторонность интересов в сочетании с неизменным стремлением «в первые ряды жизни», туда, где рождается новое, определили и тот на редкость обширный, представительный круг людей разных стран, с которыми общался Тургенев, отсюда и богатство, «всемирность» мемуарной литературы о писателе.

Воспоминания донесли до нас содержание несбывшихся замыслов Тургенева, которые в какой-то мере раскрыли новые грани его творчества. Остались неосуществленными грандиозные сюжеты, волновавшие воображение Тургенева. Их он называл «свифтовскими», «вольтеровскими» сюжетами. Исполненные остросатирических, гротескных коллизий, они свидетельствовали о глубокой неудовлетворенности Тургенева современным устройством общества (см. в воспоминаниях Н. А. Островской, Я. П. Полонского). Судя по некоторым приведенным в воспоминаниях фактам, Тургенев собирался выпустить брошюру о внутриполитической обстановке в России семидесятых годов, написать воспоминания о Герцене, Бакунине.

Некоторые мемуары являются единственным «документом», первоисточником сведений о событиях в жизни писателя. Так, из воспоминаний Фета становятся известны подробности ссоры Тургенева с Толстым. Значение первоисточника имеет и рассказ Анненкова («Шесть лет переписки...») о конфликте писателя с И. А. Гончаровым; воспоминания С. Н. Кривенко, Н. С. Русанова, Н. Н. Златовратского воссоздают правдивую и выразительную картину встречи Тургенева с радикальной народнической молодежью семидесятых — восьмидесятых годов. По словам современника Тургенева — Людвига Фридлендера, воспоминания Л. Пича «дают самые подробные сведения о баденской жизни» писателя. Из воспоминаний М. П. С—ой мы впервые узнаем о встрече Тургенева с деятелем немецкого освободительного движения Фердинандом Лассалем, воспоминания Е. Я. Колбасина подтверждают предположение исследователей о встречах писателя с Диккенсом.

В настоящем издании наряду с известными мемуарами публикуются воспоминания, малоизвестные широкому читателю. Это запись воспоминаний М. Н. Толстой, извлечения из мемуаров А. А. Фета, воспоминания Е. Я. Колбасина, Е. Ардова (Е. И. Апрелевой), М. М. Ковалевского, В. Рольстона и др.

Воспоминания публикуются с купюрами. Сокращается все, что не имеет непосредственного отношения к герою мемуаров, или сведения, заведомо неверные, грубо искажающие факты. Снимается также материал, лишенный мемуарной основы, сугубо биографический, написанный не по собственным авторским впечатлениям, а по литературным источникам. Сокращается также «статейный» материал, если его можно исключить без ущерба для содержания.

Купюры в начале и в конце отрывка не обозначаются, поскольку само название (Из «Воспоминаний») говорит о фрагментарности текста, купюры же внутри этого текста выделяются тремя точками, заключенными в угловые скобки. Воспоминания печатаются по последним прижизненным публикациям или авторитетным советским изданиям.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Анненков — П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.

Белинский — В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. в 13-ти томах, т. I—XII. М., Изд-во АН СССР, 1953—1959.

Герцен — А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, М., Изд-во АН СССР, 1954—1965.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9-ти томах. М.—Л., Гослитиздат, 1961—1964.

Житова — В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961.

ЛН — «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР. Издание продолжается.

Некрасов — Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. в 12-ти томах. М., Гослитиздат, 1948—1953.

Никитенко — А. В. Никитенко. Дневник в 3-х томах. М., Гослитиздат, 1956.

Стасюлевич — «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912.

Толстой — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М.—Л., Гослитиздат, 1928—1958.

Труды ГБЛ — «Труды Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина», вып. III—IV. М.—Л., «Academia», 1930.

Тургенев, Письма — И. С. Тургенев. Поли. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма в 13-ти томах. М.—Л., «Наука», 1961—1968.

Тургенев, Соч. — то же. Соч. в 15-ти томах.

Тургенев и круг «Современника» — «Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы, 1847—1861. М.—Л., «Academia», 1930.

Тург., сб., Пгр., 1915 — «Тургеневский сборник» под ред. Н. К. Пиксанова. «Огни», 1915.

Тург. сб., Орел, 1940 — «И. С. Тургенев. Материалы и исследования». Сб. под ред. Н. Л. Бродского. Орел, 1940.

Тург. сб., Орел, 1960 — «И. С. Тургенев (1818—1883—1958)». Статьи и материалы под ред. академика М. П. Алексеева. Орел, 1960.

Тург. сб., I, 1964 — «Тургеневский сборник. Материалы к Полн. собр. соч. и писем И. С. Тургенева». М.—Л., «Наука», 1964.

Тург. сб., II, 1966 — то же.

Тург. сб., III, 1967 — то же.

Тург. сб., IV, 1968 — то же.

Тург. сб., V, 1969 — то же.

Тург. в восп. рев. — «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников». М.—Л., «Academia», 1930.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 16-ти томах. М., Гослитиздат, 1939—1953.

Щедрин — М. Е. Салтыков-Щедрин. Полн. собр. соч. в 20-ти томах. М., «Художественная литература», 1963—1977.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

В СЕМЬЕ

В. Н. ЖИТОВА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О СЕМЬЕ И. С. ТУРГЕНЕВА»

Воспоминания Варвары Николаевны Житовой (1833—1900) принадлежат к наиболее достоверным страницам в мемуарной литературе об И. С. Тургеневе. В сущности, это единственные известные нам воспоминания близкого члена семьи Тургеневых.

Существует предположение исследователей, что В. Н. Богданович-Лутовинова (в замужестве Житова) — внебрачная дочь В. П. Тургеневой и А. Е. Берса *. Она прожила в семье Тургеневых семнадцать лет в качестве воспитанницы Варвары Петровны. Воспоминания Богданович-Лутовиновой охватывают двенадцать лет жизни в доме Тургеневых — с 1838 по 1850 год.

В 1838 году их автору было всего пять лет, и естественно, что события того времени переданы во многом со слов окружающих, домочадцев и, конечно, самой В. П. Тургеневой — главной героини мемуаров. С И. С. Тургеневым «воспитанница» встречалась эпизодически, так как именно, начиная с тридцать восьмого года — времени его первой поездки за границу (в Берлинский университет) — Тургенев все реже и реже стал появляться в родном доме. «...Я решила писать свои воспоминания об И. С. и его матери, — сообщала Житова редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу. — Боюсь, что мало скажу о нем. У нас бывал он очень редко. Но все, говоренное им в моем присутствии, помню до мельчайших подробностей» **.

Рисуя облик матери писателя, мемуаристка избегает всякой тенденциозности, свойственной многим воспоминаниям современников о грозной хозяйке Спасского. И в этом заключается сознательная полемичность мемуаров Житовой. «Меня до того возмущает вся ложь, писанная о Варваре Петровне в «Историческом вестнике» и прочих журналах, — сообщает она своему издателю, — что я нашла себя вынужденной несколько распространиться насчет ее образа жизни» ***. Очевидно искреннее стремление автора мемуаров разобраться в причудливо-трагической фигуре матери Тургенева, личности, при всей уродливости ее нравственных качеств, явно недюжинной, по-своему одаренной, что-то от своей не-

---

* *Житова,* с. 10—15.
** *Стасюлевич,* т. III, с. 667.
*** Там же, с. 670.

заурядности и талантливости безусловно передавшей И. С. Тургеневу. «Мои записки, — замечает Житова, — служат маленьким протестом против лживых и карикатурных изображений этой все же величавой и импонирующей личности» *.

Наблюдая год за годом жизнь семьи Тургеневых, мемуаристка даже в какой-то степени передает «движение» характера Варвары Петровны, сложность и драматичность ее взаимоотношений с сыновьями, ее духовное одиночество, жестокое самодурство, мучительное недовольство собою, — то есть все то, что, видимо, так потрясло Тургенева, прочитавшего дневник своей матери после ее смерти. «...С прошлого вторника, — писал он Полине Виардо 8/20 декабря 1850 года, — у меня было много разных впечатлений. Самое сильное из них было вызвано чтением дневника моей матери... Какая женщина, мой друг, какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Да простит ей бог все... Но какая женщина... Право, я совершенно потрясен» **.

Несмотря на некоторую идилличность повествования, мемуаристка передает и настроения протеста против крепостного права, которыми был охвачен молодой Тургенев. «В моей характеристике Варвары Петровны ярко виден источник ненависти Ивана Сергеевича к крепостничеству» ***, — утверждает автор воспоминаний.

В юности Тургенева и В. Богданович-Лутовинову связывали теплые родственные отношения. Тургенев покровительствовал воспитаннице своей матери.

В последние годы жизни В. П. Тургеневой, и особенно после ее смерти, отношения между Тургеневым и Богданович-Лутовиновой резко изменились. В письмах к Виардо Тургенев говорит о ней как о человеке «бессодержательном и избалованном», «фальшивом, злом, хитром и бессердечном» ****. Возможно, изъяны воспитания и оскорбительная двусмысленность положения сказались на характере В. Н. Богданович-Лутовиновой, но все-таки истинных причин разрыва мы не знаем. Получив свою долю наследства, она оставляет дом Тургеневых навсегда.

Известны шесть писем Тургенева к Богданович-Лутовиновой, хотя, по свидетельству биографа мемуаристки А. Могалькова, она неоднократно получала письма от И. С. Тургенева» *****. Узнав о тяжелой предсмертной болезни писателя, Житова предлагала ему свои услуги в качестве сиделки. 3/15 декабря 1882 года Тургенев писал Житовой из Парижа: «Сообщите мне также подробности о

* *Стасюлевич,* т. III, с. 672.
** *Тургенев, Письма,* т. I, с. 420.
*** *Стасюлевич,* т. III, с. 672.
**** *Тургенев, Письма,* т. II, с. 390.
***** *Житова,* с. 157—161.

Вашем житье-бытье, о Вашем семействе: могу Вас уверить, что это меня очень интересует. При обеднении собственной личной жизни, я тем более принимаю участие в жизни других людей, особенно тех, которые мне дороги по воспоминаниям прежних, лучших дней. А в числе этих людей Вы занимаете одно из первых мест» *.

В издании мемуаров Житовой близкое участие принимал П. В. Анненков. Только после его одобрения замысла воспоминаний Житова приступила к работе **. Анненков положительно отозвался о мемуарах Житовой, которые он читал в рукописи: они, по его словам, «весьма интересны, будучи выхвачены прямо из русского быта и жизни». «Рассказ е е , — писал он Стасюлевичу, — есть восстановление дела и правды» ***.

Воспоминания Житовой, впервые опубликованные в 1884 г. в журнале «Вестник Европы» (№ 11 и 12), были сразу замечены современниками. О них тепло отзывался А. Ф. Кони. Крупный ученый, исследователь русской литературы С. А. Венгеров называет воспоминания Житовой мемуарами «первостепенной важности».

Текст печатается по изданию: В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961.

[1] Через два года после окончания Петербургского университета (1-го словесного отделения философского факультета) Тургенев, по его собственным словам, «отправился доучиваться в Берлин». 15/27 мая 1838 г. он выехал за границу на пароходе «Николай I».

[2] В 1836—1837 гг. Тургеневы жили в Петербурге по адресу Литейная часть 3-го квартала, в доме Линева, № 17.

[3] О семейных преданиях, связанных с В. А. Жуковским, и своей встрече с поэтом Тургенев пишет в «Литературных и житейских воспоминаниях» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 76—77).

[4] См. «Литературные и житейские воспоминания». — *Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 8.

[5] В ночь на 19 мая ст. ст. 1838 г. пароход «Николай I», на котором находился Тургенев, отправлявшийся за границу, сгорел невдалеке от Травемюндского порта. Эта катастрофа осталась в памяти писателя на всю жизнь. С ней были связаны оскорбительные для Тургенева слухи о его далеко не мужественном поведении во время пожара, передававшиеся современниками в течение мно-

---

* *Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 2, с. 117.
** *Стасюлевич,* т. III, с. 667.
*** Там же, с. 428, 429.

гих лет из уст в уста. Сохранились интересные и живые воспоминания об этом происшествии Е. В. Сухово-Кобылиной. Они написаны со слов самого Тургенева, почти по следам событий. Судя по ее рассказу, Тургенев не потерял присутствия духа (*ЛН,* т. 76, с. 338). В год своей кончины Тургенев рассказал эту историю в очерке «Пожар на море» (1883), который был им продиктован Полине Виардо.

[6] Портрет выполнен, возможно, художником К. Горбуновым в 1838 г. «Портрет, по-моему, очарователен, — писал П. В. Анненков о нем Стасюлевичу, — это 20-летний Тургенев в полном виде и носит в выражении глаз и рта обещание всего, что он сделал» (*Стасюлевич,* т. III, с. 424). После смерти матери Тургенев, подарил портрет В. П. Житовой. Хранится в Государственном литературном музее в Москве.

[7] Альбом под названием «Записи своих и чужих мыслей для сына Ивана» хранится в ЦГАЛИ.

[8] Варвара Петровна вела дневники всю жизнь. Об этом сохранились свидетельства современников: В. Колонтаева пишет, например, что дневниками Варвары Петровны были забиты целые сундуки («Исторический вестник», 1885, № 10, с. 48). «Мы нашли дневник, писанный карандашом и относящийся к последним месяцам ее жизни», — писал Тургенев Полине Виардо 5 декабря 1850 г. О дневниках Варвары Петровны упоминается и в воспоминаниях С. Г. Щепкиной, относящихся к приезду Тургенева в Спасское в 1878—1879 гг. «Однажды он принес показать мне тетрадь своей матери, переплетенную в желтый сафьян с бронзовыми уголками и бронзовым медальоном посредине, исписанную ее рукой, — вспоминает мемуаристка. — За чаем стал выбирать места и читать вслух... Закрывши тетрадь, грустно прибавил: «Все прошлое ясно выступает перед глазами, будто происходило вчера» («Красный архив», 1940, № 3, с. 198).

[9] Тургенев возвратился из Берлина в Петербург 21 мая 1841 г. и через Москву отправился в Спасское, где он пробыл до середины сентября.

[10] Житова неточно передает отношение В. П. Тургеневой к поэме. Это подтверждается прежде всего ее письмами к сыну, а также и воспоминаниями современников. Появление «Параши» не только не прошло незамеченным, — напротив того, Варвара Петровна с интересом прочла поэму, которая ей понравилась. Ознакомилась она и с одобрительным отзывом Белинского («Отечественные записки», 1843, № 5, с. 1—11). «...О Параше имею так много сказать, — пишет она Тургеневу 27 мая 1843 г., — что буду писать в субботу пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь». В одном из следующих писем (25 июня 1843 г.) она, правда, откровенно замечает: «В первую минуту я прочла «Парашу» без

внимания. (Видимо, это первое чтение и имела в виду Житова. — *В. Ф.*) В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут». И в этом же письме: «Не читала я критики, но! — в «Отечественных записках» разбор справедлив и многое прекрасно...» «Параша» мне прежде еще читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант... Без шуток — прекрасно... мило, деликатно, скромно». В этом же письме есть строки, говорящие о том, что самой Варваре Петровне была свойственна поэтичность видения: «...Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все материальное любим. Итак, твоя «Параша» — твой рассказ, твоя поэма <...> (пахнет земляникою)» («Русская мысль», 1915, кн. XII, с. 111—113).

[11] Пожар большого спасского дома, случившийся 1/13 мая 1839 г., «сделался эрой в тургеневской семье» (*Житова,* с. 32—36). 6/18 мая 1839 г. Варвара Петровна в подробном письме сообщала сыну о случившемся (*Тург. сб., Пгр., 1915,* с. 44—46).

[12] О старинной библиотеке в Спасском и о своем первом знакомстве с русской литературой Тургенев рассказывает в письме к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову (3/15 сентября 1840 г.). Тургеневу было лет восемь или девять, когда он узнал «Россияду» Хераскова. «О «Россияда»! и о Херасков! Какими наслаждениями я вам обязан!» (*Тургенев, Письма,* т. I, с. 202). Эти впечатления детских лет оказались столь яркими, что Тургенев возвращался к ним вновь и вновь; с ними связаны автобиографические страницы «Дворянского гнезда» (гл. XI), повесть «Пунин и Бабурин». «В Спасском <...> по-видимому, существовал своего рода культ Хераскова <…> — утверждает современный исследователь жизни и творчества Тургенева Н. М. Чернов. — Быть может, отчасти феномен такого пристрастия объясняется тем, что одно из лутовиновских поместий... принадлежало М. М. Хераскову. Это — Сомово» («Тургенев и его современники». Л., 1977, с. 214). Вряд ли мемуаристка права, называя старого спасского лакея тем человеком, который первый познакомил Тургенева с «Россиядой» Хераскова. Большинство исследователей считало, что им мог быть скорее всего Федор Иванович Лобанов, бывший камердинер отца писателя, секретарь и доверенное лицо В. П. Тургеневой. Он начал обучать Тургенева грамоте (см. ст.: А. И. Понятовский. Тургенев и семья Лобановых. — *Тург. сб., I, 1964,* с. 270—270). Но Н. М. Черновым высказано другое, более убедительное предположение, что первым, кто «открыл» Тургеневу Хераскова, был Л. Серебряков, дворовый Варвары Петровны («Тургенев и его современники», с. 215).

[13] Детские и юношеские годы Тургенева, занятия в Берлинском университете связаны с именем Порфирия Тимофеевича Кудряшова («Карташов»), сына отца писателя и неизвестной кре-

постной. Кудряшов был отправлен вместе с Тургеневым в Берлин в качестве «дядьки». Одновременно он слушал лекции по медицине в Берлинском университете. «Тургеневу очень хотелось, — вспоминал Кудряшов, — чтобы я сдал экзамен на доктора, но благодаря моей лени дальше зубного врача не пошел, предпочел вернуться на свое пепелище. Варвара Петровна зачислила меня к себе в качестве домашнего врача, и в этой должности при ней находился до самой ее смерти» (записано со слов Кудряшова С. Г. Щепкиной в ее воспоминаниях о Тургеневе. — «Красный архив», 1940, № 3, с. 222; см. также в воспоминаниях Л. Майкова. — «Русская старина», 1883, № 10, с. 205—206). Однако главной причиной, помешавшей юноше завершить образование, была крепостная зависимость.

[14] А. Е. Берс

[15] Здесь мемуаристка не точна: Тургенев жил в Спасском лето 1841 г., в 1842 г. он оставался там меньше месяца (с середины июня до начала июля). В 1843 г, Тургенев был в Спасском лишь короткое время в начале апреля. Лето 1844 г. он провел в Парголове с Белинским, а лето 1845 г. — до глубокой осени — во Франции. И только в 1846 г. он прожил в Спасском с мая по октябрь.

[16] Франц Лист давал концерты в Москве в апреле—мае 1843 г.

[17] Глаза у Тургенева болели длительное время. В июне 1843 г. он сообщает П. А. Бакунину, что вынужден носить «зеленый зонтик на глаза». В 1845 г. болезнь усилилась. «Глаза мои очень стали плохи», — пишет он А. А. Бакунину в январе 1845 г. (*Тургенев, Письма,* т. I, с. 233, 240).

[18] Имеется в виду торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6/18 июня 1880 г.

[19] С Полиной Виардо Тургенев познакомился 1/13 ноября 1843 г. в Петербурге, где она выступала в Итальянской опере. Она исполняла партию Розины в «Севильском цирюльнике» Россини. В автобиографических записях Тургенева «Мемориал» (*ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 344) встреча с Полиной Виардо отмечена как важное событие. «В ноябре *знакомство с Полиной»,* — записывает Тургенев, особо подчеркивая эти слова. Видимо, мемуаристка спутала годы отъезда Тургенева за границу. Весь 1846 г. Тургенев провел в России. Таким образом, речь могла идти или о 1845 или о 1847 гг. Скорее всего имелся в виду 1845 г. В «Мемориале» под этим годом записано: «Концерты Полины в Москве. Возвращение вместе. Отъезд в чужие краи». Виардо приезжала в Россию подряд два сезона — 1843/44 г. и 1844/45 г. Судя по письму В. П. Тургеневой к своей знакомой М. Карповой (30 апреля 1845 г.), в котором она делится впечатлениями от пения Виардо, мать писателя посетила концерт не позднее второй половины апреля (*Житова,* с. 166).

[20] Интересным дополнением к воспоминаниям Житовой о прототипе Герасима являются мемуары В. Колонтаевой. Помимо своих городских обязанностей дворника и кучера, Немой «состоял в должности скорохода, должен был, невзирая ни на какую погоду, отправляться пешком с письмами и посылками от Варвары Петровны к ее знакомым» («Исторический вестник», 1885, № 10, с. 50).

[21] И. С. Тургенев уехал за границу 12 января 1847 г. Эта дата впервые стала известна из записей в «Мемориале»: «12-го января отъезд в Берлин...»

[22] Речь идет о драматических событиях, связанных с судьбой Федора Ивановича Лобанова и его жены Авдотьи Кирилловны (в воспоминаниях Житовой им даны вымышленные имена — Андрея Ивановича Полякова и Агашеньки). «Агашенька и муж ее были самыми преданными слугами Варвары Петровны, а вместе с тем и первыми мучениками ее деспотизма», — пишет Житова. Варвара Петровна требовала, чтобы Лобановы растили своих маленьких детей «на стороне», в деревне, и запрещала брать их в Москву, в городской дом. Ее распоряжение не выполнялось, и дети тайно жили с родителями в Москве (*Житова,* с. 40—49).

[23] Житова вспоминает Тургенева в состоянии сдерживаемого, а чаще всего подавляемого протеста. Но она не могла не знать, что были случаи, когда Тургенев пытался противостоять крепостническому произволу в имении своей матери. Впоследствии получило широкую огласку так называемое «Дело о буйстве И. С. Тургенева» (оно хранилось в архиве орловского губернатора). В 1834 г. шестнадцатилетний Тургенев якобы вступился за сверстницу, крепостную девушку Лушку, не разрешив ее продавать. Он встретил исправника и понятых с ружьем в руках. «Стрелять буду! — твердо заявил И. С. Тургенев. Понятые отступили...» В результате возникло «дело о буйстве», затянувшееся на несколько лет. Бумаги о «розыске» Тургенева, часто уезжавшего из России, пересылались затем из одного места в другое, вплоть до манифеста 1861 г. («Исторический вестник», 1912, № 2, с. 629—631). Известен и другой случай «самовластия» Тургенева: в неопубликованных воспоминаниях А. П. Шнейдер рассказывается о том, что И. С. Тургенев тайно от матери выкупил одного крепостного и отправил его за границу (*Тург. сб., II, 1966,* с. 293).

[24] По всей вероятности, имеется в виду несправедливо резкая и развязная статья о «Параше», появившаяся в «Библиотеке для чтения» (1843, № 3, с. 106—109).

[25] В. П. Тургенева не простила старшему сыну его женитьбы на своей бывшей камеристке А. Я. Шварц. При жизни матери Н. С. Тургенев, ушедший после женитьбы в отставку (по не совсем ясным причинам), очень нуждался в деньгах. В мемуарах Жито-

вой подробно рассказывается о злоключениях Н. С. Тургенева, о жестоком бойкоте, которому В. П. Тургенева, в сущности, подвергла семью старшего сына, лишив ее почти всяких средств к существованию (*Житова,* с. 108—123).

[26] В 1846 г. Н. Н. Тургенев женился и, как считает В. Н. Житова, в основном из-за этого впал в немилость, был отстранен В. П. Тургеневой от управления имениями. На эту должность был приглашен Иван Михайлович Бакунин, по словам Житовой, «человек весьма образованный и светский». В 1849 г. он оставил Спасское и поступил чиновником особых поручений при графе А. А. Закревском (*Житова,* с. 84—85, 101—102).

[27] Тургенев вернулся в Россию в июне 1850 г. Он не был на родине около трех с половиною лет. За это время Тургенев посетил Германию, Англию, дважды был в Бельгии, но в основном жил во Франции.

[28] Русские официальные власти косо смотрели на пребывание Тургенева в Париже во время французской революции 1848 г. Существует предположение, что по возвращении Тургенева из-за границы, где он встречался с Герценом, Бакуниным, им заинтересовалось III Отделение. Но на этот раз вмешательство друзей писателя, влиятельных при дворе л и ц , — по всей вероятности, графа Мих. Юрьевича Виельгорского, отвело подозрения в «неблагонадежности». Однако впоследствии, в 1852 г., когда Тургенев был арестован за статью о Гоголе, пребывание в революционном Париже 1848 г. ему также припомнили (см. воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой).

[29] К началу пятидесятых годов Тургенев был уже известен в литературных кругах Москвы и Петербурга прежде всего как автор «Записок охотника», регулярно появлявшихся на страницах «Современника», как создатель повестей («Андрей Колосов», «Три портрета», «Петушков»), драм и комедий («Где тонко, там и рвется», «Холостяк», «Нахлебник»). Пьесы его ставились в театрах и имели успех. О его произведениях писали Белинский и Некрасов.

[30] Так же как и его старший брат, Тургенев постоянно нуждался в деньгах; особенно трудно ему пришлось в 1849—1850 гг., когда отношения с матерью резко ухудшились. Деспотическая «финансовая политика», которую осуществляла В. П. Тургенева по отношению к своим сыновьям, необходима была, как казалось ей, чтобы держать детей в полной зависимости от себя.

[31] Столкновение из-за отцовского наследства рассорило Тургенева с матерью навсегда.

[32] Из писем Тургенева к Полине Виардо (от 28 ноября 1850 г. и 3 января 1851 г.) известно, что писатель и его брат обеспечили будущность В. Н. Богданович-Лутовиновой в соответствии с завещанием своей матери.

[33] Федор Иванович Лобанов («Поляков») и его семья, а также П. Т. Кудряшов после смерти В. П. Тургеневой получили вольную от Тургенева, который оставался другом этих людей в течение всей своей жизни. В частности, он много помогал Кудряшову (см. воспоминании С. Г. Щепкиной. — «Красный архив», 1940, № 3).

[34] Тургенев не успел проститься с матерью, так как ему поздно сообщили о ее безнадежном состояния. Он прибыл в Москву 21 ноября (3 декабря), а В. П. Тургенева скончалась 16 ноября 1850 г. Похоронена на кладбище Донского монастыря в Москве.

МОЛОДОСТЬ ТУРГЕНЕВА
КРУГ «СОВРЕМЕННИКА»

БЕРНГАРДТ ИКСКЮЛЬ ФИККЕЛЬ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ В 1839—1882 ГГ.

Воспоминания Бернгардта Икскюль Фиккеля — товарища Тургенева по Берлинскому университету — почти единственное * известное нам мемуарное свидетельство современника, относящееся к столь важному периоду в жизни писателя, когда формировались основы его философских и эстетических взглядов, обострялся интерес к этическим проблемам. Годы учения в Берлинском университете, в котором одновременно с Тургеневым слушали курс лекций Т. Н. Грановский, Я. М. Неверов, М. А. Бакунин, Н. В. Станкевич, отмечены увлечением немецкой философией, главным образом Гегеля.

Впервые опубликовано в «Baltische Monatsschrift», XXXI, 1884, B. I, № 1, под инициалами Б. У. Ф. Печатается по журналу «Русская старина», 1911, № 11. Полное имя автора мемуаров раскрыто в оглавлении журнала «Baltische Monatsschrift».

[1] Профессор философии Берлинского университета Карл Вердер был близок к кружку Станкевича и Грановского. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал, что под руководством профессора Вердера он «с особенным рвением изучал философию Гегеля» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 8).

[2] В 1839 г. Тургенев слушал лекции в Берлинском университете с января месяца и пробыл в Берлине до сентября.

* Воспоминания Я. М. Неверова («Русская старина», 1883, № 11), слушателя Берлинского университета в 1838—1839 гг., за очень небольшим исключением, бедны фактами.

[3] С М. А. Бакуниным Тургенев познакомился 25 июля 1840 г. Об университетских годах дружбы Тургенева и Бакунина см. в кн.: А. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина. Л.—М., 1925.

[4] По всей вероятности, Тургенев и Бакунин жили на Mittelstrasse, 60. Этот адрес записан в «Мемориале» (*ЛИ,* т. 73, кн. первая, с. 343, 354).

[5] Это утверждение барона Икскюль Фиккеля ошибочно.

[6] По всей вероятности, речь идет о зиме 1853/54 г., после возвращения Тургенева из спасской ссылки.

[7] Тургенев читал свою повесть «Два приятеля» («Современник», 1854, № 1). Неожиданную, немотивированную гибель героя современная критика относила к существенным недостаткам повести («Москвитянин», 1854, т. I, отд. V, с. 47). Готовя повесть для собрания сочинений 1869 г., Тургенев внес изменения в обстоятельства гибели героя. Воспоминания дополняют малоизвестную историю отношений Тургенева и княжны С. И. Мещерской в трудные для писателя годы опалы (см. статью Н. В. Измайлова «Тургенев и С. И. Мещерская». — *Тург. сб., II, 1966,* с. 226—248).

[8] Речь идет о повести «Несчастная». Автор воспоминаний мог встретиться с Тургеневым в Карлсруэ (не ранее осени—зимы 1868/69 г.). Вряд ли эти встречи происходили в России, так как Тургенев не держал корректуры повести, по его просьбе корректурные листы читал Н. Х. Кетчер. Возможно, что речь идет о печатных оттисках, которые писатель в январе 1869 г. просил ему прислать из Москвы в Карлсруэ (*Тургенев, Письма,* т. VII, с. 258, 307). Тургенев действительно называл свое новое произведение «мрачнейшим». В повести отразились воспоминания об истинных событиях, имевших место в тридцатые годы. «Это — просто — передача трагической судьбы одной девушки, которая промелькнула мимо меня во время моей молодости» (письмо к И. П. Борисову от 16/28 ноября 1868 г.; там же, с. 240).

А. В. ЩЕПКИНА

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Из главы «КРУЖОК ДРУЗЕЙ ГРАНОВСКОГО»

Воспоминания Александры Владимировны Щепкиной (? — ум. после 1915 г.) интересны и ценны тем, что автор их, жена Н. М. Щепкина (сына знаменитого русского актера) родилась и выросла в семье Станкевичей и хорошо знала круг друзей своего старшего брата Н. В. Станкевича.

Воспоминания о Тургеневе занимают очень скромное место в ее мемуарах, но в них есть тонко подмеченные штрихи психологического облика молодого писателя.

Щепкина вряд ли была коротко знакома с Тургеневым, хотя он и бывал в их семье. Но, судя по письмам Тургенева, он поддерживал отношения с ее мужем, главным образом из-за М. С. Щепкина, с которым его связывала настоящая творческая дружба. Сообщаемые ею сведения об отношении М. С. Щепкина к драматургии Тургенева прочно вошли в литературу о писателе. О частых встречах с М. С. Щепкиным и его сыном зимой 1850 года Тургенев упоминал в письмах к Полине Виардо (см. статью Т. С. Грица «М. С. Щепкин и Тургенев». — *ЛН,* т. 76, с. 548—570).

Текст печатается по изданию: А. В. Щепкина. Воспоминания. Сергиев Посад, 1915.

1 Тургенев узнал Грановского в 1835 г. в Петербургском университете. Об этом писатель рассказывает в статье «Два слова о Грановском»: «Он был старше меня летами и во время моего поступления находился уже на последнем курсе». В ту пору их сближала романтическая настроенность, любовь к поэзии, к прекрасному. В берлинский период они отдалились друг от друга. «...Мы не сошлись <…> откровенно признается Тургенев. — Говоря правду, я тогда не стоил того, чтобы сойтись с ним. Притом он в То время подружился с Н. В. Станкевичем <…> Станкевич имел величайшее влияние на Грановского, и часть его духа перешла на него. Познакомился я с Грановским окончательно в Москве...» (*Тургенев, Соч.,* т. VI, с. 372—373). Об отношении Грановского к Тургеневу пишет И. И. Панаев: «О Тургеневе я много слышал от Грановского... Грановский... отдавал справедливость его уму, но вообще отзывался о нем не совсем благосклонно. Он до самого конца жизни не питал к нему большой симпатии» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1950, с. 250). Однако, судя по скупым признаниям самого писателя, мемуарным свидетельствам, например, В. Н. Житовой, а главное, по письмам Тургенева к Грановскому (*Тургенев, Письма,* т. I), их взаимоотношения были сдержанно-доверительными, исполненными обоюдного уважения.

П. В. АННЕНКОВ

МОЛОДОСТЬ И. С. ТУРГЕНЕВА 1840—1856

Павел Васильевич Анненков (1813—1887) — литературный критик и мемуарист, близкий друг Тургенева. Они познакомились в 1843 году и с тех пор, в течение сорока лет, их отношения не пре-

рывались — последний раз Анненков виделся с Тургеневым незадолго до кончины писателя, в мае 1883 года.

До середины пятидесятых годов отношения Анненкова и Тургенева не были близкими. «Мы были тогда далеко не друзьями, — вспоминал Анненков о первых годах знакомства, — одно время он даже положительно возымел отвращение ко мне благодаря моей нескрываемой подозрительности к каждому его слову и движению и особенно к тем, которым он хотел придать вид искренности и увлечения. Я был груб и неправ перед ним; он мстил мне насмешками и эпиграммами, что было только неприятно по радости, которую доставляло общим противникам нашим. Только после многих годов сменяющегося благорасположения и холодности мы поняли, что есть какая-то непреодолимая связь, мешающая нам разойтись хладнокровно в разные стороны» *. И в самом деле, несмотря на разность характеров, между Анненковым И Тургеневым существовало редкое взаимопонимание, это был удивительный «союз ума и вкуса».

Анненков был одним из первых читателей и первых критиков Тургенева, большинство его новых произведений он просматривал в рукописи. Писатель доверял его эстетическому чутью, его литературному вкусу, непогрешимому чувству меры и здравому смыслу. Особенно он ценил способность Анненкова проникать в сокровенный замысел произведения, и в этом отношении сравнивал его с критиком Мерком (другом Гете), «одаренным необыкновенно верным критическим взглядом». «У Вас есть некоторые черты Мерка — по крайней мере, я не знаю никого, кому бы я больше верил в нынешнее время» * * , — говорил Тургенев.

Анненков выступал и как профессиональный литературный критик со статьями о произведениях Тургенева («Литературный тип слабого человека», «О мысли в произведениях изящной словесности», «Современная история в романе И. С. Тургенева «Дым» и др.). Но эти печатные выступления были, пожалуй, даже не так эффективны, как непосредственная рабочая «застольная» критика. Долгое время Анненков являлся одним из главных связующих звеньев между Тургеневым и Россией, регулярно сообщая писателю о «состоянии умов» на родине. Корреспонденций, написанных «энциклопедически-панорамическим» пером Анненкова, Тургенев всегда ждал с нетерпением.

Наряду с Гоголем и Белинским, Герценом и Грановским, Тургенев, хотя ему и отводится всего несколько страничек, также одно из главных действующих лиц «Замечательного десятилетия». Но эти страницы, являющиеся, по определению самого Анненкова, публицистическим отступлением, не содержат прямого мему-

* *Анненков,* с. 548.
** *Тургенев, Письма,* т. II, с. 145.

арного материала *, их ценность в другом: они выражают исходную принципиальную позицию Анненкова — истолкователя личности Тургенева. Он прежде всего видит в Тургеневе «летописца и историка умственных и душевных томлений всего своего времени», открывателя «особенного творчества на Руси, творчества в области идеалов» **. Изменчивость, неустойчивость тургеневского характера и поведения, черты, воспринимавшиеся многими современниками как только отрицательные (например, А. Я. Панаевой), Анненков объясняет неизбывной художнической жаждой новых впечатлений, свойственной писателю.

Прочитав в рукописи посвященные ему страницы «Замечательного десятилетия», Тургенев писал их автору осенью 1879 года: «Я очень умилился и несколько удивился: ведь вот друг — а как глубоко запускает пальцы в душу... и ничего! Не больно. И фактически все верно» ***. Почти то же самое Тургенев говорил М. М. Стасюлевичу: «Это просто чудесно. Меня он вывернул, как перчатку, показав мне самому все мое сокровенное» ****. Тургеневские страницы «Замечательного десятилетия», создававшиеся при жизни писателя, являются своеобразным прологом к собственно мемуарным произведениям Анненкова: «Молодость И. С. Тургенева» и «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым».

«Молодость И. С. Тургенева» представляет собой только часть большого мемуарного замысла о жизни и личности писателя. Приступая к работе, автор был не столько озабочен отбором фактов, ярких, броских эпизодов, рисующих облик молодого Тургенева, сколько искал «настоящего ключа к его образу мыслей» *****, — в этом видел он смысл и цель воспоминаний.

Биографическая часть воспоминаний (относящаяся главным образом к самому началу сороковых годов, когда Анненков еще не был близко знаком с Тургеневым) представляла для мемуариста известную трудность. Поэтому он и обращался к свидетельствам других современников. В письме от 24 ноября 1883 года он просит М. М. Стасюлевича, издателя «Вестника Европы» и своего друга, прислать ему ноябрьский номер «Исторического вестника», где есть «совершенно необходимая» роспись сочинений Тургенева, а также воспоминания Н. В. Берга и Е. М. Гаршина — «очень любопытные, хотя и не без вранья» ******. «Молодость И. С. Тургенева» (в своей первой части) носит явные следы вынужденной контаминации. Анненков использовал здесь и свои собственно литера-

* Поэтому они и не вошли в настоящее издание.
** *Анненков,* с. 337.
*** *Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 135.
**** Там же, с. 248.
***** *Стасюлевич,* т. III, с. 419.
****** Там же, с. 421.

турно-критические исследования о творчестве Тургенева — такие, например, как статью «О мысли в произведениях изящной словесности». Недостаток вполне достоверных биографических материалов, отсутствие непосредственных личных впечатлений о Тургеневе начала сороковых годов повлекли за собой неизбежные фактические неточности, которые оговариваются в реальных комментариях. Так как «Молодость И. С. Тургенева» создавалась почти сразу же после смерти писателя, то все небольшое вступление, предваряющее первую главу, было написано как некролог, который в настоящем издании опускается.

«Молодость И. С. Тургенева» впервые опубликована в «Вестнике Европы», 1884, № 2. Текст печатается по изданию: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960.

[1] См. об этом коммент. 5 на с. 432. «Слухи всюду доходят, — писала огорченная В. П. Тургенева сыну вскоре же после этого события, — и мне уже многие говорили, к большому моему неудовольствию... Ce gros monsieur Tourguéneff qui se lamentoit tant, qui disoit mourir si jeune <Толстый господин Тургенев так причитал, все говорил: Умереть таким молодым (фр.)>... Там дамы были, матери семейств. Почему же о тебе рассказывают? Что ты gros monsieur — не твоя вина, но! что ты струсил, когда другие в тогдашнем страхе могли заметить... Это оставило на тебе пятно ежели не бесчестное, то ридикюльное. Согласись...» (*Тург. сб., Пгр., 1915,* с. 33).

[2] См. об этом: И. С. Тургенев. Собр. соч., т. XI. М., 1931, с. 602—603; см. также в т. 2 наст. изд. воспоминания Н. В. Щербаня.

[3] В самом начале сороковых годов Тургеневу сопутствует репутация светского молодого человека. В «Мемориале» Тургенева есть запись 1842 г., подтверждающая впечатление современников: «Я лев. Ховрина, Блохина, Елагина, Самарины» (*ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 343). В это время молодой Тургенев — усердный посетитель модных гостиных и салонов, таких, например, как известный тогда литературный салон А. П. Елагиной. Интересные воспоминания, рисующие облик Тургенева сороковых годов, оставил В. А. Панаев: «Помню, как теперь, что я увидал Тургенева у Ив. Ив. <Панаева>, первый раз приехавшим после светских визитов и одетым в синий фрак с золотыми пуговицами, изображающими львиные головы, в светлых клетчатых панталонах, в белом жилете и в цветном галстуке... Вообще в Тургеневе заметна была еще тогда ходульность, а также замечалось желание рисоваться, отсутствие искреннего жара и, тем более, пыла...» Но за всем этим внешним, отзывающимся «позой», мемуарист прозорливо увидел и естественную дань эпохе. «В то время и Евгений Онегин Пушки-

на служил образцом для молодых людей, находившихся в условиях, подобных тем, в которых находился Тургенев, — пишет В. А. Панаев, — и потому весьма натурально, что он желал походить на героя пушкинской поэмы. Многие старались ломать из себя Онегиных, но они являлись по преимуществу карикатурными, чего никак нельзя было приписать Тургеневу. В нем было столько общего по всем условиям с Онегиным, что его можно было признать за родного брата пушкинского героя» («Русская старина», 1901 № 9, с. 485). Тургенев не любил этот «онегинский» период своей жизни; о себе в роли «светского льва» он вспоминал впоследствии с искренним и нескрываемым раздражением.

* С Н. В. Станкевичем Тургенев познакомился в 1833 г. в Московском университете. Затем они вновь встретились в 1838 г. Тургенев писал: «Во время моего пребывания в Берлине я не добился доверенности или расположения Станкевича» (*Тургенев, Соч.,* т. VI, с. 391). Они сблизились лишь в 1840 г., в последние месяцы жизни Станкевича в Риме. Дружба с молодым философом оставила глубокий след в жизни Тургенева. По словам писателя, Станкевич, сам того не замечая, увлекал людей «вслед за собою в область идеала». Станкевича притягивала щедрая одаренность Тургенева, его доступная всему прекрасному поэтическая натура. Свидетельство Анненкова особенно ценно в том смысле, что оно дает нам право утверждать: Станкевич был первый, проницательно увидевший в юном Тургеневе черты редкой «даровитости», способной «обновлять людей».

[5] Время знакомства Герцена с Тургеневым Анненков называет не точно. Тургенев познакомился с Герценом скорее всего в конце февраля 1844 г. (см. «Летопись жизни и творчества А. И. Герцена», «Наука», М., 1974). Первое впечатление Герцена о Тургеневе было действительно неблагоприятным: он казался Герцену «Хлестаковым, образованным и умным, внешней натурой» (*Герцен,* т. XXII, с. 176).

[6] Дар импровизации, фантазии, свойственный Тургеневу, нередко превратно воспринимался современниками — одними как сознательная, порою далеко не бескорыстная наклонность к преувеличению (см., например, в наст. т. воспоминания А. Я. Панаевой), другими как «нарушение нравственных приличий» (Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 136—137). Почти в тех же самых «грехах» обвинял молодого Тургенева его другой современник — Е. М. Феоктистов. «Вообще он, — утверждал мемуарист, — никогда не довольствовался передачей чего бы то ни было, как оно действительно происходило, а считал необходимым всякий факт возвести в перл создания, изукрасить его ради эффекта порядочною примесью вымысла, и этим приемом не брез-

гал, даже изображая портрет своей матери...» (Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы. М., 1929, с. 12—13).

[7] Драматическая поэма «Стено», написанная в 1834 г., не публиковалась при жизни Тургенева. Рецензия на книгу Муравьева была напечатана в «Журнале министерства народного просвещения» (1836, № 8). В 1838 г. в «Современнике» Плетнева появились стихотворения «Вечер» (№ 1), «К Венере Медицейской» (№ 4) с подписью «———въ». За подписью «Т. Л.» в «Отечественных записках» 1841—1843 гг. были впервые опубликованы стихотворения «Старый помещик», «Нева», «Человек, каких много», одобренные Белинским.

[8] Анненков не точен. После цикла стихотворений, объединенных под названием «Деревня», который был опубликован в первом номере «Современника» за 1847 г., Тургенев перестал выступать в печати как поэт.

[3] Белинский не раз с одобрением отзывался о «Параше»: в рецензии, посвященной поэме («Отечественные записки», 1843, №» 5), в обзорной статье «Русская литература в 1843 году» и в письмах к самому Тургеневу (*Белинский,* т. VIII, с. 65; т. XII, с. 168).

[10] Поэма «Разговор» создавалась в атмосфере горячих философских и литературных споров, которые велись между Белинским и Тургеневым в 1843—1844 гг. главным образом на тему о взаимоотношениях личности и общества. «Разговор» был написан летом 1844 г. в Парголово и вышел отдельным изданием в 1845 г. (Существует предположение, что под тремя звездочками посвящения скрыто имя Белинского — см. *Тургенев, Соч.,* т. I, с. 534.) Поэма, написанная в традициях высокой гражданской лирики Лермонтова, утверждавшая героическое начало в жизни, сильную свободолюбивую человеческую личность, вызвала споры в литературных кругах. Резко и недоброжелательно выступил славянофильский журнал «Москвитянин», усмотревший в поэме нигилистическое отношение к традициям прошлого, «какое-то спокойное отрицание древней жизни предков», легкомысленное противопоставление личности народу. Автор статьи увидел в тургеневской поэме лишь неудачное подражание Лермонтову («Москвитянин», 1845, № 2, отд. «Библиография», с. 52—53). Напротив, Белинский воспринял «Разговор» как произведение, рожденное современностью: «...Всякий, кто живет и, следовательно, чувствует себя постигнутым болезнию нашего века — апатиею чувства и воли при пожирающей деятельности мысли, — всякий с глубоким вниманием прочтет прекрасный поэтический «Разговор» г. Тургенева и, прочтя его, глубоко, глубоко задумается» (*Белинский,* т. VIII, с. 599).

[11] «Хорь и Калиныч» был напечатан в первой книжке «Совре-

менника» за 1847 г., в отделе «Смесь». Здесь Анненков не совсем точен. Появление «Записок охотника» было встречено недоброжелательно консервативной критикой. В первой книжке «Москвитянина» за 1848 г. в статье С. П. Шевырева Тургенев был назван «копиистом», далеким от поэтического видения жизни.

[12] Тургенев пробыл на службе в министерстве внутренних дел немногим больше полутора лет — с 8/20 июня 1843 до 9/21 февраля 1845 г. Его непосредственным начальником был В. И. Даль, который руководил Особенной канцелярией. С решением поступить на службу в министерство внутренних дел, возглавлявшееся прогрессивным государственным деятелем Л. Л. Перовским, связан важный факт творческой биографии Тургенева: в качестве экзаменационной работы им была написана статья «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине» (1842). Министерство внутренних дел занималось в сороковые годы подготовкой крестьянской реформы — и это, видно, привлекло Тургенева, уже тогда мечтавшего об отмене крепостного права (*Тургенев, Соч.,* т. I, с, 629—630).

[13] Предположение мемуариста о том, что критический тон выступления Тургенева о драме Гедеонова «Смерть Ляпунова...» вызван чувством соперничества, субъективно. В тургеневской рецензии («Отечественные записки», 1846, № 8) давалась аргументированная, выдержанная в спокойных тонах критика псевдоромантической ходульной драматургии С. А. Гедеонова.

[14] Анненков несколько односторонне истолковывает отношение Тургенева к литературно-философским кружкам тридцатых—сороковых годов. Мемуарист основывается главным образом на той иронической характеристике, которая дана этим кружкам в рассказе Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849). Правда, Анненков не был одинок в своем восприятии тургеневской оценки. «Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, — вспоминает в своих мемуарах Б. Н. Чичерин, — что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков... Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль... Тургенев согласился с моим замечанием» (В. II. Чичерин. Воспоминания. Москва сороковых годов, с. 6). Но Тургенев никогда не отрицал прогрессивного исторического смысла литературно-философских кружков тех лет — своеобразных форумов просветительской русской мысли. В одном из самых обаятельных лиц романа «Рудин», Покорском, современники узнавали черты прекрасной личности Н. В. Станкевича, руководителя философского кружка московской молодежи; Тургенев радовался, прочитав в «Очерках гоголевского периода» Н. Г. Чернышевского теплые строки о кружках тридца-

тых годов. Ио вместе с тем он хорошо видел их слабую сторону: кружковую замкнутость, неестественную изолированность от жизни, полной «иронических, оскорбительных противоречий» (Герцен). Трезвый взгляд Тургенева на кружки тридцатых — сороковых годов разделяли Герцен, М. Е. Салтыков (см., например, его философскую повесть «Противоречия»), «Хуже всего то, — писал Белинский М. Бакунину 9 декабря 1841 г., — что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка» (*Белинский,* т. XII, с. 77).

[15] См. коммент. 33 на с. 452.

[16] Мемуарист обращает внимание на редкую целенаправленность творчества Тургенева — его упорное стремление исчерпать «тип», «героя времени» до конца. Начав летопись поколения лучших людей из среды дворянской интеллигенции в сороковые годы (еще со времен первых поэм, а не в 1840 г.), Тургенев в «Дневнике лишнего человека» (1850) очень точно и лаконично, одним словом «лишний», определил положение в современном обществе героя повести, «сверхштатного человека», пораженного болезнью века — рефлексией. Писатель, обычно весьма сдержанно отзывавшийся о своих произведениях, назвал «Дневник...» «хорошей вещью»; в ней, говорил он, «схвачен кусок подлинной жизни» (*Тургенев, Письма,* т. VII, с. 89, 368). Об исторической и психологической точности Тургенева свидетельствует любопытная запись в дневнике молодого Добролюбова. «А в самом деле — какое ужасающее сходство нашел я в себе с Чулкатуриным... Я был вне себя, читая рассказ, сердце мое билось сильнее, к глазам подступали слезы, и мне так и казалось, что со мной непременно случится рано или поздно подобная история...» (*Добролюбов,* т. 8, с. 517; см. также: М. О. Габель. Дневник лишнего человека. Об авторской оценке героя. — *Тург. сб., II, 1966,* с. 118—126). Повесть «Дневник лишнего человека» стала вехой на пути к созданию истинного «героя времени», человека иного, неизмеримо большего масштаба в первом тургеневском романе «Рудин».

[17] О незаурядном эпиграмматическом даре Тургенева говорится во многих мемуарах о писателе (А. Я. Панаевой, Д. В. Григоровича, А. А. Фета и др.). Полнее других об этом рассказывает Я. П. Полонский и приводит в воспоминаниях сохранившиеся тексты эпиграмм и шаржей писателя (см. в т. 2 наст. изд.). «У Тургенева был все-таки где-то запрятан уголок с запасом язвительной остроты... — замечал также Д. В. Григорович. — У меня записано до 20 горьких эпиграмм его работы» («Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 42). Известны его эпиграммы на Боткина, Дружинина, Кетчера, Никитенко, Кудрявцева и др. (см. статью Е. А. Гитлиц «Эпиграммы Тургенева». — *Тург. сб., III, 1967,* с. 56—72).

[18] «Я не придумывал этой повести, — писал Тургенев графине

Е. Е. Ламберт, — она дана мне была целиком самой жизнью» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 201).

[19] С Ольгой Александровной Тургеневой, своей дальней родственницей, женщиной незаурядной и обаятельной, прекрасной пианисткой, Тургенев особенно сблизился в 1854 г. в Петергофе. Вместе с Анненковым, Дружининым, Некрасовым и Панаевым он часто бывал на вечерах в доме ее отца, А. М. Тургенева. Увлечение Тургенева не осталось тайной для его друзей. «Здесь мне рассказывали про него, — писал И. С. Аксаков отцу (21 августа ст. ст. 1854 г.), — что он женится... на какой-то Тургеневой же». Однако уже в самом начале 1855 г. Тургенев в письме от 6/18 января выражает неудовольствие распространившейся молвой о его женитьбе: «Нужно прекратить слухи и сплетни, повод к которым подало мое поведение» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 254, 550). Но и после «разрыва» Тургенев с теплым участием продолжал следить за судьбой О. А. Тургеневой. «Одним прекрасным, чистым существом на свете меньше», писал он Анненкову, узнав о ее ранней кончине (*Тургенев, Письма,* т. IX, с. 282). Встреча с О. А. Тургеневой оставила след в творчестве писателя — в повести «Переписка», романе «Дым» (Ольга Александровна — прототип Татьяны, невесты Литвинова). См. об этом статью Л. Н. Назаровой «Тургенев и О. А. Тургенева» в *Тург. сб. 1,1964,* с. 293—299; «Воспоминания» Е. С. Иловайской (Сомовой) о Тургеневе (*Тург. сб., IV, 1968,* с. 251—259).

[20] Критический темперамент Ап. Григорьева ценил и Тургенев: «Меня влечет к нему; он напоминает мне покойного Белинского...» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 39, 465). См. вступительную статью А. И. Журавлевой в кн.: Ап. Григорьев. Эстетика и критика. М., 1980.

[21] Тургенев одно время покровительствовал начинающему поэту К. К. Случевскому, с которым познакомился в конце 1859 г. Его стихи публиковались в столичных журналах, в «Современнике», «Отечественных записках» и др. не без участия Тургенева. Однако дебют поэта успеха не имел. Вскоре и сам Тургенев разочаровался в Случевском, который, оставив поэзию, сформировался в откровенно реакционного общественного деятеля. В письме от 27 июля 1879 г. писатель прямо заявил Случевскому в ответ на его просьбу дать отзыв о поэме: «К сожалению, произведения Ваши не возбуждают во мне симпатии» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 108). Тургенев изобразил Случевского в сатирической фигуре Ворошилова в «Дыме». Случевский написал воспоминания о Тургеневе, составившие в его книжке «Новые повести» (СПб., 1904) главу под названием «Одна из встреч с Тургеневым (Воспоминание)».

[22] В начале пятидесятых годов Тургенев возлагал большие надежды на К. Н. Леонтьева, бывшего в ту пору студентом-медиком

Московского университета. В литературных опытах Леонтьева писатель увидел задатки самобытного и оригинального таланта, хлопотал о публикации его произведений (романа «Булавинский завод», повести «Немцы» и др.), предлагал материальную помощь. Но и здесь Тургенева постигло разочарование. Сделавшись впоследствии религиозным мыслителем и реакционным публицистом, Леонтьев почти совсем оставил литературу. «Взгляды наши на все... разошлись...» — писал он о своих прекратившихся уже в начале шестидесятых годов отношениях с Тургеневым (*Тург. сб., II, 1966,* с. 259). Однако Леонтьев сохранил признательность Тургеневу, не мог забыть «благородного участия», проявленного к нему писателем. Чувством «личной благодарности» проникнуты небезынтересные воспоминания К. Н. Леонтьева «Тургенев в Москве, 1851—1801 гг.» («Русский вестник», 1888, № 2—3) и «Страницы воспоминаний» (СПб., 1022).

[23] Тургенев, желая помочь своему другу, переводчику Шекспира Н. X. Кетчеру, предоставил ему право на первое отдельное издание «Записок охотника», в которое вошел и неопубликованный ранее рассказ «Два помещика». После ареста Тургенева в мае 1852 г. сборник, уже получивший цензурное разрешение (6/18 марта), был вновь затребован в цензуру. Через три месяца, в августе 1852 г., была получена резолюция Николая I об отставке цензора В. В. Львова (см. *Тургенев, Соч.,* т. IV, с. 502—505).

[24] Мнение о непосредственном влиянии «Записок охотника» на отмену крепостного права в России бытовало не только среди русских современников Тургенева, но и в кругу его иностранных друзей.

[25] Творчество И. Е. Забелина, одного из крупнейших знатоков русской истории и, в частности, Москвы XVI—XVII вв., живо интересовало Тургенева. «Я в Москве много говорил с Забелиным, который мне очень понравился, — сообщал он Аксаковым 6/18 июня 1852 г. — Светлый русский ум и живая ясность взгляда. Он водил меня по кремлевским древностям» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 60). Тургенев собирался издать книгу Забелина «Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст.». В письме от 18 мая 1853 г. Забелин отклонил предложение Тургенева, так как его работа к тому времени была «доведена еще только до половины» (см. публикацию Л. Н. Назаровой в *Тург. сб., I, 1964,* с. 379—382).

[26] Анненков не точен: возвратившись в Россию из Берлина в мае 1841 г., Тургенев уже в июле 1842 г. вновь уезжает в Германию до конца зимы. Свои гастроли в России в сезон 1845/46 г. Полина Виардо прервала в середине февраля из-за болезни, как об этом сообщалось в газете «Северная пчела» от 12 февраля 1846 г. Тургенев на этот раз не сопровождал Виардо. Во второй половине января 1847 г. писатель действительно был в Берлине,

где в составе немецкой оперной труппы с 1 января выступала Полина Виардо.

[27] О том, что Тургенев хотел помочь семье Белинского, вспоминает и А. Я. Панаева. При жизни Белинского этой возможности Тургеневу не представилось. Судя по переписке с Боткиным и Некрасовым, в пятидесятые годы Тургенев обязался выплачивать пенсию дочери Белинского. «...Я обещал ей <М. В. Белинской> когда-то давать ежегодно Ольге. Я не отказываюсь, но теперь мои обстоятельства такие, что я не могу это сделать тотчас», — писал он В. П. Боткину 9/21 июля 1855 г. (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 290). Между тем, как следует из письма Некрасова от 10 сентября 1857 г., Тургенев, видимо, выплачивал какое-то время обещанную пенсию: «Дочери Белинского уже 15 лет, у ней и у матери ничего нет, кроме скудного жалования и твоей пенсии...» (*Некрасов,* т. X, с. 361).

[28] О замысле альманаха Белинский, видимо, говорил Тургеневу еще весной 1845 г. (*Тургенев, Письма,* т. I, с. 242, 550). С организацией литературного альманаха критик связывал большие надежды — обретение самостоятельности, разрыв с «Отечественными записками», с редактором журнала — Краевским, жестоко и цинично эксплуатировавшим Белинского. «Чтобы отделаться от этого стервеца, — писал Герцену Белинский, — мне нужно иметь хоть 1000 р. серебром... К Пасхе я издаю толстый огромный альманах» (*Белинский,* т. XII, с. 254; см. также с. 253, 264). Для затевавшегося альманаха «Левиафан» друзья критика собирались дать свои произведения. Предполагалось, что в нем будут опубликованы вторая часть повести Герцена «Кто виноват?», «Записки доктора Крупова», «Сорока-воровка», статья Грановского и Кавелина, «Обыкновенная история» Гончарова, новые произведения Достоевского. Тургенев обещал в альманах статью о немецкой литературе и поэму «Маскарад» (см. статью М. А. Ванюшина «Белинский в работе над организацией альманаха «Левиафан» в 1846 г.». — «Ученые записки Саратовского Гос. университета», т. XXXI, Саратов, 1952). В апреле 1846 г. Белинский порывает с «Отечественными записками». Но альманах так и не увидел света, главным образом из-за денежных затруднений. Редакционный портфель этого несостоявшегося издания был передан «Современнику». В письме к А. Н. Пыпину в июле 1874 г. Анненков также называл В. Н. Майкова protégé Тургенева: «Человек, введший в редакцию «Отечественных записок» покойного Майкова, был не кто другой, как И. С. Тургенев — горячий друг Белинского и самого Некрасова» (*ЛН,* т. 67, с. 550). Судя по воспоминаниям А. В. Старчевского, Тургенев, исполняя просьбу И. А. Гончарова, отрекомендовал Майкова издателю «Отечественных записок» «как автора статьи «Общественные нау-

ки», подававшего большие надежды» («Ученые записки Тартуского Гос. университета», вып. 119, 1962, с. 377). С ноября 1846 г. ведущим критиком «Отечественных записок» становится В. Н. Майков.

[29] С момента основания журнала Тургенев играл заметную роль почти во всех областях, связанных с изданием «Современника». В первых же трех номерах он опубликовал, помимо двух рассказов из «Записок охотника», литературно-критические и публицистические статьи: рецензию на трагедию Н. В. Кукольника «Генерал-поручил Паткуль...», фельетон «Современные заметки», «Письма из Берлина», замеченные и одобренные Белинским (см. *Белинский,* т. XII, с. 344—345). Во время своих частых отлучек из Петербурга Тургенев продолжал внимательно и ревниво следить за деятельностью журнала. Так, он пишет И. И. Панаеву и Некрасову в октябре 1853 г. из Спасской ссылки: «Что-то Булгарин вас стал похваливать. Обратите внимание на критику, на опечатки, на смесь. Смесь иногда выбирается из каких-то уж очень застарелых журнальных известий. А впрочем, все-таки приятно взять ваш журнал в руки...» (*Тургенев, Письма,* т. II. с. 195). В пятидесятые годы Тургенев выступает не только как постоянный автор, но и как организатор литературных сил, заботясь о том, чтобы «Современник» знакомил русских читателей с лучшими произведениями мировой литературы.

[30] О жизни с Белинским в Зальцбрунне (с 22 мая/3 июня по начало июля 1847 г.) Тургенев писал в «Литературных и житейских воспоминаниях». Анненков приехал в Зальцбрунн 29 мая/10 июня 1847 г. и пробыл там вместе с Белинским немногим больше месяца, по 3/15 июля 1847 г., то есть весь курс его лечения (*Белинский,* т. XII, с. 368, 372). Тургенев в 1847 г. начал серьезно изучать испанские язык и месяцев через десять, как свидетельствует Н. В. Берг, стал объясняться на нем — недурно, «но *гения языка»,* по собственному признанию его, не мог одолеть никогда» («Исторический вестник», 1883, ноябрь, с. 371). Известно, что Тургенев, совершенствуя свои знания, переводил на испанский язык роман Прево «Манон Леско».

[31] В середине июля 1847 г. Тургенев на короткое время ездил в Лондон, возможно, для свидания с Полиной Виардо. 18 июля он был уже в Париже. В письме от 26 сеитября/8 октября 1879 г. Тургенев благодарит мемуариста за то, что в его воспоминаниях («Замечательное десятилетие») не раскрыт «один (и главнейший) мотив: его «тогдашних поступков, внезапных отъездов и т. и. ...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 135). Частые отлучки из Парижа были вызваны поездками в Куртавнель, в загородную виллу семьи Виардо. Приятельские отношения с Жорж Санд завязались у Тургенева лишь после 1872 г., хотя познакомились они в 1845—1848 гг.

[32] Очерки «Наши послали!», «Человек в серых очках» (опубликованы в 1874 и 1880 гг.) создавались под непосредственным впечатлением французской революции 1848 г, Анненков подчеркнуто сдержанно говорит об отношении Тургенева к революционным событиям в Париже, представляя его как чуткого, тонкого, но совершенно нейтрального наблюдателя. Между тем Тургенев часто встречался в Париже с Герценом, Бакуниным и другими деятелями революционной эмиграции, и его отношение к развернувшимся революционным событиям далеко не было бесстрастным. В «Дневниках» П. А. Васильчикова (1853—1854 гг.) приведена запись рассказа Тургенева о революционных днях в Париже 1848 г., из которой ясно, что писатель был полон живого интереса к участникам революционных боев (*ЛН,* т. 76, с. 342—358).

[33] Арест (16/28 апреля 1852 г.) и затем последовавшая ссылка Тургенева (в конце мая) были вызваны прежде всего появлением в свет в 1852 г. отдельного издания «Записок охотника». Статья о смерти Гоголя представила лишь удобный повод для репрессий. «В 1852 году за напечатание статьи о Гоголе (в сущности, за «Записки охотника») отправлен на жительство в деревню...» — так объяснял сам Тургенев истинную причину ареста (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 395, 635). Интересные подробности об аресте писателя и резонансе, который имело это событие, содержатся в воспоминаниях Е. М. Феоктистова, бывшего в пятидесятые годы в приятельских отношениях с Тургеневым. За вполне нейтральное посредничество в опубликовании статьи, запрещенной столичной цензурой (напечатана в «Московских ведомостях», № 32, 13 марта 1852 г. под названием «Письмо из Петербурга», подпись: «Т...в»), Феоктистов и В. П. Боткин состояли под надзором полиции до 1856 г. Около 22 марта ст. ст. 1853 г. Тургенев тайно приезжал в Москву для свидания с Полиною Виардо. 4 июня и. ст. 1853 г. Герцен писал М. К. Рейхель: «Приехала сюда <в Лондон> M-me Viardo прямо из Питера, рассказывала о Тургеневе, он приезжал в Москву тайком».

[34] Начиная с апреля 1852 г., то есть с момента ареста, Тургенев подал несколько жалоб на имя «высочайших особ», в частности, он дважды писал и вел. кн. Александру Николаевичу. Известно также об официальном письме Тургенева к шефу жандармов и главному начальнику III Отделения гр. А. Ф. Орлову от 17 ноября 1853 г. с просьбой о прекращении ссылки. Но еще 16 ноябри А. Ф. Орлов под давлением влиятельных друзей Тургенева и в первую очередь поэта А. К. Толстого подписал распоряжение, которое давало право писателю возвратиться в Петербург. Однако по приказанию Николая I за Тургеневым сохранялся «строжайший надзор» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 381—384, 635—637). *Парижский мир* был заключен в 1856 г.

[36] Анненков имеет в виду Ап. Григорьева, А. Н. Островского, А. Ф. Писемского, постоянных сотрудников «Москвитянина», журнала славянофильской ориентации (*Анненков,* с. 490—495). Редакция «Современника», непримиримо относившаяся к идейным позициям «Москвитянина», не могла, однако, не заметить одаренности, талантливости таких художников, как Островский и Писемский. В 1852 г. в третьей книжке «Современника» появилась статья Тургенева «Несколько слов о новой комедии г. Островского «Бедная невеста», в которой писатель, имея в виду влияние славянофилов, пожелал Островскому «выпутаться из тех сетей, которые он сам наложил на свой талант» (*Тургенев, Соч.,* т. V, с. 396). Дружеские отношения Тургенева к Писемскому, «замечательному таланту», скрасили сложную, во многом драматическую жизнь этого самобытного русского писателя, но они отнюдь не были ровными и терпимыми, как это представляет Анненков (о Тургеневе и Писемском см. *ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 125—138).

[36] В письме к Боткину от 24 ноября 1855 г. Некрасов сообщал о приезде Л. Толстого из Севастополя в Петербург и о том, что он отправился «прямо с железной дороги к Тургеневу» (*Некрасов,* т. X, с. 59; см. также в наст. т. воспоминания А. А. Фета). Ошибка мемуариста: «Детство» было опубликовано в сентябрьском номере «Современника» за 1852 г. под названием «История моего детства», а «Отрочество» в 1852 г. («Современник», №10).

[37] Анненков имеет в виду повесть «Альберт» («Современник», 1858, № 8), в основу которой, по словам Л. Толстого, легла действительная история скрипача Георгия Кизеветтера (*Толстой,* т. 47, с. 109).

[38] Подробнее о ссоре Тургенева и Л. Толстого см. в мемуарах «Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым», в воспоминаниях А. А. Фета.

[39] О полемике, разгоревшейся вокруг романа «Рудин», см. воспоминания Чернышевского. Анненков в данном случае упрощает проблему.

А. Я. ПАНАЕВА (ГОЛОВАЧЕВА)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Тургенев встретился с Авдотьей Яковлевной Панаевой (1820—1893) в 1843 году, в пору его сближения с кружком Белинского. Отношения Тургенева с Панаевой на всем протяжении их знакомства отличались взаимной холодностью и даже неприязнью, что не могло не сказаться на характере ее воспоминаний.

«Воспоминания» А. Я. Панаевой — единственный в своем роде

живой и выразительный рассказ о замечательной плеяде выдающихся писателей, критиков, публицистов, группировавшихся вокруг журнала русской демократии — «Современника». В течение тридцати с лишком лет она не просто наблюдала жизнь ведущих русских литераторов, а была непосредственной свидетельницей, а то и участницей многих знаменательных событий. На ее глазах происходило рождение номеров «Современника», велись споры вокруг произведений, публикуемых в журнале, обсуждалась горячая злоба дня. Панаева — пристрастный мемуарист, над которым зачастую властвуют разнообразные эмоции. Страницы, посвященные Тургеневу, крайне субъективны. Мемуаристка, вольно или невольно, снижает образ писателя. Даже рассказывая о его аресте и ссылке, она акцентирует суетность натуры Тургенева, подчеркивает его склонность к пышной фразе, сибаритство и проч. Панаева тенденциозно, а потому неверно освещает такие бесспорные факты биографии Тургенева, как его отношение к литературному дебюту Л. Толстого, в ком он одним из первых прозрел могучий талант. Панаева искажает смысл тургеневских рассуждений о бесправном положении русского писателя, вызванные его горячей любовью к русской литературе. И все же воспоминания Панаевой о Тургеневе по-своему интересны, ибо, несмотря на всю их предвзятость, создают представление о живом человеке со всеми его противоречиями. Ее рассказ об одном из самых сложных и мучительных в жизни Тургенева событий — о разрыве с «Современником», довольно точен, если иметь в виду изложение фактов (что само по себе уже важно), а не осмысление их. Мемуаристка, безусловно, упростила смысл этого разрыва, не поняла его идейной сущности, сведя все к досадному недоразумению, к оплошности цензора Бекетова, неосмотрительно показавшего Тургеневу статью Добролюбова о романе «Накануне» в ее самой первой редакции. Но при всех недостатках этих «тургеневских» страниц «Воспоминаний» Панаевой они занимают важное место в «тургениане», ибо рисуют писателя в той удивительной среде, которая сформировала автора «Записок охотника» и «Отцов и детей».

Впервые воспоминания Панаевой опубликованы в «Историческом вестнике», 1889, № 1—10. Текст печатается по изданию: А. Я. Панаева. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1972.

[1] Неточность. Тургенев жил в Павловске летом 1843 г. «Я живу в Павловском для большего уединения...» — писал Тургенев П. А. Бакунину в июне 1843 г. (*Тургенев, Письма,* т. I, с. 233).

[2] См. коммент. 5 на с. 432 и коммент. 1 на с. 443.

[3] Ср. отзыв Герцена (коммент. 5 на с. 444). Возможно, что Па-

наева приписала Белинскому реплику Герцена о хлестаковских чертах в характере Тургенева.

[4] Не точно: Белинский жил лето 1844 г. в пригороде Петербурга, в Лесном, на даче Лесного института. Тургенев пробыл в Парголове с июня по август 1844 г. Панаевы собирались в Германию. По сообщению русской печати, они приехали в Берлин 3 октября 1844 г. («Русская мысль», 1891, кн. 6, с. 7).

[5] «Петербургский сборник» вышел в свет в 1846 г. Некрасов хотел издать поэму Тургенева «Помещик» отдельной книжкой, по типу «Разговора» и «Параши», но писатель предпочел включить ее в сборник.

[6] Повесть П. В. Анненкова «Кирюша» впервые опубликована в 1847 г. в «Современнике» (№ 5).

[7] Тяжелое материальное положение «Современника» было вызвано большими убытками, которые понес журнал в связи с цензурным запрещением «Иллюстрированного альманаха» в октябре 1848 г. «Современник» «обезденежел от не пропущенного цензурою альманаха, на издание которого издержал 4 тысячи рублей серебром» («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым». СПб., 1896, т. III, с. 411).

[8] В конце сороковых годов Тургенев особенно нуждался в деньгах из-за резко ухудшившихся отношений с матерью. В эти годы он действительно обращался к Краевскому с предложением издать свои произведения (см. письмо от 14/26 ноября 1847 г. из Парижа и ответ Краевского. — *Тургенев, Письма,* т. I, с. 312 и 594). В 1850 г. Тургенев напечатал в «Отечественных записках» «Дневник лишнего человека», в 1851 г. — комедию «Провинциалка».

[9] См. коммент. 27 на с. 450.

[10] О знакомстве с А. Я. Панаевой А. А. Фет рассказывает в своих воспоминаниях (см. наст. т.).

[11] Рассказ мемуаристки о взаимоотношениях Фета и Тургенева не точен (см. вступительную заметку к воспоминаниям А. А. Фета). Тургенев, ценивший поэтический дар Фета, был вместе с тем и первым нелицеприятным критиком его стихов.

[12] Экземпляр сборника с пометами Тургенева и Фета сохранился. Находится в Третьяковской галерее.

[13] Неточность: вряд ли в это время мог произойти приведенный разговор о Н. В. Гербеле, ибо уже в апреле 1852 г. Тургенев был арестован, а цензурное разрешение брошюры Гербеля «Изюмский слободской казачий полк» было получено только 31 июля 1852 г. Довольно посредственный поэт, Гербель впоследствии проявил себя как редактор-издатель собраний сочинений Шекспира, Шиллера, антологии русских поэтов. В 1874—1880 гг. Тургенев переписывался с ним. «Слово о полку Игореве» в переводе Гербеля опубликовано в 1854 г. под названием «Игорь, князь Северский».

[14] См. об этом в воспоминаниях П. В. Анненкова и коммент. 33 на с. 452.

[15] Комедия «Свои люди — сочтемся!», опубликованная в «Москвитянине», 1850, № 6, сразу обратила на себя внимание русской публики. Однако пьеса, и смягченная цензурой, вызвала неудовольствие Николая I, запретившего ее к постановке (Н. А. Островский. Собр. соч., т. I. М., с. 389—396). Видимо, злоключения комедии и возбудили «разговоры в кружке», о которых пишет Панаева.

[16] На сцене Александринского театра «Завтрак у предводителя» был сыгран 26 октября 1855 г., о чем сообщали «С.-Петербургские ведомости». Мемуаристка в своих воспоминаниях, возможно, смешивает спектакли, имея в виду и постановку 1849 г.

[17] Речь идет о петербургской премьере пьесы. Впервые «Провинциалка» была поставлена в Москве 18 января ст. ст. 1851 г. в бенефис М. С. Щепкина, исполнявшего роль Ступендьева. Мемуаристка спутала сюжеты пьес «Провинциалка» и «Нахлебник», заметив, что герой «Провинциалки» объявляет себя отцом «богатой помещицы». На самом деле это сцена из комедии «Нахлебник», также поставленной в бенефис Щепкина, но уже в 1862 г., 30 января.

[18] О встречах и полемике Тургенева и Л. Толстого в кругу сотрудников «Современника», на знаменитых некрасовских «обедах», см. в воспоминаниях Д. В. Григоровича, А. А. Фета и коммент. к ним.

[19] Тургенев намекает на очерки И. И. Панаева под названием «Хлыщ» (1856); существовало мнение, что и само слово «хлыщ» изобретено Панаевым.

[20] «Пугает меня «безъязычие», — замечал Некрасов перед отъездом за границу (*Некрасов,* т. X, с. 229). Некрасов уехал лечиться 11 августа 1856 г.

[21] Не точно: Некрасов один ездил к Тургеневу в Париж, О желании встретиться с Герценом он писал Тургеневу в Лондон значительно позже, 26 мая 1857 г.: «...В числе причин, по которым мне хотелось поехать, главная была увидеть Герцена» (*Некрасов,* т. X, с. 340, 341). Эта столь желанная для поэта встреча не состоялась, так как Герцен, возмущенный неблаговидной историей с «огаревским наследством», не захотел видеть Некрасова. В силу досадного недоразумения на Некрасова пало подозрение в присвоении части денег, которые по суду выплачивал Н. П. Огарев своей первой жене, М. Л. Огаревой. После ее смерти выяснилось, что значительной доли этих денег она не получила. Деньги были растрачены, как это впоследствии удалось установить, поверенным Огаревой, Н. С. Шаншиевым, не без участия А. Я. Панаевой

(подробно см. в кн.: Я. З. Черняк. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве. М.—Л., 1933).

[22] «Я познакомился здесь со многими русскими и французами, — писал Тургенев 8 декабря 1856 г. Л. Толстому, — но симпатических натур нашел весьма мало. Есть одна княжна Мещерская — совершенная гетевская Гретхен — прелесть, — да, к сожалению, по-русски не понимает ни слова... А мила она так, что и описать нельзя» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 55, 74).

[23] Историю ссоры Тургенева с Л. Толстым Панаева рассказала неверно, перепутав и время события, и место, и причину разрыва, действительно чуть не приведшего к дуэли (см. воспоминания А. А. Фета и коммент. 47 на с. 466).

[24] Чернышевский и Добролюбов сделались постоянными сотрудниками «Современника» в разное время: Некрасов познакомился с Чернышевским в конце 1853 г., а с 1854 г. Чернышевский стал одним из соредакторов журнала. Знакомство с Добролюбовым состоялось в 1857 г., в этом же году Некрасов привлек Добролюбова к постоянному участию в «Современнике».

[25] Панаева упрощает историю назревавшего конфликта между «старыми» и «новыми» сотрудниками «Современника» — Тургеневым, Анненковым, Дружининым, Григоровичем, Боткиным, с одной стороны, и Чернышевским, Некрасовым, Добролюбовым — с другой. См. воспоминания Н. Г. Чернышевского и коммент. к ним.

[26] Имеется в виду один из братьев Колбасиных, молодых приятелей Тургенева, исполнителей его поручений: по всей вероятности, это Е. Я. Колбасин.

[27] Тургенев читал статью Добролюбова о «Накануне», переданную ему цензором В. Н. Бекетовым, а возможно, и самим Некрасовым, в ее первоначальном варианте. Некрасов писал Чернышевскому: «Я прочитал статью и отдал ее Тургеневу... Я вымарал много, но иначе нельзя, по моему мнению» (*Некрасов,* т. X, с. 413). Достоверность фактов, рассказанных Панаевой, подтверждается письмом цензора Бекетова от 19 февраля 1800 г. к Добролюбову, в котором он просил критика поступиться некоторыми положениями статьи, чтобы избежать конфликта с Тургеневым (*Добролюбов,* т. 6, с. 490—491). Известно, что Тургенев обращался с личной просьбой к Некрасову не публиковать статью Добролюбова. *«Убедительно тебя прошу,* милый Некрасов, — писал Тургенев, — *не печатать этой статьи;* она, кроме неприятностей, ничего мне наделать не может, она несправедлива и резка — я не буду знать, куда деться, если она напечатается» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 41).

[28] Бекетов действительно не раз испытывал крупные неприятности по службе в связи с цензурованием «Современника»,

вплоть до отстранения от должности. «На днях «Современник» получил сильнейший нагоняй, — сообщал Тургенев в письме к Герцену от 5/17 декабря 1856 г., — и Бекетова от него отставили за перепечатание трех стихотворений Некрасова...» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 50, 477).

[29] Некрасова и Добролюбова связывали не только общность интересов, воззрений, но большая человеческая симпатия. В письме к Чернышевскому от 12/24 июня 1861 г. Добролюбов признавался: «Ведь кроме Вас да его у меня никого нет теперь в Петербурге. В некоторых отношениях он даже ближе ко мне...» (*Добролюбов,* т. 9, с. 475).

[30] До последнего момента Некрасов надеялся, что окончательного разрыва Тургенева с «Современником» не произойдет. «Что Тургенев на всех нас сердится, — писал он Добролюбову 1 января 1861 г. — это не удивительно, — его подбивают приятели, а он-таки способен смотреть чужими глазами. Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго — и придет еще к нам (если уж очень больно не укусим), а в этом-то и будет Ваше торжество, да и лично мне не хотелось бы, чтобы в «Современнике» его трогали» (*Некрасов,* т. X, с. 438). Когда же Герцен заявил о намерении выступить в «Колоколе» со статьей по делу об «огаревском наследстве», Тургенев писал ему: «Хотя Некрасов тебе вовсе не *свой* — но все-таки согласись, что это значило бы: «бить по своим» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 132).

[31] Роман «Накануне» появился в «Русском вестнике», 1860, № 1, 2.

[32] Статья Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева» опубликована в мартовской книжке «Современника» за 1860 г. «Я ее переделал... — писал Добролюбов, — благодаря тому, что у нас цензор теперь другой, она пропущена. Впрочем, вторая половина получила совсем другой характер...» (*Добролюбов,* т. 9, с. 409).

[33] Речь идет о статье Герцена «Very dangerous!!!», появившейся в 44-м листе «Колокола» за 1859 г. В редакции журнала «Современник» возникло необоснованное предположение, что вдохновителем резкого выступления Герцена против нового курса некрасовского «Современника» был Тургенев (см., например, воспоминания М. А. Антоновича в кн.: «Шестидесятые годы», М.—Л., «Academia», 1933, с. 87), Тургенев приехал в Лондон, когда статья была уже опубликована в «Колоколе» (№ 44, 1 июля 1859).

[34] Чернышевский ездил в Лондон для личного объяснения с Герценом в июне 1859 г. Поездка сохранялась в строжайшей тайне. Тургенев, узнав об этом свидании, в письме к Герцену от 4/16 сентября 1859 г. интересовался результатом встречи: «Пишу

я к тебе, чтобы узнать, правда ли, что тебя посетил Чернышевский и в чем состояла цель его посещения...» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 340).

[35] Ср. в воспоминаниях Г. З. Елисеева, наст. т., с. 341.

[36] Панаева тенденциозно рассказывает о впечатлении, произведенном «Отцами и детьми» на русских читателей как о сугубо отрицательном. Между тем многие демократически настроенные современники писали о жизненности самой коллизии «Отцов и детей», о сильнейшем незамедлительном влиянии романа Тургенева на современное русское общество (см., например: Е. Леткова. Об И. С. Тургеневе. Из воспоминаний курсистки. — «К свету», научно-литературный сборник. СПб., 1904). По словам другой современницы Тургенева — Е. А. Штакеншнейдер, «весь наш читающий мир потрясся от романа «Отцы и дети» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., «Academia», 1934, с. 49). А вот еще одна реплика современника: «Все находят в романе *удивительную, неподражаемую* объективность». Это отзыв знатоков. Люди попроще говорят: нельзя оторваться. «Отцы и дети» произвели «на молодежь гораздо большее впечатление, чем я ожидал, — писал Тургеневу П. В. Щербань. — Знаете ли, некоторых точно придавило, на раздумье навело, что ли» (*Тург. сб., Орел, 1960,* с. 259—260). Следующим романом по времени был «Дым» (1867), «Новь» появилась в 1877 г.

[37] Тургенев приехал в Петербург 26 мая 1862 г. Он попал в столицу в самый разгул реакции, в дни провокационных петербургских пожаров. «На меня хлынули старые вопросы, пересуды и т. д. по поводу «Отцов и детей». Это тоже своего рода хаос. От иных комплиментов я бы рад был провалиться сквозь землю, иная брань мне была приятна», — писал он Анненкову вскоре после возвращения из-за границы. «Я во всяком случае не раскаиваюсь, хотя большая часть молодежи на меня негодует...» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 12).

[38] Панаева упрощает причину ссоры Некрасова с Тургеневым, разведшей друзей на всю жизнь. Мемуаристка, в сущности, объясняет все денежными недоразумениями (распространившимися ложными слухами о растрате Некрасовым герценовских денег, которые он занял в свое время для приобретения «Современника». Часть этой суммы была передана через Тургенева; см. А. Я. Панаева, Воспоминания, с. 452), а также обидой Тургенева на то, что Некрасов, по ее словам, «взял сторону Добролюбова». В основе разрыва Тургенева лично с Некрасовым, как и с кругом «Современника», коренились одни и те же глубоко принципиальные, идейные разногласия. Некрасов, по словам одного из сотрудников журнала, «всецело отдавался новой идее и после того никогда не

пятился назад. В этом отношении он становился резким, неуступчивым, настойчивым...» (Е. Колбасин. Тени старого «Современника». — «Современник», 1911, № 8, с. 230). Эту же неколебимость Некрасова особо подчеркивал Анненков, заметив, что «никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути...». Некрасов был искренне привязан к Тургеневу, другу своей юности, и очень тяжело переживал этот разрыв. Сохранилась интересная запись воспоминаний жены поэта, З. Н. Некрасовой, в которых она приводит новые подробности, относящиеся к ссоре: «...Больше всего огорчало мужа дурное отношение к нему Тургенева. Ведь они прежде большими друзьями были. Николай Алексеевич однажды рассказал мне, как окончательный разрыв между ними произошел: «Прислал мне Тургенев для просмотра роман «Отцы и дети» с просьбой высказать о нем свое мнение. Я прочел и ответил: «Вещь хорошая, но *рановременно* печатать» (последние слова Зинаида Николаевна произнесла с ударением: очевидно, они твердо врезались ей в память). Тургенев ответил мне запиской: «Не забудь ты меня, а я тебя не забуду». С тех пор мы больше не виделись...» («Жизнь для всех», 1915, № 2, с. 337). Тургенев навестил Некрасова незадолго до его кончины, в июне 1877 г. Потрясенный видом умирающего поэта, Тургенев написал стихотворение в прозе «Последнее свидание».

[39] Повесть Дружинина «Полинька Сакс» опубликована в «Современнике», 1847, № 12.

[40] Здесь память изменила Панаевой: «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» А. В. Дружинина печаталось в 1850 г. Лонгинов возглавил цензурное ведомство только в 1871 г. (см. А. Я. Панаева. Воспоминания, с. 452—453).

[41] Отношение Тургенева к поэзии Некрасова было сложным. Тургенев видел в Некрасове яркую индивидуальность, понимал, в чем сила его дарования. Он искренне радуется «громадному», «неслыханному успеху» стихотворений Некрасова, которого «не бывало со времен Пушкина» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 44). Стихи Некрасова, «собранные в один фокус, — жгутся», — поверяет он в письмах к друзьям свои впечатления от поэзии Некрасова (там же, с. 47, 58). Но после разрыва, особенно в шестидесятые годы, отзывы Тургенева о творчестве Некрасова приобретают полемический оттенок. Обличительный, бичующий пафос некрасовских строк воспринимается Тургеневым как измена поэзии: «Нет никакого букета, букета! Одни честные мысли нельзя назвать поэзией» (Е. Колбасин. Тени старого «Современника», с. 239).

А. А. ФЕТ

ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

«Я вчера познакомился с Фетом, который здесь проездом», — писал Тургенев П. В. Анненкову 30 мая/11 июня 1853 года из Спасского (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 163). Таким образом, известна точная дата их знакомства — 29 мая (10 июня) 1853 года. Очевидно, Тургеневу совсем не запомнилась их первая встреча в конце сороковых годов, о которой пишет Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) в начале своих воспоминаний.

Середина пятидесятых годов — время наибольшей близости между Фетом и Тургеневым, дружеской и творческой. Они часто встречаются в своих имениях на Орловщине и в Петербурге. Фет для Тургенева «натура поэтическая» — и в этом его притягательная сила. Писатель становится ревностным популяризатором и редактором стихотворений Фета, а часто и строгим их критиком. К отдельному изданию стихотворений Фета (1856) Тургенев написал небольшое предисловие. Существует предположение, что ему же принадлежит рецензия на это издание (без подписи), напечатанная в «Отечественных записках» (1856, № 5, «Библиографическая хроника»).

Однако уже в шестидесятые годы отношения Тургенева с Фетом начинают осложняться, все чаще возникают столкновения на почве серьезных идейных разногласий, причиной которых был вызывающий консерватизм Фета, его далеко не прогрессивные взгляды на характер и перспективы развития России. В 1874 году происходит окончательный разрыв, после чего надолго прекращается их многолетняя переписка.

В 1878 году Фет нарушил молчание и написал Тургеневу письмо (не без влияния Л. Н. Толстого). Примирение состоялось, но прежние дружеские отношения больше не возобновились.

Собственно воспоминания о Тургеневе сосредоточены в первом томе мемуаров Фета (1848—1863). Извлечения из них мы и воспроизводим в настоящем издании. Во втором томе приведены в основном письма Тургенева — почти без комментариев мемуариста.

Воспоминания Фета — единственный источник, из которого мы узнаем обстоятельства ссоры Тургенева с Л. Н. Толстым.

Мемуары А. А. Фета, впервые опубликованные в 1890 году в двух томах, были высоко оценены современниками — С. А. Венгеровым, А. Н. Пыпиным и др. (О Тургеневе и А. А. Фете см. ст. Б. Я. Бухштаба. — *Тург. сб., Орел, 1940,* с. 33—36; см. также об отношениях Фета и Тургенева в сб.: А. А. Фет. Соч. в 2-х томах,

т. 2. М., 1982, а также статью Л. М. Лотман «Тургенев и Фет» в сб.: «Тургенев и его современники». Л., 1977, с. 25.)

Текст печатается по изданию: А. А. Фет. Мои воспоминания, т. I, М., 1890.

[1] Речь идет о первом сборнике стихов Фета «Лирический Пантеон», который вышел в 1840 г. В это время Фет еще был студентом Московского университета. Выход в свет «Лирического Пантеона» обратил на себя внимание университетского учителя поэта — профессора С. П. Шевырева. Начиная с 1841 г. стихи Фета стали публиковаться в «Москвитянине», одним из редакторов которого был С. П. Шевырев. Вряд ли эта первая встреча Тургенева, о которой пишет мемуарист, могла произойти раньше 1842 г., то есть времени, когда по возвращении из-за границы Тургенев собирался держать экзамен на магистра философии в Московском университете. В «Мемориале» под годом «1842» он записал: «Я хочу быть профессором философии!.. Экзамен на магистра». Как известно, Тургенев не был допущен к магистерским экзаменам в Московском университете. Возможно, что к С. П. Шевыреву он обратился с просьбой помочь ему сдать экзамен. В марте (26-го) Тургенев уезжает держать магистерские экзамены в Петербург, так что у Шевырева он мог быть не позднее 26 марта 1842 г. По всей вероятности, Тургенев приносил Шевыреву рукопись «Параши», так как поэма вышла лишь в апреле 1843 г.

[2] После окончания университета (1844 г.) Фет, желая быстрее получить дворянство, поступил на военную службу. Он служил в Кирасирском орденском полку, который был расквартирован в Херсонской губернии (см. вступительную статью А. Е. Тархова в сб.: А. А. Фет. Соч. в 2-х томах, т. 1).

[3] Фет начал публиковать свои стихи во время учебы в университете и вскоре завоевал признание русских читателей; в студенческие годы им были созданы такие широко известные стихи, как «Облаком волнистым...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не буди...» и многие другие. Они заучивались наизусть, перелагались на музыку.

[4] Скорее всего, имеется в виду семья В. А. Шеншина, родственника Фета, у которого бывал Тургенев. Но, возможно, речь идет и о Н. Н. Шеншине и его жене, где также часто можно было встретить Тургенева, особенно ценившего общество умной и тонкой, «искренней», по его словам, Елизаветы Дмитриевны Шеншиной (см.: П. Матвеев. И. С. Тургенев (Из личных воспоминаний). — «Русская старина», 1903, № 12, с. 629—637).

[5] «В первое время ссылки визиты Ивану Сергеевичу соседними помещиками, — вспоминает М. П. С — ва, — делались как-то нереши-

тельно, с каким-то смущением: приезжала к нему только самые храбрые, и то с оглядкою; но, когда первые пионеры побывали в Спасском без каких-либо для себя последствий, тогда и все другие соседи начали совершать набеги на Спасское безбоязненно» («Новости и Биржевая газета», 27 сент. 1883).

[6] *...небольшая комедия.* — Текст ее остался неизвестным.

[7] Первая встреча А. А. Фета с Некрасовым произошла не раньше 9/21 декабря 1853 г., когда Тургенев, также присутствовавший на этой встрече, впервые приехал в Петербург после спасской ссылки.

[8] Захар Федорович Балашов, неизменный камердинер Тургенева. По словам Д. Колбасина, часто встречавшегося с Тургеневым в пятидесятые годы, Захар «писал повести в часы досуга, но, по скромности своей, никому не читал их» (*«Тургенев и круг «Современника»,* с. 119).

[9] Текст этого стихотворения Некрасова впервые опубликован Фетом в составе воспоминаний.

[10] Речь идет о поваре Степане, известном своим кулинарным мастерством. Степан был очень привязан к Тургеневу, даже отказался от предложенной ему вольной.

[11] Рассказ «Каленик» был напечатан в «Отечественных записках», 1854, т. 93; см.: А. А. Фет., Соч. в 2-х томах, т. 2.

[12] По всей вероятности, речь идет о рукописном альбоме «Чернокнижие», предназначавшемся А. В. Дружининым для «Стихов и прозы нелепого содержания».

[13] Приведено письмо Тургенева от 8/20 февраля — 6/18 апреля 1855 г. (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 268—269).

[14] 19 ноября/1 декабря 1855 г. Л. Н. Толстой приехал в Петербург курьером из-под Севастополя и остановился по рекомендации М. Н. и Н. Н. Толстых на квартире у Тургенева. Это и была их первая встреча. Тургенев жил тогда уже не в доме Вебера, как указывает Фет, а в доме Степанова у Аничкова моста (теперь дом № 38). Вскоре по приезде Толстого 8/20 декабря 1855 г. Тургенев писал М. Н. Толстой: «Приезд Вашего брата <...> выбил меня на некоторое время из колеи <...> Много разных неистовств успел он наделать с тех пор, как приехал — в карты, однако, не играл — и пьянству не предавался» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 325—326). Толстой уехал из Петербурга 1/13 января 1856 г.

[15] См. об этом в воспоминаниях Д. В. Григоровича, наст. т., с. 230—231.

[16] Цензурное разрешение сборника стихотворений Фета было получено 11/23 февраля 1856 г.

[17] Тургенев специально ходатайствовал перед министром народного просвещения А. С. Норовым о разрешении посвятить фе-

товский перевод од Горация Александру II. 14 мая 1856 г. (по докладу министра) Александр II разрешил посвятить ему перевод (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 386, 638). Посвящение появилось в отдельном издании: «Оды Квинта Горация Флакка в четырех книгах». Перевод с латинского А. Фета. СПб., 1856.

[18] Строка из стихотворения Фета «Фантазия» (1850).

[19] Полностью опубликовано в первом сборнике стихотворений Фета (1850).

[20] Речь идет об Александре Ивановне Гирс, талантливой певице, салон которой посещали выдающиеся русские композиторы, музыканты, художники — Даргомыжский, Глинка, Балакирев, Антон Рубинштейн и др. Фет явно ошибся, отнеся этот визит к 1856 г., что видно из письма Тургенева к А. И. Гирс от 3/15 апреля 1860 г. (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 61).

[21] Г. А. Кушелев-Безбородко издавал журнал «Русское слово» с 1859 по 1862 г. Мысль об издании журнала возникла у него еще в январе 1858 г., о чем он писал Я. П. Полонскому, приглашая его в сотрудники («Русская земля», 1904, № 3, 3 янв.). Тургенев, так же как и Фет, иронически относился к графу Кушелеву-Безбородко, воспринимая его лишь в качестве богатого мецената. «Кушелев мне кажется дурачком, — писал он Дружинину 5/17 декабря 1856 г., — я его все вижу играющим у себя на вечере — на цитре — дуэт с каким-то итальянским голодным холуем; но он богат. — и потому может быть полезен» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 53).

[22] Фет не прав: Толстому и в пятидесятые годы была чужда позиция абсолютной защиты сословных дворянских интересов. В 1858 г. он составил «Записку о дворянском вопросе», в которой рассматривал дворянскую интеллигенцию как оппозиционную антикрепостническую силу.

[23] См. письмо Тургенева 10/22 февраля 1834 г. к С. Т. Аксакову (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 216). Стихотворения Тютчева публиковались в двух книжках «Современника» за 1854 г. (кн. 3 и 5). В этом же году вышло и первое отдельное издание: «Стихотворения Ф. Тютчева», СПб., 1854. В апрельском номере «Современника» (1854) была напечатана статья Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» (*Тургенев, Соч.,* т. V, с. 423—428).

[24] По всей вероятности, прощальный обед перед отъездом Тургенева в мае 1856 г. из Петербурга (а затем за границу) состоялся не раньше апреля 1856-го, но не в январе, как утверждает Фет (см. *Тург. сб., Орел, 1960,* с. 196—197).

[25] Фет ездил за границу в 1856 г. В сентябре он навещал Тургенева в Париже и в Куртавнеле, загородном доме Виардо. Об этих встречах Тургенев писал Л. Толстому 16/28 ноября 1856 г.

В результате этой заграничной поездки Фета во Францию и

Италию появились его путевые записки — очерк «Из-за границы» («Современник», 1856, № 11), — в которых Тургенев находил «искренность впечатлений».

[26] В течение 1847—1851 гг., большую часть которых Тургенев прожил за границей, в основном во Франции, им было написано 22 очерка из «Записок охотника», печатавшихся сначала в «Современнике», а затем вышедших отдельной книгой (1852). Фет тенденциозно передает историю возникновения «Записок охотника», якобы появившихся только из-за желания Тургенева «добыть денег». В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал, что «Записки охотника» были исполнением его аннибаловской клятвы — до конца бороться с крепостным правом; «Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить <...> я, конечно, не написал бы «Записок охотника», если б остался в России» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 9—10).

[27] О Полине Тургеневой см. ст.: Т. И. Бронь. Тургенев и его дочь Полина Тургенева-Брюэр. — *Тург.* сб., *II, 1966,* с. 324—338.

[28] Из стихотворения А. В. Кольцова «Вторая песня Лихача-Кудрявича» (1837).

[29] Из стихотворения «Путь» (1839).

[30] Фет пробыл в Петербурге до 23 января 18С4 г.

[31] Фет был у Тургенева в Париже в январе—феврале 1857 г. (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 87).

[32] Чтение романа «Обломов», завершенного Гончаровым во время пребывания за границей в июле—августе 1857 г., происходило в течение 19/31 августа и 20 августа/1 сентября 1857 г. Об этом Гончаров писал 22 августа/3 сентября И. И. Льховскому (И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8, с. 296). Тургенев с первого же чтения почувствовал глубину и значительность нового произведения писателя. «Гончаров прочел нам с Боткиным своего оконченного «Обломова», — сообщает он 9/21 сентября Н. А. Некрасову, — есть длинноты, но вещь *капитальная* — и весьма было бы хорошо, если б можно было приобрести ее для «Современника» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 151).

[33] Свадьба Фета, женившегося на М. П. Боткиной (родной сестре В. П. Боткина), состоялась 16/28 августа 1857 г.

[34] Осенью 1877 г. Фет приобрел в Курской губернии имение Воробьевка.

[36] Тургенев приехал в Спасское 13/25 июня 1858 г.

[36] Н. Н. Тургенев управлял имениями И. С. Тургенева с 1853 по 1867 г.

[37] См. об этом в воспоминаниях Д. В. Григоровича.

[38] Имеются в виду стихотворения А. А. Фета, положенные на музыку Полиною Виардо: «Две розы» («Полно спать, тебе две ро-

зы...»), «Звезды» («Я долго стоял неподвижно...»), «Полуночные образы...», «Тихая звездна» ночь...», «Шопот, робкое дыханье...». Они вошли в альбом: «12 стихотворений Пушкина, Фета и Тургенева, переведенные Ф. Боденштедтом и положенные на музыку П. Виардо», СПб., 1864. Издание осуществлялось под негласной редакцией А. Г. Рубинштейна и наблюдением Тургенева.

[39] Речь идет об И. Р. Родионове, с которым Тургенев познакомился в конце 1850-х гг.

[40] «А Родионов утащил шубу и удрал. — Хорош гусь, — писал Тургенев 5/17 марта 1802 г. из Парижа. — Надо бы написать une complainte <жалобный стих (фр.)> — вроде <...>

Родионов, Родионов!
Вар новейшего столетья!
Redde meas legiones!
Возврати чужую шубу!»

(*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 352). Публикуя эти шуточные куплеты, Фет в первом случае процитировал их не точно.

[41] Тургенев писал из Рима 28 декабря 1857/9 января 1858 г.: «Если боги нам не позавидуют — мы проведем прелестное лето» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 184).

[42] Судя по письму к М. Н. Толстой, которое было отправлено Тургеневым 5/17 ноября 1858 г. еще из Спасского, он мог быть в Москве только после 5 ноября.

[43] С Т. Г. Шевченко Тургенев познакомился в феврале 1859 г. через своих петербургских знакомых Карташевских. В зиму 1859/60 г. он особенно часто встречался с поэтом. В 1875 г. Тургенев написал воспоминания о Т. Г. Шевченко, предназначавшиеся для пражского издания «Кобзаря» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 227—231).

[44] Фет весьма тенденциозно передает диалог Тургенева и Салтыкова-Щедрина о «недавно возникших фаланстерах». Имеется в виду так называемая «Слепцовская коммуна», к которой Салтыков относился неодобрительно, называя это предприятие «делом совершенно ребяческим» («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1957, с. 338—339, 689).

[45] «Без спешки и без отдыха» (*нем.*). Эта перифраза из «Кротких ксений» Гете была использована Дружининым в качестве эпиграфа к журналу «Библиотека для чтения».

[46] Тургенев и Толстой приехали в Степановку 26 мая/7 июня 1861 г.

[47] Конфликт произошел 27 мая 1861 г., казалось бы, из сугубо внешнего повода: разных взглядов на методы воспитания молодежи. Но ссора Тургенева и Толстого, чуть не приведшая их к барь-

еру, не явилась случайностью. Этот взрыв был подготовлен всей предшествующей историей их отношений, исполненных острых противоречий. Тургенев, еще не будучи знаком с автором «Детства» — произведения, сразу покорившего его, испытывал огромный интерес к Л. Толстому. Его первые впечатления от знакомства с Толстым сильны и ярки. «Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек... — пишет он Анненкову в декабре 1855 г. — Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 328). «Желаю следить за каждым Вашим шагом», — говорит Тургенев в одном из писем к Толстому. Тургеневу не безразлично окружение молодого писателя, его увлечения, интересы. Он испытывает боль, когда видит, что Толстой отвлекается от литературы, изменяет своему призванию. Его с полным правом можно назвать «добрым гением» Толстого. Из письма в письмо, как заклинание, Тургенев повторяет: «Идите своей дорогой», «Плывите на полных парусах», «Ваша сила не в морально-политической проповеди...» Но вместе с тем уже в первые недели знакомства обнаружилось их несходство, начались столкновения, полемика, приводившие к ссорам. Первая такая серьезная ссора произошла в феврале 1856 г. на обеде у Некрасова (см. в воспоминаниях Д. В. Григоровича). Постепенно между друзьями образовывается тот «овраг», который они до конца так и не смогли устранить. Тургенев часто пишет Толстому письма-исповеди, в них он пытается объяснить, в чем же причина размолвок, где коренится невозможность простых, искренних, доверительных отношений. В одном из писем к Толстому Тургенев очень близко к истине замечал: «Я <...> шел другой дорогой <...> Кроме собственно так называемых литературных интересов — я в этом убедился, — у нас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем... Вы слишком от меня отдалены» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 13).

Отношения между Толстым и Тургеневым особенно ухудшились осенью 1859 г., во время их встреч в Спасском и в имении их общего друга — Фета. Столкновения рождала сама русская жизнь в предреформенную кризисную пору. Тургенев и Толстой не совпадали в самом главном — во взгляде на прогресс и цивилизацию, человеческий разум и стихийное «роевое» начало жизни, они расходились во взгляде на народ и его будущее. Толстой не просто не любил тургеневскую «фразу», «позу» (как утверждал сам Тургенев) — он не выносил даже самомалейшего проявления либерализма (кстати и в вопросах воспитания; ему претила благотворительность, в каких бы формах она ни проявлялась). Тургенев же категорически не принимал уже тогда проявившейся толстов-

ской склонности к морализированию, считая, что эти тенденции ослабляют могучий талант Толстого. Наконец, Тургенев не принимал «нетерпимости» Толстого. Современникам бросалась в глаза эта «несовместимость» двух русских писателей, тянувшихся друг к другу и одновременно отталкивавших друг друга. Не случайно их имена появляются рядом и противопоставляются. Толстой в глазах современников — «сокрушитель» привычных норм жизни. Тургенев — художник, который «не претендует на создание философской доктрины...» — так пишет популярный в то время французский критик и публицист Мельхиор де Вогюэ в своей статье «Лев Толстой». «Толстой готовит нам массу неожиданностей... Он хочет перевернуть наше миросозерцание», — замечал он.

Письма, которыми обменялись Толстой и Тургенев сразу же после конфликта в имении Фета, не объясняют истинных причин ссоры. К сожалению, некоторые письма Толстого оказались утерянными и среди них письмо, отправленное в день ссоры, с вызовом на дуэль. С. А. Толстая излагает в своем дневнике содержание этого письма, в котором Толстой заявлял, что «желает стреляться по-настоящему и просит Тургенева приехать в Богослов, к опушке леса, с ружьями» (С. А. Толстая. Дневники, т. I, М., 1978, с. 509—510). Только по дневникам С. А. Толстой известно содержание другого, «примирительного», письма Толстого (от 23 сент. 1861 г.): «Если я оскорбил вас, простите меня, мне невыносимо грустно думать, что я имею врага» (там же, с. 511). Видимо, об этом же письме упоминается и в воспоминаниях А. А. Толстой — в них она приводит свой разговор с писателем о ссоре. «Могу вас уверить, — сказал он, покрасневши до ушей, — что моя роль в этой глупой истории была не дурная. Я был решительно ни в чем не виноват и, несмотря на свою сознательную невиновность, я написал Тургеневу самое дружеское примирительное письмо, но он отвечал на него так грубо, что невольно пришлось прекратить с ним всякие сношения» («Воспоминания гр. А. А. Толстой». — «Толстовский музей», т, I, СПб., 1911, с. 16). Однако уже в письме к П. В. Анненкову (7/19 июня), рассказывая о «неприятном событии», произошедшем в имении Фета, Тургенев откровенно сознается: *«Виноват был я,* но взрыв был, говоря ученым языком, обусловлен... антипатией наших обеих натур...» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 255).

Но как бы ни складывались отношения с Л. Толстым, Тургенев продолжал с участием, внимательно следить «за каждым шагом писателя», в ком видел надежду и гордость русской и мировой культуры (см. публикацию И. С. Зильберштейна «Парижские находки. Иван Тургенев, Лев Толстой, Анатоль Франс». — «Огонек», 1967, № 48, 49).

Все сохранившиеся письма, которыми обменялись Толстой и Тургенев после ссоры, собраны в сб. «Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями», т. I, М., 1978. О примирении писателей, которое произошло в 1878 г., см. в воспоминаниях С. Л. Толстого, т. 2, наст. изд.

[48] *Ямщик Федот* — персонаж из второй части «Отцов и детей».

[49] Тургенев приехал в Спасское 5/17 июня 1862 г. и пробыл там до 31 июля/12 августа.

[50] Одним из условий общественного прогресса писатель считал распространение грамотности в России. В 1860 г. Тургенев был увлечен составлением Проекта программы Общества для распространения грамотности в России.

В. А. ТУЧКОВА ОГАРЕВА

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
1848—1870

Воспоминания Наталии Алексеевны Тучковой-Огаревой (1829—1913) — одно из немногих мемуарных свидетельств, рисующих, пусть мимолетно, Тургенева в семье А. И. Герцена. И в этом их несомненная ценность. В зиму 1848 года (с конца ноября по декабрь) Тургенев был частым гостем Герцена. В этом же году Наталия Алексеевна встретилась с Тургеневым; Тучковы жили тогда в Париже в одном доме с семьей Герцена. О своих визитах к ним Тургенев писал Полине Виардо 30 апреля 1848 г. *. Имя Тучковых занесено Тургеневым в «Мемориал», в записи 1848 года.

Наибольшей симпатией Тургенева пользовалась младшая дочь А. А. Тучкова — Наталья Алексеевна. Она выросла в семье, где свято чтили память декабристов (ее отец в молодости был членом Союза благоденствия), в семье, близкой Герцену и кругам прогрессивной русской интеллигенции. В пору знакомства с Тургеневым Н. А. Тучкова была под впечатлением революционных событий в Париже и Италии, откуда она только что вернулась. Натура темпераментная, восприимчивая, открытая заинтересовала и увлекла писателя. Перед отъездом Тучковой из Парижа Тургенев подарил ей памятную книжечку с полушутливой надписью: «Эта книжечка подарена мною Наталье Алексеевне Тучковой... чтоб она напоминала ей о человеке, который очень ее полюбил... желаю ей здоровья, веселья, счастья и свободы...» ** Н. А. Герцен в

* *Тургенев, Письма,* т. I, с. 459, 587.
** *ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 362.

письме к Е. А. и Н. А. Тучковым замечала, обращаясь к Натали: «Тургенев <…> сказал, что часто вспоминает тебя, что «яркими красками описал тебя там, где он находится...» * (в семье Виардо).

Тургенев посвятил Н. А. Тучковой свою комедию «Где тонко, там и рвется», которую он написал в июне 1848 года. «Сегодня прочел комедию Тургенева, — сообщал Тучковой Н. П. Огарев, — тут столько наблюдательности, таланта и грации, что я убежден в будущности этого человека. Он создаст что-нибудь важное для Руси. А потом он вас любит...» ** Тургенев в глазах Тучковой — «писатель тонкий, с редкими дарованиями, с необыкновенно изящным вкусом, но далекий от политических взглядов и стремлений» ***. Эта точка зрения, до некоторой степени выражавшая отношение к Тургеневу в среде Герцена—Огарева, сказалась и в настоящих воспоминаниях о нем.

Возвратившись в Россию, Тучкова выходит замуж за Н. П. Огарева. В 1855—1856 годах Тургенев часто встречается с ними в Петербурге; в это время писатель особенно дружен с Огаревым, увлечен его поэзией. В 1850 году Огаревы покидают Россию, они спешат «к свободным берегам», в Лондон, к Герцену.

Воспоминания Тучковой-Огаревой, рисующие лондонские встречи с Тургеневым в шестидесятые годы, отрывочны. Во многом это объясняется тем, что начиная с 1862 года обостряется полемика Герцена и Тургенева по самым важным, кардинальным проблемам современного развития России и Западной Европы. Но после нашумевшего в 1863 году «дела 32-х», по которому Тургенев обвинялся в нелегальных связях с «лондонскими изгнанниками», и ответов писателя на вопросы следствия отношения его с Герценом резко ухудшились. Герцен обвинил Тургенева в «двоегласии», после чего наступил разрыв в отношениях между ними, длившийся около трех лет. В эти годы прекратилась их всегда оживленная переписка, Тургенев не появляется больше в доме Герцена (Н. А. Тучкова-Огарева с 1857 г. стала женой А. И. Герцена).

Сведения, сообщаемые мемуаристкой о встречах с Тургеневым в 1870 году, во время предсмертной болезни Герцена, подтверждаются письмами самого Тургенева, свидетельствами других лиц.

Мемуарный очерк Н. А. Тучковой-Огаревой впервые опубликован в «Русской старине», 1889, кн. II, Текст печатается по изданию: Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1959, с. 279—291.

---

* *Герцен,* т. XXIII, с. 374.

** *Тургенев, Соч.,* т. II, с. 560.

*** Н. А. Тучкова-Огарева. Воспоминания. М., Гослитиздат, 1959, с. 111.

[1] В Риме Тучковы встретились с семьей А. И. Герцена. Узнав о революционных событиях во Франции, они в феврале 1848 г. приехали в Париж. Герцен с семьей вернулся в Париж 5 мая.

[2] Не точно. За границей Огарев написал такие зрелые свои произведения, как поэмы «Матвей Радаев», «Сны», «Ночь», стихотворения «Михайлову», «Памяти Рылеева» и др.

[3] Имеются в виду воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой, вошедшие в книгу мемуаров Т. П. Пассек. См.: Т. П. Пассек. Из дальних лет, кн. II. М., Гослитиздат, 1963 (гл. 5).

[4] Н. А. Герцен была очень привязана к сестрам Тучковым, особенно к Натали. «На меня бесконечно хорошее влияние имела встреча с молодыми Тучковыми и близость с ними, особенно с Натали, — писала она в марте 1848 г., — богатая натура, и что за развитие!» (*ЛН,* т. 63, с. 378).

[5] Отчасти этот замысел воплощен в повести Тургенева «Яков Пасынков» (1855).

[6] Тургенев и Н. А. Герцен холодно относились друг к другу. «Для меня этот человек получил новый интерес с тех пор, как ты с ним сблизилась, — писала она Тучковой-Огаревой о своем отношении к Тургеневу, — я любила его видеть после твоего отъезда, он мне напоминал тебя, у меня даже было влечение поговорить с ним о тебе, но он так вяло и томно смотрит и отвечает, что я опять ухожу в себя, даже ухожу в свою комнату. Он для меня как книга, рассказывает — интересно, но как дело дойдет до души — ни привету, ни ответу...» («Русские пропилеи», т. I. М., 1915, с. 247). После смерти Н. А. Герцен, прочитав о ней в «Былом и думах», Тургенев писал Герцену: «...В этих главах чрезвычайно много поэзии и юности, лицо твоей жены (всем нам — действительно — малоизвестной) — привлекательно и живо; отрывки из ее писем дают понятие о замечательной натуре» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 77).

[7] Тучковы оставили Париж в августе 1849 г.

[8] Подаренная Тургеневым миниатюрная записная книжечка в красном муаровом переплете хранится в ЦГАЛИ. В этой же книжке, на листке с пометой: «Samedi» («Суббота»), сделана запись рукой Н. П. Огарева: «Желание Тургенева сбылось. Мы счастливы, потому что ужасно любим друг друга, моя Наташа» (*ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 362).

[9] Мемуаристка не называет главных причин ареста и ссылки. См. коммент. 33 на с. 452.

[10] В сезон 1852/53 г. Полина Виардо пела в Петербурге и в Москве. О встрече Тургенева с Виардо весной 1853 г. см. коммен. 33 на с. 452.

[11] Огаревы уехали за границу в начале 1856 г., в пору начавшегося после смерти Николая I общественного оживлении. Зиму 1856 г. Тургенев жил в Петербурге.

[12] Тургенев, узнавший Огарева еще в 1841—1842 гг., попал под обаяние его личности; по словам Н. А. Тучковой, «...у него страсть к Огареву» («Русские пропилеи», т. IV. М., 1917, с. 141). Особенно близки были они в середине пятидесятых годов, до тех пор, пока идейные и творческие разногласия, возникшие впоследствии, не развели их. А в этот петербургский период Тургенев — ревностный доброжелатель поэзии Огарева. Он радуется каждому хорошему слову о его стихах, хлопочет о прохождении в цензуре поэмы Огарева «Зимний путь» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 341, 367, 611).

[13] О недоразумении в связи с делом об «огаревском наследстве» см. коммент. 21 на с. 456.

[14] По всей вероятности, Е. Я. Колбасиным; см. его воспоминания и коммент. к ним в т. 2 наст. изд.

[15] Об отношении Огарева и Герцена к повести Тургенева «Фауст» см.: *Тургенев, Соч.,* т. VII, с. 405.

[16] См. коммент. 21 на с. 456.

[17] Весной 1865 г. Н. А. Тучкова-Огарева и А. И. Герцен поселились на даче близ Женевы.

[18] Пессимистическое настроение Тургенева в конце шестидесятых годов вызвано было острой и не всегда справедливой критикой его романов «Отцы и дети» и «Дым». Мемуаристка приводит действительный факт, имевший место в издательской практике А. А. Краевского, который опубликовал в газете «Голос» (1860, 10 декабря ст. ст.) повесть Тургенева «Странная история» в обратном переводе с немецкого (немецкий текст в журнале «Салон», 1869, октябрь), В январском номере «Вестника Европы» за 1870 г. был напечатан протест Тургенева (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 151).

[19] Е. А. Штакеншнейдер приводит в своем «Дневнике...» отзыв П. Л. Лаврова об авторе «Отцов и детей», очень созвучный тому, что сказано в воспоминаниях Тучковой-Огаревой. «Не осуждайте Тургенева, — говорил Лавров, — поймите его, он художник, а художник — зеркало...» (Е. А. Штакеншнейдер. Дневник и записки (1854—1886). М.—Л., «Academia», 1934, с. 49).

[20] Герцен подвергался жесточайшим нападкам со стороны либеральных и реакционных кругов России за поддержку польского восстания 1863 г.

[21] В конце семидесятых годов произошел перелом в отношении русского общества к Тургеневу. См. наст. т., гл. «И. С. Турге-

нев в воспоминаниях революционеров-семидесятников»; в т. 2 воспоминания М. М. Ковалевского.

[22] В короткий период смертельной болезни Герцена, скончавшегося 9/21 января 1870 г., Тургенев часто справлялся о нем. «Тургенев приходит ежедневно», — сообщала Огареву дочь писателя — Н. А. Герцен (Тата) (*ЛН,* т. 63, с. 480).

[23] 7/19 января 1870 г. Тургенев писал Н. А. Тучковой-Огаревой: «...Я получил телеграмму, вследствие которой должен сейчас уехать в Баден — и не могу дождаться перемены в болезни Герцена» (*Тургенев, Письма,* т. VIII, с. 167). В этот же день он присутствовал на казни Тропмана, преступника, осужденного за убийство семейства Кинков, которую вскоре описал в очерке «Казнь Тропмана» («Вестник Европы», 1870, кн. VI).

[24] Тургенев уехал из Зальцбрунна, где лечился Белинский, на короткое время в Англию. См. коммент. 31 на с. 451;

[25] Узнав о тяжелом состоянии Герцена, Тургенев писал его дочери 9/21 января 1870 г.: «Я горько сожалел о необходимости, заставившей меня уехать из Парижа *до* перелома болезни Вашего батюшки...» (*Тургенев, Письма,* т. VIII, с. 167). На следующий день, сообщая Анненкову о смерти Герцена, Тургенев признается: «Я не мог удержаться от слез. Какие бы ни были разноречия в наших мнениях, какие бы ни происходили между нами столкновения, — все-таки старый товарищ, старый друг исчез» (там же, с. 168).

М. И. ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О И. С. ТУРГЕНЕВЕ

(В переписке М. А. Стаховича)

С Марией Николаевной Толстой (1830—1912), сестрой Л. Толстого, Тургенев познакомился в октябре 1854 года, во время пребывания в спасской ссылке. Желание узнать хоть что-нибудь об авторе «Истории моего детства» — повести, пленившей Тургенева, привело его в Покровское, имение М. Н. в В. П. Толстых, находящееся в соседнем Чернском уезде. «Маша в восхищении от Тургенева» *, — пишет Н. Н. Толстой брату в Севастополь. М. Н. Толстая — умная, отзывчивая, правдивая, прекрасная музыкантша — скрасила жизнь Тургенева в спасском изгнании; он беседует с ней о своих литературных планах и замыслах, что было для Тургенева знаком особого доверия к человеку. В Покровском он впервые читает главы из «Рудина» и чутко прислушивается к суждению

* *ЛН,* т. 37—38, с. 729.

Толстой о герое своего романа. Тургенев называет ее «одним из привлекательнейших существ» *. Увлечение Тургенева М. Н. Толстой, натурой «необычайно простодушной и безыскусственной» **, оставило живой след в человеческой и творческой биографии писателя. С М. Н. Толстой связано появление одного из самых поэтических его созданий — повести «Фауст». Современники легко угадывали в облике героини повести Веры Ельцовой черты графини М. Н. Толстой. Это подтверждают и сами «Воспоминания», в них приводятся горячие споры с Тургеневым о стихах, которые М. Н. Толстая, подобно тургеневской героине, не любила и не понимала, в чем откровенно ему и признавалась. Времяпрепровождение в Покровском напоминает дни и вечера в доме Ельцовых: Тургенев самозабвенно слушает игру на фортепьяно хозяйки имения, он, как и герой «Фауста», читает ей «Евгения Онегина».

Уехав в 1856 году за границу, Тургенев в письмах к друзьям, к Л. Толстому постоянно интересуется М. Н. Толстой, судьба которой сложилась несчастливо. Вскоре после знакомства с писателем, в 1858 году, М. Н. Толстая оставляет мужа, человека грубого и нравственно нечистоплотного, «своего рода деревенского Генриха VIII», по выражению Тургенева.

Воспоминания о Тургеневе были записаны М. Стаховичем, близким другом семьи Толстых, со слов М. Н. Толстой в 1903 году. Впервые опубликованы: «Орловский вестник», 1903, № 224, под названием: «В 1903-м году о 1853» и подписью М. С.

В настоящем издании воспоминания печатаются по тексту первой публикации.

[1] О том, как осуществлялся полицейский надзор за Тургеневым, сохранились весьма любопытные свидетельства современников: «Уездная и сельская администрация следила буквально за каждым шагом Тургенева: ехал ли он на охоту, в гости к соседям — за ним по пятам, как тень, скользил какой-нибудь «человечек», снабженный инструкцией «смотреть за барином в оба» и «не зевать»... «Этот человечек» был известен окрестным помещикам под кличкою «мценского цербера». В архиве Мценского земского суда сохранились дневники этого «наблюдателя» («Минувшие годы», 1908, № 8).

[2] Арест писателя вызвал большой резонанс в самых разных кругах русского общества. «Впечатление на всех от заключения

* *Тургенев, Письма,* т. II, с. 239.

** «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, 1851—1869», М.—Л., 1930, с. 50.

Тургенева — самое тяжелое», — записывает в дневнике А. В. Никитенко на четвертый день после ареста писателя (*Никитенко,* т. I, с. 351, 349—352). 24—25 апреля писателю были запрещены свидания. «У Тургенева в его заточении были такие многочисленные съезды знакомых, — свидетельствует Никитенко, — что, наконец, сочли нужным запретить приятелям навещать его» (там же, с. 351). Интересные сведения об этом приведены также в статье Н. В. Измайлова (см. *Тург. сб., II, 1966,* с. 231—248).

[3] Ср. запись в «Дневниках» Гонкуров, т. 2, наст. изд., с. 268.

[4] Не точно. Тургенев пробыл в Спасском с 12/24 апреля до 3/15 октября 1855 г.

[5] Беспокойство Тургенева было вызвано критикой друзей — Некрасова, Анненкова, Боткина, читавших первую редакцию романа: по их мнению, писатель слишком «очернил» своего героя. См. воспоминания Н. Г. Чернышевского в наст. т., а также статью М. О. Габель «Творческая история романа «Рудин» — *ЛН,* т. 76, с. 9—70. В одном из писем к М. Н. Толстой (июль—август 1855 г.) Тургенев замечает: «...Я вас очень благодарю за все, что Вы мне пишете о характере Наталии. Все Ваши замечанья верны — и я их приму к сведению и переделаю всю последнюю сцену с матерью...» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 303).

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Знакомство Тургенева и Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899) состоялось в апреле 1846 года. Григорович входил в круг так называемой «старой» редакции «Современника» — был близок с Анненковым, Дружининым, Боткиным. Первое известное нам упоминание о Григоровиче содержится в письме Тургенева к Полине Виардо от 7/19 декабря 1847 года: «...Мне прислали последний номер нашего журнала; я нашел в нем прекрасный рассказ некоего г-на Григоровича» *. Это была повесть «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича, художника, сформировавшегося в традициях «натуральной» школы.

Дружеские встречи Григоровича с Тургеневым, об одной из которых пойдет речь в публикуемом отрывке, относятся к пятидесятым годам. Их отношения, оставаясь на протяжении многих лет ровными, не были согреты духовной близостью. Тургенев, ценя в Григоровиче талантливого писателя, автора «Антона Горемыки»,

---

* *Тургенев, Письма,* т. I, с. 280, 449.

«Деревни», иронизировал порой над некоторыми, как ему казалось, суетными чертами характера своего товарища. Однако под конец жизни, в письме к М. Г. Савиной от 2/14 марта 1882 года, Тургенев очень тепло отозвался о Григоровиче. «Он, при некоторых недостатках, вообще свойственных человеческой природе, — говорилось в этом письме, — прекрасный человек и верный друг» *.

Д. В. Григорович, который хорошо знал почти всех выдающихся русских писателей, начал писать свои литературные мемуары в восьмидесятых годах. «Мои воспоминания будут похожи на акварельные наброски, а никак не на картину, густо написанную масляными красками» * *, — так представлял Григорович характер будущих мемуаров.

Одну из таких изящных «акварелей», исполненных легким, живописным пером мастера, представляет собой история поездки друзей — Дружинина, Боткина и Григоровича — к Тургеневу в Спасское (в извлечениях из главы XII публикуется в настоящем издании). Но в целом воспоминания Григоровича далеко не «акварели», они несут на себе заметную печать убеждений автора, что выразилось, например, в тенденциозном истолковании причин и сути разрыва Тургенева с кругом «Современника».

«Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича впервые опубликованы к журнале «Русская МЫСЛЬ», 1892, кн. XII; 1893, кн. I и. II. Черновая рукопись хранится в ЦГАЛИ. Текст печатается по изданию: Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961.

[1] Речь идет о М. Н. Толстой.

[2] Из стихотворения А. В. Кольцова «Цветок» (1838).

[3] Тургенев остался доволен встречей с друзьями: «Мы проводили время очень приятно и шумно — разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из озеровского «Эдипа», в костюмах, с декорациями, занавесом, публикой, вызовами, соперничеством и маленькой даже интрижкой — словом, со всеми принадлежностями домашнего театра; ели и пили страшно, играли в биллиард, кегли, катались на лодке, ездили верхом, врали и говорили серьезно до 2-х часов ночи — словом, кутили...» (из письма к П. В. Анненкову от 2/14 июня 1855 г. — *Тургенев, Письма,* т. II, с. 276). Спектакль был разыгран 26 мая 1855 г. Друзья пробыли в Спасском с 12/24 мая по 1/13 июня 1855 г., то есть три недели (там же, с. 274).

---

* *Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 1, с. 210.

** См. «Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, с. 33.

[4] См. воспоминания Я. П. Полонского в т. 2 наст. изд.

[5] «Школа гостеприимства» была опубликована в сентябрьской книге «Библиотеки для чтения» (1855). В этом «сатирическом» сочинении Григоровича выразилась неприязнь автора к Некрасову и И. И. Панаеву, а образ литератора Чернушкина воспринимался как пародия на Чернышевского. С. С. Дудышкин критиковал Григоровича за грубо-комические сцены, которые, писал он, «недостойны искусства, недостойны художника» («Отечественные записки», 1855, № 10, с. 120). Н. А. Некрасов в «Заметках о журналах за сентябрь», видимо, сознательно не стал отвечать на выходку Григоровича. Он даже похвалил мастерство автора, но заметил, что нельзя допускать «свои антипатии в литературные произведения» («Современник», № 10, с. 182). Возможно, что в ответ на это выступление Некрасова Григорович в одном из писем к поэту признавался, что повесть ему самому казалась «мерзкою; спросите у Дружинина, как я за нее пугался и как в ней сомневался» («Некрасовский сб.», Пгр., 1918, с. 103).

[6] Ср. рассказ об этом же эпизоде в воспоминаниях А. А. Фета, наст. т., с. 165. В письме к В. П. Боткину Тургенев писал о несправедливой оценке, данной Л. Толстым творчеству Жорж Санд (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 337).

[7] Спектакль состоялся 7 февраля 1856 г. «Вчера у Штакеншнейдер на домашнем театре давали «Школу гостеприимства», — писал Тургенев 8 февраля 1856 г. В. П. Боткину (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 338). Пьеса не носила остропародийного характера, она была гораздо ближе к своей первой «спасской постановке» (Дружинин восстановил ее по памяти). Главные роли исполняли М. Л. Михайлов и Л. П. Шелгунова.

[8] «В пьесе фигурировал генерал со звездой, — вспоминает Л. П. Шелгунова, — которого в конце пьесы валят на солому и при криках: «Бей генерала!» — бьют... На другой день к Штакеншнейдеру приехал Григорович и стал извиняться за конец пьесы, будто бы обидевший сидевших в первом ряду генералов» (Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова, М. Л. Михайлов. Воспоминания, т. 2. М., «Художественная литература», 1967, с. 62—63).

[9] Тургенев был возмущен пьесой. «...Она произвела скандал и позор, — писал он, — половина зрителей с омерзением разбежалась, я спрятался и удрал... Лучше всего было то, что эту чепуху приписывали мне» (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 338). Впечатление Тургенева подтверждается записью в «Дневнике...» Е. А. Штакеншнейдер: «...Тургенев уехал в половине пьесы, а за ним и Дружинин; оба переконфуженные... Вышла какая-то балаганщина» (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник..., с. 119—120).

[10] Несмотря на примирение, состоявшееся перед кончиной

поэта, горечь разрыва с Некрасовым так и не прошла у Тургенева.

[11] Ошибка Григоровича: сборник вышел в Женеве.

[12] См. *Тургенев, Письма,* т. IV, с. 176. Григорович цитирует письмо по указанному им женевскому изданию, с. 133—134.

[13] В объявлении редакции «Современника» на 1862 г. особо подчеркивался идейный характер конфликта с «некоторыми сотрудниками» (подразумевался главным образом Тургенев, хотя фамилия его и не называлась): «Направление «Современника» известно его читателям. Продолжая, по мере возможности, развивать это направление... редакция в последние годы должна была ожидать изменения своих отношений к некоторым из сотрудников (преимущественно беллетристического отдела), которых произведения в прежнее время, когда еще направления не обозначались так ясно, нередко с удовольствием встречаемы были читателями в нашем журнале. Сожалея об утрате их сотрудничества, редакция, однако же, не хотела, в надежде на будущие прекрасные труды их, пожертвовать основными идеями издания...» (*Некрасов,* т. XII, с. 201—202).

[14] Об отношении Тургенева к А. Ф. Писемскому см. *ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 125—194.

[15] Строки из стихотворения Пушкина «Поэт» (1827).

[16] Автором эпиграммы был А. А. Бестужев-Марлинский («Собрание стихотворений», Л., 1948, с. 16, 195—196).

И. С. ТУРГЕНЕВ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

П. В. АННЕНКОВ

ШЕСТЬ ЛЕТ ПЕРЕПИСКИ С И. С. ТУРГЕНЕВЫМ

1856—1862

«Шесть лет переписки...» непосредственно продолжают воспоминания Анненкова «Молодость И. С. Тургенева», но по своему характеру новая работа занимает совершенно особое место: это своеобразный комментарий современника к подлинным письмам Тургенева. Замысел такого рода мемуарного произведения возник, по словам самого Анненкова, тогда, когда он погрузился в разбор обширнейшего эпистолярного наследия писателя. Поначалу новизна жанра, видимо, несколько смутила мемуариста. «Я нахожусь в совершенном неведении, что она представляют из себя, — писал он М. М. Стасюлевичу в январе 1885 года, когда была уже готова первая половина воспоминаний, — скучное ли повторение всем из-

вестных фактов или любопытную оценку событий, в которых вращался Тургенев?» * Но, завершив свою работу, Анненков был удовлетворен. «Не знаю, прав ли, но я остаюсь ей доволен, — сообщал он Стасюлевичу. — Никогда не писал я так откровенно и горячо...» ** Анненков пытался быть предельно объективным, но одновременно боялся крайностей: он спрашивал Стасюлевича, допустимо ли по отношению к памяти Тургенева «все то разоблачение», которое он позволил себе в воспоминаниях ***. Особенно его смущали «разоблачения», касающиеся отношений Тургенева с Некрасовым и Гончаровым. В опубликованном тексте страницы, повествующие о конфликте с Гончаровым и Некрасовым, явно смягчены. Очевидно, в результате автоцензуры осталось за пределами «Переписки» и описание петербургских пожаров. «Что мне делать теперь, когда я пришел к пожарам петербургским (1862), — спрашивал Анненков у Стасюлевича, — нельзя их оставить без упоминовения, а упоминать, так в угол поставят» ****.

Отбор писем, их композиция, комментарии мемуариста — все преследует одну цель: дать представление о том, как формировался большой русский писатель.

При всем стремлении к объективности, документальности мемуары Анненкова, несомненно, тенденциозны. Особенно это проявляется в том, как Анненков объясняет разрыв Тургенева с «Современником». Он категорически отрицает причины идейного характера, утверждая, что главным было желание писателя обрести творческую свободу. Анненков субъективен и тогда, когда подчеркивает полную независимость воззрений Тургенева, его неподверженность каким-либо идейным влияниям, в том числе и влиянию Белинского.

Работа Анненкова «Шесть лет переписки...», по существу, последнее слово мемуариста о Тургеневе. Следующая публикация «Из переписки с И. С. Тургеневым в 60-х гг.», появившаяся в первых двух номерах «Вестника Европы» за 1887 год, уже не имела мемуарной основы. Остался невоплощенным еще один замысел мемуариста — рассказ о примирении Тургенева и Л. Толстого, событии, которое, по словам мемуариста, было делом «совеем необычайным и в русской жизни, и в русской литературе» *****.

Последние годы своей жизни Анненков посвятил Тургеневу, занявшись приведением в порядок его колоссальной переписки: «Я надорвался, перечитав всю переписку Тургенева, от первого

---

* *Стасюлевич,* т. III, с. 434.
** Там же.
*** Там же, с. 435.
**** Там же. 436.
***** Там же, с. 450.

листа до последнего...» * Мемуары Анненкова согреты искренним чувством любви к Тургеневу, горячим желанием передать, как много значил писатель для своих современников. «Мне очень часто приходит на ум, что между нами нет уже той связи, которая существовала при Тургеневе, — сетует Анненков в одном из писем к Стасюлевичу, — и, вероятно, только благодаря ему. Привязанность охладела, интерес пропал, оценка человека понизилась...» ** А в другом письме сдержанный, суховатый Анненков признается: «Вообще смерть Тургенева сломила меня...» Воспоминания Анненкова о Тургеневе ценны не только как произведение литературы, но и как история прекрасных человеческих отношений.

«Шесть лет переписки...» впервые опубликованы в «Вестнике Европы», 1885, № 3 и 4. Текст печатается по изданию: П. В. Анненков. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1960, с. 405—489.

[1] В июне 1856 г. Тургенев после шестилетнего перерыва предпринял длительную поездку за границу (во Францию, Англию, Германию, Италию), где пробыл почти три года.

[2] О хлопотах, связанных с получением паспорта, см. письма к Д. Я. Колбасину от 8, 13 и 21 мая 1856 г. (*Тургенев, Письма,* т. II, с. 348, 351, 354).

[3] Ошибка мемуариста. Письмо датируется 16/28 января 1860 г. Неверная датировка повлекла за собой неточности в комментариях мемуариста: в 1856 г. Тургенев не ездил в Москву для свидания с Катковым. Вообще, все письмо Тургенева относится к истории публикации в «Русском вестнике» романа «Накануне».

[4] Имеются в виду редакторы «Современника» и «Отечественных записок».

[5] Неточность. Причиной, развязавшей полемику редактора «Русского вестника» с «Современником», явились «Призраки», а не «Фауст». Катков принял опубликованную в «Современнике» повесть «Фауст» за обещанные ему осенью 1855 г. Тургеневым «Призраки» и в объявлении об издании «Русского вестника» на 1857 г. («Московские ведомости», 1856, № 140) заявил протест. Тургенев ответил двумя письмами в редакцию «Московских ведомостей» (от 4/16 декабря 1856 г. и 1/13 января 1857 г.), в которых объяснял причины недоразумения (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 133—135). «Призраки» были опубликованы лишь в 1864 г. в журнале «Эпоха», № 1—2.

---

* *Стасюлевич,* т. III, с. 447.

** Там же, с. 446.

[6] «Из-за границы (Письмо первое)» — вступление к неосуществленной серии корреспонденций, обещанных Е. Ф. Коршу, напечатано в первом номере «Атенея» за 1858 г., возможно, по просьбе Анненкова, с целью поддержать только что основанный журнал. Статья «Обед в обществе английского литературного фонда» явилась ответом на письмо редактора «Библиотеки для чтения» А. В. Дружинина от 10 августа 1858 г., в котором он специально просил Тургенева написать об английском литературном фонде. Статья опубликована в январской книжке журнала за 1859 г.

[7] Имеется в виду М. А. Бакунин; см. наст. т., с. 494—495. Последний редактор сочинений Тургенева — М. М. Стасюлевич.

[8] Это неверно. Тургенев в зиму 1856/57 г, часто писал своим русским друзьям — В. П. Боткину, Л. Н. Толстому, А. В. Дружинину, И. И. Панаеву и др. В течение зимы 1857 г. Анненков получил несколько тургеневских писем (см. *Тургенев, Письма,* т. III).

[9] Речь идет о письме Некрасова от 10/22 сентября 1857 г. и приложенном к нему обращении, в котором сообщалось о возможном издании сборника памяти В. Г. Белинского (*Некрасов,* т. X, с. 361—362; т. XII, с. 71—72). Доход от этого сборника было решено вручить дочери критика. Издание не осуществилось, так как этому воспротивилась вдова Белинского, что ясно из ее переписки с Некрасовым (*Некрасов,* т. X, с. 369—370; «Архив села Карабихи», М., 1916, с. 82). Воспоминания о Белинском были впервые опубликованы в «Вестнике Европы», 1869, № 4.

[10] Мрачное настроение Тургенева было вызвано разладом его отношений с Полиною Виардо. А. П. Боголюбов в своих воспоминаниях пишет о «горьких испытаниях», которые пришлось пережить Тургеневу в 1857 г. Мемуарист имеет в виду увлечение Полины Виардо принцем Баденским (*ЛН,* т. 76, с. 460).

[11] Тургенев с большим интересом и уважением относился к издательской деятельности П. В. Анненкова. В данном случае он просит выслать ему седьмой, дополнительный том сочинений Пушкина в анненковском издании, вышедший летом 1857 г.

[12] Встречу с художником А. А. Ивановым в Италии и свои впечатления от его картины «Явление Христа народу» Тургенев описал в очерке «Поездка в Альбано и Фраскати (Воспоминание об А. А. Иванове)» (1861). Сохранились воспоминания художника А. П. Боголюбова, в которых он полемизирует с тургеневской интерпретацией дарования Иванова (*ЛН,* т. 76, с. 452—453).

[13] Тургенев был убежденным противником творчества К. П. Брюллова, равно как и А. А. Бестужева-Марлинского, — представителей, по его мнению, «ложновеличавой» школы (см. «Воспоминания о Белинском», а также «Воспоминания» В. В. Ста-

сова в т. 2 наст. изд.). Художник Г. Г, Гагарин, впоследствии вице-президент Академии художеств (с 1856 г.), расписал в 1853 г. в псевдовизантийском стиле Сионский собор в Тифлисе. Подражательное искусство князя Гагарина Тургенев субъективно ставит в один ряд с творчеством Брюллова.

[14] Речь идет о книге «Н. В. Станкевич. Переписка его и биография» (М., 1857) и второй части «Воспоминаний о Гоголе» П. В. Анненкова («Библиотека для чтения», 1857, № 11).

[15] Рассказ «Люцерн» («Современник», 1857, № 9). Тургенев оказался прав, Анненков резко отозвался о «Люцерне», назвав его «ребячески-восторженным» произведением (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 72).

[16] Анненков писал Тургеневу об издании А. Ф. Базунова: «...Повести давно ему окупились и приносят барыши» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 73). В трехтомное издание «Повестей и рассказов» Тургенева (СПб., 1856) уже входил и «Рудин».

[17] Письмо П. В. Анненкова от 16/28 ноября 1857 г. (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 71—73).

[19] Повесть «Ася» («Современник», 1853, № 1). Анненков, прочитав ее в корректуре, писал Тургеневу: «Это одна из самых доделанных вещей Ваших» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 73).

[19] Из стихотворения Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

[20] По словам художника М. И. Железнова, Брюллов утверждал, что творчество Рафаэля, «всеобщего учителя», необходимо изучать, постигать его «художественную философию», но и только: «Древние художники были сами по себе, а мы должны быть сами по себе». Такой взгляд на современное искусство автор панегирической статьи о Брюллове считал «благодетельным» (М. И. Железнов. Значение Брюллова в искусстве. — «Современник», 1856, № 7, с. 1—12).

[21] Анненков сообщал Тургеневу в письме от 16/23 ноября 1857 г., что Л. Толстым разработан проект «заселения всей России лесами» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 71).

[22] Имеется в виду «Записка» Тургенева об издании журнала «Хозяйственный указатель», идея которого возникла, как только пришли первые вести о намерении правительства освободить крестьян (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 235—244).

[23] Неточность: работа над проектом программы Общества для распространения грамотности и первоначального образования относится к более позднему времени, к августу 1860 г. См. коммент. 75 на с. 488.

[24] Из стихотворения Пушкина «Арион» (1827).

[25] Портрет Тургенева, написанный Л. П. Никитиным, хранится в Государственном литературном музее.

[26] Юбилейный обед, о котором Анненков сообщал Тургеневу 8/20 января 1858 г., был устроен в честь обнародованных рескриптов о подготовке крестьянской реформы. «Письмо к редактору» Тургенева опубликовано в «Le Nord», № 37, 6 февраля 1858 г. (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 130—137).

[27] В письме от 22 декабря 1857 г./3 января 1858 г. Тургенев просил Е. Е. Ламберт сказать «свое мнение о... небольшой повести под заглавием «Ася» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 179). Отзыв графини Ламберт неизвестен. Тургенев обращается к друзьям — Некрасову, Л. Толстому, Анненкову — с просьбой высказать свои суждения об «Асе». Тургеневская повесть, «чистое золото поэзии», как отозвался о ней Некрасов, послужила поводом к острой полемике в современной критике о людях сороковых годов и роли дворянской интеллигенции в развитии русского общества. С одной стороны выступил Н. Г. Чернышевский со статьей «Русский человек на rendez-vous», с другой — П. В. Анненков, опубликовавший критический этюд «Литературный тип слабого человека. По поводу тургеневской «Аси».

[28] Письмо П. В. Анненкова от 23 марта/4 апреля 1858 г. (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 80—81).

[29] Тургенев прибыл в Лондон 10/28 апреля 1858 г.

[30] Замысел «Дворянского гнезда» возник еще в 1850 г. Первое упоминание о нем встречается в письме к И. И. Панаеву от 3/15 октября 1856 г. (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 18). Но затем в работе над ним наступил большой перерыв, который длился до конца следующего года, а не до весны 1858 г., как утверждает Анненков. 22 декабря 1857 г./3 января 1858 г. Тургенев пишет Е. Е. Ламберт, что занят «большою повестью, главное лицо которой — девушка, существо религиозное; я был приведен к этому лицу наблюдениями над русской жизнью» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 179).

[31] Тургенев вернулся в Россию в июне 1858 г., то есть раньше Анненкова. Над «Дворянским гнездом» он работал в Спасском все лето и осень; в Петербург Тургенев привез готовую рукопись в первой половине ноября 1858 г.

[32] Автограф «Дворянского гнезда» хранится в Национальной библиотеке в Париже.

[33] Чтение «Дворянского гнезда» состоялось 28—29 декабря 1859 г. ст. ст. Помимо Некрасова, Анненкова, Дружинина, на чтении присутствовали: В. Боткин, И. Гончаров, А. Никитенко, И. И. Панаев, И. Маслов, Н. Тютчев, М. Языков.

[34] Роман «Накануне» был опубликован в первой книжке «Русского вестника» за 1800 г. О творческой истории романа и его про-

тотипах см. в «Предисловии» Тургенева к собранию романов в издании 1880 г. (см. также: *Тургенев, Соч.,* т. VIII, с. 490—543; *Тург. сб., II, 1966* — статья Е. Н. Щепкиной «Накануне». Героиня романа в кругу своих современниц»).

[35] Анненков имеет в виду тургеневские «Письма о франко-прусской войне» в «С.-Петербургских ведомостях», 1870, 8, 11, 23 августа, 13 и 26 сентября (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 14—33).

[36] Речь идет о сочинении немецкого историка В.-Г. Риля «Land und Leute» («Страна и люди», Штутгарт, 1853), составившем первую книгу исторической монографии «Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik».

[37] 2/14 августа 1859 г. в Париже состоялись пышные торжества в связи с победой Франции и Италии в войне против Австрии. 11 июля 1859 г. Наполеон III подписал в Вилла-Франке предварительные условия мирного договора. Тургенев иронически отнесся к военным успехам Наполеона III, понимая, что они способствуют укреплению монархического реакционного режима.

[38] О пребывании Боткина на о. Уайт (у южных берегов Англии) см. в кн. «Боткин и Тургенев», с. 156—160.

[39] В обширном цикле статей, объединенных названием «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо...» («Русское слово», 1859, № 4—6, 8), Ап. Григорьев анализировал творчество Тургенева, а также Гончарова, Григоровича, Островского, Писемского, Толстого. «Рассуждения о Тургеневе и его р о м а н е , — утверждал к р и т и к , — вовлекают меня неминуемо почти во все вопросы нашей современности» (Ап. Г р и г о р ь е в. Литературная критика. М., «Художественная литература», 1967, с. 326).

[40] Тургенев имеет в виду события в Италии, развернувшиеся после Виллафранкского мира (см. выше коммент. 37), ущемившего интересы итальянского народа. Это послужило к дальнейшему развитию освободительного движения на юге Италии под предводительством Гарибальди.

[41] Письмо Тургенева от 3/15 декабря 1859 г.

[42] «Накануне» Тургенев хотел посвятить графине Е. Е. Ламберт. Когда писатель узнал отрицательное мнение Ламберт о «Накануне», то отказался от этой мысли. Отзыв Ламберт, о котором упоминает Тургенев, неизвестен. Однако некоторые критические замечания приведены ею в письмах к Тургеневу, в частности, она находила, что Елена — «бойкая барышня», в которой «мало женственности» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 637).

[43] Об истории и причинах разрыва Тургенева с «Современником» см. в наст. т. воспоминания Н. Г. Чернышевского и коммент.

к ним. Комментируя одну из самых сложных и тяжелых коллизий в творческой биографии Тургенева, Анненков не говорит о той роли, которую сыграли «либеральные друзья» писателя и, в частности, он сам в решении автора «Записок охотника» порвать с «Современником» и начать печататься на страницах «Русского вестника».

[44] О размежевании с крестьянами Тургенев более подробно говорит в письме к И. С. Аксакову от 22 октября / 3 ноября 1859 г. *Дядя* — Н. Н. Тургенев, которому, по словам писателя, *«новые порядки* очень не по нутру. — но который понял, что *старые порядки* вернуться не могут» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 357).

[45] Подробнее о Тургеневе и Толстом см. в наст. т. «Мои воспоминания» А. А. Фета и коммент. 47 к ним, а также в т. 2 — воспоминания С. Л. Толстого «Тургенев в Ясной Поляне».

[46] Речь Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» была его последним произведением, опубликованным в «Современнике» (1860, № 1). См. *Тургенев, Соч.,* т. VIII, с. 169—192, 552—566, а также сообщение о малоизвестном отклике Н. С. Лескова на речь Тургенева (*Тург. сб., III, 1967,* с, 120—123).

[47] План романа «Отцы и дети», (См. об истории возникновения замысла в «Литературных и житейских воспоминаниях» очерк «По поводу «Отцов и детей». — *Тургенев, Соч.,* т. XIV.)

[48] Анненков усиленно приглашал Тургенева к участию в учреждаемой К. Д. Кавелиным газете «Век» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 98). Вместо газеты в 1861 г. под таким же названием начал выходить еженедельный журнал, в котором был напечатан очерк Тургенева «Поездка в Альбано и Фраскати» (1861, № 15).

[49] Эту помощь Анненков оказал М. А. Тургеневу (прототип героя рассказа Тургенева «Отчаянный»).

[50] Строка из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность» (1840).

[51] Имеется в виду рецензия Н. Г. Чернышевского на книгу Н. Готорна «Собрание чудес. Повести, заимствованные из мифологии» («Современник», 1860, № 6, с. 230). Тургенев ошибочно называет Добролюбова автором этой рецензии.

[52] Речь идет о статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3). См. в наст. т. воспоминания Г. З. Елисеева и коммент. к ним.

[53] В объявлении об издании «Современника» на 1861 г. фамилии постоянных сотрудников (кроме Чернышевского и Добролюбова) не были названы.

[54] См. коммент. 13 на с. 478. *Особая статья* — по всей вероятности, «Полемические красоты (Коллекция первая)» Н. Г. Чернышевского.

[55] Отрывок из статьи «По поводу «Отцов и детей» приводится не точно (см. *Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 108—109).

[56] В биографическом очерке, предпосланном первому тому, говорилось, что, помимо идейных расхождений, существовали и другие причины, обострившие конфликт Тургенева с «Современником» и в особенности с Некрасовым: «Тургенев приписывал Некрасову появление в «Современнике» оскорбительных отзывов о лицах, которыми он дорожил более всего на свете, и двусмысленных намеков на обстановку его частной жизни, — вот почему размолвка повела к многолетней разлуке! Некрасов, как он сам выражался, лежа на смертном одре, был тут без вины виноват: оскорбительные для Тургенева строки появились во время его отсутствия на охоте» (И. С. Тургенев. Собр. соч., т. I. СПб., 1883, с. XXXIII).

[57] Сатирическое приложение к «Современнику» «Свисток» начал выходить в 1859 г., был закрыт в 1863 г. После смерти Добролюбова одним из ведущих авторов «Свистка» стал Салтыков-Щедрин.

[58] Рассказ Анненкова о разговоре с Некрасовым близок к тому, о чем писал сам поэт Тургеневу 15 января и 5 апреля 1861 г. (*Некрасов,* т. X, с. 441—442 и 448—449).

[59] Впоследствии, уже после смерти Некрасова, Тургенев писал Анненкову: «Ваша характеристика Некрасова так *верна* — что я не решаюсь сжечь Ваше письмо, как Вы того желаете...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 201).

[60] О своих сложных взаимоотношениях с Тургеневым И. А. Гончаров рассказал в книге воспоминаний «Необыкновенная история» («Неизданная рукопись И. А. Гончарова». — «Сборник Российской Публичной библиотеки», т. II. Пгр., «Academia», 1924). Гончаров, познакомившийся с Тургеневым еще в начале сороковых годов, чрезвычайно высоко ценил автора «Записок охотника». «Писатель Гончаров... говорил мне, — вспоминал Л. Толстой, — что из народной жизни после «Записок охотника» Тургенева писать уже нечего. Все исчерпано» (*Толстой,* т. 30, с, 86). Отношения их обострились в зиму 1857/58 г., когда у Гончарова укрепились болезненные подозрения в том, что Тургенев использует в своем творчестве темы и мотивы «Обрыва».

[61] Полностью это письмо см.: И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8, с. 327—328. Речь идет об отрывке из романа «Обрыв» — «Бабушка», — который Гончаров читал Тургеневу в феврале 1860 г.

[62] Примирение состоялось в Петербурге 21 января/2 февраля 1864 г. Вскоре по приезде в Париж Тургенев писал Гончарову 14/26 марта: «...Я со своей стороны не менее Вас порадовался возобновлению дружеских отношений с человеком, к которому — не говоря уже об уважении к его таланту — я стою очень близко —

в силу общего прошедшего, однородности стремлений и многих других причин. Мы ведь тоже немножко с Вами последние могикане» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 239). Однако болезненная мнительность Гончарова вновь привела к разладу в отношениях; результатом этого и явились воспоминания «Необыкновенная история», во многом исказившие облик Тургенева.

[63] Об И. С. Тургеневе и М. А. Маркович (Марко Вовчок) см. *ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 250—302.

[64] Речь идет о грубом выступлении М. Н. Каткова против статьи Е. В. Салиас де Турнемир (Евгения Тур) «Госпожа Свечина» («Русский вестник», 1860, № 4). В этой статье Е. В. Салиас выступила с критикой проповеди католицизма в сочинениях С. П. Свечиной (видной деятельницы католической партии), вышедших в Париже в 1860 г. «Я напала на Свечину <…> потому, что она сделалась проводником теорий, мне ненавистных, потому, что сочинения ее, читаемые всеми наперерыв <…> я считаю вредными, *развращающими* ум <…> Я всегда ненавидела католических попов, мрак этого учения...» — так объясняла Салиас пафос своей статьи в письме к Каткову (*Тург. сб., III, 1967,* с. 157). Под псевдонимом «Байбарода» скрывались: М. Н. Катков, М. П. Леонтьев и Ф. М. Дмитриев.

[65] Произведения Марко Вовчок пользовались популярностью в кругах русской демократической интеллигенции. О творчестве писательницы одобрительно отзывались Чернышевский и Добролюбов. Герцен, ознакомившись с ее украинскими рассказами, писал: «Прочитавши, мы поняли, почему величайший современный русский художник И. Тургенев перевел их» (*Герцен,* т. XIV, с. 270).

[66] Речь идет об одном из решающих этапов освободительной борьбы за воссоединение Италии, завершившемся свержением владычества Бурбонов и созданием правительства конституционной пьемонтской монархии во главе с графом Кавуром.

[67] Анненков встретился с Тургеневым на о. Уайт (в городе Вентноре) 9/21 августа 1860 г.

[68] Поль Виардо перенес тяжелое воспаление легких.

[69] Е. В. Полонская скончалась 8/20 июня 1860 г.

[70] Л. Н. Толстой приехал в Соден 14/26 августа 1860 г., где жили уже М. Н. и Н. Н. Толстые.

[71] Тургенев пробыл в Лондоне с 28 июля/8 августа по 31 июля/12 августа 1860 г.

[72] М. А. Маркович, которую приглашали в Вентнор Тургенев и Герцен, приехала туда значительно позже, в сентябре 1860 г., и не встретилась с друзьями.

[73] Анненков не точен. Тургенев обращался с письмом к Александру II в защиту И. П. Огрызко, редактора газеты «Слово»

(«Slowo»), издававшейся в Петербурге на польском языке, — в 1859 г. За публикацию в газете письма Иоахима Лелевеля (одного из вождей польского национально-освободительного движения) газета была закрыта в феврале 1859 г., а ее редактор посажен на месяц в Петропавловскую крепость (*Тургенев, Письма,* т. III, С. 397—398).

[74] Речь идет о «редакционных комиссиях», занимавшихся подготовкой крестьянской реформы.

[75] Проект программы Общества для распространения грамотности и первоначального образования, составленный Тургеневым (при участии П. В. Анненкова, Н. Я. Ростовцева, Н. Ф. Крузе и др.) в августе 1860 г. Одним из непременных условий прогресса страны Тургенев считал распространение грамотности в России. Списки проекта были посланы Герцену, Огареву, Кавелину, Е. П. Ковалевскому, Дружинину, Некрасову, Чернышевскому, Фету и др. (*Тургенев, Соч.,* т. XV, с. 245—253). Анненков, в письме от 17 сентября, писал Тургеневу, что его проект стал известен уже «всему образованному. Петербургу» (*Труды ГБЛ,* т. III. с. 98—99).

[76] Т. Г. Шевченко хотел жениться на Лукерье Полусмаковой, с которой познакомился в доме у В. Я. Карташевской (см. ответное письмо П. В. Анненкова от 5/17 сентября 1860 г. — *Труды ГБЛ,* вып. III, с. 93).

[77] Тургенев познакомил Анненкова с семьей своих петербургских знакомых Карташевских, где Анненков встретился со своей будущей женой Глафирой Александровной Ракович, родственницей В. Я. Карташевской.

[78] Эти слова — «Mehr Licht!» («Больше света!»), якобы сказанные умирающим Гете, приводились его биографами (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 531).

[79] Н. А. Основский, издатель нового собрания сочинений Тургенева 1860 г., будучи на грани разорения, недоплатил писателю деньги за непредусмотренную договором часть тиража: вместо 4800 экз. было выпущено около 6000. Однако со временем Основский часть долга возвратил.

[80] Имеется в виду очерк «Поездка в Альбано и Фраскати» (см. коммент. 48 на с. 485).

[81] В первых четырех номерах «Современника» за 1861 г. начал печататься роман Г. Н. Потанина «Старое старится, молодое растет». Повести В. В. Берви и А. Е. Надеждина публиковались в «Современнике» во второй половине пятидесятых годов. В 5—7 книжках «Современника» за 1854 г. печатался роман Ип. А. Панаева «Бедная девушка». Высказывания Некрасова в печати о них неизвестны.

[82] Письмо Анненкова Тургеневу от 6/18 марта было озаглавлено им: «На другой день» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 117—118).

[83] Н. И. Тургенев, известный декабрист, в своих экономических трудах «Опыт теории налогов» (1818), «Россия и русские» (1847) одним из первых высказал мысль о необходимости освобождения крестьян от крепостной зависимости. Смысл приведенного Тургеневым евангельского изречения заключался в том, что теперь, когда цель жизни достигнута, можно спокойно умереть. Об отношениях И. С. Тургенева с Н. И. Тургеневым и его семьей см.: *Тург. сб., I, 1964,* с. 276—278; *ЛН,* т. 76, с. 359—414.

[84] В письме от 12/24 ноября 1860 г. Анненков сообщал Тургеневу о неблаговидных поступках издателя «Московского вестника» Н. А. Основского (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 103).

[85] *Новая повесть* — роман «Отцы и дети».

[85] Замысел статьи «О медиумах» остался неосуществленным.

[87] Имеется в виду Н. А. Тучкова-Огарева и ее старшая дочь Лиза, в это время жившие в Швейцарии.

[88] Тургенев благодарит за денежную помощь, которую Анненков оказал студенту И. Р. Родионову, и за обещание помочь К. И. Леонтьеву опубликовать роман «Подлипки» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 102).

[89] Имеется в виду Общество для распространения грамотности и первоначального образования. В письме от 9/21 декабря 1860 г. Анненков сообщал Тургеневу, что барон А. К. Мейендорф выразил желание дать 2000 рублей на книги для народного чтения (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 107).

[90] Речь идет о продаже прав на сочинения А. Ф. Писемского издателю «Русского мира» Л. С. Гиероглифову и Ф. Т. Стелловскому.

[91] Л. Н. Толстой приехал в Париж 29 ноября/11 декабря 1860 г. (*Толстой,* т. 60, с. 364).

[92] Имеется в виду статья Добролюбова «Два графа» («Современник», 1860, № 12, «Свисток», с. 4), в которой автор иронически отозвался о намерении Тургенева написать статью «Кольцов и Бернс» (об этом тургеневском замысле сообщалось в мартовской книжке журнала «Русское слово» за 1860 г.). Анненков в письме от 10 января и. ст. 1861 г. заметил, что выходка Добролюбова в «безобразнейшем «Свистке» «оскорбила здесь многих» (*Труды ГБЛ,* вып. III, с. 109). Творчество Кольцова, «подлинно народного поэта», по словам Тургенева, привлекало писателя еще с молодых лет. Встречу с Кольцовым Тургенев описал в «Литературных и житейских воспоминаниях» (очерк «Литературный вечер у П. А. Плетнева». — *Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 15). «Если для него <Кольцова> слишком большая честь сравнение с Бернсом, натура

и дарование которого значительно богаче и ярче, — писал Тургенев В. Рольстону 19 октября 1866 г., — то у них имеются все же и черты сходства, и десятка два из его стихотворений не умрут, пока будет жив русский язык» (*Тургенев, Письма,* т. VI, с. 389). Возможно, что полемический выпад в «Свистке» оказался одной из причин, помешавших Тургеневу написать статью о народных поэтах России и Шотландии.

[93] Имеется в виду А. А. Слепцов, один из организаторов и руководителей революционного общества «Земля и воля». Он виделся с Тургеневым в Париже по пути из Лондона, куда ездил в 1860 г. для свидания с Герценом и Огаревым. Слепцов пользовался репутацией опытного организатора воскресных школ.

[94] Писатель Н. В. Успенский — автор талантливых повестей и рассказов из народного быта, отличавшихся мрачным колоритом. Печатался в «Современнике» Некрасова. Тургенев одно время пытался помочь Успенскому, испытывающему крайнюю нужду (см. воспоминания Я. П. Полонского «К биографии Н. В. Успенского». — «Исторический вестник», 1898, № 4, с. 150). О своих встречах с Тургеневым Успенский рассказал в книге воспоминаний («Из прошлого», М., 1889, с. 16—30). Приведенную реплику Успенского Тургенев использовал в «Отцах и детях» (гл. XXI). Замечая, что и Успенский «не одобряет Добролюбова», Тургенев имеет в виду полемические высказывания критика о творчестве Пушкина в его статьях 1857—1860 гг.

[95] Сотрудник «Московского вестника» И. В. Павлов познакомился с Тургеневым в период спасской ссылки писателя. С этого времени Тургенев поддерживал дружеские связи с И. В. Павловым.

[96] Письмо Анненкова от 7/19 января 1861 г. (*Труды ГБЛ,* т. III, с. 110—111).

[97] Тургенев приехал в Петербург 30 апреля/12 мая 1861 г.

[98] О ссоре Тургенева с Л. Н. Толстым см. коммент. 47 на с. 466. В ответном письме 29 июня/11 июля 1861 г. Анненков выразил свое резко отрицательнее отношение к дуэлям вообще. «Кроме графчиков, — писал он, — дерутся только шулера да офицеры после волосяной потасовки... словом, известие о дуэли вызвало у меня ряд очень неприятных мыслей...» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 572).

[99] Об отношениях писателя с Н. Н. Тургеневым см. статью Р. Б. Заборовой «Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев». — *Тург. сб., III, 1967,* с. 221—234.

[100] Письмо Анненкова, в котором дан «отчет» о романе «Отцы и дети», опубликовано в журнале «Русская литература», 1958, № 1, с. 147—149.

[101] Тургенев сообщал М. Н. Каткову в письме от 1/13 октября 1861 г., что в связи с замечаниями Анненкова и Боткина «переделки в «Отцах и детях» будут значительнее», чем он предполагал раньше (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 295).

[102] Письмо Н. X. Кетчеру от 20 сентября/8 октября 1861 г. (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 292—293). Ознакомившись с текстом письма Тургенева к Л. Толстому, о котором говорится в мемуарах, Кетчер писал Анненкову: «В Москве я ничего и ни от кого не слыхал. Все это отзывается какой-то сплетней...» (там же, с. 589).

[103] Письмо Л. Н. Толстому от 26 сентября/8 октября 1861 г. (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 291).

[104] См. в XXIV гл. романа «Отцы и дети».

[105] Ссора произошла не в Спасском, а в имении Фета Степановке.

[106] Это письмо Л. Н. Толстого к Тургеневу неизвестно.

[107] В письме от 22 октября/3 ноября 1861 г. Анненков выразил свое мнение относительно несвоевременности печатания «Отцов и детей»: «Я думаю... что с романом <Отцы и дети»> надо повременить...» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 591).

[108] Письмо Л. Н. Толстого от 6 апреля 1878 г.

[109] В письме от 4/16 июня 1861 г. (см. *Труды ГБЛ,* вып. III, с. 121.) Анненков рассказывает о недовольстве крестьян тем, как осуществляется реформа.

[110] Роман «Отцы и дети».

[111] Письма Полины Тургеневой к отцу неизвестны.

[112] В «Библиотеке для чтения» (1861, № 2) была опубликована статья П. В. Анненкова «О двух национальных школах живописи в XV столетии (Заметка по поводу последних художественных выставок в Петербурге)».

[113] Отрывок из письма М. Н. Каткова к Тургеневу см. в ст. «По поводу «Отцов и детей» (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 101). Впоследствии Тютчевы изменили свое отношение к роману «Отцы и дети» (*«Тургенев и круг «Современника»,* с. 300).

[114] 30 октября/11 ноября 1861 г. Тургенев писал Каткову о своем желании на время задержать публикацию «Отцов и детей» (*Тургенев, Письма,* т. VI, с. 303).

[115] Не точно. Тургенев под давлением Каткова внес некоторые изменения в журнальный текст романа. Но в отдельном издании он в ряде случаев вернулся к первоначальной редакции (см. *Тургенев, Соч.,* т. VIII, с. 583—589).

[116] В письме от 22 октября/3 ноября Анненков подробно писал о студенческих волнениях в Петербурге, происходивших осенью 1801 г. (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 590—591),

[117] 4/16 декабря 1861 г. Анненков писал Тургеневу: «Никогда никакого журнала я издавать не намеревался и не намерен...» (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 597).

[118] Письмо П. В. Анненкова от 4/16 декабря 1861 г. (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 602).

[119] Речь идет о четырехтомном Собрании сочинений Тургенева в издании Н. А. Основского (1860—1861 гг.).

[120] На просьбу Тургенева передать 100 рублей двум бедным студентам под видом «стипендии» Анненков в ответном письме от 21 ноября/3 декабря 1861 г. выразил сомнение, благоразумно ли это делать в момент вновь вспыхнувших студенческих волнений в Петербургском университете (*Тургенев, Письма,* т. IV, с. 600—601).

[121] Н. А. Добролюбов умер 17/20 ноября 1861 г.

[122] Я. И. Ламберт умер семнадцати лет 3/15 ноября 1861 г.

[123] О деньгах, предназначенных Тургеневым двум студентам (см. выше, коммент. 120), Анненков писал: «Разве послать их в Москву, — там порядок, благодаря вмешательству профессоров, которые на петербургское движение смотрят как на мутную струю пошлого и антинаучного либерализма... Чичерин открыл лекции объявлением, что всякий ревнитель просвещении в России ничего другого сделать не может лучшего, как следовать в эту минуту указаниям прогрессивной нашей администрации» (*Тургенев; Письма,* т. IV, с. 601).

[124] Речь идет о взносе в кассу Литературного фонда от имени Н. В. Ханыкова (см. ст. А. З. Розенфельда «Тургенев и Ханыков» в сб.: «Тургенев и его современники», Л., 1977, с. 77—88).

[125] Статья Н. А. Добролюбова «Забитые люди» («Современник», 1861, № 9) о творчестве Ф. М. Достоевского.

[126] Повесть Н. Г. Помяловского «Молотов» была опубликована в 10-й книжке «Современника» за 1861 г.

[127] Тургенев имеет в виду планы Наполеона III, мечтавшего о захвате Мексики, а затем и всей Южной Америки.

[128] Имеется в виду Ф. Н. Тургенева.

[129] Французский публицист Эжен Пелльтан выступил со статьей, в которой утверждал, что в Австрии существует бóльшая свобода печати, чем во Франции, ибо там вообще нет цензуры. Газета «Courrier du Dimanche», опубликовавшая статью, «подверглась судебному преследованию», а Пелльтан был приговорен к трем месяцам тюрьмы («С.-Петербургские ведомости», 1862, № 38, 43 от 21 и 27 февраля).

[130] В течение тринадцати лет цензура не разрешала ставить в театре тургеневского «Нахлебника». Запрет был снят лишь в октябре 1861 г. благодаря вмешательству И. В. Анненкова, брата

мемуариста, в ту пору временно исполнявшего обязанности начальника III Отделения (см. *Тургенев, Соч.,* т. II, с. 596—600);

[131] «Новь» появилась в 1-й и 2-й книгах «Вестника Европы» за 1877 г.

[132] Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин, резко отзывавшийся о «Нови» в письмах к П. В. Анненкову (*Щедрин,* т. 19, кв. 1, с. 44, 49).

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ ТУРГЕНЕВА К ДОБРОЛЮБОВУ И О РАЗРЫВЕ ДРУЖБЫ МЕЖДУ ТУРГЕНЕВЫМ И НЕКРАСОВЫМ

(Ответ на вопрос)

Непосредственное знакомство Николая Гавриловича Чернышевского (1828—1889) с Тургеневым относится ко времени появления молодого писателя в редакции «Современника», то есть после 1853—1854 годов. Отношения Чернышевского к Тургеневу в разные периоды складывались по-разному, но в основном они определялись характером общественно-политической борьбы в России. До конца пятидесятых годов можно говорить о взаимном расположении, которое существовало между идеологом революционной демократии и автором «Записок охотника» — сотрудником «Современника». Чернышевский ценит в Тургеневе первоклассного художника, «благородного писателя» школы Белинского и Гоголя, который оказал заметное очищающее влияние на духовную жизнь передовой русской интеллигенции. Во время пребывания за границей больного Некрасова Чернышевский возлагает на Тургенева большие надежды как на одного из самых крупных и влиятельных литераторов, близких к редакции журнала.

Литературно-критическую деятельность Чернышевского Тургенев ставил достаточно высоко. Несмотря на несколько субъективную реакцию, вызванную знаменитой диссертацией Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), в отдельных тезисах которой Тургенев усмотрел якобы принижение роли искусства, он восторженно принимает «Очерки гоголевского периода русской литературы». В их создателе, воскресившем имя Белинского, он видит выдающегося критика своего времени, который «более всех понимает, что именно нужно», чутко улавливает «потребности действительной современной жизни». В 1856 году Тургенев выражает желание сблизиться с Чернышевским «более, чем до сих пор» *. Но с наступлением революцион-

* *Тургенев, Письма,* т. III, с. 21.

ной ситуации 1859—1860 годов, приведшей к резкому размежеванию общественных сил, происходит и неизбежный раскол в среде «Современника». Спор о роли людей сороковых годов в современном освободительном движении, о преемственности поколений, различное отношение к готовящейся крестьянской реформе предопределили разрыв Тургенева с кругом «Современника» — Добролюбовым, Чернышевским, Некрасовым.

Воспоминания Чернышевского создавались почти через тридцать лет после описываемых событий. Это обстоятельство безусловно сказалось на содержании и характере мемуаров, интерпретации конфликта, самом эпически-спокойном тоне повествования, хотя вместе с тем ясно ощущается, что воспоминания написаны с позиций революционера-демократа, соратника и преданнейшего друга Добролюбова.

Главное внимание Чернышевский сосредоточивает на причинах конфликта между Тургеневым и Добролюбовым, на истоках своего рода несовместимости их общественно-политических темпераментов. Именно в Добролюбове Чернышевский видел самое полное, самое цельное выражение качеств революционера-демократа.

Восстанавливая основные этапы идейной борьбы, пытаясь объяснить суть конфликта Тургенева с кругом «Современника», главным образом с Добролюбовым и Некрасовым, Чернышевский не случайно останавливается на творческой истории романа «Рудин» — одного из «самых живых литературных явлений современности». В воспоминаниях Чернышевского сквозит мысль о том, что истоки многократных авторских переделок романа заключены в самой русской жизни *. В накаленной атмосфере полемики конца пятидесятых — начала шестидесятых годов Тургенев пишет новую концовку эпилога «Рудина»: герой романа, «лишний человек», погибает на революционных баррикадах — таким образом протягиваются нити от поколения сороковых годов к шестидесятникам. Чернышевский категорически не принял «новой концовки» эпилога «Рудина»; герой тургеневского романа, наделенный автором некоторыми психологическими чертами М. Бакунина, был истолковал как злая карикатура на революционера (в ту пору заточенного в Шлиссельбургскую крепость). Эту мысль критик высказал в рецензии на книгу Готорна «Собрание чудес...». Выступление Чернышевского, о котором он вскользь упоминает в своих мемуарах, стало кульминацией конфликта Тургенева с редакцией «Современника».

---

* См. статью М. О. Габель «Творческая история романа «Рудин». — *ЛН,* т. 76, с. 9—70.

По воспоминаниям Чернышевского (а также Панаевой), Добролюбов и Тургенев не находили общего языка. «Плохие союзники — не союзники», эти слова Добролюбова, обращенные к Тургеневу, приводит Чернышевский в своих мемуарах.

Если в Рудине узнавали карикатуру на Бакунина, то Базаров воспринимался в среде «Современника» как некий пасквиль на Добролюбова *, то есть демократическая критика в момент революционной ситуации пристрастно видела в тургеневских героях намеренное искажение образов революционеров, иными словами — выступление писателя против революции.

Другая тема воспоминаний — разрыв Тургенева с Некрасовым. Чернышевский весьма лаконично, скупо излагает историю конфликта, ссылаясь на обычную сдержанность Некрасова, который не любил говорить о ссоре. И все же Чернышевский в своих объяснениях причин разрыва близок к истине. Его воспоминания подтверждают то, что известно нам из переписки Некрасова и свидетельств других мемуаристов. Несмотря на свою глубокую привязанность к Тургеневу, чрезвычайно высоко ценя его талант, ум, образованность, Некрасов в идейной борьбе своего времени полностью встал на сторону Добролюбова.

Чернышевский прав и тогда, когда утверждает, что идейные, принципиальные разногласия между редактором «Современника» и Тургеневым были отягощены множеством других субъективных и частных причин. «Обязательное соглашение», заключенное Некрасовым с Тургеневым, Л. Н. Толстым, Д. В. Григоровичем и А. Н. Островским (которое предполагало сотрудничество названных писателей только в «Современнике»), стесняло Тургенева, а затем и Некрасова. Денежные взаимные недоразумения также огорчали и раздражали обоих друзей. Неприятная история с «огаревским наследством», бросившая тень на Некрасова и поссорившая его с Герценом, в свою очередь, повлияла на отношения с Тургеневым. Такова, собственно, мемуарная часть воспоминаний. Но воспоминания Чернышевского представляют, пожалуй, не меньший интерес в другом, историческом аспекте: некоторые резкие приговоры, сделанные Чернышевским в шестидесятые годы, в момент «схватки», — в восьмидесятых годах, когда были написаны воспоминания, подверглись пересмотру. Чернышевский уже не склонен видеть в Рудине карикатуру на Бакунина, а в Базарове стремление очернить Добролюбова. Особого внимания заслуживает

* Сам же Тургенев всячески отрицал такое истолкование образа Базарова (см. ст. «По поводу «отцов и детей»). Напротив, *сильные* стороны характера тургеневского героя напоминали Добролюбова (см. коммент. А. И. Батюто в т. 3 Собр. соч. И. С. Тургенева в 12-ти томах, М., 1979).

принципиально иное отношение Чернышевского к эпилогу «Рудина», свидетельствующее об изменившемся взгляде революционной демократии на историческую роль людей сороковых годов.

Со временем прошла и у Тургенева острота непримиримости, пристрастных суждений и приговоров: уже в 1862 году, узнав о приостановке «Современника», Тургенев пишет Анненкову: «Мое старое литературное сердце дрогнуло, когда я прочел о прекращении «Современника» *. В «Литературных и житейских воспоминаниях» (в статье «По поводу «Отцов и детей») Тургенев называет Добролюбова «выразителем общественного мнения», а его статью о «Накануне» — исполненною «самых горячих», «самых незаслуженных похвал» в свой адрес (1869 г.). В начале семидесятых годов Тургенев, несмотря на скептическое отношение к роману Чернышевского, пытается (правда, безуспешно) опубликовать в Париже перевод «Что делать?» **.

«Воспоминания...» Н. Г. Чернышевского были продиктованы им сыну — М. Н. Чернышевскому в качестве приложения к письмам А. И. и Ю. П. Пыпиным от 21 января 1884 года. Судя по сопроводительному замечанию, сделанному автором, — «понятно, эти воспоминания вовсе не для печати», — Чернышевский рассматривал их только как материал для будущей работы А. Н. Пыпина. Впервые полностью опубликованы в журнале «Литература и марксизм», 1928, № 4.

Рукопись с поправками Чернышевского хранится в ЦГАЛИ (ф. 1, он. 1, ед. хр. 220). Текст печатается по изданию: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. I. М., 1939, с проверкой по рукописи.

[1] Чернышевский не раз читал корректуры произведений Тургенева, печатавшихся в «Современнике». В частности, он держал корректуру повести «Ася».

[2] Особенно часто Тургенев встречался с Добролюбовым с конца 1858 г. по апрель 1860 г. В мае 1860 г. больной Добролюбов выехал за границу и больше, по всей вероятности, с Тургеневым не виделся.

[3] Скорее всего, разговор с Тургеневым и Некрасовым, о котором вспоминает Чернышевский, происходил до появления в печати статьи Добролюбова о «Накануне», ибо резкий протест Тургенева был вызван наиболее полным первоначальным ее вариантом. Чернышевский был, конечно, хорошо информирован о всех обсто-

---

* *Тургенев, Письма,* т. V, с. 25.

** А. Тверитинов. Об объявлении приговора Чернышевскому. СПб., 1906, с. 88.

ятельствах публикации этой статьи, крайне обостривших конфликт Тургенева с редакцией «Современника».

[4] Чернышевский в своих статьях и письмах часто говорил о полном доверии ко всему, что пишет Добролюбов, считая его высшим, непогрешимым авторитетом: «Статей его я никогда не читал. Я всегда только говорил Некрасову: «Все, что он написал, правда. И толковать об этом нечего» (*Чернышевский,* т. XV, с. 139).

[5] Речь идет о корректуре третьего тома Собрания сочинений Н. А. Добролюбова (1862), куда входила и эта статья.

[6] См. также наст. т., с. 274—275.

[7] Тургенев, возможно, предлагал опубликовать «Шварцвальдские деревенские рассказы» немецкого романиста Бертольда Ауэрбаха. Редакция «Современника» отклонила в июне 1861 г. это предложение, как и предложение Л. Толстого, рекомендовавшего к публикации в журнале одну из повестей Ауэрбаха. Тургенев, благожелательно относившийся к творчеству немецкого прозаика, написал в соавторстве с Л. Пичем в 1868 г. небольшое предисловие к его роману «Дача на Рейне», который печатался в «Вестнике Европы».

[8] Некрасов придавал этим обедам особый смысл, видя в них не только приятное времяпрепровождение, но и добрый повод к сближению сотрудников. М. А. Антонович, имея в виду период раскола между «старой» и «повой» редакцией «Современника», писал в своих мемуарах, что Некрасов «устраивал обеды, на которые приглашались обе враждующие стороны; тут бывали: Тургенев, Панаев, Гончаров, Григорович, Полонский, Анненков, Боткин, Островский и др... Тут было очевидно, что сближение сторон невозможно, что примирение не клеится...» («Шестидесятые годы», М.—Л., «Academia», 1933, с. 190).

[9] Имелись в виду И. А. Панаев, который в 1850—1860 гг. заведовал конторой и хозяйственной частью «Современника», и его брат, В. А. Панаев, сотрудничавший в этом же журнале.

[10] Некрасов и в период сотрудничества в «Современнике» Чернышевского прислушивался к голосу Тургенева. В июле 1857 г. Некрасов просит Тургенева скорее вернуться в Россию. «Без тебя толку не будет...» — пишет он ему (*Некрасов,* т. X, с. 535).

[11] Имеется в виду Н. С. Шаншиев.

[12] В эти годы (1855—1856) у Некрасова были сложные и тяжелые отношения с А. Я. Панаевой. «Некрасов с Панаевой окончательно разошлись, — писал своему брату В. П. Боткин 27 апреля 1855 г. — Он так потрясен и сильнее прежнего привязан к ней, но в ней чувства, кажется, решительно изменились» (*ЛН,* т. 53—54, с. 130). Некрасов, глубоко уязвленный тем, что Тургенев готов

поверить в его причастность к махинациям с «огаревским наследством», писал ему 26 мая/7 июня 1857 г.: «Ты лучше других можешь знать, что я тут столько же виноват и причастен, как ты, например. Если вина моя в том, что я не употребил моего влияния *, то прежде надо бы знать, имел ли я его — особенно тогда, когда это дело разрешалось. Если оно и могло быть, то гораздо прежде» (*Некрасов,* т. X, с. 340).

[13] Имеются в виду примечания в первом томе Собрания сочинений Н. А. Некрасова (1879 г.) к стихотворению «Одинокий, потерянный...», навеянному «разладом с Тургеневым в 1860 году...» (с. V—VI). Автор примечаний, желая опровергнуть нападки реакционной критики (в частности Каткова), обвинявшей «Современник» в корыстном отношении к своим сотрудникам, привел большую выдержку из статьи Чернышевского «Полемические красоты (Коллекция первая)» («Современник», 1861, № 6).

[14] Литературный фонд (общество для пособия нуждающимся литераторам) был основан в 1859 г. Первый комитет был избран 8 ноября. Тургенев горячо приветствовал организацию такого гуманного общества.

[15] Этот разговор происходил на первом литературном вечере, организованном Литературным фондом, — 10 января 1860 г. (см. ст. «В изъявление признательности». — *Чернышевский,* т. X, с. 124).

[16] Имеется в виду статья Тургенева «По поводу «Отцов и детей», напечатанная в 1-м томе сочинений писателя, изд. 1869 г.

[17] В октябре—мае 1860—1861 гг. М. А. Маркович часто встречалась с Тургеневым в Париже, бывала на литературных вечерах у писателя. Тургенев давал читать ей рукопись «Отцов и детей». 27 сентября/9 октября 1861 г. Маркович писала Добролюбову из Парижа: «Тургенев сюда приехал. Я его видала часто и читала новую его повесть «Отцы и дети». Лучше всех лиц в ней Базаров, хоть и нигилист» (М. Вовчок. Собр. соч., т. VI, 1956, с. 411). Это высказывание Маркович о Базарове противоречит содержанию разговора, который приводится Чернышевским. Кроме того, вряд ли мнение писательницы о герое «Отцов и детей» могло так круто измениться. Версию о том, что Базаров «карикатура» на Добролюбова, Тургенев всегда категорически отрицал. Поэтому весьма сомнительно утверждение Чернышевского, будто Тургенев признался Маркович в своем желании «мстить Добролюбову, когда писал свой роман». Речь могла идти скорее о Рудине. В 1862 г. Тургенев писал М. А. Маркович, что прототипом его героя был

* Некрасов имеет в виду А. Я. Панаеву.

Бакунин: «Я в Рудине представил довольно верный его портрет» (*Тургенев, Письма,* т. V, с. 47).

[18] Вопрос о реальных прототипах Базарова и, в частности, о провинциальном медике Дмитриеве дискуссионен. Как один из возможных прототипов Базарова назывался Виктор Якушкин (см.: Н. Чернов. Об одном знакомстве И. С. Тургенева. — «Вопросы литературы», 1961, № 8; см. также полемическую статью Вильяма Эджертона (США) в 1-м номере «Русской литературы» за 1967 г.). Интересные соображения приведены в статье А. И. Батюто «К вопросу о замысле «Отцов и детей», в которой он называет Л. Толстого как одного из возможных прототипов Базарова. Безусловно, что черты личности самого Добролюбова нашли свое выражение в трагическом облике героя тургеневского романа (*Тург. сб., Орел, 1960*).

[19] Повесть была напечатана в «Современнике», 1856, № 1—2.

[20] А. В. Дружинин писал в 1857 г., что повесть Тургенева «была много раз прочитана в кругу друзей, которых мнением дорожил автор», «она исправлялась и переделывалась вплоть до того дня, когда обычаи нашей спешной журнальной деятельности могли терпеть такую медленность» («Библиотека для чтения», 1857, № 5, с. 40).

[21] Чернышевский в рецензии на книгу Готорна «Собрание чудес...» писал о «Рудине»: «Повесть должна была бы иметь высокий трагический характер, посерьезнее Шиллерова Дон-Карлоса, а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей» (*Чернышевский,* т. VII, с. 449).

[22] Впервые Тургенев напечатал «Рудина» с новой концовкой в четвертом томе Собрания сочинений (изд. Основского, 1860 г.). Вряд ли Чернышевский не читал тогда этого эпилога.

[23] Чернышевский, по всей вероятности, имел в виду свою статью «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова», в которой он писал: «Теперь, милостивые государи, называвшие нашего друга человеком без души и сердца... теперь имею честь назвать вас тупоумными глупцами...» («Современник», 1862, № 1, с. 293). Вряд ли этот выпад против Тургенева вызван «Отцами и детьми», которые появились в печати позже статьи Чернышевского, в феврале 1862 г. Скорее всего, возмущение Чернышевского было вызвано фельетоном-пародией на Н. А. Добролюбова, опубликованным в 1859 г. в одном из номеров «Искры» под названием «Шестилетний обличитель». Фельетон приписывался Тургеневу (см. *Тург. сб., III, 1967,* с. 106—118). *Вторым лицом,* вызвавшим раздражение автора мемуаров, был А. И. Герцен. «Когда я потерял Добролюбова (в ноябре 1861 г.), — рассказывал Чернышевский на следствии

30 октября 1862 г., — неприязнь к Герцену за него усилилась во мне до того, что увлекла меня до поступков, порицаемых правилами литературной полемики... Укажу для примера на выражение мое о нем в одной из первых книжек «Современника» (*Чернышевский,* т. XIV).

Г. З. ЕЛИСЕЕВ

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Григорий Захарьевич Елисеев (1821—1891) — талантливый публицист, один из ведущих сотрудников «Современника» (с 1858 г.), а затем «Отечественных записок».

Воспоминания, которые были задуманы широко, Елисеев начал писать в 1885 году. В центре внимания мемуариста — последние годы существования «Современника», запрещенного в 1866 году, начало деятельности «Отечественных записок», во главе с Некрасовым и Салтыковым-Щедриным, конфликт, возникший между бывшими членами редакции «Современника» — М. А. Антоновичем, Ю. Г. Жуковским и новым руководством «Отечественных записок».

Тургенев не является непосредственным действующим лицом воспоминаний Елисеева, героями их были прежде всего Чернышевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин. Однако в полемике шестидесятых годов немалую роль играли произведения Тургенева, его романы — своеобразные барометры общественной жизни, и в первую очередь «Отцы и дети». Страницы воспоминаний Елисеева, посвященные одному из главных эпизодов полемики вокруг «Отцов и детей», представляют несомненный интерес в ряду других мемуарных свидетельств современников о жизни и творчестве Тургенева. В настоящем издании публикуется отрывок из главы «Антонович и Жуковский в «Современнике».

Воспоминания Елисеева, создававшиеся в атмосфере реакции восьмидесятых годов, по своему общественно-политическому звучанию отличаются от его ранних публицистических выступлений. К началу восьмидесятых годов Елисеев заметно уклонился вправо от революционно-демократических убеждений. В это время он уже не выступает как соратник Чернышевского и Салтыкова, а скорее представляет либеральную позицию в русском просветительстве *.

Обращает на себя внимание полемичность мемуаров по отношению к «Современнику» шестидесятых годов и прежде всего к

* «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., ИХЛ, 1975, с. 7—9.

М. А. Антоновичу, автору нашумевшей статьи «Асмодей нашего времени» — об «Отцах и детях» Тургенева. Резкость характеристики, данной Елисеевым литературно-критическим выступлениям Антоновича, в известной мере объясняется обоюдной неприязнью, которая возникла между ними, особенно в связи с появлением в 1869 году брошюры «Материалы для характеристики современной русской литературы», направленной против Некрасова *. Авторами ее были М. А. Антонович и Ю. Г. Жуковский.

Несмотря на определенную тенденциозность оценок, эти воспоминания вносят новый штрих в то, как воспринимали роман Тургенева деятели восьмидесятых годов. Интересно, что принципиально отношение Г. З. Елисеева к «Отцам и детям» в момент их появления мало чем отличалось от позиции Антоновича и круга «Современника»: он также видел в романе искажение образа нового человека **. Однако время внесло свои объективные поправки в представление Елисеева о романе и полемике вокруг него.

Текст печатается по изданию: «Шестидесятые годы», М.—Л., «Academia», 1933.

Е. Н. ВОДОВОЗОВА

ИЗ КНИГИ «НА ЗАРЕ ЖИЗНИ»
ИЗ ГЛАВЫ XVIII

Среди Петербургской молодежи шестидесятых годов

Воспоминания Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844—1923), типичной шестидесятницы, занимают особое место в истории русской мемуаристики. «На заре жизни» — мемуарная повесть, беллетризованная по форме, объединенная единым сюжетом. Но в основе ее лежат действительные события и факты, рассказанные с большой степенью исторической достоверности.

Дом Водовозовых (муж писательницы — Василий Иванович Водовозов — известный в то время педагог) с начала шестидесятых годов становится одним из центров, объединяющих передовую демократическую молодежь Петербурга. На водовозовских «вторниках» бывали студенты, писатели, общественные деятели. Здесь можно было встретить П. Л. Лаврова, Н. К. Михайловского, Г. З. Елисеева, молодого писателя В. А. Слепцова.

В настоящем издании печатается отрывок из главы XVIII, где рассказывается о тех горячих бесконечных спорах, которые

* «Шестидесятые годы», М.—Л., «Academia», 1933, с. 21—22.
** Там же, с. 494—503.

бушевали вокруг тургеневских «Отцов и детей». Несомненный интерес представляет суждение о романе, высказанное В. А. Слепцовым, писателем-демократом, чей талант Тургенев сразу заметил и высоко оценил.

Текст печатается по изданию: Е. Н. Водовозова. На заре жизни, т. 2. М., Гослитиздат, 1964.

И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-СЕМИДЕСЯТНИКОВ

П. Л. ЛАВРОВ

ИЗ СТАТЬИ «И. С. ТУРГЕНЕВ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА»

Первые встречи Тургенева с Петром Лавровичем Лавровым (1823—1900), одним из крупнейших идеологов революционного народничества семидесятых годов, относятся к 1859—1860 годам, то есть к тому времени, когда, по словам самого Лаврова, его еще «считали очень умеренным» *. В ту пору он сотрудничал в «Отечественных записках» и был редактором Энциклопедического словаря. Судя по воспоминаниям Лаврова, личное знакомство с Тургеневым состоялось на чтениях в пользу Литературного фонда, на первом из которых (10 января 1860 г.) писатель читал «Гамлета и Дон-Кихота». В том же году и в пользу того же фонда, пишет Лавров, Тургенев «способствовал устройству моих «Бесед о современном значении философии» («Вестник народной воли», 1884, № 2, с. 88).

Сведений о других встречах Тургенева с Лавровым до 1872 года не сохранилось. Лавров после выстрела Каракозова (4/16 апреля 1866 г.) сразу же был арестован, предан военному суду и сослан под надзор полиции в одну из внутренних губерний России.

Сближение Тургенева с Лавровым произошло в Париже, куда Лавров приехал в 1870 году, бежав из каднинской ссылки. В конце 1872 года он встретился с Тургеневым у их общего знакомого Г. Н. Вырубова.

Общение с Лавровым, революционером, другом Энгельса и Маркса, требовало от Тургенева известного мужества: в семидесятые годы полиция особенно пристально следила за самим писателем (и он знал об этом), который давно скомпрометировал себя в ее глазах многочисленными связями с русской политической

* П. Л. Лавров. Избр. соч., т. I. М., 1934, с. 78—79.

эмиграцией. Между тем как раз в эти годы, в пору работы над «Новью», обостряется интерес Тургенева к деятелям революционного движения. В конце 1872 года, то есть ко времени встречи с Лавровым в Париже, у Тургенева уже был готов «сюжет и план» нового романа. Писатель искал встреч с революционерами. «Два лица не довольно изучены на месте, — не взяты живьем», — сетовал Тургенев в письме к С. К. Кавелиной, рассказывая ей о будущих персонажах «Нови» * Речь шла о Нежданове и Соломине.

Особенно близкими и доверительными отношения Лаврова и Тургенева становятся начиная с весны 1877 года, когда Лавров надолго задерживается в Париже. Тургенева привлекала редкая, широкая образованность Лаврова, разносторонность его интересов — математика, историка, философа, публициста, наконец, литературного критика. Но не только черты психологического и нравственного облика Лаврова привлекали Тургенева; писателя, создавшего образ Соломина, интересовали некоторые аспекты политических взглядов Лаврова, в частности, его отрицание необходимости скорейшего насильственного переворота. В какой-то мере впечатления от личности Лаврова нашли свое отражение в образе Соломина. Тургенев согласен «со всеми главными положениями программы» журнала «Вперед!» (редактировавшегося Лавровым), которая вызывает лишь одно его возражение: «Напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов... — пишет он Лаврову 1/13 июля 1873 года, — тем более, что Вы сами плохо верите в насильственные перевороты» **. Ознакомившись с программой журнала, Тургенев изъявил желание «быть подписчиком, серьезным, платящим подписчиком» ***. Он готов давать на издание 1000 франков в год, по потом, поняв, что такая сумма превышает его возможности, вносил в кассу журнала ежегодно 500 франков.

Тургенев поддерживал Лаврова в его полемике с П. Н. Ткачевым, сторонником немедленной революции. «В Вашей полемике против Ткачева Вы совершенно правы, — писал он ему 23 ноября / 5 декабря 1874 года, — но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать, чтоб можно было медленно и терпеливо

---

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 49.

** Там же, с. 123—124. Правда, заявление писателя о том, что он полностью разделяет программу «Вперед!», верно только до известной степени, ибо в основе ее была все-таки идея революции, им отвергаемая. «...Было бы нелепо утверждать, — замечал Г. А. Лопатин в своем открытом письме в «Daily News», что Тургенев разделял вполне программу «Вперед!» или безусловно сочувствовал ей. Прежде всего, как художник Тургенев не был человеком строго определенной политической программы... Но он был всегда горячим другом политической свободы и непримиримым ненавистником самодержавия (*ЛН,* т. 76, с. 246—247).

*** Там же, с. 123.

приготовлять нечто сильное и внезапное...» * Лавров был убежден, о чем он позднее писал в своей «Биографии-исповеди», что «ни народ не готов к социальному перевороту, ни интеллигенция не усвоила себе в достаточной мере то социологическое понимание и то нравственное убеждение, которые одни могут выработать в последних искренних социалистов». Он считал поэтому необходимым подготовление социалистической революции в России путем развития научной социологической мысли в интеллигенции и путем пропаганды социалистических идей в народе **.

Тургенев одобряет выступление Лаврова в защиту цюрихских студенток — «благородный и исполненный достоинства протест», которого требовала «общественная нравственность» *** (Лавров протестовал против распоряжения русского правительства о незамедлительном и обязательном возвращении в Россию студенток, учившихся в Цюрихе).

Ежегодной дотацией журналу «Вперед!» не исчерпывалось содействие Тургенева русским политическим эмигрантам. Своеобразной формой помощи были и устраиваемые Тургеневым литературно-музыкальные утра и вечера, сбор от которых также поступал в фонд революционной эмиграции.

Вскоре после смерти Тургенева во втором номере «Вестника народной воли» за 1884 год появилась итоговая работа П. Л. Лаврова о Тургеневе. Сам автор называл ее «Воспоминаниями» ****. Однако первая часть этой работы почти совсем лишена мемуарной основы, она представляет собой литературно-критическую статью о творчестве Тургенева и поэтому не входит в настоящее издание *****.

Но и вторая, «мемуарная», часть статьи (которая публикуется в сборнике), содержащая интересные и достоверные страницы воспоминаний, носит исследовательско-публицистический характер, изобилует разного рода отступлениями, где дается анализ исторической и политической обстановки в России семидесятых—восьмидесятых годов, разбираются произведения Тургенева (главным образом «Новь», однако эти отступления органичны — без них портрет писателя, созданный Лавровым, оказался бы незавершенным. По своей сложной публицистической манере воспоминания Лаврова близки мемуарам П. В. Анненкова.

---

* *Тургенев, Письма,* т. X, с. 331.

** П. Л. Лавров. Избр. соч., т. I, с. 104; см. также: Н. Ф. Буданова. Тургенев и Лавров в 70-е годы. — В сб.: «Тургенев и его современники». Л., 1977, с. 88—109.

*** *Тургенев, Письма,* т. X, с. 115.

**** П. Л. Лавров. Избр. соч., т. I, с. 87.

***** Опубликована в *ЛН,* т. 76, с. 208—232.

Цель статьи Лаврова была сформулирована в первом номере «Вестника народной воли» за 1883 год: «Дать читателям материал для правдивой оценки» отношения Тургенева «к русскому социально-революционному движению» *.

В мемуарах Лавров пытается дать оценку личности писателя, его мировоззрения и политических взглядов, пытается определить место Тургенева в истории русской и мировой культуры, в истории русской прогрессивной мысли. Самый масштаб воспоминаний Лаврова так значителен, что по степени понимания и разъяснения творческой личности Тургенева они занимают одно из первых мест в обширнейшей мемуарной литературе о писателе.

Текст печатается по журналу «Вестник народной воли», 1884, № 2, с проверкой по автографу и правленной П. Л. Лавровым корректуре, хранящимся в ЦГАОР (ф. 1762, он. 2, ед. хр. 357).

[1] В «Биографии-исповеди» Лавров точно указывает дату приезда: «13/1 марта (1870 г.) прибыл в Париж» (П. Л. Лавров. Избр. соч., т. I, с. 89), В 1870 г. Тургенев, обосновавшийся в Баден-Бадене, находился в Париже лишь с 1 по 7 января.

[2] Имеются в виду главы из анонимной статьи П. Л. Лаврова «Цивилизация и дикие племена»: «Потугин вместо предисловия» и «Потугинская цивилизация в виде послесловия» («Отечественные записки», 1869, № 5 и 9), содержащие резкие полемические отзывы о «Дыме». В шестидесятые годы Лавров, так же как и вся революционно-демократическая критика, был непримирим по отношению к образу Потугина, порой отождествляя его речи «совершенного западника» с авторской позицией («Отечественные записки», 1869, № 9, с. 128). В 1869—1870 гг. Лавров склонен был рассматривать «Дым» как произведение, направленное против молодого поколения («Неделя», 1870, № 16, с. 536). Однако в восьмидесятые годы, когда писались воспоминания, отношение Лаврова к творчеству Тургенева (которое в целом всегда оценивалось им очень высоко) становится более объективным, что и нашло свое выражение в опущенной здесь литературно-критической части статьи «И. С. Тургенев и развитие русского общества».

[3] «При первой нашей встрече за границей, — вспоминает Лавров, — в салоне весьма известного русского парижанина, при чем присутствовали В. Ф. Корш и г. Ханыков, Иван Сергеевич воспользовался первым удобным оборотом разговора, чтобы повести речь об «Отцах и детях» и горячо защищаться против неверного понимания этого произведения читателями и критикою. Так как я никогда не смотрел на Базарова как на тенденциозную карика-

* Опубликована в *ЛН,* т. 76, с. 249.

туру, то мне было очень легко согласиться с Иваном Сергеевичем, но я тогда же высказал ему что я ставлю ему в вину его изображение в «Дыме» кружка Губарева и его поклонников, особенно в эпоху, когда группы, к которым можно было применять направление этого кружка, подверглись весьма ясно характеризованному гонению. Тургенев не защищался» (*ЛН,* т. 76, с. 231).

[4] В начале семидесятых годов в швейцарском городе Цюрихе сосредоточилась значительная часть русской революционной эмиграции. Основателем цюрихской колонии был М. П. Сажин. В 1872 г. Лавров получил «предписание из России» редактировать социалистический журнал, который был задуман как орган «социально-революционной молодежи» («Биография-исповедь»). В 1873 г. в Цюрихе вышел первый помер журнала «Вперед!» (непериодического издания) под редакцией П. Л. Лаврова.

[5] Из письма Тургенева к Лаврову от 20 мая / 1 июня 1873 г. ясно, что писатель собирался быть в Цюрихе 7—8 июня. «Он обдумывал тогда свою «Новь», — вспоминает Г. Н. Вырубов, — и надеялся, как он выражался, набрать красок в этом сборище разношерстной революционной молодежи» («Вестник Европы», 1913, № 2, с. 62). О предубежденном отношении цюрихской молодежи к возможному приезду Тургенева вспоминала впоследствии В. Фигнер («Студенческие годы», М., 1924, с. 74). Поездка Тургенева в Цюрих не состоялась главным образом из-за правительственных репрессий против русских цюрихских студенток, по сути дела направленных на то, чтобы ослабить один из центров революционной эмиграции. Тургенев сообщал Лаврову об особом распоряжении, опубликованном в «Правительственном вестнике» от 21 мая 1873 г., касающемся «цюрихских студенток». «Их обвиняют во всевозможных ужасах, — писал он Лаврову, — упоминают (не называя, впрочем, Вас) о Ваших лекциях — и кончают объяснением, что все те из наших соотечественниц, которые останутся в Цюрихе после 1 января 1874 г., будут лишены всяких прав и не допущены ни на какие коронные места и ни в какие заведения. Вследствие этих драконовских мер наша русская колония в Цюрихе, вероятно, разлетится прахом...» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 111). Тургенев оказался прав. Вскоре цюрихская колония прекратила свое существование, редакция и типография журнала «Вперед!» с начала 1874 г. обосновалась в Лондоне.

[6] Так называемый «Процесс 50-ти» состоялся в Москве 21 февраля 1877 г. К суду привлекались лица, обвиняемые в революционной пропаганде, и среди них — бывшие цюрихские студентки, наборщицы типографии, печатавшей журнал «Вперед!», — С. И. Бардина, сестры Любатович, В. Фигнер и др. «...из 52-х политических преступников — 18 женщин, — подчеркивал автор

«Нови», ознакомившись с процессом. — А мне г-да критики говорят, что я выдумал Марианну, что таких личностей не бывает!» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 103).

[7] Из статьи «Ответ иногороднему обывателю», впервые опубликованной в газете «Молва», № 358, 29 декабря ст. ст. 1879 г.

[8] Цитата из статьи Лаврова о «Нови», напечатанной без подписи в лондонском журнале «The Atheneum» от 17 февраля 1877 г. («Nov' by Ivan Tourguénief»). Впервые на русском языке опубликована в *ЛН,* т. 76, с. 197—207.

[9] Лавров цитирует строки из некролога, напечатанного в первом номере «Вестника народной воли» (Женева, 1883). См. *ЛН,* т. 76, с. 249.

[10] Речь идет об С. М. Степняке-Кравчинском, писателе-революционере. *Одна книга* — «Подпольная Россия» Степняка-Кравчинского, отдельное издание которой вышло в 1882 г. на итальянском языке в Милане, с предисловием П. Л. Лаврова. Произведение Кравчинского задумано было им как «характеристика движения в лицах и образах» (см. статью Е. Таратуты «История одной книги». — «Прометей», 1967, № 3, с. 168). Вскоре «Подпольная Россия», завоевавшая широкую популярность, была переведена почти на все европейские языки. Известен отзыв Тургенева о «Подпольной России»: «Написано в высшей степени талантливо, есть места даже художественные...» Степняк-Кравчинский с большой симпатией и уважением относился к Тургеневу, видел в нем большого художника, собирался написать книгу о его творчестве (см. публикацию «Из незавершенной книги С. М. Степняка-Кравчинского о Тургеневе» в *ЛН,* т. 76, с. 255—276).

[11] Речь идет о письме Тургенева к Лаврову от 29 сентября / 11 октября 1875 г. «Возвращаю Вам при сем прилагаемую элукубрацию, — писал Тургенев, — имею Вам сказать только то, что Вы очень скоро раскусили ее автора, пустейшего из лоботрясов, — да кстати поблагодарить Вас за непомещение ее в Вашем журнале» (*Тургенев, Письма,* т. XI, с. 135). Тургенев имел в виду молодого доктора В. Г. Дехтерева, секретаря комитета Общества помощи женщинам, учащимся на медицинских и педагогических курсах. Об отталкивающем впечатлении, произведенном на него Дехтеревым, о его прожектерстве, псевдореволюционности Тургенев рассказывал своим друзьям, в частности Н. А. Островской (см. ее воспоминания в т. 2 наст. изд.). Некоторые личные записи Дехтерева, в которых он развивает свои взгляды, предоставила Тургеневу А. П. Философова, его петербургская знакомая.

[12] Лавров цитирует письма Тургенева к А. П. Философовой.

[13] Речь идет об идейных разногласиях в среде русской политической эмиграции, группировавшейся вокруг журнала «Впе-

ред!». «...Впередское гнездо близится к разорению», — писал Г. Лопатин Лаврову 25 февраля / 9 марта и, ст. 1877 г. (*ЛН,* т. 76, с. 324).

[14] Тургенев отправил Лаврову корректуру «Нови» через Лопатина. В письме от 5/17 января 1877 г. Тургенев просил Лаврова по прочтении срочно вернуть корректуру, а также сообщить его мнение о «Нови», «какое бы оно ни было...» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 59). Чтение «Нови» было вызвано не только желанием Лаврова ознакомиться с новым произведением Тургенева, но и с намерением написать статью о романе (подробнее о всех обстоятельствах публикации статьи см. в *ЛН,* т. 76, с. 194—196).

[15] Лавров, по всей вероятности, имеет в виду издателя «Атенеума» Чарлза Дилка, высоко ценившего творчество Тургенева. В сопроводительном письме к редактору журнала Лавров замечал, что «обещал сэру Чарлзу Дилку дать для «Атенеума» статейку на французском языке о новом романе г-на Тургенева» (*ЛН,* т. 76, с. 195).

[16] С 1 июня по 27 августа 1871 г. в С.-Петербургской судебной палате разбирался политический процесс нечаевцев — «Дело о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России». Нечаевцы готовили «всероссийское восстание против царизма», приуроченное к весне 1870 г. С. Г. Нечаев, последователь Бакунина, проповедовал крайние анархистские теории о возможности любых средств для достижения революционных целей. «Наше дело — страшное, полное повсеместное разрушение», — говорилось в программе группы Нечаева («Правительственный вестник», 1871, 9 июля, с. 4). Политический процесс нечаевцев привлек внимание крупнейших либеральных юристов России, в их числе был известный русский адвокат К. К. Арсеньев, выступивший в роли защитника на процессе С. Г. Нечаева. Возможно, Лавров имеет в виду его выступление на суде, послужившее основой для статьи «Политический процесс 1869—1871 гг.» («Вестник Европы», 1871, № 11). В этой статье, за которую журнал получил первое цензурное предостережение, К. К. Арсеньев высказал мысль о том, что участие молодежи в тайных обществах вызвано отчасти и репрессиями со стороны правительства. В одном из персонажей «Нови», Василии Николаевиче, Тургенев изобразил Нечаева. Говоря о «работе типографских станков», Лавров, по всей вероятности, имеет в виду деятельность П. Н. Ткачева, издававшего с 1875 г. (сначала в Женеве, а затем в Лондоне) журнал «Набат». Программа журнала предусматривала подготовку немедленного восстания в России.

[17] Имеется в виду записка министра юстиции графа К. И. Палена «Успехи революционной пропаганды в России» (изд. 2-е, Же-

нева, 1875), в которой сообщалось о результатах судебного следствия по делу о революционной пропаганде в 37 губерниях России.

[18] Из статьи Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день? («Накануне», повесть И. С. Тургенева)».

[19] Лавров приводит отрывок из речи С. И. Бардиной на московском «Процессе 50-ти».

[20] Отзыв П. А. Кропоткина о «Нови» см. в его воспоминаниях в наст. т., с. 398—399. Вместе с Кропоткиным на чтении «Нови» присутствовал один из наборщиков журнала «Вперед!» — М. И. Янцин. Его письмо к В. Н. Смирнову, сотруднику журнала, в котором он рассказывает о чтении Лавровым «Нови», сохранилось в материалах перлюстрации III Отделения (*ЛН,* т. 76, с. 322, 324).

[21] Речь идет о Г. А. Лопатине. Ему принадлежит предисловие, открывающее книгу «Из-за решетки. Сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873—77 гг., осужденных и ожидающих суда», Женева, 1877 (см. *ЛН,* т. 76, с. 250—253). Главный упрек, который делается в предисловии автору «Нови», заключался в том, что писатель, по мнению Лопатина, избрал «своими героями наименьше характерные и многочисленные типы», заставил их «действовать самым несообразным, чтобы не сказать смешным, образом», чем невольно способствовал искажению образа революционера.

[22] Цитата из статьи Лаврова о «Нови» (см. коммент. 8 на С. 507).

[23] Цитируются строки из прокламации П. Якубовича (*Тург. в восп. рев.,* с. 7).

[24] «Воспоминания об И. С. Тургеневе» М. М. Ковалевского см. в т. 2 наст. изд. Автор мемуаров называет прототипом Нежданова Отто — А. Ф. Онегина. В набросках романа «Новь» Тургенев сам указывал на связь образа Нежданова с А. Ф. Онегиным.

[25] В этом номере нелегального журнала «Общее дело» (№ 56 за 1883 г.) в составе статьи «Тургенев и молодая Россия» были опубликованы воспоминания «Бывшего студента Горного института» о встрече с Тургеневым в 1879 г. (*Тург. в восп. рев.,* с. 86—88). Слова Тургенева об отношении к молодежи приводятся в пересказе автора воспоминаний.

[26] Неточная цитата из статьи Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (*Тургенев, Соч.,* т. VIII, с. 180).

[27] О триумфальных встречах Тургенева на родине в 1879 г., явившихся выражением признания огромных заслуг писателя перед русской литературой, см. воспоминания М. М. Ковалевского и коммент. к ним в т. 2 наст. изд. «В последние дни в Москве устроены были шумные и небывалые овации известному писателю И. С. Тургеневу, — говорилось в агентурной записке III Отделе-

ния. — В честь его давались обеды, на которых произносили страстные речи студенты, профессора университета, редакторы газет, адвокаты и сам г. Тургенев. В речах этих почти прямо высказывалось, что Россия стоит накануне конституционного переворота и какой-то особой демократизации...» (*ЛН,* т. 76, с. 325).

[28] Имеются в виду воспоминания Н. М., см. т. 2 наст. изд.

[29] В письме к Н. В. Чайковскому от 2 ноября и. ст. 1880 г. Тургенев замечал, имея в виду М. Т. Лорис-Меликова: «Я никогда не питал особенных иллюзий насчет упоминаемого Вами лица; я полагал и до сих пор полагаю, что надо пользоваться оттепелью, пока опять не завернул мороз». Лорис-Меликов с начала 1880 г. (после взрыва 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце, организованного С. Н. Халтуриным) возглавлял Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия, а в августе этого же года был назначен министром внутренних дел. В его программе предусматривались некоторые либеральные реформы, вызванные усиливающимся освободительным движением, развитием революционного террора в ответ на репрессии правительства. За период «диктаторства» Лорис-Меликова, несмотря на целый ряд мер, направленных на более эффективную борьбу с революционным движением, полицейский режим в стране был несколько ослаблен (подробно см.: П. А. Зайончковский. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов. М., Изд-во Московского университета, 1964; см. также комментарий С. А. Макашина к «Письмам к тетеньке» М. Е. Салтыкова-Щедрина (*Щедрин,* т. 14).

[30] Речь идет о встрече Тургенева в 1879 г. с Александром III (тогда еще наследником престола) я его женой Марией Федоровной в русском посольстве в Париже. Об этом эпизоде см. в воспоминаниях М. И. Семевского — «Встреча И. С. Тургенева с Александром III» («Красная панорама», 1928, № 28, с. 14).

[31] В письме к П. Л. Лаврову от 31 марта / 12 апреля 1881 г. Тургенев прямо указывал на свое авторство: «Статья об Александре III-м действительно принадлежит мне, не ожидал, что она наделает столько шуму» (*Тургенев, Письма*, т. XIII, кн. 1, с. 80). Статья была опубликована анонимно в журнале «La Revue Politique et littéraire», 1881, № 13, 26 марта (подробно о статье см.: *Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 556—558). Тургенев предполагал, что новый царь несколько облегчит материальное положение крестьянства, хотя и не ждал от него каких-либо серьезных реформ.

[32] См. XVI гл. повести И. С. Тургенева «Призраки» (*Тургенев, Соч.,* т. IX, с. 95—96).

[33] М. М. Ковалевский.

[34] В. И. Засулич 24 января 1878 г. совершила покушение на

петербургского градоначальника генерал-адъютанта Ф. Ф. Трепова, разрешившего высечь подследственного революционера А. П. Боголюбова. Суд присяжных оправдал Засулич, и она была освобождена. См. неотправленное письмо Лаврова к И. С. Тургеневу от 30 мая / 11 июня 1878 г. (*ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 63). «История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу... — сообщал Тургенев 18/30 апреля 1878 г. М. М. Стасюлевичу. — Из Германии я получил настоятельное предложение написать статью об этом процессе, так как во всех журналах видят интимнейшую связь между Марианной «Нови» и Засулич — и я даже получил название: «der Prophet» <пророк (*нем.*)> (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 312).

[35] В ответ на репрессии царского правительства подпольные революционные центры в России организовали ряд террористических актов. «О царь Александр, наследник шести императоров и бесчисленных царей!.. — говорилось в прокламации С. М. Степняка-Кравчинского «По поводу нового приговора» (процесса 193-х). — Довольно проповедовали мы любовь — пришла пора воззвать к ненависти. Довольно всепрощения! Месть, месть кровавая, беспощадная будет отныне ответом на ваши злодейства» (цит. по ст.: Е. Таратута. История одной книги. — «Прометей», 1967, № 3, с. 153). В воспоминаниях Лаврова говорится о целой серии террористических актов, совершенных революционерами в 1878 г. в разных городах России. 30 января ст. ст. 1878 г. в Одессе произошло вооруженное столкновение группы террористов с полицией и жандармерией. Покушение на товарища прокурора Киевской судебной палаты М. М. Котляревского было совершено 23 февраля ст. ст. 1878 г. в Киеве. 2 августа ст. ст. руководитель одесского подпольного кружка И. М. Ковальский был приговорен военным судом к расстрелу, а его товарищи — к каторжным работам за оказанное вооруженное сопротивление (первое в истории революционного движения) пришедшим с обыском жандармам. Адъютант Киевского жандармского управления капитан Г. Э. Гейкинг скончался от ран, нанесенных ему революционером Г. А. Попко 25 мая 1878 г. Генерал-адъютант Н. В. Мезенцев, шеф жандармов, начальник III Отделения, препятствовавший смягчению приговора осужденным по процессу 193-х, был убит С. М. Кравчинским (Степняком) 4 августа 1878 г.

[36] Речь идет о столкновении студентов Московского университета с полицией в начале апреля 1878 г. Толпа мясников и лавочников помогала полиции расправляться со студентами.

[37] Заседание Общества любителей российской словесности состоялось 18 февраля 1879 г. Лавров далее цитирует воспоминания М. М. Ковалевского (см. т. 2 наст. изд.).

[38] Имеется в виду студент-медик П. П. Викторов. В воспоминаниях о Тургеневе он пересказывает содержание своей речи, возбудившей впоследствии много толков в среде русской интеллигенции: «Я приветствовал Тургенева как человека, в котором наше поколение видит живого носителя преемственных традиций сороковых годов... свято сохранившего светлые заветы своей молодости до наших дней... Я указал в своей речи на то, что Тургенев чутко улавливал в смене поколений основное содержание их запросов...» (см.: П. П. Викторов. И. С. Тургенев в кругу радикальной студенческой молодежи в 1879 году в Москве. — *Тург. сб., Орел, 1960,* с. 320—343). В 1881 г. на диспуте по поводу диссертации И. Н. Иванюкова «Основные положения экономической политики» Викторов утверждал необходимость революционных методов борьбы, подкрепляя свои доводы выдержками из работ Маркса и Энгельса. За откровенную пропаганду марксизма он был исключен из университета и выслан (*Тург. в восп. рев.,* с. 50).

[39] Цитата из «Адреса» студентов Горного института (*Тург. в восп. рев.,* с. 87).

[40] Из воспоминаний «Бывшего студента Горного института» (там же, с. 87—88).

[41] Письмо Тургенева было опубликовано 27 марта 1879 г. в № 60 «Петербургского листка». (Полный текст см.: *Тург. в восп. рев.,* с. 82.)

[42] Тургенев выехал из Петербурга в Париж 21 марта / 2 апреля 1879 г.

[43] Через три дня после покушения на Александра II Тургенев писал Я. П. Полонскому (5/17 апреля 1879 г.): «Последнее безобразное известие меня сильно смутило; предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая, именно вследствие своих либеральных убеждений, больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ: всякая реформа у нас в России, не сходящая свыше, немыслима». Самым страшным для Тургенева было опасение, что в ответ на террористические действия революционеров усилится политическая реакция в России. «Очень я этим взволнован и огорчен, — говорится в том же письме, — вот две ночи, как не сплю: все думаю, думаю — и ни до чего додуматься не могу» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 60—61).

[44] В неотправленном письме от 5/17 апреля 1879 г. Лавров уведомлял Тургенева: «Я хотел сегодня быть у Вас... но думаю, что история теперь захлестнула своей волной планы помощи нуждающимся русским... как мне передавали вчера, Вы и без того завалены хлопотами об адресе от Русского художественного общества,

который по Вашей инициативе посылается в Зимний дворец» *(ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 63). «Адрес», написанный Тургеневым, был послан Александру III (см. статью Л. И. Кузьминой «Тургенев и художник Н. Д. Дмитриев-Ориенбургский». — *Тург. сб., III, 1967,* с. 266—267).

[45] 25 июня / 7 июля 1879 г. Тургенев сообщал Лаврову: «...Возвращаю Вам письмо Кулешовой. Надеюсь, что это ей поможет выбраться из тюрьмы... Но сомневаюсь» (*Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 2, с. 102). Революционерка А. М. Кулешова (Анна Розенштейн) в 1878 г. была выслана из Франции.

[46] Имеется в виду очерк И. Я. Павловского «En cellule. Impressions d'un nihiliste (В одиночном заключении. Впечатления нигилиста)». Предисловие Тургенева к этому очерку дало повод русской реакционной прессе выступить против писателя. В «Московских ведомостях» (№ 313 от 9 декабря ст. ст. 1879 г.) появилась провокационная заметка Б. М. Маркевича, подписанная «Иногородний обыватель».

[47] См. коммент. 7 на с. 507.

[43] См. воспоминания М. М. Ковалевского в т. 2.

[49] См.: Ф. М. Достоевский. Соч. М.—Л., 1929, т. 12, с. 389—390.

[50] Из письма Тургенева к А. П. Философовой (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 295).

[51] См.: Ф. М. Достоевский, т. 12, с. 413 (из гл. III «Две половинки»).

[52] Здесь и дальше цитируется речь Тургенева о Пушкине, произнесенная им на торжествах в день открытия памятника поэту 7 июня 1880 г. (см. *Тургенев, Соч.,* т. XV).

[53] Карийская каторга в Сибири была местом ссылки участников революционного движения.

[54] Об отношении демократической молодежи к речам Тургенева и Достоевского о Пушкине см. в воспоминаниях Е. Летковой. — «Звенья», т. 1, 1931, с. 467—477.

[55] Имеется в виду И. Домбровский, явившийся в декабре 1879 г. к Н. А. Орлову, русскому послу в Париже, с доносом о якобы готовящемся покушении на царя. История эта не имела последствий.

[56] Присутствие Лаврова и группы русских эмигрантов на литературно-музыкальном вечере в Обществе русских художников вызвало неудовольствие руководителей общества и официальных кругов. Председатель Общества русских художников в Париже А. П. Боголюбов писал в своих воспоминаниях: «...Я пришел в Общество часов около 10-ти вечера, застав мастерскую нашу полную народа. Вглядевшись поближе, вижу все незнакомые лица, в осо-

бенности в числе дам. Все были какие-то коротко стриженные, плохо умытые, одетые так же, и нечесаные. Спрашиваю секретаря нашего, художника Сакса: «Что это за народ?..» Налево вижу, сидит старик длинноволосый. «Это кто?» — «Лавров! — коноводе нигилистов и цареубийц» (*ЛН,* т. 76, с. 457). В числе других участников с чтением стихов выступил поэт Н. М. Минский, особенно возмутивший Боголюбова. «Вышел поэт... — вспоминает он, — и заместо стихотворения о луне и ночной росе прочел, как Каракозова вели на виселицу и его думы...» В связи с этой историей, получившей широкую огласку, Тургенев обратился с официальной запиской к А. П. Боголюбову, выражая сожаление о случившемся. Тем не менее Тургенев называл этот эпизод «незначительным». Об этой истории, доставившей Тургеневу неприятности, вспоминают многие мемуаристы — И. Я. Павловский, Р. М. Хин и др.

[57] 1 марта 1881 г. был убит Александр II.

[58] См. коммент. 31 на с. 510.

[59] 3 апреля 1881 г. были казнены революционеры-террористы, совершившие покушение на Александра II, — А. И. Желябов, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, С. Л. Перовская, Н. И. Рысаков.

[60] «Порог» был написан еще в 1878 г., но по цензурным соображениям Тургенев просил М. М. Стасюлевича не публиковать его в ряду других «Стихотворений в прозе», печатавшихся в 12-й кн. «Вестника Европы» за 1882 г. Впервые «Порог» был напечатан в 1883 г. как приложение к прокламации народовольцев «И. С. Тургенев» (см. *Тургенев, Соч.,* т. XIII, с. 168).

[61] Имеются в виду воспоминания И. Я. Павловского.

[62] «Песнь торжествующей любви» напечатана в «Вестнике Европы», 1881, № 11.

[63] Поводом изгнания Лаврова из пределов Франции в 1881 г. послужила организация им вместе с В. И. Засулич сбора средств в пользу только что основанного Общества Красного Креста «Народной воли».

[64] Тургенев хлопотал о Лаврове перед префектом полиции Камескассом по собственной инициативе. Этот факт подтверждается в воспоминаниях П. К. Скворцовой-Михайловой (*ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 58).

[66] Впервые на русском языке письмо Тургенева было напечатано в «Русских пропилеях», т. III (см. *Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 2, с. 25).

[66] Тургенев имеет в виду статью П. Л. Лаврова «Цивилизация и дикие племена». См. коммент 2 на с. 505.

[67] В 1866 г. Лавров читал курс высшей математики в Артиллерийской академии.

[68] Имеются в виду воспоминания Н. М., М. М. Ковалевского, В. Рольстона (см. в т. 2 наст. изд.). И. Я. Павловский в своих мемуарах писал о том, что видел рукопись этого романа: «Образы, сцены до того толпились в голове И. С, что он говорил отдельными словами, намеками, жестами и кончил тем, что махнул рукой, сказав: «Нет, все это надо написать, иначе не поймете». Два года спустя, — рассказывает мемуарист, — я застал И. С. за кучей исписанных листков почтовой бумаги малого формата. «Вот пишу историю П., — сказал он...» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе (Из записок литератора). — «Русский курьер», 1884, № 199, 21 июля).

[69] Речь идет о Г. А. Лопатине.

[70] Тургенев умер 22 августа / 3 сентября 1883 г.

[71] Об этом писал И. Я. Павловский.

[72] В «Русских ведомостях» 27 сентября 1883 г. была опубликована речь В. В. Пржевальского, произнесенная им на заседании Московского юридического общества 23 сентября.

[73] П. Л. Лавров вскоре после смерти писателя 26 августа / 7 сентября 1883 г. опубликовал во французской социалистической газете «Iustice» письмо, в котором сообщалось о ежегодной денежной помощи Тургенева журналу «Вперед!». Катков перепечатал это письмо Лаврова в передовой статье «Московских ведомостей» (№ 251 от 10/22 сентября 1883 г.) без всяких комментариев, явно преследуя провокационные цели. Выходка Каткова послужила поводом для выступления русских либералов с опровержением Лаврова. С резкой статьей против Лаврова и в «защиту» Тургенева выступил М. М. Стасюлевич («Новости», 1883, т. 76, с. 236—249). «Многие друзья Тургенева горячо упрекали Лаврова за то, что он воспользовался его смертью для целей политической агитации, — говорилось в открытом письме Лопатина издателю «Daily News». — Несомненно, что Лавров, публикуя свое письмо, действительно желал поставить русское правительство в затруднительное положение и вынудить его или похоронить со всеми официальными и неофициальными почестями прах одного из злейших своих врагов, или же отказать в этих почестях праху человека, которого знала и любила вся читающая Россия... Но... я искренне думаю, что если бы Тургенев мог слышать и знать тот шум, который происходит вокруг его гроба, то он только порадовался бы тому, что даже его прах послужил поводом к нанесению нового лишнего удара самодержавному правительству, которое он так сильно ненавидел во всю свою жизнь» (*ЛН,* т. 76, с. 248),

Г. А. ЛОПАТИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ТУРГЕНЕВЕ

С Германом Александровичем Лопатиным (1845—1918), выдающимся деятелем народничества, занявшим видное место в ряду корифеев революционного движения, Тургенев познакомился во второй половине 1873 года. В краткой биографии Г. А. Лопатина Лавров рассказывает: «Он жил постоянно в Париже, где сблизился с Иваном Сергеевичем Тургеневым, который очень полюбил его...» * Глеб Успенский, присутствовавший на одной из встреч Тургенева с Лопатиным, говорил о «великой радости», которую испытывал писатель от общения с молодым революционером **.

Тургенев, как человек и как художник, был увлечен редкой личностью Лопатина, «могучей индивидуальностью» этого «рыцаря духа», как его называли друзья. Удивительная, почти фантастическая биография Лопатина, русского «Овода», видимо, была хорошо известна Тургеневу, который пристально следил за его жизнью. Это ясно из скупых, но довольно частых упоминаний о Лопатине в письмах к Лаврову. Тургенев, угадывавший в Лопатине «блестящий литературный талант», просил его описать свою жизнь, полную событий, приключений, риска.

П. Л. Лавров писал, что перед будущим биографом Лопатина развернется жизнь, имеющая «интерес рыцарского романа», он встретится «с личностью, которой предлагали кафедру при самом оставлении скамьи университета, с писателем, блестящие страницы писем которого восхищали Тургенева» ***.

Писателя связывали с Лопатиным и чисто деловые отношения. Лопатин, пишет Лавров, «содействовал основанию парижской библиотеки, был посредником между Тургеневым и ею, а также между ним и мною в период моего пребывания в Лондоне; через его руки проходили большею частью вклады, вносимые Иваном Сергеевичем на продолжение «Вперед!» ****.

При встрече с Лопатиным в марте 1879 года Тургенев предупредил его о грозившей опасности, о том, что его пребывание в столице известно полиции. Когда Лопатина арестовывают, он пытается изыскать пути, чтобы ему помочь. В последние дни своей предсмертной болезни он хочет видеть «несокрушимого юношу».

Лопатин не раз в письмах к Лаврову говорил, что он не соби-

---

* П. Л. Лавров. Герман Александрович Лопатин. Пг., 1919, с. 15—16.

** Г. И. Успенский. Полн. собр. соч., т. XIV. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 588.

*** П. Л. Лавров. Герман Александрович Лопатин, с. 40.

**** Там же, с. 43.

рался писать воспоминания о Тургеневе (*ЛН,* т. 76, с. 240). Спустя тридцать лет после смерти Тургенева слушательница Петроградских Высших курсов С. П. Петрашкевич-Струмилина записала свою беседу с Лопатиным, носящую характер воспоминаний. Запись ее была просмотрена Лопатиным и, таким образом, авторизирована. «Открытое письмо» Лопатина в «Daily News» (по сути дела, статья) дополняет значительно более позднюю мемуарную запись. В отличие от живой беседы, легко переходящей от одного эпизода к другому, эта статья, написанная в год кончины Тургенева, более целенаправленна. Она четко выражает взгляд Лопатина на характер отношения Тургенева к революции. Тургенев, который не имел определенной политической программы, по глубокому убеждению Лопатина, готов был поддерживать любое выступление против деспотии, против самодержавия, «не разбирая программы и знамен». Ценность статьи в том, что она в главном подтверждает достоверность поздних воспоминаний (см. публикацию А. Н. Дубовикова «Герман Лопатин о Тургеневе». — *ЛН,* т. 76, с. 235—254).

Впервые запись беседы была опубликована в журнале «Красная новь», 1917, № 8. Печатается по журнальной публикации.

[1] Роман «То, чего не было» В. Н. Савинкова (Ропшина) впервые опубликован в журнале «Заветы» в 1912—1913 гг. (кн. 1—8 за 1912 г., кн. 1, 2, 4 за 1913 г.).

[2] О сложном и противоречивом отношении Тургенева к творчеству Достоевского см.: «История одной вражды. Переписка Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева». Л., «Academia», 1928, а также в воспоминаниях Н. А. Островской, А. Н. Луканиной в т. 2 наст. изд. В романе «Бесы» Достоевский использовал документальные материалы «нечаевского процесса».

[3] Ср. в воспоминаниях К—ко Н. (И. Я. Павловского) «Полина Виардо». — «Русское слово», 1910, № 107, 12 мая.

[4] О настороженно-неприязненном отношении Полины Виардо к русским «нигилистам» сохранились свидетельства других современников Тургенева.

[5] Во время своего пребывания в Париже (апрель—май 1879 г.) Салтыков-Щедрин часто встречался с Тургеневым. Отзывы о современном французском романе, и романах Золя в частности, см. в письмах Салтыкова-Щедрина к П. В. Анненкову, Н. А. Некрасову, Н. К. Михайловскому (*Щедрин,* т. 18—19).

[6] В образе Кармазинова в романе «Бесы» выведен Тургенев.

[7] Речь идет об изд. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену». Женева, 1892, подготовленном М. Драгомановым.

[8] О большой привязанности К. Маркса к Г. А. Лопатину вспоминает и П. Л. Лавров: «...О немногих людях Карл Маркс говорил

мне и с такою теплою симпатией к человеку, и с таким уважением к силе его ума как о Германе Александровиче» (П. Л. Лавров. Герман Александрович Лопатин, с. 29—30).

[9] В журнале «Былое», 1906, № 2, были опубликованы письма И. С. Тургенева к Лаврову. 22 февраля ст. ст. 1883 г. Лопатин бежал из вологодской ссылки, «собственной властью перевелся в Париж», как он шутливо называл свой очередной побег. «Радуюсь благополучному возвращению Лопатина, — говорится в письме Тургенева к Лаврову от 24 марта и. ст. 1883 г., — и надеюсь скоро с ним свидеться» (*Тургенев, Письма,* т. XIII, кн. 2, с. 170).

[10] Неточность. Тургенев ни разу не вносил такой суммы. Он лишь высказал намерение давать ежегодно 1000 франков.

[11] В «Открытом письме» 1883 г. Лопатин более осторожно писал об отношении Тургенева к социализму. Тургенев «горячо и искренно любил наш простой народ, наше крестьянство и охотно мечтал о наступлении для него лучших дней, которые он представлял себе в довольно туманных, полусоциалистических, полуфантастических образах...». Это место своей статьи Лопатин считал настолько ответственным, что в письме к Лаврову от 22 октября 1883 г. он выражает опасение в недостаточной аргументации своих утверждений: «В моем поспешном письме о Тургеневе, есть фраза, где я говорю, что он представлял себе более счастливое будущее народа в довольно смутных — «полусоциалистических, полуфантастических образах». Нельзя ли будет или сюпримировать ее, или изменить как-нибудь? Таково мое *впечатление,* но я не сумел бы *подтвердить* его никакими изречениями Тургенева, если бы у меня потребовали *доказательств»* (*ЛН,* т. 76, с. 246—247, 249).

[12] В статье Лопатина 1883 г. приводились почти те же самые слова Тургенева: «Я не так самонадеян, чтобы приписывать все эти овации моим скромным литературным заслугам. Я отлично понимаю, что русское общество, зная мои убеждения и мое исключительное положение, пользуются мною как первым попавшимся под руку чурбаном, чтобы бросить им в голову опостылевшему ему правительству» (*ЛН,* т. 76, с. 248).

[13] Последняя встреча Лопатина с Тургеневым в Петербурге произошла 21 марта / 2 апреля 1879 г. (см. *ЛН,* т. 76, с. 244). Именно тогда-то Тургенев и предупредил Лопатина о грозившем ему аресте. Лопатин был вскоре арестован. Тургенев связывал арест Лопатина с тем, что он «оскорбил лично А. Н. (Александра II); это не прощается...». Во время пребывания Александра II в Лондоне весной 1874 г. Лопатин поместил в «Daily News» письмо, в котором разоблачал истинный смысл амнистии, объявленной 9 января в России. Эту статью он лично отправил Александру II с едким

сопроводительным разъяснением. Выдал Лопатина некто Воронович, глупый и «безобразный кутила» (П. Л. Лавров. Герман Александрович Лопатин, с. 43).

[14] Тургеневу не только предложили уехать за границу, но запретили и публичные выступления. В ответ на приглашение студентов Горного института Тургенев сообщил, что ему «положительно запрещено являться среди молодежи и принимать ее овации» (*Тург. в восп. рев.,* с. 83).

[15] Стихотворение известно под названием «Колодники».

[16] Репин встречался с Тургеневым в Париже в начале семидесятых годов, где он жил в качестве пенсионера Российской Академии художеств. Репин, так же как и Тургенев, был частым посетителем «вторников», которые устраивал президент Общества русских художников в Париже А. П. Боголюбов. Воспоминания И. Е. Репина о Тургеневе см. в т. 2 наст. изд.

[17] Картина «Не ждали» написана Репиным в 1884 г. Это главное произведение художника в ряду его работ, отразивших революционное движение в России семидесятых — восьмидесятых годов.

[16] Русская библиотека в Париже была основана в феврале 1875 г. Тургенев, принимавший самое непосредственное участие в ее создании, рассматривал ее как своего рода «клуб» русской эмиграции. «Вообще в Париже И. С. делал много усилий, чтобы соединить русскую колонию вместе, — говорится в мемуарах современника, — создать для нее центр, где она могла бы собираться» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе (Из записок литератора). — «Русский курьер», 1884, № 199, 21 июля). Литературно-музыкальное утро состоялось 15/27 февраля 1875 г. В нем участвовали: Полина Виардо, Н. Курочкин, Г. Успенский, Тургенев, скрипачи Н. В. Галкин, Г. Венявский и др. В агентурной записке III Отделения об этом вечере специально сообщалось: «В кругу студентов в настоящее время ходят усиленные толки по поводу музыкально-литературного вечера, данного И. С. Тургеневым в Париже с участием гг. Курочкина, Галкина, Венявского и г-жи Виардо в пользу недостаточной русской молодежи, которая рассказывает, что Тургенев дал вечер этот исключительно с целью оказать вспомоществование русским эмигрантам, к которым он всегда будто бы относился с сочувствием» (*ЛН,* т. 76, с. 322).

[19] В. Д. Поленов, так же как и Репин, жил в Париже в качестве пенсионера Российской Академии художеств.

[20] Свое отрицательное мнение о романе «Новь» Лопатин высказал в предисловии к сборнику «Из-за решетки». См. коммент. 21 на с. 509.

[21] Такое скептическое мнение о роли Полины Виардо в жизни Тургенева было характерным для русских демократических кру-

гов. *Луи Виардо* был широко образованным человеком, писателем, искусствоведом, переводчиком. Наиболее значительным и известным стал его пятитомный труд, созданный в результате многолетнего изучения картинных галерей и музеев Европы (Англии, Бельгии, Германии, Италии, Испании, России), — «Musées d'Europe» (1860). Большой популярностью пользовались его работы по истории испанской литературы; его французский перевод «Дон-Кихота» считался классическим. Луи Виардо одним из первых познакомил Францию с произведениями Пушкина и Гоголя. Он всячески способствовал изданию во Франции произведений Тургенева.

[22] О существовании дневника Тургенева упоминается во многих воспоминаниях современников (Н. А. Островской, И. Я. Павловского и др.). См. об этом более подробно в публикации И. С. Зильберштейна «Последний дневник И. С. Тургенева» (*ЛН,* т. 73, кн. первая).

[23] Тургенев, прекрасный рисовальщик, увлекался «игрой в портреты», очень популярной в кругу семьи Виардо (см. *ЛН,* т. 73, кн. первая, с. 365—427).

[24] Версия Павловского о вызове Тургенева в Петропавловскую крепость ошибочна. В 1862 г. революционер-народник Н. А. Серно-Соловьевич был арестован и осужден к пожизненной ссылке в Сибирь по делу о лицах, «обвиняемых в сношениях с лондонскими эмигрантами». Тургенев, привлекавшийся к допросу по этому же делу, был обязан дать свои показания и о связях с Серно-Соловьевичем.

П. А. КРОПОТКИН

ИЗ «ЗАПИСОК РЕВОЛЮЦИОНЕРА»

«Князь Кропоткин был у меня и *крайне мне понравился.* Очень интересная личность!» * — писал Тургенев П. Л. Лаврову 5/17 марта 1878 года. Зиму 1877/78 года Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921) жил в Париже, куда приехал из Петербурга вскоре после побега, совершенного им 30 июня ст. ст. 1876 года. Тургенев, по словам мемуариста, «выразил желание нашему общему приятелю, П. Л. Лаврову, повидаться со мной и, как настоящий русский, отпраздновать мой побег...». С этой встречи и началось знакомство Тургенева с видным деятелем народничества семидесятых—восьмидесятых годов, ученым большого масштаба (историком, биологом, географом), мыслителем, личностью поистине замечательной: «Представитель высшей русской аристокра-

* *Тургенев, Письма,* т. XII, кн. 1, с. 294.

тии, князь, Рюрикович по крови, имевший больше прав на российский престол, чем Романовы...» *, движимый ненавистью к деспотии и любовью к человеку, он сформировался в убежденного революционера, вдохновенного пропагандиста освободительных идей.

В 1878 году Тургенев часто видится с Кропоткиным. По словам Лаврова, писатель вел с ним долгие разговоры «о его планах и взглядах на русские общественные дела...».

Кропоткин называл себя «восторженным поклонником» произведений Тургенева. В своей работе «Идеалы и действительность в русской литературе» автор отводит Тургеневу одно из первых мест в истории русского искусства. Тургенев-писатель был особенно близок, созвучен Кропоткину. Совершенное «чувство прекрасного» и «высоко интеллектуальное содержание» творчества — в этом, по его мнению, «главная характеристика... поэтического гения» Тургенева.

Кропоткин (так же как Лавров и Лопатин) читал «Новь» еще в корректурных листах. Примечательно, что отношение Кропоткина к этому роману было несколько иным, чем, скажем, у Лаврова и Лопатина. Соглашаясь, что повесть не дает вполне правильного понятия о народничестве, Кропоткин тем не менее утверждал: «Тургенев, с обычным удивительным чутьем, подметил наиболее выдающиеся черты движения». Он считал, что «Новь» рисует лишь «ранние фазы движения», что начни Тургенев писать роман несколькими годами позже, то героем бы его стал человек действия, «базаровского или инсаровского типа».

Воспоминания П. А. Кропоткина о Тургеневе составили небольшую главу «Записок революционера» (ч. 6, гл. VI). Всемирно известные мемуары Кропоткина, написанные великолепным пером публициста, историка, философа, содержащие огромной важности документальный материал по истории русского освободительного движения, стоят в одном ряду с такими мемуарными эпопеями, как «Былое и думы» Герцена, «История моего современника» В. Г. Короленко.

«Записки революционера» впервые опубликованы на английском языке и вскоре же были переведены почти на все языки мира — французский, немецкий, голландский, исландский, польский, шведский, норвежский, датский, болгарский, чешский, японский и др. На русском языке впервые появились в 1902 году в Лондоне, затем были опубликованы в издательстве «Знание» в 1906 году.

Текст печатается по изданию: П. А. Кропоткин. Записки революционера. М., «Наука», 1966.

---

* См. в ст. Е. Таратуты «История одной книги». — «Прометей», № 3. М., 1967, с. 170.

[1] Свой побег Кропоткин совершил из Николаевского госпиталя, куда в связи с болезнью был переведен из дома предварительного заключения.

[2] В пятидесятых—шестидесятых годах Тургенев принимал участие в организации материалов для герценовского «Колокола». Это был период наибольшей духовной близости писателя с Герценом. Подробно об этом см.: С. Рейсер. Тургенев — сотрудник «Колокола». — *Тург. сб., Орел, 1940,* с. 136—147.

[3] Имеются в виду главным образом романы Тургенева «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Новь».

[4] Мозг Тургенева значительно превышал средний вес мозга у мужчин (свыше 2 кг).

[5] Этот эпизод относится к премьере пьесы Э. Ожье «Madam Caverlet», которая состоялась 4 марта 1876 г. О нем вспоминают многие русские и иностранные мемуаристы: Э. де Гонкур, Ардов (Е. И. Апрелева-Бларамберг), Оскар Браунинг (биограф английской писательницы Джордж Эллиот, с которой Тургенев находился в приятельских отношениях).

[6] Имеется в виду замысел неосуществленного романа Тургенева о русском и французском социалистах (см. воспоминания Лаврова).

[7] См. в наст. т. воспоминания Н. Г. Чернышевского, Г. З. Елисеева, Е. Н. Водовозовой.

[8] Имеются в виду торжественные встречи И. С. Тургенева, устроенные передовыми кругами русской интеллигенции во время приезда писателя в Россию в 1879 г. См. воспоминания М. М. Ковалевского и коммент. к ним в т. 2 наст. изд.

[9] Рассказ П. А. Кропоткина о существовании «Дневника», в котором Тургенев записывал все, относящееся к герою будущего романа, подтверждается и самим писателем в статье «По поводу «Отцов и детей» и свидетельствами других современников. «Когда я писал Базарова, — рассказывал Тургенев, — я вел от его имени дневник. Книгу ли новую прочитаю, человека интересного встречу или событие какое-нибудь общественное произойдет, — я все это вносил в дневник с точки зрения Базарова. Вышла претолстая тетрадь — и очень интересная, но она пропала у меня. Кто-то взял почитать и не возвратил» (И. Я. Павловский. Воспоминания об И. С. Тургеневе (Из записок литератора). — «Русский курьер», 1884, № 199, 21 июля).

[10] Среди народнической молодежи, привлекавшейся по известному процессу 193-х в 1877 г., находился выдающийся революционер И. Н. Мышкин. Его арестовали после неудавшейся попытки организовать побег Чернышевского. Одним из самых сильных моментов этого процесса была чрезвычайно смелая речь Мышкина, в которой он призывал к всеобщему народному восстанию.

Тургенев, внимательно следивший за процессом, «даже сквозь сухие официальные отчеты» сумел, по мнению Кропоткина, угадать среди осужденных новый тип людей — «людей действия».

[11] В связи с этим интересно отметить упоминания современников о существовании проекта конституции, якобы принадлежащего И. С. Тургеневу (*ЛН,* т. 76, с. 224).

[12] Суждения Тургенева о том, как нужно писать популярные книги «для народа», см. в его письмах к П. Л. Лаврову (*ЛН,* т. 73, кн. вторая, с. 28, 30).

[13] Речь идет о рассказе «Une fin» («Конец») в «La Nouvelle Revue», №66, 1-er Février. Русский перевод, выполненный Д. В. Григоровичем, появился в первом номере «Нивы» за 1886 г. (см. *Тургенев, Соч.,* т. XIII).

[14] Тургенев познакомился с М. Антокольским в 1871 г. в Петербурге. Он был одним из первых посетителей мастерской скульптора, увидевших только что завершенную статую «Иван Грозный». Об этой встрече М. Антокольский вспоминает в своих заметках «Из автобиографии». Тургенев сразу оценил огромный талант Антокольского. Вскоре он написал статью о молодом скульпторе, которая была опубликована в «С.-Петербургских ведомостях», 1871, № 50, 19 февраля (*Тургенев, Соч.,* т. XIV, с. 246—250).

С. Н. КРИВЕНКО

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Сергей Николаевич Кривенко (1847—1906) — известный публицист, представитель радикальной части народнической интеллигенции семидесятых—восьмидесятых годов, один из ведущих сотрудников «Отечественных записок» последних лет. Ему принадлежит мемуарный очерк о М. Е. Салтыкове-Щедрине и первая биография писателя. В 1891 году под редакцией Кривенко вышел сборник стихотворении И. С. Тургенева.

Н. С. Русанов говорил о Кривенко как о человеке, умевшем «сочетать мягкость и гуманность чувств с искренним служением демократическим идеям...» *.

Главный сюжет воспоминаний Кривенко — рассказ о встрече Тургенева с молодыми писателями-народниками, предпринявшими издание журнала «Русское богатство». Об этой встрече вспоминают также и другие участники «литературной артели», о которой идет речь в мемуарах Кривенко, — Н. С. Русанов и Н. Н. Златовратский. По справедливому замечанию М. К. Клемана, «воспоминания

* *Тург. в восп. рев.,* с. 269—270.

об этом эпизоде служат естественным дополнением к рассказам о Тургеневе революционеров-эмигрантов...» *.

Воспоминания С. Н. Кривенко впервые опубликованы в «Историческом вестнике», 1890, N° 2. В настоящем издании текст печатается по журнальной публикации.

[1] В письме от 19 июня / 1 июля 1874 г. Тургенев сообщал Венгерову, который был занят составлением его биографии: «Когда же матушка скончалась в 1850-м году, я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть — и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму» (*Тургенев, Письма,* т. X, с. 256). Л. Толстому 25 ноября / 7 декабря 1857 г. Тургенев писал: «...Я решился посвятить весь будущий год на окончательную разделку с крестьянами; хоть все им отдам, а перестану быть «барином». На это я совершенно твердо решился...» (*Тургенев, Письма,* т. III, с. 170—171).

[2] После разрыва с «Современником» в 1860 г. Тургенев опубликовал в «Русском вестнике» романы «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862), «Дым» (1867).

[3] По всей вероятности, Кривенко имеет в виду слово, произнесенное на траурной церемонии ректором Петербургского университета А. Н. Бекетовым: «Если бы все так чувствовали и мыслили, как чувствовал и мыслил Тургенев, то мирное течение наших судеб на пути к прогрессу не было бы прерываемо ни на один миг, ибо его произведения отличаются спокойствием, редкою объективностью и здравомыслием в оценке всякого рода социальных явлений» (*ЛН,* т. 76, с. 675—676). Под листком крайней фракции подразумевается прокламация народовольцев, написанная Л. Ф. Якубовичем.

[4] Имеется в виду публикация Н. В. Щербаня «Тридцать два письма И. С. Тургенева и воспоминания о нем» («Русский вестник», 1890, № 7—8). Воспоминания Н. В. Щербаня и коммент. к ним см. в т. 2 наст. изд.

[5] Речь идет о Полине Виардо, однако в Спасское она не приезжала.

[6] Имеются в виду «Сочинения Н. К. Михайловского», т. 6, СПб., 1885.

[7] Журнал «Русское богатство», основанный в 1876 г., не пользовался популярностью. В 1879 г. он перешел в руки «литературной артели», которую возглавлял С. Н. Кривенко, а членами были

* *Тург. в восп. рев.,* с. 205.

Г. И. Успенский, В. М. Гаршин, Н. С. Русанов, А. М. Скабичевский и др.

[8] События на Балканах приковывали внимание Тургенева. О них он часто пишет своим друзьям — Ю. П. Вревской, Я. П. Полонскому, Г. Флоберу. Писатель напряженно следил за освободительной войной балканских славян против турецких поработителей. В дневниках Ф. Тургеневой есть любопытная запись, характеризующая взгляд Тургенева на «восточный вопрос» (*ЛН,* т. 76, с. 388). Враждебные по отношению к России отзывы иностранной печати (английской, французской) о русско-турецкой войне 1877—1878 гг. возмущали Тургенева: «Иван горько жалуется на французскую прессу» (там же).

[9] Собеседником Тургенева был Н. С. Русанов. В своих воспоминаниях он более подробно передает содержание своего разговора с Тургеневым. «...Каково же ваше мнение о теперешнем положении вещей у нас, — спрашивал он Тургенева, — и не думаете ли вы, что у нас на носу революция? Разве нет большого сходства у теперешней России и дореволюционной Франции?.. Там были голодные бунты — они и у нас; там разорялись помещики, уступая место интендантам, откупщикам и прочим капиталистам, — и у нас Чумазый разоряет «дворянские гнезда» (Тургенев при этом улыбнулся) <…> И ответ Тургенева: «Россия далеко не так близка к революции, как Франция прошлого века... Пока нет общего могучего течения, в котором сливались бы отдельно оппозиционные ручьи, о революции, мне кажется, рановато говорить...» (*Тург. в восп. рев.,* с. 265—276).

[10] Рассказ Тургенева приводится в воспоминаниях и других мемуаристов. Это сюжет, который должен был лечь в основу очерка «Всемогущий Житкин».

[11] Свидание в доме К. М. Сибирякова состоялось в феврале 1880 г. Об этой второй встрече Тургенева с народнической молодежью сохранились также воспоминания И. И. Ясинского («Роман моей жизни. Книги воспоминаний», М.—Л., 1926, с. 168—169).

[12] Имеется в виду повесть молодой писательницы А. А. Виницкой-Будзианик «Перед рассветом», которой она дебютировала в «Отечественных записках» (1881, № 5). Виницкой принадлежат воспоминания о Тургеневе, опубликованные в «Новом времени» (1895, № 6784, 6791, 6798, 6805, 17, 24 и 31 января, 7 февраля).

[13] М. Е. Салтыков-Щедрин покровительствовал начинающей писательнице, находил у нее «очень живой талант», правдивый и свежий. Повесть «Перед рассветом» была опубликована в журнале с купюрами. Салтыков писал автору: «Простите великодушно за те выпуски, которые я нашел необходимым сделать в цензурных видах, а также и за то, что окончание, в тех же видах, стушева-

но» (*Щедрин,* т. 19, кн. 1, с. 221). Салтыков-Щедрин и Тургенев были единодушны в своей оценке повести Виницкой. «Тургенев, который в настоящую минуту здесь, — писал Салтыков, — тоже с большой похвалой отзывается о вашей повести» (там же, с. 223).

[14] 21 февраля ст. ст. 1880 г. В. М. Гаршин обратился к председателю Верховной распорядительной комиссии М. Т. Лорис-Меликову с требованием амнистии И. О. Млодецкого, совершившего покушение на Лорис-Меликова и приговоренного к смертной казни (см. об этом в воспоминаниях Н. С. Русанова. — «Былое», 1906, N° 12, с. 50—52; казнь Млодецкого послужила одной из причин, усугубивших душевную болезнь писателя, которая привела его к трагической кончине). В. М. Гаршин относился к Тургеневу с большой симпатией. Он был один из тех писателей народнической ориентации, кто полностью принял тургеневскую «Новь». «Что за прелесть! — писал он, — я не понимаю только, как можно было, живя постоянно не в России, так гениально угадать все это... Когда читаешь, плакать хочется...» (В. М. Гаршин. Полн. собр. соч., т. III. М.—Л., 1934, с. 109—110). Гаршин посвятил памяти Тургенева свой рассказ «Красный цветок» («Отечественные записки», 1883, № 10).

[15] Намек на эту мысль уже заключен в самом романе, в словах Паклина: «Безымянная Русь. Да, это та, которая уже стоит на кафедрах, пишет в журналах, мечется из стороны в сторону под предостережениями, увольнениями, притеснениями. О ней-то надо упомянуть... в ней-то и будущность» (см. ст.: Н. Ф. Буданова. «Новь». Безымянная Русь в романе Тургенева. — *Тург. сб., III, 1967).*

[16] Рассуждения Тургенева о некоторой узости профессиональных революционеров, приведенные Кривенко, совпадают с тем, как писатель в свое время характеризовал Инсарова, упрекая его в излишней сухости и сосредоточенности на одном своем призвании.

[17] Героем нового романа, по мнению Тургенева, должен был бы явиться рабочий Павел (эпизодический персонаж «Нови»), «будущий *народный* революционер», «он станет — со временем (не под моим, конечно, пером, — я для этого слишком стар и слишком долго живу вне России) — центральной фигурой нового романа» (из письма к К. Д. Кавелину от 17/29 декабря 1876 г. — *Тургенев, Письма,* т. XII, с. 39). Приведенный Кривенко разговор о возможном продолжении «Нови» в какой-то степени опровергает скептический взгляд Тургенева на самого себя как на автора «нового романа» о русских революционерах.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр. текста	стр. коммент.
С. М. Петров. Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях современников	5	

И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В СЕМЬЕ

В. Н. Житова. Из «Воспоминаний о семье И. С. Тургенева»	30	430

МОЛОДОСТЬ ТУРГЕНЕВА. КРУГ «СОВРЕМЕННИКА»

Бернгард Икскюль Фиккель. Иван Сергеевич Тургенев в 1839—1882 гг.	75	438
А. В. Щепкина. Из «Воспоминаний»	78	439
П. В. Анненков. Молодость И. С. Тургенева. 1840—1856	82	440
А. Я. Панаева (Головачева). Из «Воспоминаний»	104	453
А. А. Фет. Из «Моих воспоминаний»	152	461
Н. А. Тучкова-Огарева. Иван Сергеевич Тургенев. 1848—1870	208	469
М. Н. Толстая. Воспоминание о И. С. Тургеневе (В пересказе М. А. Стаховича)	220	473
Д. В. Григорович. Из «Литературных воспоминаний»	225	475

И. С. ТУРГЕНЕВ В ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

П. В. Анненков. Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856—1862	240	478
Н. Г. Чернышевский. Воспоминания об отношениях Тургенева к Добролюбову и о разрыве дружбы между Тургеневым и Некрасовым	321	493
Г. З. Елисеев. Из «Воспоминаний»	340	500
Е. Н. Водовозова. Из книги «На заре жизни»	345	501

И. С. ТУРГЕНЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ-СЕМИДЕСЯТНИКОВ

П. Л. Лавров. Из статьи «И. С. Тургенев и развитие русского общества»	351	502
Г. А. Лопатин. Воспоминания о Тургеневе	385	516
П. А. Кропоткин. Из «Записок революционера»	396	520
С. Н. Кривенко. Из «Литературных воспоминаний»	402	523
Комментарии	424	

Т87 И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. В 2-х т. Т. 1. / Вступ. статья С. М. Петрова; Подгот. текста С. М. Петрова и В. Г. Фридлянд; Коммент. В. Г. Фридлянд; Худож. В. Максин. М.: «Худож. лит.», 1983. — 527 с., ил. (Серия литературных мемуаров).

Первый том сборника имеет четыре раздела: «В семье», «Молодость Тургенева. Круг «Современника», «И. С. Тургенев в шестидесятые годы» и «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников».

Широк круг мемуаристов: здесь воспоминания Н. Г. Чернышевского и П. А. Кропоткина, А. А. Фета и А. Я. Панаевой, П. В. Анненкова и Д. В. Григоровича, П. Л. Лаврова и Г. А. Лопатина и многих других.

$Т \frac{4702010100-244}{028(01)-83} 25-83$

ББК 84Р1
8Р1

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том первый

Составители
Сергей Митрофанович Петров
Вера Григорьевна Фридлянд

Редактор *В. Волина*
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
Л. Коротеева
Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 2776
Сдано в набор 19.10.82. Подписано в печать 04.05.83. Формат 84X108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. Усл.-печ. л. 27,72 + вкл. + альб. = 28,61. Усл. кр.-отт. 29,19. Уч.-изд. л. 30,46 + вкл. + альб. = 31,1. Тираж 85 000 экз. Изд. № 11-1190. Заказ № 928. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28